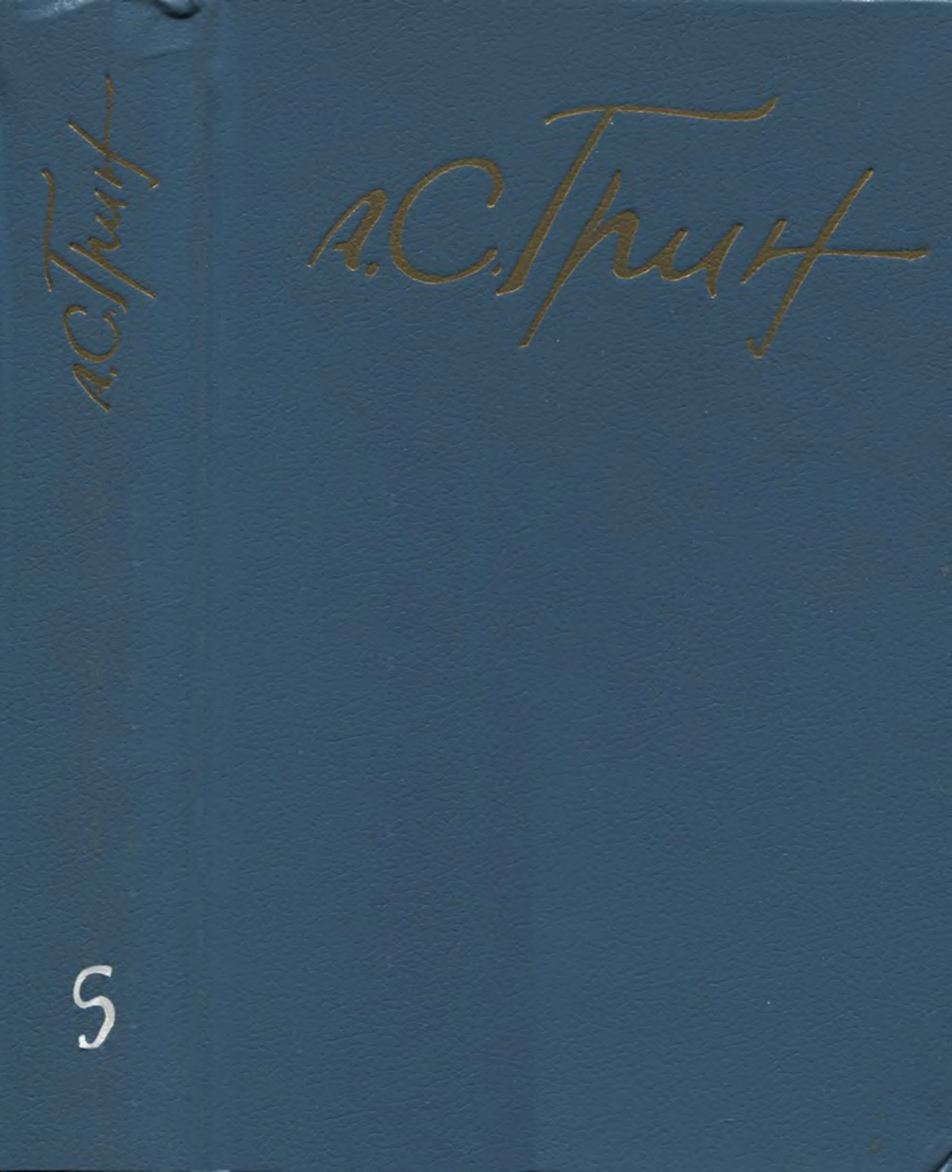


А.С.Грин
А.С.Грин
5

А. С. Грин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

А. С. Грин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1997



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ
ДЖЕССИ И МОРГИАНА
ДОРОГА НИКУДА

Романы



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1997

ББК 84 (2Рос-Рус) 6
Г 85

Составление с научной подготовкой текста
В. РОССЕЛЬСА

Примечания
А. РЕВЯКИНОЙ, Ю. ПЕРВОВОЙ

Оформление художника
В. ЛЮБИНА

ISBN 5-280-02047-8 (Т. 5)
ISBN 5-280-01609-8

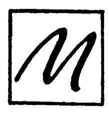
БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

Это Дезирада...

О Дезирада, как мало мы обрадовались тебе, когда из моря выросли твои склоны, поросшие манцениловыми лесами.

Л. Шадурн

ГЛАВА I



не рассказали, что я очутился в Лиссе благодаря одному из тех резких заболеваний, какие наступают внезапно. Это произошло в пути. Я был снят с поезда при беспамятстве, высокой температуре и помещен в госпиталь.

Когда опасность прошла, доктор Филатр, дружески развлекавший меня все последнее время перед тем, как я покинул палату,— позаботился приискать мне квартиру и даже нашел женщину для услуг. Я был очень признателен ему, тем более что окна этой квартиры выходили на море.

Однажды Филатр сказал:

— Дорогой Гарвей, мне кажется, что я невольно удерживаю вас в нашем городе. Вы могли бы уехать, когда поправитесь, без всякого стеснения из-за того, что я нанял для вас квартиру. Все же, перед тем как путешествовать дальше, вам необходим некоторый уют,— остановка внутри себя.

Он явно намекал, и я вспомнил мои разговоры с ним о власти Несбывшегося. Эта власть несколько ослабела благодаря острой болезни, но я все еще слышал иногда, в душе, ее стальное движение, не обещающее исчезнуть.

Переезжая из города в город, из страны в страну, я повиновался силе более повелительной, чем страсть или мания.

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовет нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днем, всматриваемся мы в жизнь, всем существом

стараясь разглядеть, не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывем мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

На эту тему я много раз говорил с Филатром. Но этот симпатичный человек не был еще тронут прощальной рукой Несбывшегося, а потому мои объяснения не волновали его. Он спрашивал меня обо всем этом и слушал довольно спокойно, но с глубоким вниманием, признавая мою тревогу и пытаясь ее усвоить.

Я почти оправился, но испытывал реакцию, вызванную перерывом в движении, и нашел совет Филатра полезным; поэтому, по выходе из госпиталя, я поселился в квартире правого углового дома улицы Амилего, одной из красивейших улиц Лисса. Дом стоял в нижнем конце улицы, близ гавани, за доком,— место корабельного хлама и тишины, нарушаемой, не слишком назойливо, смягченным, по расстоянию, зыком портового дня.

Я занял две большие комнаты: одна — с огромным окном на море; вторая была раза в два более первой. В третьей, куда вела вниз лестница,— помещалась прислуга. Старинная, чопорная и чистая мебель, старый дом и прихотливое устройство квартиры соответствовали относительной тишине этой части города. Из комнат, расположенных под углом к востоку и югу, весь день не уходили солнечные лучи, отчего этот ветхозаветный покой был полон светлого примирения давно прошедших лет с неиссякаемым, вечно новым солнечным пульсом.

Я видел хозяина всего один раз, когда платил деньги. То был грузный человек с лицом кавалериста и тихими, вытолкнутыми на собеседника голубыми глазами. Зайдя получить плату, он не проявил ни любопытства, ни оживления, как если бы видел меня каждый день.

Прислуга, женщина лет тридцати пяти, медлительная и настороженная, носила мне из ресторана обеды и ужины, прибирала комнаты и уходила к себе, зная уже, что я не потребую ничего особенного и не пущусь в разговоры, затеваемые большей частью лишь для

того, чтобы, болтая и ковыряя в зубах, отдаваться рассеянному течению мыслей.

Итак, я начал там жить; и прожил я всего — двадцать шесть дней; несколько раз приходил доктор Филатр.

ГЛАВА II

Чем больше я говорил с ним о жизни, сплине, путешествиях и впечатлениях, тем более уяснял сущность и тип своего Несбывшегося. Не скрою, что оно было громадно и — может быть — потому так неотвязно. Его стройность, его почти архитектурная острота выросли из оттенков параллелизма. Я называю так двойную игру, которую мы ведем с явлениями обихода и чувств. С одной стороны, они естественно терпимы в силу необходимости: терпимы условно, как ассигнация, за которую следует получить золотом, но с ними нет соглашения, так как мы видим и чувствуем их возможное преображение. Картины, музыка, книги давно утвердили эту особость, и хотя пример стар, я беру его за неимением лучшего. В его морщинах скрыта вся тоска мира. Такова нервность идеалиста, которого отчаяние часто заставляет опускаться ниже, чем он стоял,— единственно из страсти к эмоциям.

Среди уродливых отражений жизненного закона и его тяжбы с духом моим я искал, сам долго не подозревая того,— внезапное отчетливое создание: рисунок или венок событий, естественно свитых и столь же неуязвимых подозрительному взгляду духовной ревности, как четыре наиболее глубоко поразившие нас строчки любимого стихотворения. Таких строчек всегда — только четыре.

Разумеется, я узнавал свои желания постепенно и часто не замечал их, тем упустив время вырвать корни этих опасных растений. Они разрослись и скрыли меня под своей тенистой листвой. Случалось неоднократно, что мои встречи, мои положения звучали как обманчивое начало мелодии, которую так свойственно человеку желать выслушать прежде, чем он закроет глаза. Города, страны время от времени приближали к моим зрачкам уже начинающий восхищать свет едва намеченного огнями, странного, далекого транспаранта,— но все это развивалось в ничто; рвалось,

подобно гнилой пряже, натянутой стремительным челноком. Несбывшееся, которому я протянул руки, могло восстать только само, иначе я не узнал бы его и, действуя по примерному образцу, рисковал наверняка создать бездушные декорации. В другом роде, но совершенно точно, можно видеть это на искусственных парках, по сравнению с случайными лесными видениями, как бы бережно вынутыми солнцем из драгоценного ящика.

Таким образом, я понял свое Несбывшееся и покорился ему.

Обо всем этом и еще много о чем — на тему о человеческих желаниях вообще — протекали мои беседы с Филатром, если он затрагивал этот вопрос.

Как я заметил, он не переставал интересоваться моим скрытым возбуждением, направленным на предметы воображения. Я был для него словно разновидность тюльпана, наделенная ароматом, и если такое сравнение может показаться тщеславным, оно все же верно по существу.

Тем временем Филатр познакомил меня со Стерсом, дом которого я стал посещать. В ожидании денег, о чем написал своему поверенному Лерху, я утолял жажду движения вечерами у Стерса да прогулками в гавань, где под тенью огромных корм, нависших над набережной, рассматривал волнующие слова, знаки Несбывшегося: «Сидней»,— «Лондон»,— «Амстердам»,— «Тулон»... Я был или мог быть в городах этих, но имена гаваней означали для меня другой «Тулон» и вовсе не тот «Сидней», какие существовали действительно; надписи золотых букв хранили неоткрытую истину.

Утро всегда обещает...—

говорит Монс,—

После долготерпения дня
Вечер грустит и прощает...

Так же, как «утро» Монса,— гавань обещает всегда; ее мир полон необнаруженного значения, опускающегося с гигантских кранов пирамидами тюков, рассеянного среди мачт, стиснутого у набережных железными боками судов, где в глубоких щелях меж тесно сомкнутыми бортами молчаливо, как закрытая книга,

лежит в тени зеленая морская вода. Не зная — взвиться или упасть, клубятся тучи дыма огромных труб; напряжена и удержана цепями сила машин, одного движения которых довольно, чтобы спокойная под кормой вода рванулась бугром.

Войдя в порт, я, кажется мне, различаю на горизонте, за мысом, берега стран, куда направлены бугшприты кораблей, ждущих своего часа; гул, крики, песня, демонический вопль сирены — все полно страсти и обещания. А над гаванью — в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей — сверкает Несбывшееся — таинственный и чудный олень вечной охоты.

ГЛАВА III

Не знаю, что произошло с Лерхом, но я не получил от него столь быстрого ответа, как ожидал. Лишь к концу пребывания моего в Лиссе Лерх ответил, по своему обыкновению, сотней фунтов, не объяснив замедления.

Я навещал Стерса и находил в этих посещениях невинное удовольствие, сродни прохладе компресса, приложенного на больной глаз. Стерс любил игру в карты, я — тоже, а так как почти каждый вечер к нему кто-нибудь приходил, то я был от души рад перенести часть остроты своего состояния на угадывание карт противника.

Накануне дня, с которого началось многое, ради чего сел я написать эти страницы, моя утренняя прогулка по набережным несколько затянулась, потому что, внезапно проголодавшись, я сел у обыкновенной харчевни, перед ее дверью, на террасе, обвитой растениями типа плюща с белыми и голубыми цветами. Я ел жареного мерлана, запивая кушанье легким красным вином.

Лишь утолив голод, я заметил, что против харчевни швартуется пароход, и, обождав, когда пассажиры его начали сходить по трапу, я погрузился в созерцание сутолоки, вызванной желанием скорее очутиться дома или в гостинице. Я наблюдал смесь сцен, подмечая черты усталости, раздражения, сдерживаемых или явных неистовств, какие составляют душу толпы, когда резко меняется характер ее движения. Среди экипажей, родственников, носильщиков, негров, китайцев,

пассажиров, комиссионеров и попрошаек, гор багажа и треска колес я увидел акт величайшей неторопливости, верности себе до последней мелочи, спокойствие, принимая во внимание обстоятельства, почти развратное,— так неподражаемо, безупречно и картинно произошло сошествие по трапу неизвестной молодой девушки, по-видимому небогатой, но, казалось, одаренной тайнами подчинять себе место, людей и вещи.

Я заметил ее лицо, когда оно появилось над бортом среди саквояжей и сбитых на сторону шляп. Она сошла медленно, с задумчивым интересом к происходящему вокруг нее. Благодаря гибкому сложению, или иной причине, она совершенно избежала толчков. Она ничего не несла, ни на кого не оглядывалась и никого не искала в толпе глазами. Так спускаются по лестнице роскошного дома к почтительно распахнутой двери. Ее два чемодана плыли за ней на головах смуглых носильщиков. Коротким движением тихо протянутой руки, указывающей, как поступить, чемоданы были водружены прямо на мостовой, поодаль от парохода, и она села на них, смотря перед собой разумно и спокойно, как человек, вполне уверенный, что совершающееся должно совершаться и впредь согласно ее желанию, но без какого бы то ни было утомительного с ее стороны участия.

Эта тенденция, гибельная для многих, тотчас оправдала себя. К девушке подбежали комиссионеры и несколько других личностей как потрепанного, так и благопристойного вида, создав атмосферу нестерпимого гвалта. Казалось, с девушкой произойдет то же, чему подвергается платье, если его — чистое, отглаженное, спокойно висящее на вешалке — срывают торопливой рукой.

Отнюдь... Ничем не изменив себе, с достоинством переводя взгляд от одной фигуры к другой, девушка сказала что-то всем понемногу, раз рассмеялась, раз нахмурилась, медленно протянула руку, взяла карточку одного из комиссионеров, прочла, вернула бесстрастно и, мило наклонив головку, стала читать другую. Ее взгляд упал на подсунутый уличным торговцем стакан прохладительного питья; так как было действительно жарко, она, подумав, взяла стакан, напилась и вернула его с тем же видом присутствия у себя дома, как во всем, что делала. Несколько волосатых рук, вытянувшись над ее чемоданами, бродили

по воздуху, ожидая момента схватить и помчать, но все это, по-видимому, мало ее касалось, раз не был еще решен вопрос о гостинице. Вокруг нее образовалась группа услужливых, корыстных и любопытных, которой, как по приказу, сообщилось ленивое спокойствие девушки.

Люди суетливого, рвущего день на клочки мира стояли, ворочая глазами, она же по-прежнему сидела на чемоданах, окруженная незримой защитой, какую дает чувство собственного достоинства, если оно врожденное и так слилось с нами, что сам человек не замечает его, подобно дыханию.

Я наблюдал эту сцену не отрываясь. Вокруг девушки постепенно утих шум; стало так почтительно и прилично, как будто на берег сошла дочь некоего фантастического начальника всех гаваней мира. Между тем на ней были (мысль невольно соединяет власть с пышностью) простая батистовая шляпа, такая же блузка с матросским воротником и шелковая синяя юбка. Ее потертые чемоданы казались блестящими потому, что она сидела на них. Привлекательное, с твердым выражением лицо девушки, длинные ресницы спокойно-веселых темных глаз заставляли думать по направлению чувств, вызываемых ее внешностью. Благосклонная маленькая рука, опущенная на голову лохматого пса,— такое напрашивалось сравнение к этой сцене, где чувствовался глухой шум Несбывшегося.

Едва я понял это, как она встала; вся ее свита с возгласами и чемоданами кинулась к экипажу, на задке которого была надпись «Отель «Дувр». Подойдя, девушка раздала мелочь и уселась с улыбкой полного удовлетворения. Казалось, ее занимает решительно все, что происходит вокруг.

Комиссионер вскочил на сиденье рядом с возницей, экипаж тронулся, побежавшие сзади оборванцы отстали, и, проводив взглядом умчавшуюся по мостовой пыль, я подумал, как думал неоднократно, что передо мной, может быть, снова мелькнул конец нити, ведущей к запрятанному клубку.

Не скрою,— я был расстроен, и не оттого только, что в лице неизвестной девушки увидел привлекательную ясность существа, отмеченного гармонической цельностью, как вывел из впечатления. Ее краткое пребывание на чемоданах тронуло старую

тоску о венке событий, о ветре, поющем мелодии, о прекрасном камне, найденном среди гальки. Я думал, что ее существо, может быть, отмечено особым законом, перебирающим жизнь с властью сознательного процесса, и что, став в тень подобной судьбы, я наконец мог бы увидеть Несбывшееся. Но печальнее этих мыслей — печальных потому, что они были болезненны, как старая рана в непогоду,— явилось воспоминание многих подобных случаев, о которых следовало сказать, что их по-настоящему не было. Да, неоднократно повторялся обман, принимая вид жеста, слова, лица, пейзажа, замысла, сновидения и надежды, и, как закон, оставлял по себе тлен. При желании я мог бы разыскать девушку очень легко. Я сумел бы найти общий интерес, естественный повод не упустить ее из поля своего зрения и так или иначе встретить желаемое течение неоткрытой реки. Самым тонким движениям насущного души нашей я смог бы придать как вразумительную, так и приличную форму. Но я не доверял уже ни себе, ни другим, ни какой бы то ни было громкой видимости внезапного обещания.

По всем этим основаниям я отверг действие и возвратился к себе, где провел остаток дня среди книг. Я читал невнимательно, испытывая смуту, нахлынувшую с силой сквозного ветра. Наступила ночь, когда, усталый, я задремал в кресле.

Меж явью и сном встало воспоминание о тех минутах в вагоне, когда я начал уже плохо сознавать свое положение. Я помню, как закат махал красным платком в окно, проносящееся среди песчаных степей. Я сидел, полузакрыв глаза, и видел странно меняющиеся профили спутников, выступающие один из-за другого, как на медали. Вдруг разговор стал громким, переходя, казалось мне, в крик; после того губы беседующих стали шевелиться беззвучно, глаза сверкали, но я перестал соображать. Вагон поплыл вверх и исчез.

Больше я ничего не помнил,— жар помрачил мозг.

Не знаю, почему в тот вечер так назойливо представилось мне это воспоминание; но я готов был признать, что его тон необъяснимо связан со сценой на набережной. Дремота вила сумеречный узор. Я стал думать о девушке, на этот раз с поздним раскаянием.

Уместны ли в той игре, какую я вел сам с собой,— банальная осторожность? бесцельное самолюбие? да-

же — сомнение? Не отказался ли я от входа в уже раскрытую дверь только потому, что слишком хорошо помнил большие и маленькие лжи прошлого? Был полный звук, верный тон,— я слышал его, но заткнул уши, мнительно вспоминая прежние какофонии. Чтó, если мелодия была предложена истинным на сей раз оркестром?!

Через несколько столетних переходов желания человека достигнут отчетливости художественного синтеза. Желание избегнет муки смотреть на образы своего мира сквозь неясное, слабо озаренное полотно нервной смуты. Оно станет отчетливо, как насекомое в янтаре. Я, по сравнению, имел предстать таким людям, как «Дюранда» Летьерри предстоит стальному Левиафану Трансатлантической линии. Несбывшееся скрывалось среди гор, и я должен был принять в расчет все дороги в направлении этой стороны горизонта. Мне следовало ловить все намеки, пользоваться каждым лучом среди туч и лесов. Во многом — ради многого — я должен был действовать наудачу.

Едва я закрепил некоторое решение, вызванное таким оборотом мыслей, как прозвонил телефон, и, отогнав полусон, я стал слушать. Это был Филатр. Он задал мне несколько вопросов относительно моего состояния. Он приглашал также встретиться завтра у Стерса, и я обещал.

Когда этот разговор кончился, я, в странной толчее чувств, стеснительной, как сдержанное дыхание, позвонил в отель «Дувр». Делам такого рода обычна мысль, что все, даже посторонние, знают секрет вашего настроения. Ответы, самые безучастные, звучат как улика. Ничто не может так внезапно приблизить к чужой жизни, как телефон, оставляя нас невидимыми, и тотчас, по желанию нашему,— отстранить, как если бы мы не говорили совсем. Эти бесцельные для факта соображения отметят, может быть, слегка то неспокойное состояние, с каким начал я разговор.

Он был краток. Я попросил вызвать Анну Макферсон, приехавшую сегодня с пароходом «Гранвиль». После незначительного молчания деловой голос служащего объявил мне, что в гостинице нет упомянутой дамы, и я, зная, что получу такой ответ, помог недоразумению точным описанием костюма и всей наружности неизвестной девушки.

Мой собеседник молчаливо соображал. Наконец он сказал:

— Вы говорите, следовательно, о барышне, недавно уехавшей от нас на вокзал. Она записалась — «Биче Сениэль».

С большей, чем ожидал, досадой я послал замечание:

— Отлично. Я спутал имя, выполняя некое поручение. Меня просили также узнать...

Я оборвал фразу и водрузил трубку на место. Это было внезапным мозговым отвращением к бесцельным словам, какие начал я произносить по инерции. Что переменилось бы, узнай я, куда уехала Биче Сениэль? Итак, она продолжала свой путь — наверное в духе безмятежного приказания жизни, как это было на набережной,— а я опустился в кресло, внутренно застегнувшись и пытаясь увлечься книгой, по первым строкам которой видел уже, что предстоит скука счетом из пятисот страниц.

Я был один, в тишине, отмериваемой стуком часов. Тишина мчалась, и я ушел в область спутанных очертаний. Два раза подходил сон, а затем я уже не слышал и не помнил его приближения.

Так, незаметно уснув, я пробудился с восходом солнца. Первым чувством моим была улыбка. Я приподнялся и уселся в порыве глубокого восхищения,— несравненного, чистого удовольствия, вызванного эффектной неожиданностью.

Я спал в комнате, о которой упоминал, что ее стена, обращенная к морю, была, по существу, огромным окном. Оно шло от потолочного карниза до рамы в полу, а по сторонам на фут не достигало стен. Его створки можно было раздвинуть так, что стекла скрывались. За окном, внизу, был узкий выступ, засаженный цветами.

Я проснулся при таком положении восходящего над чертой моря солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихся на экране задней стены.

На потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. Вихрь золотой сети сиял таинственными рисунками. Лучистые веера, скачущие овалы и кидающиеся из угла в угол огневые черты были как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновения к плоскости. Эти пестрые ковры солнечных фей, мечущийся трепет которых, не прекращая ни на мгновение ткать ослепительный ара-

беск, достиг неистовой быстроты, были везде — вокруг, под ногами, над головой. Невидимая рука чертила странные письмена, понять значение которых было нельзя, как в музыке, когда она говорит. Комната ожила. Казалось, не устоя пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружиться. Даже на моих руках и коленях беспрерывно соскальзывали яркие пятна. Все это менялось неуловимо, как будто в встряхиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. Я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света моря и золотого — по комнате. Мне было отрадно. Я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал всему: «Вам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и все же развеселившие меня серьезным одиноким весельем,— пока вы еще не скрылись — вверяю я ржавчину своего Несбывшегося. Озарите и сотрите ее!»

Едва я окончил говорить, зная, что вспомню потом эту полусонную выходку с улыбкой, как золотая сеть смеркла; лишь в нижнем углу, у двери, дрожало еще некоторое время подобие изогнутого окна, открытого на поток искр, но исчезло и это. Исчезло также то настроение, каким началось утро, хотя его след не стерся до сего дня.

ГЛАВА IV

Вечером я отправился к Стерсу. В тот вечер у него собрались трое: я, Андерсон и Филатр.

Прежде чем прийти к Стерсу, я прошел по набережной до того места, где останавливался вчера пароход. Теперь на этом участке набережной не было судов, а там, где сидела неизвестная мне Биче Сениэль, стояли грузовые катки.

Итак,— это ушло, возникло и ушло, как если бы его не было. Воскрешая впечатление, я создал фигуры из воздуха, расположив их группой вчерашней сцены: сквозь них блестели вечерняя вода и звезды огней рейда. Сосредоточенное усилие помогло мне увидеть девушку почти ясно; сделав это, я почувствовал еще бóльшую неудовлетворенность, так как точнее очертил впечатление. По-видимому, началась своего рода «сердечная мигрень» — чувство, которое я хорошо знал и,

хотя не придавал ему особенного значения, все же нашел, что такое направление мыслей действует как любимый мотив. Действительно — это был мотив, и я, отчасти развивая его, остался под его влиянием на неопределенное время.

Раздумывая, я был теперь крайне недоволен собой за то, что оборвал разговор с гостиницей. Эта торопливость — стремление заменить ускользающее положительным действием — часто вредила мне. Но я не мог снова узнавать то, чего уже не захотел узнавать, как бы ни сожалел об этом теперь. Кроме того, прелестное утро, прогулка, возвращение сил и привычное отчисление на волю случая всего, что не совершенно определено желанием, перевесили этот недочет вчерашнего дня. Я мысленно подсчитал остатки сумм, которыми мог располагать и которые ждал от Лерха: около четырех тысяч. В тот день я получил письмо: Лерх извещал, что, лишь недавно вернувшись из поездки по делам, он, не ожидая скорого требования денег, упустил сделать распоряжение, а возвратясь, послал — как я и просил — тысячу. Таким образом, я не беспокоился о деньгах.

С набережной я отправился к Стерсу, куда пришел, уже застав Филатра и Андерсона.

Стерс, секретарь ирригационного комитета, был высок и белокур. Красивая голова, спокойная курчавая борода, громкий голос и истинно мужская улыбка, изредка пошевеливающаяся в изгибе усов,— отличались впечатлением силы.

Круглые очки, имеющие сходство с глазами птицы, и красные скулы Андерсона, инспектора технической школы, соответствовали коротким вихрам волос на его голове; он был статен и мал ростом.

Доктор Филатр, нормально сложенный человек, с спокойными движениями, одетый всегда просто и хорошо, увидев меня, внимательно улыбнулся и, крепко пожав руку, сказал:

— Вы хорошо выглядите, очень хорошо, Гарвей.

Мы уселись на террасе. Дом стоял отдельно, среди сада, на краю города.

Стерс выиграл три раза подряд, затем я получил карты, достаточно сильные, чтобы обойтись без прикупки.

В столовой, накрывая стол и расставляя приборы, прислуга Стерса разговаривала с сестрой хозяина относительно ужина.

Я был заинтересован своими картами, однако начинал хотеть есть и потому с удовольствием слышал, как Дэлия Стерс назначила подавать в одиннадцать, следовательно — через час. Я соображал также, будут ли на этот раз пирожки с ветчиной, которые я очень любил и не ел нигде таких вкусных, как здесь, причем Дэлия уверяла, что это выходит случайно.

— Ну,— сказал мне Стерс, сдавая карты,— вы покупаете? Ничего?! Хорошо.— Он дал карты другим, посмотрел свои и объявил: — Я тоже не покупаю.

Андерсон, затем Филатр прикупили и спасовали.

— Сражайтесь,— сказал доктор,— а мы посмотрим, что сделает на этот раз Гарвей.

Ставки по условию разыгрывались небольшие, но мне не везло, и я был несколько раздражен тем, что проигрывал подряд. Но на ту ставку у меня было сносное каре: четыре десятки и шестерка; джокер мог быть у Стерса, поэтому следовало держать ухо востро.

Итак, мы повели обычный торг: я — медленно и беспечно, Стерс — кратко и сухо, но с торжественностью двух слепых, ведущих друг друга к яме, причем каждый старается обмануть жертву.

Андерсон, смотря на нас, забавлялся, так были мы все увлечены ожиданием финала; Филатр собирал карты.

Вошла Дэлия, девушка с поблекшим лицом, загорелым и скептическим, такая же белокурая, как ее брат, и стала смотреть, как я с Стерсом, вперив взгляд во лбы друг другу, старались увеличить — выигрыш или проигрыш? — никто не знал, что́.

Я чувствовал у Стерса сильную карту — по едва приметным особенностям манеры держать себя; но сильнее ли моей? Может быть, он просто меня пугал? Наверное, то же самое думал он обо мне.

Дэлию окликнули из столовой, и она ушла, бросив:

— Гарвей, смотрите не проиграйте.

Я повысил ставку. Стерс молчал, раздумывая — согласиться на нее или накинуть еще. Я был в отличном настроении, но тщательно скрывал это.

— Принимаю,— ответил наконец Стерс.— Что у вас?

Он приглашал открыть карты. Одновременно с звуком его слов мое сознание, вдруг выйдя из круга игры, наполнилось повелительной тишиной, и я услышал особенный женский голос, сказавший с ударением:

«...Бегущая по волнам». Это было как звонок ночью. Но более ничего не было слышно, кроме шума в ушах, поднявшегося от резких ударов сердца да треска карт, по ребру которых провел пальцами доктор Филатр.

Изумленный явлением, которое, так очевидно, не имело никакой связи с происходящим, я спросил Андерсона:

— Вы сказали что-нибудь в этот момент?

— О нет! — ответил Андерсон. — Я никогда не мешаю игроку думать.

Недоумевающее лицо Стерса было передо мной, и я видел, что он сидит молча. Я и Стерс, занятые схваткой, могли только называть цифры. Пока это пробегало в уме, впечатление полного жизни женского голоса оставалось непоколебленным.

Я открыл карты без всякого интереса к игре, проиграл пяти трефам Стерса и отказался играть дальше. Галлюцинация — или то, что это было, — выключила меня из настроения игры. Андерсон обратил внимание на мой вид, сказав:

— С вами что-то случилось?!

— Случилась интересная вещь, — ответил я, желая узнать, что скажут другие. — Когда я играл, я был исключительно поглощен соображениями игры. Как вы знаете, невозможны посторонние рассуждения, если в руках каре. В это время я услышал — сказанные вне или внутри меня — слова: «Бегущая по волнам». Их произнес незнакомый женский голос. Поэтому мое настроение слетело.

— Вы слышали, Филатр? — сказал Стерс.

— Да. Что вы услышали?

— «Бегущая по волнам», — повторил я с недоумением. — Слова ясные, как ваши слова.

Все были заинтересованы. Вскоре, сев ужинать, мы продолжали обсуждать случай. О таких вещах отлично говорится вечером, когда нервы настороже. Дэлия, сделав несколько обычных замечаний иронически-серьезным тоном, явно указывающим, что она не подсмеивается только из вежливости, умолкла и стала слушать, критически приподняв брови.

— Попробуем установить, — сказал Стерс, — не было ли вспомогательных агентов вашей галлюцинации. Так, я однажды задремал и услышал разговор. Это было похоже на разговор за стеной, когда слова неразборчивы. Смысл разговора можно было понять по

интонациям, как упреки и оправдания. Слышались ворчливые, жалобные и гневные ноты. Я прошел в спальню, где из умывального крана быстро капала вода, так как его неплотно завернули. В трубе шипел и бурлил, всхлипывая, воздух. Таким образом, поняв, что происходит, я рассеял внушение. Поэтому зададим вопрос: не проходил ли кто-нибудь мимо террасы?

Во время игры Андерсон сидел спиной к дому, лицом к саду; он сказал, что никого не видел и ничего не слыхал. То же сказал Филатр, и, так как никто, кроме меня, не слышал никаких слов, происшествие это осталось замкнутым во мне. На вопросы, как я отнесся к нему, я ответил, что был, правда, взволнован, но теперь лишь стараюсь понять.

— В самом деле,— сказал Филатр,— фраза, которую услышал Гарвей, может быть объяснена только глубоко затаенным ходом наших психических часов, где не видно ни стрелок, ни колесец. Что было сказано перед тем, как вы услышали голос?

— Что? Стерс спрашивал, что у меня на картах, приглашая открыть.

— Так.— Филатр подумал немного.— Заметьте, как это выходит: «Что у вас?» Ответ слышал один Гарвей, и ответ был: «Бегущая по волнам».

— Но вопрос относился ко мне,— сказал я.

— Да. Только вы были предупреждены в ответе. Ответ прозвучал за вас, и вы нам повторили его.

— Это не объяснение,— возразил Андерсон после того, как все улыбнулись.

— Конечно, не объяснение. Я делаю простое сопоставление, которое мне кажется интересным. Согласен, можно объяснить происшествие двойным сознанием Рибо, или частичным бездействием некоторой доли мозга, подобным уголку сна в нас, бодрствующих как целое. Так утверждает Бишер. Но сопоставление очевидно. Оно напрашивается само, и, как ответ ни загадочен,— если допустить, что это — ответ,— скрытый интерес Гарвея дан таинственными словами, хотя их прикладной смысл утерян. Как ни поглощено внимание игрока картами, оно связано в центре, но свободно по периферии. Оно там в тени, среди явлений, скрытых тенью. Слова Стерса: «Что у вас?» — могли вызвать разряд из области тени раньше, чем, соответственно, блеснул центр внимания. Ассоциация с чем бы то ни было могла быть мгновенной, дав неожиданные слова,

подобные трещинам на стекле от попавшего в него камня. Направление, рисунок, число и длина трещин не могут быть высчитаны заранее, ни сведены обратным путем к зависимости от сопротивления стекла камню. Таинственные слова Гарвея есть причудливая трещина бессознательной сферы.

Действительно — так могло быть, но, несмотря на складность психической картины, которую набросал Филатр, я был странно задет. Я сказал:

— Почему именно слова Стерса вызвали трещину?

— Так чьи же?

Я хотел сказать, что, допуская действие чужой мысли, он самым детским образом считается с расстоянием, как будто такое действие безрезультатно за пределами четырех футов стола, разделяющих игроков, но, не желая более затягивать спор, заметил только, что объяснения этого рода сами нуждаются в объяснениях.

— Конечно,— подтвердил Стерс.— Если недостоверно, что мой обычный вопрос извлек из подсознательной сферы Гарвея представление необычное, то надо все решать снова. А это недостоверно, следовательно, недостоверно и остальное.

Разговор в таком роде продолжался еще некоторое время, крайне раздражая Дэлию, которая потребовала наконец переменить тему или принять успокоительных капель. Вскоре после этого я распрощался с хозяевами и ушел; со мной вышел Филатр.

Шагая в ногу, как солдаты, мы обогнули в молчании несколько углов и вышли на площадь. Филатр пригласил зайти в кафе. Это было так странно для моего состояния, что я согласился. Мы заняли стол у эстрады и потребовали вина. На эстраде сменялись певицы и танцовщицы. Филатр стал снова развивать тему о трещине на стекле, затем перешел к случаю с натуралистом Вайторном, который, сидя в саду, услышал разговор пчел. Я слушал довольно внимательно.

Стук упавшего стула и чье-то требование за спиной слились в эту минуту с настойчивым тактом танца. Я запомнил этот момент потому, что начал испытывать сильнейшее желание немедленно удалиться. Оно было непроизвольно. Не могло быть ничего хуже такого состояния, ничего томительнее и тревожнее среди веселой музыки и яркого света. Еще не вставая, я за-

глянул в себя, пытаясь найти причину и спрашивая, не утомлен ли я Филатром. Однако было желание сидеть — именно с ним — в этом кафе, которое мне понравилось. Но я уже не мог оставаться. Должен заметить, что я повиновался своему странному чувству с досадой, обычной при всякой несвоевременной помехе. Я взглянул на часы, сказал, что разболелась голова, и ушел, оставив доктора допивать вино.

Выйдя на тротуар, я остановился в недоумении, как останавливается человек, стараясь угадать нужную ему дверь, и, подумав, отправился в гавань, куда неизменно попадал вообще, если гулял бесцельно. Я решил теперь, что ушел из кафе по причине простой нервности, но больше не жалел уже, что ушел.

«Бегущая по волнам»... Никогда еще я не размышлял так упорно о причуде сознания, имеющей относительный смысл, — смысл шелеста за спиной, по звуку которого невозможно угадать, какая шелестит ткань. Легкий ночной ветер, сомнительно умеряя духоту, кружил среди белого света электрических фонарей тополевый белый пух. В гавани его намело по угольной пыли у каменных столбов и стен так много, что казалось, что север смешался с югом в фантастической и знойной зиме. Я шел между двух молов, когда за вторым от меня увидел стройное парусное судно с корпусом, напоминающим яхту. Его водоизмещение могло быть около ста пятидесяти тонн. Оно было погружено в сон.

Ни души я не заметил на его палубе, но, подходя ближе, увидел с левого борта вахтенного матроса. Сидел он на складном стуле и спал, прислонясь к борту.

Я остановился неподалеку. Было пустынно и тихо. Звуки города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно едущего экипажа; вблизи меня — плеск воды и тихое поскрипывание каната единственно отмечали тишину. Я продолжал смотреть на корабль. Его коричневый корпус, белая палуба, высокие мачты, общая пропорциональность всех частей и изящество основной линии внушали почтение. Это было судно-джентльмен. Свет дугового фонаря мола ставил его отчетливые очертания на границе сумерек, в дали которых виднелись черные корпуса и трубы пароходов. Корма корабля выдавалась над низкой в этом месте набережной, образуя меж двумя канатами и водой внизу навесный угол.

Мне так понравилось это красивое судно, что я представил его своим. Я мысленно вошел по его трапу к себе, в *свою* каюту, и я был — так мне представилось — с *той* девушкой. Не было ничего известно, почему это так, но я некоторое время удерживал представление.

Я отметил, что воспоминание о той девушке не уходило; оно напоминало всякое другое воспоминание, удержанное душой, но с верным живым оттенком. Я время от времени взглядывал на него, как на привлекательную картину. На этот раз оно возникло и отошло отчетливее, чем всегда. Наконец мысли переменились. Желая узнать название корабля, я обошел его, став против кормы, и, всмотревшись, прочел полукруг рельефных золотых букв:

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ

ГЛАВА V

Я вздрогнул,— так стукнула в виски кровь. Вздох — не одного изумления,— бо́льшего, сложнейшего чувства,— задержал во мне биение громко затем заговорившего сердца. Два раза я перевел дыхание, прежде чем смог еще раз прочесть и понять эти удивительные слова, бросившиеся в мой мозг, как залп стрел. Этот внезапный удар действительности по возникшим за игрой странным словам был так внезапен, как если человек схвачен сзади. Я был закружен в мгновенно обессилевших мыслях. Так кружится на затерянном следу пес, обнюхивая последний отпечаток ноги.

Наконец, настойчиво отведя эти чувства, как отводят рукой упругую, мешающую смотреть листву, я стал одной ногой на кормовой канат, чтобы ближе нагнуться к надписи. Она притягивала меня. Я свесился над водой, тронутой отдаленным светом. Надпись находилась от меня на расстоянии шести-семи футов. Прекрасно была озарена она скользившим лучом.

Слово «Бегущая» лежало в тени, «по» было на границе тени и света, и заключительное «волнам» сияло так ярко, что заметны были трещины в позолоте.

Убедившись, что имею дело с действительностью, я отошел и сел на чугунный столб собрать мысли. Они развертывались в такой связи между собой, что требовался более мощный пресс воли, чем тогда мой, чтобы охватить их все одной, главной мыслью; ее не было. Я смотрел в тьму, в ее глубокие синие пятна, где мерцали отражения огней рейда. Я ничего не решал, но знал, что сделаю, и мне это казалось совершенно естественным. Я был уверен в неопределенном и точен среди неизвестности.

Встав, я подошел к трапу и громко сказал:

— Эй, на корабле!

Вахтенный матрос спал или, быть может, слышал мое обращение, но оставил его без ответа.

Я не повторил окрика. В этот момент я не чувствовал запрета, обычного, хотя и незримого, перед самовольным входом в чужое владение. Видя, что часовой неподвижен, я ступил на трап и очутился на палубе.

Действительно, часовой спал, опустив голову на руки, протянутые по крышке бортового ящика. Я никогда не видел, чтобы простой матрос был одет так, как этот неизвестный человек. Его дорогой костюм из тонкого серого шелка, воротник безукоризненно белой рубашки с синим галстуком и крупным бриллиантом булавки, шелковое белое кепи, щегольские ботинки и кольца на смуглой руке, изобличающие возможность платить большие деньги за украшения,— все эти вещи были несвойственны простой службе матроса. Кроме того — смуглые, чистые руки, без шершавости и мозолей, и упрямое, дергающееся во сне, худое лицо с черной, заботливо расчесанной бородой являли без других доказательств, прямым внушением черт, что этот человек не из низшей команды судна. Колеблясь разбудить его, я медленно прошел к трапу кормовой рубки, так как из ее приподнятых люков шел свет. Я надеялся застать там людей. Уже я занес ногу, как меня удержало и остановило легкое невидимое движение. Я повернулся и очутился лицом к лицу с вахтенным.

Он только что кончил зевать. Его левая рука была засунута в карман брюк, а правая, отгоняя

сон, прошлась по глазам и опустилась, потирая большим пальцем концы других. Это был высокий, плечистый человек, выше меня, с наклоном вперед. Хотя его опущенные веки играли в невозмутимость, под ними светилось плохо скрытое удовольствие — ожидание моего смущения. Но я не был ни смущен, ни сбит и взглянул ему прямо в глаза. Я поклонился.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил он, медленно произнося эти слова и как бы рассматривая их перед собой. — Как вы попали на палубу?

— Я взошел по трапу, — ответил я дружелюбно, без внимания к возможным недоразумениям с его стороны, так как полагал, что моя внешность достаточно красноречива в любой час и в любом месте. — Я вас окликнул, вы спали. Я поднялся и, почему-то не решившись разбудить вас, хотел пойти вниз.

— Зачем?

— Я рассчитывал найти там кого-нибудь. Как я вижу, — прибавил я с ударением, — мне следует назвать себя: Томас Гарвей.

Вахтенный вытащил руку из кармана. Его тяжелые глаза совершенно проснулись, и в них отметилась нерешительность чувств — помесь флегмы и бешенства. Должно быть, первая взяла верх, так как, сжав губы, он неохотно наклонил голову и сухо ответил:

— Очень хорошо. Я — капитан Вильям Гез. Какому обстоятельству обязан я таким *раннним* визитом?

Но и более неприветливый тон не мог бы обескуражить меня теперь. Я был на линии быстро восходящего равновесия, под защитой всего этого случая, во всем объеме его еще не установленного значения.

— Капитан Гез, — сказал я с улыбкой, — если считать третий час ночи началом дня, — я, конечно, явился безумно рано. Боюсь, что вы сочтете повод неуважительным. Однако необходимо объяснить, почему я взошел на палубу. Некоторое время я был болен, и мое состояние, по мнению врачей, станет еще лучше, чем теперь, если я немного попутешествую. Было признано, что плавание на парусном судне, несложное существование, лишенное даже некоторых удобств, явится, так сказать, грубой физиологической правдой, необходимой телу иногда точно так, как грубая правда подчас излечивает недуг моральный. Сегодня, прогуливаясь, я увидел этот корабль. Он, сознаюсь, меня пленил. Откладывать свое дело я не решился, так как

не знаю, когда вы поднимете якорь, и подумал, что завтра могу уже не застать вас. Во всяком случае — прошу меня извинить. Я в состоянии заплатить, сколько надо, и с этой стороны у вас не было бы причины остаться недовольным. Мне также совершенно безразлично, куда вы направитесь. Затем, надеюсь, что вы меня поняли,— я думаю, что устранил досадное недоразумение. Остальное зависит теперь от вас.

Пока я говорил это, Гёз уже мне ответил. Ответ заключался в смене выражений его лица, значение которой я мог определить как сопротивление. Но разговор только что начался, и я не терял надежды.

— Я почти уверен, что откажу вам,— сказал Гёз,— тем более, что это судно не принадлежит мне. Его владелец — Браун, компания «Арматор и Груз». Прошу вас сойти вниз, где нам будет удобнее говорить.

Он произнес это вежливым ледяным тоном вынужденного усилия. Его жест рукой по направлению к трапу был точен и сух.

Я спустился в ярко озаренное помещение, где, кроме нас двух, никого не было. Беглый взгляд, брошенный мной на обстановку, не дал впечатления, противоречащего моему настроению, но и не разъяснил ничего, хотя казалось мне, когда я спускался, что будет иначе. Я увидел комфорт и беспорядок. Я шел по замечательному ковру. Отделка помещения обнаруживала богатство строителя корабля... Мы сели на небольшой диван, и в полном свете я окончательно рассмотрел Гёза.

Его внешность можно было изучать долго и остаться при запутанном результате. При передаче лица авторы, как правило, бывают поглощены фасом, но никто не хочет признать значения профиля. Между тем профиль замечателен потому, что он есть основа силуэта — одного из наиболее резких графических решений целого. Не раз профиль указывал мне второго человека в одном,— как бы два входа с разных сторон в одно помещение. Я отвожу профилю значение комментария и только в том случае не вспоминаю о нем, если профиль и фас, со всеми промежуточными сечениями, уравнены духовным балансом. Но это встречается так редко, что является исключением. Равно нельзя было присоединить к исключениям лицо Гёза. Его профиль шел от корней волос откинутым, нервным лбом — почти отвесной линией длинного носа, тоскливой верхней и упрямо выдающейся нижней губой — к тяжелому,

круто завернутому подбородку. Линия обрюзгшей щеки, подпирая глаз, внизу была соединена с мрачным усом. Согласно языку лица, оно выказывалось в подавленно-настойчивом выражении. Но этому лицу, когда оно было обращено прямо,— широкое, насупленное, с нервной игрой складок широкого лба — нельзя было отказать в привлекательной и оригинальной сложности. Его черные красивые глаза внушительно двигались под изломом низких бровей. Я не понимал, как могло согласоваться это сильное и страстное лицо с флегматическим тоном Геза — настолько, что даже ощущаемый в его словах ход мыслей казался невозмутимым. Не без основания ожидал я, в силу противоречия этого, неприятного, по его смыслу, эффекта, что подтвердилось немедленно.

— Итак,— сказал Гез, когда мы уселись,— я мог бы взять пассажира только с разрешения Брауна. Но, признаюсь, я против пассажира на грузовом судне. С этим всегда выходят какие-нибудь неприятности или хлопоты. Кроме того, моя команда получила вчера расчет, и я не знаю, скоро ли соберу новый комплект. Возможно, что «Бегущая» простоит месяц, прежде чем удастся наладить рейс. Советую вам обратиться к другому капитану.

Он умолк и ничем не выразил желания продолжать разговор. Я обдумывал, что сказать, как на палубе раздались шаги и возглас: «Ха-ха!», сопровождаемый, должно быть, пьяным широким жестом.

Видя, что я не встаю, Гез пошевелил бровью, пристально осмотрел меня с головы до ног и сказал:

— Это вернулся наконец Бутлер. Прошу вас не беспокоиться. Я немедленно возвращусь.

Он вышел, шагая тяжело и широко, наклонив голову, как если бы боялся стукнуться лбом. Оставшись один, я осмотрелся внимательно. Я плавал на различных судах, а потому был убежден, что этот корабль, по крайней мере при его постройке, не предназначался перевозить кофе или хлопок. О том говорили как его внешний вид, так и внутренность салона. Большие круглые окна — «иллюминаторы», диаметром более двух футов, какие никогда не делаются на грузовых кораблях, должны были ясно и элегантно озарять днем. Их винты, рамы, весь медный прибор отличался тонкой художественной работой. Венецианское зеркало в массивной раме из серебра; небольшие диваны,

обитые дорогим серо-зеленым шелком; палисандровая отделка стен; карнизы, штофные портьеры, индийский ковер и три электрических лампы с матовыми колпаками в фигурной бронзовой сетке были предметами подлинной роскоши — в том виде, как это технически уместно на корабле. На хорошо отполированном, отражающем лампы столе — дымчатая хрустальная ваза со свежими розами. Вокруг нее, среди смятых салфеток и стаканов с недопитым вином, стояли грязные тарелки. На ковре валялись окурки. Из приоткрытых дверей буфета свешивалась грязная тряпка.

Услышав шаги, я встал и, не желая затягивать разговора, спросил Гёза по его возвращении,— будет ли он против, если Браун даст мне согласие плыть на «Бегущей» в отдельной каюте и за приличную плату.

— Вы считаете, что бесполезно говорить об этом со мной?

— Мне показалось,— заметил я,— что ваше мнение связано не в мою пользу такими соображениями, которые являются уважительными для вас.

Гёз медлил. Я видел, что мое намерение снестись с Брауном задело его. Я проявил вежливую настойчивость и изъявил желание поступить наперекор Гёзу.

— Как вам будет угодно,— сказал Гёз.— Я остаюсь при своем, о чем говорил.

— Не спорю.— Мое дружелюбное оживление прошло, сменясь досадой.— Проиграв дело в одной инстанции, следует обратиться к другой.

Сознаюсь, я сказал лишнее, но не раскаялся в том: поведение Гёза мне очень не нравилось.

— Проиграв дело в низшей инстанции! — ответил он, вдруг вспыхнув. Его флегма исчезла, как взвившаяся от ветра занавеска; лицо неприятно и дерзко оживилось.— Кой черт все эти разговоры? Я капитан, а потому пока что хозяин этого судна. Вы можете поступать, как хотите.

Это была уже непростительная резкость, и в другое время я, вероятно, успокоил бы его одним внимательным взглядом, но почему-то я был уверен, что, минуя все, мне предстоит в скором времени плыть с Гёзом на его корабле «Бегущая по волнам», а потому решил не давать более повода для обиды. Я приподнял шляпу и покачал головой.

— Надеюсь, мы уладим как-нибудь этот вопрос,— сказал я, протягивая ему руку, которую он пожал весьма сухо.— Самые невинные обстоятельства толкают меня

сломать лед. Может быть, вы не будете сердиться впоследствии, если мы встретимся.

«Разговор кончен, и я хочу, чтобы ты убрался отсюда»,— сказали его глаза. Я вышел на палубу, где увидел пожилого, рябого от оспы человека с трубкой в зубах. Он стоял, прислонясь к мачте. Осмотрев меня замкнутым взглядом, этот человек сказал вышедшему со мной Гезу:

— Все-таки мне надо пойти; я, может быть, отыграюсь. Что вы на это скажете?

— Я не дам денег,— сказал Гез круто и зло.

— Вы отдадите мне мое жалованье,— мрачно продолжал человек с трубкой,— иначе мы расстаемся.

— Бутлер, вы получите жалованье завтра, когда протрезвитесь, иначе у вас не останется ни гроша.

— Хорошо! — вскричал Бутлер, бывший, как я угадал, старшим помощником Геза.— Прекрасные вы говорите слова! Вам ли выступать в роли опекуна, когда даже околевшая кошка знает, что вы представляете собой по всем кабакам — настоящим, прошлым и будущим?! Могу тратить свои деньги, как я желаю.

Гез не ответил, но проклятия, которые он сдержал, отпечатались на его лице. Энергия этого заряда вылилась в его обращении ко мне. Неприязненный, но хладнокровный джентльмен исчез. Тон обращения Геза напоминал брань.

— Ну как,— сказал он, стоя у трапа, когда я начал идти по нему,— правда, «Бегущая по волнам» красива, как «Гентская кружевница»? («Гентская кружевница» было судно, потопленное лет сто назад пиратом Киддом Вторым за его удивительную красоту, которой все восхищались.) Да, это многие признают. Если бы я рассказал вам его историю, его стоимость, если бы вы увидели его на ходу и побыли на нем один день,— вы еще не так просили бы меня взять вас в плавание. У вас губа не дура.

— Капитан Гез! — вскричал я, разгневанный тем более, что Бутлер, подойдя, усмехнулся.— Если мне действительно придется плыть на корабле этом и вы зайдете в мою каюту, я постараюсь загладить вашу грубость, во всяком случае, более ровным обращением с вами.

Он взглянул на меня насмешливо, но тотчас его лицо приняло растерянный вид. Страшно удивив меня, Гез поспешно и взволнованно произнес:

— Да, я виноват, простите! Я расстроен! Я взбешен! Вы не пожалеете в случае неудачи у Брауна.

Впрочем, обстоятельства складываются так, что нам с вами не по пути. Желаю вам всего лучшего!

Не знаю, что подействовало неприятнее,— грубость Геза или этот его странный порыв. Пожав плечами, я спустился на берег и, значительно отойдя, обернулся, еще раз увидев высокие мачты «Бегущей по волнам», с уверенностью, что Гез, или Браун, или оба вместе, должны будут отнестись к моему намерению самым положительным образом.

Я направился домой, не замечая, где иду, потеряв чувство места и времени. Потрясение еще не улеглось. Ход предчувствий, неуловимых, как только я начинал подробно разбирать их, был слышен в глубине сердца, не даваясь сознанию. Ряд никогда не испытанных состояний, из которых я не выбрал бы ни одного, отмечался в мыслях моих редкими сочетаниями слов, подобных разговору во сне, и я был не властен прогнать их. Одно, противу рассудка, я чувствовал, без всяких объяснений и доказательств,— это, что корабль Геза и неизвестная девушка Биче Сениэль должны иметь связь. Будь я спокоен, я отнесся бы к своей идее о сближении корабля с девушкой как к дикому суеверию, но теперь было иначе,— представления возникали с той убедительностью, как бывает при горе или испуге.

Ночь прошла скверно. Я видел сны,— много тяжелых и затейливых снов. Меня мучила жажда. Я просыпался, пил воду и засыпал снова, преследуемый нашествием мыслей, утомительных, как неправильная задача с ускользнувшей ошибкой. Это были расчеты чувств между собой после события, расстроившего их естественное течение.

В девять часов утра я был на ногах и поехал к Филатру в наемном автомобиле. Только с ним мог я говорить о делах этой ночи, и мне было необходимо, существенно важно знать, что думает он о таком повороте «трещины на стекле».

ГЛАВА VI

Хотя было рано, Филатр заставил ждать себя очень недолго. Через три минуты, как я сел в его кабинете, он вошел, уже одетый к выходу, и предупредил, что должен быть к десяти часам в госпитале. Тотчас он обратил внимание на мой вид, сказав:

— Мне кажется, что с вами что-то произошло!

— Между конторой Угольного синдиката и углом набережной,— сказал я,— стоит замечательное парусное судно. Я увидел его ночью, когда мы расстались. Название этого корабля — «Бегущая по волнам».

— Как! — сказал Филатр, изумленный более, чем даже я ожидал.— Это не шутка?! Но... позвольте... Ничего, я слушаю вас.

— Оно стоит и теперь.

Мы взглянули друг на друга и некоторое время сидели молча. Филатр опустил глаза, медленно приподняв брови; по выразительному его лицу прошел нервный ток. Он снова посмотрел на меня.

— Да, это бьет,— заметил он.— Но есть продолжение, конечно?

Предупреждая его невысказанное подозрение, что я мог видеть «Бегущую по волнам» раньше, чем пришел вчера к Стерсу, я сказал о том отрицательно и передал разговор с Гезом.

— Вы согласитесь,— прибавил я при конце своего рассказа,— что у меня могло быть только это желание. Никакое иное действие не подходит. По-видимому, я должен ехать, если не хочу остаться на всю жизнь с беспомощным и глупым раскаянием.

— Да,— сказал Филатр, протягивая сигару в воздух к воображаемой пепельнице.— Все так, положение, как ни верти, щекотливое. Впрочем, это — часто вопрос денег. Мне кажется, я вам помогу. Дело в том, что я лечил жену Брауна, когда, по мнению других врачей, не было уже смысла ее лечить. Назло им или из любезности ко мне, но она спаслась. Как я вижу, Гез ссылается на Брауна, сам будучи против вас, и это верная примета, что Браун сошлется на Геза. Поэтому я попрошу вас передать Брауну письмо, которое сейчас напишу.

Договаривая последние слова, Филатр быстро уселся за стол и взял перо.

— С трудом соображаю, что писать,— сказал он, оборачиваясь ко мне виском и углом глаза.

Он потер лоб и начал писать, произнося написанное вслух по мере того, как оно заполняло лист бумаги.

— Заметьте,— сказал Филатр, останавливаясь,— что Браун — человек дела, выгоды, далекий от нас с вами, и все, что, по его мнению, напоминает причуду, тотчас замыкает его. Теперь дальше. «Когда-то,

в счастливый для вас и меня день, вы сказали, что исполните мое любое желание. От всей души я надеялся, что такая минута не наступит; затруднить вас я считал непростительным эгоизмом. Однако случилось, что мой пациент и родственник...»

— Эта дипломатическая неточность или, короче говоря, безвредная ложь, надеюсь, не имеет значения?— спросил Филатр; затем продолжал писать и читать: «...родственник, Томас Гарвей, вручитель сего письма, нуждается в путешествии на обыкновенном парусном судне. Это ему полезно и необходимо после болезни. Подробности он сообщит лично. Как я его понял, он не прочь был бы сделать рейс-другой в каюте...»

— Как странно произносить эти слова,— перебил себя Филатр.— А я их даже пишу: «...каюте корабля «Бегущая по волнам», который принадлежит вам. Вы крайне обяжете меня содействием Гарвею. Надеюсь, что здоровье вашей глубоко симпатичной супруги продолжает не внушать беспокойства. Прошу вас...»

— ...и так далее,— прикончил Филатр, покрывая конверт размашистыми строками адреса.

Он вручил мне письмо и пересел рядом со мной.

Пока он писал, меня начал мучить страх, что судно Гёза ушло.

— Простите, Филатр,— сказал я, объяснив ему это.— Нетерпение мое велико!

Я встал. Пристально, с глубокой задумчивостью смотря на меня, встал и доктор. Он сделал рукой полуудерживающий жест, коснувшись моего плеча; медленно отвел руку, начал ходить по комнате, остановился у стола, рассеянно опустил взгляд и потер руки.

— Как будто следует нам еще что-то сказать друг другу, не правда ли?

— Да, но что?— ответил я.— Я не знаю. Я, как вы, любитель догадываться. Заниматься этим теперь было бы то же, что рисовать в темноте с натуры.

— Вы правы, к сожалению. Да. Со мной никогда не было ничего подобного. Уверяю вас, я встревожен и поглощен всем этим. Но вы напишете мне с дороги? Я узнаю, что произошло с вами?

Я обещал ему и прибавил:

— А не уложите ли и вы свой чемодан, Филатр?! Вместе со мной?!

Филатр развел руками и улыбнулся.

— Это заманчиво,— сказал он,— но... но... но...— Его взгляд одно мгновение задержался на небольшом портрете, стоявшем среди бронзовых вещиц письменного стола. Только теперь увидел и я этот портрет — фотографию красивой молодой женщины, смотрящей в упор, чуть наклонив голову.

— Ничто не вознаградит меня,— сказал Филатр, закуривая и резко бросая спичку.— Как ни своеобразен, как ни аскетичен, по-своему, конечно, ваш внутренний мир,— вы, дорогой Гарвей, хотите увидеть смеющееся лицо счастья. Не отрицайте. Но на этой дороге я не получу ничего, потому что мое желание не может быть выполнено никем. Оно просто и точно, но оно не сбудется никогда. Я вылечил много людей, но не сумел вылечить свою жену. Она жива, но все равно что умерла. Это ее портрет. Она не вернется сюда. Все остальное не имеет для меня никакого смысла.

Сказав так и предупреждая мои слова, даже мое молчание, которые, при всей их искренности, должны были только затруднить этот внезапный момент взгляда на открывшееся чужое сердце, Филатр позвонил и сказал слуге, чтобы подали экипаж. Не прощаясь окончательно, мы условились, что я сообщу ему о посещении мной Брауна.

Мы вышли вместе и расстались у подъезда. Вспрыгнув на сиденье, Филатр отъехал и обернулся, крикнув:

— Да, я этим не...— Остальное я не расслышал.

ГЛАВА VII

Контора Брауна «Арматор и Груз», как большинство контор такого типа, помещалась на набережной, очень недалеко, так что не стоило брать автомобиль. Я отпустил шофера и, едва вошел в гавань, бросил тревожный взгляд к молу, где видел вчера «Бегущую по волнам». Хотя она была теперь сравнительно далеко от меня, я немедленно увидел ее мачты и бугшприт на том же месте, где они были ночью. Я испытал полное облегчение.

День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой. Несколько утомясь, я задержал шаг и вошел под полотняный навес портовой таверны утолить жажду.

Среди немногих посетителей я увидел взволнованного матроса, который, размахивая забытым, в воз-

буждении, стаканом вина и не раз собираясь его выпить, но опять забывая, крепил свою речь резкой жестикуляцией, обращаясь к компании моряков, занимавших угловой стол. Пока я задерживался у стойки, стукнуло мне в слух слово «Гез», отчего я, также забыв свой стакан, немедленно повернулся и вслушался.

— Я его не забуду,— говорил матрос.— Я плаваю двадцать лет. Я видел столько капитанов, что, если их сразу сюда впустить, не хватит места всем стать на одной ноге. Я понимаю так, что Гез сущий дьявол. Не приведи Бог служить под его командой. Если ему кто не понравится, он вымотает из него все жилы. Я вам скажу: это бешеный человек. Однажды он так хватил плотника по уху, что тот обмер и не мог встать более часа: только стонал. Мне самому попало; больше за мои ответы. Я отвечать люблю так, чтобы человек весь позеленел, а придраться не мог. Но пусть он бешеный, это еще с полгоря. Он вредный, мерзавец. Ничего не угадаешь по его роже, когда он подзывает тебя. Может быть, даст стакан водки, а может быть — собьет с ног. Это у него — вдруг. Бывает, что говорит тихо и разумно, как человек, но если не так взглянул или промолчал — «понимай, мол, как знаешь, отчего я молчу» — и готово. Мы все измучились и сообща решили уйти. Ходит слух, что уж не первый раз команда бросала его посреди рейса. Что же?! На его век дураков хватит!

Он умолк, оставшись с открытым ртом и смотря на свой стакан в злобном недоумении, как будто видел там ненавистного капитана; потом разом осушил стакан и стал сердито набивать трубку. Все это касалось меня.

— О каком Гезе вы говорите? — спросил я.— Не о том ли, чье судно называется «Бегущая по волнам»?

— Он самый, сударь,— ответил матрос, тревожно посмотрев мне в лицо.— Вы, значит, знаете, что это за человек, если только он человек, а не бешеная собака!

— Я слышал о нем,— сказал я, поддерживая разговор с целью узнать как можно больше о человеке, в обществе которого намеревался пробыть неопределенное время.— Но я не встречался с ним. Действительно ли он изверг и негодяй?

— Совершенная...— начал матрос, поперхнувшись и побагровев, с торжественной медлительностью присяги, должно быть, намереваясь прибавить — «истина», как за моей спиной, перебивая ответ матроса,

вылетел неожиданный, резкий возглас: «Чепуха!» Человек подошел к нам. Это был тоже матрос, опрятно одетый, грубого и толкового вида.

— Совершенная чепуха,— сказал он, обращаясь ко мне, но смотря на первого матроса.— Я не знаю, какое вам дело до капитана Геза, но я — а вы видите, что я не начальство, что я такой же матрос, как этот горлан,— он презрительно уставил взгляд в лицо опешившему оратору,— и я утверждаю, что капитан Гез, во-первых, настоящий моряк, а во-вторых, отличнейший и добрейшей души человек. Я служил у него с января по апрель. Почему я ушел — это мое дело, и Гез в том не виноват. Мы сделали два рейса в Гор-Сайн. Из всей команды он не сказал никому дурного слова, а наш брат — что там вилять — сами знаете, народ пестрый. Теперь этот человек говорит, что Гез избил плотника. Из остальных сделал котлеты. Кто же поверит этакому вранью? Мы получали порцион лучший, чем на военных судах. По воскресеньям нам выдавали бутылку виски на троих. Боцману и скорому на расправу Бутлеру, старшему помощнику, капитан при мне задал здоровенный нагоняй за то, что тот погрозил повару кулаком. Тогда же Бутлер сказал: «Черт вас поймет!» Капитан Гез собирал нас, бывало, и читал вслух такие истории, о каких мы никогда не слыхивали. И если промеж нас случалась ссора, Гез говорил одно: «Будьте добры друг к другу. От зла происходит зло».

Кончив, но, видимо, имея еще много чего сказать в пользу капитана Геза, матрос осмотрел всех присутствующих, махнул рукой и, с выражением терпеливого неодобрения, стал слушать взбешенного хулителя Геза. Я видел, что оба они вполне искренни и что речь заступника возмутила обвинителя до совершенного неистовства. В одну минуту проревел он не менее десятка имен, взывая к их свидетельскому отсутствию. Он клялся, предлагал идти с ним на какое-то судно, где есть люди, пострадавшие от Геза еще в прошлом году, и закончил ехидным вопросом: отчего защитник так мало служил на «Бегущей по волнам»? Тот с достоинством, но с не меньшей запальчивостью рассказал, как он заболел, отчего взял расчет по прибытии в Лисс. Запутавшись в крике, оба стали ссылаться на одних и тех же лиц, так как выяснилось, что хулитель и защитник знают многих из тех, кто служил у Геза в разное время. Начались бесконечные попреки и оценки,

брань и ярость фактов, сопровождаемых биением кулака в грудь. Как ни был я поглощен этим столкновением, я все же должен был спешить к Брауну.

Вывеска конторы «Арматор и Груз» была отсюда через три дома. Я вошел в прохладное помещение с опущенными на солнечной стороне занавесями, где среди деловых столов, перестрелки пишущих машин и сдержанных разговоров служащих ко мне вышел угрюмый человек в золотых очках.

Прошло несколько минут ожидания, пока он, доложив обо мне, появился из кабинета Брауна; уже не угрюмо, а приветливо поклонясь, он открыл дверь, и я, войдя в кабинет, увидел одного из главных хозяев, с которым мне следовало теперь говорить.

ГЛАВА VIII

Я был очень рад, что вижу дельца, настоящего дельца, один вид которого создавал ясное настроение дела и точных ощущений текущей минуты. Так как я разговаривал с ним первый раз в жизни, а он меня совершенно не знал,— не было опасений, что наш разговор выйдет из делового тона в сомнительный, сочувствующий тон, почти неизбежный, если дело касается лечебной морской прогулки. В противном случае, по обстоятельствам дела, я мог возбудить подозрение в сумасбродстве, вызывающее натянутость. Но Браун едва ли любил рассматривать яйцо на свет. Как собеседник, это был человек хронически несвободной минуты, пожертвованной ближнему ради морально обязывающего пойти навстречу письма.

Рыжие остриженные волосы Брауна торчали с правильностью щетины на щетке. Сухая, высокая голова с гладким затылком, как бы намеренно крепко сжатые губы и так же крепко, цепко направленный прямо в лицо взгляд черных прищуренных глаз производили впечатление точного математического прибора. Он был долговяз, нескладен, уверен и внезапен в движениях; одет элегантно; разговаривая, он держал карандаш, гладя его концами пальцев. Он гладил его то быстрее, то тише, как бы дирижируя порядок и появление слов. Прочтя письмо бесстрастным движением глаз, он согнул угол бритого рта в заученную улыбку, откинулся на кресло и громким, хорошо поставленным голосом

объявил мне, что ему всегда приятно сделать что-нибудь для Филатра или его друзей.

— Но,— прибавил Браун, скользнув пальцами по карандашу вверх,— возникла неточность. Судно это не принадлежит мне; оно собственность Геза, и хотя он, как я думаю,— тут, повертев карандаш, Браун уставил его конец в подбородок,— не откажет мне в просьбе уступить вам каюту, вы все же сделали бы хорошо, потолковав с капитаном.

Я ответил, что разговор был и что капитан Гез не согласился взять меня пассажиром на борт «Бегущей по волнам». Я прибавил, что говорю с ним, Брауном, единственно по указанию Геза о принадлежности корабля ему. Это положение дела я представил без всех его странностей, как обычный случай или естественную помеху.

У Брауна мелькнуло в глазах неизвестное мне соображение. Он сделал по карандашу три задумчивые скольжения, как бы сосчитывая главные свои мысли, и дернул бровью так, что не было сомнения в его замешательстве. Наконец, приняв прежний вид, он посвятил меня в суть дела.

— Относительно капитана Геза,— задумчиво сказал Браун,— я должен вам сообщить, что этот человек почти навязал мне свое судно. Гез некогда служил у меня. Да, юридически я являюсь собственником этого крайне мне надоевшего корабля; и так произошло оттого, что Вильям Гез обладает воистину змеиным даром горячего, толкового убеждения,—правильнее, способности закружить голову человеку тем, что ему совершенно не нужно. Однажды он задолжал крупную сумму. Спасая корабль от ареста, Гез сумел вытащить от меня согласие внести корабль в мой реестр. По запродажным документам, не стоившим мне ни гроша, оно значится моим, но не более. Когда-то я знал отца Геза. Сын ухитрился привести с собою тень покойника — очень хорошего, неглупого человека — и яростно умолял меня спасти «Бегущую по волнам». Как вы видите,— Браун показал через плечо карандашом на стену, где в щегольских рамах красовались фотографии пароходов, числом более десяти;— никакой особой корысти извлечь из такой сделки я не мог бы при всем желании, а потому не вижу греха, что рассказал вам. Итак, у нас есть козырь против капризов Геза. Он лежит в моих с ним взаимных отношениях. Вы едете; это решено, и я напишу Гезу записку, содержание которой даст ему случай оказать

вам любезный прием. Гез—сложный, очень тяжелый человек. Советую вам быть с ним настороже, так как никогда нельзя знать, как он поступит.

Я выслушал Брауна без смущения. В моей душе накрепко была закрыта та дверь, за которой тщетно билось и не могло выбиться ощущение щекотливости, даже, строго говоря, насилия, к которому я прибегал среди этих особых обстоятельств действия и места.

Окончив речь, Браун повернулся к столу и покрыл размашистым почерком лист блокнота, запечатав его в конверт резким, успокоительным движением. Я спросил, не знает ли он истории корабля, на что, несколько помедлив, Браун ответил:

— Оно приобретено Гезом от частного лица. Но не могу вам точно сказать, от кого и за какую сумму. Красивое судно, согласен. Теперь оно отчасти приспособлено для грузовых целей, но его тип—парусный особняк. Оно очень быстроходно, и, отправляясь завтра, вы, как любитель, испытаете удовольствие скользить как бы на огромном коньке, если будет хороший ветер.—Браун взглянул на барометр.—Должен быть ветер.

— Гез сказал мне, что простоит месяц.

— Это ему мгновенно пришло в голову. Он уже был сегодня и говорил про завтрашний день. Я знаю даже его маршрут: Гель-Гью, Тоуз, Кассет, Зурбаган. Вы еще зайдете в Дагон за грузом железных изделий. Но это лишь несколько часов расстояния.

— Однако у него не осталось ни одного матроса.

— О, не беспокойтесь об этом. Такие для других трудности—для Геза все равно, что снять шляпу с гвоздя. Уверен, что он уже набил кубрик головорезами, которым только мигни, как их явится легион.

Я поблагодарил Брауна и, получив крепкое напутственное рукопожатие, вышел с намерением употребить все усилия, чтобы смягчить Гезу явную неловкость его положения.

ГЛАВА IX

Не зная еще, как взяться за это, я подошел к судну и увидел, что Браун прав: на палубе виднелись матросы. Но это не был отборный, красивый народ хорошо поставленных корабельных хозяйств. По-видимому, Гез взял первых попавшихся под руку.

Справясь, я разыскал Гёза в капитанской каюте. Он сидел за столом с Бутлером, проверяя бумаги и отсчитывая на счетах.

— Очень рад вас видеть,— сказал Гёз после того, как я поздоровался и уселся. Бутлер слегка улыбнулся, и мне показалось, что его улыбка относится к Гёзу.— Вы были у Брауна?

Я отдал ему письмо. Он распечатал, прочел, взглянул на меня, на Бутлера, который смотрел в сторону, и откашлялся.

— Следовательно, вы устроились,— сказал Гёз, улыбаясь и засовывая письмо в жилетный карман.— Я искренно рад за вас. Мне неприятно вспоминать ночной разговор, так как я боюсь, не поняли ли вы меня превратно. Я считаю большой честью знакомство с вами. Но мои правила действительно против присутствия пассажиров на грузовом судне. Это надо понимать в порядке дисциплины, и ни в каком более. Впрочем, я уверен, что у нас с вами установятся хорошие отношения. Я вижу, вы любите море. Море! Когда произнесешь это слово, кажется, что вышел гулять, посматривая на горизонт. Море...— Он задумался, потом продолжал: — Если Браун так сильно желает, я искренно уступаю и перехожу в другой галс. Завтра чуть свет мы снимаемся. Первый заход в Дагон. Оттуда повезем груз в Гель-Гью. Когда вам будет угодно перебраться на судно?

Я сказал, что мое желание — перевезти вещи немедленно. Почти приятельский тон Гёза, его нежное отношение к морю, вчерашняя брань и сегодняшняя учтивость заставили меня думать, что, по всей видимости, я имею дело с человеком неуравновешенным, импульсивным, однако умеющим обуздать себя. Итак, я захотел узнать размер платы, а также, если есть время, взглянуть на свою каюту.

— Вычтите из итога и накиньте комиссионные,— сказал, вставая, Гёз Бутлеру. Затем он провел меня по коридору и, открыв дверь, стал на пороге, сделав рукой широкий, приглашающий жест.

— Это одна из лучших кают,— сказал Гёз, входя за мной.— Вот умывальник, шкап для книг и несколько еще мелких шкапчиков и полок для разных вещей. Стол — общий, а впрочем, по вашему желанию, слуга доставит сюда все, что вы пожелаете. Матросами я не могу похвастаться. Я взял их на один рейс. Но слуга

попался хороший, славный такой мулат; он служил у меня раньше, на «Эригоне».

Я был — смешно сказать — тронут: так теперешнее обращение капитана звучало непохоже на его дрянной, искусственно флегматичный и — потом — зверский тон сегодняшней ночи. Неоспоримо-хозяйские права Гёза начали меня смущать; вздумай он категорически заявить их, я, по всей вероятности, счел бы нужным извиниться за свое вторжение, замаскированное мнимыми правами Брауна. Но отступить, то есть отказаться от плавания, я теперь не мог. Я надеялся, что Гёз передумает сам, желая извлечь выгоду. К великому моему удовольствию, он заговорил о плате, одном из наилучших регуляторов всех запутанных положений.

— Относительно денег я решил так,— сказал Гёз, выходя из каюты,— вы уплачиваете за стол, помещение и проезд двести фунтов. Впрочем, если это для вас дорого, мы можем потолковать впоследствии.

Мне показалось, что из глаза в глаз Гёза, когда он умолк, перелетела острая искра удовольствия назвать такую сумасшедшую цифру. Взбешенный, я пристально всмотрелся в него, но не выдал ничем великого своего удивления. Я быстро сообразил, что это мой козырь. Уплатив Гёзу двести фунтов, я мог более не считать себя обязанным ему ввиду того, как обдуманно он оценил свою уступчивость.

— Хорошо,— сказал я,— я нахожу сумму незатруднительной. Она справедлива.

— Так,— ответил Гёз тоном испорченного вдруг настроения. Возникла натянутость, но он тотчас ее замял, начав жаловаться на уменьшение фрахтов; потом, как бы спохватясь, попрощался: — Накануне отплытия всегда много хлопот. Итак, это дело решенное.

Мы расстались, и я отправился к себе, где немедленно позвонил Филатру. Он был рад услышать, что дело слажено, и мы условились встретиться в четыре часа дня на «Бегущей по волнам», куда я рассчитывал приехать значительно раньше. После этого мое время прошло в сборах. Я позавтракал и уложил вещи, устав от мыслей, за которые ни один дельный человек не дал бы ломаного гроша; затем велел вынести багаж и приехал к кораблю в то время, когда Гёз сходил на набережную. Его сопровождали Бутлер и второй помощник — Синкрайт, молодой человек с хитрым, неприятным лицом. Увидев меня, Бутлер вежливо поклонился, а Гёз,

небрежно кивнув, отвернулся, взял под руку Синкрайта и стал говорить с ним. Он оглянулся на меня, затем все трое скрылись в арке Трехмильного проезда.

На корабле меня, по-видимому, ждали. Из дверей кухни выглянула голова в колпаке, скрылась, и немедленно явился расторопный мулат, который взял мои вещи, поместив их в приготовленную каюту.

Пока он разбирал багаж, а я, сев в кресло, делал ему указания, мы понемногу разговорились. Слугу звали Гораций, что развеселило меня, как уместное напоминание о Шекспире в одном из наиболее часто цитируемых его текстов. Гораций подтвердил указанное Брауном направление рейса, как сам слышал это, но в его болтовне я не отметил ничего странного или особенного по отношению к кораблю. Особенное было только во мне. «Бегущая по волнам» шла без груза в Дагон, где предстояло грузить ее тремястами ящиков железных изделий. Наивно и представительно красуясь здоровенной грудью, обтянутой кокосовой сеткой, выпячивая ее, как петух, и скаля на каждом слове крепкие зубы, Гораций, наконец, проговорился. Эта интимность возникла вследствие золотой монеты и разрешения докурить потухшую сигару. Его сообщение встревожило меня больше, чем предсказание шторма.

— Я должен вам сказать, господин,— проговорил Гораций, потирая ладони,— что будет очень, очень весело. Вы не будете скучать, если правда то, что я подслушал. В Дагоне капитан хочет посадить девиц, дам — прекрасных синьор. Это его знакомые. Уже приготовлены две каюты. Там уже поставлены: духи, хорошее мыло, одеколон, зеркала; постлано тонкое белье. А также закуплено много вина. Вино будет всем — и мне и матросам.

— Недурно,— сказал я, начиная понимать, какого рода дам намерен пригласить Гез в Дагоне.— Надеюсь, они не его родственницы?

В выразительном лице Горация перемигнулось все, от подбородка до вывернутых белков глаз. Он щелкнул языком, покачал головой, увел ее в плечи и стал хохотать.

— Я не приму участия в вашем веселье,— сказал я.— Но Гез может, конечно, развлекаться, как ему нравится.

С этим я отослал мулата и запер дверь, размышляя о слышанном.

Зная свойство слуг всячески раздувать сплетню, а также, в ожидании наживы, присочинять небылицы,

которыми надеются угодить, я ограничился тем, что принял пока к сведению веселые планы Геза, и так как вскоре после того был подан обед в каюту (капитан отправился обедать в гостиницу), я съел его, очень довольный одиночеством и кушаньями. Я докуривал сигару, когда Гораций постучал в дверь, впустив изнемогающего от зноя Филатра. Доктор положил на койку коробку и сверток. Он взял мою руку левой рукой и сверху дружески прикрыл правой.

— Что же это? — сказал он. — Я поверил по-настоящему, только когда увидел на корме ваши слова и — теперь — вас; я окончательно убедился. Но трудно сказать, в чем сущность моего убеждения. В этой коробке лежат карты для пасьянсов и шоколад, более ничего. Я знаю, что вы любите пасьянсы, как сами говорили об этом: «Пирамида» и «Красное-черное».

Я был тронут. По молчаливому взаимному соглашению мы больше не говорили о впечатлении случая с «Бегущей по волнам», как бы опасаясь повредить его странно наметившееся хрупкое очертание. Разговор был о Гезе. После моего свидания с Брауном Филатр говорил с ним в телефон, получив более полную характеристику капитана.

— По-видимому, ему нельзя верить, — сказал Филатр. — Он вас, разумеется, возненавидел, но деньги ему тоже нужны; так что хотя ругать вас он остережется, но я боюсь, что его ненависть вы почувствуете. Браун настаивал, чтобы я вас предупредил. Ссоры Геза многочисленны и ужасны. Он легко приходит в бешенство, редко бывает трезв, а к чужим деньгам относится как к своим. Знайте также, что, насколько я мог понять из намеков Брауна, «Бегущая по волнам» присвоена Гезом одним из тех наглых способов, в отношении которых закон терзается, но молчит. Как вы относитесь ко всему этому?

— У меня два строя мыслей теперь, — ответил я. — Их можно сравнить с положением человека, которому вручена шкатулка с условием: отомкнуть ее по приезде на место. Мысли о том, что может быть в шкатулке, — это один строй. А второй — обычное чувство путешественника, озабоченного вдобавок душевным скрипом отношений к тем, с кем придется жить.

Филатр пробыл у меня около часа. Вскоре разговор перешел к интригам, которые велись в госпитале против него, и обещаниям моим написать Филатру о том, что будет со мной, но в этих обыкновенных речах

неотступно присутствовали слова: «Бегущая по волнам», хотя мы и не произносили их. Наш внутренний разговор был другой. След утреннего признания Филатра еще мелькал в его возбуждении. Я думал о неизвестном. И сквозь слова каждый понимал другого в его тайном полнее, чем это возможно в заразительном, увлекающем признании.

Я проводил его и вышел с ним на набережную. Расставаясь, Филатр сказал:

— Будьте с легкой душой и хорошим ветром!

Но по ощущению его крепкой, горячей руки и взгляду я услышал больше, как раз то, что хотел слышать. Надеюсь, что он также услышал невысказанное пожелание мое в моем ответе:

— Что бы ни случилось, я всегда буду помнить о вас.

Когда Филатр скрылся, я поднялся на палубу и сел в тени кормового тента. Взглянув на звук шагов, я увидел Синкрайта, остановившегося неподалеку и сделавшего нерешительное движение подойти. Ничего не имея против разговора с ним, я повернулся, давая понять улыбкой, что угадал его намерение. Тогда он подошел, и лишь теперь я заметил, что Синкрайт сильно навеселе, сам чувствует это, но хочет держаться твердо. Он представился, пробормотал о погоде и, думая, может быть, что для меня самое важное — обрести чувство устойчивости, заговорил о Гезе.

— Я слышал,— сказал он, присматриваясь ко мне,— что вы не поладили с капитаном. Верно, поладить с ним трудно, но, если уж вы с ним поладили,— этот человек сделает все. Я всей душой на его стороне; скажу прямо: это — моряк. Может быть, вы слышали о нем плохие вещи; смею вас уверить,— все клевета. Он вспыльчив и самолюбив,— о, очень горяч! Замечательный человек! Стоит вам пожелать — и Гез составит партию в карты хоть с самим чертом. Велик в работе и маху не даст в баре: три ночи может не спать. У нас есть также библиотека. Хотите, я покажу ее вам? Капитан много читает. Он и сам покупает книги. Да, это образованный человек. С ним стоит поговорить.

Я согласился посмотреть библиотеку и пошел с Синкрайтом. Остановясь у одной двери, Синкрайт вынул ключи и открыл ее. Это была большая каюта, обтянутая узорным китайским шелком. В углу стоял мраморный умывальник с серебряным зеркалом и туа-

летным прибором. На столе черного дерева, замечательной работы, были бронзовые изделия, морские карты, бинокль, часы в хрустальном столбе; на стенах — атмосферические приборы. Хороший ковер и койка с тонким бельем, с шелковым одеялом,— все отмечало любовь к красивым вещам, а также понимание их тонкого действия. Из полуоткрытого стенного углубления с дверцей виднелась аккуратно уложенная стопа книг; несколько книг валялось на небольшом диване. Ящик с книгами стоял между стеной и койкой.

Я осматривался с недоумением, так как это помещение не могло быть библиотекой. Действительно, Синкрайт тотчас сказал:

— Каково живет капитан? Это его каюта. Я ее показал затем, что здесь во всем самый тонкий вкус. Вот сколько книг! Он очень много читает. Видите, все это книги, и самые разные.

Не сдержав досады, я ответил ему, что мои правила против залезания в чужое жилье без ведома и согласия хозяина.

— Это вы виноваты,— прибавил я.— Я не знал, куда иду. Разве это библиотека?

Синкрайт озадаченно помолчал: так, видимо, изумили его мои слова.

— Хорошо,— сказал он угасшим тоном.— Вы сделали мне замечание. Оно, допустим, правильное замечание, однако у меня вторые ключи от всех помещений, и...— Не зная, что еще сказать, он закончил: — Я думаю, это пустяки. Да, это пустяки,— уверенно повторил Синкрайт.— Мы здесь все — свои люди.

— Пройдем в библиотеку,— предложил я, не желая останавливаться на его запутанных объяснениях.

Синкрайт запер каюту и провел меня за салон, где открыл дверь помещения, окруженного по стенам рядами полок. Я определил на глаз количество томов тысячи в три. Вдоль полок, поперек корешков книг, были укреплены сдвижные медные полосы, чтобы книги не выпадали во время качки. Кроме дубового стола с письменным прибором и складного стула, здесь были ящики, набитые журналами и брошюрами.

Синкрайт объяснил, что библиотека устроена прежним владельцем судна, но за год, что служит Синкрайт, Гез закупил еще томов триста.

— Браун не ездит с вами? — спросил я.— Или он временно передал корабль Гезу?

На мою хитрость, цель которой была заставить Синкрайта разговориться, штурман ответил уклончиво, так что, оставив эту тему, я занялся книгами. За моим плечом Синкрайт восклицал: «Смотрите, совсем новая книга, и уже листы разрезаны!» — или: «Впору университету такая библиотека». Вместе с тем завел он разговор обо мне, но я, сообразив, что люди этого сорта каждое излишне сказанное слово обращают для своих целей, ограничился внешним положением дела, пожаловавшись, для разнообразия, на переутомление.

Я люблю книги, люблю держать их в руках, пробегая заглавия, которые звучат как голос за таинственным входом или наивно открывают содержание текста. Я нашел книги на испанском, английском, французском и немецком языках и даже на русском. Содержание их было различное: история, математика, философия, редкие издания с описаниями старинных путешествий, морских битв, книги по мореходству и справочники, но более всего романы, где рядом с Теккереем и Мопассаном пестрели бесстыдные обложки парижской альковной макулатуры.

Между тем смеркалось; я взял несколько книг и пошел к себе. Расставшись с Синкрайтом, провел в своей отличной каюте часа два, рассматривая карты — подарок Филатра. Я улыбнулся, взглянув на крап: одна колода была с миниатюрой корабля, плывущего на всех парусах в резком ветре, крап другой колоды был великолепный натюрморт — золотой кубок, полный до краев алым вином, среди бархата и цветов. Филатр думал, какие колоды купить, ставя себя на мое место. Немедленно я разложил трудный пасьянс, и, хотя он вышел, я подозреваю, что только по невольной в чем-то ошибке.

В половине восьмого Гораций возвестил, что капитан просит меня к столу — ужинать.

Когда я вошел, Гез, Бутлер, Синкрайт уже были за столом в общем салоне.

ГЛАВА X

Гез кратко приветствовал меня, и я заметил, что он не в духе, так как избегал моего взгляда.

Бутлер, наиболее симпатичный человек в этой компании, откашлявшись, сделал попытку завязать общий

разговор путем рассуждения о предстоящем рейсе, но Гез перебил его хозяйственными замечаниями касательно провизии и портовых сборов. На мои вопросы, относящиеся к плаванию, Гез кратко отвечал: «Да», «нет», «увидим». В течение ужина он ни разу сам не обратился ко мне.

Перед ним стоял большой графин с водкой, которую он пил методически, медленно и уверенно, пока не осушил весь графин. Его разговор с помощниками показал мне, что новая, наспех нанятая команда — лишь наполовину кое-что стоящие матросы; остальные были просто портовый сброд, требующий неусыпного надзора. Они говорили еще о людях и отношениях, которые мне были неизвестны. Бутлер с Синкрайтом пили если и не так круто, как Гез, то все же порядочно. Никто не настаивал, чтобы я пил больше, чем хочу сам. Я выпил немного. Прислуживая, Гораций возился с моим прибором несколько тщательнее, чем у других, желая, должно быть, показать, как надо обходиться с гостями. Гез, приметив это, косо посмотрел на него, но ничего не сказал.

Из всего, что было сказано за этой неловкой и мрачной трапезой, меня заинтересовали следующие слова Синкрайта:

— Луиза пишет, что она пригласила Мари, а та, должно быть, никак не сможет расстаться с Юлией, почему придется дать им две каюты.

Все расхохотались своим, имеющим, конечно, особое значение, мыслям.

— У нас будут дамы,— сказал, вставая из-за стола и взглядом наблюдая меня, Гез.— Вас это не беспокоит?

Я ответил, что мне все равно.

— Тем лучше,— заявил Гез.

Наверху раздался крик, но не крик драки, а крик делового замешательства, какие часто бывают на корабле. Бутлер отправился узнать, в чем дело; за ним вскоре вышел Синкрайт. Капитан, стоя, курил, и я воспользовался уходом помощников, чтобы передать ему деньги. Он взял ассигнации особым надменным жестом, очень тщательно пересчитал и подчеркнуто поклонился. В его глазах появился значительный и веселый блеск.

— Партию в шахматы?— сказал он учтиво.— Если вам угодно.

Я согласился. Мы поставили шахматный столик и сели. Фигуры были отличной слоновой кости, хорошей художественной работы. Я выразил удивление, что вижу на грузовом судне много красивых вещей.

Хотя Гез был наверняка пьян, пьян привычно и естественно для него,— он не выказал своего опьянения ничем, кроме голоса, ставшего отрывистым, так как он боролся с желудком.

— Да,— сказал Гез,— были ухлопаны деньги. Как вы, конечно, заметили, «Бегущая по волнам» — бригантина, но на особый лад. Она выстроена согласно личному вкусу одного... он потом разорился. Итак,— Гез повертел королеву,— с женщинами входит шум, трепет, крики; конечно — беспокойство. Что вы скажете о путешествии с женщинами?

— Я не составил взгляда на такое обстоятельство,— ответил я, делая ход.

— Вам это должно нравиться,— продолжал Гез, делая соответствующий ход так рассеянно, что я увидел всю партию.— Должно, потому, что вы — я говорю это без мысли обидеть вас,— появились на корабле более чем оригинально. Я угадываю дух человека.

— Надеюсь, вы пригласили женщин не для меня?

Он молчал, трудясь над задачей, которую я поставил ему ферязью и конем. Внезапно он смешал фигуры и объявил, что проиграл партию. Так повторилось два раза; наконец я обманул его ложной надеждой и объявил мат в семь ходов. Гез был красен от раздражения. Когда он ссыпал шахматы в ящик стола, его руки дрожали.

— Вы сильный игрок,— объявил Гез.— Истинное наслаждение было мне играть с вами. Теперь поговорим о деле. Мы выходим утром в Дагон, там берем груз и плывем в Гель-Гью. Вы не были в Гель-Гью? Он лежит по курсу на Зурбаган, но в Зурбагане мы будем не раньше как через двадцать — двадцать пять дней.

Разговор кончился, и я ушел к себе, думая, что общество капитана несколько утомительно.

Остаток вечера я просидел за книгой, уступая время от времени нашествию мыслей, после чего забывал, что читаю. Я заснул поздно. Эта первая ночь на судне прошла хорошо. Изредка просыпаясь, чтобы повернуться на другой бок или поправить подушки, я чувствовал едва заметное покачивание своего жилища и засыпал опять, думая о чужом, новом, неясном.

ГЛАВА XI

Я еще не совсем выспался, когда, пробудясь на рассвете, понял, что «Бегущая по волнам» больше не стоит у мола. Каюта опускалась и поднималась в медленном темпе крутой волны. Начало звякать и скрипеть по углам; было то всегда невидимое соотношение вещей, которому обязаны мы бываем ощущением движения. Шарахающийся плеск вдоль борта, неровное сотрясение, неустойчивость тяжести собственного тела, делающегося то грузнее, то легче, отмечали каждый размах судна.

На палубе раздавались шаги, как когда ходят по крыше над головой. Встав, я посмотрел в иллюминатор на море и увидел, что оно омрачено ветром с мелким дождем. По радости, охватившей меня, я понял, как бессознательно еще вчера испытывал неуверенность, неуверенность бессвязную, выразить которую ясной причиной сознание не может по отсутствию материала. Я оделся и позвонил, чтобы принесли кофе. Скоро пришел Гораций, объявив, что повар только начал топить плиту, почему предложил вина, но я решил обождать кофе, а от вина отказался, ограничиваясь полустаканом холодного пунша, который держал всегда в дороге и дома. Спросив, где мы находимся, я узнал, что, не будь дождя, Лисс был бы виден на расстоянии часа пути.

— Хороший ветер,— прибавил Гораций.— Капитан Гез держит вахту, так что вам завтракать без него.

При этом он посмотрел на меня просто, как бы без умысла, но я понял, что этот человек подмечает все отношения.

Первые часы отплытия всегда праздничны и напряженны, при солнце или дожде,— все равно; поэтому я с нетерпением вышел на палубу. Меня охватило хорошо знакомое, любимое мною чувство полного хода, не лишенное беспричинной гордости и сознания живописного соучастия. Я был всегда плохим знатоком парусной техники как по бегучему, так и по стоячему такелажу, но зрелище развернутых парусов над закинутым, если смотреть вверх, лицом таково, что видеть их, двигаясь с ними,— одно из бескорыстнейших удовольствий, не требующих специального знания. Просвечивающие, стянутые к концам рей острыми углами, великолепные парусные изгибы

нагромождены вверху и вокруг. Их полет заключен среди резко неподвижных снастей. Паруса мчат медленно ныряющий корпус, а в них, давя вперед, нагнетая и выпирая, запутался ветер.

«Бегущая по волнам» шла на резком попутном ветре со скоростью, как я взглянул на лаг, пятнадцати морских миль. В серых пеленах неба таилось неопределенное обещание солнечного луча. У компаса ходил Гёз. Увидев меня, он сделал вид, что не заметил, и отвернулся, говоря с рулевым.

Пробыв на палубе более получаса, я сошел вниз, где застал Бутлера, дожидающегося завтрака; и мы повели разговор. Я ожидал расспросов с его стороны, но этот человек вел себя так, как если бы давно знал меня; мне такая манера нравилась. Вскоре явился Синкрайт, отсыревший и просвеженный; вчерашний хмель сказывался у него бледностью; руки дрожали. В то время как сумрачный Бутлер говорил мало, Синкрайт говорил много и надоедливо. Так, он подробно, мелочно ругал каждого из матросов, обращаясь ко мне с разъяснениями, которых я не спрашивал. Потом он начал напоминать Бутлеру подробности вчерашнего обеда в гостинице, копаясь в отношениях с неизвестными мне людьми. Им овладела похмельная нервность. Между тем, желая точно узнать направление и все заходы корабля, я обратился к Бутлеру с просьбой рассказать течение рейса, так как не полагался на слова Гёза.

Не дав ничего сказать Бутлеру, которому было, пожалуй, все равно,— говорить или не говорить, Синкрайт тотчас предложил сходить вместе с ним в каюту Гёза, где есть подробная карта. Мне не хотелось лезть к Гёзу, относительно которого следовало, даже в мелочах, держаться настороже, тем более — с Синкрайтом, сильно не нравящимся мне всей своей повадкой, и я колебался, но, подумав, решил, что идти все-таки лучше, чем просить Синкрайта об одолжении принести карту. Я встал, и мы прошли в каюту Гёза, где Синкрайт вынул из клеенчатой папки несколько морских карт, разыскав ту, которая требовалась.

— Я слышал,— сказал Синкрайт,— что вам все равно, куда мы плывем, поэтому вначале я удивился, услышав ваше желание.

— Мне это действительно все равно,— ответил я, морщась от его угодливой улыбки,— но такое отношение не мешает законному любопытству.

Синкрайт ненатурально и без нужды захохотал, вызвав тем у меня желание хлопнуть его по плечу, сказав:

«Вы подделываетесь ко мне на всякий случай, но, милый мой, я это отлично вижу».

Я стоял у стола, склонясь над картой. Раскладывая ее, Синкрайт отвел верхний угол карты рукой, сделав движение вправо от меня, и, машинально взглянув по этому направлению, я увидел сбоку чернильного прибора фотографию под стеклом. Это было изображение девушки, сидевшей на чемоданах.

ГЛАВА XII

Я узнал ее сразу благодаря искусству фотографа и особенности некоторых лиц быть узнанными без колебания на любом, даже плохом изображении, так как их черты вырезаны твердой рукой сильного впечатления, возникшего при особых условиях. Но это было не плохое изображение. Неизвестная сидела, облокотясь правой рукой; левая рука лежала на сдвинутых коленях. Особый, интимный наклон головы к плечу смягчал чинность позы. На девушке было темное платье с кружевным вырезом. Снимаясь, она улыбнулась, и след улыбки остался на ее светлом лице.

Главной моей заботой было теперь, чтобы Синкрайт не заметил, куда я смотрю. Узнав девушку, я тотчас опустил взгляд, продолжая видеть портрет среди меридианов и параллелей, и перестал понимать слова штурмана. Соединить мысли с мыслями Синкрайта хотя бы мгновением на этом портрете — казалось мне нестерпимо.

Хотя я видел девушку всего раз, на расстоянии, и не говорил с ней, — это воспоминание стояло в особом порядке. Увидеть ее портрет среди вещей Геза было для меня словно живая встреча. Впечатление повторилось, но т е п е р ь — резко и тяжело; оно неестественно соединялось с личностью Геза. В это время Синкрайт сказал:

— Отсюда идет течение; даже при слабом ветре можно сделать...

— От десяти до двенадцати миль, — сказал Гез позади меня. Я не слышал, как он вошел. — Синкрайт, — продолжал Гез, — ваша вахта началась четыре минуты назад. Ступайте, я покажу карту.

Синкрайт, спохватясь, ринулся и исчез.

Обветренное лицо Геза носило следы плохо проведенной ночи. Он курил сигару. Не снимая дождевого плаща и сдвинув на затылок фуражку, Гез оперся рукой о карту, водя по ней дымящимся концом сигары и говоря о значении пунктиров, красных линий, сигналов. Я понял лишь, что он рассчитывает быть в Гель-Гью дней через пять-шесть. Затем он скинул кожаный плащ, фуражку и сел, вытянув ноги. Я сел к портрету затылком, чтобы избежать случайного, щекотливого для меня разговора. Я чувствовал, что мой интерес к Биче Сениэль еще слишком живо всколыхнут, чтобы пройти незамеченным такому пройдохе, как Гез,— навязчивое самовнушение, обычно приводящее к результату, которого стремишься избежать.

Взгляд Геза был устремлен на пуговицы моего жилета. Он медленно поднимал голову; встретясь наконец с моим взглядом, капитан, прокашлявшись, стал протирать глаза, отгоняя рукой дым сигары.

— Как вам нравится Синкрайт?—сказал он, протягивая руку к столу—стряхнуть пепел. При этом, не поворачиваясь, я знал, что, взглянув мельком на стол, он посмотрел на портрет. Этот рассеянный взгляд ничего не сказал мне. Я рассматривал Геза по-новому. Он предстал теперь на фоне потаенного, внезапно установленного мной отношения к т о й девушке, и от сильного желания понять суть отношения—но понять без расспросов—я придал его взгляду на портрет разнообразное значение. Как бы там ни было, Филатр оказался прав, когда заметил, что «обозначается действие», а он сказал это. Я сам, открыв портрет, был уже твердо, окончательно убежден, что события приведут к действию.

Итак, я ответил на вопрос о Синкрайте:

— Синкрайт, как всякий человек первого дня пути,—человек, похожий на всех: с руками и головой.

— Дрянь человек,—сказал Гез. Его несколько злобное утомление исчезло; он погасил окурок, стал вдруг улыбаться и тщательно расспросил меня, как я себя чувствую—во всех отношениях жизни на корабле. Ответив, как надо, то есть бессмысленно по существу и прилично-разумно по форме, я встал, полагая, что Гез отправится завтракать. Но на мое о том замечание Гез отрицательно покачал головой, выпрямился, хлопнул руками по коленям и вынул из нижнего ящика стола скрипку.

Увидев это, я поддался соблазну сесть снова. Задумчиво рассматривая меня, как если бы я был нотный лист, капитан Гёз тронул струны, подвинтил колки и наладил смычок, говоря:

— Если будет очень противно, скажите немедленно.

Я молча ждал. Зрелище человека с желтым лицом, с опухшими глазами, сунувшего скрипку под бороду и делающего головой движения, чтобы удобнее пристроить инструмент, вызвало у меня улыбку, которую Гёз заметил, немедленно улыбнувшись сам, снисходительно и застенчиво. Я не ожидал хорошей игры от его больших рук и был удивлен, когда первый же такт показал значительное искусство. Это был этюд Шопена. Играя, Гёз встал, смотря в угол, за мою спину; затем его взгляд, блуждая, остановился на портрете. Он снова перевел его на меня и, доигрывая, опустил глаза.

Спенсер советует устраивать скрипичные концерты в помещениях, обитых тонкими сосновыми досками на полфута от основной стены, чтобы извлечь резонанс, необходимый, по его мнению, для ограниченной силы звука скрипки. Но не для всякой композиции хорош этот рецепт, и есть вещи, сила которых в их содержании. Шепот на ухо может иногда потрясти, как гром, а гром — вызвать взрыв смеха. Этот страстный этюд и порывистая манера Гёза вызвали все напряжение, какое мы отдаем оркестру. Два раза Гёз покачнулся при колебании судна, но с нетерпением возобновлял прерванную игру. Я услышал резкие и гордые стоны, жалобу и призыв; затем несколько ворчаний, улыбок, смолкающий напев о былом — Гёз, отняв скрипку, стал сумрачно ее настраивать, причем сел, вопросительно взглядывая на меня.

Я похвалил его игру. Он, если и был польщен, ничем не показал этого. Снова взяв инструмент, Гёз принялся выводить дикие фиоритуры, томительные скрипучие диссонансы — и так, притворно, увлекся этим, что я понял необходимость уйти. Он меня выпроваживал.

Видя, что я решительно встал, Гёз опустил смычок и пожелал приятно провести день — несколько насмешливым тоном, на который теперь я уже не обращал внимания. И я сам хотел быть один, чтобы подумать о происшедшем.

ГЛАВА XIII

Ища случая разрешить загадку портрета, хотя и не имел для этого ни определенных надежд, ни обдуманного, готового плана, я перебрался на палубу и уселся в шезлонг.

Единственным человеком, которого без особого морального насилия над собой я мог бы вовлечь в интересующий меня разговор, был Бутлер. Куря, я стал ожидать его появления. У меня было предчувствие, что Бутлер придет.

Меж тем погода улучшилась; ветер утратил резкость, сырость исчезла, и солнечный свет окреп; хотя ярко он еще не вырывался из туч, но стал теплее тоном. Прошло четверть часа, и Бутлер действительно появился, если не навеселе, то прогнав тяжкий вчерашний хмель стаканчиком полезных размеров.

Мне показалось, что он доволен, увидев меня. Не теряя времени, я пригласил его выкурить сигару, взял бодрый, живой тон, рассказал анекдот и, когда увидел, что он изменил несколько напряженную позу на непринужденную и стал связно произносить довольно длинные фразы,— сказал ему, что «Бегущая по волнам» — самое великолепное парусное судно, какое мне приходилось видеть.

— Оно было бы еще лучше,— сказал Бутлер,— для нас, конечно, если бы могло брать больше груза. Один трюм. Но и тот рассчитан не для грузовых операций. Мы кое-что сделали, сломав внутренние перегородки, и тем увеличили емкость, но все же грузить более двухсот тонн немыслимо. Теперь, при высокой цене фрахта, еще можно существовать, а вот в прошлом году Гез наделал немало долгов.

Я узнал также, что судно построено Нэдом Сениэлем четырнадцать лет назад. При имени «Сениэль» воздух сошелся в моем горле. Я сохранил внимательную неподвижность лица.

— Оно выстроено для прогулок,— говорил Бутлер,— и было раз в кругосветном плавании. Дело, видите ли, в том, что род ныне умершей жены Сениэля в родстве с первыми поселенцами, основателями Гель-Гью; те были выкинуты, очень давно, на берег с брига, называвшегося, как и наше судно, «Бегущая по волнам». Значит, эта история отчасти фамильная, и жена Сениэля выбрала для корабля тоже такое название.

Лет пять назад Нэд Сениэль разорился, когда цена на хлопок пошла вниз. Продал корабль Гезу. Гез с самого начала капитаном «Бегущей»; я здесь недавно. Вся история мне известна от Геза.

— Следовательно,— спросил я,— Гез купил судно после разорения Сениэля?

Смутясь, Бутлер стал молча заклеивать слюной отставший сигарный лист. Он неловко вышел из положения, сказав:

— Теперь, кажется, оно перешло к Брауну. Да, оно так. Впрочем, денежные дела — не моя забота.

Рассчитывая, что на днях мы поговорим подробнее, я не стал больше спрашивать его о корабле. Кто сказал «А», тот скажет и «Б», если его не мучить. Я перешел к Гезу, выразив сожаление, крайне смягченное по остроте своего существа, что капитан бездетен, так как его жизнь, по-видимому, довольно беспутна; она лишена правильных семейных забот.

— Детей?! — сказал Бутлер, делая круглые глаза. Он был невероятно изумлен. Мысль иметь детей Гезу крайне поразила Бутлера.— Да он никогда не был женат. Что это вам пришло в голову?

— Простая самонадеянность. Я был уверен, что капитан Гез женат.

— Никогда. Может быть, вы подумали это потому, что увидели на его столе портрет барышни; ну, так это дочь Сениэля.

Я молчал. Бутлер стал смотреть на носок своего сапога. Я внимательно наблюдал за ним. На его крутом, замкнутом лице выступила улыбка — начало улыбки.

Я не ожидал решительных конфиденций, так как чувствовал, что подошел вплотную к разгадке того обстоятельства, о котором, как о несомненно интимном, Бутлер навряд ли стал бы распространяться подробнее малознакомому человеку. После улыбки, которая начала возникать в лице Бутлера, я сам признал бы подобные разъяснения предательством.

Бутлер усиленно затянулся сигарой, стряхнул пепел с колен и ушел, сославшись на дела.

Я остался. Я думал, не следовало ли рассказать Бутлеру о моей встрече на берегу с Биче Сениэль, но вспомнил, что мне, в сущности, ничего не известно об отношениях Геза и Бутлера. Он мог передать этот разговор капитану, вызвав тем новые осложнения.

Кроме того, почти одновременное прибытие девушки и корабля в Лисс — не произошло ли с ведома и согласия обеих сторон? Разговор с Бутлером как бы подвел меня к запертой двери, но не дал ключа от замка; узнав кое-что, я, как и раньше, знал очень немного о том, почему фотография Биче Сениэль украшает стол Гёза. Человеческие отношения бесконечно разнообразны; я встречал случаи, когда громадный интерес к темному положению распыливался простейшим решением, иногда — пустяком. С другой стороны, надо было признать, что портрет дочери Сениэля, очень красивой и на редкость привлекательной девушки, не мог быть храним Гёзом безотносительно к его чувствам. Со всем тем странно было бы допустить взаимную близость этих двух, столь непохожих людей.

Не делая решительных выводов, то есть представляя их, но оставляя в сомнении, я заметил, как мои размышления о Биче Сениэль стали пристрастны и беспокойны. Воспоминание о ней вызывало тревогу; если мимолетное впечатление ее личности было так пристально, то прямое знакомство могло вызвать чувство еще более сильное и, вероятно, тяжелое, как болезнь. Не один раз наблюдал я это совершенное поглощение одного существа другим — женщиной или девушкой. Мне случалось быть в положении, требующем точного взгляда на свое состояние, и я никогда не мог установить, где подлинное начало этой мучительной приверженности, столь сильной, что нет даже стремления к обладанию; встреча, взгляд, рука, голос, смех, шутка — уже являются облегчением, таким мощным среди остановившей всю жизнь одержимости единственным существом, что радость равна спасению. Но я был на большом расстоянии от прекрасной опасности, и я был спокоен, если можно назвать спокойствием упорное размышление, лишенное терзающего стремления к встрече.

Меж тем солнце пробилось наконец сквозь туманные облачные пласты; по яркому морю кружилась пена. Вскоре я отправился к себе вниз, где, никем не потревоженный, провел в чтении около трех часов. Я читал две книги — одна была в душе, другая в руках.

Приближалось время обеда, который, по корабельным правилам, подавался в час дня. Качать стало медленнее и не так сильно, как утром. Я решил обедать один по той причине, что обед приходился на

вахтенные часы Бутлера и мне предстояло, следовательно, сидеть с Гезом и Синкрайтом. Я никогда не чувствовал себя хорошо в обществе людей, относительно которых ломал голову над каким-либо обстоятельством их жизни, не имея возможности прямо о том сказать. Это о Гезе; что касается Синкрайта,— его ползающая улыбка и сальный взгляд были мне нестерпимы.

Вызвав Горация, я сговорился с ним, узнав, что обед будет несколько раньше часа, потому что близок Дагон, где, как известно, Гез должен погрузить железо.

Скоро мне в каюту подали обед. Я отобедал и, заслышав на палубе оживление, вышел наверх.

ГЛАВА XIV

«Бегущая по волнам» приближалась к бухте, раскинутой широким охватом отступившего в глубину берега. Оттуда шел смутный перебой гула. Гез, Бутлер и Синкрайт стояли у бота. Команда тянула фалы и брасы, переходя от мачты к мачте.

Берег развертывался мрачной перспективой фабричных труб, опоясанных слоями черного дыма. Береговая линия, где угрюмые фасады, акведуки, мосты, краны, цистерны и склады теснились среди рельсовых путей, напоминала затейливый силуэт: так было здесь все черно от угля и копоти. Стон ударов по железу набрасывался со всех концов зрелища; грохот паровых молотов, цикады маленьких молотков, пронзительный визг пил, обморочное дребезжание подвод — все это, если слушать, не разделяя звуков, составляло один крик. Среди рева металлов, отстукивая и частя, выбрасывали гнилой пар сотни всяческих труб. У молов, покрытых складами и сооружениями, вид которых напоминал орудия пытки,— так много крюков и цепей болталось среди этих подобий Эйфелевой башни,— стояли баржи и пароходы, пыля выгружаемым каменным углем.

«Бегущая по волнам» опустила якорь. Паруса упали, потом исчезли. Встретив Бутлера, я спросил, долго ли мы пробудем в Дагоне. Он сказал, что скоро начнут грузить, и действительно, прошло около получаса, как буксир подвел к нам четырехугольный тяжелый баркас, из трюма которого носильщики стали таскать по трапу крепкие деревянные ящики. Чистая палуба

«Бегущей» покрылась грязью и пылью. Я ушел к себе, где некоторое время слышал однообразную звуковую картину: топот босых ног, стук брошенного на скат ящика и хриплые голоса. Так продолжалось часа два. Наконец установилась относительная тишина. Все рабочие, как я видел это в иллюминатор, сошли на шаланду, и буксир потащил ее в порт.

Вскоре после этого к навесному трапу, опущенному по той стороне корабля, где находилась моя каюта, подплыла лодка, управляемая наемным лодочником. Шлюпка прошла так близко от иллюминатора, что я бегло рассмотрел ее пассажиров. Это были три женщины: рыжая, худенькая, с сжатым ртом и прищуренными глазами; крупная, заносчивого вида, блондинка, и третья — бледная, черноволосая, нервного, угловатого сложения. Махая руками, эти три женщины встали, смотря вверх и выкрикивая какие-то отчаянные приветствия. На их плечах были кружевные накидки; волосы подобраны с грубой пышностью, какой принято поражать в известных местах; сильно напудренная, театрально подбоченясь, в шелковых платьях, кольцах и ожерельях, компания эта быстро пересекла круглый экран пространства, открываемого иллюминатором. Я заметил картонки и чемоданы. Гез получил гостей.

Даже не поднимаясь на палубу, я мог отлично представить сцену встречи женщин. Для этого не требовалось изучения нравов. Пока я мысленно видел плохую игру в хорошие манеры, а также ненатурально подчеркнутую галантность,— в отдалении послышалось, как весь отряд бредет вниз. Частые шаги женщин и тяжелая походка мужчин проследовали мимо моей двери, причем на слова, сказанные кем-то вполголоса, раздался взрыв смеха.

В каюте Геза стоял портрет неизвестной девушки. Участники оргии собрались в полном составе. Я плыл на корабле с темной историей и подозрительным капитаном, ожидая должных случиться событий, ради цели неясной и начинающей оборачиваться голосом чувства, так же странного при этих обстоятельствах, как ревнивое желание разобрать, о чем шепчутся за стеной.

Во всем крылся великий и опасный сарказм, зародивший тревогу. Я ждал, что Гез сохранит в распутстве своем, по крайней мере, возможную элегантность,— так я думал по некоторым его личным чертам; но поведение Геза заставило ожидать худших вещей, а по-

тому я утвердился в намерении совершенно уединиться. Сильнее всего мучила меня мысль, что выходя на палубу днем, я рисковал, против воли, быть втянутым в удалую компанию. Мне оставались — раннее, еще дремотное утро и глухая ночь.

Пока я так рассуждал, стало смеркаться. Береговой шум раздавался теперь глуше; я слышал, как под окрики Бутлера ставят паруса, делаются приготовления плыть далее. Брашпиль начал выворачивать якорь, и погромыхивающий треск якорной цепи некоторое время был главным звуком на корабле. Наконец произвели поворот. Я видел, как черный, в огнях берег уходит влево и океан расстилает чистый горизонт, озаренный закатом. Смотря в иллюминатор, я по движению волн, плывущих на меня, но отходящих по борту дальше, назад, минуя окно, заметил, что «Бегущая» идет довольно быстро.

Из столовой донесся торжествующий женский крик; потом долго хохотал Синкрайт. По коридору промчался Гораций, бренча посудой. Затем я слышал, как его распекали. После того неожиданно у моей двери раздались шаги, и подошедший стукнул. Я немедленно открыл дверь.

Это был надушенный и осмелевший Синкрайт, в первом заряде разгульного настроения. Когда дверь открылась,— из салона, сквозь громкий разговор, послышалось треньканье гитар.

Повинуясь моему взгляду, Синкрайт закрыл дверь и преувеличенно вежливо поклонился.

— Капитан Гез просит вас сделать честь пожаловать к столу,— заявил он.

— Передайте капитану мою искреннюю благодарность,— ответил я с досадой,— но скажите также, что я отказываюсь.

— Надеюсь, вас можно убедить,— продолжал Синкрайт,— тем более, что все мы будем очень огорчены.

— Едва ли вы убедите меня. Я намерен провести вечер один.

— Хорошо! — сказал он удивленно и вышел, повторяя: — Жаль, очень жаль!

Предчувствуя дальнейшие покушения, я взял перо, бумагу и сел к столу. Я начал писать Лерху, рассчитывая послать это письмо при первой остановке. Я хотел иметь крупную сумму.

На второй странице письма снова раздался настойчивый стук; не дожидаясь разрешения, в каюту вступил Гез.

ГЛАВА XV

Я повернулся с неприятным чувством зависимости, какое испытывает всякий, если хозяева делаются бесцеремонными.

Гез был в смокинге. Его безукоризненной, в смысле костюма, внешности дико противоречила пьяная судорога лица. Он был тяжело, головокружительно пьян. Подойдя так близко, что я, встав, отодвинулся, опасаясь неустойчивости его тела, Гез оперся правой рукой о стол, а левой подбоченился. Он нервно дышал, стараясь стоять прямо, и сохранял равновесие при качке тем, что сгибал и распрямлял колено. На мою занятость письмом Гез даже не обратил внимания.

— Хотите повеселиться?—сказал он, значительно подмигивая, в то время как его острый, холодный взгляд безучастного к этой фразе лица внимательно изучал меня.— Я намерен установить простые, дружеские отношения. Нет смысла жить врозь.

— Синкрайт был,— заметил я, как мог, миролюбиво.— Он, конечно, передал вам мой ответ.

— Я не поверил Синкрайту, иначе я не был бы здесь,— объявил Гез.— Бросьте это! Я знаю, что вы сердитесь на меня, но всякая ссора должна иметь конец. У нас очень весело.

— Капитан Гез,— сказал я, тщательно подбирая слова и чувствуя приступ ярости; я не хотел поддаться гневу, но видел, что вынужден положить конец дерзкому вторжению, оборвать сцену, начинающую делать меня дураком в моих собственных глазах.— Капитан Гез, я прошу вас навсегда забыть обо мне как о компаньоне по увеселениям. Ваше времяпрепровождение для вас имеет, надо думать, и смысл и оправдание; более я не могу позволить себе рассуждать о ваших поступках. Вы хозяин, и вы у себя. Но я тоже свободный человек, и если вам это не совсем понятно, я берусь повторить свое утверждение и доказать, что я прав.

Сказав так, я ждал, что он пробурчит извинение и уйдет. Он не изменил позу, не шелохнулся, лишь стал еще бледнее, чем был. Откровенная, неистовая ненависть светилась в его глазах. Он вздохнул и засунул руки в карманы.

— Вы нанесли мне оскорбление,— медленно произнес Гез.— Еще никто... Вы выказали мне презрение,

и я вас предупреждаю, что оно попало туда, куда вы метили. Этого я вам не прощу. Теперь я хочу знать: как вы представляете наши отношения дальше?! Хотел бы я знать, да! Не менее тридцати дней продлится мой рейс. Даю слово, что вы раскаетесь.

— Наши отношения точно определены,— сказал я, не видя смысла уступать ему в тоне.— Вы получили двести фунтов, причем я с вами не торговался. Взамен я получил эту каюту, но ваше общество в придачу к ней — не слишком ли незавидная компенсация?

Был один момент, когда, следя за выражением лица Геза, я подумал, что придется выбросить его вон. Однако он сдержался. Пристально смотря мне в глаза, Гез засунул руку во внутренний карман, задержал там ее порывистое движение и торжественно произнес:

— Я тотчас швырну вам эти деньги назад!

Он вынул руку, оказавшуюся пустой, с гневом опустил ее и, повторив, что вернет деньги, добавил: «Вам не придется хвастаться своими деньгами»,— затем вышел, хлопнув дверью.

После этого я немедленно запер каюту ключом и стал у двери, прислушиваясь.

В столовой наступила относительная тишина; меланхолически звучала гитара. Там стали ходить, переговариваться; еще раз пронесся Гораций, крича на ходу: «Готово, готово, готово!» Все показывало, что попойка не замирает, а развертывается. Затем я услышал шум ссоры, женский горький плач и — после всего этого — хоровую песню.

Устав прислушиваться, я сел и погрузился в раздумье. Гез сказал правду: трудно было ждать впереди чего-нибудь хорошего при этих условиях. Я решил, что если ближайший день не переменит всей этой злобной нечистоты в хотя бы подобие спокойной жизни,— самое лучшее для меня будет высадиться на первой же остановке. Я был сильно обеспокоен поведением Геза. Хотя я не видел прямых причин его ненависти ко мне, все же сознавал, что так должно быть. Он был естествен в своей ненависти. Он не понимал меня, я — его. Поэтому, с его характером, образовалось военное положение, и с гневом, с тяжелым чувством безобразия минувшей сцены, я лег, но лег не раздеваясь, так как не знал, что еще может произойти.

Улегшись, я закрыл глаза, скоро опять открыв их. При моем этом состоянии сон был прекрасной, но

наивной выдумкой. Я лежал так долго, еще раз обдумывая события вечера, а также объяснение с Гезом завтра утром, которое считал неизбежным. Я стал наконец надеяться, что когда Гез очнется — если только он сможет очнуться,— я сумею заставить его искупить дикую выходку, в которой он едва ли не раскаивается уже теперь. Увы, я мало знал этого человека!

ГЛАВА XVI

Прошло минут пятнадцать, как, несколько успокоясь, я представил эту возможность. Вдруг шум, слышный на расстоянии коридора, словно бы за стеной, перешел в коридор. Все или почти все вышли оттуда, возясь около моей двери с угрожающими и беспокойными криками. Было слышно каждое слово.

— Оставьте ее! — закричала женщина.

Вторая злобно твердила:

— Дура ты, дура! Зачем тебя черт понес с нами?

Послышались плач, возня; затем ужасный, истерический крик:

— Я не могу, не могу! Уйдите, уйдите к черту, оставьте меня!

— Замолчи! — крикнул Гез. По-видимому, он зажимал ей рот.— Иди сюда. Берите ее, Синкрайт!

Возня, молчание и трение о стену ногами, перемешиваясь с частым дыханием, показали, что упрямство или другой род сопротивления хотят сломить силой. Затем долгий, неистовый визг оборвался криком Геза: «Она кусается, дьявол!» — и позорный звук тяжелой пощечины прозвучал среди громких рыданий. Они перешли в вопль, и я открыл дверь.

Мое внезапное появление придало гнусной картине краткую неподвижность. На заднем плане, в дверях салона, стоял сумрачный Бутлер, держа за талию раскрасневшуюся блондинку и наблюдая происходящее с невозмутимостью уличного прохожего. Гез тащил в салон темноволосую девушку; тянул ее за руку. Ее лиф был расстегнут, платье сползло с плеч, и, совершенно ошалев, пьяная, с закрытыми глазами, она судорожно рыдала; пытаясь вырваться, она едва не падала на Синкрайта, который, увидев меня, выпустил другую руку жертвы. Рыжая женщина, презрительно подбоченясь, смотрела свысока на темноволосую и ку-

рила, отбрасывая руку от рта резким движением хмельной твари.

— Пора прекратить скандал,—сказал я твердо.— Довольно этого безобразия. Вы, Гез, ударили эту женщину.

— Прочь!—крикнул он, наклонив голову.

Одновременно с тем он опустил руку так, что не ожидавшая этого женщина повернулась вокруг себя и хлопнулась спиной о стену. Ее глаза дико открылись. Она была жалка и мутно, синевато бледна.

— Скотина!—Она говорила, задыхаясь и хрипя, указывая на Геза пальцем.—Это он! Негодяй ты! Послушайте, что было,—обратилась она ко мне.—Было пари. Я проиграла. Проигравший должен выпить бутылку. Я больше пить не могу. Мне худо. Я выпила столько, что и не угнаться этим соплякам. Насильно со мной ничего не сделаешь. Я больна.

— Идешь ты?—сказал Гез, хватая ее за шею.

Она вскрикнула и плюнула ему в лицо. Я успел поймать занесенную руку капитана, так как его кулак мелькнул мимо меня.

— Ступайте, ступайте!—испуганно закричал Синкрайт.—Это не ваше дело!

Я боролся с Гезом. Видя, что я заступился, женщина вывернулась и отбежала за мою спину. Изогнувшись, Гез отчаянным усилием вырвал от меня свою руку. Он был в слепом бешенстве. Дрожали его плечи, руки; тряслось и кривилось лицо. Он размахнулся; удар пришелся мне по локтю левой руки, которой я прикрыл голову. Тогда, с искренним сожалением о невозможности сохранять далее мирную позицию, я измерил расстояние и нанес ему прямой удар в рот, после чего Гез грохнулся во весь рост, стукнув затылком.

— Довольно! Довольно!—закричал Бутлер.

Женщины, взвизгнув, исчезли. Бутлер встал между мной и поверженным капитаном, которого, приподняв под мышки, Синкрайт пытался прислонить к стенке. Наконец Гез открыл глаза и подобрал ногу; видя, что он жив, я вошел в каюту и повернул ключ.

Все трое говорили за дверью промеж себя, и я время от времени слышал отчетливые ругательства. Разговор перешел в подозрительный шепот; потом кто-то из них выразил удивление коротким восклицанием и ушел наверх довольно поспешно. Мне показалось,

что это Синкрайт. В то же время я приготовил револьвер, так как следовало ожидать продолжения. Хотя нельзя было допустить избиения женщины — безотносительно к ее репутации,— в чувствах моих образовалась скверная муть, подобная оскомине.

Послышались шаги возвратившегося Синкрайта. Это был он, так как, придя, он громко сказал:

— Однако наш пассажир молодец! И то правду сказать, вы первый начали!

— Да, я погорячился,— ответил, вздохнув, Гез.— Ну, что же, я наказан — и за дело; мне нельзя так распускаться. Да, я вел себя безобразно. Как вы думаете, что теперь сделать?

— Странный вопрос. На вашем месте я немедленно уладил бы всю историю.

— Смотрите, Гез! — сказал Бутлер; понизив голос, он прибавил: — Мне все равно, но — знайте, что́ я сказал. И не забудьте.

Гез медленно рассмеялся.

— В самом деле! — сказал он.— Я сделаю это немедленно.

Капитан подошел к моей двери и постучал кулаком с решимостью нервной, прямой натуры.

— Кто стучит? — спросил я, поддерживая нелепую игру.

— Это я, Гез. Не бойтесь открыть. Я жалею о том, что произошло.

— Если вы действительно раскаиваетесь,— возразил я, мало веря его заявлению,— то скажете мне то же самое, что теперь, но только утром.

Раздался странный скрип, напоминающий скрежет.

— Вы слушаете? — сказал Гез сумрачно, подавленным тоном.— Я клянусь вам. Вы можете мне поверить. Я стыжусь себя. Я готов сделать что угодно, только чтобы иметь возможность немедленно пожать вашу руку.

Я знал, что битые часто проникаются уважением и — как это ни странно — иногда даже симпатией к тем, кто их физически образумил. Судя по тону и смыслу настойчивых заявлений Геза, я решил, что сопротивляться будет напрасной жестокостью. Я открыл дверь и, не выпуская револьвера, стоял на пороге.

Взгляд Геза объяснял все, но было уже поздно. Синкрайт захватил дверь. Пять или шесть матросов, по-видимому сошедших вниз крадучись, так как я ша-

гов не слышал, стояли наготове, ожидая приказания. Гез вытирал платком распухшую губу.

— Кажется, я имел глупость вам поверить,— сказал я.

— Держите его,— обратился Гез к матросам.— Отнимите револьвер!

Прежде чем несколько рук успели поймать мою руку, я увернулся и выстрелил два раза, но Гез отделался только тем, что согнулся, отскочив в сторону. Прицелу помешали толчки. После этого я был обезоружен и притиснут к стене. Меня держали так крепко, что я мог только поворачивать голову.

— Вы меня ударили,— сказал Гез.— Вы все время оскорбляли меня. Вы дали мне понять, что я вас ограбил. Вы держали себя так, как будто я ваш слуга. Вы сели мне на шею, а теперь пытались убить. Я вас не трону. Я мог бы заковать вас и бросить в трюм, но не сделаю этого. Вы немедленно покинете судно. Не головой вниз,— я не так жесток, как болтают обо мне разные дураки. Вам дадут шлюпку и весла. Но я больше не хочу видеть вас здесь.

Этого я не ожидал, и, хотя был сильно встревожен, мой гнев дошел до предела, за которым я предпочитал все опасности моря и суши дальнейшим издевательствам Геза.

— Вы затеваете убийство,— сказал я.— Но помните, что до Дагона никак не более ста миль, и, если я попаду на берег, вы дадите ответ суду.

— Сколько угодно,— ответил Гез.— За такое редкое удовольствие я согласен заплатить головой. Вспомните, однако, при каких странных условиях вы появились на корабле! Этому есть свидетели. Покинуть «Бегущую по волнам» тайно — в вашем духе. Это будут свидетели.

Он декламировал, наслаждаясь грозной ролью и закусив удила. Я оглядел матросов. То был подвыпивший, мрачный сброд, ничего не терявший, если бы ему даже приказали меня повесить. Лишь молчавший до сего Бутлер решился возразить:

— Не будет ли немного много, капитан?

Гез так посмотрел на него, что тот плюнул и ушел. Капитан был совершенно невменяем. Как ни странно, именно эти слова Бутлера подстегнули мою решимость спокойно сойти в шлюпку. Теперь я не остался бы ни при каких просьбах. Мое негодование было безмерно и перешагнуло всякий расчет.

— Давай шлюпку, подлец! — сказал я.

Все мы быстро поднялись вверх. Стоял мрак, но скоро принесли фонарь. «Бегущая» легла в дрейф. Все это совершалось безмолвно,— так казалось мне, потому что я был в состоянии напряженной, болезненной отрешенности. Матросы принесли мои вещи. Я не считал их и не проверял. Значение совершающегося смутно маячило в далеком углу сознания. Были приспущены тали, и я вошел в шлюпку, повисшую над водой. Со мной вошел матрос, испуганно твердя: «Смотрите, вот весла». Затем неизвестные руки перебросили мои вещи. Фигур на борту я не различал. «К дьяволу!» — сказал Гез. Матрос, двигая фонарем, яркое пятно которого создавало в шлюпке странный уют, держался за борт, ожидая, когда меня спустят вниз. Наконец шлюпка двинулась и встряхнулась на поддавшей ровной волне. Стало качать. Матрос отцепил тали и исчез, карабкаясь по ним вверх.

Все было кончено. Волны уже отнесли шлюпку от корабля так, что я видел, как бы через мостовую, ряд круглых освещенных окон низкого дома.

ГЛАВА XVII

Я вставил весла, но продолжал неподвижно сидеть, с невольным и бесцельным ожиданием. Вдруг на палубе раздались возгласы, крики, спор и шум — так внезапно и громко, что я не разобрал, в чем дело. Наконец послышался требовательный женский голос, проговоривший резко и холодно:

— Это мое дело, капитан Гез. Довольно, что я так хочу!

Все дальнейшее, что я услышал, звучало изумлением и яростью. Гез крикнул:

— Эй вы, на шлюпке! Забирайте ее! — Он прибавил, обращаясь неизвестно к кому: — Не знаю, где он ее прятал!

Второе его обращение ко мне было, как и первое, без имени:

— Эй вы, на шлюпке!

Я не удостоил его ответом.

— Скажите ему сами, черт побери! — крикнул Гез.

— Гарвей! — раздался свежий, как будто бы знакомый голос неизвестной и невидимой женщины.— По-

дайте шлюпку к трапу, он будет спущен сейчас. Я еду с вами.

Ничего не понимая, я между тем сообразил, что, судя по голосу, это не могла быть кто-нибудь из компании Геза. Я не колебался, так как предпочесть шлюпку безопасному кораблю возможно лишь в невыносимых, может быть, угрожающих для жизни условиях. Трап стукнул; отвалясь и наискось упав вниз, он коснулся воды. Я подвинул шлюпку и ухватился за трап, всматриваясь наверх до боли в глазах, но не различая фигур.

— Забирайте вашу подругу! — сказал Гез.— Вы, я вижу, ловкач.

— Черт его разорви, если я пойму, как он ухитрился это проделать! — воскликнул Синкрайт.

Шагов я не слышал. Внизу трапа появилась стройная закутанная фигура, махнула рукой и перескочила в шлюпку точным движением. Внизу было светлее, чем смотреть вверх, на палубу. Пристально взглянув на меня, женщина нервно двинула руками под скрывавшим ее плащом и села на скамейку рядом с той, которую занимал я. Ее лица, скрытого кружевной отделкой темного покрывала, я не видел, лишь поймал блеск черных глаз. Она отвернулась, смотря на корабль. Я все еще удерживался за трап.

— Как это произошло? — спросил я, теряясь от изумления.

— Какова наглость! — сказал Гез сверху.— Плывите, куда хотите, и от души желаю вам накормить акул!

— Убийца! — закричал я.— Ты еще ответишь за эту двойную гнусность! Я желаю тебе как можно скорее получить пулю в лоб!

— Он получит пулю,— спокойно, почти рассеянно сказала неизвестная женщина, и я вздрогнул. Ее появление начинало меня мучить,— особенно эти беспечные, твердые глаза.

— Прочь от корабля! — сказала она вдруг и повернулась ко мне.— Оттолкните его веслом.

Я оттолкнулся, и нас отнесло волной. Град насмешек полетел с палубы. Они были слишком гнусны, чтобы их повторять здесь. Голоса и корабельные огни отдалились. Я машинально греб, смотря, как судно, установив паруса, взяло ход. Скоро его огни уменьшились, напоминая ряд искр.

Ветер дул в спину. По моему расчету, через два часа должен был наступить рассвет. Взглянув на свои часы

с светящимся циферблатом, я увидел, именно, без пяти минут четыре. Ровное волнение не представляло опасности. Я надеялся, что приключение окончится все же благополучно, так как из разговоров на «Бегущей» можно было понять, что эта часть океана между Гарибой и полуостровом весьма судоходна. Но больше всего меня занимал теперь вопрос, кто и почему сел со мной в дикую ночь.

Между тем стало если не светлеть, то яснее видно. Волны отсвечивали темным стеклом. Уже я хотел обратиться с целым рядом естественных и законных вопросов, как женщина спросила:

— Что вы теперь чувствуете, Гарвей?

— Вы меня знаете?

— Я знаю, как вас зовут; скажу вам и свое имя: Фрези Грант.

— Скорее мне следовало бы спросить вас,—сказал я, снова удивясь ее спокойному тону,—да, именно спросить, как чувствуете себя вы—после своего отчаянного поступка, бросившего нас лицом к лицу в этой проклятой шлюпке посреди океана? Я был потрясен; теперь я, к этому, еще оглушен. Я вас не видел на корабле. Позволительно ли мне думать, что вас удерживали насильно?

— Насильно?!—сказала она, тихо и лукаво смеясь.—О нет, нет! Никто никогда не мог удержать меня насильно, где бы то ни было. Разве вы не слышали, что кричали вам с палубы? Они считают вас хитрецом, который спрятал меня в трюме или еще где-нибудь, и поняли так, что я не хочу бросить вас одного.

— Я не могу знать что-нибудь о вас против вашей воли. Если вы захотите, вы мне расскажете.

— О, это неизбежно, Гарвей. Но только подождем. Хорошо?

Предполагая, что она взволнована, хотя удивительно владеет собой, я спросил, не выпьет ли она немного вина, которое у меня было в баулах,—чтобы укрепить нервы.

— Нет,—сказала она.—Я не нуждаюсь в этом. Но вы, конечно, хотели бы увидеть, кто эта, непрошеная, сидит с вами. Здесь есть фонарь.

Она перегнулась назад и вынула из кормового камбуза фонарь, в котором была свеча. Редко я так волновался, как в ту минуту, когда, подав ей спички, ждал света.

Пока она это делала, я видел тонкую руку и железный переплет фонаря, оживающий внутри ярким огнем. Тени, колеблясь, перебежали в лодке. Тогда Фрези Грант захлопнула крышку фонаря, поставила его между нами и сбросила покрывало. Я никогда не забуду ее — такой, как видел теперь.

Вокруг нее стоял отсвет, теряясь среди перекатов волн. Правильное, почти круглое лицо с красивой, нежной улыбкой было полно прелестной, нервной игры, выражавшей в данный момент, что она забавляется моим возрастающим изумлением. Но в ее черных глазах стояла неподвижная точка; глаза, если присмотреться к ним, вносили впечатление грозного и томительного упорства; необъяснимую сжатость, молчание,— большее, чем молчание сжатых губ. В черных ее волосах блестел жемчуг гребней. Кружевное платье оттенка слоновой кости, с открытыми гибкими плечами, так же безупречно белыми, как лицо, легло вокруг стана широким опрокинутым веером, из пены которого выступила, покачиваясь, маленькая нога в золотой туфельке. Она сидела, опираясь отставленными руками о палубу кормы, нагнувшись ко мне слегка, словно хотела дать лучше рассмотреть свою внезапную красоту. Казалось, не среди опасностей морской ночи, а в дальнем углу дворца присела, устав от музыки и толпы, эта удивительная фигура.

Я смотрел, дивясь, что не ищу объяснения. Все перелетело, изменилось во мне, и, хотя чувства правильно отвечали действию, их острота превозмогла всякую мысль. Я слышал стук своего сердца в груди, шее, висках; оно стучало все быстрее и тише, быстрее и тише. Вдруг меня охватил страх; он рванул и исчез.

— Не бойтесь,— сказала она. Голос ее изменился, он стал мне знаком, и я вспомнил, *когда* слышал его.— Я вас оставлю, а вы слушайте, что скажу. Как станет светать, держите на юг и гребите так скоро, как хватит сил. С восходом солнца встретится вам парусное судно, и оно возьмет вас на борт. Судно идет в Гель-Гью, и, как вы туда прибудете, мы там увидимся. Никто не должен знать, что я была с вами,— кроме одной, которая пока скрыта. Вы очень хотите увидеть Биче Сениэль, и вы встретите ее, но помните, *что ей нельзя сказать обо мне*. Я была с вами потому, чтобы вам не было жутко и одиноко.

— Ночь темна,— сказал я, с трудом поднимая взгляд, так как утомился смотреть.— Волны, одни волны кругом!

Она встала и положила руку на мою голову. Как мрамор в луче, сверкала ее рука.

— Для меня там,— был тихий ответ,— одни волны, и среди них один остров; он сияет все дальше, все ярче. Я тороплюсь, я спешу; я увижу его с рассветом. Прощайте! Все ли еще собираете свой венок? Блестят ли его цветы? Не скучно ли на темной дороге?

— Что мне сказать вам?—ответил я.— Вы здесь, это и есть мой ответ. Где остров, о котором вы говорите? Почему вы одна? Что вам угрожает? Что хранит вас?

— О,— сказала она печально,— не задумывайтесь о мраке. Я повинуюсь себе и знаю, чего хочу. Но об этом говорить нельзя.

Пламя свечи сияло; так был резок его блеск, что я снова отвел глаза. Я видел черные плавники, пересекающие волну, подобно буям; их хищные движения вокруг шлюпки, их беспокойное снование взад и вперед отдавало угрозой.

— Кто это?—сказал я.— Кто эти чудовища вокруг нас?

— Не обращайте внимания и не бойтесь за меня,— ответила она.— Кто бы ни были они в своей жадной надежде, ни тронуть меня, ни повредить мне они больше не могут.

В то время, как она говорила это, я поднял глаза.

— Фрези Грант!—вскричал я с тоской, потому что жалость охватила меня.— Назад!..

Она была на воде, невдалеке, с правой стороны, и ее медленно относило волной. Она отступала, полуоборотясь ко мне и, приподняв руку, всматривалась, как если бы уходила от постели уснувшего человека, опасаясь разбудить его неосторожным движением. Видя, что я смотрю, она кивнула и улыбнулась.

Уже не совсем ясно видел я, как быстро и легко она бежит прочь,— совсем как девушка в темной, огромной зале.

И тотчас дьявольские плавники акул или других мертвящих нервы созданий, которые показывались, как прорыв снизу черным резцом, повернули стремглав в ту сторону, куда скрылась Фрези Грант, бегущая по волнам, и, скользнув отрывисто, скачками, исчезли.

Я был один; покачивался среди волн и смотрел на фонарь; свеча его догорала.

Хор мыслей пролетел и утих. Прошло некоторое время, в течение которого я не сознавал, что делаю и где нахожусь; затем такое сознание стало появляться отрывками. Иногда я старался понять, вспомнить — с кем и когда сидела в лодке молодая женщина в кружевном платье.

Понемногу я начал грести, так как океан изменился. Я мог определить юг. Неясно стал виден простор волн; вдали над ними тронулась светлая лавина востока, устремив яркие копья наступающего огня, скрытого облаками. Они пронеслись мимо восходящего солнца, как паруса. Волны начали блестеть; теплый ветер боролся со свежестью; наконец утренние лучи согнали призрачный мир рассвета, и начался день.

Теперь не было у меня уже той живой связи с ночной сценой, как в момент действия, и каждая следующая минута несла новое расстояние,— как между поездом и сверкнувшим в его окне прелестным пейзажем, летящим — едва возник — прочь, в горизонтальную бездну. Казалось мне, что прошло несколько дней, и я только помнил. Впечатление было разорвано собственной своей силой. Это наступление громадного расстояния произошло быстрее, чем ветер вырывает из рук платок. Тогда я не был способен правильно судить о своем состоянии. Оно прошло сложный, трудный путь, не повторимый ни при каком возбуждении мысли. Я был один в шлюпке, греб на юг и, задумчиво улыбаясь, присматривался к воде, как будто ожидал действительно заметить след маленьких ног Фрези Грант.

Я захотел пить и, так как бочонок для воды оказался пуст, осушил бутылку вина. На этот раз оно не произвело обыкновенного действия. Мое состояние было ни нормально, ни эксцессивно — особое состояние, которое не с чем сравнить, разве лишь с выходом из темных пещер на приветливую траву. Я греб к югу, пристально рассматривая горизонт.

В одиннадцать двадцать утра на горизонте показались косые паруса с кливерами, стало быть, небольшое судно, шедшее, как указывало положение парусов, к юго-западу при половинном ветре. Рассмотрев судно в бинокль, я определил, что, взяв под нижний угол к линии его курса, могу встретить его не позднее, чем

через тридцать—сорок минут. Судно было изрядно нагружено, шло ровно, с небольшим креном.

Вскоре я заметил, что меня увидели с его палубы. Судно сделало поворот и стало двигаться на меня, в то время как я сам греб изо всех сил. На расстоянии далеко хватающего крика я мог уже различить без бинокля несколько человек, всматривающихся в мою сторону. Один из них смотрел в зрительную трубу, причем схватил за плечо своего соседа, указывая ему на меня движением трубы. Появление судна некоторое время казалось мне нереальным; лишь начав различать лица, я встрепенулся, поняв свое положение. Судно легло в дрейф, готовясь меня принять; я был от него на расстоянии десяти минут поспешной гребли. Подплывая, я увидел восемь человек, считая женщину, сидевшую на борту боком, держась за ванту, и понял по выражению лиц, что все они крайне изумлены.

Когда между мной и шкуной оказалось расстояние, незатруднительное для разговора, мне не пришлось начать первому. Едва я открыл рот, как с палубы закричали, чтобы я скорее подплывал. После того, среди сочувственных восклицаний, на дно шлюпки упал брошенный матросом причал, и я продел его в носовое кольцо.

— Все потонули, кроме вас?—сказал долговязый шкипер, в то время как я ступал на спущенный веревочный трап.

— Сколько дней в море?—спросил матрос.

— Не набрасывайтесь на пищу!—испуганно заявила женщина. Она оказалась молодой девушкой; ее левый глаз был завязан черным платком. Здоровый голубой глаз смотрел на меня с ужасом и упоением.

Я ответил, когда ступил на палубу, причем случайно пошатнулся и был немедленно подхвачен.

— Мой случай—совершенно особый,—сказал я.— Позвольте мне сесть.— Я сел на быстро подставленное опрокинутое ведро.— Куда вы плывете?

— Он не так слаб!—заметил шкипер.

— Мы держим в Гель-Гью,—сообщил одинокий голубой глаз.— Теперь вы в безопасности. Я принесу виски.

Я осмотрел этих славных людей. Они переживали событие. Лишь спустя некоторое время они освоились с моим присутствием, сильно их волновавшим, и мы начали объясняться.

ГЛАВА XVIII

Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок». Оно шло в Гель-Гью из Сан-Риоля с грузом черепахи. Шкипер, он же хозяин судна, Финеас Проктор, имел шесть человек команды; шестой из них был помощник Проктора, Нэд Тоббоган, на редкость неразговорчивый человек лет под тридцать, красивый и смуглый. Девушка с завязанным глазом была двоюродной племянницей Проктора и пошла в рейс потому, что трудно было расстаться с ней Тоббогану, ее признанному жениху; как я узнал впоследствии, не менее важной причиной была надежда Тоббогана обвенчаться с Дэзи в Гель-Гью. Словом, причины ясные и благие. По случаю присутствия женщины, хотя бы и родственницы, Проктор сохранил в кармане жалованье повара, рассчитав его под благовидным предлогом; пищу варила Дэзи. Сказав это, я возвращаюсь к прерванному рассказу.

Пока я объяснялся с командой шкуны, моя шлюпка была подведена к корме, взята на тали и поставлена рядом с шлюпкой «Нырка». Мой багаж уже лежал на палубе, у моих ног. Меж тем паруса взяли ветер, и шкуна пошла своим путем.

— Ну,— сказал Проктор, едва установилось подобие внутреннего равновесия у всех нас,— выкладывайте, почему мы остановились ради вас и кто вы такой.

— Это история, которая вас удивит,— ответил я после того, как выразил свою благодарность, крепко пожав его руку.— Меня зовут Гарвей. Я плыл туда же, куда вы плывете теперь, в Гель-Гью, на судне «Бегущая по волнам», под командой капитана Геза, и был ссажен им вчера вечером на шлюпку после крупной ссоры.

В моем положении следовало быть откровенным, не касаясь внутренних сторон дела. Таким образом все предстало в естественном и простом виде: я сел за плату (не называя цифры, я намекнул, что она была прилична и уплачена своевременно). Я должен был также сочинить цель, с какой пустился в этот рейс, чтобы быть правдивым для наступившего положения. В другом месте и другому человеку мне пришлось рассказать истину, когда я думал, что... Словом, экипаж «Нырка» только изредка набивал трубки, чтобы воодушевленней следить за моим рассказом. Мне поверили, потому что я не скрывал т о й правды, какую ждали они.

У меня (так я объяснил) было желание познакомиться с торговой практикой парусного судна, а также разузнать требования и условия рынка в живом коммерческом действии. Выдумка имела успех. Проктор, длинный, полуседой человек с спокойным мускулисто-гладким лицом, тотчас сказал:

— Вот это правильная была мысль. Я всегда говорил, что, сидя на месте и читая биржевые газеты, как раз купишь хлопок вместо пеньки или патоки.

Остальное в моем рассказе не требовало искажения, отчего характер Геза, после того как я посвятил слушателей в историю с пьяной женщиной, немедленно стал предметом азартного обсуждения.

— Его надо было просто убить,—сказал Проктор.—И вы не отвечали бы за это.

— Он не успел...—заметил один матрос.

— Никогда бы я не сошел в шлюпку; только силой,—продолжал Проктор.

— Он был один,—вмешалась стоявшая тут же Дэзи. Платок мешал ей смотреть, и она вертела головкой.—А ты, Тоббоган, разве остался бы насильно?

— Это сказал дядя,—возразил Тоббоган.

— Ну хотя бы и дядя.

— Что с тобой, Дэзи?—спросил Проктор.—Экая у тебя прыть в чужом деле!

— Вы правильно поступили,—обратилась она ко мне.—Лучше умереть, чем быть избитым и выброшенным за борт, раз такое злодейство. Отчего же вы не дадите виски? Смотри, он ее зажал!

Она взяла из рассеянной руки Проктора бутылку, которую, в увлечении всей этой историей, шкипер держал между колен, и налила половину жестяной кружки, долив водой. Я поблагодарил, заметив, что не болен от изнурения.

— Ну, все-таки,—заметила она критическим тоном, означавшим, что мое положение требует обряда.—И вам будет лучше.

Я выпил, сколько мог.

— О, это не по-нашему!—сказал Проктор, опрокидывая остаток в рот.

Тем временем я рассмотрел девушку. Она была темноволосая, небольшого роста, крепкого, но нервного, трепетного сложения, что следует понимать в смысле порывистости движений. Когда она улыбалась, походила на снежок в розе. У нее были маленькие

загорелые руки и босые тонкие ноги, производившие под краем юбки впечатление отдельных живых существ, потому что она беспрерывно переминалась или скрещивала их, шевеля пальцами. Я заметил также, как взглядывает на нее Тоббоган. Это был выразительный взгляд влюбленного на божество, из снисхождения научившееся приносить виски и делать вид, что болит глаз. Тоббоган был серьезный человек с правильным, мужественным лицом задумчивого склада. Его движения несколько противоречили его внешности, так, например, он делал жесты к себе, а не от себя, и когда сидел, то имел привычку охватывать колени руками. Вообще он производил впечатление замкнутого человека. Четыре матроса «Нырка» были пожилые люди, хозяйственного и тихого поведения; в свободное время один из них крошил листовой табак или пришивал к куртке отпоровшийся воротник; другой писал письмо, третий устраивал в широкой бутылке пейзаж из песку и стружек, действуя, как японец, тончайшими палочками. Пятый, моложе их и более живой, чем остальные, часто играл в карты сам с собой, тщетно соблазняя других принять неразорительное участие. Его звали Больт. Я все это подметил, так как провел на шкуне три дня, и мой первый день окончился глубоким сном внезапно приступившей усталости. Мне отвели койку в кубрике. После виски я съел немного вареной солонины и уснул, открыв глаза, когда уже над столом раскачивалась зажженная лампа.

Пока я курил и думал, пришел Тоббоган. Он обратился ко мне, сказав, что Проктор просит меня зайти к нему в каюту, если я сносно себя чувствую. Я вышел. Волнение стало заметно сильнее к ночи. Шкуна, прилегая с размаха, поскрипывала на перевалах. Спустясь через тесный люк по крутой лестнице, я прошел за Тоббоганом в каюту Проктора. Это было чистое помещение сурового типа и так невелико, что между столом и койкой мог поместиться только мат для вытирания ног. Каюта была основательно прокурена.

Тоббоган вошел со мной, затем он открыл дверь и исчез, надо быть, по своим делам, так как послышался где-то вблизи его разговор с Дэзи. Едва войдя, я понял, что Проктор нуждается в собеседнике: на столе был нарезанный, на опрятной тарелке, копченый

язык, и стояла бутылка. Шкипер не обманул меня тем, что начал с торговли, сказав: «Не слышали ли вы что-нибудь относительно хлопковых семян?» Но скоро выяснилась вся моя невинность, а затем Проктор перешел к самому интересному: разговору снова о моей истории. Теперь он выражался тщательнее, чем утром, метя, очевидно, на должную оценку с моей стороны.

— Нам надо сговориться,— сказал Проктор,— как действовать против капитана Геза. Я — свидетель, я подобрал вас, и, хотя это случилось единственный раз в моей жизни, один такой раз стоит многих других. Мои люди тоже будут свидетелями. Как вы говорили, что «Бегущая по волнам» идет в Гель-Гью, вы должны будете встретиться с негодяем очень скоро. Не думаю, чтобы он изменил курс, если даже, протрезвясь, струсит. У него нет оснований думать, что вы попадете на мою шкуну. В таком случае надо условиться, что вы дадите мне знать, если разбирательство дела произойдет, когда «Нырок» уже покинет Гель-Гью. Это — уголовное дело.

Он стал соображать вслух, рассчитывая дни, и так как из этого ничего не вышло, потому что трудно предусмотреть случайности, я предложил ему говорить об этом в Гель-Гью.

— Ну вот, это еще лучше,— сказал Проктор.— Но вы должны знать, что я за вас, потому что это неслыханно. Бывало, что людей бросали за борт, но не ссаживали, по крайней мере — как на сушу — за сто миль от берега. Будьте уверены, что ваша история прогремит всюду, где ставят паруса и бросают якорь. Гез — конченый человек, я говорю правду. Он лишился рассудка, если смог поступить так. Однако нам следует теперь выпить, без чего спасение неполное. Теперь вы — как новорожденный и примете морское крещение. Удивляюсь вам,— заметил он, наливая в стаканы.— Я удивлен, что вы так спокойны. Клянусь, у меня было впечатление, что вы подымаетесь на «Нырок» как в собственную квартиру! Хорошо иметь крепкие нервы. А то...

Он поставил стакан и пристально посмотрел на меня.

— Слушаю вас,— сказал я.— Не бойтесь говорить, о чем вам будет угодно.

— Вы видели девушку,— сказал Проктор.— Конечно, нельзя подумать ничего, за что... Одним словом, надо сказать, что женщина на парусном судне — исключительное явление. Я это знаю.

Он не смутился и, как я правильно понял, считал неприятной необходимостью затронуть этот вопрос после истории с компанией Геза. Поэтому я ответил немедленно:

— Славная девушка; она, может быть, ваша дочь?

— Почти что дочь, если она не брыкается,— сказал Проктор.— Моя племянница. Сами понимаете, таскать девушку на шкуне,— это значит править двумя рулями, но тут она не одна. Кроме того, у нее очень хороший характер. Тоббоган за одну копейку получил капитал, так можно сказать про них; и меня, понимаете, бесит, что они, как ни верти, женятся рано или поздно; с этим ничего не поделаешь.

Я спросил, почему ему не нравится Тоббоган.

— Я сам себя спрашивал,— отвечал Проктор,— и простите за откровенность в семейных делах, для вас, конечно, скучных... Но иногда... гм... хочется поговорить. Да, я себя спрашивал и раздражался. Правильного ответа не получается. Откровенно говоря, мне отвратительно, что он ходит вокруг нее, как глухой и слепой, а если она скажет: «Тоббоган, влезь на мачту и спустись головой вниз»,— то он это немедленно сделает в любую погоду. По-моему, нужен ей другой муж. Это между прочим, а все пусть идет, как идет.

К тому времени ром в бутылке стал на уровне ярлыка, и оттого казалось, что качка усилилась. Я двигался вместе со стулом и каютой, как на качелях, иногда расставляя ноги, чтобы не свернуться в пустоту. Вдруг дверь открылась, пропустив Дэзи, которая, казалось, упала к нам сквозь наклонившуюся на меня стену, но, поймав рукой стол, остановилась в позе канатоходца. Она была в башмаках, с брошкой на серой блузе и в черной юбке. Ее повязка лежала аккуратнее, ровно зачеркивая левую часть лица.

— Тоббоган просил вам передать,— сказала Дэзи, тотчас же вперяя в меня одинокий голубой глаз,— что он простоит на вахте сколько нужно, если вам некогда.— Затем она просияла и улыбнулась.

— Вот это хорошо,— ответил Проктор,— а я уж думал, что он ссадит меня, благо есть теперь запасная шлюпка.

— Итак, вы очутились у нас,— молвила Дэзи, смотря на меня с стеснением.— Как подумаешь, чего только не случается в море!

— Случается также,— начал Проктор и, обождав, когда из бесконечного запаса улыбок на лице девушки

распустилась новая, выжидательная, закончил: — Случается, что она уходит, а они остаются.

Дэзи смутилась. Ее улыбка стала исчезать, и я, понимая, как должно быть ей любопытно остаться, сказал:

— Если вы имеете в виду только меня, то, кроме удовольствия, присутствие вашей племянницы ничего не даст.

Заметно довольный моим ответом, Проктор сказал:

— Присядь, если хочешь.

Она села у двери в ногах койки и прижала руку к повязке.

— Все еще болит, — сказала Дэзи. — Такая досада! Очень глупо чувствуешь себя с перекошенной физиономией.

Нельзя было не спросить, и я спросил, чем поврежден глаз.

— Ей надуло, — ответил за нее Проктор. — Но нет ничего такого вроде лекарства.

— Не верьте ему, — возразила Дэзи. — Дело было проще. Я подралась с Больтом, и он наставил мне фонарей...

Я недоверчиво улыбнулся.

— Нет, — сказала она, — никто не дрался. Просто от угля, я засорила глаз углем.

Я посоветовал примачивать крепким чаем.

Она подробно расспросила, как это делают.

— Хотя один глаз, но я первая вас увидела, — сказала Дэзи. — Я увидела лодку и вас. Это меня так поразило, что показалось, будто лодка висит в воздухе. Там есть холодный чай, — прибавила она, вставая. — Я пойду и сделаю, как вы научили. Дать вам еще бутылку?

— Н-нет, — сказал Проктор и посмотрел на меня сложно, как бы ожидая повода сказать «да». Я не хотел пить, поэтому промолчал.

— Да, не надо, — сказал Проктор уверенно. — И завтра такой же день, как сегодня, а этих бутылок всего три. Так вот, она первая увидела вас, и когда я принес трубу, мы рассмотрели, как вы стояли в лодке, опустив руки. Потом вы сели и стали быстро грести.

Разговор еще несколько раз возвращался к моей истории, затем Дэзи ушла, и минут через пять после того я встал. Проктор проводил меня в кубрик.

— Мы не можем предложить вам лучшего помещения, — сказал он. — У нас тесно. Потерпите как-нибудь,

немного уже осталось плыть до Гель-Гью. Мы будем, думаю я, вечером послезавтра или же к вечеру.

В кубрике было двое матросов. Один спал, другой обматывал рукоятку ножа тонким, как шнурок, ремнем. На мое счастье, это был неразговорчивый человек. Засыпая, я слышал, как он напевает низким, густым голосом:

Волна бесконечна,
Всю землю обходит она,
Не зная беспечно
Ни неба, ни дна!

ГЛАВА XIX

Утром ветер утих, но оставался попутным, при ясном небе. «Нырок» делал одиннадцать узлов в час на ровной килевой качке. Я встал с тихой душой и, умываясь на палубе из ведра, чувствовал запах моря. Высунувшись из кормового люка, Тоббоган махнул рукой, крикнув:

— Идите сюда, ваш кофе готов!

Я оделся и, проходя мимо кухни, увидел Дэзи, которая, засучив рукава, жарила рыбу. Повязка отсутствовала, а от опухоли, как она сообщила, осталось легкое утолщение внутри нижнего века.

— Я вся отсырела,— сказала Дэзи,— так я усердно лечилась чаем!

Выразив удовольствие, что случайно дал полезный совет, я спустился в небольшую каюту с маленьким окном в стене кормы, служившую столовой, и сел на скамью к деревянному простому столу, где уже сидел Тоббоган. Он смотрел на меня с приязнью и несколько раз откашлялся, но не находил слов или не считал нужным говорить, а потому молчал, изредка оглядываясь. По-видимому, он ждал рыбу или невесту, вернее то и другое. Я спросил, что делает Проктор. «Он спит»,— сказал Тоббоган; затем начал сгребать крошки со стола ребром ладони и оглянулся опять, так как послышалось шипение. Дэзи внесла шипящую сковородку с поджаренной рыбой. Неожиданно Тоббоган обрел дар слова. Он стал хвалить рыбу и спросил, почему девушка — босиком.

— В прошлый раз она наступила на гвоздь,— сказал Тоббоган, подвигая мне сковородку и начиная есть

сам.— Она, знаете, неосторожна; как-то чуть не упала за борт.

— Мне нравится ходить босиком,— отвечала Дэзи, наливая нам кофе в толстые стеклянные стаканы; потом села и продолжала: — Мы плыли по месту, где пять миль глубины. Я перегнулась и смотрела в воду: может быть, ничего не увижу, а может, увижу, как это глубоко...

— К северу от Покета,— сказал Тоббоган.

— Вот именно, там. Вдруг закружилась голова, и я повисла; меня тянет упасть. Тоббоган зверски схватил меня и поволок, как канат. Ты был очень бледен, Тоббоган, в эту минуту!

Он посмотрел на нее; голод здоровяка и нежность влюбленного образовали на его лице нервную тень.

— Упасть недолго,— сказал он.

— Вам было страшно на лодке? — спросила меня девушка, постукивая ножом.

— Положи нож,— сказал с беспокойством Тоббоган.— Если упадет на ногу, будешь опять скакать на одной ноге.

— Ты несносен сегодня,— заметила Дэзи, улыбаясь и демонстративно втыкая нож возле его локтя. Воткнувшись, нож задрожал, как бы стремясь вырваться.— Вот так ты трепещешь! У вас, верно, есть книги? Мне иногда скучно без книг.

Я пообещал, думая, что разыщу подходящее для нее чтение. «Кроме того,— сказал я, желая сделать приятное человеку, заметившему меня среди моря одним глазом,— я ожидаю в Гель-Гью присылки книг, и вы сможете взять несколько новых романов». На самом деле я солгал, рассчитывая купить ей несколько томов по своему выбору.

Дэзи застеснялась и немного скокетничала, медленно подняв опущенные глаза. Это у нее вышло удачно: в каюте разлился голубой свет. Тоббоган стал смущенно благодарить, и я видел, что он искренно рад невинному удовольствию девушки.

ГЛАВА XX

День проходит быстро на корабле. Он кажется долгим вначале: при восходе солнца над океаном смешиваешь пространство с временем. Когда-то еще наступит вечер! Однако, забывая о часах, видишь, что

подан обед, а там набегает ночь. После обеда, то есть картофеля с солониной, компота и кофе, я увидел карты и предложил Тоббогану сыграть в покер. У меня была цель: отдать десять — двадцать фунтов, но так, чтобы это считалось выигрышем. Эти люди, конечно, отказались бы взять деньги, я же не хотел уйти, не оставив им некоторую сумму из чувства благодарности. По случайным, отдельным словам можно было догадаться, что дела Проктора не блестящи.

Когда я сделал такое предложение, Дэзи превратилась в вопросительный знак, а Проктор, взяв карты, отбросил их со вздохом и заявил:

— Эта проклятая картонная шайка дорого стоила мне в свое время, а потому дал я клятву и сдержу ее — не играть даже впустую.

Меж тем Тоббоган согласился сыграть — из вежливости, как я думал,— но, когда оба мы выложили на стол по нескольку золотых, его глаза выдали игрока.

— Играйте,— сказала Дэзи, упирая в стол белые локти с ямочками и положив меж ладоней лицо,— а я буду смотреть.— Так просидела она, затаив дыхание или разражаясь смехом при проигрыше одного из нас, все время. Как прикованный, сидел Проктор, забывая о своей трубке; лишь по его нервному дыханию можно было судить, что старая игрецкая жила ходит в нем подобно тугой леске. Наконец он ушел, так как били его вахтенные часы.

Таким образом, я погрузился в бой, обнажив грудь и сломав конец своей шпаги. Я мог безнаказанно мошенничать против себя потому, что идея нарочитого проигрыша меньше всего могла прийти в голову Тоббогану. Когда играют двое, покер весьма часто дает крупные комбинации. Мне ничего не стоило бросать свои карты, заявляя, что проиграл, если Тоббоган объявлял значительную для него сумму. Иногда, если мои карты действительно оказывались слабее, я открывал их, чтобы не возникло подозрений. Мы начали играть с мелочи. Тут Тоббоган оказался словоохотлив. Он смеялся, разговаривал сам с собой, выигрывая, критиковал мою тактику. По моей милости ему везло, отчего он приходил во все большее возбуждение. Уже восемнадцать фунтов лежало перед ним, и я соразмерял обстоятельства, чтобы устроить ровно двадцать. Как вдруг, при новой моей сдаче, он сбросил все карты, прикупил новых пять и объявил двадцать фунтов.

Как ни была крупна его карта или просто решимость пугнуть, случилось, что моя сдача себе составила пять червей необыкновенной красоты: десятка, валет, дама, король и туз. С этакой-то картой я должен был платить ему свой собственный, по существу, выигрыш!

— Идет,— сказал я.— Открывайте карты.

Трясущейся рукой Тоббоган выложил каре и посмотрел на меня, ослепленный удачей. Каково было бы ему видеть моих червей! Я бросил карты вверх крапом и подвинул ему горсть золотых монет.

— Здорово я вас обчистил! — вскричал Тоббоган, сжимая деньги.

Случайно взглянув на Дэзи, я увидел, что она смешивает брошенные мной карты с остальной колодой. С ее красного от смущения лица медленно схлынула кровь, исчезая вместе с улыбкой, которая не вернулась.

— Что у него было? — спросил Тоббоган.

— Три дамы, две девятки,— сказала девушка.— Сколько ты выиграл, Тоббоган?

— Тридцать восемь фунтов,— сказал Тоббоган, хохоча.— А ведь я думал, что у вас тоже каре!

— Верни деньги.

— Не понимаю, что ты хочешь сказать,— ответил Тоббоган.— Но, если вы желаете...

— Мое желание совершенно обратное,— сказал я.— Дэзи не должна говорить так, потому что это обидно всякому игроку, а значит, и мне.

— Вот видишь,— заметил Тоббоган с облегчением,— и потому удержи язык.

Дэзи загадочно рассмеялась.

— Вы плохо играете,— с сердцем объявила она, смотря на меня трогательно гневным взглядом, на что я мог только сказать:

— Простите, в следующий раз сыграю лучше.

Должно быть, мой ответ был для нее очень забавен, так как теперь она уже искренно и звонко расхохоталась. Шутливо, но так, что можно было понять, о чем прошу, я сказал:

— Не говорите никому, Дэзи, как я плохо играю, потому что, говорят, если сказать,— всю жизнь игрок будет только платить.

Ничего не понимая, Тоббоган, все еще в огне выигрыша, сказал:

— Уж на меня положитесь. Всем буду говорить, что вы играли великолепно!

— Так и быть,— ответила девушка,— скажу всем то же и я.

Я был чрезвычайно смущен, хотя скрывал это, и ушел под предлогом выбрать для Дэзи книги. Разыскав два романа, я передал их матросу с просьбой отнести девушке.

Остаток дня я провел наверху, сидя среди канатов.

Около кухни появлялась и исчезала Дэзи; она стирала.

«Нырок» шел теперь при среднем ветре и умеренной качке. Я сидел и смотрел на море.

Кто сказал, что море без берегов — скучное, однообразное зрелище? Это сказал многий, лишенный имени. Нет берегов,— правда, но такая правда прекрасна. Горизонт чист, правилен и глубок. Строгая чистота круга, полного одних волн, подробно ясных вблизи; на отдалении они скрываются одна за другой; на горизонте же лишь едва трогают отчетливую линию неба, как если смотреть туда в неправильное стекло. Огромной мерой отпущены пространство и глубина, которую, постепенно начав чувствовать, видишь под собой без помощи глаз. В этой безответственности морских сил, недоступных ни учету, ни ясному сознанию их действительного могущества, явленного вечной картиной, есть заразительная тревога. Она подобна творческому инстинкту при его пробуждении.

Услышав шаги, я обернулся и увидел Дэзи, подходившую ко мне с стесненным лицом, но она тотчас же улыбнулась и, пристально всмотревшись в меня, села на канат.

— Нам надо поговорить,— сказала Дэзи, опустив руку в карман передника.

Хотя я догадывался, в чем дело, однако притворился, что не понимаю. Я спросил:

— Что-нибудь серьезное?

Она взяла мою руку, вспыхнула и сунула в нее — так быстро, что я не успел сообразить ее намерение,— тяжелый сверток. Я развернул его. Это были деньги — те тридцать восемь фунтов, которые я проиграл Тоббогану. Дэзи вскочила и хотела убежать, но я ее удержал. Я чувствовал себя весьма глупо и хотел, чтобы она успокоилась.

— Вот это весь разговор,— сказала она, покорно возвращаясь на свой канат. В ее глазах блестели слезы

смущения, на которые она досадовала сама.— Спрячьте деньги, чтобы я их больше не видела. Ну зачем это было подстроено? Вы мне испортили весь день. Прежде всего, как я могла объяснить Тоббогану? Он даже не поверил бы. Я побилась с ним и доказала, что деньги следует возвратить.

— Милая Дэзи,— сказал я, тронутый ее гордостью,— если я виноват, то, конечно, только в том, что не смешал карты. А если бы этого не случилось, то есть не было бы доказательства,— как бы вы тогда отнеслись?

— Никак, разумеется; проигрыш есть проигрыш. Но я все равно была бы очень огорчена. Вы думаете — я не понимаю, что вы хотели? Оттого, что нам нельзя предложить деньги, вы вознамерились их проиграть, в виде, так сказать, благодарности, а этого ничего не нужно. И я не принуждена была бы делать вам выговор. Теперь поняли?

— Отлично понял. Как вам понравились книги?

Она помолчала, еще не в силах сразу перейти на мирные рельсы.

— Заглавия интересные. Я посмотрела только заглавия — все было некогда. Вечером сяду и почитаю. Вы меня извините, что погорячилась. Мне теперь совестно самой, но что же делать? Теперь скажите, что вы не сердитесь и не обиделись на меня.

— Я не сержусь, не сердился и не буду сердиться.

— Тогда все хорошо, и я пойду. Но есть еще разговор...

— Говорите сейчас, иначе вы раздумаете.

— Нет, это я не могу раздумать, это очень важно. А почему важно? Не потому, что особенное что-нибудь, однако я хожу и думаю: угадала или не угадала? При случае поговорим. Надо вас покормить, а у меня еще не готово, приходите через полчаса.

Она поднялась, кивнула и поспешила к себе на кухню или еще в другое место, связанное с ее деловым днем.

Сцена эта заставила меня устыдиться: девушка показала себя настоящей хозяйкой, тогда как — надо признаться — я вознамерился сыграть роль хозяина. Но что она хотела еще подвергнуть обсуждению? Я мало думал и скоро забыл об этом; как стемнело, все сели ужинать, по случаю духоты, наверху, перед кухней. Тоббоган встретил меня немного сухо, но так

как о происшествии с картами все молчаливо условились не поднимать разговора, то скоро отошел; лишь иногда взглядывал на меня задумчиво, как бы говоря: «Она права, но от денег трудно отказаться, черт побери». Проктор, однако, обращался ко мне с усиленным радушием, и если он знал что-нибудь от Дэзи, то ему был, верно, приятен ее поступок; он на что-то хотел намекнуть, сказав: «Человек предполагает, а Дэзи располагает!» Так как в это время люди ели, а девушка убирала и подавала, то один матрос заметил:

— Я предполагал бы, понимаете, съесть индейку. А она расположила солонину.

— Молчи,— ответил другой,— завтра я поведу тебя в ресторан.

На «Нырке» питались однообразно, как питаются вообще на небольших парусниках, которым за десять — двадцать дней плавания негде достать свежей провизии и негде хранить ее. Консервы, солонина, макароны, компот и кофе — больше есть было нечего, но все поглощалось огромными порциями. В знак душевного мира, а может быть, и различных надежд, какие чаще бывают мухами, чем пчелами, Проктор налил всем по стакану рома. Солнце давно село. Нам светила керосиновая лампа, поставленная на крыше кухни.

Баковый матрос закричал:

— Слева огонь!

Проктор пошел к рулю. Я увидел впереди «Нырка» многочисленные огни огромного парохода. Он прошел так близко, что слышен был стук винтового вала. В пространствах под палубами среди света сидели и расхаживали пассажиры. Эта трехтрубная высокая громада, когда мы разминулись с ней, отошла, поворотившись кормой, усеянной огненными отверстиями, и расстилая колеблющуюся, озаренную пелену пены.

«Нырок» сделал маневр, отчего при парусах заняты были все, а я и Дэзи стояли, наблюдая удаление парохода.

— Вам следовало бы попасть на такой пароход,— сказала девушка.— Там так отлично. Все удобно, все есть, как в большой гостинице. Там даже танцуют. Но я никогда не бывала на роскошных пароходах. Мне даже послышалось, что играет музыка.

— Вы любите танцы?

— Люблю конфеты и танцы.

В это время подошел Тоббоган и встал сзади, засунув руки в карманы.

— Лучше бы ты научила меня,— сказал он,— как танцевать.

— Это ты так теперь говоришь. Ты не можешь: уже я учила тебя.

— Не знаю отчего,— согласился Тоббоган,— но, когда держу девушку за талию, а музыка вдруг раздастся, ноги делаются точно мешки. Стою: ни взад, ни вперед.

Постепенно собрались опять все, но ужин был кончен, и разговор начался о пароходе, в котором Проктор узнал «Лео».

— Он из Австралии; это рейсовый пароход Тихоокеанской компании. В нем двадцать тысяч тонн.

— Я говорю, что на «Лео» лучше, чем у нас,— сказала Дэзи.

— Я рад, что попал к вам,— возразил я,— хотя бы уж потому, что мне с тем пароходом не по пути.

Проктор рассказал случай, когда пароход не остановился принять с шлюпки потерпевших крушение. Отсюда пошли рассказы о разных происшествиях в океане. Создалось словоохотливое настроение, как бывает в теплые вечера, при хорошей погоде и при сознании, что близок конец пути.

Но как ни искушены были эти моряки в историях о плавающих бутылках, встречаемых ночью ледяных горах, бунтах экипажей и потрясающих шквалах, я увидел, что им неизвестна история «Марии Целесты», а также пятимесячное блуждание в шлюпке шести человек, о котором писал М. Твен, положив тем начало своей известности.

Как только я кончил говорить о «Целесте», богатое воображение Дэзи закружило меня и всех самыми неожиданными догадками. Она была чрезвычайно взволнована и обнаружила такую изобретательность сыска, что я не успевал придумать, что ей отвечать.

— Но может ли быть,— говорила она,— что это произошло так...

— Люди думали пятьдесят лет,— возражал Проктор, но, кто бы ни возражал, в ответ слышалось одно:

— Не перебивайте меня! Вы понимаете: обед стоял на столе, в кухне топилась плита! Я говорю, что на них напала болезнь! Или, может быть, не болезнь, а они увидели мираж! Красивый берег, остров или снежные горы! Они поехали на него все.

— А дети? — сказал Проктор.— Разве не оставила бы ты детей, да при них, скажем, ну, хотя двух матросов?

— Ну что же! — Она не смущалась ничем.— Дети хотели больше всего. Пусть мне объяснят в таком случае!

Она сидела, подобрав ноги, и, упираясь руками в палубу, ползала от возбуждения взад-вперед.

— Раз ничего не известно, понимаешь? — ответил Тоббоган.

— Если не чума и мираж,— объявила Дэзи без малейшего смущения,— значит, в подводной части была дыра. Ну да, вы заткнули ее языком; хорошо. Представьте, что они хотели сделать загадку...

Среди ее бесчисленных версий, которыми она сыпала без конца, так что я многие позабыл, слова о «загадке» показались мне интересны; я попросил объяснить.

— Понимаете — они ушли,— сказала Дэзи, махнув рукой, чтобы показать, как ушли,— а зачем это было нужно, вы видите по себе. Как вы ни думайте, решить эту задачу бессильны и вы, и я, и он, и все на свете. Так вот,— они сделали это нарочно. Среди них, верно, был такой человек, который, может быть, любил придумывать штуки. Это — капитан. «Пусть о нас останется память, легенда, и никогда чтобы ее не объяснить никому!» Так он сказал. По пути попалось им судно. Они сговорились с ним, чтобы пересесть на него, и пересели, а свое бросили.

— А дальше? — сказал я, после того как все уставились на девушку, ничего не понимая.

— Дальше не знаю.— Она засмеялась с усталым видом, вдруг остыв, и слегка хлопнула себя по щекам, наивно раскрыв рот.

— Все знала, а теперь вдруг забыла,— сказал Проктор.— Никто тебя не понял, что ты хотела сказать.

— Мне все равно,— объявила Дэзи.— Но вы — поняли?

Я сказал «да» и прибавил:

— Случай этот так поразителен, что всякое объяснение, как бы оно ни было правдоподобно, остается бездоказательным.

— Темная история,— сказал Проктор.— Слышал я много басен, да и теперь еще люблю слушать. Однако над иными из них задумаешься. Слышали вы о Фрези Грант?

— Нет,— сказал я, вздрогнув от неожиданности.

— Нет?

— Нет? — подхватила Дэзи тоном выше.— Давайте расскажем Гарвею о Фрези Грант. Ну, Больт,— обратилась она к матросу, стоявшему у борта,— это по твоей специальности. Никто не умеет так рассказать, как ты, историю Фрези Грант. Сколько раз ты ее рассказывал?

— Тысячу пятьсот два,— сказал Больт, крепкий человек с черными глазами и ироническим ртом, спрятанным в курчавой бороде скифа.

— Уже врешь, но тем лучше. Ну, Больт, мы сидим в обществе, в гостиной, у нас гости. Смотри отличись.

Пока длилось это вступление, я заставил себя слушать, как посторонний, не знающий ничего.

Больт сел на складной стул. У него были приемы рассказчика, который ценит себя. Он прочесал бороду пятерней вверх, открыл рот, слегка свесив язык, обвел всех отсутствующим взглядом, провел огромной ладонью по лицу вниз, крякнул и подсел ближе.

— Лет сто пятьдесят назад,— сказал Больт,— из Бостона в Индию шел фрегат «Адмирал Фосс». Среди других пассажиров был на этом корабле генерал Грант, и с ним ехала его дочь, замечательная красавица, которую звали Фрези. Надо вам сказать, что Фрези была обручена с одним джентльменом, который года два уже служил в Индии и занимал важную должность. Какая была должность,— стоит ли говорить? Если вы скажете — «стоит», вы проиграли, так как я этого не знаю. Надо вам сказать, что, когда я раньше излагал эту занимательную историю, Дэзи всячески старалась узнать, в какой должности был жених-джентльмен, и если не спрашивает теперь...

— То тебе нет до того никакого дела,— перебила Дэзи.— Если забыл, что дальше,— спроси меня, я тебе расскажу.

— Хорошо,— сказал Больт.— Обращаю внимание на то, что она сердится. Как бы то ни было, «Адмирал Фосс» был в пути полтора месяца, когда на рассвете вахта заметила огромную волну, шедшую при спокойном море и умеренном ветре с юго-востока. Шла она с быстротой бельевого катка. Конечно, все испугались, и были приняты меры, чтобы утонуть, так сказать, красиво, с видимостью, что погибают не бестолковые моряки, которые никогда не видали вала высотой мет-

ров в сто. Однако ничего не случилось. «Адмирал Фосс» пополз вверх, стал на высоте колокольни св. Петра и пошел вниз так, что, когда опустился, быстрота его хода была тридцать миль в час. Само собою, что паруса успели убрать, иначе встречный, от движения, ветер перевернул бы фрегат волчком.

Волна прошла, ушла,и больше другой такой волны не было. Когда солнце стало садиться, увидели остров, который ни на каких картах не значился; по пути «Фосса» не мог быть на этой широте остров. Рассмотрев его в подзорные трубы, капитан увидел, что на нем не заметно ни одного дерева. Но был он прекрасен, как драгоценная вещь, если положить ее на синий бархат и смотреть снаружи, через окно: так и хочется взять. Он был из желтых скал и голубых гор, замечательной красоты.

Капитан тотчас записал в корабельный журнал, что произошло, но к острову не стал подходить, потому что увидел множество рифов, а по берегу отвес, без бухты и отмели. В то время как на мостике собралась толпа и толковала с офицерами о странном явлении, явилась Фрези Грант и стала просить капитана, чтобы он пристал к острову — посмотреть, какая это земля. «Мисс,— сказал капитан,— я могу открыть новую Америку и сделать вас королевой, но нет возможности подойти к острову при глубокой посадке фрегата, потому что мешают буруны и рифы. Если же снарядить шлюпку, это нас может задержать, а так как возникло опасение быть застигнутыми штилем, то надобно спешить нам к югу, где есть воздушное течение».

Фрези Грант, хотя была доброй девушкой,— вот, скажем, как наша Дэзи... Обратите внимание, джентльмены, на ее лицо при этих моих словах. Так я говорю о Фрези. Ее все любили на корабле. Однако в ней сидел женский черт, и, если она что-нибудь задумывала, удержать ее являлось задачей.

— Слушайте! Слушайте! — вскричала Дэзи, подпирая подбородок рукой и расширяя глаза.— Сейчас начинается!

— Совершенно верно, Дэзи,— сказал Больт, обкусывая свой грязный ноготь.— Вот оно и началось, как это бывает у барышень. Иначе говоря, Фрези стояла, закусив губу. В это время, как на грех, молодой лейтенант вздумал ей сказать комплимент. «Вы так легки,— сказал он,— что при желании могли

бы пробежать к острову по воде и вернуться обратно, не замочив ног». Что же вы думаете? «Пусть будет по-вашему, сэр,— сказала она.— Я уже дала себе слово быть там, и я сдержу его или умру». И вот, прежде чем успели протянуть руку, вскочила она на поручни, задумалась, побледнела и всем махнула рукой. «Прощайте! — сказала Фрези.— Не знаю, что делается со мной, но отступить уже не могу». С этими словами она спрыгнула и, вскрикнув, остановилась на волне, как цветок. Никто, даже ее отец, не мог сказать слова, так все были поражены. Она обернулась и, улыбнувшись, сказала: «Это не так трудно, как я думала. Передайте моему жениху, что он меня более не увидит. Прощай и ты, милый отец! Прощай, моя родина!»

Пока это происходило, все стояли, как связанные. И вот, с волны на волну, прыгая и перескакивая, Фрези Грант побежала к тому острову. Тогда опустился туман, вода дрогнула, и, когда туман рассеялся, не видно было ни девушки, ни того острова: как он поднялся из моря, так и опустился снова на дно. Дэзи, возьми платок и вытри глаза.

— Всегда плачу, когда доходит до этого места,— сказала Дэзи, сердито сморкаясь в вытащенный ею из кармана Тоббогана платок.

— Вот и вся история,— закончил Больт.— Чтó было на корабле потом, конечно, не интересно, а с тех пор пошел слух, что Фрези Грант иногда видели то тут, то там, ночью или на рассвете. Ее считают заботящейся о потерпевших крушение, между прочим; и тот, кто ее увидит, говорят, будет думать о ней до конца жизни.

Больт не подозревал, что у него не было никогда такого внимательного слушателя, как я. Но это заметила Дэзи и сказала:

— Вы слушали, как кошка мышь. Не встретили ли вы ее, бедную Фрези Грант? Признайтесь!

Как ни был шутлив вопрос, все моряки немедленно повернули головы и стали смотреть мне в рот.

— Если это была та девушка,— сказал я, естественно, не рискуя ничем,— девушка в кружевном платье и золотых туфлях, с которой я говорил на рассвете,— то, значит, это она и была.

— Однако! — воскликнул Проктор.— Что, Дэзи, вот тебе задача.

— Именно так она и была одета,— сказал Больт.— Вы раньше слышали эту сказку?

— Нет, я не слышал ее,— сказал я, охваченный порывом встать и уйти.— Но мне почему-то казалось, что это так.

На этом разговор кончился, и все разошлись. Я долго не мог заснуть: лежа в кубрике, прислушиваясь к плеску воды и храпу матросов, я уснул около четырех, когда вахта сменилась. В это утро все проспали несколько дольше, чем всегда. День прошел без происшествий, которые стоило бы отметить в их полном развитии. Мы шли при отличном ветре, так что Больт сказал мне:

— Мы решили, что вы нам принесли счастье. Честное слово. Еще не было за весь год такого ровного рейса.

С утра уже овладело мной нетерпение быть на берегу. Я знал, что этот день — последний день плавания, и потому тянулся он дольше других дней, как всегда бывает в конце пути. Кому не знаком зуд в спине? Чувство быстроты в неподвижных ногах? Расстояние получает враждебный оттенок. Существо наше усиливается придать скорость кораблю; мысль, множество раз побывав на воображаемом берегу, должна неохотно возвращаться в медлительно ползущее тело. Солнце всячески уклоняется подняться к зениту, а достигнув его, начинает опускаться со скоростью человека, старательно метущего лестницу.

После обеда, то уходя на палубу, то в кубрик, я увидел Дэзи, вышедшую из кухни вылить ведро с водой за борт.

— Вот, вы мне нужны,— сказала она, застенчиво улыбаясь, а затем стала серьезной.— Зайдите в кухню, как я вылью это ведро, у борта нам говорить неудобно, хотя, кроме глупостей, вы от меня ничего не услышите. Мы ведь не договорили вчера. Тоббоган не любит, когда я разговариваю с мужчинами, а он стоит у руля и делает вид, что закуривает.

Согласившись, я посидел на трюме, затем прошел в кухню за крылом паруса.

Дэзи сидела на табурете и сказала: «Сядьте», причем хлопнула по коленям руками. Я сел на бочонок и приготовился слушать.

— Хотя это невежливо,— сказала девушка,— но меня почему-то заботит, что я не все знаю. Не все вы рассказали нам о себе. Я вчера думала. Знаете, есть что-то загадочное. Вернее, вы сказали правду, но об

одном умолчали. А что это такое — одно? С вами в море что-то случилось. Отчего-то мне вас жаль. Отчего это?

— О том, что вы не договорили вчера?

— Вот именно. Имею ли я право знать? Решительно — никакого. Так вы и не отвечайте тогда.

— Дэзи,— сказал я, доверяясь ее наивному любопытству, обнаружить которое она могла, конечно, только по невозможности его укротить, а также — ее проницательности,— вы не ошиблись. Но я сейчас в особом состоянии, совершенно особом, таком, что не мог бы сказать так, сразу. Я только обещаю вам не скрыть ничего, что было на море, и сделаю это в Гель-Гью.

— Вас испугало что-нибудь? — сказала Дэзи и, помолчав, прибавила: — Не сердитесь на меня. На меня иногда находит, так что все поражаются; я вот все время думаю о вашей истории, и я не хочу, чтобы у вас осталась обо мне память как о любопытной девчонке.

Я был тронут. Она подала мне обе руки, встряхнула мои и сказала:

— Вот и все. Было ли вам хорошо здесь?

— А вы как думаете?

— Никак. Судно маленькое, довольно грязное, и никакого веселья. Кормеж тоже оставляет желать многого. А почему вы сказали вчера о кружевном платье и золотых туфлях?

— Чтобы у вас стали круглые глаза,— смеясь, ответил я ей.— Дэзи, есть у вас отец, мать?

— Были, конечно, как у всякого порядочного человека. Отца звали Ричард Бенсон. Он пропал без вести в Красном море. А моя мать простудилась насмерть лет пять назад. Зато у меня хороший дядя; кисловат, правда, но за меня пойдет в огонь и воду. У него нет больше племяшей. А вы верите, что была Фрези Грант?

— А вы?

— Это мне нравится! Вы, вы, вы! — верите или нет?! Я безусловно верю, и скажу — почему.

— Я думаю, что это могло быть,— сказал я.

— Нет, вы опять шутите. Я верю потому, что от этой истории хочется что-то сделать. Например, стукнуть кулаком и сказать: «Да, человека не понимают».

— Кто не понимает?

— Все. И он сам не понимает себя.

Разговор был прерван появлением матроса, пришедшего за огнем для трубки. «Скоро ваш отдых»,—

сказал он мне и стал копаться в углях. Я вышел, заметив, как пристально смотрела на меня девушка, когда я уходил. Что это было? Отчего так занимала ее история, одна половина которой лежала в тени дня, а другая — в свете ночи?

Перед прибытием в Гель-Гью я сидел с матросами и узнал от них, что никто из моих спасителей ранее в этом городе не был. В судьбе малых судов типа «Нырка» случаются одиссеи в тысячу и даже в две и три тысячи миль — выход в большой свет. Прежний капитан «Нырка» был арестован за меткую стрельбу в казино «Фортуна». Проктор был владельцем «Нырка» и половины шкуны «Химена». После ареста капитана он сел править «Нырком» и взял фрахт в Гель-Гью, не смущаясь расстоянием, так как хотел поправить свои денежные обстоятельства.

ГЛАВА XXI

В десять часов вечера показался маячный огонь; мы подходили к Гель-Гью.

Я стоял у штирборта с Проктором и Больтом, наблюдая странное явление. По мере того как усиливалась яркость огня маяка, верхняя черта длинного мыса, отделяющего гавань от океана, становилась явственно видной, так как за ней плавал золотистый туман — обширный световой слой. Явление это, свойственное лишь большим городам, показалось мне чрезмерным для сравнительно небольшого Гель-Гью, о котором я слышал, что в нем пятьдесят тысяч жителей. За мысом было нечто вроде желтой зари. Проктор принес трубу, но не рассмотрел ничего, кроме построек на мысе, и высказал предположение, не есть ли это отсвет большого пожара.

— Однако нет дыма,— сказала подошедшая Дэзи.— Вы видите, что свет чист; он почти прозрачен.

В тишине вечера я начал различать звук, неопределенный, как бормотание; звук с припевом, с гулом труб, и я вдруг понял, что это — музыка. Лишь я открыл рот сказать о догадке, как послышались далекие выстрелы, на что все тотчас обратили внимание.

— Стреляют и играют! — сказал Больт.— Стреляют довольно бойко.

В это время мы начали проходить маяк.

— Скоро узнаем, что оно значит,— сказал Проктор, отправляясь к рулю, чтобы ввести судно на рейд. Он сменил Тоббогана, который немедленно подошел к нам, тоже выражая удивление относительно яркого света и стрельбы.

Судно сделало поворот, причем паруса заслонили открывшуюся гавань. Все мы поспешили на бак, ничего не понимая, так были удивлены и восхищены развернувшимся зрелищем, острым и прекрасным во тьме, полной звезд.

Половина горизонта предстала нашим глазам в блеске иллюминации. В воздухе висела яркая золотая сеть; сверкающие гирлянды, созвездия, огненные розы и шары электрических фонарей были как крупный жемчуг среди золотых украшений. Казалось, стеклись сюда огни всего мира. Корабли рейда сияли, осыпанные белыми лучистыми точками. На барке, черной внизу, с освещенной, как при пожаре, палубой вертелось, рассыпая искры, огненное алмазное колесо, и несколько ракет выбежали из-за крыш на черное небо, где, медленно завернув вниз, потухли, выронив зеленые и голубые падучие звезды. В то же время стала явственно слышна музыка; дневной гул толпы, доносившийся с набережной, иногда заглушал ее, оставляя один лишь стук барабана, а потом отпускал снова, и она отчетливо раздавалась по воде,— то, что называется: «играет в ушах». Играл не один оркестр, а два, три... может быть, больше, так как иногда наступало толкущееся на месте смешение звуков, где только барабан знал, что ему делать. Рейд и гавань были усеяны шлюпками, полными пассажиров и фонарей. Снова началась яростная пальба. С шлюпок звенели гитары; были слышны смех и крики.

— Вот так Гель-Гью,— сказал Тоббоган.— Какая нам, можно сказать, встреча!

Береговой отсвет был так силен, что я видел лицо Дэзи. Оно, сияющее и пораженное, слегка вздрагивало. Она старалась поспеть увидеть всюду; едва ли замечала, с кем говорит, была так возбуждена, что болтала не переставая.

— Я никогда не видала таких вещей,— говорила она.— Как бы это узнать? Впрочем... О! о! о! Смотрите, еще ракета! И там; а вот — сразу две. Три! Четвертая! Ура! — вдруг закричала она, засмеялась, утерла влажные глаза и села с окаменелым лицом.

Фок упал. Мы подошли с приспущенным гротом, и «Нырок» бросил якорь вблизи железного буя, в кольцо которого был поспешно продет кормовой канат. Я бродил среди суматохи, встречая иногда Дэзи, которая появлялась у всех бортов, жадно оглядывая сверкающий рейд.

Все мы были в несколько приподнятом, припадочном состоянии.

— Сейчас решили,— сказала Дэзи, сталкиваясь со мной.— Все едем; останется один матрос. Конечно, и вы стремитесь попасть скорее на берег?

— Само собой.

— Ничего другого не остается,— сказал Проктор.— Конечно, все поедем немедленно. Если приходишь на темный рейд и слышишь, что бьет три склянки, ясно — торопиться некуда, но в таком деле и я играю ногами.

— Я умираю от любопытства! Я иду одеваться! А! О! — Дэзи поспешила, споткнулась и бросилась к борту.— Кричите им! Давайте кричать! Эй! Эй! Эй!

Это относилось к большому катеру, на корме и носу которого развевались флаги, а борты и тент были увешаны цветными фонариками.

— Эй, на катере! — крикнул Больт так громко, что гребцы и дамы, сидевшие там веселой компанией, перестали грести.— Приблизьтесь, если не трудно, и объясните, отчего вы не можете спать!

Катер подошел к «Нырку»; на нем кричали и хохотали.

Как он подошел, на палубе нашей стало совсем светло, мы ясно видели их, они — нас.

— Да это карнавал! — сказал я, отвечая возгласам Дэзи.— Они в масках; вы видите, что женщины в масках!

Действительно, часть мужчин представляла театральное сборище индейцев, маркизов, шутов; на женщинах были шелковые и атласные костюмы различных национальностей. Их полумаски, лукавые маленькие подбородки и обнаженные руки несли веселую маскарадную жуть.

На шлюпке встал человек, одетый в красный камзол с серебряными пуговицами и высокую шляпу, украшенную зеленым пером.

— Джентльмены! — сказал он, неистово скрежеща зубами, и, показав нож, потряс им.— Как смеете вы

явиться сюда, подобно грязным трубочистам к ослепительным булочникам? Скорее зажигайте все, что горит. Зажгите ваше судно! Что вы хотите от нас?

— Скажите,— крикнула, смеясь и смущаясь, Дэзи,— почему у вас так ярко и весело? Что такое произошло?

— Дети, откуда вы?—печально сказал пьяный толстяк в белом балахоне с голубыми помпонами.

— Мы из Риоля,— ответил Проктор.— Соблаговолите сказать что-либо дельное.

— Они действительно ничего не знают!—закричала женщина в полумаске.— У нас карнавал, понимаете?! Настоящий карнавал и все удовольствия, какие хотите!

— Карнавал!—тихо и торжественно произнесла Дэзи.— Господи, прости и помилуй!

— Это карнавал, джентльмены,— повторил красный камзол. Он был в экстазе.— Нигде нет; только у нас по случаю столетия основания города. Поняли? Девушка недурна. Давайте ее сюда, она споет и станцует. Бедняжка, как пылают ее глазенки! А что, вы не украли ее? Я вижу, что она намерена прокатиться.

— Нет, нет!—закричала Дэзи.

— Жаль, что нас разъединяет вода,— сказал Тобboган,— я бы показал вам новую красивую маску.

— Вы что же, не понимаете карнавальных шуток?—спросил пьяный толстяк.— Ведь это шутка!

— Я... я... понимаю карнавальные шутки,— ответил Тоббоган нетвердо, после некоторого молчания,— но понимаю еще, что слышал такие вещи без всякого карнавала, или как там оно называется.

— От души вас жалеем!—закричали женщины.— Так вы присматривайте за своей душечкой!

— На память!—вскричал красный камзол. Он размахнулся, и серпантинная лента длинной спиралью опустилась на руку Дэзи, схватившей ее с восторгом. Она повернулась, сжав в кулаке ленту, и залилась смехом.

Меж тем компания на шлюпке удалилась, осыпая нас причудливыми шуточными проклятиями и советуя поспешить на берег.

— Вот какое дело!—сказал Проктор, скребя лоб.

Дэзи уже не было с нами.

— Конечно. Пошла одеваться,— заметил Больт.— А вы, Тоббоган?

— Я тоже поеду,— медленно сказал Тоббоган, размышляя о чем-то.— Надо ехать. Должно быть, весело; а уж ей будет совсем хорошо.

— Отправляйтесь,— решил Проктор,— а я с ребятами тоже посижу в баре. Надеюсь, вы с нами? Помните о ночлеге. Вы можете ночевать на «Нырке», если хотите.

— Если будет надобность,— ответил я, не зная еще, что может быть,— я воспользуюсь вашей добротой. Вещи я оставлю пока у вас.

— Располагайтесь, как дома,— сказал Проктор.— Места хватит.

После того все весело и с нетерпением разошлись одеваться. Я понимал, что неожиданно создавшееся, после многих дней затерянного пути в океане, торжественное настроение ночного праздника требовало выхода, а потому не удивился единогласию этой поездки. Я видел карнавал в Риме и Ницце, но карнавал поблизости тропиков, перед лицом океана, интересовал и меня. Главное же, я знал и был совершенно убежден в том, что встречу Биче Сениэль, девушку, память о которой лежала во мне все эти дни светлым и неясным движением мыслей.

Мне пришлось собираться среди матросов, а потому мы взаимно мешали друг другу. В тесном кубрике, среди раскрытых сундуков, едва было где повернуться. Больт взял взаймы у Перлина. Чеккер у Смита. Они считали деньги и брились наспех, пеня лицо куском мыла. Кто зашнуровывал ботинки, кто считал деньги. Больт поздравил меня с прибытием, и я, отозвав его, дал ему пять золотых на всех. Он сжал мою руку, подмигнул, обещал удивить товарищей громким заказом в гостинице и лишь после того открыть, в чем секрет.

Напутствуемый пожеланиями веселой ночи, я вышел на палубу, где застал Дэзи в новом кисейном платье и кружевном золотисто-сером платке, под руку с Тоббоганом, на котором мешковато сидел синий костюм с малиновым галстуком; между тем его правильному, загорелому лицу так шел раскрытый ворот просмоленной парусиновой блузы. Фуражка с ремнем и золотым якорем окончательно противоречила галстуку, но он так счастливо улыбался, что мне не следовало ничего замечать. Гремя каблуками, выполз из каюты и Проктор; старик остался

верен своей поношенной чесучовой куртке и голубому платку вокруг шеи; только его белая фуражка с черным прямым козырьком дышала свежестью материнской заботы Дэзи.

Дэзи волновалась, что я заметил по ее стесненному вздоху, с каким оправила она рукав, и нетвердой улыбке. Глаза ее блестели. Она была не совсем уверена, что все хорошо на ней. Я сказал:

— Ваше платье очень красиво.

Она засмеялась и кокетливо перекинула платок ближе к тонким бровям.

— Действительно вы так думаете? — спросила она. — А знаете, я его шила сама.

— Она все шьет сама, — сказал Тоббоган.

— Если, как хвастается, будет ему женой, то... — Проктор договорил странно: — Такую жену никто не выдумает, она родилась сама.

— Пошли, пошли! — закричала Дэзи, счастливо оглядываясь на подошедших матросов. — Вы зачем долго копались?

— Просим прощения, Дэзи, — сказал Больт. — Спрыскивались духами и запасались сувенирами для здешних барышень.

— Все врешь, — сказала она. — Я знаю, что ты женат. А вы, что́ вы будете делать в городе?

— Я буду ходить в толпе, смотреть; зайду поужинать и — или найду пристанище, или вернусь переночевать на «Нырок».

В то время матросы попрыгали в шлюпку, стоявшую на воде у кормы. Шлюпка «Бегущей» была подвешена к талям, и Дэзи стукнула по ней рукой, сказав:

— Ваша берлога, в которой вы разъезжали. Как думаешь, — обратилась она к Проктору, — могло уже явиться сюда это судно: «Бегущая по волнам»?

— Уверен, что Гез здесь, — ответил Проктор на ее вопрос мне. — Завтра, я думаю, вы займетесь этим делом, и вы можете рассчитывать на меня.

Я сам ожидал встречи с Гезом и не раз думал, как это произойдет, но я знал также, что случай имеет теперь иное значение, чем простое уголовное преследование. Поэтому, благодаря Проктора за его сочувствие и за справедливый гнев, я не намеревался ни торопиться, ни заявлять о своем рвении.

— Сегодня не день дел, — сказал я, — а завтра я все обдумаю.

Наконец мы уселись; толчки весел, понесших нас прочь от «Нырка» с его одиноким мачтовым фонарем, ввели наше внутреннее нетерпеливое движение в круг общего движения ночи. Среди теней волн плескался, рассыпаясь подводными искрами, блеск огней. Огненные извивы струились от набережной к тьме, и музыка стала слышна, как в зале. Мы встретили несколько богато разукрашенных шлюпок и паровых катеров, казавшихся веселыми призраками, так ярко были они озарены среди сумеречной волны. Иногда нас окликали хором, так что нельзя было разобрать слов, но я понимал, что катающиеся бранят нас за мрачность нашей поездки. Мы проехали мимо парохода, превращенного в люстру, и стали приближаться к набережной. Там шла, бежала и перебегала толпа. Среди яркого света увидел я восемь лошадей в султанах из перьев, кативших огромное сооружение из башенок и ковров, увитое апельсинным цветом. На платформе этого сооружения плясали люди в зеленых цилиндрах и оранжевых сюртуках; вместо лиц были комические, толстощекие маски и чудовищные очки. Там же вертелись дамы в коротких голубых юбках и полумасках; они, махая длинными шарфами, отплясывали, подбоченясь весьма лихо. Вокруг несли факелы.

— Что они делают?—вскричала Дэзи.—Это кто же такие?

Я объяснил ей, что́ такое маскарадные выезды и как их устраивают на юге Европы. Тоббоган задумчиво произнес:

— Подумать только, какие деньги брошены на пустяки!

— Это не пустяки, Тоббоган,—живо отозвалась девушка.—Это праздник. Людям нужен праздник хоть изредка. Это ведь хорошо—праздник! Да еще какой!

Тоббоган, помолчав, ответил:

— Так или не так, а я думаю, что, если бы мне дать одну тысячную часть этих загубленных денег,—я построил бы дом и основал бы неплохое хозяйство.

— Может быть,—рассеянно сказала Дэзи.—Я не буду спорить, только мы тогда, после двадцати шести дней пустынного океана, не увидели бы всей этой красоты. А сколько еще впереди!

— Держи к лестнице!—закричал Проктор матросу.—Убирай весла!

Шлюпка подошла к намеченному месту — каменной лестнице, спускающейся к квадратной площадке, и была привязана к кольцу, ввинченному в плиту. Все повысыпали наверх. Проктор запер вокруг весел цепь, повесил замок, и мы разделились. Как раз неподалеку была гостиница.

— Вот мы пока и пришли,— сказал Проктор, отходя с матросами,— а вы решайте, как быть с дамой, нам с вами не по пути.

— До свидания, Дэзи,— сказал я танцующей от нетерпения девушке.

— А...— начала она и посмотрела мельком на Тоббогана.

— Желаю вам веселиться,— сказал моряк.— Ну, Дэзи, идем.

Она оглянулась на меня, помахала поднятой вверх рукой, и я почти сразу потерял их из вида в проносящейся ураганом толпе, затем осмотрелся, с волнением ожидания и с именем, впервые, после трех дней, снова зазвучавшим как отчетливо сказанное вблизи: «Биче Сениэль». И я увидел ее незабываемое лицо.

С этой минуты мысль о ней не покидала уже меня, и я пошел в направлении главного движения, которое заворачивало от набережной через открытую с одной стороны площадь. Я был в неизвестном городе,— чувство, которое я особенно люблю. Но, кроме того, он предстал мне в свете неизвестного торжества, и, погрузясь в заразительно яркую суету, я стал рассматривать, что происходит вокруг; шел я не торопясь и никого не расспрашивал, так же, как никогда не хотел знать названия поразивших меня своей прелестью и оригинальностью цветов. Впоследствии я узнавал эти названия. Но разве они прибавляли красок и лепестков? Нет, лишь на цветок как бы садился жук, которого уже не стряхнешь.

ГЛАВА XXII

Я знал, что утром увижу другой город — город, как он есть, отличный от того, какой вижу сейчас,— выложенный, под мраком, листовым золотом света, озаряющего фасады. Это были по большей части двухэтажные каменные постройки, обнесенные навесами веранд и балконов. Они стояли тесно, сияя распахнутыми

окнами и дверями. Иногда за углом крыши чернели веера пальм; в другом месте их ярко-зеленый блеск, более сильный внизу, указывал невидимую за стенами иллюминацию. Изобилие бумажных фонарей всех цветов, форм и рисунков мешало различить подлинные черты города. Фонари свешивались поперек улиц, пылали на перилах балконов, среди ковров; фестонами тянулись вдаль. Иногда перспектива улицы напоминала балет, где огни, цветы, лошади и живописная теснота людей, вышедших из тысячи сказок, в масках и без масок, смешивали шум карнавала с играющей по всему городу музыкой.

Чем более я наблюдал окружающее, два раза перейдя прибрежную площадь, прежде чем окончательно избрал направление, тем яснее видел, что карнавал не был искусственным весельем, ни весельем по обязанности или приказу,— горожане были действительно одержимы размахом, какой получила затея, и теперь размах этот бесконечно увлекал их, утоляя, может быть, давно нараставшую жажду всеобщего пестрого оглушения.

Я двинулся наконец по длинной улице в правом углу площади и попал так удачно, что иногда должен был останавливаться, чтобы пропустить процессию всадников — каких-нибудь средневековых бандитов в латах или чертей в красных трико, восседающих на мулах, украшенных бубенчиками и лентами. Я выбрал эту улицу из-за выгоды ее восхождения в глубь и в верх города, расположенного рядом террас, так как здесь, в конце каждого квартала, находилось несколько ступеней из плитняка, отчего автомобили и громоздкие карнавальные экипажи не могли двигаться; но не один я искал такого преимущества. Толпа была так густа, что народ шел прямо по мостовой. Это было бесцельное движение ради движения и зрелища. Меня обгоняли домино, шуты, черти, индейцы, негры, «такие» и настоящие, которых с трудом можно было отличить от «таких»; женщины, окутанные газом, в лентах и перьях; развевались короткие и длинные цветные юбки, усеянные блестками или обшитые белым мехом. Блеск глаз, лукавая таинственность полумасок, отряды матросов, прокладывающих дорогу взмахами бутылок, ловя кого-то в толпе с хохотом и визгом; пьяные ораторы на тумбах, которых никто не слушал или сталкивал

невзначай локтем; звон колокольчиков, кавалькады принцесс и гризеток, восседающих на атласных попонах породистых скакунов; скопления у дверей, где в тумане мелькали бешеные лица и сжатые кулаки; пьяные врастяжку на мостовой; трусливо пробирающиеся домой кошки; нежные голоса и хриплые возгласы, песни и струны; звук поцелуя и хоры криков вдали,— таково было настроение Гель-Гью этого вечера. Под фантастическим флагом тянулось грязное полотно навесов торговых ларей, где продавали лимонад, фисташковую воду, воду со льдом, содовую и виски, пальмовое вино и орехи, конфеты и конфетти, серпантин и хлопушки, петарды и маски, шарики из липкого теста и колючие сухие орехи, вроде репья, выдрать шипы которых из волос или ткани являлось делом замысловатым. Время от времени среди толпы появлялся велосипедист, одетый медведем, монахом, обезьяной или Пьерро, на жабо которого тотчас приклеивались эти метко бросаемые цепкие колючие шарики. Появлялись великаны, пища резиновой куклой или гремя в огромные барабаны. На верандах танцевали; я наткнулся на бал среди мостовой и не без труда обошел его. Серпантин был так густо напущен по балконам и под ногами, что воздух шуршал. За время, что я шел, я получил несколько предложений самого разнообразного свойства: выпить, поцеловаться, играть в карты, проводить танцевать, купить,— и женские руки беспрерывно сновали передо мной, маня округленным взмахом поддаться общему увлеченью. Видя, что чем дальше, тем идти труднее, я поспешил свернуть в переулок, где было меньше движения. Повернув еще раз, я очутился на улице, почти пустой. Справа от меня, загибая влево и восходя вверх, тянулась, сдерживая обрыв, наклонная стена из глыб дикого камня. Над ней, по невидимым снизу дорогам, беспрерывно стучали колеса, мелькали фонари, огни сигар. Я не знал, какое я занимаю положение в отношении центра города; постояв, подумав и выбрав из своего фланелевого костюма все колючие шарики и обобрав шлепки липкого теста, которое следовало бы запретить, я пошел вверх, среди относительной темноты. Я прошел мимо веранды, где, подбежав к ее краю, полуосвещенная женщина перегнулась ко мне, тихо позвав: «Это вы, Сульт?»— с любовью

и опасением в вздрогнувшем голосе. Я вышел на свет, и она, сконфуженно засмеясь, исчезла.

Поднявшись к пересекающей эту улицу мостовой, я снова попал в дневной гул и ночной свет и пошел влево, как бы сознавая, что должен прийти к вершине угла тех двух направлений, по которым шел вначале и после. Я был на широкой, залитой асфальтом улице. В ее конце, бывшем неподалеку, виднелась площадь. Туда стремилась толпа со всего переулка. Через головы, перемещавшиеся впереди меня с быстротой схватки, я увидел статую, возвышающуюся над движением. Это была мраморная фигура женщины с приподнятым лицом и протянутыми руками. Пока я проталкивался к ней среди толпы, ее поза и весь вид были мне не вполне ясны. Наконец я подошел близко, так что увидел высеченную ниже ее ног надпись и прочитал ее. Она состояла из трех слов:

«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

Когда я прочел эти слова, мир стал темнеть, и слово, одно слово могло бы объяснить все. Но его не было. Ничто не смогло бы отвлечь меня теперь от этой надписи. Она была во мне, и вместе с тем должно было пройти таинственное действие времени, чтобы внезапное стало доступно работе мысли. Я поднял голову и рассмотрел статую. Скульптор делал ее с любовью. Я видел это по безошибочному чувству художественной удачи. Все линии тела девушки, приподнявшей ногу, в то время как другая отталкивалась, были отчетливы и убедительны. Я видел, что ее дыхание участилось. Ее лицо было не тем, какое я знал,— не вполне тем, но уже то, что я сразу узнал его, показывало, как приблизил тему художник и как, среди множества представлявшихся ему лиц, сказал: «Вот это должно быть тем лицом, какое единственно может быть высечено». Он дал ей одежду незамечаемой формы, подобной возникающей в воображении,— без ощущения ткани; сделал ее складки прозрачными и пошевелил их. Они прильнули спереди, на ветру. Не было невозможных мраморных волн, но выражение стройной отталкивающей ноги передавалось ощущением, чуждым тяжести. Ее мраморные глаза,— эти условно видящие, но слепые при неумении изобразить их глаза статуи, казалось, смотрят сквозь мраморную

тень. Ее лицо улыбалось. Тонкие руки, вытянутые с силой внутреннего порыва, которым хотят опередить самый бег, были прекрасны. Одна рука слегка пригибала пальцы ладонью вверх, другая складывала их нетерпеливым, восхитительным жестом душевной игры.

Действительно, это было так: она явилась, как рука, греющая и веселящая сердце. И как ни отделенно от всего, на высоком пьедестале из мраморных морских див, стояла «Бегущая по волнам» — была она не одна. За ней грезился высоко поднятый волной бугшприт огромного корабля, несущего над водой эту фигуру,— прямо, вперед, рассекая город и ночь.

Настолько я владел чувствами, чтобы отличить независимое впечатление от впечатления, возникшего с большей силой лишь потому, что оно поднято обстоятельствами. Эта статуя была центр — главное слово всех других впечатлений. Теперь мне кажется, что я слышал тогда, как стоял шум толпы, но точно не могу утверждать. Я очнулся потому, что на мое плечо твердо и выразительно легла мужская рука. Я отступил, увидев внимательно смотрящего на меня человека в треугольной шляпе, с серебряным поясом вокруг талии, затянутой в старинный сюртук. Красное седое лицо с трепетавшей от удивления бровью тотчас изменило выражение, когда я спросил, чего он хочет.

— А! — сказал человек и, так как нас толкали герои и героини всех пьес всех времен, отошел ближе к памятнику, сделав мне знак приблизиться. С ним было еще несколько человек в разных костюмах и трое в масках, которые стояли, как бы тоже требуя или ожидая объяснений.

Человек, сказавший «А», продолжал:

— Кажется, ничего не случилось. Я тронул вас потому, что вы стоите уже около часа, не сходя с места и не шевелясь, и это показалось нам подозрительным. Я вижу, что ошибся, поэтому прошу извинения.

— Я охотно прощаю вас,— сказал я,— если вы так подозрительны, что внимание приезжего к этому замечательному памятнику внушает вам опасение, как бы я его не украл.

— Я говорил вам, что вы ошибаетесь,— вмешался молодой человек с ленивым лицом.— Но,— прибавил он, обращаясь ко мне,— действительно, мы стали ломать голову, как может кто-нибудь оставаться

так погруженно-неподвижен среди трескучей карусели толпы.

Все эти люди хотя и не были пьяны, но видно было, что они провели день в разнообразном веселье.

— Это приезжий,— сказал третий из группы, драпируясь в огненно-желтый плащ, причем рыжее перо на его шляпе сделало хмельной жест. У него и лицо было рыжим: веснушчатое, белое, рыхлое лицо с полупечальным выражением рыжих бровей, хотя бесцветные блестящие глаза посмеивались.— Только у нас в Гель-Гью есть такой памятник.

Не желая упускать случая понять происходящее, я поклонился им и назвал себя. Тотчас протянулось ко мне несколько рук с именами и просьбами не вменить недоразумение ни в обиду, ни в нехороший умысел. Я начал с вопроса: подозрение чего могли возыметь они все?

— Вот что,— сказал Бавс, человек в треугольной шляпе,— может быть, вы не прочь посидеть с нами? Наш табор неподалеку: вот он.

Я оглянулся и увидел большой стол, вытащенный, должно быть, из ресторана, бывшего прямо против нас, через мостовую. На скатерти, сползшей до камней мостовой, были цветы, тарелки, бутылки и бокалы, а также женские полумаски,— надо полагать — трофеи некоторых бесед. Гитары, банты, серпантин и маскарадные шпаги сталкивались на этом столе с локтями восседающих вокруг него десяти — двенадцати человек. Я подошел к столу с новыми своими знакомыми, но, так как не хватало стульев, Бавс поймал пробегающего мимо мальчишку, дал ему пинка, серебряную монету, и награжденный притащил из ресторана три стула, после чего, вздохнув, шмыгнул носом и исчез.

— Мы привели новообращенного,— сказал Трайт, владелец огненного плаща.— Вот он. Его имя Гарвей, он стоял у памятника, как на свидании, не отрываясь и созерцая.

— Я только что приехал,— сказал я, усаживаясь,— и действительно в восхищении от того, что вижу, чего не понимаю и что действует на меня самым необыкновенным образом. Кроме того, возбудил неясные подозрения.

Раздались восклицания, смысл которых был и дружелюбен и бестолков. Но выделился человек в маске: из тех словоохотливых, настойчиво расталкивающих

своим ровным голосом все остальные, более горячие голоса людей, лицо которых благодаря этой черте разговорной настойчивости есть тип, видимый даже под маской.

Я слушал его более чем внимательно.

— Знаете ли вы,— сказал он,— о Вильямсе Гобсе и его странной судьбе? Сто лет назад был здесь пустой как луна берег, и Вильямс Гобс, в силу предания, которому верит, кто хочет верить, плыл на корабле «Бегущая по волнам» из Европы в Бомбей. Какие у него были дела с Бомбеем — есть указания в городском архиве...

— Начнем с подозрений,— перебил Бавс.— Есть партия, или, если хотите, просто решительная компания, поставившая себе вопросом чести...

— У них нет чести,— сказал совершенно пьяный человек в зеленом домино,— я знаю эту змею, Парана; дух из него вон,и дело с концом!

— Вот мы и думали,— ухватился Бавс за ничтожную паузу в разговоре,— что вы их сторонник, так как прошел час...

— ...есть указания в городском архиве,— поспешно вставил свое слово рассказчик.— Итак, я рассказываю легенду об основании города. Первый дом построил Вильямс Гобс, когда был выброшен на отмели среди скал. Корабль бился в шторме, опасаясь неизвестного берега и не имея возможности пересечь круговращение ветра. Тогда капитан увидел прекрасную молодую девушку, взбежавшую на палубу вместе с гребнем волны. «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба!» — сказала она можно понять как чувствовавшему себя капитану...

— Совсем не то,— перебил Бавс,— вернее, разговор был такой: «С вами говорит Фрези Грант; не пугайтесь и делайте, что скажу...»

— «Зюйд-зюйд-ост и три четверти румба»,— быстро договорил человек в маске.— Но я уже сказал это. Так вот, все спаслись по ее указанию — выброситься на мель, и она, конечно, исчезла, едва капитан поверил, что надо слушаться. С Гобсом была жена, так напуганная происшествием, что наотрез отказалась плавать по морю. Через месяц сигналом с берега был остановлен бриг «Полина», и спасшиеся уехали с ним, но Гобс не захотел ехать, потому что не мог справиться с женой,— так она напугалась во время шторма. Им оставили припасов и одного человека, не пожелавшего

покинуть Гобса, так как он был ему чем-то крупно обязан. Имя этого человека Нэд Хорт; и так началась жизнь первых колонистов, которые нашли здесь плодородную землю и прекрасный климат. Они умерли лет восемьдесят назад. Медленно идет время.

— Нет, очень быстро,— возразил Бавс.

— Конечно, я рассказал вам самую суть,— продолжал мой собеседник,— и только провел прямую линию, а обстоятельства и подробности этой легенды вы найдете в нашем архиве. Но — слушайте дальше.

— Известно ли вам,— сказал я,— что существует корабль с названием: «Бегущая по волнам»?

— О, как же! — ответил Бавс.— Это была прихоть старика Сениэля. Я его знал. Он из Гель-Гью, но лет десять назад разорился и уехал в Сан-Риоль. Его родственники и посейчас живут здесь.

— Я видел это судно в лисском порту, отчего и спросил вас.

— С ним была странная история,— сказал Бавс.— С судном, не с Сениэлем. Впрочем, может быть, он его продал.

— Да, но произошла следующая история,— нетерпеливо перебил человек в маске.— Однажды...

Вдруг один человек, сидевший за столом, вскочил и протянул сжатый кулак по направлению автомобиля, объехавшего памятник Бегущей и остановившегося в нескольких шагах от нас. Тотчас вскочили все.

Нарядный черный автомобиль среди того пестрого и оглушительного движения, какое происходило на площади, был резок, как неразгоревшийся, охваченный огнем уголь. В нем сидело пять мужчин, все некостюмированные, в вечерней черной одежде и цилиндрах, и две дамы — одна некрасивая, с поблекшим жестким лицом, другая молодая, бледная и высокомерная. Среди мужчин было два старика. Первый, напоминающий разжиревшего, оскаленного бульдога, широко расставив локти, курил, ворочая ртом огромную сигару; другой смеялся, и этот второй произвел на меня особенно неприятное впечатление. Он был широкоплеч, худ, с угрюмо запавшими щеками, высоким лбом и собранными под ним в едкую улыбку чертами маленького, мускулистого лица, сжатого напряжением и сарказмом.

— Вот они! — закричал Бавс.— Вот червонные валеты карнавала! Добс, Коутс, бегите к памятнику! Эти люди способны укусить камень!

Вокруг автомобиля и стола столпился народ. Все встали. Стулья поопрокидывались; с автомобиля отвечали криками угроз и насмешек.

— Что?! Караулите? — сказал толстый старик.— Смотрите не прозевайте!

— С э т и м не прозеваешь! — вскричало зеленое домино, взмахивая револьвером.— Можете кататься, уезжать, приезжать или разбить себе голову — как хотите!

Второй старик закричал, высунувшись из автомобиля:

— Мы отобьем вашей кукле руки и ноги! Это произойдет скоро! Вспомните мои слова, когда будете подбирать осколки для брелоков!

Вне себя, Бавс начал рыться в кармане и побежал к автомобилю. Машина затряслась, сделала поворот, отъехала и скрылась, сопровождаемая свистками и аплодисментами. Тотчас явились два полисмена в обрывках серпантиновых лент, с нетвердыми жестами; они стали уговаривать Бавса, который, дав в воздух несколько выстрелов, остановил велосипедиста, желая отобрать у него велосипед для погони за неприятелем. Остолбеневший хозяин велосипеда уже начал оглядываться, куда прислонить машину, чтобы, освободясь, дать выход своему гневу, но полисмен не допустил драки. Я слышал сквозь шум, как он кричал:

— Я все понимаю, но выберите другое место сводить счеты!

Во время этого столкновения, которое было улажено неизвестно как, я продолжал сидеть у покинутого стола. Ушли — вмешаться в происшествие или развлечься им — почти все; остались — я, хмельное зеленое домино, локоть которого неизменно срывался, как только он пытался его поставить на край стола, да словоохотливый и методический собеседник. Происшествие с автомобилем изменило направление его мыслей.

— Акулы, которых вы видели на автомобиле,— говорил он, следя, слушаю ли я его внимательно,— затеяли всю историю. Из-за них мы здесь и сидим. Один, худощавый, это Кабон, у него восемь паровых мельниц; с ним толстый — Тукар, фабрикант искусственного льда. Они хотели сорвать карнавал, но это не удалось. Таким образом...

Его перебило возвращение всей застольной группы, занявшей свои места с гневом и смехом. Дальнейший

разговор был так нервен и непоследователен,— причем часть обращалась ко мне, поясняя происходящее, другая вставляла различные замечания,спорила и перебивала,— что я бессилен восстановить ход беседы. Я пил с ними, слушая то одного, то другого, пока мне не стало ясным положение дела.

Разумеется, под открытым небом, среди толпы, занятой увеселительными делами, сидение за этим столом разнообразилось всякими инцидентами. Знакомые моих хозяев появлялись с приветствиями, шептали им на ухо или, таинственно отведя их для секретной беседы, составляли беспокойный фон, на котором мелькал дождь конфетти, сыпавшийся из хорошеньких ручек. Покушение неизвестных масок взбесить нас танцами за нашей спиной, причем не прекращались разные веселые бедствия, вроде закрывания сзади рукой глаз или изымания стула из-под привставшего человека вместе с писком, треском, пальбой, топотом и чепуховыми выкриками, среди мелодий оркестров и яркого света, над которым, улыбаясь, неслась мраморная «Бегущая по волнам»,— все это входило в наш разговор и определяло его.

Как ни прекрасен был вещественный повод вражды и ненависти, явленный одинокой статуей,— вульгарной оказалась сущность ее между людьми. Основой ее были старые счеты и материальные интересы. Еще пять лет назад часть городских дельцов требовала заменить изваяние какой-нибудь другой статуей или совсем очистить площадь от памятника, так как с ним связывался вопрос о расширении портовых складов. Большая часть намеченного под склады участка принадлежала Грасу Парану. Фамилия Парана была одной из самых старых фамилий города. Параны занимались торговлей и административной деятельностью. Это были удачливые и сильные люди, с тем выгодным для них знанием жизни, которое одно само по себе, употребленное для обогащения, верно приводит к цели. Богатство их увеличивалось по законам роста дерева; оно не особенно выделялось среди других состояний, пока в 1863 году Элевзий Паран, дед нынешнего Граса Парана, не увидел среди глыб обвала на своем участке, замкнутом с одной стороны горами, ртутной лужи и не зачерпнул в горсть этого тяжелого вещества.

— Стоит вам взглянуть на термометр,— сказал Бавс,— или на пятно зеркального стекла, чтобы

вспомнили это имя: Грас Паран. Ему принадлежит треть портовых участков и сорок домов. Кроме капитала, заложенного по железным дорогам, шести фабрик, земель и плантаций, свободный оборотный капитал Парана составляет около ста двадцати миллионов!

Грас Паран развелся с женой, от которой у него не было детей, и усыновил племянника, сына младшей сестры, Георга Герда. Через несколько лет Паран снова женился на молодой девушке. Расстояние возрастов было таково: Парану — пятьдесят лет, его жене — восемнадцать и Герду — двадцать четыре. Против воли Парана Герд стал скульптором. Он провел в Италии пять лет, учился по мастерским Фарнези, Ависа, Гардуччи и, возвратясь, увидел хорошенькую молодую мачеху, с которой завязалась у него дружба, а дружба перешла в любовь. Оба были решительными людьми. Сначала уехала в Европу она, затем — он, и более не вернулись.

Когда в Гель-Гью был поднят вопрос о памятнике основанию города, Герд принял участие в конкурсе, и его модель, которую он прислал, необыкновенно понравилась. Она была хороша и привлекала надписью «Бегущая по волнам», напоминающей легенду, море, корабли; и в самой этой странной надписи было движение. Модель Герда (еще не знали, что это Герд) воскресила пустынные берега и мужественные фигуры первых поселенцев. Заказ был послан, имя Герда открыто, статуя перевезена из Флоренции в Гель-Гью при отчаянном противодействии Парана, который, узнав, что память его позора увековечена его же приемным сыном, пустил в ход деньги, печать и шантаж, но ему не удалось добиться замены этого памятника другим. У Парана нашлись могущественные враги, поддержавшие решение города. В дело вмешались страсти и самолюбие. Памятник был поставлен. Лицо Бегущей ничем не напоминало жену Парана, но своеобразное искажение чувств, связанных неотступной мыслью об ее измене, привело к маниакальному внушению: Паран остался при убеждении, что Герд в этой статуе изобразил Химену Паран.

Одно время казалось — история остановилась у точки. Однако Грас Паран, выждав время, начал жестокую борьбу, поставив задачей жизни убрать памятник; и достиг того, что среди огромного числа

родственников, зависящих от него людей и людей подкупленных был поднят вопрос о безнравственности памятника, чем привлек на свою сторону людей, бессознательность которых ноет от старых уколов, от мелких и больших обид, от злобы, ищущей лишь повода,— людей с темными, сырыми ходами души, чья внутренняя жизнь скрыта и обнаруживается иногда непонятным поступком, в основе которого, однако, лежит мировоззрение, мстящее другому мировоззрению — без ясной мысли о том, что оно делает. Приемы и обстоятельства этой борьбы привели к попыткам разбить ночью статую, но подкупленные для этой цели люди были схвачены группой случайных прохожих, заподозривших неладное в их поведении. Наконец, постановление города праздновать свое столетие карнавалом, которому также противодействовали Паран и его партия, довело этого человека до открытого бешенства. Были угрозы; их слышали и передавали по городу. Накануне карнавала, то есть третьего дня, в статую произвели выстрел разрывной пулей, но она отбила только верхний угол подножия памятника. Стрелявший скрылся; и с этого часа несколько решительных людей установили охрану, сев за тот самый стол, где я сидел с ними. Тем временем нападающая сторона, не скрывая уже своих намерений, открыто поклялась разбить статую и обратить общее веселье в торжество мрачного замысла.

Таков был наш разговор, внимать которому приходилось с тем бо́льшим напряжением, что его течение часто нарушалось указанными выше вещественными и невещественными порывами.

Карнавалы, как я узнал тогда же, происходили в Гель-Гью и раньше благодаря французам и итальянцам, представленным значительным числом всего круга колонии. Но этот карнавал превзошел все прочие. Он был популярен. Его причина была к р а с и в а. Взаимный яд двух газет и развитие борьбы за памятник, ставшей как бы нравственной борьбой, придали ему оттенок спортивный; неожиданно все приняло широкий размах. Город истратил на украшения и на торжество часть хозяйственных сумм,— что еще подлило масла в огонь, так как единодейственники Парана мгновенно оклеветали врагов; те же при взаимном наступательном громе вытащили из-под сукна старые, неправильно решенные в пользу Парана

дела. Грузоотправители, нуждающиеся в портовой земле под склады, возненавидели защитников памятника, так как Паран объявил свое решение: не давать участка, пока на площади стоит, протянув руки, «Бегущая по волнам».

Как я видел по стычке с автомобилем, эта статуя, имеющая для меня теперь совершенно особое значение, действительно подвергалась опасности. Отвечая на вопрос Бавса, согласен ли я держать сторону его друзей, то есть присоединиться к охране, я, не задумываясь, сказал: «Да». Меня заинтересовало также отношение к своей роли Бавса и всех других. Как выяснилось, это были домовладельцы, таможенные чины, торговцы, один офицер; я не ожидал ни гимнов искусству, ни сладких или восторженных замечаний о глубине тщательно охраняемых впечатлений. Но меня удивили слова Бавса, сказавшего по этому поводу: «Нам всем пришлось так много думать о мраморной Фрези Грант, что она стала как бы наша знакомая. Но и то сказать, это — совершенство скульптуры. Городу не хватало точки, а теперь точка поставлена. Так многие думают, уверяю вас».

Так как подтвердилось, что гостиницы переполнены, я охотно принял приглашение одного крайне шумного человека без маски, одетого жокеем, полного, нервного, с надутым красным лицом. Его глаза катались в орбитах с удивительной быстротой, видя и подмечая все. Он напевал, бурчал, барабанил пальцами, возился шумно на стуле, иногда врывался в разговор, не давая никому говорить, но так же внезапно умолкал, начиная, раскрыв рот, рассматривать лбы и брови говорунов. Сказав свое имя — «Ариногел Кук» — и сообщив, что живет за городом, а теперь заблаговременно получил номер в гостинице, Кук пригласил меня разделить его помещение.

— От всей души,— сказал он.— Я вижу джентльмена и рад помочь. Вы меня не стесните. Я вас стесню. Предупреждаю заранее. Бесстыдно сообщаю вам, что я — сплетник; сплетня — моя болезнь, я люблю сплетничать и, говорят, достиг в этом деле известного совершенства. Как видите, кругом — богатейший материал. Я любопытен и могу вас замучить вопросами. Особенно я нападаю на молчаливых людей вроде вас. Но я не обижусь, если вы припомните мне это признание с некоторым намеком, когда я вам надоем.

Я записал адрес гостиницы и едва отделался от Кука, желавшего немедленно показать мне, как я буду с ним жить. Еще некоторое время я не мог встать из-за стола, выслушивая кое-кого по этому же поводу, но наконец встал и обошел памятник. Я хотел взглянуть на то место, куда ударила разрывная пуля.

ГЛАВА XXIII

С правой стороны от стола и памятника движение развивалось меньше, так как по этой стороне две улицы были преграждены рогатками ради единства направления экипажей, отчего езда могла происходить через одну сторону площади, сламываясь на ней прямым углом, но не скрещиваясь, во избежание столкновений. С этой стороны я и обошел статую. Один угол мраморного подножия был действительно сбит, но, к счастью, эта порча являлась мало заметной для того, кто не знал о выстреле. С этой же стороны, внизу памятника, была вторая надпись: «Георг Герд, 5 декабря 1909 г.». Среди ночи за следом маленьких ног вырезали по волне мрачный зигзаг острые плавники. «Не скучно ли на темной дороге?» — вспомнил я приветливые слова. Две дамы в черных кружевах, с закрытыми лицами, под руку, пробежали мимо меня и, заметив, что я рассматриваю последствия выстрела, воскликнули:

— Стрелять в женщину! — Это сказала одна из них; другая ответила:

— Должно быть, человек был сумасшедший!

— Просто дурак, — возразила первая. — Однако идем.

Она начала шептать, но я слышал:

— Вы знаете, есть примета. Надо ее попросить... — остальное прозвучало, как «...а?! о?! Неужели!».

Маски рассмеялись коротким грудным смешком секрета и любви, затем тронулись по своим делам.

Я хотел вернуться к столу, как, оглядываясь на кого-то в толпе, ко мне быстро подошла женщина в пестром платье, отделанном позументами, и в полумаске.

— Вы тут были один? — торопливо проговорила она, возясь одной рукой возле уха, чтобы укрепить свою полумаску, а другую протянув мне, чтобы я не ушел. — Постойте, я передаю поручение. Вам через

меня одна особа желает сообщить... (Иду! — крикнула она на зов из толпы.) Сообщить, что она направилась в театр. Там вы ее и найдете по желтому платью с коричневой бахромой. Это ее подлинные слова. Надеюсь,— не перепутаете? — И женщина двинулась отбежать, но я ее задержал. Карнавал полон мистификаций. Я сам когда-то посылал многих простачков искать несуществующее лицо, но этот случай мне показался серьезным. Я ухватился за конец кисейного шарфа, держа натянувшую его всем телом женщину, как пойманную лесой рыбу.

— Кто вас послал?

— Не разорвите! — сказала женщина, оборачиваясь так, что шарф спал и остался в моей руке, а она подбежала за ним.— Отдайте шарф! Эта самая женщина и послала: сказала и ушла; ах, я потеряю своих! Иду! — закричала она на отдалившийся женский крик, звавший ее.— Я вас не обманываю. Всегда задержат вместо благодарности! Ну?! — Она выхватила шарф, кивнула и убежала.

Может ли быть, что тайно от меня думал обо мне некто? О человеке, затерянном ночью среди толпы охваченного дурачествами и танцами чужого города? В моем волнении был смутный рисунок действия, совершающегося за моей спиной. Кто перешептывался, кто указывал на меня? Подготовлял встречу? Улыбался в тени? Неузнаваемый, замкнуто проходил при свете? «Да, это Биче Сениэль,— сказал я,— и больше никто». В эту ночь я думал о ней, я ее искал, всматриваясь в прохожих. «Есть связь, о которой мне неизвестно, но я здесь, я слышал, и я должен идти!» Я был в том безрассудном, схватившем среди непонятного первый навернувшийся смысл, состоянии, когда человек думает о себе как бы вне себя, с чувством душевной ощупи. Все становится закрыто и недоступно; указано одно действие. Осмотрясь и спросив прохожих, где театр, я увидел его вблизи, на углу площади и тесного переулка. В здании стоял шум. Все окна были распахнуты и освещены. Там бушевал оркестр, притягивая нервное напряжение разлетающимся, как шлейф, мотивом. В вестибюле стоял ад; я пробивался среди плеч, спин и локтей, в духоте, запахе пудры и табаку, к лестнице, по которой сбегали и взбегали разряженные маски. Мелькали веера, цветы, туфли и шелк. Я поднимался, стиснутый в плечах, и получил некоторую свободу

движений лишь наверху, где влево увидел завитую цветами арку большого фойе. Там танцевали. Я оглянулся и заметил желтое шелковое платье с коричневой бахромой.

Эта фигура безотчетно нравящегося сложения поднялась при моем появлении с дивана, стоявшего в левом от входа углу зала; минуя овальный стол, она задела его, отчего оглянулась на помеху и, скоро подбежав ко мне, остановилась, нежно покачивая головкой. Черная полумаска с остро прорезанными глазами, блестевшими немо и выразительно, и стесненная улыбка полуоткрытого рта имели лукавый вид затейливого секрета. Ее костюм был что-то среднее между матинэ и маскарадной фантазией. Его контуры, широкие рукава и низ короткой юбки были отделаны длинной коричневой бахромой. Маска приложила палец к губам; другой рукой, растопырив ее пальцы, повертела в воздухе так и этак, сделала вид, что закручивает усы, коснулась моего рукава, затем объяснила, что знает меня, нарисовав в воздухе слово «Гарвей». Пока это происходило, я старался понять, каким образом она знает вообще, что я, Томас Гарвей,— есть я сам, пришедший по ее указанию. Уже я готов был признать ее действия требующими немедленного и серьезного объяснения. Между тем маска вновь покачала головой, на этот раз укоризненно, и, указав на себя в грудь, стала бить по губам пальцем, желая вразумить меня этим, что хочет услышать от меня, кто она.

— Я вас знаю, но я не слышал вашего голоса,— сказал я.— Я видел вас, но никогда не говорил с вами.

Она стала на момент неподвижной, лишь ее взгляд в черных прорезах маски выразил глубокое, горькое удивление. Вдруг она произнесла чрезвычайно смешным, тоненьким, искаженным голосом:

— Скажите, как мое имя?

— Вы послали за мной?

Множество усердных кивков было ответом.

Я более не спрашивал, но медлил. Мне казалось, что, произнеся ее имя, я как бы коснусь зеркально-гладкой воды, замутив отражение и спугнув образ. Мне было хорошо знать и не называть. Но уже маленькая рука схватила меня за рукав, тряся и требуя, чтобы я назвал имя.

— Биче Сениэль! — тихо сказал я, первый раз произнеся вслух эти слова.— Лисс, гостиница «Дувр».

Там останавливались вы дней восемь тому назад. Я в странном положении относительно вас, но верю, что вы примете мои объяснения просто, как все просто во мне. Не знаю,— прибавил я, видя, что она отступила, уронила руки и молчит, молчит всем существом своим,— следовало ли мне узнавать ваше имя в гостинице.

Ее рот дрогнул, полуоткрылся с намерением что-то сказать. Некоторое время она смотрела на меня прямо и тихо, закусив губу, потом быстрым движением откинула полумаску, и я увидел Дэзи. Сквозь ее заметное огорчение скользнула улыбка удовольствия явиться вместо другой.

— Не хочу больше прятаться,— сказала она, протягивая мне руку.— Вы не сердитесь на меня? Однако прощайте, я тороплюсь.

Она стала тянуть руку, которую я бессознательно задержал, и отвернула лицо. Когда ее рука освободилась, она отошла и, стоя вполуоборот, стала надевать полумаску.

Не понимая ее появления, я видел все же, что девушка намеревалась поразить меня костюмом и неожиданностью. Я испытал мерзкое угнетение.

— Я был уверен,— сказал я, следуя за ней,— что вы уже спите на «Нырке». Отчего вы не подошли, когда я стоял у памятника?

Дэзи повернулась. Ее лицо снова было скрыто. Платье это очень шло к ней: на нее оглядывались, проходя, мужчины, взглядывая затем на меня,— но я чувствовал ее горькую растерянность. Дэзи проговорила, останавливаясь среди слов:

— Это верно, но я так задумала. Ну, что же вы смутились? Я не хочу и не буду вам мешать. Я пришла просто потому, что подвернулся недорого этот наряд, и хотела вас развеселить. Так вышло, что Тоббоган задержался в одном месте, и я немного помешалась среди всякого изобилия. Вас увидела случайно. Вы стояли у памятника, один. Неужели это действительно сделана Фрези Грант? Как странно! Меня всю исщипали, пока дошла. Ох, будет мне от Тоббогана! Побегу успокаивать его. Идите, идите, раз вам нужно,— прибавила она, направляясь к лестнице и видя, что я пошел за ней.— Я теперь знаю дорогу и сама разыщу своих. Всего хорошего!

Мне незачем и не надо было идти вместе, но, сам растерявшись, я остановился у лестницы, смотря, как

она медленно спускается, слегка наклонив голову и перебирая бахрому на груди. В ее вдруг потерявших гибкость спине и плечах чувствовалось трогательное стеснение. Она не обернулась. Я стоял, пока Дэзи не затерялась среди толпы; потом вернулся в фойе, вздохнув и бесконечно жалея, что ответил на приветливую шалость девушки невольной обидой. Это произошло так скоро, что я не успел как следует ни пошутить, ни выразить удовольствие. Я выругал себя грубым животным, и хотя это было несправедливо, пробирался среди толпы с бесполезным раскаянием, тягостно упрекая себя.

В эту минуту танцы прекратились, смолкла и музыка. Из противоположных дверей навстречу мне шли двое: высокий морской офицер с любезным крупным лицом, которого держала под руку только что ушедшая Дэзи. По крайней мере это была ее фигура, ее желтое с бахромой платье. Меня как бы охватило ветром, и перевернутые вдруг чувства остановились. Вздрогнув, я пошел им навстречу. Сомнения не было: маскарадный двойник Дэзи была Биче Сениэль, и я это знал теперь так же верно, как если бы прямо видел ее лицо. Еще приближаясь, я уже отличил все ее внутреннее скрытое от внутреннего скрытого Дэзи, по впечатлению основной черты этой новой и уже знакомой фигуры. Но я отметил все же изумительное сходство роста, цвета волос, сложения, телодвижений и, пока это пробегало в уме, сказал, кланяясь:

— Биче Сениэль, это вы. Я вас узнал.

Она вздрогнула.

Офицер взглянул на меня с улыбкой удивления. Я уже твердо владел собой и ждал ответа с совершенной уверенностью. Лицо девушки слегка покраснело, и она двинула вверх нижней губой, как будто полумаска мешала ей видеть, и рассмеялась, но неохотно.

— Биче Сениэль? — сказала она искусственно равнодушным голосом, чистым и протяжным. — Ах, извините, я не знаю ее. Я — не она.

Желая выйти из тона карнавальной забавы, я продолжал:

— Прошу меня извинить. Я не только вас знаю, но мы имеем общих знакомых. Капитан Гез, с которым я плыл сюда, вероятно, прибыл на днях; может быть, даже вчера.

— О! А! — воскликнула она с серьезным недоумением. — Я не так самонадеянна, чтобы отрицать

дальше. Увы, маска не защита. Я поражена, потому что вижу вас первый раз в жизни. И я должна увенчать ваш триумф.

Прикрыв этими словами тревогу, она сняла полумаску, и я увидел Биче Сениэль. Мгновение она рассматривала меня. Я поклонился и назвал себя.

— Мне кажется, что и вы поражены результатами вашей проницательности,— заметила она.— Сознаюсь, что я ничего не понимаю.

Я стоял, показывая молчанием и взглядом, что объяснение предпочтительно без третьего лица. Она тотчас поняла это и, взглянув на офицера, сказала:

— Мой племянник, Ботвель. Да, так: я вижу, что надо поговорить.

Ботвель, стоявший сложив руки, переводя взгляд от Биче ко мне, заметил:

— Дорогая тетя, вы наказаны непостижимо уму. Вы утверждали, что даже я не узнал бы вас. Я схожу к Нувелю уговориться относительно поездки в Латорн.

Условившись, где разыщет нас, он кивнул и, круто повернувшись, осмотрел зал; потом щелкнул пальцами, направляясь к группе стоявших под руку женщин тяжелой, эластичной походкой. Подходя, он поднял руку, махая ею, и исчез среди пестрой толпы.

Биче смотрела на меня с усилием встревоженной мысли. Я сознавал всю трудность предстоящего разговора, почему медлил, но она первая спросила, когда мы сели в глубине цветочной беседки:

— Вы плыли на «Бегущей»?— Сказав это, она всунула мизинец в прорез полумаски и стала ее раскачивать. Каждое ее движение мешало мне соображать, отчего я начал говорить сбивчиво. Я сбивался потому, что не хотел вначале говорить о ней, но, когда понял, что иначе невозможно, порядок и простота выражений вернулись.

Я был очень благодарен Биче за внимание и спокойствие, с каким слушала она рассказ о сцене на набережной, то есть о себе самой. Она улыбнулась лишь, когда я прибавил, что, звоня в «Дувр», вызвал Анну Макферсон.

— А слушаю, слушаю,— сказала она; затем — очень серьезно: — Я поняла, что передали вы обо мне, я представляю это.

Вскоре после того Биче снова надела полумаску, отчего я почувствовал себя спокойнее и увереннее.

Теперь лишь по движению губ Биче мог судить я о ее отношении к моему рассказу.

Как только я рассказал о набережной, стало возможным говорить о сегодняшнем вечере.

— Теперь вам придется мне верить, потому что я сам не понимаю многого; считаю многое незаслуженной удачей.

Мне не хотелось упоминать о Дэзи, но выхода не было. Я рассказал о ее шутке и о второй встрече с совершенно таким же, желтым, отделанным коричневой бахромой платьем, то есть с самой Биче. Я сказал еще, что лишь благодаря такому настойчивому повторению одного и того же костюма я подошел к ней с полной уверенностью.

— Следовательно, вы рассчитывали встретить меня? — спросила она. — О, действительно это сложно! Да, но еще — Гез. Конечно, он вам говорил обо мне?!

— Нет.

— Платье, этот костюм, — мы еще, пожалуй, поймем. Было два таких платья. Я купила его сегодня в одной мастерской. — Она тронула бахрому на груди и продолжала: — Войдя туда, я увидела свой костюм среди нескольких других; в общем оставалось уже немного. Я указала этот. Хозяйка объяснила мне, что ей сделала заказ на два таких костюма неизвестная дама, но что можно продать их, так как заказчица не явилась. Тогда я взяла один. Второй, следовательно, попал к вашей знакомой совершенно случайно. Что же еще могло быть?

— Должно быть, так, — ответил я, стараясь не усложнять объяснения, которое, предполагая тройную разительную случайность, все же умещалось в уме. — Я хочу сказать теперь о Гезе и корабле.

— Здесь нет секрета, — ответила Биче, подумав. — Мы путаемся, но договоримся. Этот корабль наш, он принадлежал моему отцу. Гез присвоил его мошеннической проделкой. Да, что-то есть в нашей встрече, как во сне, хотя я не могу понять! Дело в том, что я в Гель-Гью только затем, чтобы заставить Геза вернуть нам «Бегущую». Вот почему я сразу назвала себя, когда вы упомянули о Гезе. Я его жду и думала получить сведения.

Снова начались музыка, танцы; пол содрогался. Слова Биче о «мошеннической проделке» Геза показали ее отношение к этому человеку настолько ясно, что

присутствие в каюте капитана портрета девушки потеряло для меня свою темную сторону. В ее манере говорить и смотреть была мудрая простота и тонкая внимательность, сделавшие мой рассказ неполным; я чувствовал невозможность не только сказать, но даже намекнуть о связи особых причин с моими поступками. Я умолчал поэтому о происшествии в доме Стерса.

— За крупную сумму,— сказал я,— Гез согласился предоставить мне каюту на «Бегущей по волнам», и мы поплыли, но после скандала, разыгравшегося при недостойной обстановке с пьяными женщинами, когда я вынужден был попытаться прекратить безобразие, Гез выбросил меня на ходу в открытое море. Он был так разозлен, что пожертвовал шлюпкой, лишь бы избавиться от меня. На мое счастье, утром я был взят небольшой шкуной, шедшей в Гель-Гью. Я прибыл сюда сегодня вечером.

Действие этого рассказа было таково, что Биче немедленно сняла полумаску и больше уже не надевала ее, как будто ей довольно было разделять нас. Но она не вскрикнула и не негодовала шумно, как это сделали бы на ее месте другие; лишь, сведя брови, стесненно вздохнула.

— Недурно!— сказала она с выражением, которое стоило многих восклицательных знаков.— Следовательно, Гез... Я знала, что он негодяй. Но я не знала, что он может быть страшен.

В увлечении я хотел было заговорить о Фрези Грант, и мне показалось, что в нервном блеске устремленных на меня глаз и бессознательном движении руки, легшей на край стола концами пальцев, есть внутреннее благоприятное указание, что рассказ о ночи на лодке теперь будет уместен. Я вспомнил, что нельзя говорить, с болью подумав: «Почему?» В то же время я понимал— почему, но отгонял понимание. Оно еще было, пока, лишено слов.

Не упоминая, разумеется, о портрете, прибавив, сколько мог, прямо идущих к рассказу деталей, я развил подробнее свою историю с Гезом, после чего Биче, видимо, доверяя мне, посвятила меня в историю корабля и своего приезда.

«Бегущая по волнам» была выстроена ее отцом для матери Биче, впечатлительной, прихотливой женщины, умершей лет восемь назад. Капитаном поступил Гез; Бутлер и Синкрайт не были известны Биче; они

начали служить, когда судно уже отошло к Гезу. После того как Сениэль разорился и остался только один платеж, по которому заплатить было нечем, Гез предложил Сениэлю спасти тщательно хранимое, как память о жене, судно, которое она очень любила и не раз путешествовала на нем,— фиктивной передачей его в собственность капитану. Гез выполнил все формальности; кроме того, он уплатил половину остатка долга Сениэля.

Затем, хотя ему было запрещено пользоваться судном для своих целей, Гез открыто заявил право собственности и отвел «Бегущую» в другой порт. Обстоятельства дела не позволяли обратиться к суду. В то время Сениэль надеялся, что получит значительную сумму по ликвидации одного чужого предприятия, бывшего с ним в деловых отношениях, но получение денег задержалось, и он не мог купить у Геза свой собственный корабль, как хотел. Он думал, что Гез желает денег.

— Но он не денег хотел,— сказала Биче, задумчиво рассматривая меня.— Здесь замешана я. Это тянулось долго и до крайности надоело.— Она снисходительно улыбнулась, давая понять мыслью, передавшейся мне, что произошло.— Ну, так вот. Он не преследовал меня в том смысле, что я должна была бы прибегнуть к защите; лишь писал длинные письма, и в последних письмах его (я все читала) прямо было сказано, что он удерживает корабль по навязчивой мысли и предчувствию. Предчувствие в том, что, если он не отдаст обратно «Бегущую»,— моя судьба будет... сделаться,— да, да! — его, видите ли, женой. Да, он такой. Это странный человек, и то, что мы говорили о разных о нем мнениях, вполне возможно. Его может изменить на два-три дня какая-нибудь книга. Он поддается внушению и сам же вызывает его, прельстившись добродетельным, например, героем или мелодраматическим негодяем с «искрой в душе». А? — Она рассмеялась.— Ну, вот видите теперь сами. Но его основа,— сказала она с убеждением,— это черт знает что! Вначале он,— по крайней мере, у нас,— был другим. Лишь изредка слышали о разных его подвигах, на что не обращали внимания.

Я молчал, она улыбнулась своему размышлению.

— «Бегущая по волнам»! — сказала Биче, откидываясь и трогая полумаску, лежащую у нее на

коленях.— Отец очень стар. Не знаю, кто старше — он или его трость; он уже не ходит без трости. Но деньги мы получили. Теперь, на расстоянии всей огромной, долго, бурно, счастливо и содержательно прожитой им своей жизни,— образ моей матери все яснее, отчетливее ему, и память о том, что связано с ней,— остра. Я вижу, как он мучается, что «Бегущая по волнам» ходит туда-сюда с мешками, затасканная воровской рукой. Я взяла чек на семь тысяч... Вот-вот: читаю в ваших глазах: «Отважная, смелая...» Дело в том, что в Гёзе есть,— так мне кажется, конечно,— известное уважение ко мне. Это не помешает ему взять деньги. Такое соединение чувств называется «психологией». Я навела справки и решила сделать моему старику сюрприз. В Лиссе, куда указывали мои справки, я разминулась с Гёзом всего на один день; не зная, зайдет он в Лисс или отправится прямо в Гель-Гью,— я приехала сюда в поезде, так как все равно он здесь должен быть, это мне верно передали. Писать ему бессмысленно и рискованно, мое письмо не должно быть в этих руках. Теперь я готова удивляться еще и еще, сначала, решительно всему, что столкнуло нас с вами. Я удивляюсь также своей откровенности — не потому, что я не видела, что говорю с джентльменом, но... это не в моем характере. Я, кажется, взволновалась. Вы знаете легенду о Фрези Грант?

— Знаю.

— Ведь это — «Бегущая». Оригинальный город Гель-Гью. Я очень его люблю. Строго говоря, мы, Сениэли,— герои праздника: у нас есть корабль с этим названием «Бегущая по волнам»; кроме того, моя мать родом из Гель-Гью; она — прямой потомок Вильямса Гобса, одного из основателей города.

— Известно ли вам,— сказал я,— что корабль переуступлен Брауну так же мнимо, как ваш отец продал его Гёзу?

— О да! Но Браун ни при чем в этом деле. Обязан сделать все Гёз. Вот и Ботвель.

Приближаясь, Ботвель смотрел на нас между фигур толпы и, видя, что мы, смолкнув, выжидательно на него смотрим, поторопился дойти.

— Представьте, что случилось,— сказала ему Биче.— Наш новый знакомый, Томас Гарвей, плавал на «Бегущей» с Гёзом. Гёз здесь или скоро будет здесь.

Она не прибавила ничего больше об этой истории, предоставляя мне, если я хочу сам, сообщить о ссоре и преступлении Геза. Меня тронул ее такт; коротко подтвердив слова Биче, я умолчал Ботвелю о подробностях своего путешествия.

Биче сказала:

— Меня узнали случайно, но очень, очень сложным путем. Я вам расскажу. Тут мы пооткровенничали слегка.

Она объяснила, что я знаю ее задачу в подлинных обстоятельствах.

— Да,— сказал Ботвель,— мрачный пират преследует нашу Биче с кинжалом в зубах. Это уже все знают; настолько, что иногда даже говорят, если нет другой темы.

— Смейтесь! — воскликнула Биче.— А мне, без смеха, предстоит мучительный разговор!

— Мы вместе с Гарвеем войдем к Гезу,— сказал Ботвель,— и будем при разговоре.

— Тогда ничего не выйдет — Биче вздохнула.— Гез отомстит нам всем ледяной вежливостью, и я останусь ни с чем.

— Вас не тревожит...— Я не сумел кончить вопроса, но девушка отлично поняла, что я хочу сказать.

— О-о! — заметила она, смерив меня ясным толчком взгляда.— Однако ночь чудес затянулась. Нам идти, Ботвель.— Вдруг оживясь, засмеявшись так, что стала совсем другой, она написала в маленькой записной книжке несколько слов и подала мне.

— Вы будете у нас? — сказала Биче.— Я даю вам свой адрес. Старая красивая улица, старый дом, два старых человека и я. Как нам поступить? Я вас приглашаю к обеду завтра.

Я поблагодарил, после чего Биче и Ботвель встали. Я прошел с ними до выходных дверей зала, теснясь среди маскарадной толпы. Биче подала руку.

— Итак, вы все помните? — сказала она, нежно приоткрыв рот и смотря с лукавством.— Даже то, что происходит на набережной? (Ботвель улыбался, не понимая.) Правда, память — ужасная вещь! Согласны?

— Но не в данном случае.

— А в каком? Ну, Ботвель, это все стоит рассказать Герде Торнстон. Ее надолго займет. Не гневайтесь,— обратилась ко мне девушка,— я должна шутить, чтобы не загрустить. Все сложно! Так все сложно.

Вся жизнь! Я сильно задета в том, чего не понимаю, но очень хочу понять. Вы мне поможете завтра? Например,— эти два платья. Тут есть вопрос! До свиданья.

Когда она отвернулась, уходя с Ботвелем, ее лицо,— как я видел его профиль,— стало озабоченным и недоумевающим. Они прошли, тихо говоря между собой, в дверь, где оба одновременно обернулись взглянуть на меня; угадав это движение, я сам повернулся уйти. Я понял, как дорога мне эта, лишь теперь знакомая девушка. Она ушла, но все еще как бы была здесь.

Получив град толчков, так как шел всецело погруженный в свои мысли, я наконец опамятовался и вышел из зала по лестнице, к боковому выходу на улицу. Спускаясь по ней, я вспомнил, как всего час назад спускалась по этой лестнице Дэзи, задумчиво теребя бахрому платья, и смиренно, от всей души пожелал ей спокойной ночи.

ГЛАВА XXIV

Захотев есть, я усмотрел поблизости небольшой ресторан, и, хотя трудно было пробиться в хмельной тесноте входа, я кое-как протиснулся внутрь. Все столы, проходы, места у буфета были заняты; яркий свет, табачный дым, песни среди шума и криков совершенно закружили мое внимание. Найти место присесть было так же легко, как продеть канат в игольное отверстие. Вскоре я отчаялся сесть, но была надежда, что освободится фут пространства возле буфета, куда я тотчас и устремился, когда это случилось, и начал есть стоя, сам наливая себе из наспех откупоренной бутылки. Обстановка не располагала задерживаться. В это время за спиной раздался шум спора. Неизвестный человек расталкивал толпу, протискиваясь к буфету и отвечая наглым смехом на возмущение посетителей. Едва я всмотрелся в него, как, бросив есть, выбрался из толпы, охваченный внезапным гневом: этот человек был Синкрайт.

Пытаясь оттолкнуть и меня, Синкрайт бегло оглянулся; тогда, задержав его взгляд своим, я сказал:

— Добрый вечер! Мы еще раз встретились с вами!

Увидев меня, Синкрайт был так испуган, что попятился на толпу. Одно мгновение весь его вид выражал

страстную, мучительную тоску, желание бежать, скрыться,— хотя в этой тесноте бежать смогла бы разве лишь кошка.

— Фу, фу! — сказал он наконец, отирая под козырьком лоб тылом руки.— Я весь дрожу! Как я рад, как счастлив, что вы живы! Я не виноват, клянусь! Это — Гез. Ради Бога, выслушайте, и вы все узнаете! Какая это была безумная ночь! Будь проклят Гез; я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чем!

Я не сказал ему еще ничего. Я только смотрел, но Синкрайт, схватив меня за руку, говорил все испуганнее, все громче. Я отнял руку и сказал:

— Выйдем отсюда.

— Конечно... Я всегда...

Он ринулся за мной, как собака. Его потрясению можно было верить тем более, что на «Бегущей», как я узнал от него, ожидали и боялись моего возвращения в Дагон. Тогда мы были от Дагона на расстоянии всего пятидесяти с небольшим миль. Один Бутлер думал, что может случиться худшее.

Я повел его за поворот угла в переулок, где, сев на ступенях запертого подъезда, выбил из Синкрайта всю умственную и словесную пыль — относительно моего дела. Как я правильно ожидал, Синкрайт, видя, что его не ударили, скоро оправился, но говорил так почтительно, так подобострастно и внимательно выслушивал малейшее мое замечание, что эта пламенная бодрость дорого обошлась ему.

Произошло следующее.

С самого начала, когда я сел на корабль, Гез стал соображать, каким образом ему от меня отделаться, удержав деньги. Он строил разные планы. Так, например, план — объявить, что «Бегущая по волнам» отправится из Дагона в Сумат. Гез думал, что я не захочу далекого путешествия и высажусь в первом порту. Однако такой план мог сделать его смешным. Его настроение, после отплытия из Лисса, стало очень скверным, раздражительным. Он постоянно твердил: «Будет неудача с этим проклятым Гарвеем».

— Я чувствовал его нежную любовь,— сказал я,— но не можете ли вы объяснить, отчего он так меня ненавидит?

— Клянусь вам, не знаю! — вскричал Синкрайт.— Может быть... трудно сказать. Он, видите ли, суеверен.

Хотя мне ничего не удалось выяснить, но я почувствовал умолчание. Затем Синкрайт перешел к скандалу. Гез поклялся женщинам, что я приду за стол, так как дамы во что бы то ни стало хотели видеть «таинственного», по их словам, пассажира и дразнили Геза моим презрением к его обществу. Та женщина, которую ударил Гез, держала пари, что я приду на вызов Синкрайта. Когда этого не случилось, Гез пришел в ярость на всех и на все. Женщины плыли в Гель-Гью; теперь они покинули судно. «Бегущая» пришла вчера вечером. По словам Синкрайта, он видел их первый раз и не знает, кто они. После сражения Гез вначале хотел бросить меня за борт, и стоило больших трудов его удержать. Но в вопросе о шлюпке капитан рвал и метал. Он помешался от злости. Для успеха этой затеи он готов был убить сам себя.

— Здесь,— говорил Синкрайт,— то есть когда вы уже сели в лодку, Бутлер схватил Геза за плечи и стал трясти, говоря: «Опомнитесь! Еще не поздно. Верните его!» Гез стал как бы отходить. Он еще ничего не говорил, но уже стал слушать. Может быть, он это и сделал бы, если бы его крепче прижать. Но тут явилась дама,— вы знаете...

Синкрайт остановился, не зная, разрешено ли ему тронуть этот вопрос. Я кивнул. У меня был выбор спросить: «Откуда появилась она?» — и тем, конечно, дать повод счесть себя лжецом — или поддержать удобную простоту догадок Синкрайта. Чтобы покончить на втором, я заявил:

— Да. И вы не могли понять?!

— Ясно,— сказал Синкрайт,— она была с вами, но как? Этим мы все были поражены. Всего минуту она и была на палубе. Когда стало нам дурно от испуга,— что́ было думать обо всем этом? — Гез снова сошел с ума. Он хотел ее задержать, но как-то произошло так, что она миновала его и стала у трапа. Мы окаменели. Гез велел спустить трап. Вы отъехали с ней. Тогда мы кинулись в вашу каюту, и Гез клялся, что она пришла к вам ночью в Лиссе. Иначе не было объяснения. Но после всего случившегося он стал так пить, как я еще не видал, и твердил, что вы все подстроили с умыслом, который он узнает когда-нибудь. На другой день не было более жалкого труса под мачтами сего света, чем Гез. Он только и твердил что о тюрьме, каторжных работах и двадцать раз за сутки учил всех, что и как

говорить, когда вы заявите на него. Матросам он раздавал деньги, поил их, обещал двойное жалованье, лишь бы они показали, что вы сами купили у него шлюпку.

— Синкрайт,— сказал я после молчания, в котором у меня наметился недурной план, полезный Биче,— вы крепко ухватились за дверь, когда я ее открыл...

— Клянусь!..— начал Синкрайт и умолк на первом моем движении.

Я продолжал:

— Это было, а потому бесполезно извиваться. Последствия не требуют комментариев. Я не упомяну о вас на суде при одном условии.

— Говорите, ради Бога; я сделаю все!

— Условие совсем не трудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь.

— Готов промолчать сто лет: простите меня!

— Так. Где Гез — на судне или на берегу?

— Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и Пар». Если вам угодно, я провожу вас к нему.

— Думаю, что разыщу сам. Ну, Синкрайт, пока что наш разговор кончен.

— Может быть, вам нужно еще что-нибудь от меня?

— Поменьше пейте,— сказал я, немного смягченный его испугом и рабством.— А также оставьте Геза.

— Клянусь...— начал он, но я уже встал. Не знаю, продолжал он сидеть на ступенях подъезда или ушел в кабак. Я оставил его в переулке и вышел на площадь, где у стола около памятника не застал никого из прежней компании. Я спросил Кука, на что получил указание, что Кук просил меня идти к нему в гостиницу.

Движение уменьшалось. Толпа расходилась; двери запирались. Из сумерек высоты смотрела на засыпающий город «Бегущая по волнам», и я простился с ней, как с живой.

Разыскав гостиницу, куда меня пригласил Кук, я был проведен к нему, застав его в постели. При шуме Кук открыл глаза, но они снова закрылись. Он опять открыл их. Но все равно он спал. По крайнему усилию этих спящих, тупо открытых глаз я видел, что он силится сказать нечто любезное. Усталость, надо быть, была велика. Обессилев, Кук вздохнул, пролепетал,

узнав меня: «Устраивайтесь»,— и с треском завалился на другой бок.

Я лег на поставленную вторую кровать и тотчас закрыл глаза. Тьма стала валиться вниз; комната перевернулась, и я почти тотчас заснул.

ГЛАВА XXV

Ложась, я знал, что усну крепко, но встать хотел рано, и это желание — рано встать — бессознательно разбудило меня. Когда я открыл глаза, память была пуста, как после обморока. Я не мог поймать ни одной мысли до тех пор, пока не увидел выпяченную нижнюю губу спящего Кука. Тогда смутное прояснилось, и, мгновенно восстановив события, я взял со стула часы. На мое счастье, было всего половина десятого утра.

Я тихо оделся и, стараясь не разбудить своего хозяина, спустился в общий зал, где потребовал крепкого чаю и письменные принадлежности. Здесь я написал две записки: одну — Биче Сениэль, уведомляя ее, что Гез находится в Гель-Гью, с указанием его адреса; вторую — Проктору с просьбой вручить мои вещи посыльному. Не зная, будет ли удобно напоминать Дэзи о ее встрече со мной, я ограничился для нее в этом письме простым приветом. Отправив записки через двух комиссионеров, я вышел из гостиницы в парикмахерскую, где пробыл около получаса.

Время шло чрезвычайно быстро. Когда я направился искать Геза, было уже четверть одиннадцатого. Стоял знойный день. Не зная улиц, я потерял еще около двадцати минут, так как по ошибке вышел на набережную в ее дальнем конце и повернул обратно. Опасаясь, что Гез уйдет по своим делам или спрячется, если Синкрайт не сдержал клятвы, а более всего этого желая опередить Биче, ради придуманного мной плана ущемления Геза, сделав его уступчивым в деле корабля Сениэлей,— я нанял извозчика. Вскоре я был у гостиницы «Парус и Пар», белого грязного дома, с стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Вход вел через ворота, налево, по темной и крутой лестнице. Я остановился на минуту собрать мысли и услышал торопливые, догоняющие меня шаги. «Остановитесь!» — сказал запыхавшийся человек. Я обернулся.

Это был Бутлер с его тяжелой улыбкой.

— Войдемте на лестницу,— сказал он.— Я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали, и облегченно вздохнул. Можете мне не верить, если хотите. Побежал догонять вас. Страшное, гнусное дело, что говорить! Но нельзя было помешать ему. Если я в чем виноват, то в том, почему ему нельзя было помешать. Вы понимаете? Ну, все равно. Но я был на вашей стороне; это так. Впрочем, от вас зависит — знаться со мной или смотреть как на врага.

Не знаю, был я рад встретить его или нет. Гневное сомнение боролось во мне с бессознательным доверием к его словам. Я сказал: «Его рано судить». Слова Бутлера звучали правильно, в них были и горький упрек себе, и искренняя радость видеть меня живым. Кроме того, Бутлер был совершенно трезв. Пока я молчал, за фасадом, в глубине огромного двора, послышались шум, крики, настойчивые приказания. Там что-то происходило. Не обратив на это особого внимания, я стал подыматься по лестнице, сказав Бутлеру:

— Я склонен вам верить; но не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гез. Будьте добры указать, где его комната, и уйдите, потому что мне предстоит очень серьезный разговор.

— Хорошо,— сказал он.— Вот идет женщина. Узнаем, проснулся ли капитан. Мне надо ему сказать всего два слова; потом я уйду.

В это время мы поднялись на второй этаж и шли по тесному коридору с выходом на стеклянную галерею слева. Направо я увидел ряд дверей,— четыре или пять,— разделенные неправильными промежутками. Я остановил женщину. Толстая крикливая особа лет сорока с повязанной платком головой и щеткой в руках, узнав, что мы справляемся, дома ли Гез, бешено показала на противоположную дверь в дальнем конце.

— Дома ли он — не хочу и не хочу знать! — объявила она, быстро заталкивая пальцами под платок выбившиеся грязные волосы и приходя в возбуждение.— Ступайте сами и узнавайте, но я к этому подлецу больше ни шагу. Как он на меня гаркнул вчера! Свинья и подлец ваш Гез! Я думала, он меня стукнет. «Ступай вон!» Это — мне! Дома,— закончила она, свирепо вздохнув,— уже стрелял. Я на звонки не иду; черт с ним; так он теперь стреляет в потолок. Это он требует, чтобы пришли. Недавно опять пальнул.

Идите, и если спросит, не видели ли меня, можете сказать, что я ему не слуга. Там женщина,— прибавила толстуха.— Развратник!

Она скрылась, махая щеткой. Я посмотрел на Бутлера. Он стоял, задумчиво разглядывая дверь. За ней было тихо.

Я начал стучать, вначале постучав негромко, потом с силой. Дверь шевельнулась, следовательно, была не на ключе, но нам никто не ответил.

— Стучите громче,— сказал Бутлер,— он, верно, снова заснул.

Вспомнив слова прислуги о женщине, я пожал плечами и постучал опять. Дверь открылась шире; теперь между ней и притолокой можно было просунуть руку. Я вдруг почувствовал, что там никого нет, и сообщил это Бутлеру.

— Там никого нет,— подтвердил он.— Странно, но правда. Ну что же, давайте откроем.

Тогда я, решившись, толкнул дверь, которая, отойдя, ударилась в большой шкап, и вошел, крайне пораженный тем, что Гез лежит на полу.

ГЛАВА XXVI

— Да,— сказал Бутлер после молчания, установившего смерть,— можно было стучать громко или тихо — все равно. Пуля в лоб, точно так, как вы хотели.

Я подошел к трупу, обойдя его издали, чтобы не ступить в кровь, подтекавшую к порогу из простреленной головы Геза.

Он лежал на спине, у стола, посредине комнаты, наискось к входу. На нем был белый костюм. Согнутая правая нога отвалилась коленом к двери; расставленные и тоже согнутые руки имели вид усилия приподняться. Один глаз был наполовину открыт, другой, казалось, высматривает из-под неподвижных ресниц. Растекшаяся по лицу и полу кровь не двигалась, отражая, как лужа, соседний стул; рана над переносицей слегка припухла. Гез умер не позже получаса, может быть — часа назад. Большая комната имела неубранный вид. На полу блестели револьверные гильзы. Диван с валяющимися на нем газетами, пустые бутылки по углам, стаканы и недопитая бутылка на столе, среди сигар, галстуков и перчаток; у двери — темный старин-

ный шкап, в бок которому упиралась железная койка с наспех наброшенным одеялом,— вот все, что я успел рассмотреть, оглянувшись несколько раз. За головой Гёза лежал револьвер. В задней стене, за столом, было раскрытое окно.

Дверь, стукнувшись о шкап, отскочила, начав медленно закрываться сама. Бутлер, заметив это, распахнул ее настежь и укрепил.

— Мы не должны закрываться,— резонно заметил он.— Ну что же, следует идти звать, объявить, что капитан Гез убит,— убит или застрелился. Он мертв.

Ни он, ни я не успели выйти. С двух сторон коридора раздался шум; справа кто-то бежал, слева торопливо шли несколько человек. Бежавший справа, дородный мужчина с двойным подбородком и угрюмым лицом, заглянул в дверь; его лицо дико скакнуло, и он пробежал мимо, махая рукой к себе; почти тотчас он вернулся и вошел первым. Благоразумие требовало не проявлять суетливости, поэтому я остался, как стоял, у стола. Бутлер, походив, сел; он был сурово бледен и нервно потирал руки. Потом он встал снова.

Первым, как я упомянул, вбежал дородный человек. Он растерялся. Затем, среди разом нахлынувшей толпы,— человек пятнадцати,— появилась молодая женщина или девушка в светлом полосатом костюме и шляпе с цветами. Она тесно была окружена и внимательно, осторожно спокойна. Я заставил себя узнать ее. Это была Биче Сениэль, сказавшая, едва вошла и заметила, что я тут: «Эти люди мне неизвестны».

Я понял. Должно быть, это понял и Бутлер, видевший у Геза ее совершенно схожий портрет, так как испуганно взглянул на меня. Итак, поразившись, мы продолжали ее не знать. Она этого хотела, стало быть, имела к тому причины. Пока, среди шума и восклицаний, которыми еще более ужасали себя все эти ворвавшиеся и содрогнувшиеся люди, я спросил Биче взглядом. «Нет»,— сказали ее ясные, строго покойные глаза, и я понял, что мой вопрос просто нелеп.

В то время как набившаяся толпа женщин и мужчин, часть которых стояла у двери, хором восклицала вокруг трупа,— Биче, отбросив с дивана газеты, села и слегка, стесненно вздохнула. Она держалась прямо и замкнуто. Она постукивала пальцами о ручку дивана, потом, с выражением осторожно переходящей грязную улицу, взглянула на Геза и, поморщась, отвела взгляд.

— Мы задержали ее, когда он сходила по лестнице,— объявил высокий человек в жилете, без шляпы, с худым, жадным лицом. Он толкнул красную от страха жену.— Вот то же скажет жена. Эй, хозяин! Гарден! Мы оба задержали ее на лестнице!

— А вы кто такой?— осведомился Гарден, оглядывая меня. Это был дородный человек, вбежавший первым.

Женщина, встретившая нас в коридоре, все еще была со щеткой. Она выступила и показала на Бутлера, потом на меня.

— Бутлер и тот джентльмен пришли только что, они еще спрашивали — дома ли Гез. Ну, вот — только зайти сюда.

— Я помощник убитого,— сказал Бутлер.— Мы пришли вместе; постучали, вошли и увидели.

Теперь внимание всех было сосредоточено на Биче. Вошедшие объявили Гардену, что пробегавший по двору мальчик заметил соскочившую из окна на лестницу нарядную молодую даму. Эта лестница, которую я увидел, выглянув в окно, вела под крышу дома, проходя наискось вверх стены, и на небольшом расстоянии под окном имела площадку. Биче сделала движение сойти вниз, затем поднялась наверх и остановилась за выступом фасада. Мальчик сказал об этом вышедшей во двор женщине, та позвала мужа, работавшего в сарае, и, когда они оба направились к лестнице, послышался выстрел. Он раздался в доме, но где,— свидетели не могли знать. Биче уже шла внизу, мимо стены, направляясь к воротам. Ее остановили. Еще несколько людей выбежали на шум. Биче пыталась уйти. Задержанная, она не хотела ничего говорить. Когда какой-то мужчина вознамерился схватить ее за руку, она перестала сопротивляться и объявила, что вышла от капитана Геза потому, что она была заперта в комнате. Затем все поднялись в коридор и теперь не сомневались, что поймали убийцу.

Пока происходили эти объяснения, я был так оглушен, сбит и противоречив в мыслях, что, хотя избегал подолгу смотреть на Биче, все же еще раз спросил ее взглядом, незаметно для других, и тотчас ее взгляд мне точно сказал: «Нет». Впрочем, довольно было видеть ее безыскусственную чуждость происходящему. Я подивился этому возвышенному самообладанию в таком месте и при подавляющих обстоятельствах.

Все, что говорилось вокруг, она выслушивала со вниманием, видимо, больше всего стараясь понять, как произошла неожиданная трагедия. Я подметил некоторые взгляды, которые как бы совестились останавливаться на ее лице, так было оно не похоже на то, чтобы ей быть здесь.

Среди общего волнения за стеной раздались шаги; люди, стоявшие в дверях, отступили, пропустив представителей власти. Вошел комиссар, высокий человек в очках, с длинным деловым лицом; за ним врач и два полисмена.

— Кем был обнаружен труп?—спросил комиссар, оглядывая толпу.

Я, а затем Бутлер сообщили ему о своем мрачном визите.

— Вы останетесь. Кто хозяин?

— Я.—Гарден принес к столу стул, и комиссар сел; расставив колена и опустив меж них сжатые руки, он некоторое время смотрел на Геза, в то время как врач, подняв тяжелую руку и помяв пальцами кожу лба убитого, констатировал смерть, последовавшую, по его мнению, не позднее получаса назад.

Худой человек в жилете снова выступил вперед и, указывая на Биче Сениэль, объяснил, как и почему она была задержана во дворе.

При появлении полиции Биче не изменила положения, лишь взглядом напомнила мне, что я не знаю ее. Теперь она встала, ожидая вопросов; комиссар тоже встал, причем по выражению его лица было видно, что он признает редкость такого случая в своей практике.

— Прошу вас сесть,—сказал комиссар.—Я обязан составить предварительный протокол. Объявите ваше имя.

— Оно останется неизвестным,—ответила Биче, садясь на прежнее место. Она подняла голову и, начав было краснеть, прикусила губу.

Комиссар сказал:

— Хозяин, удалите всех, останутся—вы, дама и вот эти два джентльмена. Неизвестная, объясните ваше поведение и присутствие в этом доме.

— Я ничего не объясню вам,—сказала Биче так решительно, хотя мягким тоном, что комиссар с особым вниманием посмотрел на нее.

В это время все, кроме Биче, Гардена, меня и Бутлера, покинули комнату. Дверь закрылась.

За ней слышны были шепот и осторожные шаги любопытных.

— Вы отказываетесь отвечать на вопрос?—спросил комиссар с той дозой официального сожаления к молодости и красоте главного лица сцены, какая была отпущена ему характером его службы.

— Да.— Биче кивнула.— Я отказываюсь отвечать. Но я желаю сделать заявление. Я считаю это необходимым. После того вы или прекратите допрос, или он будет продолжен у следователя.

— Я слушаю вас.

— Конечно, я непричастна к этому несчастью или преступлению. Ни здесь, ни в городе нет ни одного человека, кто знал бы меня.

— Это — все?—сказал комиссар, записывая ее слова.— Или, может быть, подумав, вы пожелаете что-нибудь прибавить? Как вы видите, произошло убийство или самоубийство; мы, пока что, не знаем. Вас видели спрыгнувшей из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям.

— Они подозрительны,— сказала девушка с видом человека, тщательно обдумывающего каждое слово.— С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои соображения, есть причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя и промолчать о происшедшем со мной. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать свое — о! — очень несложное показание, но объявить — кто́ я, теперь, со всем тем, что вынудило меня явиться сюда,— мне нельзя. У меня есть отец, восьмидесятилетний старик. У него уже был удар. Если он прочтет в газетах мою фамилию, это может его убить.

— Вы боитесь огласки?

— Единственно. Кроме того, показание по существу связано с моим именем, и, объявив, в чем было дело, я, таким образом, все равно что назову себя.

— Так,— сказал комиссар, поддаваясь ее рассудительному, ставшему центром настроения всей сцены тону.— Но не кажется ли вам, что, отказываясь дать объяснение, вы уничтожаете существенную часть дознания, которая, конечно, отвечает вашему интересу?

— Не знаю. Может быть, даже — нет. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознания непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе.

— Однако,—возразил комиссар,—не ждете же вы, что виновный явится и сам назовет себя?

— Это как раз единственное, на что я надеюсь пока. Откроет себя, или откроют его.

— У вас нет оружия?

— Я не ношу оружия.

— Начнем по порядку,—сказал комиссар, записывая, что услышал.

ГЛАВА XXVII

Пока происходил разговор, я, слушая его, обдумывал, как отвести это,—несмотря на отрицающие преступление внешность и манеру Биче,—яркое и сильное подозрение, полное противоречий. Я сидел между окном и столом, задумчиво вертя в руках нарезной болт с глухой гайкой. Я механически взял его с маленького стола у стены и, нажимая гайку, заметил, что она свинчивается. Бутлер сидел рядом. Рассеянный интерес к такому странному устройству глухого конца на болте заставил меня снять гайку. Тогда я увидел, что болт этот высверлен и набит до краев плотной темной массой, напоминающей засохшую краску. Я не успел ковырнуть странную начинку, как, быстро подвинувшись ко мне, Бутлер провел левую руку за моей спиной к этой вещи, которую я продолжал осматривать, и, дав мне понять взглядом, что болт следует скрыть, взял его у меня, проворно сунув в карман. При этом он кивнул. Никто не заметил его движений. Но я успел почувствовать легкий запах опиума, который тотчас рассеялся. Этого было довольно, чтобы я испытал обманный толчок мыслей, как бы бросивших вдруг свет на события утра, и второй, вслед за этим, более вразумительный, то есть сознание, что желание Бутлера скрыть тайный провоз яда ничего не объясняет в смысле убийства и ничем не спасает Биче. Мало того, по молчанию Бутлера относительно ее имени,—а как я уже говорил, портрет в каюте Геза не оставлял ему сомнений,—я думал, что хотя и не понимаю ничего, но будет лучше, если болт исчезнет.

Оставив Биче в покое, комиссар занялся револьвером, который лежал на полу, когда мы вошли. В нем было семь гнезд, их пули оказались на месте.

— Можете вы сказать, чей это револьвер?—спросил Бутлера комиссар.

— Это его револьвер, капитана,—ответил моряк.—Гёз никогда не расставался с револьвером.

— Точно ли это его револьвер?

— Это его револьвер,—сказал Бутлер.—Он мне знаком, как кофейник—повару.

Доктор осматривал рану. Пуля прошла сквозь голову и застряла в стене. Не было труда вытащить ее из штукатурки, что комиссар сделал гвоздем. Она была помята, меньшего калибра и большей длины, чем пуля в револьвере Гёза, кроме того—никелирована.

— «Риверс-бульдог»,—сказал комиссар, подбрасывая ее на ладони. Он опустил пулю в карман портфеля.—Убитый не воспользовался своим кольтом.

Обыск в вещах не дал никаких указаний. Из карманов Гёза полицейские вытащили платок, портсигар, часы, несколько писем и толстую пачку ассигнаций, завернутых в газету. Пересчитав деньги, комиссар объявил значительную сумму: пять тысяч фунтов.

— Он не был ограблен,—сказал я, взволнованный этим обстоятельством, так как разрастающаяся сложность события оборачивалась все более в худшую сторону для Биче.

Комиссар посмотрел на меня, как в окно. Он ничего не сказал, но был крепко озадачен. После этого начался допрос хозяина. Гардена.

Рассказав, что Гёз останавливается у него четвертый раз, платил хорошо, щедро давал прислуге, иногда не ночевал дома и был, в общем, беспокойным гостем, Гарден получил предложение перейти к делу по существу.

— В девять часов моя служанка Пегги пришла в буфет и сказала, что не пойдет на звонки Гёза, так как он вчера обошелся с ней грубо. Вскоре спустился капитан; изругал меня, Пегги и выпил виски. Не желая с ним связываться, я обещал, что Пегги будет ему служить. Он успокоился и пошел наверх. Я был занят расчетом с поставщиком и, часов около десяти, услышал выстрелы, не помню—сколько. Гёз угрожал, уходя, что звонить больше он не намерен,—будет стрелять. Не знаю, что было у него с Пегги,—пошла она к нему или нет. Вскоре снова пришла Пегги и стала рыдать. Я спросил, что случилось. Оказалось, что к Гёзу явилась дама, что ей страшно не идти и страшно

идти, если Гез позвонит. Я выпытал все же у нее, что она идти не намерена, и, сами знаете, пригрозил. Тут меня еще рассердили механики со «Спринга»: они стали спрашивать, сколько трупов набирается к вечеру в моей гостинице. Я пошел сам и увидел капитана Геза стоящим на галерее с этой барышней. Я ожидал криков, но он повернулся и долго смотрел на меня с улыбкой. Я понял, что он меня просто не видит. Я стал говорить о стрельбе и пенять ему. Он сказал: «Какого черта вы здесь?» Я спросил, что он хочет. Гез сказал: «Пока ничего». И они оба прошли сюда. Поставщик ждал; я вернулся к нему. Затем прошло, должно быть, около получаса, как снова раздался выстрел. Меня это начало беспокоить, потому что Гез был теперь не один. Я побежал наверх и, представьте, увидел, что жильцы соседнего дома (у нас общий двор) спешат мне навстречу, а среди них эта неизвестная барышня. Дверь Геза была раскрыта настежь. Там стояли двое: Бутлер,— я знаю Бутлера,— и с ним вот они. Я заглянул, увидел, что Гез лежит на полу, потом вошел вместе с другими.

— Позовите женщину, Пегги,— сказал комиссар.

Не надо было далеко ходить за ней, так как она вертелась у комнаты; когда Гарден открыл дверь, Пегги поспешила вытереть передником нос и решительно подошла к столу.

— Расскажите, что вам известно,— предложил комиссар после обыкновенных вопросов: как зовут и сколько лет.

— Он умер, я не хочу говорить худого,— торжественно произнесла Пегги, кладя руку под грудь.— Но только вчера я была так обижена, как никогда. С этого все началось.

— Что началось?

— Я не то говорю. Он пришел вчера поздно; да,— Гез. Комнату он, уходя, запер, а ключ взял с собой, почему я не могла прибрать. Я еще не спала, я слышала, как он стучит наверху: идет, значит, домой. Я поднялась приготовить ему постель и стала делать тут, там — ну, что требуется. Он стоял все время спиной ко мне, пьяный, а руку держал в кармане, за пазухой. Он все поглядывал, когда я уйду, и вдруг закричал: «Ступай прочь отсюда!» Я возразила, конечно (Пегги с достоинством поджала губы, так что я представил ее лицо в момент окрика), я возразила

насчет моих обязанностей. «А это ты видела?» — закричал он. То есть видела ли я стул. Потому что он стал махать стулом над моей головой. Что мне было делать? Он мужчина и, конечно, сильнее меня. Я плюнула и ушла. Вот он утром звонит...

— Когда это было?

— Часов в восемь. Я бы и минуты заметила, знай кто-нибудь, что так будет. Я уже решила, что не пойду. Пусть лучше меня прогонят. Я свое дело знаю. Меня обвинять нечего и нечего.

— Вы невинны, Пегги,— сказал комиссар.— Что же было после звонка?

— Еще звонок. Но как все верхние ушли рано, то я знала, кто такой меня требует.

Биче, внимательно слушавшая рассказ горячего пятипудового женского сердца, улыбнулась. Я был рад видеть это доказательство ее нервной силы.

Пегги продолжала:

— ...стал звонить на разные манеры и все под чужой звонок; сам же он звонит коротко: раз, два. Пустил трель, потом начал позвякивать добродушно и — снова своим, коротким. Я ушла в буфет, куда он вскоре пришел и выпил, но меня не заметил. Крепко выругался. Как его тут не стало, хозяин начал выговаривать мне: «Ступайте к нему, Пегги; он грозит изрешетить потолок»,— палить то есть начнет. Меня, знаете, этим не испугаешь. У нас и не то бывает. Господин комиссар помнит, как в прошлом году мексиканцы заложили дверь баррикадой и бились: на шестерых — три...

— Вы храбрая женщина, Пегги,— перебил комиссар,— но то дело прошедшее. Говорите об этом.

— Да, я не трус, это все скажут. Если мою жизнь рассказать,— будет роман. Так вот, начало стучать там, у Геза. Значит, всаживает в потолок пули. И вот, взгляните...

Действительно, поперечная толстая балка потолка имела такой вид, как если бы в нее дали залп. Комиссар сосчитал дырки и сверил с числом найденных на полу патронов; эти числа сошлись. Пегги продолжала:

— Я пошла к нему; пошла не от страха, пошла я единственно от жалости. Человек, так сказать, не помнит себя. В то время я была на дворе, а потому поднялась с лестницы от ворот. Как я поднялась, слышу — меня окликнули. Вот эта барышня; извините,

не знаю, как вас зовут. И сразу она мне понравилась. После всех неприятностей вижу человеческое лицо. «У вас остановился капитан Вильям Гез?— так она меня спросила.— В каком номере он живет?» Значит, опять он, не выйти ему у меня из головы, и, тем более, от такого лица. Даже странно было мне слушать. Что ж! Каждый ходит, куда хочет. На одной веревке висит разное белье. Я ее провела, стукнула в дверь и отошла. Гез вышел. Вдруг стал он бледен, даже задрожал весь; потом покраснел и сказал: «Это вы! Это вы! Здесь!» Я стояла. Он повернулся ко мне, и я пошла прочь. Ноги тронулись сами, и все быстрее. Я думала: только бы не услышать при посторонних, как он заорет свои проклятия! Однако на лестнице я остановилась,— может быть, позовет подать или принести что-нибудь, но этого не случилось. Я услышала, что они, Гез и барышня, пошли в галерею, где начали говорить, но что — не знаю. Только слышно: «Гу-гу, гу-гу, гу-гу». Ну-с, утром без дела не сидишь. Каждый ходит, куда хочет. Я побыла внизу, а этак через полчаса принесли письма маклеру из первого номера, и я пошла снова наверх кинуть их ему под дверь; постояла, послушала: все тихо. Гез не звонит. Вдруг — бац! Это у него выстрел. Вот он какой был выстрел! Но мне тогда стало только смешно. Надо звонить по-человечески. Ведь видел, что я постучала; значит, приду и так. Тем более, это при посторонних. Пришла нижняя и сказала, что надо подмести буфет: ей некогда. Ну-с, так сказать, Лиззи всегда внизу, около хозяина; она — туда, она — сюда, и, значит, мне надо идти. Вот тут, как я поднялась за щеткой, вошли наверх Бутлер с джентльменом и опять насчет Геза: «Дома ли он?» В сердцах я наговорила лишнее и прошу меня извинить, если не так сказала, только показала на дверь, а сама скорее ушла, потому что, думаю, если ты меня позвонишь, так знай же, что я не вертелась у двери, как собака, а была по своим делам. Только уж работать в буфете не пришлось, потому что навстречу бежала толпа. Вели эту барышню. Вначале думала я, что она сама всех их ведет. Гарден тоже прибежал сам не свой. Вот когда вошли,— я и увидела... Гез готов.

Записав ее остальные, ничего не прибавившие к уже сказанному, различные мелкие показания, комиссар отпустил Пегги, которая вышла, пятясь и кланяясь. Наступила моя очередь, и я твердо решил, сколько

будет возможно, отвлечь подозрение на себя, как это ни было трудно при обстоятельствах, сопровождавших задержание Биче Сениэль. Сознаюсь,— я ничем, конечно, не рисковал, так как пришел с Бутлером, на глазах прислуги, когда Гез уже был в поверженном состоянии. Но я надеялся обратить подозрение комиссара в новую сторону, по кругу пережитого мною приключения, и рассказал откровенно, как поступил со мной Гез в море. О моем скрытом, о том, что имело значение лишь для меня, комиссар узнал столько же, сколько Браун и Гез, то есть ничего. Связанный теперь обещанием, которое дал Синкрайту, я умолчал об его активном участии. Бутлер подтвердил мое показание. Я умолчал также о некоторых вещах, например, о фотографии Биче в каюте Геза и запутанном положении корабля в руках капитана, с целью сосредоточить все происшествия на себе. Я говорил, тщательно обдумывая слова, так что заметное напряжение Биче при моем рассказе, вызванное вполне понятными опасениями, осталось напрасным. Когда я кончил, прямо заявив, что шел к Гезу с целью требовать удовлетворения, она, видимо, поняла, как я боюсь за нее, и в тени ее ресниц блеснуло выражение признательности.

Хотя флегматичен был комиссар, давно привыкший к допросам и трупам, мое сообщение о себе, в связи с Гезом, сильно поразило его. Он не однажды переспросил меня о существенных обстоятельствах, проверяя то, другое сопутствующими показаниями Бутлера. Бутлер, слыша, что я рассказываю, умалчивая о появлении неизвестной женщины, сам обошел этот вопрос, очевидно понимая, что у меня есть основательные причины молчать. Он стал очень нервен, и комиссару иногда приходилось направлять его ответы или вытаскивать их клещами дважды повторенных вопросов. Хотя и я не понимал его тревоги, так как оговорил роль Бутлера благоприятным для него упоминанием о, в сущности, пассивной, даже отчасти сдерживающей роли старшего помощника,— он, быть может, встревожился как виновный в недонесении. Так или иначе, Бутлер стал говорить мало и неохотно. Он потускнел, съежился. Лишь один раз в его лице появилось неведомое живое усилие,— какое бывает при внезапном воспоминании. Но оно исчезло, ничем не выразив себя.

По ставшему чрезвычайно серьезным лицу комиссара и по количеству исписанных им страниц я начал

понимать, что мы все трое не минуем ареста. Я сам поступил бы так же на месте полиции. Опасение это немедленно подтвердилось.

— Объявляю,— сказал комиссар, встав,— впредь до выяснения дела арестованными: неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя, Томаса Гарвея и Элиаса Бутлера.

В этот момент раздался странный голос. Я не сразу его узнал: таким чужим, изменившимся голосом заговорил Бутлер. Он встал, тяжело, шумно вздохнул и с неловкой улыбкой, сразу побледнев, произнес:

— Одного Бутлера. Элиаса Бутлера.

— Что это значит?— спросил комиссар.

— Я убил Геза.

ГЛАВА XXVIII

К тому времени чувства мои были уже оглушены и захвачены так сильно, что даже объявление ареста явилось развитием одной и той же неприятности; но неожиданное признание Бутлера хватило по оцепеневшим нервам, как новое преступление, совершенное на глазах всех. Биче Сениэль рассматривала убийцу расширенными глазами и, взведя брови, следила с пристальностью глубокого облегчения за каждым его движением. Комиссар перешел из одного состояния в другое,— из состояния запутанности к состоянию иметь здесь, против себя, подлинного преступника, которого считал туповатым свидетелем,— с апломбом чиновника, приписывающего каждый, даже невольный успех влиянию своих личных качеств.

— Этого надо было ожидать,— сказал он так значительно, что, должно быть, сам поверил своим словам.— Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях,— садитесь и изложите, как было совершено преступление.

— Я решил,— начал Бутлер, когда сам несколько освоился с перенесением тяжести сцены, целиком обрушенной на него и бесповоротно очертившей тюрьму,— я решил рассказать все, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это — случай; я не хотел его убивать. Я молчал потому, что надеялся для барышни на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение

вокруг невинного человека. Объяснения она не дала, следовательно, ее надо арестовать. Так, это правильно. Но я не мог остаться подлецом. Надо было сказать. Я слышал, что она выразила надежду на совесть самого преступника. Эти слова я обдумывал, пока вы допрашивали других, и не нашел никакого другого выхода, чем этот,— встать и сказать: Геза застрелил я.

— Благодарю вас,— сказала Биче с участием,— вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам.

— Должно быть, понадобится,— ответил Бутлер, подавленно улыбаясь.— Ну-с, надо говорить все. Итак, мы прибыли в Гель-Гью с контрабандой из Дагона. Четыреста ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть?

Он вытащил предмет, который тайно отобрал от меня, и передал его комиссару, отвинтив гайку.

— Заказные формы,— сказал комиссар, осмотрев начинку болта.— Кто же изобрел такую уловку?

— Должен заявить,— пояснил Бутлер,— что все дело вел Гез. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Мои отложенные за десять лет триста пятьдесят фунтов пошли как пай. Я должен был верить Гезу на слово. Гез обещал купить дешево, продать дорого. Мне приходилось, по нашим расчетам, приблизительно тысяча двести фунтов. Стоило рискнуть. Знали обо всем лишь я, Гез и Синкрайт. Женщины, которые плыли с нами сюда, не имели отношения к этой погрузке и ничего не подозревали. Гез был против Гарвея, так как по крайней мнительности опасался всего. Не очень был доволен, откровенно сказать, и я, потому что, как-никак, чувствуешь себя спокойнее, если нет посторонних. После того как произошел скандал, о котором вы уже знаете, и несмотря на мои уговоры человека бросили в шлюпку миль за пятьдесят от Дагона, а вмешаться как следует — значило потерять все, потому что Гез, взбесившись, способен на открытый грабеж,— я за остальные дни плавания начал подозревать капитана в намерении увильнуть от честной расплаты. Он жаловался, что опиум обошелся вдвое дороже, чем он рассчитывал, что он узнал в Дагоне о понижении цен, так что прибыль может оказаться значительно меньше. Таким образом капитан подготовил почву и очень этим меня тревожил. Синкрайту было просто обещано пятьдесят фунтов, и он был спокоен, зная, должно быть, что все пронюхает

и добьется своего в большем размере, чем надеется Гез. Я ничего не говорил, ожидая, что́ будет в Гель-Гью. Еще висела эта история с Гарвеем, которую мы думали миновать, пробыв здесь не более двух дней, а потом уйти в Сан-Губерт или еще дальше, где и отстояться, пока не замрет дело. Впрочем, важно было прежде всего продать опий.

Гез утверждал, что переговоры с агентом по продаже ему партии железных болтов будут происходить в моем присутствии, но когда мы прибыли, он устроил, конечно, все самостоятельно. Он исчез вскоре после того, как мы ошвартовались, и явился веселый, только стараясь казаться озабоченным. Он показал деньги. «Вот все, что удалось получить,— так он заявил мне.— Всего три тысячи пятьсот. Цена товара упала, наши приказчики предложили ждать улучшения условий сбыта или согласиться на три тысячи пятьсот фунтов за тысячу сто килограммов».

Мне приходилось, по расчету моих и его денег,— причем он уверял, что болты стоили ему по три гинеи за сотню,— неправедные остатки. Я выделился, таким образом, из расчета пятьсот за триста пятьдесят, и между нами произошла сцена. Однако доказать ничего было нельзя, поэтому я вчера же направился к одному сведущему по этим делам человеку, имя которого называть не буду, и я узнал от него, что наша партия меньше как за пять тысяч не может быть продана, что цена держится крепко.

Обдумав, как уличить Геза, мы отправились в один склад, где мой знакомый усадил меня за перегородку, сзади конторы, чтобы я слышал разговор. Человек, которого я не видел, так как он был отделен от меня перегородкой, в ответ на мнимое предложение моего знакомого сразу же предложил ему четыре с половиной фунта за килограмм, а когда тот начал торговаться,— накинул пять и даже пять с четвертью. С меня было довольно. Угостив человека за услугу, я отправился на корабль и, как Гез уже переселился сюда, в гостиницу, намереваясь широко пожить,— пошел к нему, но его не застал. Был я еще вечером,— раз, два, три раза — и безуспешно. Наконец сегодня утром, около десяти часов, я поднялся по лестнице со двора и, никого не встретив, постучал к Гезу. Ответа я не получил, а тронув за ручку двери, увидел, что она не заперта, и вошел. Может быть, Гез в это время ходил вниз жаловаться на Пегги.

Так или иначе, но я был здесь один в комнате, с неприятным стеснением, не зная, оставаться ждать или выйти разыскивать капитана. Вдруг я услышал шаги Геза, который сказал кому-то: «Она должна явиться немедленно».

Так как я напряженно думал несколько дней о продаже опия, то подумал, что слова Геза относятся к одной пожилой даме, с которой он имел эти дела. Не могло представиться лучшего случая узнать все. Сообразив свои выгоды, я быстро проник в шкап, который стоит у двери, и прикрыл его изнутри, решаясь на все. Я дополнил свой план, уже стоя в шкапу. План был очень прост: услышать, что говорит Гез с дамой-агентом, и, разузнав точные цифры, если они будут произнесены, явиться в благоприятный момент. Ничего другого не оставалось. Гез вошел, хлопнув дверью. Он метался по комнате, бормоча: «Я вам покажу! Вы меня мало знаете, подлецы».

Некоторое время было тихо. Гез, как я видел его в щель, стоял задумчиво, напевая, потом вздохнул и сказал: «Проклятая жизнь!»

Тогда кто-то постучал в дверь, и, быстро кинувшись ее открыть, он закричал: «Как?! Может ли быть?! Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!»

Я говорю о барышне, которая сидит здесь. Она отказалась войти и сообщила, что приехала уговориться о месте для переговоров; каких,— не имею права сказать.

Бутлер замолчал, предоставляя комиссару обойти это положение вопросом о том, что произошло дальше, или обратиться за разъяснением к Биче, которая заявила:

— Мне нет больше причины скрывать свое имя. Меня зовут Биче Сениэль. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля «Бегущая по волнам». Это судно принадлежит моему отцу. Подробности я расскажу после.

— Я вижу уже,— ответил комиссар с некоторой поспешностью, позволяющей сделать благоприятное для девушки заключение,— что вы будете допрошены как свидетельница.

Бутлер продолжал:

— Она отказалась войти, и я слышал, как Гез говорил в коридоре, получая такие же тихие ответы. Не знаю, сколько прошло времени. Я был разозлен тем,

что напрасно засел в шкап, но выйти не мог, пока не будет никого в коридоре и комнате. Даже если бы Гёз запер помещение на ключ, наружная лестница, которая находится под самым окном, оставалась в моем распоряжении. Это меня несколько успокоило.

Пока я соображал так, Гёз возвратился с дамой, и разговор возобновился. Барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкапа, чтобы прекратить безобразие. Гёз бросился к двери и запер ее на ключ. Когда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз, на ту лестницу, что я видел в свою щель, Гёз сказал: «О мука! Лучше умереть!» Подлая мысль двинула меня открыто выйти из шкапа. Я рассчитывал на его смущение и расстройство. Я решился на шантаж и не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер.

Гёз был убит быстрее, чем я вышел из шкапа. Увидев меня, должно быть, взволнованного и бледного, он сначала отбежал в угол, потом кинулся на меня, как отраженный от стены мяч. Никаких объяснений он не спрашивал. Слезы текли по его лицу, он крикнул: «Убью, как собаку!» — и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Вся его дикая радость немедленной расправы передалась мне. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это или я где-то слышал действительно,— я вспомнил странные слова: «Он получит пулю в лоб...» — и мою руку, без прицела, вместе с движением и выстрелом, повело куда надо, как магнитом. Выстрела я не слышал. Гёз уронил револьвер, согнулся и стал качать головой. Потом он ухватился за стол, пополз вниз и растянулся. Некоторое время я не мог двинуться с места; но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках побежал к лестнице, все время ожидая, что буду схвачен за руку или окликнут. Но я опять, как когда пришел, решительно никого не встретил и вскоре был на улице. С минуту я то уходил прочь, то поворачивал обратно, начав сомневаться, было ли то, что было. В душе и голове гул был такой, как если бы я лежал среди рельс под мчавшимся поездом. Все звуки кричали, все было страшно и ослепительно. Тут я увидел Гарвея и очень обрадовался, но не мог радоваться по-настоящему. Мысли появлялись очень быстро и с силой. Так я, например, узнав, что Гарвей

идет к Гезу,— немедленно, с совершенным убеждением порешил, что, если есть на меня какие-нибудь неведомые мне подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарвеем. Я думал, что барышня уже далеко. Ничего подобного, такого, чем обернулось все это несчастье, мне не пришло даже в голову. Одно стояло в уме: «Я вошел и увидел, и я так же поражен, как и все». Пока я здесь сидел, я внутренне отошел, а потому не мог больше молчать.

На этих словах показание Бутлера отзвучало и смолкло. Он то вставал, то садился.

— Дайте вашу руку, Бутлер,— сказала Биче. Она взяла его руку, протянутую медленно и тяжело, и крепко встряхнула ее.— Вы тоже не виноваты, а если и были виноваты, не виновны теперь.— Она обратилась к комиссару: — Должна говорить я.

— Желаете дать показания наедине?

— Только так.

— Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гарвей — вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда.

Полисмены, присутствие которых только теперь стало заметно, увели Бутлера. Я вышел, оставив Биче и условившись с ней, что буду ожидать ее в экипаже. Пройдя сквозь коридор, такой пустой утром и так полный теперь набившейся изо всех щелей квартала толпой, разогнать которую не могли никакие усилия, я вышел через буфет на улицу. Неподалеку стоял кеб; я нанял его и стал ожидать Биче, дополняя воображением немногие слова Бутлера,— те, что развертывались теперь в показание, тяжелое для женщины и в особенности для девушки. Но уже зная ее немного, я не мог представить, чтобы это показание было дано иначе, чем те движения женских рук, которые мы видим с улицы, когда они раскрывают окно в утренний сад.

ГЛАВА XXIX

Мне пришлось ждать почти час. Непрестанно оглядываясь или выходя из экипажа на тротуар, я был занят лишь одной навязчивой мыслью: «Ее еще нет». Ожидание утомило меня более, чем что-либо другое в этой мрачной истории. Наконец я увидел Биче. Она

поспешно шла и, заметив меня, обрадованно кивнула. Я помог ей усесться и спросил, желает ли Биче ехать домой одна.

— Да и нет; хотя я утомлена, но по дороге мы поговорим. Я вас не приглашаю теперь, так как очень устала.

Она была бледна и досадовала. Прошло несколько минут молчаливой езды, пока Биче заговорила о Гезе.

— Он запер дверь. Произошла сцена, которую я постараюсь забыть. Я не испугалась, но была так зла, что сама могла бы убить его, если бы у меня было оружие. Он обхватил меня и, кажется, пытался поцеловать. Когда я вырвалась и подбежала к окну, я увидела, как могу избавиться от него. Под окном проходила лестница, и я спрыгнула на площадку. Как хорошо, что вы тоже пришли туда!

— Увы, я не мог ничем вам помочь!

— Достаточно, что вы там были. К тому же вы старались если не обвинить себя, то внушить подозрение. Я вам очень благодарна, Гарвей. Вечером вы придете к нам? Я назначу теперь же, когда встретиться. Я предлагаю в семь. Я хочу вас видеть и говорить с вами. Что вы скажете о корабле?

— «Бегущая по волнам»,— ответил я,— едва ли может быть передана вам в ближайшее время, так как, вероятно, произойдет допрос остальной команды, Синкрайта, и судно не будет выпущено из порта, пока права Сениэлей не установит портовый суд, а для этого необходимо снестись с Брауном.

— Я не понимаю,— сказала Биче, задумавшись,— каким образом получилось такое грозное и грязное противоречие. С любовью был построен этот корабль. Он возник из внимания и заботы. Он был чист. Едва ли можно будет забыть о его падении, о тех историях, какие произошли на нем, закончившись гибелью троих людей: Геза, Бутлера и Синкрайта, которого, конечно, арестуют.

— Вы были очень испуганы?

— Нет. Но тяжело видеть мертвого человека, который лишь несколько минут назад говорил как в бреду и, вероятно, искренне. Мы почти приехали, так как за этим поворотом, налево, тот дом, где я живу.

Я остановил экипаж у старых каменных ворот с фасадом внутри двора и простился. Девушка быстро пошла внутрь; я смотрел ей вслед. Она обернулась и,

остановясь, пристально посмотрела на меня издали, но без улыбки. Потом, сделав неопределенное усталое движение, исчезла среди деревьев, и я поехал в гостиницу.

Было уже два часа. Меня встретил Кук, который при дневном свете выглядел теперь вялым. Цвет его лица далеко уступал розовому сиянию прошедшей ночи. Он был или озабочен, или в неудовольствии, по неизвестной причине. Кук сообщил, что привезли мои вещи. Действительно, они лежали здесь, в полном порядке, с письмом, засунутым в щель чемодана. Я распечатал конверт, оказавшийся запиской от Дэзи. Девушка извещала, что «Нырок» уходит в обратный путь послезавтра, что она надеется попрощаться со мной, благодарит за книги и просит еще раз извинить за вчерашнюю выходку. «Но это было смешно,— стояло в конце.— Вы, значит, видели еще одно такое же платье, как у меня. Я хотела быть скромной, но не могу. Я очень любопытна. Мне нужно вам очень много сказать».

Как я ни был полон Биче, мое отношение к ней погрузилось в дым тревоги и нравственного бедствия, испытанного сегодня, разогнать которое могло только дальнейшее нормальное течение жизни, а поэтому эта милая и простая записка Дэзи была как ее улыбка. Я словно услышал еще раз звучный, горячий голос, меняющийся в выражении при каждом колебании настроения. Я решил отправиться на «Нырок» завтра утром. Тем временем состояние Кука начало меня беспокоить, так как он мрачно молчал и грыз ногти — привычка, которую ненавижу. Встретившись глазами, мы довольно долго осматривали друг друга, пока Кук наконец не вышел из тягостного момента глубоким вздохом и кратким упоминанием о черте. Соболезнуя, я получил ответ, что у него припадок неврастении.

— Как я вам себя рекомендовал, это все верно,— говорил Кук, бешено разламывая спичечную коробку,— то есть что я сплетник, сплетник по убеждению, по призванию, наконец — по эстетическому уклону. Но я также и неврастеник. За завтраком был разговор об орехах. У одного человека червь погубил урожай. Что, если бы это случилось со мной? Мои сады! Мои замечательные орехи! Не могу представить в белом сердце ореха — червя, несущего пыль, горечь, пустоту. Мне стало грустно, и я должен отправиться домой, чтобы

посмотреть, хороши ли мои орехи. Мне не дает покоя мысль, что их, может быть, грызут черви.

Я высказал надежду, что это пройдет у него к вечеру, когда среди толп, музыки, затей и цветов загремит карнавальное торжество, но Кук отнесся философически.

— Я смотрю мрачно,—сказал он, шагая по комнате, засунув руки за спину и смотря в пол.—Мне рисуется такая картина. В мраке расположены сильно озаренные круги, а между ними—черная тень. На свет из тени мчатся веселые простаки. Эти круги—ловушки. Там расставлены стулья, зажжены лампы, играет музыка и много хорошеньких женщин. Томный вальс вежливо просит вас обнять гибкую талию. Талия за талией, рука за рукой наполняют круг звучным и упоительным вихрем. Огненные надписи вспыхивают под ногами танцующих; они гласят: «Любовь навсегда!»— «Ты муж, я жена!»—«Люблю и страдаю и верю в невозможное счастье!»—«Жизнь так хороша!»—«Отдадимся веселью, а завтра—рука об руку, до гроба, вместе с тобой!..». Пока это происходит, в тени едва можно различить силуэты тех же простаков, то есть их двойники. Прошло, скажем, десять лет. Я слышу там зевоту и брань, могильную плиту будней, попреки и свару, тайные низменные расчеты, хлопоты о детишках, бьющих, валяясь на полу, ногами в тщетном протесте против такой участи, которую предчувствуют они, наблюдая кислую мнительность когда-то обожавших друг друга родителей. Жена думает о другом,— он только что прошел мимо окна. «Когда-то я был свободен,—думает муж,—и я очень любил танцевать вальс...» Кстати,—ввернул Кук, несколько отходя и втягивая воздух ноздрями, как прибежавшая на болото собака,—вы не слышали ничего о Флоре Салье? Маленькая актриса, приехавшая из Сан-Риоля? О, я вам расскажу! Ее содержит Чемпс, владелец бюро похоронных процессий. Оригинал Чемпс завоевал сердце Салье тем, что преподнес ей восхитительный бархатный гробик, наполненный ювелирными побрякушками. Его жена разузнала. И вот...

Видя, что Кук действительно сплетник, я уклонился от выслушивания подробностей этой истории просто тем, что взял шляпу и вышел, сославшись на неотложные дела, но он, выйдя со мной в коридор, кричал вслед окрепшим голосом:

— Когда вернетесь, я расскажу! Тут есть еще одна история, которая... Желаю успеха!

Я ушел под впечатлением его громкого свиста, выражавшего окончательное исчезновение неврастении. Моей целью было увидеть Дэзи, не откладывая это на завтра, но, сознаюсь, я пошел теперь только потому, что не хотел и не мог после утренней картины в портовой гостинице внимать болтовне Кука.

ГЛАВА XXX

Выйдя, я засел в ресторане, из окон которого видна была над крышами линия моря. Мне подали кушанье и вино. Я принадлежу к числу людей, обладающих хорошей памятью чувств, и, думая о Дэзи, я помнил раскаянное стеснение,— вчера, когда так растерянно отпустил ее, огорченную неудачей своей затеи. Не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую, милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по-видимому, думала обо мне больше, чем следовало в ее и моем положении. Позавтракав, я разыскал «Нырок», стоявший, как указала Дэзи в записке, неподалеку от здания таможни, кормой к берегу, в длинном ряду таких же небольших шкун, выстроенных борт к борту.

Увидев Больта, который красил кухню, сидя на ее крыше, я спросил его, есть ли кто-нибудь дома.

— Одна Дэзи,— сказал матрос.— Проктор и Тоббоган отправились по вашему делу, их позвала полиция. Пошли и другие с ними. Я уже все знаю,— прибавил он.— Замечательное происшествие! По крайней мере, вы избавлены от хлопот. Она внизу.

Я сошел по трапу во внутренность судна. Здесь было четыре двери; не зная, в которую постучать, я остановился.

— Это вы, Больт?—послышался голос девушки.— Кто там, войдите!—сказала она, помолчав.

Я постучал на голос; каюта находилась против трапа, и я в ней не был ни разу.

— Не заперто!—воскликнула девушка.

Я вошел, очутясь в маленьком пространстве, где справа была занавешенная простыней койка. Дэзи сидела меж койкой и столиком. Она была одета и тщательно причесана, в том же кисейном платье, как вчера, и, взглянув на меня, сильно покраснела. Я увидел

несколько иную Дэзи: она не смеялась, не вскочила порывисто, взгляд ее был приветлив и замкнут. На столике лежала раскрытая книга.

— Я знала, что вы придете,— сказала девушка.— Вот мы и уезжаем завтра. Сегодня утром разгрузились так рано, что я не выспалась, а вчера поздно заснула. Вы тоже утомлены, вид у вас не блестящий. Вы видели убитого капитана?

Усевшись, я рассказал ей, как я и убийца вошли вместе, но ничего не упомянул о Биче. Она слушала молча, подбрасывая пальцем страницу открытой книги.

— Вам было страшно?— сказала Дэзи, когда я кончил рассказывать.— Я представляю,— какой ужас!

— Это еще так свежо,— ответил я, невольно улыбнувшись, так как заметил висящее в углу желтое платье с коричневой бахромой,— что мне трудно сказать о своем чувстве. Но ужас... это был внешний ужас. Настоящего ужаса, я думаю, не было.

— Чему, чему вы улыбнулись?!— вскричала Дэзи, заметив, что я посмотрел на платье.— Вы вспомнили? О, как вы были поражены! Я дала слово никогда больше не шутить так. Я просто глупа. Надеюсь, вы простили меня?

— Разве можно на вас сердиться,— ответил я искренно.— Нет, я не сердился. Я сам чувствовал себя виноватым, хотя трудно сказать, почему. Но вы понимаете.

— Я понимаю,— сказала девушка,— и я всегда знала, что вы добры. Но стоит рассказать. Вот, слушайте.

Она погрузила лицо в руки и сидела так, склонив голову, причем я заметил, что она, разведя пальцы, высматривает из-за них с задумчивым, невеселым вниманием. Отняв руки от лица, на котором заиграла ее неподражаемая улыбка, Дэзи поведала свои приключения. Оказалось, что Тоббоган пристал к толпе игроков, окружавших рулетку под навесом, у какой-то стены.

— Сначала,— говорила девушка, причем ее лицо очень выразительно жаловалось,— он пообещал мне, что сделает всего три ставки и потом мы пойдем куда-нибудь, где танцуют; будем веселиться и есть, но, как ему повезло,— ему здорово вчера повезло,— он уже не мог отстать. Кончилось тем, что я назначила ему полчаса, а он усадил меня за столик в соседнем

кафе, и я за выпитый там стакан шоколада выслушала столько любезностей, что этот шоколад был мне одно мучение. Жестоко оставлять меня одну в такой вечер,— ведь и мне хотелось повеселиться, не так ли? Я отсидела полчаса, потом пришла снова и попыталась увести Тоббогана, но на него было жалко смотреть. Он продолжал выигрывать. Он говорил так, что следовало просто махнуть рукой. Я не могла ждать всю ночь. Наконец кругом стали смеяться, и у него покраснели виски. Это плохой знак. «Дэзи, ступай домой,— сказал он, взглядом умоляя меня.— Ты видишь, как мне везет. Это ведь для тебя!» В то время возникло у меня одно очень ясное представление. У меня бывают такие представления, столь живые, что я как будто действую и вижу, что представляется. Я представила, что иду одна по разным освещенным улицам и где-то встречаю вас. Я решила наказать Тоббогана и, скрепя сердце, стала отходить от того места все дальше, дальше, а когда подумала, что, в сущности, никакого преступления с моей стороны нет, вступило мне в голову только одно: «Скорее, скорее, скорее!» Редко у меня бывает такая храбрость... Я шла и присматривалась, какую бы мне купить маску. Увидев лавочку с вывеской и открытую дверь, я там кое-что примерила, но мне все было не по карману, наконец хозяйка подала это платье и сказала, что уступит на нем. Таких было два. Первое уже продано,— как вы сами, вероятно, убедились на ком-нибудь другом,— вставила Дэзи.— Нет, я ничего не хочу знать! Мне просто не повезло. Надо же было так случиться! Ужас что такое, если порассудить! Тогда я ничего, конечно, не знала и была очень довольна. Там же купила я полумаску, а это платье, которое сейчас на мне, оставила в лавке. Я говорю вам, что помешалась. Потом — туда-сюда... Надо было спасаться, потому что ко мне начали приставать. О-го-го! Я бежала, как на коньках. Дойдя до той площади, я стала остывать и уставать, как вдруг увидела вас. Вы стояли и смотрели на статую. Зачем я солгала? Я уже побыла в театре и малость, грешным делом, оттанцевала, разка три. Одним словом — наш пострел везде поспел! — Дэзи расхохоталась.— Одна так одна! Ну-с, сбежав от очень пылких кавалеров своих, я, как говорю, увидела вас, и тут мне одна женщина оказала услугу. Вы знаете какую. Я вернулась и стала представлять, что́ вы мне

скажете. И-и-и... произошла неудача. Я так рассердилась на себя, что немедленно вернулась, разыскала гостиницу, где наши уже пели хором,— так они были хороши, и произвела фурор. Спасибо Проктору; он крепко рассердился на Тоббогана и тотчас послал матросов отвести меня на «Нырок». Представьте, Тоббоган явился под утро. Да, он выиграл. Было тут упреков и мне и ему. Но мы теперь помирились.

— Милая Дэзи,— сказал я, растроганный больше, чем ожидал, ее искусственно-шутливым рассказом,— я пришел с вами проститься. Когда мы встретимся,— а мы должны встретиться,— то будем друзьями. Вы не заставите меня забыть ваше участие.

— Никогда,— сказала она с важностью...— Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы — такой...

— То есть — какой?

— Вы — добрый.

Вставая, я уронил шляпу, и Дэзи бросилась ее поднимать. Я опередил девушку; наши руки встретились на поднятой вместе шляпе.

— Зачем так? — сказал я мягко.— Я сам. Прощайте, Дэзи!

Я переложил ее руку с шляпы в свою правую и крепко пожал. Она, затуманясь, смотрела на меня прямо и строго; затем неожиданно бросилась мне на грудь и крепко охватила руками, вся прижавшись и трепеща.

Что не было мне понятно,— стало понятно теперь. Подняв за подбородок ее упрямо прячущееся лицо, сам тягостно и нежно взволнованный этим детским порывом, я посмотрел в ее влажные, отчаянные глаза, и у меня не хватило духа отделаться шуткой.

— Дэзи! — сказал я.— Дэзи!

— Ну да, Дэзи; что же еще? — шепнула она.

— Вы невеста.

— Боже мой, я знаю! Тогда уйдите скорей!

— Вы не должны,— продолжал я.— Не должны...

— Да. Что же теперь делать?

— Вы несчастны?

— О, я не знаю! Уходите!

Она, отталкивая меня одной рукой, крепко притягивала другой. Я усадил ее, ставшую покорной, с бледным и пристыженным лицом; последний взгляд свой она пыталась скрасить улыбкой. Не стерпев, в ужасе я поцеловал ее руку и поспешно вышел. Наверху

я встретил поднимающихся по трапу Тоббогана и Проктора. Проктор посмотрел на меня внимательно и печально.

— Были у нас? — сказал он. — Мы от следователя. Вернитесь, я вам расскажу. Дело произвело шум. Третий ваш враг, Синкрайт, уже арестован; взяли и матросов; да, почти всех. Отчего вы уходите?

— Я занят, — ответил я, — занят так сильно, что у меня положительно нет свободной минуты. Надеюсь, вы зайдете ко мне. — Я дал адрес. — Я буду рад видеть вас.

— Этого я не могу обещать, — сказал Проктор, прищуриваясь на море и думая. — Но если вы будете свободны в... Впрочем, — прибавил он с неловким лицом, — подробностей особенных нет. Мы утром уходим.

Пока я разговаривал, Тоббоган стоял отвернувшись и смотрел в сторону; он хмурился. Рассерженный его очевидной враждой, выраженной к тому же так наивно и грубо, которой он как бы вперед осуждал меня, я сказал:

— Тоббоган, я хочу пожать вашу руку и поблагодарить вас.

— Не знаю, нужно ли это, — неохотно ответил он, пытаясь заставить себя смотреть мне в глаза. — У меня на этот счет свое мнение.

Наступило молчание, довольно красноречивое, чтобы нарушать его бесполезными объяснениями. Мне стало еще тяжелее.

— Прощайте, Проктор! — сказал я шкиперу, пожимая обе его руки, ответившие с горячим облегчением конца неприятной сцены. Тоббоган двинулся и ушел, не обернувшись. — Прощайте! Я только что прощался с Дэзи. Уношу о вас обоих самое теплое воспоминание и крепко благодарю за спасение.

— Странно вы говорите, — отвечал Проктор. — Разве за такие вещи благодарят? Всегда рад помочь человеку. Плюньте на Тоббогана. Он сам не знает, что говорит.

— Да, он н е з н а е т, что говорит.

— Ну, вот видите! — Должно быть, у Проктора были сомнения, так как мой ответ ему заметно понравился. — Люди встречаются и расходятся. Не так ли?

— Совершенно так.

Я еще раз пожал его руку и ушел. Меня догнал Больт.

— Со мной-то и забыли попрощаться,— весело сказал он, вытирая запачканную краской руку о колено штанов. Совершая обряд рукопожатия, он прибавил: — Я, извините, понял, что вам не по себе. Еще бы, такие события! Прощайте, желаю удачи!

Он махнул кепкой и побежал обратно.

Я шел прочь бесцельно, как изгнанный, никуда не стремясь, расстроенный и удрученный. Дэзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Я припоминал, не было ли мной сказано нечаянных слов, о которых так важно размышляют девушки. Она нравилась мне, как теплый ветер в лицо; и я думал, что она могла бы войти в совет министров, добродушно осведомляясь, не мешает ли она им писать? Но, кроме сознания, что мир время от времени пускает бродить детей, даже не позаботившись обдернуть им рубашку, подол которой они суют в рот, красуясь торжественно и пугливо, не было у меня к этой девушке ничего пристального или знойного, что могло бы быть выражено вопреки воле и памяти. Я надеялся, что ее порыв случаен и что она сама улыбнется над ним, когда потекут привычные дни. Но я был благодарен ей за ее доверие, какое она вложила в смутившую меня отчаянную выходку, полную безмолвной просьбы о сердечном, о пылком, о настоящем.

Я был мрачен и утомлен; устав ходить по еще почти пустым улицам, я отправился переодеться в гостиницу. Кук ушел. На столе он оставил записку, в которой перечислял места, достойные посещения этим вечером, указав, что я смогу разыскать его за тем же столом у памятника. Мне оставался час, и я употребил время с пользой, написав коротко Филатру о происшествиях в Гель-Гью. Затем я вышел и, опустив письмо в ящик, был к семи, после заката солнца, у Биче Сениэль.

ГЛАВА XXXI

Я застал в гостиной Биче и Ботвеля. Увидев ее, я стал спокоен. Мне было довольно ее видеть и говорить с ней. Она была сдержанно оживлена, Ботвель озабочен и напряжен.

— Много удалось сделать,— заявил он.— Я был у следователя, и он обещал, что Биче будет выделена

из дела, как материал для газет, а также в смысле ее личного присутствия на суде. Она пришлет свое показание письменно. Но я был еще кое-где и всюду оставлял деньги. Можно было подумать, что у меня карманы прорезаны. Биче, вы будете хоть еще раз покупать корабли?

— Всегда, как только мое право нарушит кто-нибудь. Но я действительно получила урок. Мне было не так весело,— обратилась она ко мне,— чтобы я захотела тронуть еще раз что-нибудь сыплющееся на голову. Но нельзя было подумать.

— Негодяй умер,— сказал Ботвель.— Я пошлю Бутлеру в тюрьму сигар, вина и цветов. Но вы, Гарвей, вы — неповинный и не замешанный ни в чем человек,— каково было вам высидеть около трупа эти часы?

— Мне было тяжело по другой причине,— ответил я, обращаясь к девушке, смотревшей на меня с раздумьем и интересом.— Потому, что я ненавидел положение, бросившее на вас свою терпкую тень. Что касается обстоятельств дела, то они хотя и просты по существу, но странны, как встреча после ряда лет, хотя это всего лишь движение к одной точке.

После того были разобраны все моменты драмы в их отдельных, для каждого лица, условиях. Ботвель неясно представлял внутреннее расположение помещений гостиницы. Тогда Биче потребовала бумагу, которую Ботвель тотчас принес. Пока он ходил, Биче сказала:

— Как вы себя чувствуете теперь?

— Я думал, что приду к вам.

Она приподняла руку и хотела что-то быстро сказать, по-видимому, занимавшее ее мысли, но, изменив выражение лица, спокойно заметила:

— Это я знаю. Я стала размышлять обо всем старательнее, чем до приезда сюда. Вот что...

Я ждал, встревоженный ее спокойствием больше, чем то было бы вызвано холодностью или досадой. Она улыбнулась.

— Еще раз благодарю за участие,— сказала Биче.— Ботвель, вы принесли сломанный карандаш.

— Действительно,— ответил Ботвель.— Но эти дни повернулись такими чрезвычайными сторонами, что карандаш, я ожидаю,— вдруг очинится сам! Гарвей согласен со мной.

— В принципе — да!

— Однако возьмите ножик,— сказала Биче, смеясь и подавая мне ножик вместе с карандашом.— Это и есть нужный принцип.

Я очинил карандаш, довольный, что она не сердится. Биче недоверчиво пошатала его острый конец, затем стала чертить вход, выход, комнату, коридор и лестницу.

Я стоял, склонясь над ее плечом. В маленькой твердой руке карандаш двигался с такой правильностью и точностью, как в прорезах шаблона. Она словно лишь обводила видимые ей одной линии. Под этим чертежом Биче нарисовала контурные фигуры: мою, Бутлера, комиссара и Гардена. Все они были убедительны, как японский гротеск. Я выразил уверенность, что эти мастерство и легкость оставили более значительный след в ее жизни.

— Я не люблю рисовать,— сказала она и, забавляясь, провела быструю, ровную, как сделанную линейкой,черту.— Нет. Это для меня очень легко. Если вы охотник, могли бы вы находить удовольствие в охоте на кур среди двора? Так же и я. Кроме того, я всегда предпочитаю оригинал рисунку. Однако хочу с вами посоветоваться относительно Брауна. Вы знаете его, вы с ним говорили. Следует ли предлагать ему деньги?

— По всей щекотливости положения Брауна, в каком он находится теперь, я думаю, что это дело надо вести так, как если бы он действительно купил судно у Геза и действительно заплатил ему. Но я уверен, что он не возьмет денег, то есть возьмет их лишь на бумаге. На вашем месте я поручил бы это дело юристу.

— Я говорил,— сказал Ботвель.

— Но дело простое,— настаивала Биче,— Браун даже сообщил вам, что владеет кораблем мнимо, не в действительности.

— Да, между нас это так бы было,— без бумаг и формальностей. Но у дельца есть культ формы, а так как мы предполагаем, что Брауну нет ни нужды, ни охоты мошенничать, получив деньги за чужое имущество,— незачем отказывать ему в формальной деловой опрятности, которая составляет часть его жизни.

— Я еще подумаю,— сказала Биче, задумчиво смотря на свой рисунок и обводя мою фигуру овальной двойной линией.— Может быть, вам кажется странным, но уладить дело с покойным Гезом мне

представлялось естественнее, чем сплести теперь эту официальную безделушку. Да, я не знаю. Могу ли я смутить Брауна, явившись к нему?

— Почти наверное,— ответил я.— Но почти наверное он выкажет смущение тем, что отправит к вам своего поверенного, какую-нибудь лису, мечтавшую о взятке, а поэтому не лучше ли сделать первый т а к о й шаг самой?

— Вы правы. Так будет приятнее и ему и мне. Хотя... Нет, вы действительно правы. У нас есть план,— продолжала Биче, устраняя озабоченную морщину, игравшую между ее тонких бровей, меняя позу и улыбаясь.— План вот в чем: оставить пока все дела и отправиться на «Бегущую». Я так давно не была на палубе, которую знаю с детства! Днем было жарко. Слышите, какой шум? Нам надо встряхнуться.

Действительно, в огромные окна гостиной проникали хоровые крики, музыка, весь праздничный гул собравшегося с новыми силами карнавала. Я немедленно согласился. Ботвель отправился распорядиться о выезде. Но я был лишь одну минуту с Биче, так как вошли ее родственники, хозяева дома — старичок и старушка, круглые, как два старательно одетых мяча, и я был представлен им девушкой, с облегчением убедясь, что они ничего не знают о моей истории.

— Вы приехали повеселиться, посмотреть, как тут гуляют? — сказала хозяйка, причем ее сморщенное лицо извинялось за беспокойство и шум города.— Мы теперь не выходим, нет. Теперь все не так. И карнавал плох. В мое время один Бреденер запрягал двенадцать лошадей. Карльсон выпустил «Океанию» — замечательный павильон на колесах, и я была там главной Венерой. У Лакотта в саду фонтан бил вином... О, как мы танцевали!

— Все не то,— сказал старик, который, казалось, седел, пушился и уменьшался с каждой минутой, так он был дряхл.— Нет желания даже выехать посмотреть. В тысяча восемьсот... ну, все равно, я дрался на дуэли с Осборном. Он был в костюме «Кот в сапогах». Из меня вынули три пули. Из него — семь. Он помер.

Старички стояли рядом, парой, погруженные в невидимый древний мох; стояли с трудом, и я попрощался с ними.

— Благодарю вас,— сказала старушка неожиданно твердым голосом,— вы помогли Биче устроить все это дело. Да, я говорю о пиратах. Что же, повесили их? Раньше здесь было много пиратов.

— Очень, очень много пиратов!—сказал старик, печально качая головой.

Они все перепутали. Я заметил намекающий взгляд Биче и, поклонясь, вышел вместе с ней, догоняемый старческим шепотом:

— Все не то... не то... Очень много пиратов!

ГЛАВА XXXII

Отъезжая с Биче и Ботвелем, я был стеснен, отлично понимая, что́ стесняет меня. Я был неясен Биче, ее отчетливому представлению о людях и положениях. Я вышел из карнавала в действие жизни, как бы просто открыв тайную дверь, сам храня в тени свою душевную линию, какая, переплетясь с явной линией, образовала узлы.

В экипаже я сидел рядом с Биче, имея перед собой Ботвеля, который, по многим приметам, был для Биче добрым приятелем, как это случается между молодыми людьми разного пола, связанными родством, обоюдной симпатией и похожими вкусами. Мы начали разговаривать, но скоро должны были оставить это, так как, едва выехав, уже оказались в действии законов игры,—того самого карнавального перевоплощения, в каком я кружился вчера. Экипаж двигался с великим трудом, осыпанный цветным бумажным снегом, который почти весь приходился на долю Биче, так же как и серпантин, медленно опускающийся с балконов шуршащими лентами. Публика дурачилась, приплясывая, хохоча и крича. Свет был резок и бесноват, как в кругу пожара. Импровизированные оркестры с кастрюлями, тазами и бумажными трубами, издававшими дикий рев, шатались по перекресткам. Еще не было процессий и кортежей; задавала тон самая ликующая часть населения—мальчишки и подростки всех цветов кожи и компании на балконах, откуда нас старательно удили серпантином.

Выбравшись на набережную, Ботвель приказал вознице ехать к тому месту, где стояла «Бегущая по волнам», но, попав туда, мы узнали от вахтенного с баркаса, что судно уведено на рейд, почему наняли шлюпку. Нам пришлось обогнуть несколько пароходов, оглашаемых музыкой и освещенных иллюминацией. Мы стали уходить от полосы берегового света,

погрузясь в сумерки и затем в тьму, где, заметив неподвижный мачтовый огонь, один из лодочников сказал:

— Это она.

— Рады ли вы? — спросил я, наклоняясь к Биче.

— Едва ли.— Биче всматривалась.— У меня нет чувства приближения к той самой «Бегущей по волнам», о которой мне рассказывал отец, что ее выстроили на дне моря, пользуясь рыбой-пилой и рыбой-молотком, два поплевывавших на руки молодца-гиганта: «Замысел» и «Секрет».

— Это пройдет,— заметил Ботвель.— Надо только приехать и осмотреться. Ступить на палубу ногой, топнуть. Вот и все.

— Она как бы больна,— сказала Биче.— Недуг формальностей... и довольно жалкое прошлое.

— Сбилась с пути,— подтвердил Ботвель, вызвав смех.

— Говорят, нашли труп,— сказал лодочник, присматриваясь к нам. Он, видимо, слышал обо всем этом деле.— У нас разное говорили...

— Вы ошибаетесь,— возразила Биче,— этого не могло быть.

Шлюпка стукнулась о борт. На корабле было тихо.

— Эй, на «Бегущей»! — закричал, вставая, Ботвель.

Над водой склонилась неясная фигура. Это был агент, который, после недолгих переговоров, приправленных интересующими его намеками благодарности, позвал матроса и спустил трап.

Тотчас прибежал еще один человек; за ним третий. Это были Гораций и повар. Мулат шумно приветствовал меня. Повар принес фонарь. При слабом, неверном свете фонаря мы поднялись на палубу.

— Наконец-то! — сказала Биче тоном удовольствия, когда прошла от борта вперед и обернулась.— В каком же положении экипаж?

Гораций объяснил, но так бестолково и суетливо, что мы, не дослушав, все перешли в салон. Электричество, вспыхнув в лампах, осветило углы и предметы, на которые я смотрел несколько дней назад. Я заметил, что прибрано и подметено плохо; видимо, еще не улеглось потрясение, вызванное катастрофой.

На корабле остались Гораций, повар, агент, выжидающий случая проследить ходы контрабандной торговли, и один матрос; все остальные были арестованы

или получили расчет из денег, найденных при Гезе. Я не особо вникал в это, так как смотрел на Биче, стараясь уловить ее чувства.

Она еще не садилась. Пока Ботвель разговаривал с поваром и агентом, Биче обошла салон, рассматривая обстановку с таким вниманием, как если бы первый раз была здесь. Однажды ее взгляд расширился и затих, и, проследив его направление, я увидел, что она смотрит на сломанную женскую гребенку, лежавшую на буфете.

— Ну, так расскажите еще,— сказала Биче, видя, как я внимателен к этому ее взгляду на предмет незначительный и красноречивый.— Где вы помещались? Где была ваша каюта? Не первая ли слева от трапа? Да? Тогда пройдемте в нее.

Открыв дверь в эту каюту, я объяснил Биче положение действовавших лиц и как я попался, обманутый мнимым раскаянием Геза.

— Начинаю представлять,— сказала Биче.— Очень все это печально. Очень грустно! Но я не намереваюсь долго быть здесь. Взойдемте наверх.

— То чувство не проходит?

— Нет. Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Разве не образовался привкус, невидимый след, с которым я так долго еще должна иметь дело внутри себя? О, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было!

— Вы оскорблены?

— Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Итак, взойдемте наверх.

Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня, с волнением — и не ошибся: Биче остановилась у трапа.

— Вот отсюда,— сказала она, показывая рукой вниз, за борт.— И — один! Я, кажется, никогда не почувствую, не представлю со всей силой переживания, как это могло быть. Один!

— Как — один?! — сказал я, забывшись. Вдруг вся кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, что сказала мне Фрези Грант. Но было уже поздно. Биче смотрела на меня с тягостным, суровым неудовольствием. Момент молчания предал меня. Я не сумел ни поправиться, ни твердостью взгляда отвести тайную мысль Биче, и это передалось ей.

— Гарвей,— сказала она с нежной и прямой силой, впервые зазвучавшей в ее веселом, беспечном голосе,— Гарвей, скажите мне правду!

ГЛАВА XXXIII

— Я не лгал вам,— ответил я после нового молчания, во время которого чувствовал себя, как оступившийся во тьме и теряющий равновесие. Ничто нельзя было изменить в этом моменте. Биче дала тон. Я должен был ответить прямо или молчать. Она не заслуживала уверток. Не возмущение против запрета, но стремление к девушке, чувство обиды за нее и глубокая тоска вырвали у меня слова, взять обратно которые было уже нельзя.— Я не лгал, но я умолчал. Да, я не был один, Биче, я был свидетелем вещей, которые вас поразят. В лодку, неизвестно как появившись на палубе, вошла и села Фрези Грант, «Бегущая по волнам».

— Но, Гарвей!— сказала Биче. При слабом свете фонаря ее лицо выглядело бледно и смутно.— Говорите тише!.. Я слушаю.

Что-то в ее тоне напомнило мне случай детства, когда, сделав лук, я поддался увещаниям жестоких мальчишек — ударить выгибом дерева этого самодельного оружия по земле. Они не объяснили мне, зачем это нужно, только твердили: «Ты сам увидишь». Я смутно чувствовал, что дело неладно, но не мог удержаться от искушения и ударил. Тетива лопнула.

Это соскользнуло, как выпавшая на рукав искра. Замяв ее, я рассказал Биче о том, что сказала мне Фрези Грант; как она была и ушла... Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Биче, причем мне не было дано объяснения. Девушка слушала, смотря в сторону, опустив локоть на борт, а подбородок в ладонь.

— Не говорить мне,— произнесла она задумчиво, улыбаясь голосом.— Это надо понять. Но отчего вы сказали?

— Вы должны знать отчего, Биче.

— С вами раньше никогда не случалось таких вещей?..— спросила девушка, как бы не слыша моего ответа.

— Нет, никогда.

— А голос, голос, который вы слышали, играя в карты?

— Один-единственный раз.

— Слишком много для одного дня,— сказала Биче, вздохнув. Она взглянула на меня мельком, тепло, с легкой печалью; потом, застенчиво улыбнувшись, сказала: — Пройдемте вниз. Вызовем Ботвеля. Сегод-

ня я должна раньше лечь, так как у меня болит голова. А та — другая девушка? Вы ее встретили?

— Не знаю,— сказал я совершенно искренне, так как такая мысль о Дэзи мне до того не приходила в голову, но теперь я подумал о ней с странным чувством нежной и тревожной помехи.— Биче, от вас зависит — я хочу думать так,— от вас зависит, чтобы нарушенное мною обещание не обратилось против меня!

— Я вас очень мало знаю, Гарвей,— ответила Биче серьезно и стесненно.— Я вижу даже, что я совсем вас не знаю. Но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Пока что, я — Биче Сениэль, и это мой вам ответ.

Не давая мне заговорить, она подошла к трапу и крикнула вниз:

— Ботвель! Мы едем!

Все вышли на палубу. Я попрощался с командой, отдельно поговорил с агентом, который сделал вид, что моя рука случайно очутилась в его быстро понимающих пальцах, и спустился к лодке, где Биче и Ботвель ждали меня. Мы направились в город. Ботвель рассказал, что, как он узнал сейчас, «Бегущую по волнам» предположено оставить в Гель-Гью до распоряжения Брауна, которого известили по телеграфу обо всех происшествиях.

Биче всю дорогу сидела молча. Когда лодка вошла в свет бесчисленных огней набережной, девушка тихо и решительно произнесла:

— Ботвель, я навалю на вас множество неприятных забот. Вы без меня продадите этот корабль с аукциона или... как придется.

— Что?! — крикнул Ботвель тоном веселого ужаса.

— Разве вы не поняли?

— Потом поговорим,— сказал Ботвель и, так как лодка остановилась у ступеней каменного схода набережной, прибавил: — Чертовски неприятная история — все это, вместе взятое. Но Биче неумолима. Я вас хорошо знаю, Биче!

— А вы? — спросила девушка, когда прощалась со мной.— Вы одобряете мое решение?

— Вы только так и могли поступить,— сказал я, отлично понимая ее припадок брезгливости.

— Что же другое? — Она задумалась.— Да, это так. Как ни горько, но зато стало легко. Спокойной ночи, Гарвей! Я завтра извещу вас.

Она протянула руку, весело и резко пожав мою, причем в ее взгляде таилась эта смущающая меня забота с примесью явного недовольства,— мной или собой? — я не знал. На сердце у меня было круто и тяжело.

Тотчас они уехали. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Биче. Мне был нужен шум толпы. Заметя свободный кеб, я взял его и скоро был у того места, с какого вчера увидел статую Фрези Грант. Теперь я вновь увидел ее, стараясь убедить себя, что не виноват. Подавленный, я вышел из кеба. Вначале я тупо и оглушенно стоял,— так было здесь тесно от движения и беспрерывных, следующих один другому в тыл, замечательных по разнообразию, богатству и прихотливости маскарадных сооружений. Но первый мой взгляд, первая слетевшая через всю толпу мысль — была: Фрези Грант. Памятник возвышался в цветах; его пьедестал образовал конус цветов, небывалый ворох, сползающий осыпями жасмина, роз и магнолий. С трудом рассмотрел я вчерашний стол; он теперь был обнесен рогатками и стоял ближе к памятнику, чем вчера, укрывшись под его цветущей скалой. Там было тесно, как в яме. При моем настроении, полном не меньшего гула, чем какой был вокруг, я не мог сделаться участником застольной болтовни. Я не пошел к столу. Но у меня явилось намерение пробиться к толпе зрителей, окружавшей подножие памятника, чтобы смотреть изнутри круга. Едва я отделился от стены дома, где стоял, прижатый движением, как, поддаваясь беспрерывному нажиму и толчкам, был отнесен далеко от первоначального направления и попал к памятнику со стороны, противоположной столу, за которым, наверное, так же, как вчера, сидели Бавс, Кук и другие, известные мне по вчерашней сцене.

Попав в центр, где движение, по точному физическому закону, совершается медленнее, я купил у продавца масок лиловую полумаску и, обезопасив себя таким простым способом от острых глаз Кука, стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг «Бегущей». За это место, позволяющее избегать досадного перемещения, охраняющее от толчков и делающее человека выше толпы на две или на три головы, я заплатил его владельцу, который сообщил мне в порыве благодарности, что он занимает его с утра,— импровизированный промысел, наградивший пятнадцатилетнего сорванца золотой монетой.

Моя сосредоточенность была нарушена. Заразительная интимность происходящего — эта разгульная, легкомысленная и торжественная теснота, опахиваемая напевающим пристукиванием оркестров, размещенных в разных концах площади,— соскальзывала в самую печальную душу, как щекочущее перо. Оглядываясь, я видел подобие огромного здания, с которого снята крыша. На балконах, в окнах, на карнизах, на крышах, навесах подъездов, на стульях, поставленных в экипажах, было полно зрителей. Высоко над площадью вились сотни китайских фигурных змеев. Гуттаперчевые шары плавали над головами. По протянутым выше домов проволокам шумел длинный огонь ракет, скользящих горизонтально. Прямой угол двух свободных от экипажного движения сторон площади, вершина которого упиралась в центр, образовал цепь переезжающего сказочного населения; здесь было что посмотреть, и я отметил несколько выездов, достойных упоминания.

Медленно удаляясь, покачивалась старинная золотая карета, с ладьеобразным низом и высоким сиденьем для кучера,— но такая огромная, что сидящие в ней взрослые казались детьми. Они были в костюмах эпохи Ватто. Экипажем управлял Дон-Кихот, погоняя четверку богато убранных золотой, спадающей до земли сеткой лошадей огромным копьем. За каретой следовала длинная настоящая лодка, полная капитанов, матросов, юнг, пиратов и Робинзонов; они размахивали картонными топорами и стреляли из пистолетов, причем звук выстрела изображался голосом, а вместо пуль вылетали плоские суконные крысы. За лодкой, раскачивая хоботы, выступали слоны, на спинах которых сидели баядерки, гейши, распевая игривые шансонетки. Но более всех других затей привлекло мое внимание искусно сделанное двухсаженное сердце — из алого плюша. Оно было как живое; вздрагивая, напрягаясь или падая, причем трепет проходил по его поверхности, оно медленно покачивалось среди обступившей его группы масок; роль амура исполнял человек с огромным пером, которым он ударял, как копьем, в ужасную плюшевую рану. Другой, с мордой летучей мыши, стирал губкой инициалы, которые писала на поверхности сердца девушка в белом хитоне и зеленом венке, но как ни быстро она писала и как ни быстро стирала их жадная рука, все же не удавалось

стереть несколько букв. Из левой стороны сердца, прячась и кидаясь внезапно, извивалась отвратительная змея, жаля протянутые вверх руки, полные цветов; с правой стороны высовывалась прекрасная голая рука женщины, сыплющая золотые монеты в шляпу старика-нищего. Перед сердцем стоял человек ученого вида, рассматривая его в огромную лупу, и что-то говорил барышне, которая проворно стучала клавишами пишущей машины.

Несмотря на наивность аллегории, она производила сильное впечатление; и я, следя за ней, еще долго видел дымящуюся верхушку этого маскарадного сердца, пока не произошло замешательства, вызванного остановкой процессии. Не сразу можно было понять, что стряслось. Образовался прорыв, причем передние выезды отдалились, продолжая свой путь, а задние, напирая под усиливающиеся крики нетерпения, замялись на месте, так как против памятника остановилось высокое, странного вида сооружение. Нельзя было сказать, что оно изображает. Это был как бы высокий ящик, с длинным навесом спереди; его внутренность была задрапирована опускающимися до колес тканями. Оно двигалось без людей; лишь на высоком передке сидел возница с закрытым маской лицом. Наблюдая за ним, я увидел, что он повернул лошадей, как бы намереваясь выйти из цепи, причем тыл его таинственной громады, которую он катил, был теперь повернут к памятнику по прямой линии. Очень быстро образовалась толпа; часть людей, намереваясь помочь, кинулась к лошадям; другая, размахивая кулаками перед лицом возницы, требовала убраться прочь. Сбежав с своего столба, я кинулся к задней стороне сооружения, еще ничего не подозревая, но смутно обеспокоенный, так как возница, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения вдруг взвилась вверх; там, прижавшись в углу, стоял человек. Он был в маске и что-то делал с веревкой, опускавшейся сверху. Он замешкался, потому что наступил на ее конец.

Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень: так все стало мне ясно, без точек и запятых. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя на высоту, где моя голова была выше колен «Бегущей». Внизу сбилась дико загремевшая толпа, я увидел направленные

на меня револьверы и пустоту огромного ящика, верх которого приходился теперь на уровне моих глаз.

— Стегайте, бейте лошадей! — закричал я, ухватясь левой рукой за выступ подножия мраморной фигуры, а правую протянув вперед. Еще не зная, что произойдет, я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя.

Всеобщее оцепенение едва не помогло ужасной затее. В дальнем конце просвета сооружения оторвалась черная тень, с шумом махнула вниз и, взвившись перед самым моим лицом, повернулась. Это была продолговатая чугунная штамба, весом пудов двадцать, пущенная, как маятник, на крепком канате. Она повернулась в тот момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Удар плашмя уничтожил бы меня вместе со статуей, как топор — стеариновую свечу, но поворот штамбы сунул ее в воздухе концом мимо меня, на дюйм от плеча статуи. Она остановилась и, завертясь, умчалась назад. Этот обратный удар был ужасен. Он снес боковой фасад ящика, раздробив его с громом, бросившим лошадей прочь. Сооружение качнулось и рухнуло. Две лошади упали, путаясь ногами в постромках; другие вставали на дыбы и рвались, волоча развалины среди разбегающейся толпы. Весь дрожа от нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима.

Между тем толпа хлынула со всех концов площади так густо, что, потеряв шляпу и оттесненный публикой от центра сцены, где разъяренное скопище уничтожало опрокинутую дьявольскую машину, я был затерян, как камень, упавший в воду. Некоторое время два-три человека вертелись вокруг меня, ощупывая и предлагая услуги свои, но, так как нас ежеминутно грозило сбить с ног стремительное возбуждение, я был естественно и очень скоро отделен от всяких доброхотов и мог бы, если бы хотел, присутствовать далее зрителем; но я поспешил выбраться. Повсюду раздавались крики, что нападение — дело Граса Парана и его сторонников. Таким образом, карнавал был смят, превращен в чрезвычайное, центральное событие этого вечера; по всем улицам спешили на площадь группы, а некоторые мчались бегом. Устав от шума, я завернул в переулок и вскоре был дома.

Я пережил настроение, которое улеглось не сразу. Я садился, но не мог сидеть и начинал ходить, все еще полный впечатлением мигнувшей мимо виска внезапной смерти, которую отвела маленькая таинственная рука. Я слышал треск опрокинутого обратным ударом сооружения. Вся тяжесть сцен прошедшего дня соединилась с этим последним воспоминанием. Чувствуя, что не засну, я оглушил себя такой порцией виски, какую сам счел бы в иное время чудовищной, и зарылся в постель, не имея более сил ни слышать, ни смотреть, как бьется огромное плюшевое сердце, исходя ядом и золотом, болью и смехом, желанием и проклятием.

ГЛАВА XXXIV

Я проснулся один, в десять часов утра. Кука не было. Его постель стояла нетронутой. Следовательно, он не ночевал, и, так как был только рад случайному одиночеству, я более не тревожил себя мыслями о его судьбе.

Когда я оделся и освежил голову потоками ледяной воды, слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Он также передал карточку, на которой я прочел: «Густав Бреннер, корреспондент «Рифа». Догадываясь, что могу увидеть Биче Сениэль, я поспешно сошел вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы нравственная и нервная ломота, благодаря которой я проснулся с неопределенной тревогой, исчезла, сменясь мгновенно чувством такой сильной радости, что я подошел к Биче с искренним, невольным возгласом:

— Слава Богу, что это вы, Биче, а не другой кто-нибудь, кого я не знаю.

Она, внимательно всматриваясь, улыбнулась и подняла вуаль.

— Как вы бледны! — сказала, помолчав, девушка.— Да, я уезжаю; сегодня или завтра, еще неизвестно. Я пришла так рано потому, что... это необходимо.

Мы разговаривали, стоя в небольшой гостиной, где была дверь в сад, обнесенный глухой стеной. Кроме Биче, с кресла поднялся, едва я вошел, длинный молодой человек с красным тощим лицом, в пенсне и с портфелем. Мне было тяжело говорить с ним, так как, не глядя на Биче, я видел лишь ее одну, и даже

одна потерянная минута была страданием; но Густав Бреннер имел право надоесть, раскланяться и уйти. Извинясь перед девушкой, которая отошла к двери и стала смотреть в сад, я спросил Бреннера, чем могу быть ему полезен.

Он посвятил меня в столь мне хорошо известное дело смерти капитана Гёза и выразил желание получить для газеты интересующие его сведения о моем сложном участии.

Не было другого выхода отделаться от него. Я сказал:

— К сожалению, я не тот, которого вы ищете. Вы — жертва случайного совпадения имен: тот Томас Гарвей, который вам нужен, сегодня не ночевал. Он записан здесь под фамилией Ариногел Кук, и, так как он мне сам в том признался, я не вижу надобности скрывать это.

Благодаря тяжести, лежавшей у меня на сердце, потому что слова Биче об ее отъезде были только что произнесены, я сохранил совершенное спокойствие. Бреннер насторожился; даже его уши шевельнулись от неожиданности.

— Одно слово... прошу вас... очень вас прошу,— поспешно проговорил он, видя, что я намереваюсь уйти.— Ариногел Кук?.. Томас Гарвей... его рассказ... может быть, вам известно...

— Вы должны меня извинить,— сказал я твердо,— но я очень занят. Единственное, что я могу указать,— это место, где вы должны найти мнимого Кука. Он — у стола, который занимает добровольная стража «Бегущей». На нем розовая маска и желтое домино.

Биче слушала разговор. Она, повернув голову, смотрела на меня с изумлением и одобрением. Бреннер схватил мою руку, отвесил глубокий, сломавший его длинное тело поклон и, поворотясь, кинулся аршинными шагами уловлять Кука.

Я подошел к Биче.

— Не будет ли вам лучше в саду?— сказал я.— Я вижу в том углу тень.

Мы прошли и сели; от входа нас заслоняли розовые кусты.

— Биче,— сказал я,— вы очень, очень серьезны. Что произошло? Что мучает вас?

Она взглянула застенчиво, как бы издалека, закусив губу, и тотчас же перевела застенчивость в так хорошо знакомое мне, открытое упорное выражение.

— Простите мое неумение дипломатически окружать вопрос,— произнесла девушка.— Вчера... Гарвей! Скажите мне, что вы пошутили!

— Как бы я мог? И как бы я смел?

— Не оскорбляйтесь. Я буду откровенна, Гарвей, так же, как были откровенны вы в театре. Вы сказали тогда не много и — много. Я — женщина, и я вас очень хорошо понимаю. Но оставим это пока. Вы мне рассказали о Фрези Грант, и я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это, как в недействительность, выраженную вашей душой, как верят в рисунок Калло, Фрагонара, Бердслэя; я не была с вами тогда. Клянусь, никогда так много не говорила я о себе и с таким чувством странной досады! Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна.

— Биче, вы не правы.

— Непоправимо права. Гарвей, мне девятнадцать лет. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже еще не знаю ее как следует. Уже начал двоиться мир, благодаря вам: два желтых платья, две «Бегущие по волнам» и — два человека в одном! — Она рассмеялась, но неспокоен был ее смех.— Да, я очень рассудительна,— прибавила Биче задумавшись,— а это, должно быть, нехорошо. Я в отчаянии от этого!

— Биче,— сказал я, ничуть не обманываясь блеском ее глаз, но говоря только слова, так как ничем не мог передать ей самого себя,— Биче, все открыто для всех.

— Для меня — закрыто. Я слепа. Я вижу тень на песке, розы и вас, но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Но я шутила. У каждого человека свой мир. Гарвей, этого не было?!

— Биче, это было,— сказал я.— Простите меня.

Она взглянула с легким, задумчивым утомлением, затем, вздохнув, встала.

— Когда-нибудь мы встретимся, быть может, и поговорим еще раз. Не так это просто. Вы слышали, что произошло ночью?

Я не сразу понял, о чем спрашивает она. Встав сам, я знал без дальнейших объяснений, что вижу Биче последний раз; последний раз говорю с ней; моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Я вспомнил, что надо ответить.

— Да, я был там,— сказал я, уже готовясь рассказать ей о своем поступке, но испытал такое же моз-

говое отвращение к бесцельным словам, какое было в Лиссе, при разговоре со служащим гостиницы «Дувр», тем более, что я поставил бы и Биче в необходимость затянуть конченный разговор. Следовало сохранить внешность недоразумения, зашедшего дальше, чем полагали.

— Итак, вы едете?

— Я еду сегодня.— Она протянула руку.— Прощайте, Гарвей,— сказала Биче, пристально смотря мне в глаза.— Благодарю вас от всей души. Не надо; я выйду одна.

— Как все распалось,— сказал я.— Вы напрасно провели столько дней в пути. Достигнуть цели и отказаться от нее,— не всякая женщина могла бы поступить так. Прощайте, Биче! Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уйдете.

В ее лице тронулись какие-то, оставшиеся непроизнесенными, слова, и она вышла. Некоторое время я стоял, бесчувственный к окружающему, затем увидел, что стою так же неподвижно,— не имея сил, ни желания снова начать жить,— у себя в номере. Я не помнил, как поднялся сюда. Постояв, я лег, стараясь победить страдание какой-нибудь отвлекающей мыслью, но мог только до бесконечности представлять исчезнувшее лицо Биче.

— Если так,— сказал я в отчаянии,— если, сам не зная того, я стремился к одному горю,— о Фрези Грант, нет человеческих сил терпеть! Избавь меня от страдания!

Надеясь, что мне будет легче, если я уеду из Гель-Гью, я сел вечером в шестичасовой поезд, так и не увидев более Кука, который, как стало известно впоследствии из газет, был застрелен при нападении на дом Граса Парана. Его двойственность, его мрачный сарказм и смерть за статую Фрези Грант, за некий свой, тщательно охраняемый угол души,— долго волновали меня, как пример малого знания нашего о людях.

Я приехал в Лисс в десять часов вечера, тотчас направясь к Филатру. Но мне не удалось поговорить с ним. Хотя все окна его дома были ярко освещены, а дверь открыта, как будто здесь что-то произошло,— меня никто не встретил при входе. Изумленный, я дошел до приемной, наткнувшись на слугу, имевшего растерянный и праздничный вид.

— Ах,— шепотом сказал он,— едва ли доктор может... Я даже не знаю, где он. Они бродят по всему дому — он и его жена. Тут у нас такое произошло! Только что, перед вашим приходом...

Поняв, что произошло, я запретил докладывать о себе и, повернув обратно, увидел через раскрытую дверь молодую женщину, сидевшую довольно далеко от меня на низеньком кресле. Доктор стоял, держа ее руки в своих, спиной ко мне. Виноватая и простивший были совершенно поглощены друг другом. Я и слуга тихо, как воры, прошли один за другим на носках к выходу, который теперь был тщательно заперт. Едва ступив на тротуар, я с стеснением подумал, что Филатру все эти дни будет не до друзей. К тому же его положение требовало, чтобы он первый захотел теперь видеть меня у себя.

Я удалился с особым настроением, вызванным случайно замеченной сценой, которая, среди вечерней тишины, напоминала мне внезапный порыв Дэзи: единственное, чем я был равен в эту ночь Филатру, нашедшему свое несбывшееся. Я услышал, как она говорит, шепча: «Да,— что же мне теперь делать?»

Другой голос, звонкий и ясный, сказал мягко, подсказывая ответ: «Гарвей,— этого не было?»

— Было,— ответил я опять, как тогда.— Это было, Биче, простите меня.

ГЛАВА XXXV

Известив доктора письмом о своем возвращении, я, не дожидаясь ответа, уехал в Сан-Риоль, где месяца три был занят с Лерхом делами продажи недвижимого имущества, оставшегося после отца. Не так много очистилось мне за всеми вычетами по закладным и векселям, чтобы я, как раньше, мог только телеграфировать Лерху. Но было одно дело, тянувшееся уже пять лет, в отношении которого следовало ожидать благоприятного для меня решения.

Мой характер отлично мирится как с недостатком средств, так и с избытком их. Подумав, я согласился принять заведывание иностранной корреспонденцией в чайной фирме Альберта Витмера и повел странную двойную жизнь, одна часть которой представляла деловой день, другая — отдельный от всего вечер, где

сталкивались и развивались воспоминания. С болью я вспомнил о Биче, пока воспоминание о ней не остановилось, приняв характер печальной и справедливой неизбежности... Несмотря на все, я был счастлив, что не солгал в ту решительную минуту, когда на карту было поставлено мое достоинство — мое право иметь собственную судьбу, что бы ни думали о том другие. И я был рад также, что Биче не поступилась ничем в ясном саду своего душевного мира, дав моему воспоминанию искреннее восхищение, какое можно сравнить с восхищением мужеством врага, сказавшего опасную правду перед лицом смерти. Она принадлежала к числу немногих людей, общество которых приподнимает. Так размышляя, я признавал внутреннее расстояние между мной и ею взаимно законным и мог бы жалеть лишь о том, что я иной, чем она. Едва ли кто-нибудь когда-нибудь серьезно жалел о таких вещах.

Мои письменные показания, посланные в суд, происходивший в Гель-Гью, совершенно выделили Бутлера по делу о высадке меня Гезом среди моря, но оставили открытым вопрос о появлении неизвестной женщины, которая сошла в лодку. О ней не было упомянуто ни на суде, ни на следствии, вероятно по взаимному уговору подсудимых между собой, отлично понимающих, как тяжело отразилось бы это обстоятельство на их судьбе. Они воспользовались моим молчанием на сей счет и могли объяснять его, как хотели. Матросы понесли легкую кару за участие в контрабандном промысле; Синкрайт отделался годом тюрьмы. Ввиду хлопот Ботвеля и некоторых затрат со стороны Биче Бутлер был осужден всего на пять лет каторжных работ. По окончании их он уехал в Дагон, где поступил на угольный пароход, и на том его след затерялся.

Когда мне хотелось отдохнуть, остановить внимание на чем-нибудь отрадном и легком, я вспоминал Дэзи, ворочая гремящее, не покидающее раскаяние безвинной вины. Эта девушка много раз расстраивала и веселила меня, когда, припоминая ее мелкие, характерные движения или же сцены, какие прошли при ее участии, я невольно смеялся и отдыхал, видя вновь, как она возвращает мне проигранные деньги или, поднявшись на цыпочки, бьет пальцами по губам, стараясь заставить понять, чего хочет.

В противоположность Биче, образ которой постепенно становился прозрачен, начиная утрачивать ту власть, какая могла удержаться лишь прямым поворотом чувства,— неизвестно где находящаяся Дэзи была реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом. Я ощущал ее личность так живо, что мог говорить с ней, находясь один, без чувства странности или нелепости, но, когда воспоминание повторяло ее нежный и горячий порыв, причем я не мог прогнать ощущение прильнувшего ко мне тела этого полуребенка, которого надо было, строго говоря, гладить по голове,— я спрашивал себя:

— Отчего я не был с ней добрее и не поговорил так, как она хотела, ждала, надеялась? Отчего не попытался хоть чем-нибудь ее рассмешить?

В один из своих приездов в Леге я остановился перед лавкой, на окне которой была выставлена модель парусного судна,— большое, правильно оснащенное изделие, изображавшее каравеллу времен Васко да Гама. Это была одна из тех вещей, интересных и практически ненужных, которые годами ожидают покупателя, пока не превратятся в неотъемлемый инвентарь самого помещения, где вначале их задумано было продать. Я рассмотрел ее подробно, как рассматриваю все, затронувшее самые корни моих симпатий. Мы редко можем сказать в таких случаях, что, собственно, привлекло нас, почему такое рассматривание подобно разговору — настоящему, увлекательному общению. Я не торопился заходить в лавку. Осмотрев маленькие паруса, важную безжизненность палубы, люков, впитав всю обреченность этого карлика-корабля, который, при полной соразмерности частей, способности принять фунтов пять груза и даже держаться на воде и плыть, все-таки не мог ничем ответить прямому своему назначению, кроме как в воображении человеческом,— я решил, что каравелла будет моя.

Вдруг она исчезла. Исчезло все: улица и окно. Чьи-то теплые руки, охватив голову, закрыли мне глаза. Испуг,— но не настоящий, а испуг радости, смешанный с нежеланием освободиться и, должно быть, с глупой улыбкой, помешал мне воскликнуть. Я стоял, затеплев внутри, уже догадываясь, что сейчас будет, и мигая под шевелящимися на моих веках пальцами, негромко спросил:

— Кто это такой?

— «Бегущая по волнам»,— ответил голос, который старался быть очень таинственным.— Может быть, теперь угадаете?

— Дэзи?! — сказал я, снимая ее руки с лица, и она отняла их, став между мной и окном.

— Простите мою дерзость,— сказала девушка, краснея и нервно смеясь. Она смотрела на меня своим прямым, веселым взглядом и говорила глазами обо всем, чего не могла скрыть.— Ну, мне, однако, везет! Ведь это второй раз, что вы стоите задумавшись, а я прохожу сзади! Вы испугались?

Она была в синем платье и шелковой коричневой шляпе с голубой лентой. На мостовой лежала пустая корзинка, которую она бросила, чтобы приветствовать меня таким замечательным способом. С ней шла огромная собака, вид которой, должно быть, потрясал мосек; теперь эта собака смотрела на меня, как на вещь, которую, вероятно, прикажут нести.

— Дэзи, милая Дэзи,— сказал я,— я счастлив вас видеть! Я очень виноват перед вами! Вы здесь одна? Ну, здравствуйте!

Я пожал ее вырывавшуюся, но не резко, руку. Она привстала на цыпочки и, ухватясь за мои плечи, поцеловала меня в щеку.

— Я вас люблю, Гарвей,— сказала она серьезно и кротко.— Вы будете мне как брат, а я — ваша сестра. О, как я вас хотела видеть! Я многого не договорила. Вы видели Фрези Грант?! Вы боялись мне сказать это?! С вами это случилось? Представьте, как я была поражена и восхищена! Дух мой захватывало при мысли, что моя догадка верна. Теперь признайтесь, что — так!

— Это — так,— ответил я с той же простотой и свободой, потому что мы говорили на одном языке. Но не это хотелось мне ввести в разговор.

— Вы одна в Леге?

Зная, что я хочу знать, она ответила, медленно покачав головой:

— Я одна, и я не знаю, где теперь Тоббоган. Он очень меня обидел тогда; может быть — и я обидела его, но это дело уже прошлое. Я ничего не говорила ему, пока мы не вернулись в Риоль, и там сказала, и сказала также, как отнеслись вы. Мы оба плакали с ним, плакали долго, пока не устали. Еще он настаивал; еще и еще. Но Проктор, великое ему спасибо, вмешался. Он поговорил с ним. Тогда Тоббоган уехал

в Кассет. Я здесь у жены Проктора; она содержит газетный киоск. Старуха относится хорошо, но много курит дома,—а у нас всего три тесные комнаты, так что можно задохнуться. Она курит трубку! Представьте себе! Теперь—вы. Что вы здесь делаете, и сделалась ли у вас—жена, которую вы искали?

Она побледнела, и глаза ее наполнились слезами.

— О, простите меня! Язык мой—враг мой! Ваша сестра очень глупа! Но вы меня вспоминали немного?

— Разве вас можно забыть?—ответил я, ужасаясь при мысли, что мог не встретить никогда Дэзи.—Да, у меня сделалась жена вот... теперь. Дэзи, я любил вас, сам не зная того, и любовь к вам шла вслед другой любви, которая пережилась и окончилась.

Немногие прохожие переулка оглядывались на нас, зажигая в глазах потайные свечки нескромного любопытства.

— Уйдем отсюда,—сказала Дэзи, когда я взял ее руку и, не выпуская, повел на пересекающий переулок бульвар.—Гарвей, милый мой, сердце мое, я исправлюсь, я буду сдержанной, но только теперь надо четыре стены. Я не могу ни поцеловать вас, ни пройтись колесом. Собака... ты тут. Ее зовут Хлопс. А надо бы назвать Гавс. Гарвей!

— Дэзи?!

— Ничего. Пусть будет нам хорошо!

ЭПИЛОГ

I

Среди разговоров, которые происходили тогда между Дэзи и мной и которые часто кончались под утро, потому что относительно одних и тех же вещей открывали мы как новые их стороны, так и новые точки зрения,—особенной любовью пользовалась у нас тема о путешествии вдвоем по всем тем местам, какие я посещал раньше. Но это был слишком обширный план, почему его пришлось сократить. К тому времени я выиграл спорное дело, что дало несколько тысяч, весьма помогших осуществить наше желание. Зная, что все истрачу, я купил в Леге, неподалеку от Сан-Риоля, одноэтажный каменный дом с садом и сво-

бодным земельным участком, впоследствии засаженным фруктовыми деревьями. Я составил точный план внутреннего устройства дома, приняв в расчет все мелочи уюта и первого впечатления, какое должны произвести комнаты на входящего в них человека, и поручил устроить это моему приятелю Товалю, вкус которого, его уменье заставить вещи говорить знал еще с того времени, когда Товаль имел собственный дом. Он скоро понял меня,— тотчас, как увидел мою Дэзи. От нее была скрыта эта затея, и вот мы отправились в путешествие, продолжавшееся два года.

Для Дэзи, всегда полной своим внутренним миром и очень застенчивой, несмотря на ее внешнюю смелость, было мучением высиживать в обществе целые часы или принимать, поэтому она скоро устала от таких центров кипучей общественности, как Париж, Лондон, Милан, Рим, и часто жаловалась на потерянное, по ее выражению, время. Иногда, сказав что-нибудь, она вдруг сконфуженно умолкала, единственно потому, что обращала на себя внимание. Скоро подметив это, я ограничил наше общество — хотя оно и менялось — такими людьми, при которых можно было говорить или не говорить, как этого хочется. Но и тогда способность Дэзи переноситься в чужие ощущения все же вызывала у нее стесненный вздох. Она любила приходить сама и только тогда, когда ей хотелось самой.

Но лучшим ее развлечением было ходить со мной по улицам, рассматривая дома. Она любила архитектуру и понимала в ней толк. Ее трогали старинные стены, с рвами и деревьями вокруг них; какие-нибудь цветущие уголки среди запустения умершей эпохи, или чистенькие, новенькие домики, с бессознательной грацией соразмерности всех частей, что встречается крайне редко. Она могла залюбоваться фронтоном; запертой глухой дверью среди жасминной заросли; мостом, где башни и арки отмечены над быстрой водой глухими углами теней; могла она тщательно оценить дворец и подметить стиль в хижине. По всему этому я вспомнил о доме в Леге с затаенным коварством.

Когда мы вернулись в Сан-Риоль, то остановились в гостинице, а на третий день я предложил Дэзи съездить в Леге посмотреть водопады. Всегда согласная, что бы ей я ни предложил, она немедленно согласилась и по своему обыкновению не спала до двух часов, все

размышляя о поездке. Решив что-нибудь, она загоралась и уже не могла успокоиться, пока не приведет задуманное в исполнение. Утром мы были в Леге и от станции проехали на лошадях к нашему дому, о котором я сказал ей, что здесь мы остановимся на два дня, так как этот дом принадлежит местному судье, моему знакомому.

На ее лице появилось так хорошо мне известное стесненное и любопытное выражение, какое бывало всегда при посещении неизвестных людей. Я сделал вид, что рассеян и немного устал.

— Какой славный дом! — сказала Дэзи.— И он стоит совсем отдельно; сад, честное слово, заслуживает внимания! Хороший человек этот судья.— Таковы были ее заключения от предметов к людям.

— Судья как судья,— ответил я.— Может быть, он и великолепен, но что ты нашла хорошего, милая Дэзи, в этом квадрате с двумя верандами?

Она не всегда умела выразить, что хотела, поэтому лишь соединила свои впечатления с моим вопросом одной из улыбок, которая отчетливо говорила: «Притворство — грех. Ведь ты видишь простую чистоту линий, лишающую строение тяжести, и зеленую черепицу, и белые стены с прозрачными, как синяя вода, стеклами; эти широкие ступени, по которым можно сходить медленно, задумавшись, к огромным стволам, под тень высокой листвы, где в просветах солнцем и тенью нанесены вверх яркие и пылкие цветы удачно расположенных клумб. Здесь чувствуешь себя погруженным в столпившуюся у дома природу, которая, разумно и спокойно теснясь, образует одно целое с передним и боковым фасадами. Зачем же милый мой, эти лишние слова, каким ты не веришь сам?»

Вслух Дэзи сказала:

— Очень здесь хорошо — так, что наступает на сердце.

Нас встретил Товаль, вышедший из глубины дома.

— Здорово, друг Товаль. Не ожидала вас встретить! — сказала Дэзи.— Вы что же здесь делаете?

— Я ожидаю хозяев,— ответил Товаль очень удачно, в то время как Дэзи, поправляя под подбородком ленту дорожной шляпы, осматривалась, стоя в небольшой гостиной. Ее быстрые глаза подметили все: ковер, лакированный резной дуб, камин и тщательно подобранные картины в ореховых и малахитовых рамах.

Среди них была картина Гуэро, изображающая двух собак: одна лежит спокойно, уткнув морду в лапы, смотря человеческими глазами; другая, встав, вся устремлена на невидимое явление.

— Хозяев нет,— произнесла Дэзи, подойдя и рассматривая картину,— хозяев нет. Эта собака сейчас лайнет. Она пустит лай. Хорошая картина, друг Товаль! Может быть, собака видит врага?

— Или хозяина,— сказал я.

— Пожалуй, что она залает приветливо. Что же нам делать?

— Для вас приготовлены комнаты,— ответил Товаль, худое, острое лицо которого, с большими снисходительными глазами, рассеклось загадочной улыбкой.— Что касается судьи, то он, кажется, здесь.

— То есть Адам Корнер? Ты говорил, что так зовут этого человека.— Дэзи посмотрела на меня, чтобы я объяснил, как это судья здесь, в то время как его нет.

— Товаль хочет, вероятно, сказать, что Корнер скоро приедет.

Мне при этом ответе пришлось сильно закусить губу, отчего вышло вроде: «ычет, ыроятно, ызать, чьо, ырнер оро рыедет».

— Ты что-то ешь?— сказала моя жена, заглядывая мне в лицо.— Нет, я ничего не понимаю. Вы мне не ответили, Товаль, зачем вы здесь оказались, а вас очень приятно встретить. Зачем вы хотите меня в чем-то запутать?

— Но, Дэзи,— умоляюще вздохнул Товаль,— чем же я виноват, что судья — здесь?

Она живо повернулась к нему гневным движением, еще не успевшим передаться взгляду, но тотчас рассмеялась.

— Вы думаете, что я дурочка?— поставила она вопрос прямо.— Если судья здесь и так вежлив, что послал вас рассказывать о себе таинственные истории, то будьте добры ему передать, что мы — тоже, может быть,— здесь!

Как ни хороша была эта игра, наступил момент объяснить дело.

— Дэзи,— сказал я, взяв ее за руку,— оглянись и знай, что ты у себя. Я хотел тебя еще немного помучить, но ты уже волнуешься, а потому благодари Товаля за его заботы. Я только купил; Товаль потратил множество своего занятого времени на все

внутреннее устройство. Судья действительно здесь, и этот судья — ты. Тебе судить, хорошо ли вышло.

Пока я объяснял, Дэзи смотрела на меня, на Товаля, на Товаля и на меня.

— Поклянись,— сказала она, побледнев от радости,— поклянись страшной морской клятвой, что это... Ах, как глупо! Конечно же, в глазах у каждого из вас сразу по одному дому! И я-то и есть судья?! Да будь он грязным сараем...

Она бросилась ко мне и вымазала меня слезами восторга. Тому же подвергся Товаль, старавшийся не потерять своего снисходительного, саркастического, потустороннего экспансии вида. Потом начался осмотр, и, когда он наконец кончился, в глазах Дэзи переливались все вещи, перспективы, цветы, окна и занавеси, как это бывает на влажной поверхности мыльного пузыря. Она сказала:

— Не кажется ли тебе, что все вдруг может исчезнуть?

— Никогда!

— Ну, а у меня жалкий характер; как что-нибудь очень хорошо, так немедленно начинаю бояться, что у меня отнимут, испортят, что мне не будет уже хорошо...

II

У каждого человека — не часто, не искусственно, но само собой, и только в день очень хороший, среди других, просто хороших дней наступает потребность оглянуться, даже побыть тем, каким был когда-то. Она сродни перебиранию старых писем. Такое состояние возникло однажды у Дэзи и у меня по поводу ее желтого платья с коричневой бахромой, которое она хранила как память о карнавале в честь Фрези Грант, «Бегущей по волнам», и о той встрече в театре, когда я невольно обидел своего друга. Однажды начались воспоминания и продолжались, с перерывами, целый день, за завтраком, обедом, прогулкой, между завтраком и обедом и между работой и прогулкой. Говоря о насущном, каждый продолжал думать о сценах в Гель-Гью и на «Нырке», который, кстати сказать, разбился год назад в рифах, причем спаслись все. Как только отчетливо набегало прошлое, оно ясно встава-

ло и требовало обсуждения, и мы немедленно принимались переживать тот или другой случай, с жалостью, что он не может снова повториться — теперь — без неясного своего будущего. Было ли это предчувствием, что вечером воспоминания оживут, или тем спокойным прибоем, который напоминает человеку, достигшему берега, о бездонных пространствах, когда он еще не знал, какой берег скрыт за молчанием горизонта,— сказать может лишь нелюбовь к своей жизни, равнодушное психическое исследование. И вот мы заговорили о Биче Сениэль, которую я любил.

— Вот эти глаза видели Фрези Грант,— сказала Дэзи, прикладывая пальцы к моим векам.— Вот эта рука пожимала ее руку.— Она прикоснулась к моей руке.— Там, во рту, есть язык, который с ней говорил. Да, я знаю, это кружит голову, если вдумаешься туда,— но потом делается серьезно, важно, и хочется ходить так, чтобы не просыпать. И это не перейдет ни в кого: оно только в тебе!

Стемнело; сад скрылся и стоял там, в темном одиночестве, так близко от нас. Мы сидели перед домом, когда свет окна озарил Дика, нашего мажордома, человека на все руки. За ним шел, всматриваясь и улыбаясь, высокий человек в дорожном костюме. Его загоревшее, неясно знакомое лицо попало в свет, и он сказал:

— «Бегущая по волнам»!

— Филатр! — вскричал я, подскакивая и вставая.— Я знал, что встреча должна быть! Я вас потерял из вида после тех трех месяцев переписки, когда вы уехали, как мне говорили,— не то в Салер, не то в Дибль. Я сам провел два года в разъездах. Как вы нас разыскали?

Мы вошли в дом, и Филатр рассказал нам свою историю. Дэзи сначала была молчалива и вопросительна, но, начав улыбаться, быстро отошла, принявшись, по своему обыкновению, досказывать за Филатра, если он останавливался. При этом она обращалась ко мне, поясняя очень рассудительно и почти всегда невпопад, как то или это происходило,— верный признак, что она слушает очень внимательно.

Оказалось, что Филатр был назначен в колонию прокаженных, миль двести от Леге, вверх по течению Тавассы, куда и отправился с женой вскоре после моего отъезда в Европу. Мы разминулись на несколько дней всего.

— След найден,— сказал Филатр,— я говорю о том, что должно вас заинтересовать больше, чем «Мария Целеста», о которой рассказывали вы на «Нырке». Это...

— «Бегущая по волнам»! — быстро подстегнула его плавную речь Дэзи и, вспыхнув от верности своей догадки, уселась в спокойной позе, имеющей внушить всем: «Мне только это и было нужно сказать, а затем я молчу».

— Вы правы. Я упомянул «Марию Целесту». Дорогой Гарвей, мы плыли на паровом катере в залив; я и два служащих биологической станции из Оро, с целью охоты. Ночь застала нас в скалистом рукаве, по правую сторону острова Капароль, и мы быстро прошли это место, чтобы остановиться у леса, где утром матросы должны были запасти дрова. При повороте катер стал пробиваться среди слоя плавучего древесного хлама. В том месте сотни небольших островков, и маневры катера по извивам свободной воды привели нас к спокойному круглому заливу, стесненному высоко раскинувшимся лиственным навесом. Опасаясь сбиться с пути, то есть, вернее, удлинить его неведомым блужданием по этому лабиринту, шкипер ввел катер в стрелу воды между огромных камней, где мы и провели ночь. Я спал не в каюте, а на палубе и проснулся рано, хотя уже рассвело.

Не сон увидел я, осмотрев замкнутый круг залива, а действительное парусное судно, стоявшее в двух кабельтовых от меня, почти у самых деревьев, бывших выше его мачт. Второй корабль, опрокинутый, отражался на глубине. Встряхнутый так, как если бы меня, сонного, швырнули с постели в воду, я взобрался на камень и, соскочив, зашел берегом к кораблю с кормы, разодрав в клочья куртку: так было густо заплетено вокруг, среди лиан и стволов. Я не ошибся. Это была «Бегущая по волнам», судно, покинутое экипажем, оставленное воде, ветру и одиночеству. На реях не было парусов. На мой крик никто не явился. Шлюпка, полная до половины водой, лежала на боку, на краю обрыва. Я поднял заржавевшую пустую жестянку, вычерпал воду и, как весла лежали рядом, достиг судна, взобравшись на палубу по якорному тросу, с кормы.

По всему можно было судить, что корабль оставлен здесь больше года назад. Палуба проросла травой; у бортов намело листьев и сучьев. По реям, обвив их, спускались лианы, стебли которых, усеянные цветами,

раскачивались, как обрывки снастей. Я сошел внутрь и вздрогнул, потому что маленькая змея, единственно оживляя салон, явила мне свою причудливую и красиво-зловещую жизнь, скользнув по ковру за угол коридора. Потом пробежала мышь. Я зашел в вашу каюту, где среди беспорядка, разбитой посуды и валяющихся на полу тряпок открыл кучу огромных карабкающихся жуков грязного зеленого цвета. Внутри было душно — нравственно душно, как если бы меня похоронили здесь, причислив к жукам. Я опять вышел на палубу, затем в кухню, кубрик; везде был голый беспорядок, полный мусора и москитов. Неприятная оторопь, стеснение и тоска напали на меня. Я предоставил розыски шкиперу, который подвел в это время катер к «Бегущей», и его матросам, огласившим залив возгласами здорового изумления и ретиво принявшимся забирать все, что годилось для употребления. Мои знакомые, служащие биологической станции, тоже поддались азарту находок и провели полдня, убивая палками змей, а также обшаривая все углы, в надежде открыть следы людей. Но журнала и никаких бумаг не было; лишь в столе капитанской каюты, в щели дальнего угла ящика застрял обрывок письма; он хранится у меня, и я покажу вам его как-нибудь.

— Могу ли надеяться, что вы прочтете это письмо, которого я не хотел... Должно быть, писавший разорвал письмо сам. Но догадка есть также и вопрос, который решать не мне.

Я стоял на палубе, смотря на верхушки мачт и вершины лесных великанов-деревьев, бывших выше мачт, над которыми еще выше шли безучастные, красивые облака. Оттуда свешивалась, как застывший дождь, сеть лиан, простирая во все стороны щупальца, надеющихся, замерших завитков на конце висящих стеблей. Легкий набег ветра привел в движение эту перепутанную по всему устойчивому на их пути армию озаренных солнцем спиралей и листьев. Один завиток, раскачиваясь взад-вперед очень близко от клотика грот-мачты, не повис вертикально, когда ветер спал, а остался под небольшим углом, как придержанный на подъеме маятник. Он делал усилие. Слегка поддал ветер, и, едва коснувшись дерева, завиток мгновенно обвился вокруг мачты, дрожа, как струна.

Дэзи, став тихой, неподвижно смотрела на Филатра сквозь пелену слез, застилавших ее глаза.

— Что с тобой? — сказал я, сам взволнованный, так как ясно представил все, что видел Филатр.

— О,— прошептала она, боясь говорить громко, чтобы не расплакаться.— Это так прекрасно! И так грустно и так хорошо, что это все — так!

Я имел глупость спросить, чем она так поражена.

— Не знаю,— ответила Дэзи, вытирая глаза.— Потом я узнаю. Рассказывайте, дорогой доктор.

Заметив ее нервность, Филатр сократил рассказ свой.

Они выбрались из лабиринта островов с изрядным трудом. Надеясь когда-нибудь встретить меня, Филатр постарался разузнать через Брауна о судьбе «Бегущей». Лишь спустя два месяца он получил сведения. «Бегущая по волнам» была продана Эку Летри за полцены и ушла в Аквитэн тотчас после продажи под командой капитана Геруда. С тех пор о ней никто ничего не слышал. Стала ли она жертвой темного замысла, неизвестного никому плана, или спаслась в дебрях реки от преследований врага; вымер ли ее экипаж от эпидемии, или, бросив судно, погиб в чаще от голода и зверей? — узнать было нельзя. Лишь много лет спустя, когда по Тавассе стали находить золото, возникло предположение авантюры, золотой мечты, способной обращать взрослых в детей, но и с этим, кому была охота, мирился только тот, кто не мог успокоиться на неизвестности. «Бегущая» была оставлена там, где на нее случайно наткнулся катер, так как не нашлось охотников снова разыскивать ограбленное дотла судно, с репутацией, питающей суеверия.

— Но этого не довольно для меня и вас,— сказал Филатр, когда переговорили и передумали обо всем, связанном с кораблем Сениэлей.— Не дальше как вчера я встретил молодую даму — Биче Сениэль.

Глаза Дэзи высохли, и она задержала улыбку.

— Биче Сениэль? — сказал я, понимая лишь теперь, как было мне важно знать о ее судьбе.

— Биче Каваз.

Филатр задержал паузу и прибавил:

— Да. На пароходе в Риоль. Ее муж, Гектор Каваз, был с ней. Его жене нездоровилось, и он пригласил меня, узнав, что я врач. Я не знал, кто она, но начал догадываться, когда, услышав мою фамилию, она спросила, знаю ли я Томаса Гарвея, жившего в Лиссе. Я ответил утвердительно и много рассказал о вас.

Осторожность удерживала меня передать лишь нам с вами известные факты того вечера, когда была игра в карты у Стерса, и некоторые другие обстоятельства, иного порядка, чем те, о каких принято говорить в случайных знакомствах. Но, так как разговор коснулся истории корабля «Бегущая по волнам», я счел нужным рассказать, что видел в лесном заливе. Она говорила сдержанно, и даже это мое открытие корабля вывело ее из спокойного состояния только на один момент, когда она сказала, что об этом следовало бы непременно узнать вам. Ее муж, замечательно живой, остроумный и приятный человек, рассказал мне, в свою очередь, о том, что часто видел первое время после свадьбы во сне — вас, на шлюпке вдвоем с молодой женщиной, лицо которой было закрыто. Тогда обнаружилось, что ему известна ваша история, и разговор, став откровеннее, вернулся к событиям в Гель-Гью. Теперь он велся непринужденно. Ни одного слова не было сказано Биче Каваз об ее отношении к вам, но я видел, что она полна уверенной задумчивости — издали, как берег смотрит на другой берег через синюю равнину воды.

— «Он мог бы быть более близок вам, дорогая Биче,— сказал Гектор Каваз,— если бы не трагедия с Гезом. Обстоятельства должны были сомкнуться. Их разорвала эта смута, эта внезапная смерть».

— «Нет, жизнь,— ответила молодая женщина, взглядывая на Каваза с доверием и улыбкой.— В те дни жизнь поставила меня перед запертой дверью, от которой я не имела ключа, чтобы с его помощью убедиться, не есть ли это имитация двери. Я не стучусь в наглухо закрытую дверь. Тотчас же обнаружилась невозможность поддерживать отношения. Не понимаю — значит, не существует!»

— «Это сказано запальчиво!» — заметил Каваз.

— «Почему? — она искренне удивилась.— Мне хочется всегда быть только собой. Что может быть скромнее, дорогой доктор?»

— «Или грандиознее»,— ответил я, соглашаясь с ней.

У нее был небольшой жар — незначительная простуда. Я расстался под живым впечатлением ее личности — впечатлением неприкосновенности и приветливости. В Сан-Риоле я встретил Товаля, зашедшего ко мне; увидев мое имя в книге гостиницы, он, узнав, что

я тот самый доктор Филатр, немедленно сообщил все о вас. Нужно ли говорить, что я тотчас собрался и поехал, бросив все дела колонии? Совершенно верно. Я стал забывать. Биче Каваз просила меня, если я вас встречу, передать вам ее письмо.

Он порылся в портфеле и извлек небольшой конверт, на котором стояло мое имя. Посмотрев на Дэзи, которая застенчиво и поспешно кивнула, я прочел письмо. Оно было в пять строчек: «Будьте счастливы. Я вспоминаю вас с признательностью и уважением. Биче Каваз».

— Только-то...— сказала разочарованная Дэзи.— Я ожидала большего.— Она встала, ее лицо загорелось.— Я ожидала, что в письме будет признано право и счастье моего мужа видеть все, что он хочет и видит,— там, где хочет. И должно еще было быть: «Вы правы, потому что это сказали вы, Томас Гарвей, который не лжет». И вот это скажу я за всех: Томас Гарвей, вы правы. Я сама была с вами в лодке и видела Фрези Грант, девушку в кружевном платье, не боящуюся ступить ногами на бездну, так как и она видит то, чего не видят другие. И то, что она видит,— дано всем; возьмите его! Я, Дэзи Гарвей, еще молода, чтобы судить об этих сложных вещах, но я опять скажу: «Человека не понимают». Надо его понять, чтобы увидеть, как много невидимого. Фрези Грант, ты есть, ты бежишь, ты здесь! Скажи нам: «Добрый вечер, Дэзи! Добрый вечер, Филатр! Добрый вечер, Гарвей!»

Ее лицо сияло, гневалось и смеялось. Невольно я встал с холодом в спине, что сделал тотчас же и Филатр,— так изумительно зазвенел голос моей жены. И я услышал слова, сказанные без внешнего звука, но так отчетливо, что Филатр оглянулся.

— Ну вот,— сказала Дэзи, усаживаясь и облегченно вздыхая,— добрый вечер и тебе, Фрези!

— Добрый вечер!— услышали мы с моря.— Добрый вечер, друзья! Не скучно ли на темной дороге? Я тороплюсь, я бегу...

1928

ДЖЕССИ
И
МОРГИАНА

Автор посвящает эту книгу
Нине Николаевне Грин

Рассудок тут бессилен, а потому не тратьте ваших доводов. Довольно будет сказать вам, что вопрос касается сердечных дел.

Р. Стивенсон. Сент-Ив

ГЛАВА I

Существует старинное гаданье на зеркалах: смотреть через зеркало в другое зеркало, поставленное напротив первого так, что они дают взаимное отражение — сияющий бесконечный коридор, уставленный параллельными рядами свечей. Гадающая девушка (так гадают только одни девушки) смотрит в тот коридор; что она там увидит — то, значит, с ней и случится.

Однажды,— было это весной, в половине двенадцатого часа вечера,— девушка Джесси Тренган забавлялась вышеописанным способом, сидя одна у себя в спальне. Она поставила против туалетного зеркала второе, зажгла две свечи и воззрилась в сверкающий туннель отражения.

Джесси Тренган через месяц должен был исполниться двадцать один год. Это была своенравная, веселая и добрая девушка. Описать ее наружность — дело нелегкое. Бесчисленные литературные попытки такого рода — лучшее тому доказательство. Еще никто не дал увидеть женщину с помощью чернил или типографской краски. Случается изредка различить явственно лоб, губы, глаза или догадаться, как выглядят за ухом волосы, но более того — никогда. Самые удачные иллюстрации только смущают; говоришь: «Да, она могла быть и такой»,— но ваше скрученное или разбросанное впечатление всегда иное, хотя бы оно было бессильно дать точный образ. Переход к дальнейшему непоследователен, но необходим: у Джесси были темные волосы, красивое и открытое лицо, стройное и привлекательное телосложение. Ее профиль вызывал в душе образ втянутого дыханием к нижней губке

лепестка, а фас был подобен звонкому и веселому «здравствуйте». В понятие красоты, по отношению к Джесси, природа вложила свет и тепло, давая простор лучшим чувствам всякого смотрящего на нее человека, за исключением одного: это была ее родная сестра, Моргиана Тренган, опекунша Джесси.

Сидя перед зеркалом с насмешливой, но довольной улыбкой, Джесси вдруг почувствовала стеснение; затем — раздражение и досаду. Так всегда действовала на нее всякая неожиданная помеха со стороны Моргианы.

Появясь в комнате, Моргиана сказала:

— О Джесси! Как тебе не стыдно? Разве ты не изучила еще свое лицо?!

Джесси оторвалась от забавы, но не ответила по причине, которую мы тотчас поймем. Насколько хороша была младшая сестра, настолько же безобразна и неприятна была старшая. Но ее безобразие не возбуждало сострадания, так как холодная, терпкая острота светилась в ее узких, темно высматривающих глазах.

Среди некрасивых женских лиц огромное большинство их смягчено — подчас даже трогает — достоинством, покорностью, благородством или весельем. Ничего такого нельзя было сказать о Моргиане Тренган, с ее лицом врага; то было безобразие воинственное, знающее, изучившее себя так же тщательно, как изучает свои черты знаменитая актриса или кокотка. Моргиана была коротко острижена, ее большая голова казалась покрытой темной шерстью. Лишь среди преступников встречаются лица, подобные ее плоскому, скуластому лицу с тонкими губами и больным выражением рта; ее жалкие брови придавали тяжелому взгляду оттенок злого и беспомощного усилия. С тоской ожидал зритель улыбки на этом неприятном лице, и точно — улыбка изменяла его: оно делалось ленивым и хитрым. Моргиана была угловата, широкоплеча, высока; все остальное — крупный шаг, большие, усеянные веснушками руки и торчащие уши — делало рассматривание этой фигуры занятием неловким и терпким. Она носила платья особо придуманного покроя: глухие и черствые, темного цвета, окончательно зачеркивающие ее пол и, в общем, напоминающие дурной сон.

Отец сестер умер четыре года тому назад; за год раньше умерла мать.

Джон Тренган был адвокатом, жил широко и не оставил наследства; Джесси получила большое наследство от дяди, брата отца, а Моргиана,— назначенная опекуншей сестры до ее совершеннолетия,— имела, по завещанию этому, небольшое поместье с каменным домом, названное «Зеленой флейтой»; весь остальной капитал — сорок пять тысяч фунтов и большой городской дом — принадлежал Джесси.

Против мрачной фигуры сестры шелковый японский халат Джесси был нестерпимым напоминанием о разнице между ними, а также — об их возрастах: тридцати пяти — Моргианы и двадцати — Джесси.

— Тебе нет нужды гадать о женихах,— продолжала Моргиана, наслаждаясь мрачностью девушки,— больше, чем надо, будет их у тебя.

Джесси вспыхнула и резко толкнула зеркало, которое чуть не упало.

— Зачем ты издеваешься надо мной, Мори? Мне рассказала горничная, что есть такое гаданье. Я забавляюсь. Почему это тебя так злит?

— Да, злит, и будет всегда злить,— ответила Моргиана с откровенностью постороннего человека в отношении себя самой.— Посмотри на меня, а затем обратись к своему любимому зеркалу. Такой урод, как я, обязан раздражаться, видя твое лицо.

— Разве я виновата, Мори? — с упреком произнесла девушка, и ей стало жалко сестру.— Представь, я так привыкла к тебе, что не знаю даже, хороша ты или дурна!

— Я дурна. Безжалостно, безобразно дурна.

— Зачем ты меня так ненавидишь? — вскричала Джесси, с отчаянием всматриваясь в пристальные глаза Моргианы.— Уже давно мучаешь ты меня такими сценами. Я не знаю, не знаю, почему мы с тобой родились такими разными! Поверь, я часто плачу, когда вспоминаю о тебе и твоих страданиях!

— Я не ненавижу тебя,— тихо ответила Моргиана, с ревностью изучая взволнованное лицо сестры, которому игра чувств придала еще большую прелесть.— Я тебя очень люблю, Джесси. Люблю тебя внутреннюю. Но наряд твой, праздник твоего лица и красивого, стройного тела,— мне более чем ненавистен. Я хотела бы, чтобы от тебя остался один голос; тогда и мои слова были бы так же нежны, так же искренни и натуральны, как твоя детская речь.

— Я не виновата,— растерянно повторила Джесси. Бесстыдные душевные содрогания Моргианы внушали ей страх; хотя часто она наблюдала их, но жестокая откровенность сестры всегда угнетала ее.

— Все, что ты говоришь, понятно,— продолжала Джесси.— Я все понимаю. О, если бы ты смягчилась! Будь доброй, Мори! Стань выше себя; сделайся мужественной! Тогда изменится твое лицо. Ты будешь ясной, и лицо твое станет ясным... Пусть оно некрасиво, но оно будет милым. Знай, что изменится лицо твое! — повторила Джесси так горячо, что прослезилась и засмеялась.

— Девочка, что ты знаешь об этом? — пробормотала Моргиана.— Ты не знала никогда моих мук и никогда не узнаешь их. Они безобразны, как я.

— Я часто думала,— сказала Джесси,— о загадке рождения. Мы родились от одних и тех же людей: матери и отца наших, но почему ты вынуждена терзаться, а я — нет?

— Я тоже думала об этом,— ответила, помолчав, Моргиана,— и мне одно объяснение кажется правильным, как оно ни чудовищно по своему существу. Ты не ребенок, и тебе следует знать о рисунке, который висел в спальне нашей матери, когда она была беременна мной. Это был этюд Гарлиана к его картине «Пленники Карфагена», изображающей скованных гребцов галеры. Этюд представлял набросок мужской головы,— головы каторжника — испитого, порочного, со всеми мерзкими страстями его отвратительного существования: смесь шимпанзе с идиотом. У беременных женщин бывают необъяснимые прихоти. Наша мать приказала повесить этюд напротив изголовья своей кровати и подолгу смотрела на него, привлекаемая тайным чувством, какое вызывала в ее состоянии эта повесть ужаса и греха. Впоследствии она сама смеялась над своей причудой и ничем не могла ее объяснить. Мне было восемнадцать лет, когда мама рассказала мне об этом случае; при этом ее глаза наполнились слезами, и она гладила меня по щеке, склоняясь надо мной с тревогой и утешением. Впоследствии я нашла в сочинениях по патологии указания на восприимчивость беременных женщин к зрительным впечатлениям. Не ясно ли тебе, что мать нарисовала меня сама?

Стараясь не понимать, о чем говорит Моргиана, Джесси, беспомощно напряженная и порозовевшая, сидела, широко раскрыв глаза.

— Этого не могло быть, Мори; это лишь мнительность,— утешала она сестру.— Что-нибудь другое, чего мы не знаем. Будь добра, прекратим такой разговор, он очень тяжел.

— Ты права,— сказала Моргиана,— существо, подобное тебе, имеет право возмущаться страданиями и не подпускать их к своей особе. Я не могу вызывать любовь, и потому я не скоро еще научусь делать приятное.

Эти слова, сказанные равнодушно, без горечи и надежды, сильно потрясли Джесси.

— О, Мори! — воскликнула она, стараясь притянуть к себе каменную руку сестры.— Ты нуждаешься в любви? Люби меня, но просто, и я буду тебя любить всем сердцем. Ведь ты — сестра моя!

— Довольно,— сказала Моргиана, освобождая руку и хмурясь.— Сейчас я очень далека от тебя и не слышу твоих слов. Я пришла не для упражнений в чувствах. Не согласишься ли ты переехать в «Зеленую флейту» на то время, пока здесь будет происходить ремонт?

Джесси молчала, всматриваясь в сестру. Хотя была она взволнована и расстроена, нечто, подобное едва слышным шагам подкрадывающегося человека, внушило ей прямой и твердый ответ.

— Нет,— сказала она, и ее правдивое лицо повторило эти слова.

— Нет?

— Нет, Мори, нет,— повторила Джесси, стараясь быть шутливой.— «Зеленая флейта» действует мне на нервы. Там очень глухо. Мне жаль, конечно, но я предпочитаю остаться здесь.

— Ты не намерена, однако, просидеть в Лиссе все лето?

— Отнюдь. Я, может быть, поеду к Еве Страттон, в ее виллу «Цветущий горошек».

— Как хочешь,— проговорила Моргиана, не считая уместным настаивать и обдумывая свое.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Мори,— зевнула Джесси, потягиваясь.

Она встала. Моргиана напутственно улыбнулась ей и ушла.

ГЛАВА II

Джесси, или Джермена Тренган, была девушкой, не представляющей ничего особенного на требовательный взгляд искателя даровитой оригинальности или грациозного тщеславия. Она была большей частью погружена в свои мысли, а впечатлению отдавалась полностью, если оно захватывало ее. Все мысли имели для нее интерес новизны,— безразлично, думал ли кто-нибудь одинаково с ней или нет о каком-либо обстоятельстве. Она не заботилась о впечатлении, какое производила на окружающих, и не подозревала, что ее естественность в речах и поступках заставляет ум работать сильнее, чем очарование девушки-вундеркинда, преследующей модные цели, предписанные последней книгой шестимесячного пророка. Иногда она подозревала, что ею любуются,— по поводу, неясному для нее,— и, оставляя причину на совести заподозренного, улыбалась с совершенно сознательным кокетством. Она любила музыку, сама же играла плохо, но ничуть не терзалась этим. Ни попыток рисовать, ни тщеты настрочить стихи и никакого подобного тому любительского зуда не было у нее, как будто природа, утомясь творить сложные существа, не знающие, что делать с собой, захотела отдохнуть, сказав: «Пусть она будет п р о с т о девушка». Со всем тем была она далеко не глупа, и ее сердце так же возмущалось и сострадало, если сталкивалось со злом, как сердце всякой представительницы женского пола, обратившей добрые чувства в свою монополию и употребляющей их согласно параграфам. Она была проста, но такой простотой, к которой других приводит лишь трудный и болезненный опыт. Для сравнения, раз дело идет о женщине, мы приведем избитый пример: драгоценное платье, выглядевшее так, как будто за него заплачено по всем доступной цене.

Следующим утром Джесси встала не в духе, но, бросив взгляд на туалетное зеркало, не смогла удержаться от улыбки. Всегда ее удивляло разноречие отражения и внутренних ощущений при дурной минуте: молодая девушка в зеркале, с ее гладкими плечами и ясным взглядом, казалось, никогда не знает скверного настроения. В такие моменты Джесси чувствовала себя чуждой своему образу и сомневалась в его правдивости.

Взгляд на зеркало снял все же паутину с ее лица. Вчерашние мысли, возникшие после сцены с сестрой, досаждали ей, пока она причесывалась, но властвовать над ней не могли. По достижении совершеннолетия Джесси намеревалась отправиться в далекое путешествие с подругой своей, Евой Страттон, а по возвращении поселиться в Унгане, чтобы не встречаться с сестрой. Пока она ничего не говорила ей об этом, но не могла, в глубине души, простить ей то страшное оружие, которым пользовалась Моргиана во время припадков душевного обнажения. Как ни жалела Джесси сестру,— разум ее отказывался исходить мукой по причинам непоправимым, как не могло бы зеленое дерево признать праведным гнет упавшего на него сухого ствола. Иное дело, если бы от нее зависело помочь Моргиане,— и она неоднократно размышляла об этом,— Джесси не задумалась бы отдать богатство и красоту.

Ненависть есть высшая степень бесчеловечности, превращенная в страсть; тот счастлив, кто не испытал ее внимательного соседства. Джесси рассмеялась бы, если бы ей сказали, что Моргиана действительно ее ненавидит, и в ненависти своей близка к тому, чтобы рыдать у ее ног, вымаливая прощение, как отдых от непосильной работы. Все другие женщины, красивые или хорошенькие, вызывали у Моргианы лишь горькое и злое волнение, готовое перейти в критику. Но Джесси стояла особо, как главное слово молодости и нежности. Для Моргианы была она — весь тот мир в едином лице, выросший рядом с ней.

Что касается Джесси, ею овладевала иногда легкая грусть, когда, под влиянием болезненного разговора с сестрой, она, проходя или проезжая улицей, отыскивала в толпе лица, беспощадно отмеченные природой, с тем, чтобы в чем-то оправдать их своим ясным и точным зрением. Но очень редко Джесси размышляла об этих трудных, больных вещах с бесстрашием рыцаря, пускающегося в страну чудовищ. Ее мысли, само собой, поворачивались к иным предметам мышления. Неестественное усилие рассеивалось, беспомощная философия рушилась, и Джесси возвращалась в свой мир, радуясь, что живет.

К завтраку Моргиана появилась степенной, со снисходительно насмешливым видом, как будто не она, а Джесси делала вчера вечером удушливые признания.

Молчаливое, вопросительное настроение сестер от коротких замечаний перешло к разговору. Так как предстоял ремонт, Моргиана заявила, что на днях переедет в «Зеленую флейту», а Джесси сообщила, что временно переберется в библиотеку. Из библиотеки был отдельный выход; та часть дома, где помещалась Джесси, не требовала ремонта; почти во всех остальных помещениях оказались изъяны. После землетрясения минувшей зимы осыпались лепные карнизы, расстроилась пригонка дверей; во многих местах отстала штукатурка, порвав обои.

— Я буду просыпаться,— сказала Джесси, придя в хорошее настроение,— в библиотеке, бросая невежественные взгляды на ученые заглавия. Однако вся научная эманация заберется в меня. Я уверена, что к осени, когда ты вернешься,— но ты будешь ведь приезжать? — я стану, без причины, профессором. Великое дело — латынь!

Говоря так, она разбила яйцо и погрузила в рот полную ложечку его содержимого Она медленно вынимала ложечку из сомкнутых губ, как внезапная мысль — «цыпленок не осуществился, погиб...» — некстати рассмешила ее. В скаредно-жалостной мысли этой — выскажи ее кто-нибудь серьезно — клокотала пышная глупость. По таинству ассоциации, Джесси мгновенно представила чопорного человека, явившегося в общество при всем параде, но забыв надеть штаны. «Цыпленок есть принцип»,— сказал он, достойно подрагивая волосатым коленом... Пища, залегшая среди белых зубов Джесси, остановилась, от ног до головы ее потряс смех; ни проглотить, ни выплюнуть набранное в рот она не имела силы и, не совладав, вся красная от страха закашляться, Джесси прыснула смехом и яйцом прямо на стол.

— О, мне что-то весело! — через силу произнесла она, когда отдышалась и вытерла смешливые слезы. Взгляд Моргианы остановился на ней с замкнутым выражением.— Моргиана! Медведик ты плюшевый!

— Чем вызван твой припадок? — спросила ее сестра.

— Когда смешно, то все равно от чего смешно,— оправдывалась Джесси.— Теперь уже не смешно. А из яйца...— она одолела приступ веселья, иначе опять залилась бы хохотом,— мог выйти цыпленок. Это верно, Мори. Вот мне и стало смешно.

Если бы Моргиана не чувствовала так остро всю правду и невинную прелесть этой пустяшной выходки, ей было бы легче. Робко взглянув на сестру, Джесси выпрямилась, повела бровью и стала смотреть в тарелку. Тогда, из внезапной, фальшивой прихоти, которой устыдилась сама, Моргиана громко захохотала, и этот запоздалый смех по приказу сделал ее отвратительной.

После завтрака Моргиана поднялась первой, чтобы ехать — как она сказала Джесси — к нотариусу. Джесси не интересовалась деньгами; роль сестры в финансовых и нотариальных делах рассматривала она как подвиг. Они расстались миролюбиво. Затем Джесси вспомнила о билетах; она сказала: «Ах, ах»,— и попеняла себе.

ГЛАВА III

Вчера Джесси твердо решила развезти утром своим знакомым порученные ей десять билетов на спектакль в пользу престарелых музыкантов оперы. Она откладывала это три дня. Вчера стояла пасмурная погода; рассчитывая, что сегодня польет дождь, Джесси охотно постановила употребить дурной день для посещения семейств Ватсонов, Апербаумов, Гардингов и других неприступных крепостей, где только она, с ее небрежной и беззаботной манерой, могла пограбить, не вызывая особого раздражения, свойственного самомнению, отлитому из золота. Как раз теперь дурная погода кончилась; небо и земля сияли, кричали. Уже с утра Джесси коснулась стрела движения, звукнув[1] над ее ухом, как брошенное на бегу слово. Но по городу ей не хотелось ехать. «Завтра, завтра, не сегодня,— так ленивцы говорят»,— рассеянно твердила девушка, начиная расхаживать по дому без цели, но с удовольствием, переходя из помещения в помещение. «А сегодня отдохну, завтра свой урок начну!» Мебель имела выспавшийся, оживленный вид; на лаке блестело солнце; высокие окна соединяли голубизну неба с раздольем паркета или ковром — матовыми лучами, переходящими на полу в золотой блеск. Джесси обо-

[1] Звукнув — не ошибка.

шла все нижние комнаты; зашла даже в кабинет Тренгана, стоявший после его смерти нетронутым, и обратила внимание на картину «Леди Годива».

По безлюдной улице ехала на коне, шагом, измученная, нагая женщина,— прекрасная, со слезами в глазах, стараясь скрыть наготу плащом длинных волос. Слуга, который вел ее коня за узду, шел, опустив голову. Хотя наглухо были закрыты ставни окон, существовал один человек, видевший леди Годиву,— сам зритель картины; и это показалось Джесси обманом. «Как же так,— сказала она,— из сострадания и деликатности жители того города заперли ставни и не выходили на улицу, пока несчастная наказанная леди мучилась от холода и стыда; и жителей тех, верно, было не более двух или трех тысяч,— а сколько теперь зрителей видело Годиву на полотне?! И я в том числе. О, те жители были деликатнее нас! Если уж изображать случай с Годивой, то надо быть верным его духу: нарисуй внутренность дома с закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании — потому что слышат медленный стук копыт — столпились жильцы; они молчат, насупясь; один из них говорит рукой: «Ни слова об этом. Тс-с!» Но в щель ставни проник бледный луч света. Это и есть Годива».

Так рассуждая, Джесси вышла из кабинета и увидела служанок, которые скатывали ковер. «Уже выколачивали третьего дня,— сказала Джесси,— зачем теперь выносить?»

Джесси не вмешивалась в хозяйство, но, если на что-нибудь случайно обращала внимание, ей повиновались беспрекословно,— вздумай она даже отменить приказание Моргианы. Для этого Джесси не делала никаких усилий. Служанки, две молодые женщины, поспешно объяснили, что ковры выносятся ввиду наступающего ремонта. При этом одна из служанок, Герда, машинально взглянула на трещину потолка. Джесси вспомнила землетрясение.

— Вы у нас уже служили тогда?

— Я служила,— ответила краснощекая, тугого сложения, Эрмина.— Герда поступила через неделю после того.

— Ну да, я припоминаю теперь,— сказала Джесси, рассматривая беловолосую Герду и улыбаясь.— Вы обе с севера? Не так ли? А что, у вас бывает землетрясение?

Служанки переглянулись и рассмеялись.

— Никогда,— сказала Эрмина.— У нас нет ничего такого: ни моря, ни гор. Зато у нас зима: семь месяцев, мороз здоровый, а снег выше головы — чистое серебро!

— Какая гадость! — возмутилась Джесси.

— О, нет, не говорите так, барышня,— сказала Герда,— зимой очень весело.

— Я никогда не видела снега,— объяснила Джесси,— но я читала о нем, и мне кажется, что семь месяцев ходить по колено в замерзшей воде — удовольствие сомнительное!

Перебивая одна другую, служанки, как умели, рассказали зимнюю жизнь: натопленный дом, езда в санях, мороз, скрипучий снег, коньки, лыжи и то, что называется: «щеки горят».

— Но ведь это только привычка,— возразила Джесси, немного сердясь,— поставим вопрос прямо: хочется вам, сию минуту, отправиться на свою родину? Как раз там теперь... что у нас? Апрель; там теперь сани, очаг и лыжи. Отбросьте патриотизм и взгляните на сад,— она кивнула в сторону окна,— тогда, если хватит духа солгать,— пожалуйста!

— Конечно, здесь о-очень красиво...— протянула Эрмина.

— Цветов такая масса! — сказала с жадностью Герда.

Джесси сдвинула брови.

— Да или нет? Под знамя юга или в замерзшие болота севера?

— Что ж,— просто сказала Герда,— мы еще молоды, поживем здесь.

— Ну что вы за лукавое существо! — воскликнула Джесси.— Как можете вы, в таком случае, желать, чтобы ваше цветущее лицо было семь месяцев в году обращено к ледяным кучам? Что это? Что это за звуки?!

Женщины умолкли, прислушиваясь. Через раскрытые окна слышались гневные восклицания и тяжкие, глухие шлепки.

— Опять! — вырвалось у Эрмины.

Джесси внимательно всмотрелась в нее.

— Это еще что?! — спросила она.

— Садовник и конюх! — воскликнула Герда, порываясь бежать к окну.— Уж я унимала их вчера! Это

из-за Мальвины. Или не знаю почему. Совершенное безобразие!

— Что? Драка? — немилостиво осведомилась Джесси.

— О, барышня, не говорите на нас!

Джесси успокоила их жестом и быстро направилась к выходу, представляя эффектный гром своего появления.

Когда, заложив руки за спину, она остановилась на границе закоулка, отделяющего сарай от конюшни, картина представилась ей такая: конюх Билль, без пиджака, засучив рукава рубашки, одолевал отступающего, но все еще стойкого Саватье. Садовник, бледный и окровавленный, смотрел на врага в упор, ловя момент ударить правой рукой, а левой защищаясь от ударов, падавших быстро и тяжело. Что касается Билля, то его здоровенное лицо только раскраснелось, если не считать ссадин на скуле. Оба напоминали собаку и кошку. Саватье, изнемогая, вкладывал в бой все опасные чувства разъяренного мужчины, в то время как Билль, развлекаясь, метко поражал врага. Под их ногами валялись их растоптанные шляпы. Однако Саватье ожидало крупное торжество: Билль открыл голову, и увесистая пощечина садовника смазала его по зазвеневшему уху. Удивленный Билль подступил ближе.

— Довольно,— сказала Джесси, входя между ними.— Как смеете вы безобразничать в моем доме?

Бойцы остолбенели и потупились. На них было жалко смотреть. Билль поднял шляпу и стоял, опустив голову. Испуганный Саватье пытался застегнуть ворот рубашки дрожащей рукой; их хриплое, неистовое дыхание звучало гневом и стыдом.

— Мы...— сказал Билль,— я... он... Извините меня.

— Из-за чего произошла потасовка?— продолжала Джесси ледяным тоном, рассматривая багровые рубцы под глазами Саватье с гримасой отвращения, как если бы перед ней ели лимон.— Объясните причины. Ревность? Оскорбление? Карты? Стойте,— приказала она, видя, что противники, приложив кулаки к груди, намерены изойти объяснениями и клятвами,— мне, пожалуй, нет дела до этого. Пусть ваша совесть говорит с вами. Нехорошо, Билль! Скверно, Саватье! Кстати, вы, кажется, пострадали более, чем Билль. Не оттого ли,

что Билль защищал правое дело? А? Ну, если языки целы, скажите теперь что-нибудь, только не горячитесь.

— Клянусь Бельгией! — сказал Саватье, сплевывая волос из своего уса,— это был чистый бокс, спорт. Но я, оказывается, не знал, с кем связался. Билль пользуется недозволенным приемом. Он...

Билль живо вытер руки о штаны и заслонил Саватье, ступив вперед.

— Достаточно, что Саватье ложно поклялся вам,— заговорил он с откровенностью, имеющей расчетом внушить, что искренность и нечестность — несовместимы.— Конечно, это ссора, и я снова прошу прощения. Ссор без причины не бывает... Но приемы были честные, в этом я могу поклясться Ирландией и Бельгией вместе. Разве только ему показалось, что у меня четыре руки.

— Хорошо,— сказала Джесси Саватье,— в чем можете вы упрекнуть Билля? Покажите.

Не осмеливаясь ослушаться, Саватье подошел к Биллю и приставил ему под подбородок ребро ладони.

— Вот в этом я упрекаю тебя: свинство ударять по горлу.

Джесси немедленно раскаялась в своем любопытстве. В жесте, который сделал Саватье, мелькнула расчетливая бесчеловечность, и лицо девушки стало печальным.

— Все, я поняла,— сказала она тихо, но повелительно,— теперь помиритесь. Подайте друг другу руки.

Казалось, дыханье остановилось у Билля и Саватье, когда, изумясь и озлясь, по лицу Джесси увидели они, что примирение неизбежно. Билль с презрением протянул руку садовнику, но тот, чтобы не видеть осквернения собственной длани, отвернул голову и, не глядя, ответил на рукопожатие; две руки злобно тряхнули одна другую и поспешно расстались.

Джесси смотрела, сдвинув брови и тревожно полураскрыв рот, но, увидев, как большой палец садовника ткнулся в ладонь конюха, расхохоталась и ушла. В то же время решение задачи с билетами осенило ее: она пришла к себе, сама себе заплатила за десять билетов тройную их стоимость и облегченно вздохнула.

ГЛАВА IV

Моргиана выехала на одном из двух автомобилей Джесси, которыми пользовалась почти безраздельно, так как ее сестра предпочитала лошадей. Взяв от нотариуса чек на три тысячи, Моргиана получила по нему деньги в банке и направилась в «Зеленую флейту».

«Зеленая флейта» — место, о котором еще будет время сказать подробнее,— был двухэтажный каменный дом с садом, купленный покойным Тренганом для романтической цели. Менее всего Тренган хотел обидеть Моргиану, завещая ей это владение, но она твердо помнила, что здесь пять лет назад жила белокурая танцовщица, нервная и капризная, с прихотями которой считались — до смехотворного почтительно. О ней иногда рассказывал своим приятелям Гобсон,— человек, бывший при доме сторожем, управляющим и посыльным. «Существует мнение,— говорил он,— что Тренган боялся ее любви к танцам, а потому, желая удержать ее при себе, подкупил врачей, и они уверили Хариту Мальком в опасной болезни, которая изуродует ее ноги, если она вернется на сцену. Она поверила и затосковала так, что осунулась. Целый месяц не выходила она из комнат и ела так мало, что на кушаньях оставались лишь царапины вилкой. Так вот, я однажды проходил мимо окна поздно ночью: окно светилось, я заглянул и увидел Хариту Мальком в платье, за которое высек бы свою дочь. Все на ней блестело и разлеталось,— она танцевала сама с собой, и лицо у нее было такое счастливое, что я смотреть больше не стал, и мне сделалось что-то нехорошо».

Кроме Гобсона с семьей, садовника и рабочих, здесь жила женщина Нетти, на которой лежала обязанность заботиться о порядке и чистоте в доме. Как только Моргиана приехала и вошла в комнаты, Нетти сказала ей: «Вот посылка, получена на ваше имя вчера». Она подала небольшой пакет, зашитый в желтую кожу.

Без особого волнения взяла Моргиана этот пакет; лишь было у нее странное ощущение, что она держит холодеющую руку сестры.

Отослав Нетти, припомнила она развитие своего замысла и ничего похожего не нашла в себе по сравнению с чувствами, вызванными впервые ее мрачным решением. Первые эти чувства были — сомнение, отчаяние и страстное, тяжелое наслаждение; лишь посте-

пенно перерабатывались они в привычку, ставшую законом и надеждой помраченной души. Это была давнишняя ненависть, обсуждаемая до мельчайших подробностей; такая отчетливая, что напоминала тщательно уложенные в чемодан — для дальней и трудной дороги — необходимые вещи. Лишь изредка обострялась она. Ни ужаснуться, ни отказаться Моргиана теперь уже не могла, потому что преступная мысль стала частью ее самой. Нет такой мысли, с какой рано или поздно не освоится человек, если она отвечает его природе.

«Вот и исполнение»,— сказала Моргиана, задумчиво рассматривая пакет.

Взяв ножницы, она разрезала кожу; под ней оказался ящичек из тонкого дерева, сколоченного гвоздями. Введя ножницы в щель, Моргиана нажала ими дощечку, которая легко отошла, и достала завернутую в вату коричневую коробку. Там был флакон из толстого стекла, какие употребляются для духов, с плотно пригнанной пробкой. На дне флакона было немного бесцветной жидкости, ничем не отличавшейся по виду от обыкновенной воды и, несмотря на то, опасной, как гремучая змея, даже более, потому что этот яд, открытый еще лет двести назад, не убивал сразу; но тому, кто выпил его, оставалось жить не дольше месяца и умереть, не зная, от чего умирает. Лишенная вкуса и запаха, жидкость не оставляла пятен, от времени не теряла силы; верная себе, от начала до конца она оставалась бесцветной. Тщетно стали бы искать врачи причин заболевания у человека, не подозревающего, что он отравлен. Отравленный угасал; вялость и апатия сменялись изнуряющим оживлением; он ел все меньше, без всякой охоты, переставал нуждаться в движении; терял интерес ко всяким занятиям; тяжелый сон первых недель сменялся бессонницей, иногда — бредом или потерей рассудка. У действия этого яда не было цвета — только раз он появлялся на сцене, напоминая собой скорее внушение, чем отраву,— и исчезал. Более никто никогда не мог разыскать его,— даже при вскрытии и лабораторном анализе.

Таково было содержание флакона, который Моргиана держала перед собой в вытянутой руке. Ее дыхание было стеснено характером представлений, бродивших в ней, подобно едкому дыму, наполнившему комнату фантастическими линиями и удушьем.

Большей простоты — при подавляющем ум сознании ее страшных качеств — никто еще не держал в руках. Моргиана чувствовала стекло флакона так остро, как если бы с ее пальцев была содрана кожа; само прикосновение к флакону казалось опасным, непостижимо действующим на сердце и мозг. Ее мысли текли с быстротой самостоятельно звучащего, чужого голоса, движимого возбуждением, и она только следила за ними. Моргиана подумала, что этот флакон, быть может, еще не так давно был полон духов. Его открывала, скрипя хрустальной затычкой, эластическая рука женщины, и из граненого плена с золотым ярлыком вылетал заманчивый аромат, внушающий нежность и удовольствие. Руки пахли духами. Теперь там была бесцветная смерть, готовая служить последнюю службу тому очарованию, какое ранее, зажмуриваясь, прибегало к флакону, повинуясь истине, общей для цветов и сердец.

— Ей все! Мне — ничего,— сказала Моргиана, наклоняя флакон так, что яд перелился к пробке.— Для нее даже смерть явится в изысканно-тайном виде; такую смерть, по тем же причинам, какие есть у меня, не назначит мне никогда никто,— даже в мыслях. Умирая, Джесси все еще будет красива, может быть, даже красивее, чем сейчас: сильнее пахнут срезанные цветы. Возможно, что в последние минуты ее сознание станет ясным; признав конец, она испытает чувства такие прелестные и тонкие, каких никогда не узнать мне, ее тайному палачу. Но ее смерть будет смертью и моей ненависти. Я хочу тебя любить, Джесси. Когда ты исчезнешь, я буду тебя любить сильно и горячо; я буду благодарна тебе. Я отдохну. Быть может, я больна? Нет. Но я много думала — и привыкла; теперь, Джесси, я подкрадываюсь сзади к тебе. Лишь так могу я выразить мою — будущую — к тебе любовь.

Ее рука задрожала: флакон стукнул о стол и остался стоять,— безмолвный свидетель чувств, достойных милосердного эшафота. Моргиана продолжала говорить, отдаваясь неодолимой потребности в сообщнике, которого не было и не могло быть. Но лишь неясные шепчущие звуки выходили из ее губ, хотя ей казалось, что она говорит явственно. Подняв голову, она увидела в стенном зеркале женщину чужую и бледную. «Там я,— сказала Моргиана,— я вижу себя. Харита Мальком, этот дом — твой опустевший флакон; на

месте благоухания твоей жизни — я поселилась здесь, бесцветная и угрюмая, как яд; такая же сильная, как он, потому что живу одной мыслью».

Она собрала вату, кожу, коробку, сожгла все в камине и начала успокаиваться. Это было дурное, болезненное спокойствие. Тесня ее дыхание, стоял перед ней образ Джесси. «Действительно ли красива она? — размышляла Моргиана,— ее тип довольно распространен. Его можно встретить даже на страницах модных журналов. Подобные лица бывают также у приказчиц и билетерш. Почти каждая девушка двигает плечами, как Джесси».

Встрепенувшись, со смутной и едкой надеждой, вызвала она образ сестры и принялась изучать его, отводя каждой черте высокомерное, банальное определение,— с тупым удовольствием слепца, который водит концами пальцев по лицу незнакомого человека, создавая линии осязания. Перед ней было как бы многозначное число, цифры которого называя вразброд, она никак не могла получить сумму, большую девяти. Джесси, раздетая и обезличенная, составила собрание отдельных частей, ничем особо не поразительных для Моргианы; но так продолжалось лишь пока не был исчерпан материал критики; едва увидела она опять ее всю, как из нежных ресниц Джесси блеснул стремительный, улыбающийся взгляд; зазвучал ее, полный удовольствия жить голос; припомнились все ее, ей лишь свойственные особенности движений, и Моргиана увидела, что ее сестра хороша, как весна.

Спрятав флакон в сумку, Моргиана вызвала Гобсона, приказала привести дом в порядок и сообщила, что приедет сюда жить до осени — не позже как через три дня. Она вернулась в город к шести часам, но обедать не вышла, сославшись на головную боль.

ГЛАВА V

Скучая обедать одна, Джесси вызвала по телефону свою близкую приятельницу, Еву Страттон, и стала ее просить приехать. «Тем более,— прибавила Джесси,— что сегодня среда; ты знаешь, что у нас по средам гости. Наконец, ты мне просто необходима, так как я хочу говорить. О чем? О жизни и вообще. Моргиана

лечит больную голову, сидит у себя. Да, слушаю... нехорошо так говорить, Ева, с... Ну, и так далее, и я тебя жду».

Ева Страттон была второй дочерью Вальтера Готорна, владельца двух типографий. Старше Джесси лишь двумя годами, Ева уже была замужем. Ее муж занимал должность военного агента в Корее. Они разъехались по молчаливому, безгорестному согласию людей, открывших, что не нуждаются ни друг в друге, ни в брачной жизни. Поэтому их приятельское соломенное вдовство было легким.

Когда приехала нарядная Ева, не менее нарядная Джесси встретила ее дружеским поцелуем, и они сели за стол в буфетной.

Ева была высокая, тонкая фигурой, молодая женщина греческого типа, с проницательным выражением рта и глаз. Ее жизненный опыт немногим превышал опыт Джесси, но она умела скрывать это, оставляя впечатление наблюдательности и ранней мудрости. Заметив третий прибор, Ева спросила, кого ждет Джесси.

— Никого, то есть, вероятно, никого. Это ее прибор, но Моргиана, должно быть, уже пообедала у себя.

— Надеюсь,— сказала Ева.

Джесси обиделась, но сдержалась.

— Ты постоянно забываешь, Ева,— заметила она спокойно и искренно,— что Мори — моя сестра и что мне могут быть неприятны такие твои слова.

— Она неприкосновенна?

— В том смысле — да, какой разумеешь ты. Да! К тому же,— прибавила Джесси, взглядывая на слуг у дверей,— мы не одни. Я знаю, ты ее не любишь,— что делать!

— Я прямолинейна,— возразила Ева, пробуя суп и нимало не тронутая выговором Джесси,— но, когда я ехала к тебе, я решила быть прямолинейной до наглости. Твоя жизнь...

— Тогда поедим сначала,— сказала Джесси,— мне тоже хочется говорить, но я хочу также есть. А ты?

— Я ем. У тебя всегда очень вкусно. Выпей вина, Джесси. Это хорошее вино; я его знаю, потому что его подают у нас, и год тот же самый; будем, по вину, однолетки.

— И налижемся, как красноносые старушенции,— добавила Джесси, нюхая свой бокал.

Она выпила и стала слушать Еву, которая рассказывала городские новости тоном приятного осуждения. Уже коснулись нескольких чужих флиртов с точки зрения: «все это не то», а также расследовали, кто и что думает о себе; уже размолвка Левастора с Бастером попала в пронзительный свет предположений об их прошлогодних встречах «с теми и теми»,— как обед незаметно подошел к концу. Слуги принесли кофе, и, стремясь соединить приятное с полезным, потому что любила Джесси, Ева сказала: «Останемся одни, так как нам более ничего не нужно».

— Мы сами позаботимся о себе,— сказала Джесси прислуге,— Ева, я тебя слушаю.

— Ты все еще не куришь?—спросила Ева, извлекая длинную папиросу из платинового портсигара.

— Нет. Не это же ты готовила мне по секрету от слуг?

— Но у меня, право, нет ничего особенного для тебя. Я, как хочешь, не выношу посторонних, хотя бы и слуг. Ты много теряешь, отказываясь курить.

— Я люблю смотреть, как курят,— сказала Джесси, приникая щекой к сложенным, локтями на стол, рукам.— Я приметила, что ты куришь с отчаянием,— расширив глаза и грудью вперед!

— Благодарю, я согнусь.

— Нет, не надо. Вильсон курит осторожно, кряхтя, почти потеет, и весь вид его такой, что это — тяжелая работа. Интересно курит Фицрой. Он положительно играет ртом: и так, и этак скривит его, а один глаз прищурит. По-моему, лучше всех других курит Гленар: у него очень мягкие манеры, они согласуются с его маленькими сигарами. Ему это идет.

— Тебе нравится Гленар?

— Он мне нравился. Теперь я нахожу, что он на вкус будет вроде лакрицы. Дай мне папиросу, я попробую.

Она крепко сжала мундштук губами и серьезно поднесла спичку, причем ее лицо выражало сомнение. Закурив, Джесси случайно выпустила дым через нос, закрыла глаза, чихнула и поспешно положила папиросу на пепельницу.

— Что-то не так,— сказала она.— Должно быть, это требует мужества.

Ева рассмеялась.

— Тебе надо выйти замуж,— вот что я хотела сказать. Нормально ли твое положение? Моргиана значительно старше тебя; кроме того, она ис...

— ...терична,— мрачно закончила Джесси.— Дальше!

— Выходит, что нравственно и физически ты одинока, хотя обеспечена и живешь в своем доме.

— Я размышляла об этом,— сказала Джесси,— но как быть? Я никого не люблю. Любит ли кто меня?..

— Человек пять.

— Положим, всего четыре. Говорят — брак вещь суровая. Ты, например, замужем. Расскажи мне о браке.

— Но... я думаю, ты сама знаешь,— ответила Ева, понимавшая, что в таких вопросах слова обладают свойствами искажать существо явлений, будь то слова самые осторожные и искренние.

— Знаю и не знаю,— продолжала Джесси, задумчиво смотря на Еву,— но слушай, я не боюсь слов. Например,— что такое «идеальный брак»?

— Идеальный брак,— сказала Ева, начиная внутренне ныть,— такой брак требует очень многого...

— Давай говорить подробно,— предложила Джесси.

Личный опыт Евы напоминал полудремоту. Слегка краснея, в то время как Джесси оставалась спокойной, Ева продолжала:

— Очень многого... Хотя мой собственный брак подлежит размышлению, и я, конечно, не могу ставить в пример... Очень, очень большая близость во всем, одинаковость вкусов и так далее.

— Но ведь должна быть также любовь?

— Любовь? Конечно.

— Так расскажи о любви,— о замужней любви.

— Едва ли это возможно рассказать,— объявила Ева, которой становилось все труднее идти в тон.— Ты... да... или нет... Например, знание географии и подлинное путешествие. Конечно, есть разница.

— Послушай,— сказала Джесси,— быть любовницей и быть женой — это ведь строго разделено? Или, например: «наложница» и «любовница». Есть ли здесь сходство? Как ты думаешь?

— Мы лучше это оставим,— осторожно предложила Ева,— так как я положительно не в ударе. Должно быть, обильный обед. Просто я не нахожу выражений.

Джесси умолкла только потому, что уважила подчеркнутую последнюю фразу и поняла замешательство Евы. Оно ей слегка передалось, в противном случае Джесси охотно продолжала бы рассуждать о таких звучных, красивых словах, как «наложница» или «страсть». Продолжая думать в связи со словом «наложница», она спросила:

— Не переменишь ли ты свою ложу на ту, что рядом с моей? Она освободилась теперь.

— Непременно переменю. Но все-таки, Джесси, мое искреннее желание — видеть тебя хорошо устроенной, замужем.

— Не с кем попало, надеюсь? — заметила Джесси.— Ты дай мне какого-нибудь погибшего человека. Я буду его восстанавливать в его собственных глазах. Вот о чем я мечтаю иногда. Но это глупо. Или хорошо? Отвести от края пропасти и — постепенно, неуклонно...

— Дурочка, где ты это читала? — рассмеялась Ева.

— А не помню где,— откровенно призналась, тоже смеясь, Джесси.

Вдруг она перестала смеяться, крикнув:

— Мори, ты опоздала. Обед мы уже скушали. Иди пить с нами кофе!

Моргиана стояла в дверях, весело рассматривая подруг. Снисходительно-добродушно взглянув на Джесси, она спокойно поздоровалась с Евой, села за стол, взяла салфетку, бесцельно посмотрела на нее и положила на место.

— Стало легче?

— Да, Джесси. Старая мигрень, Ева. От кофе пройдет. У меня масса хлопот по ремонту и моему переезду. Кроме того, в этом году рано наступил зной. Я спасаюсь в «Зеленую флейту», наверное — до осени.

— Джесси,— и ты?

— Я не поеду, Ева. Я остаюсь здесь.

— Вы знаете, как она упряма,— сказала Моргиана Еве после небольшого молчания.

Допив свой кофе, Моргиана возобновила примолкший разговор. Теперь она была спокойна. Притворство ее было легким, как нетрудное дело в руках опытного мастера. Она смеялась, шутила и рассказывала с нотой сочувствия о прекрасной танцовщице Мальком, которая плакала и танцевала одна.

ГЛАВА VI

К девяти часам вечера гостей собралось пять человек. Это были: Гленар, тот самый, манера курить которого обсуждалась Евой и Джесси,— медлительный человек двадцати девяти лет, дилетант и блондин; Джиолати, итальянский изгнанник, замешанный в романтическую историю при дворе; сын судовладельца Регард и его жена, смуглая маленькая женщина с большими глазами, уроженка Антильских островов. Пятая была Ева Страттон.

По малочисленности общества, а также из-за духоты, центром служила квадратная угловая терраса. В этот вечер Джиолати, вспоминая родину, пел трогательные романсы, и детская обида светилась в его черных глазах. Джесси, внимая певцу, разогрелась, и оттого с еще большей тоской Гленар прислушивался к ее словам, не в силах отвести взгляд от ее фигуры,— стряхнуть очарование, делавшее его смешным, что он знал и от чего сам же приходил в раздражение. Но Джесси уже привыкла к его отчаянно-напряженному виду и, внутренно хмурясь, старалась внешне быть с ним как бы рассеянной. Она тихо беседовала с Аронтой, женой Регарда, а Регард рассказывал Еве о скачках. Моргиана, задумавшись, расположилась в качалке, садистически наблюдая Гленара, который или некстати вмешивался в разговор, продолжая неизменно смотреть на Джесси, или тоскливо курил, расхаживая по террасе; садился, вставал, снова садился, причем вид у него был такой, что он тут же опять встанет. Он был поглощен решением: томился, терзался и пребывал в страхе, что неудача вынудит его никогда больше не посещать Джесси.

— Не выйти ли походить по саду?—предложил Регард, и Джесси немедленно согласилась, потому что у нее стало ныть в спине от разлитой над террасой любви Гленара. За ней согласились все.

Так как вечер был совершенно черный, Моргиана распорядилась включить свет в электрические фонари, стоявшие на скрещениях аллей. Над деревьями возник полусвет; лучи озарили спящую, смешанную с черным и золотым, зелень. Тотчас, спасаясь от Гленара, Джесси захватила Регарда и Моргиану; Ева пошла с Джиолати, Гленар подошел к Аронте; все разошлись, условившись сойтись у пруда.

Пока гуляющие были еще неподалеку друг от друга, Гленар слышал голос Регарда, а Регард — откровенную зевоту Аронты и скучные слова подавленного Гленара. Но разошлись дальше, и голоса смолкли. Случилось так, что благодаря ускоренным шагам Моргианы, шедшей немного впереди и решительно молчавшей все время, хотя Регард не раз обращался к ней с той мягкой любезностью, какая бессознательно подчеркивает несчастье,— случилось, что они трое оказались у пруда ранее других. Тогда, завидев спящих лебедей, Джесси захотела разбудить черного австралийского лебедя. Он, рядом со своей белоснежной подругой, мирно отражался в озаренной воде, спрятав голову под крыло.

Джесси ступила на покатый газон и, подобрав платье, протянула руку; стоя у самой воды, она стала звать лебедя: «Ноэль! Куси-муси, Ноэль, соня!» Но лебедь спал, и, подступив еще ближе, Джесси соскользнула ногой в воду. Ее туфля и чулок сразу промокли; Регард подхватил ее, вывел наверх, а лебеди проснулись и, вытянув шеи, сонно повели крыльями, приподняв их, как бы разминаясь от сна.

Уныло поджав мокрую ногу, Джесси стояла на сухой ноге, держась за плечо Регарда и выслушивая соответствующее замечание Моргианы; затем решительно направилась в дом, чтобы переменить обувь. Она шла быстро, прихрамывая, потому что было ей противно твердо ступать мокрой ногой. При повороте около темной, стоявшей в тени листвы тутовицы она вздрогнула и остановилась: из листвы прозвучал странный, мрачный голос, и, вглядевшись, Джесси различила человека, который ее смешил и раздражал. Гленар стоял за деревом, делая какие-то знаки. Он вздохнул и произнес ее имя.

— Это вы? — сказала Джесси с неудовольствием.— Зачем вы прячетесь? Что там такое?

— Подойдите ко мне,— умолял Гленар.— Прошу вас, подойдите и выслушайте. Я должен сказать вам одну очень важную вещь.

Заинтересованная, Джесси пожала плечами.

— Ничего не понимаю,— ответила она,— но я к вам в кусты не пойду, потому что промочила ногу и тороплюсь. Вы что-нибудь поймали? Тогда несите сюда.

Место, где стояла она, было слегка освещено, между тем Гленар притаился в тени и не выходил. Такое

непонятное упрямство вызвало у нее жуткую мысль, что Гленар покушался на самоубийство. Сердце ее сжалось.

— Вы не ранены?—сурово спросила Джесси.

— Ранен? Да, в смысле особом, да,—ответил Гленар.—Я могу и хочу сказать все. Но я боюсь света. Простите мою внезапную ненормальность. Это так важно, что, лишь смутно различая ваше лицо, я решусь... О, лучше бы я написал вам! Я... Нет, я не могу.

Начиная сердиться, Джесси все же не могла не улыбнуться при догадке, вызывающей чувства виноватости и симпатии, но всегда лестной,—а именно, что Гленар спрятался в листву с целью сделать ей предложение. Пока она размышляла, морщась от сырости чулка, Гленар заявил:

— Я видел, как вы пошли от пруда назад. Первой мыслью моей было—встретить вас, но это не так легко. Я знал, что вы будете проходить здесь.

— А где Аронта?

— Должно быть, я помешался: я ушел от нее.

— Однако же вы чудак,—серьезно сказала Джесси, краснея и сердясь на саму себя. Внезапная мысль, что, может быть, этот самый Гленар знает слова, равные великой музыке, поманила ее узнать все.— Идите сюда,—сказала Джесси, стесненно вздыхая,— выложите ваши секреты. Бояться меня не надо. Я не кусаюсь. Вылезайте, Гленар; вот уж не думала, что вы такой трус.

Едва ли еще какое другое обращение могло бы так обескуражить, как эти естественные слова девушки, торопящейся обсушить ногу. Гленар стиснул зубы и вышел на свет. Он был расстроен и бледен. Пытаясь выразить улыбкой, что улыбается по своему адресу, Гленар увидел темные, блестящие глаза, взглянувшие на него с сочувствием и досадой. Это был заслуженный, безмолвный упрек. Гленар так страдал, что в этот момент чувствовал не любовь, а желание покончить с объяснением, отступить от которого уже не мог.

— Я вас люблю,—сказал он таким тоном, как если бы прислушивался к своим словам, проверяя, то ли сказано, что надо сказать.

Наступило молчание. В переменившемся выражении лица Гленара Джесси уловила черту мести за перенесенную боль, и она снова почувствовала сырость чулка.

— Ну, вот,—сказала она, гладя Гленара по неопределенно протянутой руке,—вы высказались, и вам станет легче теперь. Ничего подобного быть не может. Но, если вы меня действительно любите, будьте добры сходить в дом к горничной и сказать, чтобы она мгновенно представила мне сюда зеленые чулки и серые туфли. А затем вернитесь к Аронте и придумайте благовидный предлог своему отсутствию.

Хотя Гленар попрощался с Джесси трагически, но, как это ни странно, он отправился исполнить ее просьбу с облегчением и благодарностью. К Аронте он не пошел, а поехал в клуб и пил до утра. Еще страннее, что Джесси верно определила его: с этого вечера его любовь, пережив самый страдный момент, сникла и, понемногу, исчезла.

ГЛАВА VII

К двенадцати часам гости разъехались, и сестры разошлись спать. Гленар не вывел Джесси из равновесия, она даже была рада, что больше не увидит его. Ей очень хотелось рассказать Моргиане о «предложении из кустов», но, представив, как рассказывает, представила и отношение Моргианы: «Ты была рада, надеюсь». Поэтому она ничего не сказала сестре. Хотя та подозревала, что между Джесси и Гленаром что-то произошло, однако не пыталась ни намекнуть, ни узнать.

Наутро Джесси проснулась, как всегда, в восемь часов и позвонила Герде, чтобы та несла воду и шоколад. Каждое утро ей подавались в постель чашечка шоколада и бокал холодной воды; если шоколад, случалось, оставался не тронутым,—воду Джесси выпивала охотно и с удовольствием. Вода Лисса, добываемая из подземных ключей, пенилась при сильной струе до белизны молока; на ее поверхности, уже после того как она отстоялась в бокале, став прозрачной, долгое время скакали мельчайшие брызги, а у края стекла шипели и лопались пузырьки. Джесси проснулась с веселой душой. Как вошла Герда, девушка начала болтать с ней о том, какие видела сны. Говоря, она смотрела на дверь и увидела, что блеск дверной ручки померк; ручка слегка повернулась.

— Я слышала голос и поняла, что ты не спишь,— сказала Моргиана, останавливаясь в дверях. Она взглянула на поднос, затем подошла к изголовью сестры и села против нее, а горничная ушла.

— Кого я вижу?! Сто лет не видались! — воскликнула Джесси.

Моргиана никогда не приходила утром в ее спальню, поэтому Джесси добродушно выразила свое удивление и прибавила:

— Мори, выпей воды. Не бойся, нам дадут еще, если я хорошенько попрошу Герду. В ее подвалах лучшие марки этого божественного напитка. Моргиана, не всматривайся в меня так, черт ума нет в моем бесстыдном лице... впрочем, что с тобой?

— Вялость... Джесси, позвони Флетчеру, чтобы нам прислали образцы обойных материй.

— Сделай милость, обойди кровать твоей сестры и поговори сама.

— Да? Но у меня немного болит горло.

— Встало ли солнце для Флетчера? — неохотно потянулась Джесси, берясь за телефонную трубку.

Она повернулась спиной к сестре, так как телефон был у другой стороны изголовья, на особой подставке. Моргиана смотрела на сбившиеся тяжелые волосы Джесси, на ее статные плечи и чистоту тени под кружевным вырезом. Почти с сожалением рассматривала она сестру. Джесси отвела волосы с уха и приложила к щеке слуховую трубку. В бокале играла вода, едва приметными брызгами дымясь над стеклянным краем.

Момент возник; действительность стала точной, как путь на высоте по канату. Книги, ваза с цветами мешали Моргиане отравить воду, не вставая с низкого кресла; и она поднялась, держа руку в кармане вязаной кофты. Там был крошечный пузырек с заранее отмеренной дозой. В это время Джесси назвала номер и, слегка повернув голову к сестре, не видя ее, сказала: «Не позвонить ли мне немного попозже?»

У Моргианы не было сил ответить. Она уже хотела сесть, как Джесси наклонила голову и поправила трубку, чтобы лучше слышать. По-видимому, с ней начали говорить. «Поступай, как будто никого нет, но скоро войдут»,— мелькнуло у Моргианы. Она взяла пузырек, вывернула пробку без скрипа и плавно повела руку с ядом к веселящейся пузырьками воде. Из склянки выпали капли, образовав в воде струи цвета стекла;

затем все получило обычный вид, лишь над бокалом исчез влажный дымок.

— Обойная контора Флетчера?—сказала Джесси.—Какая досада!

— Мори,—сказала она, внезапно оборачиваясь и, видя, что Моргиана, не успев сесть, стоит со слабой улыбкой, умолкла.—Ты что-то хотела сказать?—снова заговорила Джесси.—Ты уходишь?

Правая рука Моргианы, только что обессиленная злодейством, опустилась в карман. Моргиана села.

— Что сказал Флетчер?

— А, видишь ли, станция перепутала,—объяснила Джесси, придвигая воду к себе и держа ладонь над бокалом, чтобы ощутить холодок брызг.—Теперь попьем. Сестрица, отчего ты такая красная? Не досадуй, я позвоню, только попью. Но что с моей водицей?.. Смотри-ка!.. Она умерла!.. Была как шампанское, и вот—грустно молчит.

— Перестояла, Джесси. Хорошо ли пить газистую воду?

— Еще как. Ну, хлопнем. Нет, сперва шоколад. Нет, лучше вода.

Джесси подскочила к кровати и, взяв бокал, выпила почти все. Тогда Моргиану охватило резкое оживление; встав, она прошла несколько раз по спальне, рассуждая о рисунке обоев, исследуя, нет ли трещин на потолке, а затем, остановясь вдали, возле окна, начала говорить о том, как будет хорош дом после ремонта, как будет Джесси весело осенью, когда начнутся танцы и вечера. Возбуждение заставляло ее говорить, слушая саму себя.

— Мы получим образцы, Джесси, и тщательно, любовно, вместе с тобой обдумаем цвет и рисунок для каждого помещения. Все они должны быть различны и выдержаны каждое в своем духе. Покойный дядя часто жалел, что ему некогда заняться домом; он, как ты знаешь, увлекался делами и женщинами. Весь прошлый год мы собирались с тобой и ничего не сделали. Теперь только благодаря землетрясению... Я живо помню это утро, а ты? Как ты вскочила на подоконник и закричала! Все долго смеялись потом. «В самом деле,— подумала я тогда,—природа так равнодушна; немного сильнее, и город потерпел бы большое бедствие». Но природе прощают. Ты видела Хариту Мальком?

— Видела,— ответила Джесси полным печенья ртом и допила шоколад.— В фойе «Калипсо». Мне показали. Прошла спесивая, жуя славу. Сакраменто! В котором ухе звенит?

— В правом. Ее история с Тренганом наделала шума. А между тем «Зеленая флейта» — прелестное убежище, не для тех, конечно, кто ищет бесчестья и мишуры.

Джесси уже несколько минут слушала ее нервную речь с серьезным лицом, начиная тревожиться,— не означает ли многословие сестры приступа к желчной выходке или — еще хуже — к истерической сцене.

— Так я позвоню опять,— сказала она, подтягивая одеяло и берясь за телефон.— Контора, контора Флетчера. По поручению Моргианы Тренган. Очень рада. Ей требуются образцы новых рисунков. Неужели только вчера получены? Какая трагедия. Сейчас... Моргиана, они предлагают своего мастера!

— Откажи.

— Образцы пришлите,— продолжала Джесси,— но мастер уже нанят. Да, вы угадали. А где вы меня видели? Хорошо,— со смехом прибавила она, отставляя трубку; с ней говорил Флетчер, рискнувший отпустить комплимент.— Следовательно, пришлют. Мори, я тебя прогоню, так как хочу одеться!

— Джесси, еще одно,— сказала Моргиана, подходя к ней,— наши отношения были тяжелы, я знаю. Виновата, конечно, я, мои нервы. Теперь будем с тобой жить легко. Я говорю искренно.

Стыд свел ее губы в подобие фальшивой улыбки, но, стыдясь и презирая себя за подлость в эту минуту, она повторила:

— Совершенно искренно; и хотя мне нелегко в этом признаться,— я изуродована, Джесси. Так на меня и смотри, так объясняй все.

— Ну, отлично. Какая ты смешная, Моргуся! — поспешно сказала Джесси, утомясь словами сестры. Ее лицо выразило потерянность и просьбу не тревожить больше признаниями.— Я вижу, как изнурено твое лицо. Довольно об этом.

Моргиана стояла, опустив голову.

— Теперь все. Я ухожу,— сказала она.— Я, может быть, сегодня уеду. Ты будешь рада, надеюсь?

— Мори! — вскричала Джесси, вспыхнув, с внезапными слезами на глазах, полных упрека.

— Это я так... сорвалось. Прости! Следовательно, образцы мы получим.

Моргиана кивнула и вышла; закрыв дверь, она остановилась, прислушиваясь с больным наслаждением, как скрежещет в ней стыд бесцельной, истерической лжи; подло почувствовала она себя. «Вот, я сделала, я отравила ее. Этого не забыть, и я как будто оглушена. Джесси напилась навсегда. Яд выглянул, и вода умерла».

ГЛАВА VIII

Выйдя от Джесси, Моргиана закрыла дверь и отошла, крадучись, шага на три, чтобы прислушаться, не раздадутся ли крики или падение тела, в том случае, если яд подействует быстро. По отношению к яду у нее не было никаких гарантий, кроме слепого доверия и бешеной цены, заплаченной за него. Могли ее обмануть в ту и другую сторону: прислать строфант или чистую воду. От таких мыслей сильнейшие сомнения поразили ее; но мысль о воде перенести ей было труднее, чем немедленную смерть сестры. Сильно волнуясь, она поднялась в спальню и бросилась к окну — рассматривать флакон на свет солнца, как будто зрением могла узнать истину. «Нет, это не вода,— сказала Моргиана, догадываясь о существе жидкости не по ее виду, а тем чувством, какое подчас толкает разрезать свежее с виду яблоко, чтобы затем бросить его.— Не вода, но то самое».

Спрятав флакон в баул, чтобы впоследствии уничтожить его, Моргиана припомнила сцену в спальне. Улики исчезли, но если б возникло подозрение, что Джесси отравлена, этот визит, в связи с тем, что она же омрачила его, мог быть поставлен в улику. В ее пользу были — ее истерия и тяжелый характер, о чем она размышляла с облегчением, как о надежной защите.

Прошло так мало времени с момента, как она вышла от ничего не подозревавшей сестры, что Джесси — в рубашке, заспанная и теплая — назойливо представлялась ей. «Ты никогда не выйдешь замуж»,— сказала Моргиана. Более на эту тему она рассуждать не смогла: беспокойство, что Джесси уже мертва, такое сильное, что равнялось отчаянию, заставило

ее метнуться к звонку. Горничная явилась и ответила на ее вопрос о Джесси, что та отправилась принимать ванну. Тогда, сказав, чтобы ей принесли кофе наверх, Моргиана несколько успокоилась. Выпив три чашки кофе, она, по своему расшатанному состоянию, по внезапно набегающим злым слезам, увидела, что должна уехать сегодня,— быть вдали, как бы умыв руки значительным расстоянием. Немедленно принялась она собираться, вызвала прислугу, распорядилась готовить автомобиль и передать Джесси, что через час уезжает в «Зеленую флейту». «Постепенно первое, самое сильное впечатление отойдет,— рассуждала Моргиана.— Я — больная после кризиса, о котором знаю одна я».

Между тем, узнав, что сестра собралась ехать, Джесси захотела было пойти к ней, но раздумала; лишь велела сообщить себе, когда Моргиана выйдет садиться в автомобиль. «Бог с ней,— размышляла Джесси,— она правда несчастна до содрогания, потому что с такой страстью погрузилась в свое уродство, хотя я к ней привыкла и ничего особенного не нахожу. Особенное лишь то, что мы ни в чем не похожи. Пусть едет, так будет лучше для нее и меня».

Обычно автомобиль подавался к внутреннему подъезду, на аллею круглого цветника; так подан был и теперь. В это время Джесси получила от Моргианы записку с сообщением об отъезде и с приглашениями. «Она не хочет видеть меня»,— сказала Джесси и, рассердясь, решила не провожать Моргиану, но, как всегда, смилостивилась и пошла на подъезд. Стараясь быть веселой и приветливой, Джесси встретила выходящую, в сопровождении слуг с чемоданами, сестру, сказав: «Бежишь? В «Зеленую свою флейту»? Живи там спокойно и к нам заглядывай. Я приеду к тебе».

Она взяла Моргиану под руку и шла так, стараясь шагать нога в ногу.

Пристально взглянув на нее, Моргиана, удивясь сама себе, не смогла удержать улыбку. Хорошенькая, как цветок, девушка сияла ей глазами в глаза, надувая пузырем щеки и подмигивая. Улыбка утоленного зла сощурила глаза Моргианы, как нож, пробивший протянутую шалить детскую руку; по всему ее телу прошла мутная дрожь, и она стала далекой, бесчувственной; даже смогла сказать снисходительным тоном старшей: «Сообщай о себе; не забудь предупредить, если вздумаешь приехать. Будь здорова; прощай!»

Джесси заметила ее усилие говорить естественно и отпустила руку сестры. Чтобы отвлечься, она затеяла постоянную свою игру с шофером Слэкером, предварительно поцеловав Моргиану, которая уже усаживалась:

— Слэкер!

— Есть!

— Мотор?

— Есть!

— Бензин?

— Есть! — отвечал, уже помедлив, Слэкер; он был не совсем в духе, так как проигрался вчера.

— Контакт?

— Есть!

— Контракт?

— Есть!

— Задок?

— Есть и задок, есть и передок,— ответил сумрачно, всех рассмешив, Слэкер; однако на Джесси он сердиться не мог, почему прибавил: — О карбюраторе забыли спросить.

— Верно,— сказала Джесси,— есть карбюратор?

— Есть!

— Ну вот, Мори,— объявила Джесси, смотря на сестру против солнца из-под руки,— у него все есть! Так что ты ни в чем не будешь нуждаться. Отправляйтесь!

Автомобиль обогнул цветник и выехал за ворота. Сквозь решетку сада Джесси увидела, как Моргиана взглянула на нее из-под шляпы, и взгляд этот не понравился ей. «Ну, как хочет,— подумала Джесси, побледнев от внезапного гнева.— Она знает, что я могла бы сильно любить ее. Я вообще любить могу и хочу. Боже, неужели я рада, что она уехала?»

Став пасмурной, Джесси с достоинством выпрямилась, повернулась и вошла в дом.

ГЛАВА IX

Проводив сестру, Джесси не могла уже выйти из дурного настроения. «Нормальна ли Моргиана? Не следует ли им разъехаться навсегда?» С этой мыслью, никак не решая ее, она стала ходить по дому; хотя приготовления к ремонту ограничили ее прогулку, она

вознаградила себя тем, что посмотрела, как ставят леса и примеривают деревянные шаблоны для лепки карнизов. Наконец, усевшись в библиотеке, Джесси утвердила локти между романом и коробкой шоколада, изучая душевные движения по начертаниям автора, тронутого плесенью демонизма. Половину перелистав, половину прочтя, сказала она, зевая: «Чепуха. Вот чепуха!» — и уселась в кресло, охватив колени руками.

«Так я устала от нее»,— сказала Джесси, подразумевая сестру. Скучно и тускло было у нее на сердце, и ничего не хотелось. Между тем прекрасный день звал из всех окон к движению. В ответ его шумному блеску Джесси сидела и молчала, как упавший смычок.

Не желая распускаться, она взглянула на часы и ушла завтракать, но ела мало, причем пища казалась ей не такой вкусной, как всегда. Думая разогнать душевную оскомину ездой, она приказала заложить экипаж и выехала купить кружев. В экипаже Джесси сидела нахохлясь, прикусив губу. Мрачно рассматривала она толпу, не находя в ней ни забавных, ни живописных черт, ни материала для размышления. Подъезжая к магазину, она нашла покупки ненужными; рассердилась и приказала кучеру повернуть назад, что тот и сделал, выразив спиной изумление. Вскоре она увидела Еву Страттон, вышедшую из книжной лавки, окликнула ее и позвала ехать, причем та вначале отказывалась с шутливым возмущением, но, внимательно посмотрев на девушку и став серьезной, взобралась на сиденье.

— Я должна быть на одном частном докладе,— сказала Ева,— но вид твой мне не нравится. Ты, Джесси, бледна.

— Я чувствую, что мне нехорошо,— отозвалась, жалуясь, Джесси,— но не пойму. Не простужена, выспалась, а, между тем, хочется раздражаться.

Ева взяла ее руку, прохладную и вялую.

— Может быть, болит голова?

— Голова не болит, но ее давит. Слабость... Какая? Ничто не трясет, ни руки, ни ноги. Это даже не слабость, а гадость. Ты поймешь, если вспомнишь чувство от фальшивой ноты. Катценяммер.

— Я провожу тебя,— сказала Ева, подумав,— и если опоздаю на доклад, то буду в глубине души рада, так как обещала быть без особого желания. Я посижу у тебя дома. Бывают эти штуки и со мной от неизвест-

ной причины. Если твои нервы устоятся, поедем к Жемчужному водопаду? Вельгофт устраивает пикник.

Кивнув глазами в знак, что подумает, Джесси сказала:

— Хочу пить. Пить очень хочу. Вот и киоск. Остановитесь против этих бутылок! Мальчик, принеси мне апельсиновой воды!

Она с наслаждением осушила стакан и дала знак ехать.

— Когда уезжает твоя сестра?

— Сегодня уехала. Ева, я как-нибудь все расскажу тебе, но не сегодня. Так хорошо поплескивает внутри эта вода. Вот уж и лучше. Ясней видят глаза и спине легче. Ну-с, так что же у водопада?

Несколько оживясь, вступила она в обсуждение развлечений пикника, и, когда подъехала к дому, лицо ее стало опять полно света и свежести. Оставаясь задумчивой, она прилегла на диван, а Ева, наблюдая за ней, просматривала купленные сегодня книги и говорила о них.

— Намочи виски уксусом,— предложила она, заметив, что Джесси тычет пальцем в висок.

Девушка отрицательно качнула головой.

— Дай мне, пожалуйста, зеркало,— сказала она и, взяв от Евы ручное зеркало, внимательно рассмотрела себя. Бледность прошла, но зрачки расширились и запеклись губы.

С досадой отложив зеркало, Джесси стала думать о пикнике. Хотя уже шатнуло ее ветром отравы, живость ее воображения не померкла. Возможно ли не танцевать при свете факелов, на фоне брызг звезд и теней? Все это поманило Джесси; стараясь победить недомогание, она позвонила, скомандовав Эрмине принести вина и лимон. Услышав ее окрепший голос, Ева спросила:

— Тебе лучше?

— Если я не дам себе распуститься,— ответила Джесси,— к вечеру ничего не останется.

Опустив в вино ломтик лимона, она потолкла его ложечкой и, с вожделением посмотрев на стакан, стала пить маленькими глотками, приговаривая:

— Если хочешь быть счастливым, то питайся черносливом, и тогда в твоем желудке заведутся незабудки.

— Как? Как? — вскричала Ева, хохоча над рассудительным речитативом девушки.

— Заведутся незабудки,— повторила Джесси, утирая покрасневшие губы.

Самовнушение и вино поддержали ее. Через несколько времени Ева уехала, успокоенная относительно Джесси, так как та оживилась и выглядела теперь хорошо; а Джесси отправилась в туалетную комнату придумывать платье для пикника. Выбросив из шкафов их содержимое, она стала примерять платья и, в разгаре своих занятий, вдруг устала так, что у нее пропало желание бегать по траве. Вялость и печаль охватили ее. Не стерпев обиды, Джесси уронила голову на руки, расплакалась и, топая ногой, старалась усмирить негодование на несчастный день. Успокоясь, она сделалась опять тихой и безразличной ко всему, так же, как было утром.

За час до обеда к ней приехала Елизавета Вессон в сопровождении двух офицеров — Эльванса и Фергюсона. Елизавета Вессон, девушка двадцати шести лет, была неприятна Джесси за ее спокойное лицемерие и скучающий вид. Мало развеселили Джесси и спутники Вессон: самовлюбленный Эльванс и бессодержательный Фергюсон — словоохотливый человек, не владеющий искусством беседы. Елизавету подослала Ева, чтобы соблазнить Джесси ехать к Жемчужному водопаду.

Сославшись на нездоровье, Джесси решительно отказалась. Радуясь отказу, Елизавета выразила глубокое сожаление; искренне пожалели о неудаче своего визита Фергюсон и Эльванс, но в присутствии богатой Вессон, поклонниками которой состояли ради ее богатства, высказали свое сожаление сдержанно. Произошел обмен фразами, которыми, как гвоздями, сколачивают искусственное оживление. Оно стало более естественным, когда начались колкости. Очень довольная, что Джесси не будет на пикнике, Елизавета ласково заметила:

— Я страшно жалею дорогая; вы, правда, бледны, но среди трав и цветов выглядели бы гораздо лучше.

— Почему? — серьезно спросила Джесси.

Не отвечая, Елизавета стала кротко смеяться, взглядывая на мужчин, затем вздохнула и сказала, обращаясь к Эльвансу:

— Не правда ли, Джесси с ее милой безыскусственностью напоминает лесную фею?!

— Вот именно,— мрачно кивнула Джесси.

— Царицу лесных фей,— любезно согласился Эльванс, с намерением задеть Елизавету, выходка которой была ему неприятна.

— Мы в царстве фей,— заметил Фергюсон, не догадываясь, что этими словами, после сказанного Эльвансом, отводит Елизавете второстепенное место.

— Кажется, мы кончим экскурсией в мифологию,— вздохнула Елизавета,— для Джесси прямой выигрыш: там все дриады и нимфы.

«О, ты хитрый, белобрысый зигзаг!» — подумала Джесси, а вслух сказала:

— Жаль, Эльзи, что не могу сегодня составить вам выгодный контраст с моей «безыскусственностью».

Враг зашатался, но снова открыл огонь.

— О, Джесси, милая, я вам завидую! Вам посчастливилось найти какой-то средний путь между обществом и само... хотением. Будь у меня меньше знакомых, я тоже предпочла бы сидеть дома и читать что-нибудь... Например, «Одинокую красавицу» Аскорта или... Вообще, читать, мечтать...

Джесси подумала и небрежно сказала:

— Читать хорошо. Я купила интересную книгу «Роковой возраст». Не помню, кто автор.

Удар был нанесен крепко. Двадцатишестилетняя Елизавета Вессон умолкла и, нервно перебрав веер, предложила идти. Тут некстати Фергюсон начал запутанно описывать место, выбранное для пикника, всех утомил и был перебит Эльвансом, пожелавшим Джесси скорее поправиться. Прощаясь, девушки поцеловались и обменялись крепким рукопожатием. Наконец все ушли.

«Правда ли, что я бледна? — подумала Джесси, подходя к зеркалу.— Да, бледна; странно. Вероятно, теперь бледна, после Елизаветы. Этакая змея! Поехать с ней — несчастье; она под видом излияний начнет говорить гадости обо всех».

Тут позвонил телефон. Ева вызвала Джесси.

— Ну, ты уговорилась с Эльзи? — спросила Ева.

— Елизавета была,— сказала Джесси,— стала меня дразнить, а я ее отчитала. Хитрая, дрянная зацепа. Я им всем сказала, что не поеду. Здоровье? Я здорова; я только расстроена. Да, хотела ехать, а теперь не хочу. Но ты поедешь?

— Я собиралась ради тебя,— ответила, помолчав, Ева.— Я откажусь.

— Что так?

— Должно быть, я домосед. Другое дело, если бы поехала ты.

— Сложно, но непонятно. Ты добряша. Прощай пока; завтра поговорим!

Аппетит Джесси стал капризен,— за обедом она выпила стакан молока и съела пять апельсинов. Весь день в доме звучало эхо ремонта: стучали молотки, падали доски, хлопали двери. Она должна была терпеть этот шум, так как еще не решила, куда ехать летом. Скудный выбор ее упирался в «Зеленую флейту», но там жить она не хотела; поселиться же у знакомых, хотя бы самых интересных и милых, было не в ее характере. Ее звали к себе Регарды; кроме того, звал Тордул, отставной адмирал, имевший пять дочерей, которые все нравились Джесси, но не настолько, чтобы жить с ними под одной крышей. Еще Джесси ожидала письма из Гель-Гью, от школьной приятельницы. Если к той не явятся ее родственники, ожидаемые с покорностью существа, обреченного уступать, Джесси могла поехать в Гель-Гью.

ГЛАВА X

Когда жара спала, дышать стало легче. Почувствовав себя сносно, Джесси выехала за гавань, на морской берег, где лесная дорога, поднимаясь по скату, приводила к отвесной стене обрыва. Здесь, над развернувшимся морем, было ветрено и высоко; но еще выше шумели деревья; внизу шарил прибой; его белая полоса восходила и медленно соскальзывала с песка; там, под обрывом, пролегала нижняя дорога. Экипаж остановился у ручья, где кучер стал поить лошадей.

Отойдя к обрыву, Джесси ступила на заросший травой край скалистой стены. Присев, она взяла камень и кинула его. Камень понесся вниз и исчез; вдруг обнаружил себя, стукнув по кучам гальки; можно было различить сверху, как запрыгала галька. Джесси захотелось еще бросать камни. Она оглянулась на кучера, который смотрел в ее сторону, ей стало неловко забавляться при нем, и она ушла за деревья. Здесь ей никто не мешал. Собрав много камней, Джесси стала брать по одному и, замахиваясь по-женски, прямой рукой, кидала через голову в море. Камень шел вниз дугой,

исчезал; видны были затем только его скачки по стукающим, как горох, кучам. Джесси кинула изо всей силы камней десять, от чего заныло ее плечо. Вспомнив, как бросают мужчины, она стала подражать их манере,— зацепляя камень меж указательным и большим пальцами, а руку при броске сгибая в локте; но, при ее неумении, локоть ударял в бок, а камень вылетал с меньшей силой. Тогда стала она бросать по-прежнему, вертя руку в плече. Ей нравилось, что камни делаются как бы частью ее самой, живой частью, достигающей головокружительного низа. Вдруг порыв ветра, поддав сзади в затылок, сбил ее белую шляпу с атласной лентой, полетевшую прямо перед глазами прочь, за обрыв. Инстинктивно хватив рукой воздух, Джесси одно мгновенье была вне равновесия, так как потянулась вперед. Она откинулась всем телом назад и свалилась в траву, закрыв от страха глаза. Бездна заглянула в нее. Так она лежала, стиснув руки и зубы, пока не улеглось сердцебиение. Смерть пошутила.

Отдышавшись, Джесси сначала подобрала ноги, чтобы чувствовать их дальше от обрыва, отползла и лишь после того встала. Ветер растрепал волосы; они щекотали ее лицо. Укрепив прическу, Джесси явилась к экипажу без шляпы.

— Какой произошел случай,— сказала она кучеру,— большая птица, должно быть хищная, приняла ленту за чайку, стащила с меня шляпу и была такова!

Она знала, что тот немедленно вызвался бы искать пропажу, если бы узнал истину, но не хотела ни возни, ни препирательств. Кучер быстро осмотрел небо и рассказал случай с ребенком, которого потащил орел и бросил в квашню с тестом.

Джесси вернулась в город; она устала и ослабела. Мрачная, настроенная скептически, Джесси захотела увидеть Еву, дом которой был ей почти по пути. Джесси вошла в гостиную, где ее встретила Ева, сообщившая, что собралось несколько человек. Вечер вышел удачен; все оживлены, и вообще весело.

— Ты еще бледна,— сказала Ева.

— Опять я бледна?! — встревожилась Джесси.— Мне это уже сказали сегодня. Очень бледна?

— Не... очень. Что же с тобой? Покажи язык.

— Вот язык.— Джесси высунула чистый язык и увела его назад.— Прежде чем я войду, я сяду. Дай мне пить, пожалуйста.

— Сейчас. Но чего? Воды с лимоном? Есть лимонад.

— Дай много воды, немного с вином.

Ева вышла и принесла напиток сама. Утолив жажду, Джесси сказала:

— У меня ничего не болит, но я чувствую себя странно,— как будто подменили мое тело: оно не смеется. А внутри — преграда, доска.

— Теперь, когда Моргиана уехала, ты отдохнешь,— прямо сказала Ева.— Она зла и хитра.

Джесси выслушала это молча, понурясь; затем подняла расстроенное лицо, по которому к слабо улыбающемуся рту скользнула слеза.

— Ева, я отдохнула.

— Ты отойдешь, ты снова станешь сама собой,— говорила Ева, идя с ней и гладя ее по спине.— Мне хочется, чтобы ты вошла в наш кружок. Надеюсь, это будет кружок.

— Я потеряла шляпу,— сообщила, оживляясь, Джесси,— разве я не сказала? Ветром — с обрыва в океан, и она плавает там.

— Ужасно!

— Да, вот уж так.

Они вошли в небольшой зал, где было пять человек; только что взглянувший на часы Регард; Фаринг, знакомый Евы по ботаническому музею, и Гаренн, автор философских этюдов. Кроме мужчин Джесси увидела Мери Браун, служащую канцелярии музея, и Тизбу Кольбер, девушку с тяжелым лицом, полную и сосредоточенную; она была секретарем профессора Миллера.

Джесси вошла прищурясь, как это понравилось ей у одной дамы.

Ева познакомила ее со всеми, кроме Регарда, который сказал: «Очень жалею, что скоро должен уехать».

Как только Джесси вошла, она немедленно стала центром, что происходило всегда и к чему она не прилагала никаких усилий. Она сама чувствовала это по оттенку в улыбке мужчин, по тону краткого молчания, наступившего как бы случайно. Джесси немного смешалась, затем ей стало весело. Она встретила взгляды женщин и поняла, что на нее приятно смотреть. Затем общее равновесие, нарушенное свежим впечатлением, незаметно восстановилось, но уже «под знаком Джесси». Ева, слегка ревнуя, что еще не рас-

крывшая рта девушка оказалась главным лицом, сочла нужным начать разговор шуткой:

— Бедная девочка приехала без шляпы. Как это произошло, Джесси?

— О, так,— ответила Джесси не без кокетства,— ветер дунул, и шляпа полетела в море! — Вспомнив испуг, она серьезно прибавила: — Был момент очень неприятный. Я захотела ее схватить и чуть не полетела сама с обрыва. Стала падать, но все-таки упала назад.

— Вы очень испугались? — спросила Мери Браун.

— Да, очень. Кровь ударила в голову.

— Интересно,— произнесла Тизба Кольбер безразличным тоном взрослой, рассеянно наблюдающей ребячьи глупости.

— Да ты, оказывается, спаслась от смерти! — воскликнула, взволновавшись, Ева и, пересев к Джесси, взяла ее руку.— А ты говоришь об этом так просто. Я сама однажды чуть не попала под паровоз. Как он проскочил мимо меня — не могу даже представить; может быть, я проскочила сквозь паровоз. Спас, конечно, инстинкт, но решительного движения, каким спасаешься, никогда не припомнишь впоследствии.

Разговор об инстинкте постепенно перешел на животных. Джесси понравилось полное юмора лицо Фаринга, который начал смешить собеседников рассказом о проделках своей собаки. Но она с нетерпением ждала, когда он кончит, так как ее опять стала мучить жажда. Наконец Ева заметила, что Джесси водит языком по губам и, кивнув ей, увела в буфет, где присмотрела, чтобы Джесси напилась основательно. Она подозревала не больше как малярию. Выпив ледяной содовой, девушка успокоилась. Возвращаясь к обществу, Ева рассказала, что ждет недавно приехавшего по делам службы артиллерийского лейтенанта Финеаса Детрея, своего дальнего родственника по матери. Она отозвалась о нем как о недалеком и неинтересном человеке, причем Джесси поняла, что Ева удержалась от некрасивого слова «глуп».

Вернувшись, они застали Регарда на выходе: он прощался. Одновременно уходила Тизба Кольбер, сразу невзлюбившая Джесси и потерявшая надежду на обращение разговора к опытам профессора Миллера, в которых принимала участие. Выходя, Регард встретился в дверях с неизвестным офицером; ограничась

поклоном, он пошел к выходу, а офицер появился в кругу общего внимания.

Ева представила его, и он, медленно осматриваясь, сел. Джесси увидела человека лет двадцати восьми, среднего роста и правильного сложения. Темные волосы его были коротки и густы. Серые, свежие глаза вполне отвечали молчаливому выражению обыкновенного, здорового и простого лица, в котором не было, однако, ни самодовольства, ни грубости,— хорошее лицо честного человека. Кланяясь, он был несколько неуклюж, но улыбнулся, приподняв верхнюю губу, оттененную небольшими усами, так чисто и весело, как улыбается человек, совесть которого спокойна.

Сделав замечание о погоде, Детрей подумал, что перебил, может быть, интересный разговор, и приготовился слушать. В его беспритязательной готовности немедленно сойти на второй план было что-то не освобождающее внимания, а, напротив, усиливающее внимание к нему, отчего некоторое время все ждали, что заговорит он, но он молчал.

Присутствие офицера, хотя бы и родственника, казалось Еве деликатным убожеством. Так как Фаринг начал сообщать Гаренну политическую сплетню, Ева, в качестве противоядия незатейливому присутствию Детрея, вернулась к вопросу, обсуждение которого полагала недоступным для артиллерийского лейтенанта.

— Сегодня вы начали, но не договорили о дружбе,— сказала она Гаренну.— Тебя это интересовало, Джесси,— помнишь ваши беседы? Ну, Гаренн, конечно, ваша циническая теория должна быть расщипана. Мы с Джесси пойдем на вас в штыки.

— Я думал, что высказался вполне,— ответил Гаренн.— В настоящее время моменты дружбы существуют за трапезой, в крупных банкротствах да еще между панегиристом и юбиляром.

— Женщины легко делаются приятельницами,— сказала Мери Браун,— а у мужчин это связано, очевидно, с хорошим обедом.

— Приятели — особое дело,— заметил Фаринг.— Приятельство — простой промысел, иногда очень выгодный.

— Женщина и мужчина делаются друзьями в браке,— сообщила Ева,— если же этого не происходит, вина не на нашей стороне. Джесси хочет что-то сказать.

— Что же сказать,— ответила девушка.— Чего хочется, то должно быть. Раз ее хочется — такой горячей дружбы,— значит, она где-то есть. А так хочется иногда!

— Вы правы! — неожиданно ответил Детрей.

Все взглянули на него, ожидая развития этих слов, но он, считая свою роль оконченной, снова приготовился слушать. Молчание тянулось, пока Ева не сказала Детрею:

— Детрей, жестоко отделываться парой слов; мы ждем.

Он усмехнулся и слегка покраснел. Его мысль о любви-дружбе была совершенно ясна ему, но так сложна, что выразить ее он не мог.

— Я имею в виду женщину-подругу,— сказал он свою мысль словами, слабо напоминающими действительную его мысль о близости незаметной и неразрывной.— Для мужчины это совершенно необходимо.

Джесси с удивлением посмотрела на него.

— Вы ошиблись,— мягко сказала она,— я не о том... не то хотела сказать.

— В таком случае прошу меня извинить,— быстро ответил Детрей. Он смутился.

— Я хотела сказать,— продолжала Джесси,— что где-нибудь настоящая дружба существует и интересно бы на нее посмотреть.

— Конечно,— сказал Детрей, снова становясь в тень.

Джесси с досадой повернулась к Гаренну, который, помедлив, заговорил:

— Когда я думаю о женщине-друге, не о жене, не о возлюбленной, а о друге, в охлаждающем смысле этого слова, мне неизменно представляется лицо Джиоконды. Довольно трудно говорить о ней, не имея перед глазами...

— Но она есть,— сказала Ева.— Я принесу миниатюру, копию, купленную Страттоном в Генуе. По общему мнению, сходство с оригиналом велико.

Довольная, что разговор поднялся на прежнюю высоту, тем отстраняя участие в нем Детрея, которого следовало наказать за его грубую, архаическую профессию, Ева ушла, а Гаренн сделал еще несколько замечаний о дружбе, доказывающих его мнение о ней как о красивой ненормальности. Ева принесла картинку в бархатной рамке, величиной с книгу. Все осмотрели

знаменитые поджатые губы Джиоконды. Когда пришла очередь Детрея, он взглянул на изображение и сказал, передавая миниатюру Джесси:

— Да, очень похожа. Я видел портрет этой женщины на папиросных коробках.

Ева вздрогнула, а Джесси притворилась, что не слышит. Между тем она была в восхищении.

Наступило сосредоточенное молчание.

— Портрет изумителен,— продолжал Гаренн.— Существует мнение, что художник имел в виду некий синтез. Но, тем не менее, перед нами лицо с тонкой и сильной, почти мускульно выраженной духовностью, которая не может удовлетвориться дружбой женщины. В этих чертах я вижу знак равенства между нею и неизвестным, достойным. Совет, помощь, анализ и руководство, хладнокровие и мудрость — все дано в этом лице и позе, выражающих замкнутое совершенство.

Он продолжал в том же духе пристрастной импровизации, доказывая, что, желая женщину-друга, мужчина ищет качеств, мысль о которых возникает перед лицом Джиоконды.

Фаринг согласился с ним, так как не имел собственного суждения. Мери заметила, что Джиоконда не очень красива. Ева весело и возбужденно выжидала сказать, что «Джиоконда не портрет, а мировоззрение». Наконец она сказала это.

— Вероятно, мы кажемся вам очень скучны, Детрей,— прибавила она,— со своими рассуждениями о давно умершей итальянке?

— Напротив,— Детрей взял снова картинку и внимательно ее рассмотрел.— Нет скуки в таком опасном лице. Женщина, изображенная здесь, опасна.

— Почему? — спросила Ева с удовольствием.

— Мне кажется, что она может предать и отравить.

Гаренн тревожно вздохнул; Ева досадовала; Мери посмотрела на Еву и Гаренна; Фаринг, хотя был равнодушен к искусству, нашел мнение Детрея неприличным, а Джесси рассмеялась. Ответом Детрею было молчание; он правильно понял его, выбранил себя и, положив картинку, снова приготовился слушать.

Джесси стало его жаль, поэтому она сочла нужным вступиться.

— Вы правы,— громко сказала она, всех удивив своими словами,— точно такое же впечатление у меня.

Эта женщина напоминает дурную мысль, преступную, может быть, спрятанную, как анонимное письмо, в букет из мака и белены. Посмотрите на ее сладкий, кошачий рот!

— Джесси! Джесси! — воззвала Ева.

— Вы шутите! — сказал Гаренн.

— Как же я могу шутить? Я всегда говорю, что думаю, если спор.

— Джесси не лукавит,— вздохнула Ева, любуясь ее порозовевшим лицом,— но как все мы различны!

— Я вам очень признателен,— сказал Детрей, отрывисто поклонившись девушке.— Теперь мой левый фланг имеет прикрытие.

— А правый? — возразил Гаренн, сидевший по правую сторону от Детрея.— Я выстрелю. Вы попросту клеветник, хотя, разумеется, честный, как и ваша пылкая соумышленница. Эпоха, когда жил да Винчи,— эпоха жестокости и интриг,— невольно соединяется вами с лицом портрета.

— Положим,— возразила Мери,— а «Беатриче» Гвидо Рени?

Джесси сказала:

— Приятную женщину не мог нарисовать человек, смотревший на казни ради изучения судорог; он же позолотил мальчика, и был он вял, как вареная рыба. Я не люблю этого хитрого умозрителя, вашего Винчи.

— Искусство выше личного поведения,— заметил Фаринг.

— Выше или ниже,— все равно,— объявила Джесси, успокаиваясь.— Мне нравится Венера. Та — женщина. Большая, отрадная, теплая. Если бы у нее были руки, она не была бы так интересна.

— Венера Милосская,— сказал Гаренн.— По преданию, царь Милоса велел отрубить ей руки за то, что видел во сне, будто она душит его. Успокоительная женщина!

Джесси залилась смехом.

— Отбил, я думаю, сам скульптор,— сказала девушка сквозь кашель и смех.— Он думал сделать лучше, но не успел. Ева, у меня разболелась голова, и я поеду домой.— Она коснулась волос.— Смотри, я забыла, что шляпу мою сдунуло в море!

— Вот странная вещь,— воскликнул Детрей,— вы потеряли шляпу, а я нашел шляпу. Я ехал от Ламмерика нижней дорогой и увидел на щебне шляпу с белой лентой.

Вскочив от изумления, Джесси уставилась на Детрея огромными глазами.

— Так неужто моя?! — сказала она со стоном и смехом.

Не менее взволнованный, Детрей заявил:

— Сейчас вы ее увидите. Я хотел сказать, как пришел, но заговорился. Неужели я нашел вашу шляпу? Она в передней, завернута. Она цела.

Он быстро вышел.

— Если так,— сказала Ева,— то ты, Джесси, дочь Поликрата!

— Ах, я хочу, чтобы это была не моя! — сердито сказала Джесси, устав от неожиданности и, в то же время, нетерпеливо ожидая возвращения Детрея.

— Почему? — спросил Гаренн.

— Нипочему. Так.

В это время вошел Детрей; развернув газету, он показал, при общем веселом недоумении, подлинную шляпу Джесси. Она была цела, чуть лишь запылена.

Как ни усиливалась девушка быть иронически признательной, все же должна была рассказать Детрею историю со шляпой. Она сделала это, кусая губы, так как ей стало смешно. Найдя все происшедшее очень странным, Джесси под конец расхохоталась и, блестя глазами, надела неожиданную находку.

Торопливо простясь со всеми, Джесси вышла и приехала домой к одиннадцати часам. По приезде она немедленно потребовала воды; у нее была нехорошая, больная жажда. Немного отдохнув, но все еще слабая и неспокойная, девушка разделась и, накинув пеньюар, села к зеркалу расчесать волосы.

«Какая скверная бледность»,— сказала Джесси, наклоняясь, чтобы лучше рассмотреть себя. До сих пор ее болезненные ощущения были смутны, но вид бледности заставил ее почувствовать их отчетливее. Тревога, подавленность, тяжесть в висках,— чего никогда не было с ней,— испугали Джесси мыслью о серьезном заболевании. Одновременно и тоскливо думала она о Детрее, шляпе и Джиоконде. Эти мысли бродили без участия воли; она лениво отмечала их, допуская, что могут явиться еще разные другие мысли, прогнать которые она бессильна. Джесси не знала, что ее организм погружен в единственно важное теперь для него дело — борьбу с ядом. Бессознательно участвуя в этой борьбе, она отсутствовала в мыслях своих и не могла

управлять ими. Хотя были они нормальны, но проходили со странной торжественностью.

Надеясь, что все кончится сном, Джесси улеглась в постель; беспокойно ворочаясь, заснула она с трудом. Несколько раз она просыпалась в состоянии дремучей сонливости, жадно пила воду и, ослабев, укладывалась опять, то сбрасывая одеяло, то плотно закутываясь. Сны ее были ярки и тяжелы.

Проснувшись окончательно в шесть, Джесси поняла, что заболела, и приказала горничной вызвать к телефону Еву Страттон; взяв поданную ей в постель трубку, Джесси попросила прислугу Евы передать той, что просит ее приехать, как только встанет.

Ева приехала в семь часов. Они посоветовались и решили вызвать доктора Сурдрега, одного из лучших врачей Лисса.

ГЛАВА XI

Происшествие со шляпой Джесси заняло гостей Евы, по крайней мере, на полчаса; всех удивляло редкое совпадение. Сам Детрей был приятно озадачен этим веселым случаем; затем ему показалось, что все подшучивают над ним. Его приподнятое настроение исчезло, тем более, что хозяйка улыбалась, но о находке не упоминала. Действительно, Ева Страттон, мечтающая о вечерах страстных, горячих споров, насыщенных сложной работой мысли,— после которых все кажется значительным, как в судебном процессе,— получила вместо того офицера и шляпу. Она строптиво решила приглашать отныне людей только «взыскующих града». При ее возрасте это был, конечно, особый вид ребячества, объясняемый неудачным браком, но Ева серьезно относилась к своим этим стремлениям и уважала себя за них, а Детрея не уважала, что он скоро если не почувствовал, то подумал.

Раздумывая над этим, Детрей приписал все шляпе Джесси, но не мог понять сложного хода женской мысли, а потому нашел, что, по-видимому, пора уходить. Он встал; желая смягчить самоё себя, так как была виновата, Ева прошла с ним к выходу. Оба думали об одном и том же, а потому, желая выцарапать романтический штрих, Ева сказала:

— Вам понравилась моя Джесси?

— Да,— не сразу ответил Детрей, прямо смотря на Еву и неловко, но открыто смеясь,— да, очень понравилась. Удивительно милая и особенная.

— Вы красноречивы,— заметила Ева, качая головой.— Но не рассчитывайте, что я скажу ей об этом.

— Конечно! — воскликнул Детрей с испугом.— Я надеюсь. Тем более, что вы с ней очень подходите друг к другу.

— Тем более?..

— Право, Ева, я разучился, за три года в Покете, не только говорить, но и думать. Я могу спутать такие слова, как «бак, мак и табак».

— Да,— сказала Ева серьезно, ничуть не упрекая себя за выдумку,— Джесси Тренган прекрасная девушка. Кое-кто медлит, но я уверена, что осенью она обвенчается.

Детрей со смехом поцеловал Еве руку.

— Всякая история имеет конец,— сказал он,— будем надеяться, что история Джесси окончится благополучно и скоро.

— Если захотите увидеть меня, пользуйтесь телефоном. Уговоримся. Вы не скучали?

— Нет. Я с большим интересом слушал. В Покете мы плохо себя ведем,— жизнь и служба однообразны.

— Но стройны, как ваш мундир? Мое представление о военной службе таково: прямая линия и «ура»!

— До известной степени,— ответил Детрей, морщась.— Прощайте!

Они расстались, Детрей жил в Ламмерике, в деревенской гостинице, заканчивая топографические поручения относительно окрестностей и реки. Солдаты, приехавшие с ним, квартировали в домиках местных жителей. Было поздно возвращаться домой, тем более, что поднялся ветер и звезды исчезли.

Выйдя на улицу, Детрей отвязал лошадь, привязанную возле подъезда, и, утвердясь в седле, поехал шагом, размышляя о Джесси.

«Да, я не встречал таких девушек,— сказал Детрей сам себе.— А теперь я знаю, что они есть. Она может поманить — и пойдешь, пойдешь далеко,— за тысячи миль. Вот на редкость славная девушка!»

Он перебрал все женские знакомства, отпущенные ему судьбой, и только в трех случаях нашел отдаленные черты, чем-то напоминающие Джесси; причем один случай падал, странно сказать, на старушку, вто-

рой — на малолетнюю девочку и лишь третий соответствовал возрасту Джесси. Это была жена капитана Гойля, сердечная и нервная женщина, которая иногда бегала по столу. На вопрос, зачем ей это нужно, она отвечала: «Не знаю, но в домашней обстановке это действует освежительно. Вы попробуйте». Старушка, о которой мы упомянули, была некогда его квартирной хозяйкой; она сама приносила обед; ее когда-то красивая, а теперь сухая рука дрожала, ставя тарелку, и она произносила одни и те же неизменные, торжественные слова: «Кушай, голубчик». После такого обращения Детрей съедал все, как бы много она ни ставила. Что касается девочки, то ей едва ли было три года, и он ее никогда ранее не видал. Девочка, опередив няньку, решительно пошла навстречу Детрею и, охватив его ноги, сказала тоненьким, убедительным голосом: «Дядя, пойдем к нам».

Все остальные его встречи были развлечением или обязанностью.

Решив провести ночь в городе, Детрей, однако, спать еще не хотел. К его услугам всегда был диван одной из полковых канцелярий; он поехал туда, убедился, что его место не занято никаким странником, и, потолковав с дежурным о новостях завтрашнего приказа, отправился в дивизионный клуб. Недавно все получили жалованье, а потому народу было много в баре и в карточной. Детрею было приятно ходить среди охмелевших групп со своим особенным настроением, о котором никто не знает. Он встретил знакомых, между ними — бывшего сослуживца Тирнаура, и сел с ним за отдельный стол.

— Итак, вы еще не женились, — сказал Тирнаур, плотный человек с веселыми, соглашающимися глазами, смотря на руки Детрея.

— Нет, как и вы...

— Я был близок, — ответил Тирнаур, — не знаю, жалею я или нет, что дело расстроилось.

— Самые эти слова ваши подозрительны, — сказал, подходя к нему, худой, белокурый офицер в пенсне. — Я вас встречал, — обратился он к Детрею, — в суде, вы были свидетелем.

— О, да, — сказал Детрей, вспомнив имя офицера. — Садитесь за наш стол, Безант.

— Вчера я дал слово больше никогда не играть, — сообщил Безант, усаживаясь, — но сегодня я как-то

забыл об этом. А мои партнеры не знали, и, черт меня побери, если я еще когда-нибудь буду прикупать к пиковому тузу!

— Я слышал, что Джонни Рокерт прикупал не с бо́льшим успехом,— сказал Тирнаур.

— Гораздо успешнее. Его выручила жена, сказав по телефону, что в доме пожар.

— Но в следующий раз она должна будет вызвать землетрясение?

— Она сделает больше, чего нельзя сказать об Анне Сульфид, которая проигрывает все жалованье своего мужа.

— Все в своем роде хороши. Но что же мы будем пить?

— Я приказал подать бутылку рома,— сообщил Детрей.

— Вы оптимист,— сказал Тирнаур,— я не так самонадеян и ограничусь шампанским.

— Дайте виски и соды,— обратился к слуге Безант, а затем окликнул молодого артиллериста, который, засунув руки в карманы, проходил мимо с сосредоточенным видом:

— Не хотите ли посидеть с нами, Леклей?

— Хочу,— сказал артиллерист и уселся.

Все эти люди были знакомы друг с другом; Леклей пожал руку Детрея и был отрекомендован ему Безантом как лучший стрелок по голубиным садкам. После того все принялись пить.

— Покончим с этим и составим партию в винт,— предложил Тирнаур.

— Я согласен,— сказал Детрей.

— Не лучше ли поставить в баккара?— спросил Безант.— Слышите, какой шум!

— Там мечет фон Вирт,— сообщил Леклей вскользь и со значением.

— А!— сказал Безант, и все умолкли.

— Детрей, расскажите о Медалуте,— обратился Тирнаур.— Ему предсказывали, по крайней мере, дивизию. О нем не слышно теперь.

— Медалут застрелился,— сказал Детрей.

— Не может быть!— вскричали слушатели.

Детрей продолжал:

— Медалут был послан в Гель-Гью ревизовать оружейные мастерские и среди хлама нашел старинный пистолет. Он обратил внимание, что не может разгля-

деть травку фамилии мастера. Через месяц он был вынужден обратиться к врачам, и ему предсказали, что он может ослепнуть. Некоторое время он курил опиум; потом зарядил пистолет пулей и покончил с собой.

— Однако! — сказал Безант.

Дым четырех сигар застлал лица беседующих.

— Я знал его,— проговорил Тирнаур.— Ему всегда что-то мешало жить, хотя он участвовал в шести экспедициях и не был ни разу ранен. Как твои малютки, Леклей?

— Как всегда; и, как всегда, ждут.

— Вот мысль,— сказал Безант,— дело идет, я вижу, о Розите и Мерседес. Я страшно давно не был в их доме.

— Что скажете вы, Детрей, так проницательно улыбнувшийся? — спросил Тирнаур.

— Лучше я буду с вами, чем мне вступать в тщетную борьбу с пружинами клеенчатого дивана,— сказал Детрей.— Я живу в Ламмерике и пристроился на эту ночь в канцелярии.

— В таком случае устроим сбор,— предложил, воодушевляясь, Безант.— Хотя я и прикупал к пиковому тузу, однако начну первым.

Он положил на тарелку золотую монету; все остальные сделали то же самое. Слуге было наказано уложить в корзину сыр, фрукты, консервы, конфеты и двенадцать бутылок; затем все это слуга снес в автомобиль Безанта, и компания отправилась на шоссе, среди садов которого находился дом с обещанными Леклеем Розитой и Мерседес. Когда Детрей усаживался, ему что-то мешало отдаться беспечной болтовне, как если бы он ехал прямо от Евы Страттон. Но автомобиль выругался, и ощущение помехи исчезло.

Проехав мимо кавалерийских казарм, автомобиль кинулся влево, на глухие огни окраины, и, резко вертя руль на поворотах, Безант доставил компанию к началу шоссе, где стоял скрытый деревьями одноэтажный кирпичный дом, погруженный во тьму.

Машина остановилась, и, как только ее шум затих, путешественники увидели, что по щелям веранды пересеклись линии света.

— Они еще не спят,— сказал Безант, входя на веранду.

Окно открылось, и в нем показалась полуодетая женщина; прикрывшись веером, она крикнула:

— Уже неделя, как мы питаемся только одной яичницей!

— Неужели? — сказал Тирнаур.

— Ах, это вы, Тирнаур! Розита дома. Розита, неужели ты спишь?

— Пусть они подождут, пока я оденусь! — донесся из глубины женский голос.

Леклей с Детреем внесли корзину и поставили посредине веранды.

— Корзина! — вскричала невидимая Розита, которая сама отлично видела все.— Тут что-то есть!

— Да, это не яичница,— сказал Тирнаур.

— Тирнаур — хороший! Тирнаур — ангел! — закричали женщины, и окно опустело, а офицеры уселись на перилах и стульях, прислушиваясь к суете за окном, которая скоро кончилась; Розита открыла дверь и впустила гостей.

Розита и Мерседес были цирковые наездницы, которые отстали от труппы благодаря неверному покровительству одного местного богача, зажились и разленились. Мерседес, двадцати шести лет, выше среднего роста, была раздражительна, смугла и черноволоса; Розита, в противовес ей, сметливая и покладистая, имела рыжие волосы и скромное лицо с толстыми губами, выдающими африканского предка. Они вышли к гостям в приличных муслиновых платьях; на Розите было розовое, на Мерседес — голубое.

— Что же, вы нас будете угощать яичницей? — спросил Леклей.

— Не хотите же вы, чтобы мы сами стряпали! — ответила Мерседес.— Наша прислуга Салли ушла на всю ночь, а другой прислуги мы не имеем. Съедим, что привезено.

Они расправили скатерть, на которой валялись карты, и погрузили руки в корзину, а Детрей сел в стороне, осматриваясь. Хотя его уже познакомили с хозяйками, они еще не признавали его заслуживающим внимания, так как не он был главным лицом. Тон давали Тирнаур и Леклей.

Поэтому Детрей сел, осматривая большое помещение, служившее одновременно гостиной и столовой; в углу шел проход ко второй комнате, где стояли кровати, а третья, справа от веранды, была пуста и лишена мебели. В углу помещалось пианино; два кресла у туалетного стола, заваленного банками и аль-

бомами; по стенам были прибиты веера и куски тканей; несколько вееров валялись на ковровом диване. За спиной Детрея белый с розовым какаду перевернулся в кольце и, проскрипев клювом, сказал с заученным выражением: «Алло, старый дурак!»

Стараясь не обращать на себя внимания, Детрей воспользовался тем, что Мерседес отправилась с Безантом ставить автомобиль, для чего следовало открыть ворота, иначе мошенники могли увести машину, а Тирнаур и Леклей передавали Розите бутылки, и вышел через пустую комнату на двор к кухне. Она оказалась не запертой. Детрей усмехнулся, открыл дверь и разыскал свечу, которую тотчас зажег. В углу кухни стоял ящик, набитый соломой и яйцами, так что Мерседес была безусловно права. Кучи яичной скорлупы валялись вдоль стен, привлекая рои мух.

Индивидуальная вылазка Детрея объяснялась тем, что он страшно проголодался, кроме того, он хотел сделать сюрприз компании, подав пламенную яичницу, кроме сыра и ветчины, по существу скучных. Разыскав связку лука, Детрей очистил две луковицы, искрошил, перемешал на большой сковороде с солью, полил месиво сливочным маслом из плетеной бутылки, разбил десятка два яиц; после того он зажег патентованную спиртовку и поставил сковородку на венок синих огней. Вся процедура заняла не более десяти минут; уже яичница шипела и пузырилась, как за спиной Детрея раздались глубокомысленные слова: «Главное, чтобы не подгорела». Он обернулся, увидев Безанта, Тирнаура, Леклея, Розиту и Мерседес; все они почтительно выстроившись, наблюдали стряпню.

— Смотрите не передержите,— сказал Тирнаур.— По всем справочникам яичница не должна жариться долее четырех минут.

— Да, без лука,— возразил Детрей.

— Ах, она с луком! — сказал Безант,— в таком случае можете мне не ставить прибор.

— Боже мой! Опять нас на ту же диету! — вскричала Розита,— но вы, в наказание, съедите ее сами всю!

— Ну, я ему помогу,— сказала Мерседес.

— И я! — воскликнул Леклей.— Я тоже хочу яичницы!

— Пустите, теперь мы достряпаем,— заявила Розита и оттеснила Детрея.

Наконец сковорода была перенесена в комнату, и кушанье разошлось по тарелкам, причем женщины ежеминутно вскакивали, спохватываясь о вещах, которые, по безалаберности их жизни, находились в разных углах; с трудом разыскали ложки и ножи. Однако механический штопор лежал на видном месте, и Леклей открыл все бутылки; вино ударило в головы, и попойка, а с ней разноголосая болтовня прочно утвердились в тихом доме на безлюдном шоссе. Но Детрей, хотя он и делал усилия попасть в тон, не был ни пьян, ни свой здесь; никто не знал этого; он это чувствовал сам.

Сыграв на мандолине две арии, Детрей встал с дивана и перешел в кресло; на столике перед ним лежал тяжелый альбом. Едва он раскрыл его, как Мерседес, внимание которой к этому человеку внезапно усилилось, подошла и, став у его плеча, сзади, добродушно сказала:

— Какой грустный! Устал от яичницы! Что же, вы не прочь поухаживать?

— Поухаживать... За кем?—рассеянно ответил Детрей.

Она стояла совсем близко, так что его плечу стало тепло. Однако ощущение таинственного подарка не покидало Детрея, и он был снова такой, каким вышел от Евы Страттон.

— Ну, разумеется, если я говорю с вами...

Мерседес не договорила и отодвинулась.

— Тирнаур весь вечер вспоминал вас,—сказал Детрей и перевернул страницу альбома.

— Вот это я, с обручем,—сообщила Мерседес, раздраженно дыша, от чего ее слова стали отрывисты.— Это же я, с лошадью. Там—Розита. Она же в пантомиме «Щуки и караси». Хотите вина? Нет?! Ну, вас не поймешь.

Мерседес ушла, размахивая веером, как мечом. Детрей оглянулся и увидел, что она, подбоченясь, наливает себе полный стакан; в это время Розита, сидя между Безантом и Леклеем, заставляла угадать, в какой руке у нее орех.

Детрей, несколько смущенный, присоединился к обществу. Взглянув на него пустыми глазами, Мерседес выпила еще один стакан и с силой выдернула бутылку из рук Тирнаура, который хотел помешать ей налить третий. Впрочем, бутылка была почти пуста, и она бросила ее через плечо. Попугай крикнул: «Выпьем, черт побери!»—и разразился хохотом.

— Теперь она будет скандалить,— шепнул Тирнаур Детрею,— увы, постоянная история.

Мерседес была бледна и молчала. Все посмотрели на нее. Вдруг она сорвала скатерть со стола так быстро и ловко, что гости едва успели вскочить,— и все бутылки, стаканы, сковорода,— весь ералаш пьяного угощения с грохотом слетел на пол.

— Напилась-таки?— злобно сказала Розита, стирая с платья брызги вина.— У! Я тебя ненавижу!

— Пусть он уйдет! Пусть уйдет!— взвизгивала Мерседес, вырываясь из сдерживающих объятий Тирнаура.— Как он смел распоряжаться на кухне?! Он подлец! Зачем его привели? Пусть убирается ко всем чертям или я сию минуту зарежусь!

— Да, надо уходить,— сказал Безанту Детрей.— Когда я уйду, она успокоится.

— Что-нибудь произошло между вами?— осведомился Леклей.

— Решительно ничего!

Между тем скандалистку уговорили выйти в соседнюю комнату. Уходя, Детрей заглянул туда и увидел, что Мерседес, мрачно всхлипывая, курит, сидя на стуле рядом с Розитой, которая ее уговаривала и утешала. По-видимому, мир был уже недалек.

— Убрался этот?— сказала Мерседес подруге.

— Уже ушел,— сказала Розита.— Напудрись и иди туда. Ведь просто смешно!

— У-у, негодяй,— прошипела Мерседес, стуча кулаком по колену.

Детрей поморщился и, распростившись с приятелями, вышел на шоссе. Немного светало; когда через полчаса он явился к канцелярии, где хотел ночевать, наступило утро. Сев на свою лошадь, Детрей поскакал в Ламмерик. Чувствуя, что сегодня работать не способен, он, приехав домой, опустил шторы, разделся и моментально уснул.

ГЛАВА XII

Природа обычно ставит противовес безобразию человека в самих чувствах его; если хотя что-нибудь хорошо у обойденного привлекательностью,— глаза, ноги, волосы или голос, ему часто довольно и этого утешения. Иные награждены беспечностью или же

добротой и умом. Наконец, самообольщение, внушение себе обладания качествами иного порядка: талантом, тонкостью, оригинальностью, способностью вызывать безотчетную симпатию. Безобразие уступает, сглаживается, если такие качества существуют действительно; если же их нет, не редкость встретить грустное снисхождение к слепоте и грубости окружающих.

Этот более чем сложный вопрос решается привычкой, самомнением и благородством, безотносительно к результатам решения. Исключения трагичны и редки; такое исключение составляла Моргиана Тренган, знавшая себя без иллюзий, с точным пониманием, чем стала бы ее жизнь, будь она нормальной молодой женщиной, и с сознанием телесной тюрьмы, которая так же изуродовала ее, как это бывает со страстным и злым узником, посаженным на всю жизнь.

Моргиана выехала в «Зеленую флейту» с решением не возвращаться до окончательного ухудшения здоровья Джесси. Неизбежность провести несколько последних дней возле постели отравленной сестры мало страшила ее в том смысле, что она могла бы выдать себя или навлечь подозрение. Никто не ожидал от нее ни рыданий, ни бурного горя, и, при странностях ее характера, такие естественные чувства могли бы вызвать недоумение. Сдержанность и печаль — вот была вся ее несложная роль, тем более, что отравление сделало для нее Джесси чужой. Давно уже Джесси была не сестра ей, а боль в образе молодой, красивой девушки. Она думала теперь о Джесси, как о прошедшей боли. Моргиана много раз убивала и хоронила ее. Действительность не была разительней ее страшных грез,— была она проста и черна, как проколовшая бумагу точка, поставленная в конце письма, полного ненависти. Что ненависть и любовь сродни,— неверное мнение; его единственная ценность в том, что оно заставляет думать. Любовь есть любовь.

Моргиана была оглушена и спокойна. Постепенно ее дыхание стало глубже, движения увереннее; у нее не было полного сознания происшедшего, и она не добивалась его. Устав от волнений, она начала думать о недалеком богатстве, так как после смерти сестры ей предстояло получить такую сумму, с которой легки всякие перемены. Уже обдумала она, как поступить, если ее замучит раскаяние; на этот случай она решила

обратиться к гипнотизеру и, не жалея денег, заставить себя забыть. Перспектива денег оживила ее; хотя не это она имела в виду, подготовляя смерть Джесси, но богатство естественно вытекало из преступления. Она могла уехать в другую часть света, внимательно изучить общество мужчин и заставить одного из них сносить ее безобразие. Остановясь на мелькании этого тайного острия души, она подумала, что есть смысл купить безвольного, красивого человека и, снисходительно разглаживая его усы, прислушиваться, как будет он лгать ей тоном, голосом, словами и всем своим существом, постепенно сам уродуясь внутри себя по ее образу. Моргиана повеселела немного, развивая подробности; потом сникла, настроение ее упало, и она занялась рассматриванием окрестностей.

Наступила реакция. С угрюмой и бесплодной иронией Моргиана наблюдала смену пейзажей. Упадок вызвал физически тревожное состояние, и, смешивая его с тревогой душевной, она стала искать поводов для нее. Отразив всю подозрительность, свойственную преступнику, она припомнила, как влила яд, сцену с Джесси, лицо прислуги, и как ни старалась заметить опасность, ее не было,— ни в ее словах, ни в движениях; единственно — переставший пениться стакан мог бы заставить Джесси впоследствии задуматься над странным утренним визитом сестры. Но разрешение этого обстоятельства имело характер психологический; по ее мнению, в худшем случае, Джесси могла лишь подозревать и молчать.

Дорога шла обширными поворотами, среди скал и лесистых обрывов по отлогому скату. На исходе часа пути открылась «Зеленая флейта» — ветреное, дикое место среди обступившего вокруг леса. Он простирался от обрыва до береговых скал. Наконец автомобиль остановился перед старыми каменными воротами с железной решеткой. Оставив слуг убирать багаж, Моргиана прошла в дом, переоделась и позвала Гобсона. В разговоре с ним она не выказала на этот раз ни подозрительности, ни придирок; молча просмотрела расходную ведомость, счета, выдала деньги и приказала каждую неделю докладывать об истраченном.

Уже было все переговорено, настало молчание, и управляющий собирал бумаги, чтобы уйти, но Моргиана мучительно, торопливо придумывала, о чем начать говорить снова, чтобы избежать пустоты. Эта

пустота в ней, наступающая всегда внезапно, пугала и томила ее. Тогда она стала задавать вопросы. Гобсон, человек сорока лет с полным, печальным лицом и затрудненным выражением старых глаз, предложил снести каменный сарай, закрывающий от солнца часть сада со стороны двора. Моргиана оживилась, но управляющий скоро стал не рад, что заговорил о сарае: Моргиана начала бесконечно вычислять расходы и утомила его ненужными рассуждениями.

Едва он ушел, как снова образовалась в ней пустота, подобная пустоте замочной скважины, в которую видно запертое, брошенное жилье. Отказавшись есть, она выпила чаю и стала ходить по комнатам, тщательно осматривая каждую комнату, чтобы найти повод к неудовольствию. Однако перед ее приездом прислуга употребила все меры, чтобы избежать замечаний. Тщательно выколоченные ковры, блестящая медь дверных ручек и каминных решеток, цветы в столовой и спальне,— все вещи начали жить, ожидая ее внимания. Моргиана никогда не могла забыть Хариту Мальком; память о ней терзала и стесняла ее. «То было,— сказала Моргиана,— Харита Мальком вернулась, но в другом образе. У каждой Хариты сто лиц, и я — только одно из них».

Это сравнение, мучительное как позор, так возбудило ее, что вся кровь хлынула в ее мозг. Моргиана прислонилась к роялю и закрыла глаза. Настала такая ясность, такая безупречная чистота и полнота мыслей о ненависти и нежности, что стало слышно, как стоят вокруг нее вещи. Маятник часов, отмечая тишину, толкал время точными и звонкими касаниями. Его речь напоминала ровное падение капель на тугую струну. Моргиана прислушалась и почувствовала, что в изнемогающей тишине ее мыслей подкрадывается воспоминание. Еще не зная, что это такое, она уяснила его природу и поспешила уйти, чтобы оно замялось движением. Но это сопротивление мгновенно и точно очертило просвет памяти. Вздохнув, она остановилась на нем с испугом и отвращением. Это было воспоминанием о падении капель яда в стакан с водой. Она снова почувствовала в правой руке напряжение страха, с каким, трепеща и торопясь, влила яд. Ей представилось, что прозрачная вода была живым существом и что яд ранил ее насмерть. Острая жалость охватила ее, но то была не жалость к сестре. С содроганием

видела она свою руку, согнутую, как клюв, безмолвное мелькание капель,— побледнела и встрепенулась.

«Не отсюда ли явится опасность?» — подумала Моргиана.

Ее мысли приняли странное направление, и прежде всего она решила, что никогда не будет пить из стакана. Затем она поспешно поднялась в спальню, вынула из баула флакон с ядом и стала придумывать, как уничтожить его бесследно. Нигде в доме она не могла спрятать флакон без болезненного опасения, что он обнаружится, как бы хорошо ни скрыла концы, и хотя могла бояться лишь собственного признания, воспаленное воображение ее изобретало такие случайности, которые существуют лишь как исключение поразительное.

Пока она размышляла, наступило время обеда; заперев флакон в ящик стола, Моргиана перешла в столовую, где заставила себя несколько съесть и выпить кофе, продолжая видеть флакон. После обеда она вышла через террасу и садовую дверь в лес, к узкой скалистой трещине. Она побоялась бросить флакон в трещину, чтобы не думать потом неотвязно о его тайном существовании, но взяла камень и, вылив яд на траву, тщательно раздробила флакон, затем разбросала осколки как можно дальше, даже сбросила вниз камень, на котором дробила стекло, и, успокоенная, села отдохнуть под деревом. На нее напал сон; она склонилась к земле и проспала два часа, а проснувшись, некоторое время не могла понять — где она и что с ней произошло. Припомнив, она встала и поспешила домой.

Пока она шла, наступил вечер. Небо стояло в облаках, ветер затих; молчаливый лес таил уже очаги тьмы. Пройдя ворота, Моргиана увидела на ступенях флигеля семейство Гобсона: его дородную, насупленную жену, двух мальчиков, игравших на нижней ступеньке, и самого Гобсона, поспешно вставшего, едва заметил хозяйку. Поднялась также его жена, шлепнув своих сыновей, чтобы перестали визжать; по неловким движениям этих людей Моргиана догадалась об их досаде служить старой деве со злым ртом, после прекрасной, доброй и вспыльчивой танцовщицы. Гобсоны хором пожелали Моргиане доброго вечера. Решив переменить всю прислугу, Моргиана остановилась, пристально осмотрела всех этих, кивнула и прошла в подъезд.

Позвав Нетти, горничную, Моргиана поужинала, а к десяти часам велела подать чай.

С тех пор как из золотого гнезда выпорхнула Харита Мальком, ничто не было тронуто в обстановке ее спальни и будуара, по приказанию Тренгана. Он сам не входил в эти комнаты, боясь мучений и апоплексии; Моргиана не входила из ненависти. Вещи Мальком — шесть сундуков — находились в бывшей ее спальне. Ключи от сундуков, как и все ключи дома, были у Моргианы. По завещанию дом и движимое имущество принадлежали ей, но замысел и решение вскрыть сундуки явились у нее только теперь, когда она совершила большее. Она хотела видеть красивые вещи красивой женщины, чтобы испытать боль, злобу и ненависть. Кроме того, она желала почувствовать себя хозяйкой вполне — над всем чужим, ставшим своим.

Открыв дверь верхней угловой комнаты, Моргиана зажгла свечи на туалетном столе и сумрачно осмотрелась.

Туалет был роскошным. Хрустальные, золотые, серебряные и фарфоровые вещи отражались в зеркалах. Моргиана стояла сбоку зеркала, чтобы не видеть себя. Видны были только линия согнутого плеча и тяжело висящая рука. У правой стены, на возвышении с двумя ступенями, по которым свешивались лапы и головы тигровых шкур, маленькая нога, сонно устремляющаяся с кровати, попадала в щекочущую теплоту меха. Белое атласное одеяло, драгоценные кружева, пух, серебряная кровать, газовый балдахин, затканный серебряными цветами, выражали обожание женщины и ее капризов. Огромные зеркала с золотыми рамами из фигур фавнов и вакханок были как золотые венки вокруг входов в блестящие отражения. Шелковая обивка стен изображала гирлянды роз, рассеянных в белом тумане затейливого узора.

В разных местах, не загромождая середину комнаты, стояли высокие дорожные сундуки.

Моргиана придвинула к одному из сундуков стул, уселась и подобрала ключ. От свечей было ярко у зеркала, но полутемно в углах, и Моргиана поставила их у сундука. Откинув крышку, она увидела, что сундук плотно набит; наверху лежал кусок светлого шелка, прикрывавший белье.

При виде этих вещей, накупленных с неистовой щедростью, покинутых с ненавистью, затем вновь со-

бранных аккуратно чьей-то равнодушной рукой, Моргиана затосковала и восхитилась; ее руки стали холодными; беспокойно и тяжело билось сердце. Нервно дыша, начала она вынимать и складывать на полу вещи, одержимая страстью узнать до конца запрещенный мир. Вещей было так много, что они, утолканные, спрессованные в сундуке, сами поднимались снизу, по мере того, как исчезла тяжесть верхней кладки. Это были бесчисленные слои тончайших белых материй с лентами, с разлетающимися при движении кружевами, легкими, как дым. Роскошное, грациозно бесстыдное белье скользило в руках Моргианы; в огромном сундуке, где рылась она, стоял снежно-белый хаос. Вокруг нее, на ее коленях, на откинутой крышке белели ворохи изысканных, ослепительных свидетелей сна и любви.

Взяв одну рубашку, Моргиана сжала ее в руке, почти не испытав сопротивления, и, еще крепче сжав, выронила на ковер, упал как бы смятый батистовый платок. С удивлением смотрела она на крошечный комок. Сущность, практическое значение этого драгоценного белья стояли на втором плане в сравнении с его качеством и ценой; то были скорее драгоценные украшения, чем вещи первой — и хотя бы третьей — необходимости. Очарование действовало как напев. С пересохшим горлом, стоя уже на коленях перед сундуком. Моргиана не имела силы ни остановиться, ни поперечить себе. Наконец сундук опустел. На его дне остались желтая лента и жемчужная пуговица.

Ноги Моргианы онемели. Поднявшись, она некоторое время стояла, держась за край сундука. «Это мое»,— сказала она, подбрасывая ногой белье Хариты Мальком и жадно присматриваясь к нему. Ей возразил внутренний голос, тяжелый, как удар кулаком в лицо, но она не возмутилась теперь. Песня красивого белья звучала в ее страшной душе; она улыбнулась и разрыдалась.

Как только припадок прошел, Моргиана вытерла глаза и подошла к следующему сундуку. Он был выше первого и длиннее, а внутри имел множество отделений. Разыскав ключ, она подняла тяжелую крышку, укрепила ее распоркой и сняла листы газетной бумаги, соединенной булавками. Более спокойно уже, чем было у первого сундука, она извлекла бальные платья,

утренние и вечерние туалеты, балетные юбочки, сорти-де-баль, шелковые трико, шарфы, боа и все разложила на стульях с аккуратностью горничной. Начав со злобы, она теперь прониклась уважением к миру, создавшему женщине единство с ее гардеробом. Голова ее была тупа, как после болезни; мысли поражены. Она никогда не держала в руках таких красивых, как бы влюбленных в себя вещей; их особый запах, в котором преобладал слабый запах духов, напоминал об огнях подъездов и балов. По размерам платьев она представила фигуру Мальком так точно, как будто видела сама ее небольшое тело, подвижное и гибкое. Она очнулась у третьего сундука, с раскрытым футляром в руках: из его атласного гнезда свешивался крупный жемчуг. На ее коленях лежали сверкающие браслеты.

«Итак, даже не пересмотреть всего,— сказала Моргиана, силой утомления возвращаясь к своему обычному состоянию.— Так любят женщину, если она красива и привлекательна. Зачем я мучаю себя, рассматривая все это? Кто скажет мне: Харита Мальком?»

Она резко подошла к зеркалу. В нарядном стекле мелькнули ее уродливые черты. Все впечатления, вынесенные из разгрома вещей Хариты Мальком, отравили ее больной мозг и поддержали его в эту минуту странным явлением. Велик был отпор ее отчаяния своему образу... Она увидела, как переменилось все в зеркале; не отражение изменилось, мрачный образ пропал, и, закутанная в газ и цветы, с бриллиантовой диадемой в темных волосах, взглянула из зеркала на нее женщина с бледным и прелестным лицом. Ее глаза сияли; по-детски пренебрежительно улыбалась она...

Стук в дверь оборвал то, что хотела сказать сама себе Моргиана. Она подошла к двери и открыла ее. Нетти вошла, но отступила за дверь, растерянно смотря на свою госпожу. Голова Моргианы тряслась, на ее руке висела ненатянутая до конца лайковая перчатка.

— Чай подан,— сказала девушка.

— Чай?— спросила Моргиана, не понимая.

— Да, чай, как вы приказали. Теперь десять часов.

— Разве это так важно, чай?!— сказала Моргиана, улыбаясь и хмурясь.— Есть вещи важнее чая, Нетти. Но я иду. Я буду пить чай.

ГЛАВА XIII

Не получив на второй день жизни в «Зеленой флейте» роковых известий о Джесси, Моргиана успокоилась и поверила в свое дело, а на третий день проснулась в мучительном настроении. Она видела зловещие сны. После завтрака Моргиана позвала Нетти и сказала ей:

— Я забыла некоторые вещи; они мне нужны, а потому передайте шоферу, чтобы он поехал с моей запиской в наш городской дом и привез все, что тут обозначено.

Ее истинной целью было разведать о положении Джесси: если она заболела, то шофер, наверное, узнал бы о том из разговоров с прислугой. Между тем Нетти, сложив в карман записку, медлила уходить; на вопрос Моргианы — не нужно ли ей чего-нибудь — горничная сказала:

— Извините, барышня, я хочу все спросить: ваша сестра тоже приедет сюда?

— Нет, она здесь жить не будет,— ответила Моргиана с раздражением,— но почему вы об этом беспокоитесь?

— Я ничего... Ваша сестрица такая приветливая, и мы думали... Однажды она была с вами, и все мы долго вспоминали после, как она сидела на крыше и нам приказала молчать; а вы ее искали в саду.

— Мне очень приятно, что вы так привязаны к Джесси; но мне также очень жаль, что она жить здесь не будет. Итак, пусть шофер выезжает немедленно.

Нетти поклонилась и ушла, а Моргиана начала приводить в исполнение план, который представился ей вчера, во время рассматривания вещей Хариты Мальком. В ее сундуках брошено было белья, платьев и драгоценностей на десятки тысяч; обратив это имущество в деньги, она могла в случае опасного поворота дела бежать немедленно, не завися от денег Джесси; их она тогда не смогла бы получить без риска очутиться в тюрьме. Моргиана поднялась в комнату с сундуками; там она выбрала из трех сундуков все наиболее ценное и, взяв лист бумаги, стала составлять опись. Вчера видела она только прихоть и блеск; сегодня каждая вещь с приблизительной точностью указывала ей свою цену.

Прежде всего она отложила четыре ожерелья: бриллиантовое, изумрудное, жемчужное и рубиновое.

Затем следовали двадцать три кольца, более всего бриллиантовых, но были среди них также сапфиры, александриты, лунный камень, турмалины и гиацинты. Браслеты с крупными жемчугами, восемь брошей редкой и драгоценной работы, бриллиантовые эгреты, старинные веера кружев антикварной редкости, а также с рисунками Гамона и Куанье стоили не менее бриллиантов. Последним предметом этого роскошного инвентаря оказалась оторванная страница листа почтовой бумаги, на которой вверху сохранился перенос — одно слово: «устала».

Столбец цифр, составленный Моргианой, не понимавшей, почему капризная женщина бросила так легко подарки Тренгана, указывал столь значительную сумму, что Моргиана наполовину сократила ее, думая, что преувеличила стоимость драгоценных вещей. Однако даже в таком виде итог указывал восемь тысяч фунтов, и она была так приятно оглушена своей сметой, что не могла больше быть в комнате. Между тем остальные вещи Мальком, даже проданные за треть стоимости, представляли тоже значительную сумму. Она решила не говорить никому о своих открытиях и, желая обдумать, как выгоднее скорее продать все, заперла драгоценности в один из сундуков, а затем отправилась на прогулку.

За домом простиралась густая трава, доходившая до рощи из старых деревьев, отделенных от остального леса извилистым склоном. Так как день был жаркий, Моргиана спустилась в ложбину и направилась по тропе, к озеру, лежавшему ниже «Зеленой флейты». Там собиралась она выкупаться и посидеть в тени листвы; медленно шагая, Моргиана пришла, наконец, к решению продать часть вещей в городе, а потом вызвать ювелиров в «Зеленую флейту», чтобы распродать все остальное без помехи и лишних толков. По обстоятельствам дела никак нельзя было судить, знал Тренган о выказанном Харитой презрении к его любящей расточительности или не знал. Было достоверно известно, что после ее ухода он не заглядывал ни в сундуки, ни в комнату; он сразу захворал и вскоре скончался. Может быть, Харита писала ему; у нее была своя прислуга, уехавшая вместе с ней; единственно она могла так деловито все упаковать в сундуки; потому что прислуга Моргианы не знала ни что в сундуках, ни даже сколько сундуков; Моргиана взяла ключи немед-

ленно после оглашения завещания и не расставалась с ними. Так или иначе, продавать брошенное Харитой нельзя было совершенно открыто, чтобы путем сплетен и пересудов, после кончины Джесси, не создалось какое-нибудь особое мнение.

На этом Моргиана успокоилась и, чтобы сократить путь, повернула на тропу, пересекавшую часть леса. Вскоре она услышала женские голоса. Листья мешали видеть; слышались голоса, очень уверенные, с безмятежным и ленивым оттенком,— голоса девушек, спорящих, зовущих и восклицающих более по потребности издавать звуки, чем в силу других причин. Моргиана остановилась с неприятным чувством; она не хотела возвращаться, но не была уверена, что, следуя этой тропой, минует веселую компанию; свернуть в сторону также не представлялось возможным, потому что она рисковала разодрать в чаще свой летний костюм. К женщинам, смеявшимся неподалеку от нее, она чувствовала презрение и гадливость, какую, может быть, испытывает кабан при виде козы. Рассеянно пройдя еще немного вперед, Моргиана вдруг заметила девушек. Поворачивать было поздно, так как они тоже ее увидели.

В нескольких шагах от Моргианы пролегла между двух огромных камней длинная щель, по которой шла тропа, и здесь, в тени камней, расположились отдохнуть девять девушек из поселка, лежавшего неподалеку от «Зеленой флейты». Они шли купаться и удить рыбу. Моргиана увидала коллекцию босых ног, которые мгновенно подобрались с тропы и упрятались в юбки, едва показалась она, мельком осмотревшая всех и мстительно заныввшая при виде этих черноволосых и белокурых созданий с бессмысленными от жары, свежими, загоревшими лицами, сидящих и возлежащих с беспечным изяществом молодости. Между тем, видя, что она не решается проходить, девушки, вдруг умолкнув, вскочили и стали по сторонам щели; крепко сжав губы, чтобы не расхохотаться, исподтишка толкая друг друга, стояли они так, смотря прямо перед собой с неудержимой искрой в глазах.

Шалея от злобы, Моргиана прошла сквозь этот цветущий строй и ускорила шаг, чтобы скорее скрыться за поворотом. Едва она миновала камни, как сзади нее раздался взрыв хохота, разлетевшийся по лесу. Моргиана остановилась; ее сердце стукнуло

больно и тяжело; она медленно вздохнула и произнесла: «Хорошо».

«Хорошо,— повторила она, когда туман гнева рассеялся, но таким тоном, от которого задумался бы даже человек с крепкими нервами.— Во всяком случае, одной из вас, стройных, веселых, уже нет. Она есть пока, но все равно что ее более нет. Посмотрим, не выйдет ли еще что-нибудь и где-нибудь с подобными вам. Не важно, что это будете не вы сами; будут такие же. Вам хорошо и весело, не веселее ли будет мне?»

Обезумев от жестокости, она стала придумывать пытки, засады, казни и издевательства и применила их к тысячам. Теперь она могла убить без содроганий — толпу, целые города девушек. Дьявольские мечты овладели ею, и видения, одно страшнее другого, сменялись в ее ужасных фантазиях. Однако этот взрыв ярости постепенно улегся; тогда Моргиана увидела, что мстительное беспамятство завело ее далеко в лес. Заметив извивающуюся прогалину, которая была удобна для ходьбы, как тропа, Моргиана пошла по ней и скоро увидела воду. Это был небольшой залив, отделенный от главной озерной площади выступающими в воду скалами. На том берегу слышались плеск и смех, но из-за скал не было никого видно. Вдруг, подойдя ближе, Моргиана увидела тонкую, высокую девушку, стоявшую по колена в воде, в тени отвесной скалы. Девушка была нагая; она, стоя спиной к Моргиане, закручивала свои черные волосы, собираясь обвить их вокруг головы.

При виде этой беззащитной фигуры Моргиана отошла за скалу и осмотрелась. Ее тянуло ударить хорошенького врага. Став невменяемой, Моргиана взяла из камышей острый камень и вскарабкалась по отлогой стороне скалы, где, среди впадин и глыб, нельзя было заметить ее с другого берега; она подползла к краю, взглянув вниз. Девушка уже укрепила волосы, а теперь стягивала вокруг головы синий платок. Будь Моргиана пумой, она могла бы скакнуть на плечи купальщицы. Она отдышалась, потрясла камнем и метнула его в голову девушки, сама тотчас припав к скале. Раздался отчаянный крик, потом громкий плач испуга и боли. Камень попал не в голову, а по спине, едва ниже шеи. Девушка бросилась плыть, призывая на помощь, а Моргиана спустилась со скалы и, задыхаясь, побежала в лес, стараясь уйти как можно дальше

от озера. Ей казалось, что за ней гонятся. Звук собственных шагов она принимала за преследование. Однако никто не гнался, и, дико улыбаясь, она остановилась у большого дерева, выглядывая из-за ствола. Злоба ее прошла; она была довольна и рассмеялась. «Все-таки я попала лучше, чем ты»,— сказала Моргиана; к ней вернулось спокойствие; она сделала крюк и пришла домой почти одновременно с автомобилем, который только что вкатил во двор. Шофер передал ей пакет; Моргиана отдала его Нетти, чтобы она снесла в комнату, и спросила:

— Моя сестра не поручила вам передать что-нибудь?

— Я не видел барышню,— сказал шофер,— там говорят, что ей нездоровится и что она распорядилась отложить работы в доме.

— Если она не пишет, то нет, по-видимому, ничего серьезного,— заметила Моргиана.— Однако надо будет заехать, если известие подтвердится ее запиской. Как раз третьего дня она промочила ноги.

Зная теперь наверное, что яд подействовал как нужно, она испытывала великое облегчение. Настроенная спокойно и деловито, Моргиана провела день в хлопотах; приказала переменить занавески в гостиной; кое-где переставить мебель; сама проверила столовое и постельное белье, серебро; заглянула в кладовую, где, без особой нужды, под личным наблюдением ее, все ящики, банки и мешки были вытащены, осмотрены пол и стены и забиты наглухо мышиные щели. Окончив одно, Моргиана придумывала новое дело; если же не могла придумать так скоро, чтобы от одного занятия немедленно перейти к другому, ей становилось беспокойно, как от потери. Не видя, наконец, более, над чем присмотреть самой, она нашла неисправности в плите и приказала ее чинить; велела выбелить сарай, протереть стекла балконной двери, перенести картины с одной стены на другую и повесить их выше. Не чувствуя утомления, она сновала по дому, говоря быстро и раздражительно, не слушая возражений, спрашивая о множестве вещей сразу, уличая прислугу в противоречии и ошибках.

Когда пришло время обеда, Моргиана села за стол и, не отпуская Нетти, расспрашивала ее о разных хозяйственных мелочах. После обеда она хотела пойти с садовником в сад, чтобы посоветоваться, какие цветы

выбрать и перенести на балкон, но тут вдруг подгонявшее ее движение прекратилось в ней: все теперь показалось ей тяжелым и скучным. Уже смерклось; Моргиана ушла из освещенных комнат в полутемную спальню, уселась в кресло и отдалась мыслям о погибающей Джесси. Как ни обманывала она себя весь день, она думала только об этом — сознательно или бессознательно. Ее расстройство усиливалось; чем безопаснее выставлял ей ум ее преступление, тем сильнее мучила ее мнительность; как она ни боролась с ней, доказывая себе отсутствие улик,— ей представлялось, что город полон слухов и подозрений. Быть может, шофер слышал уже от прислуги такие вещи, которым не смеет верить. Если так, то в «Зеленую флейту» тоже потянуло ветром догадок; эти пересуды будут ползти из дома в дом, от намека к намеку, и чем фантастичнее будут они, тем ближе подойдут к истине. Сама медицина — так ли уж она бессильна установить отравление, хотя бы даже и таким ядом, действие которого развивается постепенно? Кроме того, Джесси видела, как Моргиана стояла у подноса. На какие мысли может набрести девушка, захворав болезнью неясной и сложной?

На нее напал страх, и она не могла более овладеть собой. Случай на озере резко восстал в ее мрачной памяти, представившись теперь событием более опасным, чем донос. Если подруги пострадавшей заметили издали хотя бы край синего рукава, мелькнувший из-за скалы, они объяснили бы ранение девушки единственно припадком бешенства у Моргианы, которую проводили тогда взрывом беспечного хохота. Возможно, что кто-нибудь видел даже всю эту сцену со стороны; ни в лесу, ни в четырех стенах нельзя быть совершенно спокойным, что нет свидетелей. Довольно Моргиане быть уличенной по делу купальщицы, как размышление приведет к постели ее сестры. Зная о себе все, она боялась, что то же самое знают о ней другие, и, чтобы отогнать страшные мысли, позвонила, приказав Нетти принести лампу. Как только горничная внесла лампу, неуловимое движение в лице Нетти настроило ее подозрительно.

— Что значит, что вы так посмотрели на меня? — сказала она строго.

— О Господи! — ответила Нетти,— простите меня, барышня, но только как я внесла свет, я увидела, что

вы очень бледны, и подумала, что вы, может быть, нездоровы.

— Ну, нет, я здорова,— возразила Моргиана с досадой,— а моя бледность объясняется тем, что мне послышался стук под окном, и я испугалась. Бывают ли в этих местностях кражи и нападения?

— Случались раньше, но долго не было ничего слышно такого,— до сегодня.

— Вот это неприятно! Где же и кого ограбили?

— Ограбления не было, барышня, но вот что произошло с одной девушкой из Манкарна,— знаете, деревня, которая ближе туда, к мысу? В Манкарне мы закупаем яйца, овощи и молочное. Девушку зовут Тилли Бальмет. Ее подруга, Дженни Мотэй, приходила ко мне недавно вернуть платье, которое я ей одолжила для танцев. Ну, так вот, Тилли купалась и отошла от подруг, и неизвестно кто бросил в нее сзади камнем, да так удачно, что рассек кожу и повредил шейный позвонок; доктор говорил, что ей, возможно, теперь будет трудно поворачивать голову.

— Какой ужас! — воскликнула Моргиана.— Кто же этот изверг, изувечивший девушку?

— Ничего не известно, барышня. Девицы никого не видели на берегу.

— Низкое злодеяние,— повторила Моргиана.— Злодеяние гнусное и бесцельное, не так ли? Мне страшно жаль Тилли Бальмет. Вероятно, ей тяжело, особенно, если она красива.

— Красива?! О, что вы! Конечно, она не урод, но Дженни гораздо красивее ее. Они говорят, что видели вас, когда вы проходили той же тропой; так вот, если вы заметили,— та, которая повыше других, черная, в голубом платье,— это она и была, Тилли.

— Ну, разумеется, я не обратила внимания. Подайте мне ридикюль. Он лежит на столе.

Когда Нетти принесла ридикюль, Моргиана раскрыла его и вынула десять золотых монет.

— Передайте эти деньги Тилли Бальмет,— сказала Моргиана оторопевшей Нетти,— пусть несчастная утешит себя какой-нибудь нехитрой покупкой. Надеюсь, она не захочет получить новый удар в спину ради вторых десяти гиней, но, если бы это случилось, я, конечно, дам ей с радостью, что могу.

— Бог благословит вас за доброту! — ответила женщина, принимая деньги.— Вот уж будет она рада!

— Может быть, а потому идите и сделайте, как вам сказано.

Нетти ушла, а Моргиана, довольная своей хитростью, подумала: «Если эти дуры начали фантазировать на мой счет, то десять гиней никак им не согласовать с камнем в спину. Наверное, теперь они будут сокрушаться, что обошлись дерзко с доброй старой девой, щедрой и жалостливой».

Между тем никто не подозревал ее. После чая Моргиана пересчитала остальные вещи Хариты Мальком, переписала их и решила утром отправиться в город, чтобы переговорить с ювелирами.

Эту ночь она проспала спокойно, но встала разбитая и мрачная, как после тяжелого путешествия. В то время как она собиралась и одевалась, к ней по утренней веселой дороге двигалась опасная гостья.

ГЛАВА XIV

Доктор Сурдрег очень внимательно осмотрел Джесси, но, при всей добросовестности исследования, не мог определенно назвать какую-нибудь болезнь. Он не был обескуражен, так как немало тяжких страданий, вполне ясных впоследствии, начали свою разрушительную работу среди разноречивых симптомов; увереннее всего он думал о малярии, скрытые формы которой очень разнообразны. Сурдрег запретил шум, утомление, назначил диету и прописал хину. Джесси жаловалась на слабость и жажду; Сурдрег посоветовал пить холодный кофе маленькими глотками. Ремонт прекратился; в доме наступила необыкновенная тишина; явилась сиделка, и Ева Страттон почти безотлучно находилась в доме, следя, чтобы своенравная девушка не повредила себе чем-нибудь таким, что запретил Сурдрег.

Между тем Ева перерыла все медицинские книги, какие могла достать, но принуждена была оставить это занятие, так как по книгам выходило, что у Джесси одновременно — рак, туберкулез костей, гнилокровие и бледная немочь. Джесси навещали знакомые, и мгновенно ее болезнь стала предметом разговоров в гостиных. Девушка не подозревала, что причиной этой болезни сплетники считают неудачный «роман». А у нее не было никаких романов.

Так прошло трое суток, в течение которых Джесси иногда была нормально оживлена, после чего слабость неизменно усиливалась; наконец утром четвертого дня она посоветовалась с Евой — не пора ли известить Моргиану?

— Как хочешь,— сказала Ева.— Разумеется, извести, если находишь необходимым.

— Да, я напишу ей,— сказала Джесси, подумав.— Я нахожу это необходимым. До сих пор у меня была надежда, что я чего-то объелась и все кончится само собой, а вот — мне хуже, и доктор Сурдрег больше не улыбается, с сомнением выслушивая меня. Если я расхворалась серьезно, Моргиана обидится, что ей не дали знать.

Джесси лежала в угловой нижней комнате с малиновыми обоями. Отсюда через очень большие окна она могла смотреть в сад. У ее кровати был стол, на котором, среди цветов, книг, лекарств и письменных принадлежностей, только она могла найти, что ей нужно.

Написав записку, Джесси отправила ее со своим шофером в «Зеленую флейту», извещая сестру, что захворала, но просит не беспокоиться.

После этого Джесси почувствовала усталость и откинулась на подушки, закрыв глаза. Когда она снова открыла их, ее лицо было так серьезно, так полно недоумения и досады, что Ева спросила, не чувствует ли она болей.

— Нет, Ева, болей у меня нет,— вздохнула Джесси,— но, откровенно сказать, мне правда нехорошо. Этого не расскажешь. Теперь легче. Во мне какое-то неназываемое мучение и тревога.

— Скажи, хочешь ли ты чего-нибудь?

— Ничего я не хочу. Все — все равно. Жизнь пахнет резиной.

Она приняла хину и запила ее горький вкус глотком холодного кофе.

— Будь добра,— сказала Джесси, подбирая колени и устраиваясь на подушках выше, причем рукава ее капота опустились, выказывая уже заметную худобу рук,— будь добра, дай мне какие-нибудь журналы.

— Если хочешь, я буду тебе читать.

Ева взяла с канапе пачку номеров иллюстрированного «Дом и жизнь», переложив их на край стола около Джесси.

— Я хочу рассматривать картинки,— сказала Джесси,— это не обременительно голове.

— Неужели ты можешь?

— Да. Я могу. Я люблю перелистывать.

Она занялась рассматриванием иллюстраций, а Ева поднялась уходить, потому что условилась со своим отцом съездить на выставку новых изобретений. Когда она прощалась, вошла сиделка и сообщила, что по телефону спрашивает Детрей: может ли он заехать.

— Ах, Детрей,— сказала Ева,— я скажу ему сама, что ты велишь, Джесси?

— Тогда скажи, пожалуйста, что я его жду к вечеру, когда будет не так жарко; вечером мне немного легче.

— Отлично. Конечно, его визит будет не долог, так что ты не устанешь.

— Почему ты так жестока к этому человеку?

— Инородное тело, Джесси. Всякий офицер напоминает мне точку, поставленную самодовольной рукой.

— А ты напоминаешь мне запятую, со своими...

— Мерси. Но шляпу может найти любой прохожий.

— ...со своими глупостями,— договорила Джесси.— А также помни, что доктор запретил меня волновать.

— С этого бы ты и начала.

Ева повернулась идти, но Джесси поманила ее к себе и, быстро обняв, поцеловала в нос.

— Не сердись, Ева. Я виновата.

— На тебя, конечно, трудно сердиться; однако он ждет. Прощай и лежи спокойно. Я приеду не раньше трех; между тремя и четырьмя.

Затем Ева прошла к телефону и сказала:

— Здравствуйте, Детрей. Что хорошего? У телефона Ева Страттон.

Детрей очнулся от размышлений и ответил, что ничего нет ни хорошего, ни плохого, а затем осведомился о состоянии здоровья Джермены Тренган.

— С Джесси странное, и ей довольно плохо. Вы можете заехать; ей передано, и она будет рада вас видеть. От четырех до пяти; но я предупреждаю, что ей нельзя утомляться и есть конфеты.

— Я буду послушен.— Детрей кратко объяснил, что узнал о болезни девушки от Готорна, отца Евы,

и прибавил: — Я заходил к вам час назад. Что же с вашей подругой?

— С Джесси? Я думаю, на днях выяснится. Пожалуй, не заразительное.

Детрей попрощался и отошел. Весьма довольная сухим тоном разговора, которым наказала Детрея за вспышку Джесси, Ева села в трамвай и отправилась на выставку, где ее ожидал Готорн. По специальному предрассудку, Ева редко пользовалась своими лошадьми и автомобилем.

Между тем, узнав, что девушка, пленившая его, заболела, Детрей вышел из кафе с беспокойством, сразу усилившим его внимание к Джесси, о которой он думал все эти дни то с беззаботным удовольствием, то с рассеянностью, помогавшей воображению видеть ее везде, где она не могла быть. Теперь она не выходила из его мыслей, причиняя ему ту всем знакомую боль, с которой никто не согласится расстаться и которая, иногда без всякого основания, обещает так много, что к ней прислушиваются, как к оракулу. Было еще только одиннадцать часов. Чтобы убить время, Детрей завел свою лошадь в манеж, а сам отправился играть на биллиарде в одну биллиардную, где довольно часто бывал.

Эта игра, требующая исключительного внимания, изобретательности и точности удара, была его любимой игрой; ничто иное не могло так отвлечь его от болезненного ожидания четырех часов, как предстоящее упражнение. Итак, он нашел лекарство, но, по раннему времени, в обширной биллиардной не было еще никого, кроме служащих и одного человека, довольно невзрачного вида, который играл сам с собой и как будто тоже хотел найти партнера, так как взглянул на Детрея с надеждой. Не колеблясь, Детрей спросил:

— Хотите играть со мной?

Одинокий игрок мельком взглянул на слугу, тотчас опустившего ресницы. Детрей не заметил этой сигнализации, означавшей, что предложение исходит от игрока, не представляющего опасности. Он натер кий мелом и сильным ударом битка раскатил плотный треугольник шаров по темно-зеленому сукну. В это время он думал: «Ева сказала, что Джесси осенью, может быть, выйдет замуж, так что я должен сделать усилие над собой».

Между тем партнер Детрея, человек с глупым профилем, сжатыми губами и быстрыми глазами, предложил ставкой два фунта, на что Детрей согласился. Мысль о Джесси, среди других свойств, обладала свойством обесценивать деньги. Но он понял, что игрок силен, и это было ему решительно все равно.

Игра началась.

Партнер был вежлив даже в движениях; аккуратен, осмотрителен и нетороплив, в то время как Детрей, ставя себе сложные и трудные задачи, терпел неуспех. В первой и второй партии ему не везло: шары, которыми он хотел сыграть, останавливались у луз или, обежав борты, становились под удар противника. За это время Детрей пришел к заключению, что тоска о Джесси неизбежна для всякого, кто встретит ее, и поэтому лучше не думать о ней, так как не он один видел ее, а ее выбор сделан.

Заплатив проигрыш, он приступил к третьей партии более разумно, чем прежде: старательно прицеливаясь и избегая рискованных ударов с карамболями. Таким образом ему удалось наиграть сорок очков, в то время как его противник имел лишь тридцать девять. Видя успех Детрея, он развернул свое искусство полностью, и лейтенант убедился, что играет с артистом. Не прошло десяти минут, как у невзрачного человека было уже шестьдесят один, и сорок девять — у Детрея. Осталось два шара: семь и одиннадцать, так что противник начал гнаться за одиннадцатью, сыграв который, окончил бы партию. Одиннадцатый шар стал под углом к левой угловой лузе, биток же — у правого борта, так далеко и неудобно, что положить одиннадцатый шар явилось трудной задачей, а удар принадлежал Детрею.

Детрей нацелился, взмахнул кием и с силой пустил биток. В то краткое мгновенье, когда шар подлетал к шару, ему показалось, что он ударил не точно, но одиннадцатый шар метнулся влево и исчез в лузе: биток, стукнув два раза о борты, покатился к шару «семь», который стоял плотно у короткого борта, и, задев его, стал так, что седьмой шар был опять плотно к борту, но у самой лузы, а биток от него — фута на полтора. Никаким дуплетом, ни даже от трех бортов, нельзя было положить седьмой шар; единственно — при уменье и счастье — мог он упасть в ту же лузу,

у которой стоял, но с карамболем. Тут Детрею, ободренному судьбой одиннадцатого шара, пришла мысль обострить игру, и он сказал:

— Остается один этот шар; выиграет партию тот, кто сыграет семерку. Хотите утроить ставку?

Уверенный в превосходстве своей игры, партнер согласился.

При обозначенном положении шаров из десяти раз один раз удар бывает удачен. Детрей ударил так сильно, что шары, стукнувшись два раза, разошлись, крутясь, как волчки, биток пополз прочь, а семерка, вращаясь по направлению к лузе, остановилась на самом ее краю, и оттого, что шар, хотя слабее, но все еще крутился, он покачнулся и упал в сетку.

— Случайность! — сказал, улыбаясь, Детрей неприятно пораженному противнику.

Таким образом, Детрей отыграл почти все деньги и продолжал играть, придя в своеобразное вдохновение, партию за партией, большей частью выигрывая, к удивлению слуг, которые лишь одни знали, что он играет с лучшим игроком города, Самуэлем Конторго. Они играли одиннадцатую партию. После очередного удара Конторго три двузначных шара встали против луз, соблазняя сыграть их все один за другим и таким образом выиграть. Уже Детрей старательно натирал мелом свой кий, собираясь приступить к охоте на эти шары, как стенные часы отвесили четыре коротких звона. По внезапной тоске, вызванной этим вечным напоминанием, Детрей понял, что игры более быть не может. Изумив Конторго, он положил кий на биллиард, вынул три золотых и протянул противнику.

— Вы выиграли,— сказал он,— так как я должен спешить.

Конторго понял, что значит отказ игрока выиграть партию только потому, что пробили часы, и не взял денег.

— Я понимаю,— сказал он, с досадой вертя шары рукой,— что только чрезвычайно важные причины заставляют вас пренебречь выгодной партией. Я сочувствую вам и не могу воспользоваться вашим затруднительным положением.

Подумав, что Конторго, вероятно, умеет читать в мыслях, Детрей кинулся к умывальнику, быстро прополоскал руки и отправился в дом Тренган, где были уже Моргиана, Ева и ее отец, Вальтер Готорн.

ГЛАВА XV

Итак, Моргиана собиралась ехать, не подозревая, что ее ожидает значительное событие. Когда хотела она отдать уже приказание готовить автомобиль, вошла к ней Нетти.

— Барышня,— сказала горничная,— к вам приехали. Там ждет одна женщина, которая сказала, что ее зовут Отилия Гервак.

Услышав имя Гервак, Моргиана отвернулась, чтобы Нетти не заметила, как ее испугало это посещение. Тяжелое предчувствие овладело ею, а вместе с тем — нетерпение узнать как можно скорее, что значит визит женщины, добывшей яд. Желая показать прислуге, что посещению Отилии Гервак она не придает особого значения, Моргиана велела ввести посетительницу, а шоферу — готовить автомобиль.

Из предосторожности она стала ждать Гервак в комнате, уединенной от остальных, раньше бывшей комнатой Тренгана: так как окна гостиной были открыты, она боялась, что их могут подслушать.

Скоро раздался голос Нетти, открывшей дверь, и перед Моргианой появилась высокая женщина лет тридцати, с недурным свежим лицом, хорошо сложенная и спокойная. В клетчатом костюме и коричневой шляпе с белыми бархатными цветами, Отилия Гервак ничем не выделялась бы из тысячи женщин своего типа, не будь ее холодные серые глаза под резко сдвинутыми бровями так отчетливо неподвижны в выражении застывшей пристальности. В ее руке был маленький саквояж.

Войдя, она деланно улыбнулась, причем ее неприятно резкие для молодой женщины глаза смотрели с глубоким холодным молчанием на смешавшуюся Моргиану.

— Здравствуйте,— сказала Гервак.— У меня есть к вам небольшое дело, не очень приятное, но совершенно неизбежное. Можно сесть?

Ее голос был вульгарен и громок.

— Разумеется,— ответила Моргиана.

Они сели. Отилия Гервак вынула платок, вытерла губы, окинула взглядом собеседницу и заметила ее бледность. Это было ей на руку, а потому, хорошо понимая, что Моргиана взволнованно ждет, Гервак решила не торопиться.

— Итак, это ваш дом? — сказала она, оглядываясь. — Вы живете очень уединенно. Я взяла извозчика и, доехав до какой-то мызы около моста, отпустила его, а сюда добралась пешком. Уж из одного этого вы можете видеть, с какой осторожной особой имеете дело. Не волнуйтесь, ничего страшного нет. Ах вы!

Так воскликнув, как будто шутя журила хозяйку, она схватила Моргиану за руки, сжала их и оттолкнула развязным жестом бесцеремонной натуры.

— Ах вы, монахиня! — повторила Гервак, беззастенчиво изучая ее лицо, начавшее дрожать от злости. — Так слушайте, — продолжала она, переходя в сдержанный тон, — я здесь затем, чтобы у з н а т ь, — а что узнать, вы понимаете сами.

— Еще не было случая, — сказала Моргиана.

— Да?! Но вы п о л у ч и л и?

— Конечно.

— Прекрасно. — Гервак посмотрела на нее с тонким соображением. — Следовательно, вы ждете подходящих обстоятельств или... как?

— Я жду... — начала Моргиана, но не кончила и решилась прекратить выпытывание. — Надеюсь, вы не будете добровольно затягивать вашу роль в этом деле, о котором лучше молчать.

— Не увертывайтесь, — спокойно возразила Гервак. — Во всяком таком деле я довольно осведомлена. Я предупредила вас, что разговор будет не из приятных. У вас есть сестра, молодая девушка. Она нездорова третий день; ее лечит доктор Сурдрег, который вчера вечером признался одному человеку, что находит болезнь вашей сестры странной.

— Хорошо, — сказала Моргиана, начавшая по непреклонному тону посетительницы догадываться о цели ее приезда, — я вижу, у вас имеются способы узнавать судьбу жертв вашего искусства; хотя вы меня удивляете, так как болезнь Джесси — обыкновенное затянувшееся недомогание, но позвольте спросить вас: предположим, что ее болезнь — действие яда. Как тогда понять вашу настойчивость? Как недовольство результатом или... раскаяние?

— Я вам объясню, — сказала Гервак тихо и вразумительно. — Мы нашли, что услуга, оказанная вам, стоит значительно дороже суммы, которую вы уплатили. Фабрикация яда, очень сложная, связанная

с многочисленными опытами, требует значительных расходов; случился перерыв, чтобы наверстать время, нам пришлось купить вашу дозу от одного человека за очень большие деньги. Так как вы богаты,— во всяком случае, деньги сестры перейдут к вам,— мы уверены, что недоразумение будет улажено.

— Я вынуждена вам верить,— ответила Моргиана довольно спокойно,— все же я дам настоящее имя такому наглому требованию. Оно называется шантаж.

Гервак рассмеялась.

— О, нет! Всего лишь расчет на ваше благоразумие. Отбросьте сильные выражения и сообразите, с каким чувством ваша сестра может прочесть письмо, говорящее о роде ее болезни.

— Довод убедительный, но он имеет обратную сторону, так как и я не буду молчать о тех руках, которые продали мне флакон.

— Ну, вы еще совсем ребенок. У меня есть свидетели, что флакон был похищен вами из шкапа с токсинами, после того как мой муж показал вам этот яд и рассказал о его свойстве. Прислуга застала вас сходящей со стула у шкапа, а вы объяснили ей свою странную резвость желанием хорошенько рассмотреть живопись на стекле.

— Так,— сказала Моргиана в раздумье,— и здесь я должна вам верить, потому что хорошо помню разрисованное стекло шкапа. На стекле изображена китайская цапля среди водяных листьев и камыша.

— Не ломайтесь,— презрительно сказала Гервак.— Вы не в таком положении, чтобы посмеиваться.

— Но я «совсем ребенок», как вы сказали. Что же мне делать, серьезно говоря? Я попытаюсь убедить вас, что вымогательство пока не имеет оружия, так как яд предназначен не для моей сестры; она ведь моя сестра. Но я дам деньги вам добровольно. Я дам вам их из чувства отвращения к вашим действиям. Сегодня я не могу этого сделать. Послезавтра я буду в банке и возьму там крупную сумму для ремонта нашего городского дома. А затем отправлюсь к вашему мужу и передам деньги ему.

— Нет, не ему,— возразила Отилия Гервак,— мой муж не знает об этом деле и знать не должен. Деньги должна получить я.

— Вы грабите меня тайно от своего мужа, но как тогда понимать историю с разрисованным стеклом, если я не поддамся?

— Между собой мы уладим и не такие вопросы. Кроме того, я требую, чтобы Гервак не знал о моем посещении вашего дома. Вы имеете дело только со мной.

— Как хотите,— сказала Моргиана.— Для меня единственно важны ваши угрозы, хотя бы вы скрывали их от всех ваших родственников.

— Ну, хорошо, мы это выясним. Теперь скажите, о какой крупной сумме идет речь.

— Вы получите двадцать пять фунтов,— произнесла Моргиана с хорошо разыгранной наивностью,— чем, надеюсь, я предупредила ваши расчеты и ожидания.

Гервак внимательно посмотрела на нее, слегка улыбнулась и побледнела.

— Продолжайте,— сказала Гервак, смеясь,— двадцать пять фунтов мне, пожалуй, сразу не унести. Скажите-ка лучше так: «Ко мне пришла дура. На, дура, возьми десять фунтов и дай мне пять сдачи».

— Говорите тише,— холодно заметила Моргиана,— и выражайтесь понятнее. Что вас ужалило?

— Неужели же вы, пакостная, безумная пародия, не понимаете, что такое двадцать пять фунтов?— закричала Гервак, теряя самообладание.— Это цена вашего билета в тюрьму!

Моргиана встала и подала Гервак ее саквояж, лежавший на столе.

— Вон!— сказала она, указывая на дверь.

— Вы смеете! Вы смеете!— прошипела Гервак, отходя к двери.— Тогда ругай себя, сколько хочешь!

Дав ей переступить порог, Моргиана сказала:

— Ну, будет. Вернитесь. Разговор не из легких.

Думая, что она испугалась, Гервак снова вошла в комнату говоря:

— Если такая вещь повторится, меня вам не удастся вернуть еще раз.

— Яд предназначался не для сестры,— сказала Моргиана, сумрачно подходя к стоявшей у двери Гервак.— Кроме того, я еще не применяла его. Поймите, что это так, действительно так, и тогда сами назовите сумму.

Ее слова прозвучали настолько естественно, что Гервак слегка усомнилась, точно ли Джесси Тренган отравлена; однако ничем не выдала своего сомнения.

— Ложь,— твердо сказала она.— Этим вы ничего не выторгуете. Вы можете отрицать, доказывать, но я оставлю это дело только при условии, что мне будет вручено наличными пять тысяч фунтов.

Сказав так, она села и стала стучать пальцами по столу. Растерянное лицо Моргианы было для нее доказательством, что размер суммы подтверждает угрозу.

— Да? Хорошо.— Моргиана поднялась, затем снова машинально уселась.— Извините, я плохо соображаю, что говорю. Очень дурно,— хотела я сказать. Я повторяю, что денег сегодня у меня нет; вряд ли они будут и завтра. Но они будут. Расходование мной денег связано с отчетностью. Это — одна из причин, почему я прошу вас значительно сократить цифру.

— Я ничего не могу сделать, так как сама в крупных долгах,— ответила ей Гервак, считая такой ответ естественной вежливостью при ссылке Моргианы на обстоятельства.— Пока что единственно вы можете выручить мсня. Моя дочь учится в дорогом пансионе; мы сделали долги по заброшенному имению, которое теперь никто не хочет купить, и я еще должна высылать месячное содержание трем моим родственникам. Так что мне гораздо хуже, чем вам.

— Но я ничего не решила,— сказала Моргиана,— именно потому, что я не знаю... Хотите ли вы посмотреть несколько вещей? Я, к счастью, вспомнила об этих... об этом... Я принесу их.

— О чем вы говорите?

— Потерпите десять минут. Очень может быть, что мы немедленно сговоримся.

Она поднялась, и Гервак движением руки остановила ее.

— Хотите улизнуть? Или оттянуть?

— Нет, ускорить. Ждите меня здесь.

Оставив Гервак чувствовать себя рыбачкой, которая не торопится тащить лесу с утопленным поплавком, Моргиана прошла в спальню и выбрала из вещей Хариты Мальком несколько драгоценностей; между ними алмазную диадему и бусы из брошантэта, стоимостью в две тысячи фунтов. Положив эти вещи в небольшой бронзовый ящичек, Моргиана вернулась

с довольным видом и поставила ящик перед Гервак, говоря:

— Откройте, посмотрите, не фальшивые ли камни в изделиях; если они настоящие, я охотно отдам их вам вместо денег, предварительно оценив.

Гервак, быстро взглянув на нее, подняла крышку шкатулки. Камни засветились. Там, среди темно-зеленых брошантэтов, сияли крупные бриллианты, рубины и жемчуг. Гервак опрокинула ящик и высыпала все вещи на стол. Слегка потрогав их, она тщательно осмотрела отдельно каждую вещь, покачала на растопыренных пальцах бусы, прищурилась на диадему и, сложив все обратно, закрыла крышку.

— Кажется, это настоящие камни,— сказала она, замкнуто смотря на терпеливо ожидавшую Моргиану,— некоторые из них дороги и очень хороши.

— Тогда я спокойна. Я принесла часть; значительно больше лежит у меня наверху. Все это носила одна актриса, на которую разорялся Тренган; наконец он выгнал ее, и после его смерти, вместе с домом, мне достались драгоценности этой авантюристки. Разумеется, ни я, ни моя сестра не станем их носить. Я думаю, что здесь будет тысяч на десять, не так ли?

— Нет, не так. Почти все камни второго сорта; что касается черно-зеленых бус, то они — простое стекло. Все остальное так не модно, что считать его в триста фунтов соглашусь только я; ювелиры дадут двести или двести пятьдесят — самое большее. Вы говорите, что есть еще?

— Да, и так много, что мы наберем все же тысячи на четыре. Однако я дам вам только то, что здесь на столе. Флакон не тронут, яд цел, и вы можете убедиться в том, когда хотите.

— Что же, вы думаете отделаться тремястами фунтов?

— Хотите, я покажу флакон?

— Покажите, голубушка; я тогда покажу вам в этом флаконе чистую воду, которую вы туда налили.

— Для этого надо было бы распечатать посылку.

— Как — посылку? Что вы этим хотите сказать?

— Я не вскрывала ее,— сказала Моргиана, печально и насмешливо улыбаясь.— По-видимому, я — нервнобольна. Когда я получила этот пакет, мне стало казаться, что о нем известно везде. Когда я хотела

разрезать упаковку, я едва не лишилась чувств от волнения, так как боялась, что, взяв в руки флакон, отравлюсь от одного прикосновения к стеклу. Я ничем не могла победить гнетущий страх и дошла до того, что вздрагивала при всяком неожиданном шуме; везде мне мерещилось преследование. Я прятала пакет из одного места в другое; вставала ночью, чтобы убедиться,— не выкраден ли он во время моего сна, и так устала от мнительности, развившейся в манию преследования, что закопала яд в лесу, недалеко от дома. Вы можете увидеть посылку и убедиться, что не тронуты даже печати.

Моргиана хорошо притворилась, и Отилия Гервак ей поверила. Она слышала слова растерянной, полубезумной женщины, у которой дрожали руки. Жестокая досада на неудачу охватила Гервак, и она готова была уже, переменив тон, согласиться взять предложенные ей драгоценности, как Моргиана, ожидая, чем разрешится молчание, взяла ящичек и приоткрыла его, по-видимому, без всякой нужды, потом тихо опустила крышку. В этом ее движении было ненужное,— то, что выдает следователю искуснейших симулянтов.

— Хорошо,— твердо сказала Гервак, решив узнать истину до конца,— дело не в ваших нервах. Принесите посылку, и я вскрою ее сама.

Моргиана как будто смутилась.

— Но я не могу,— уклончиво возразила Моргиана,— я напугана. Мне не отделаться от мысли, что за мной подсматривают.

— Хорошо,— объявила Гервак, сомнения которой стали сильнее.— В таком случае проведите меня к месту, где спрятана посылка, и я ее посмотрю.

— Ради чего? Довольно, что я вам сказала об этом.

— Ну, в таком случае, я верить вам не могу. Вы играете неплохо, но я тоже хитра. Значит... мы кончили?

Гервак встала, смотря на ящик с камнями, и хотела уже спросить, передает ли Моргиана ей эти драгоценности в счет уплаты, как та протянула руку к звонку. Холодно приподняв брови, Гервак уселась на прежнее место и стала рассматривать ногти, следя уголком глаза за вошедшей Нетти.

— Передайте шоферу, чтобы он подождал,— сказала Моргиана прислуге,— мы отправимся на прогулку, и уже после того я поеду в город.

«Ну, доиграем,— подумала Гервак.— В лесу она будет уверять, что пакет кто-то украл. На этом я положу конец наглой торговле и отправлюсь домой».

Предложив Гервак выйти с нею вместе и объявив, что идти недалеко, Моргиана прошла через ворота, причем женщин видели: стоявший у машины шофер, Гобсон, и его восьмилетний сын. На узкой зеленой тропинке, ведущей к тому месту, где Моргиана раздробила флакон, Гервак, слегка обескураженная уверенностью, с какой ее вела Моргиана, спросила:

— Если вы едете в город, не могу ли я ехать с вами, а затем выйти у Песчаного Круга (так называлось предместье Лисса), чтобы там сесть в трамвай? В противном случае я должна идти полчаса пешком, чтобы разыскать лошадь где-нибудь в Брикете или Нантерре.

— Да, вы поедете со мной, если хотите,— ответила Моргиана.— Итак, вы уверены, что я лгу.

— Я уверена, что вы забыли то место, где спрятан наш спор.

— Ничего; идти осталось недалеко. Спустимся; внизу останется повернуть влево и пройти десять шагов.

Они шли теперь по границе леса, где среди высоких деревьев виден был отлогий склон, заросший кустарником; он далее переходил в чащу. Тропа вилась неожиданными поворотами, обходя упавший ствол или высокий камень; среди кустарника она стала едва заметной. Зайдя в чащу, где прохладная тень скрыла ее от жаркого утреннего солнца, Моргиана оглянулась на Гервак, которая, не сводя с нее серых, железных глаз, пробиралась среди ветвей, загораживающих путь, и указала на плоский треугольный камень, лежавший у старого дерева, на краю трещины, куда сбросила осколки флакона. Противоположный край трещины был ниже первого метра на четыре; за ним шли резкие скачки почвы вниз, до самых береговых скал, откуда при сильном ветре явственно доносились залпы прибоя.

Не обращая теперь внимания на Гервак, Моргиана приставила зонтик к дереву и, зацепив пальцами под низ камня, стала приподнимать его, задыхаясь от напряжения. Слегка тронувшись, камень вырвался из ее рук и лег опять плотно.

— Он лежал на боку,— говорила Моргиана, усиливаясь одолеть равнодушное сопротивление тяжести,—

я смогла опрокинуть, но поднять... Тогда я подрыла его... Найдите сук. Что-нибудь, чтобы подсунуть.

Гервак пожала плечами; заметив толстый обломок корня, она подняла его и, по указанию Моргианы, стала просовывать под приподнятый край камня.

Моргиана выпрямилась и схватила ее за шею.

Задыхаясь от испуга и боли, Гервак рванулась с криком; но ее ноги поскользнулись, и она упала на камень.

— А, подлая! — закричала Гервак.— Стой, пусти! Пусти, тебе говорят.

— Я сов-сем ре-бе-нок,— бормотала Моргиана, стараясь ударить Гервак головой о камень.

Они свалились, хватая друг друга за шею и лицо. Наконец Моргиана, силы которой возрастали с каждым движением, а левая рука не отпускала шею жертвы, ухитрилась вцепиться в горло Гервак правой рукой более основательно, чем первый раз. Она прижала ее и стала бить затылком о камень, пока судорожное напряжение опрокинутого лица не стало затуманенным, как во сне.

Гервак снова рванулась, вывернулась и стала на четвереньки, рядом с Моргианой, которая, стоя на коленях, начала поспешно сталкивать ее в трещину. Ничего не видя, оглушенная, полузадушенная Гервак свалилась на краю, руки и голова ее свесились в пустоту. Моргиана опустилась на локоть и столкнула Гервак бешеными ударами ног, тотчас вскочив, чтобы посмотреть, не уцепилась ли та за камни и корни.

— Совсем ребенок,— сказала Моргиана, держась за сердце, бившее по ребрам с хрипом и болью.— Яд здесь, я не лгала тебе; я сама стала ядом. Теперь найди извозчика в Брикете или Нантерре.

Сбросив в трещину зонтик и саквояж Отилии Гервак, Моргиана пошла к озеру и посмотрела на себя в воду. Ее лицо было все в красных пятнах; волосы растрепались, платье измялось и выпачкалось о камни. С трудом она привела его в порядок, затем вымыла руки и освежила водой лицо. Она вытирала его платком, бессознательно смотря в воду, и увидела там дикие глаза уродливой женщины. Но залив озера, в раме из дремучих кустов, унизанных алыми цветами, был прекрасен, и отражение в голубом зеркале той скалы, откуда Моргиана бросила вчера камень, было изысканно отчетливо озарено под водой утренним лесным светом.

— Это красиво,— сказала Моргиана,— я понимаю. Красивое — везде, его много. Но оно равнодушно. Красота, власть твоя велика! Так измени мне лицо! Сделай мои руки нежными и белыми!

Подул ветер, кусты зашумели; ответа и внимания не было. Едва Моргиана встала, как исчезло и ее отражение, и на его месте возникла в воде ничем не омраченная опрокинутая листва старого клена.

Моргиана возвратилась домой, переоделась и сказала Нетти, что Гервак отправилась пешком к ближайшей деревне, откуда ей надо быть вечером на станции железной дороги. Рассчитывая, что, при всяком положении розысков пропавшей Гервак, ее муж не обратится в полицию ранее, как через два дня,— скорее же не обратится совсем,— Моргиана прилегла отдохнуть. Как ни странно, но расправа с торговкой ядом дала ей запас твердости и самоуверенности. Позавтракав и окончательно обдумав продажу вещей Мальком, Моргиана вышла садиться в автомобиль. Уже шофер открыл дверцу, как у ворот дома остановился автомобиль Джесси и Моргиана получила записку сестры.

Приехавший шофер задержался у гаража с Нетти, а Моргиана, взяв ценности, поехала к Обергейму, крупному ювелиру Лисса, рассчитывая по окончании дел посетить Джесси.

Преступление больше не мучило и не устрашало ее; после сцены с Гервак и камня, брошенного в нагую девушку, ей было безразлично смотреть на Джесси и говорить с ней; но чувствовала она себя так, словно видела сестру последний раз — в ярком, щемящем сне.

ГЛАВА XVI

Когда Ева ушла, Джесси подумала, что сможет пересилить болезнь, если, пренебрегая слабостью, смело начнет двигаться. Она вздохнула и села; однако ей сразу стало труднее дышать, и чувство изнеможения усилилось. Опустив голову, девушка тихо пожаловалась себе: «Нехорошее происходит со мной. Я забыла, что значит быть здоровой. Как вспомнить здоровье?! О, здоровье, ты лучше всего! Вернись ко мне! Господи, выздорови меня!»

Джесси понурилась и заплакала. Ее моральное чувство болезненно обострилось; она видела себя виноватой во всем: в характере и несчастиях Моргианы, в заносчивости и гордости. Она сидела и каялась; все случаи, когда она была недовольна собой,— обозначались и ныли, как синяки. Единственно женским путем Джесси достигла среди самобичевания — своей легкой, нарядной шляпы, найденной так неожиданно Детреем, и горько сетовала, что приняла находку сухо, даже не расспросив подробно, как он ее нашел. «Но сегодня я расспрошу. Вообще, я была жестока с людьми,— думала Джесси, вытирая глаза,— а это так некрасиво. Ева думает, что Детрей глуп. Но ведь я не должна ни воспитывать его, ни учить; мое дело быть только любезной. Когда я его встречу, я ему скажу одно хорошее, и он будет ко мне привязан. Но, кажется, я еще глупее его... о, Джесси, как можешь ты считать кого-нибудь глупым с чужих слов?!»

Ее взгляд остановился на графине с водой, почти бесполезном теперь, так как воду было ей разрешено пить только в исключительных случаях. От этого постепенно вспомнилось ей утреннее посещение Моргианы в день отъезда сестры; подробности развивались одна за другой, и была она обеспокоена тем, что представилась ей Моргиана, стоявшая перед подносом как бы в замешательстве, когда Джесси повернулась от телефона. Девушка испугалась мысли, которая, как громом, поразила ее, хотя еще не стала словами. Всей силой ужаса и отвращения к невозможным, диким словам этой мысли, отталкивая их мрачный напор, подобно тому, как затаптывают вспыхнувшую ткань, Джесси закрыла глаза, заткнула уши и со стоном повалилась ничком на кровать, судорожно бормоча первое, что приходило на ум, лишь бы та мысль не повернулась словами. Но все ее усилия напоминали стремление избежать укола, прижимая ладонь к острию иглы. Вся сжавшись, она перевела дух, и в этот момент мысль, которую она пыталась рассеять, произнеслась ясно и точно:

«Я отравлена. Моргиана отравила меня».

Джесси охватила голову руками и вздохнула несколько раз, пытаясь глубоким дыханием ослабить сердцебиение. Стыд так угнетал ее, что некоторое время она могла только стонать.

«Боже мой! — сказала она, быстро садясь,— неужели это — я? И это в моей душе?! Пусть от такой подлости разорвется моя голова!»

Она шептала укоризну себе, убивалась и маялась, но черная мысль, пробившая ее отчаянное сопротивление, делала свое дело: в ней оживали подробности тяжелого утра и, становясь подозрительными, все больше пугали Джесси. Она говорила:

«Мне некому признаться в своей гнусности, как только ей; и она должна знать. Я знаю: это фантазия, от болезни и от книг; это не настоящая мысль. Но она показывает...»

Джесси неистово оправдывалась, а в ней, как рыба в воде, стояло загадочное поведение Моргианы, и она со страхом отказывалась его обсуждать.

«Я не подозревала, что я так извращена,— продолжала Джесси,— бедный мой урод, Мори, я рада, что послала тебе записку и скоро увижу твою истерическую, мятежную мордочку».

В этот момент штора, опущенная с солнечной стороны, шевельнулась; тень вскочившей на карниз кошки подняла хвост, и Джесси спугнула ее, хлопнув ладонями. «Вот так она пришла и ушла, та мысль»,— подумала девушка, удивляясь странному припадку сознания, которое возвращалось теперь к обычному взгляду на вещи, в связи с характером Моргианы. Но возбуждение осталось, и, двигаясь медленно, внимательно к каждому движению, Джесси накапала в рюмку успокоительных капель. Выпив их, она воспользовалась отсутствием сиделки, которая доканчивала свой завтрак, надела шелковый зеленый халат, завязала ленты чепца, сунула ноги в туфли и отправилась походить по саду; столкнувшись с возвращающейся сиделкой, Джесси, сконфуженная, рассмеялась и остановилась.

Сиделка, женщина лет сорока, с пытливым, красным лицом, поспешила к Джесси, протянув руки, как будто та падала, и отчаянно загородила дорогу.

— Опять вы встали? — сокрушалась сиделка.— Разве вы не понимаете, как этим вы вредите себе? Я очень прошу вас лечь немедленно. К тому же вам сейчас принесут завтрак.

— Бульон и сухарики,— уныло произнесла Джесси.

— Да. Чудный бульон; чудный, горячий, я сама смотрела за ним. Вернитесь скорей, пока не приехал

доктор Сурдрег. Уже двенадцать, и он с минуты на минуту может приехать.

— Что же, бульон? — вздохнула Джесси. — Я съела бы бифштекс и целую курицу. В бульоне нет спасения. Я умственно съела бы бифштекс. Пищеводом мне ничего не хочется, ничего!

— Так ложитесь тогда; вы окрепнете, и вам захочется кушать.

— Нет, не захочется.

— Кто же знает больше, вы или доктор? А он велел вам лежать.

— Надеюсь, он не узнает, что я была в саду пять минут? — вкрадчиво улыбаясь, сказала Джесси и шмыгнула в сторону, мимо осторожно ловящих ее рук сиделки. — Не волнуйте меня; вы знаете, что мне вредно волнение. Идите, я очень скоро вернусь.

— Зачем же было тогда меня приглашать? — жалобно воскликнула женщина. — Но я скажу доктору! Я не могу равнодушно видеть, как вы себя губите!

Внушительно посмотрев на нее, Джесси запахнула халат и пошла к выходу. Ее сердце билось сильно и весело. Если бы не халат и чепец, она могла бы подумать, что выздоравливает. Но у нее был временный прилив сил — явление, оплачиваемое впоследствии новым упадком.

Влажная жара сада согревала ее лицо. Был полдень; стволы стояли на кругах теней; цвели тюльпановые деревья, померанцевые, каштаны и персики. Улыбаясь цветам и листьям, Джесси ступила в аллею, шедшую вдоль ограды из каменных столбов, перемежающихся узорной чугунной решеткой, и, пройдя к цветнику, присела на мраморную скамью. Над цветами, вызывающими жадность к их красоте, стояли осы. Птицы уже смолкли; лишь соловей, совсем близко от Джесси, но спрятавшись так, что ни глаз, ни слух не могли установить его резиденцию, неторопливо и выразительно говорил приятными звуками, вызывающими внимательную улыбку. Иногда звуки его были подобны вопросу, раздающемуся безмятежно и деликатно; или напоминали увещевание, и, хотя никакая птица не отвечала ему, он с такой отчетливостью, мелодически чисто, неторопливо продолжал спрашивать, уговаривать и объяснять, что Джесси невольно начала подбирать к его упражнениям соответствующие их интонации слова. Она знала, какие это слова,

но не могла их сказать так же, как, чувствуя сущность имени или названия, мы иногда не можем сразу навести память на их ускользающие буквы, которыми обозначается душа слова. Джесси не могла сказать слов; тогда она встала и пошла к розам, росшим вдоль всей ограды. За оградой шел ступенчатый переулок. Его противоположная сторона была тоже стеной чужого сада, но не такой, как стена сада Джесси. Та стена была высока, глуха и ограждена наверху двумя линиями колючей проволоки.

Листва роз скрывала Джесси от переулка. Собравшись отломить ветку с тремя цветками кремового оттенка, девушка услышала восклицание и всмотрелась между ветвей.

За решеткой стояла молодая женщина лет двадцати четырех. Тонкий загар ее нежного, раскрасневшегося от зноя лица, сияющие голубые глаза и темные волосы,— влажные на влажном, открытом лбу, под широким полем желтой шляпы, отделанной синей лентой,— снискали в сердце Джесси естественное сочувствие. На неизвестной молодой женщине было белое полотняное платье в талию, с открытыми руками и шеей. Сгибом локтя она прижимала к груди бумажный мешочек с сухарями и держала руку в мешочке, забыв вынуть сухарь. Она смотрела на розы с восторгом; Джесси она не видела.

— На этот раз он купил каких-то особенно вкусных,— сказала женщина сама себе, вынув сухарик и осматривая его.— Приятно спечены.— Ее глаза снова обратились к розам.— Вот какие бывают цветы! Так охота таких цветов!

В этих ее словах было столько жалующегося желания, что Джесси поспешила к ограде и, выйдя на свет, сказала:

— Не откажитесь, пожалуйста, взять те цветы, которые вам нравятся,— как можно больше.

Неизвестная смутилась и рассмеялась, краснея от неожиданности.

— Я... я... я...— залепетала она, прерывая свои слова невольным смехом признательности,— я думала, что вас нет и что вы не подумаете... Признаюсь, вышло неловко... Я это себе сказала... А вас я не видела! Хороши ваши цветы, ах, как они хороши!.. Как на них смотришь, знаете, тут...— она обвела пальцем левую сторону груди,— тут делается так нежно... Разбегаются глаза.

— Тогда зайдите в сад, и мы вместе будем смотреть.

— Нет, благодарю: во-первых, мне надо уже домой, а затем... вы, кажется, нездоровы.

— Я правда нездорова! — вскричала Джесси, огорченная тем, что по ее лицу можно сразу заметить болезнь, хотя собеседница имела в виду халат и чепец.— Я действительно прихварываю, но походить с вами недолго могу. Я не знаю, как это так быстро случилось, но вы мне чрезвычайно нравитесь. Зайдите в сад.

— И со мной то же,— сказала женщина.— Отчего это?

— Вы правы; я, должно быть, похожа на облезшую кошку. То есть, что «то же»? Вы тоже больны?

— Вы предлагаете мне цветы,— объяснила женщина с приветливым напряжением лица, стараясь сказать сразу, кратко, все, что думала,— но я говорю так не из-за цветов... Я к вам чувствую то же и тоже сразу... как и вы. Значит, вы... Мне очень вас жаль! Какая у вас болезнь?

— Пока доктор не знает. Я слабею и худею, меня исследовали и ничего не нашли...— Она стала печально срывать лепесток, тронутый червем, и договорила, после небольшого молчания: — Интересная, загадочная больная. Знаете,— сказала Джесси, слабо улыбаясь и вводя выбившиеся волосы под чепчик,— может быть, я ошибаюсь, но, насколько знакома я с зеркалом, кажется мне, что мы с вами сильно похожи, только глаза разные. У вас голубые.

— Это же и так же подумала сейчас я. У вас темные, не черные.

— А как ваше имя?

— Джермена Кронвей. Неужели такое же у вас?

Джесси расхохоталась.

— Джермена Тренган,— сказала она, весело сконфузясь.

— Поразительно! — воскликнули обе в один голос.— Надо же, чтобы было именно так!

— Такой случай требует, чтобы вы навестили меня,— сказала Джесси,— и я теперь буду вас ждать.

— Я непременно буду у вас, непременно! — с жаром произнесла «здоровая Джесси»,— сегодня я и мой муж должны ехать на Пальмовый остров и там гулять.

— Счастливая! — заметила ей «больная Джесси». — А я... мне велят только лежать.

— Но и вы будете счастливы, когда выздоровеете.

— Да, когда-то еще это будет. Без разговоров забирайте цветы. Нет ли у вас ножика?

— Есть ножницы, маленькие, кривые. — Джесси Кронвей достала их из бисерного мешочка, протянув в вырез решетки. — А руки?! Вот моя и ваша рука... Фу! которая же моя?

— Вот это ваша, а это — моя; моя побледнела, а ваша загорела больше.

Передернув плечами, чтобы размять занывшую от ходьбы спину, Джесси отвернула рукава халата и начала срезать розы всех цветов, от бледно-желтого и розового до пурпурного и белого. Она нарезала дамасских, китайских, чайных, нуазет, мускусных, бурбонских, моховых, шотландских и еще разных других, войдя сама в азарт, желая набрать все больше и больше. Вторая Джесси, с раскрасневшимся от удовольствия и алчности, блаженным лицом, следила, как морщит брови, теребя колючие стебли, больная бледная девушка, откручивая пальцами какой-нибудь непосильный для ножниц стебель, и как она, присоединяя к букету новую розу, оглядывается на нее, кивая с улыбкой, означающей, что намерена дать еще много роз. В разгаре занятия ее отыскала сиделка. Ее возглас: «К вам приехал доктор!» помешал второй Джесси получить целый сад роз. Джесси Тренган передала ей собранные цветы, ножницы и сказала:

— Я рада, что вы пришли. Приходите еще.

Прижимая к груди охапку, из которой уже свесились, а затем выпали несколько роз, вторая Джесси ответила:

— Я непременно приду, если не завтра, то скоро. Идите скорее в дом! — И она удалилась первая, а Джесси Тренган, став серьезной, пошла с сиделкой, взглядывавшей на нее крайне неодобрительно.

Сурдрег был согбенный, но бодрый старик, с посмеивающимися серыми глазами и седой бородой; он имел манеру говорить с больными как с детьми, в словах которых надо искать не совсем то, что они говорят. Непослушание Джесси вызвало у него особую докторскую злость, но, посмотрев на виноватое лицо девушки, Сурдрег лишь сказал сиделке:

— Если это повторится, я сообщу о вашей глупости в вашу общину.

— Она не виновата, я виновата,— сказала Джесси, садясь и вздыхая.

— Разрешите знать мне, кто виноват,— сухо ответил Сурдрег; затем, смягчась, он сказал: — Прилягте,— и взял поданный струсившей сиделкой листок, на котором та записывала температуру. Там стояло: 36,3 — вечером и 36,2 — утром. Задумавшись, Сурдрег положил бумажку на стол, вынул часы и начал считать пульс. Он был вял, ровен и нисколько не учащен. Доктор освободил руку Джесси и спрятал часы.

— Что со мной? — тревожно спросила девушка.

— А вы как думаете? — ответил Сурдрег с улыбкой.

— Я нездорова, но что же это... как назвать такую болезнь?

— Любопытство,— сказал Сурдрег, прикладывая ухо к ее груди со стороны сердца.

— Позволительно ли в таком случае думать, что наука... как бы это смягчить?.. ну, осеклась на вашей покорнейшей слуге.

— Помолчите,— сказал Сурдрег. Он стал мять и выстукивать Джесси: его сильные пальцы спрашивали все ее тело, но не получали ответа. Состояние некоторых органов — почек и печени в том числе — внушало сомнение, но не настолько, чтобы утвердиться в чем-либо без риска сделать ошибку.

— Видите ли, милая девочка,— сказал Сурдрег, когда Джесси, охая от его твердых пальцев, запахнулась халатом,— наука еще не сказала последнего слова в отношении вас; она ничего еще не сказала. Решительно ничего серьезного у вас нет (про себя думал он другое), но, чтобы окончательно решить, как вам снова начать прыгать, я должен буду послезавтра — если не произойдет каких-либо руководящих изменений — созвать консилиум. Трудноразъяснимые случаи встречаются чаще, чем думают. Но, чтобы там ни было, лежите, лежите и лежите. Завтра я снова навещу вас. Старайтесь меньше пить и принимайте в моменты расслабленности прописанные мной капли.

Он встал.

— Доктор, поклянитесь мне, что я не умираю! — взмолилась Джесси.

— Клянусь Гогом и Магогом! — сказал Сурдрег, гладя ее по голове.

— Кто такие?— осведомилась Джесси басом сквозь слезы и неудержимо расплакалась, сердитая на шутки Сурдрега.— Я пу... пу... пускай я умру, но вы не... не... должны так... Я ведь се... серьезно вас спрашиваю!..

— А я серьезно вам отвечаю: если вы будете меня слушаться, следовать диете и не вставать, то через неделю будете совершенно здоровы.

Джесси посмотрела на него с упреком, но скоро утешилась. Сурдрег уехал, а девушка, выпив свой бульон, задремала.

Ее разбудило появление Моргианы.

ГЛАВА XVII

Моргиана посетила ювелира, показав ему часть драгоценностей и, осторожно ведя разговор, убедилась, что ее оценка вещей Хариты Мальком приблизительно верна, но, продавая торговцу, она должна была примириться с потерей третьей части общей нормальной суммы. Условясь получить завтра деньги за привезенное, а также доставить много других вещей, Моргиана получила задаток и поехала к Джесси.

Ее мрачная сосредоточенность и решимость смотреть до конца в глаза смертному делу своих рук за время езды от магазина к дому перешли в тяжелое удовольствие, подобное терпеливому ожесточению, с каким человек несет тяжелую кладь, утешенный тем, что задыхается под своей ношей. Мгновениями Моргиана была почти счастлива, что у нее нет никаких надежд, что ее привычное отчаяние озарено так ярко и безнадежно. Она подъехала к дому с чувством возвращения из долгого путешествия. Ее сердце начало теперь сильно биться, и она уговаривала себя быть естественной. На приветствия слуг Моргиана ответила несколькими холодными словами, тотчас спросив, как чувствует себя Джесси. Узнав от сиделки, что положение неопределенное,— девушка не выходит, а теперь спит,— Моргиана послала сиделку взглянуть, не проснулась ли Джесси, а сама села в гостиной, куда, почти немедленно вслед за ней, вошли Вальтер Готорн и Ева Страттон.

Вальтер Готорн был высокий пожилой человек сильного сложения, с длинной бородой и красивым

тонким лицом. Между ним и дочерью было большое сходство. Ева вошла в оживлении, но, увидев Моргиану, притворилась утомленной.

— Я навещаю ее,— сказала Ева.— Вы ее видели?

— Нет, еще не видела. Я едва приехала и жду известий. Она, кажется, спит.

— Быть может...— начал Готорн.

В это время пришла сиделка и сказала, что Джесси проснулась. Все подошли к двери больной. Моргиана, сделав улыбку, стукнула и услышала слабый голос, звавший войти.

Тогда совершенная необходимость лгать и играть стала сразу естественным состоянием Моргианы, она плавно открыла дверь, улыбаясь с порога и юмористически тревожно всматриваясь в осунувшееся лицо девушки.

— Иди, иди, Мори,— сказала Джесси,— я рада, что ты приехала. А вас трудно залучить, только болезнью,— обратилась Джесси к Готорну, который жестом показал, как безумно занят всегда.— Ах, Ева, был доктор; он говорит, что я выздоровею; но он все еще не знает, чем я больна. Моргиана, хорошо у тебя там, в пустыне?

— Да, тихо. Ну, вот ты и допрыгалась. Ты должна была переменить чулок, когда промочила ногу.

— Ты думаешь, от этого?

— Существует тьма легких простуд,— сказал Готорн,— в которых врачи разбираются не так-то легко. Я читал о знаменитом математике, не помню, кто такой, но, решая в уме сложнейшие задачи высшей математики, этот человек ошибался, делая простое сложение.

Моргиана подошла к столику и посмотрела сигнатуру лекарства, потом тронула лоб Джесси и села, сказав:

— У тебя жар?

— Нет ни жара, ни озноба. Неужели ты думаешь, что я мнительна?

— Я ничего не хотела сказать.

— Впрочем,— заявила Джесси,— назавтра Сурдрег обещал мне консилиум. Я не хочу больше говорить об этом. Расскажи, Ева, о выставке!

Моргиана в высшей степени точно наблюдала сама себя. Ей было странно и горько. Ее ненависть стояла между ней и Джесси, невидимая никому, кроме Морги-

аны,— ее двойник, с дикой и темной улыбкой. Гниение души образовало печальный, но руководящий отсвет, благодаря которому самообладание ей не изменяло и — она знала это — уже не могло изменить.

Ева начала рассказ:

— Много, много всего. Мы не могли всего осмотреть; однако любопытные вещи. Ну, само собой — перпетуум-мобиле, даже два. Это такие потрескивающие и постукивающие механизмы в стеклянных ящиках; впрочем, нам сказали, что один из них действует всего четыре дня, а второй — восемь. Потом модели аэропланов.

— Хочу летать! — вскричала Джесси.

— Обещаю вам устроить полет, когда вы поправитесь,— засмеялся Готорн. Он начал говорить о полетах; летал Готорн три раза, но относился насмешливо. Ему неожиданно возразила Моргиана.

— Но, время от времени, они падают,— сказала Моргиана, с искусственной горячностью,— возможность падения лишает аэроплан фривольности, которую вы подчеркиваете.

— Я не хочу, чтобы вы меня сочли жестоким,— ответил Готорн,— но, по-моему, смерть такого рода не трагична, а лишь травматична. Это не более, как поломка машины.

— Что с тобой, папа? — возмутилась Ева.

— Должно быть, я — изверг,— рассмеялся Готорн.

— Нет, вы не изверг! — вскричала Джесси.— Вы хотели сказать, что падение, ломание и пылание напоминает опрокинутый примус?

— Думаю, что не больше.

— Ты иногда делаешься невыносимо циничен,— заметила Ева.

— Они падают,— тихо заговорила Моргиана,— по большей части молодые, полные сил, почти мальчики. Разве не прекрасна смерть в двадцать лет?

Никто ей не ответил, потому что это замечание и выражение, с каким она произнесла его, заставило подумать о Джесси; и Джесси это подумала.

— Если я умру, то смерть моя, значит, будет прекрасна,— сказала она, расстроясь от своих слов.— Нет, уж пусть лучше это будет не прекрасно... лет через пятьдесят... через сто!

Видя, какое направление принял разговор, Ева поспешила спросить Готорна:

— Ты купил машину?

— Да. Речь идет о новой скоропечатной машине,— обратился Готорн к Джесси,— которую демонстрировали на выставке.

Джесси кивнула, хмуро посматривая на Моргиану. Моргиана, с тусклой улыбкой в утомленных глазах и сжатых губах, случайно встретила ее взгляд, и ей показалось, что сестра глазами спрашивает о самом сокровенном, о грозном. Кровь отхлынула от ее сердца; невольно расширяя глаза, смотрела она на Джесси в упор, не имея силы отвести взгляд; в свою очередь, испугавшись, Джесси сжала плечи и увела в них голову, продолжая смотреть на сестру.

— Что с тобой, Мори?—вскричала она, вдруг задрожав.— Моргиана?

— Что со мной?—спросила та, как во сне.—Скорее, что с тобой?!

— Я сама не знаю,—рассмеялась Джесси.—Нервность. Такая нервность, что нет на свете более подлого существа, чем я. Когда выздоровею, я тебе расскажу.

Губы Моргианы прыгали, не слушаясь, так что она не смогла сразу сказать. Наконец она перевела дыхание, с трудом выговорив: «Конечно, потом». И она подумала, что ее подавленность стала заметной. Чтобы замять странное положение, не выходя из его мрака, она сказала:

— Дикий случай произошел недалеко от «Зеленой флейты». В одну купающуюся девушку неизвестно кто швырнул камень и рассек шею. Теперь она будет калекой. Я послала ей немного денег.

Готорн уже несколько минут сидел молча, выжидая случая сказать какие-нибудь веселые пустяки и откланяться. Он посмотрел на дочь.

Решительная, внезапная бледность Евы очень удивила его. Ева что-то быстро писала в своей записной книжке; вырвав листок, она с веселым смехом передала его Моргиане.

— Ева, что там за секреты у вас?—стонала Джесси, мотая головой по подушке.

— Нам нужно поговорить,—беспечно, но твердо сказала Ева,—о самых пустых делах.—Она нервно вздохнула, наблюдая медленно, исподлобья, поднимающийся к ее лицу взгляд Моргианы, которая, прочи-

тав листок, держала его в руке.— Папа, расскажи Джесси о непроницаемых панцирях!

Джесси, нахмурясь, рассматривала ногти. Ева и Моргиана вышли, и, когда дверь за ними закрылась, они разом повернулись одна к другой.

— Так что?—как бы не догадываясь, сказала Моргиана шепотом.

— Слушайте: я уже два года...—начала Ева, но, быстро взглянув на нее, Моргиана перебила, указывая отдаленную дверь:

— Там сядем и поговорим.

Это была одна из тех лишних комнат, какие иногда образуются в большом доме из-за ошибки в плане: маленькая, с окном на проход и не имеющая никакого назначения; там стояла лишь случайная мебель. Когда женщины зашли в эту комнату, Ева прикрыла дверь.

— Моргиана! Вы должны быть от нее эти дни вдали. Я скажу, далее, еще более неприятные для вас вещи, и вы можете ненавидеть меня, сколько хотите, но во мне говорят сильные подозрения, что отношения ваши с сестрой мучительны, тяжелы. Она не будет прямо жаловаться никому, и мне, в том числе, тоже не скажет ничего прямо, однако часто в ее словах и тоне слышится просьба понять без объяснений. Судите сами, как легко мне высказывать вам! Я не знаю, в чем дело, и не имею никакого права судить—ни вас, ни Джесси. Я хочу только сказать, что Джесси нужно спокойствие.

Ева нервно вздохнула и вопросительно посмотрела на Моргиану. С негодованием заметила она, что та, вначале изменившись в лице, теперь тихо смеется, сжав губы и сощурив глаза. Ева ожидала возмущения, гнева, может быть, оскорбления, но этот неожиданный смех вернул ей холодную вспыльчивость, с какой она высказала свое требование.

— Решительно ничего смешного нет, я думаю,— сказала она запальчиво.

Моргиана кашлянула. Ее светящиеся смехом глаза были напряжены, как у человека, идущего со свечой во тьме.

— Я хочу знать,—сказала Моргиана, медленно выговаривая слова,—что сказал вам дьявол, когда вы получили от него яблоко?

— Объясните,—сухо сказала Ева, всматриваясь в затаенное выражение лица Моргианы.

— Совершенные пустяки, милочка. Вас зовут Ева, и это меня навело на глупую мысль, что вы угостили Адама яблоком.

Ева вспыхнула и смешалась. Она хотела, ничего не говоря, выйти, и уже повернулась, но внезапное тяжелое чувство вызвало у нее серьезный вопрос.

— Что с вами?—спросила она.—Я на вас не сержусь. Что с вами?

— Оставьте этот тон, Ева.

— Моргиана, если я...

— А я говорю—оставьте меня. Вас тревожит Джесси. Я согласна поговорить о ней. Но вы ошиблись. Мы очень любим одна другую, и наши отношения хороши. Довольно с вас?

— Для хороших отношений едва ли уместно говорить о смерти в присутствии больной. Пощадите ее, Моргиана! Она не сделала ничего худого.

— Подозревают, что я порчу ей жизнь,—говорила Моргиана, как бы не слыша Еву.—А я часто заменяла ей мать. Но, хорошо, я прощаю вас; вы иногда очень наивны. Должно быть, вы ее действительно любите. Любовь пристрастна. Однако надо вернуться.

Моргиана прошла мимо Евы, ничего более не говоря, и та, несколько задержавшись, чтобы улеглось раздражение, последовала за ней. По дороге она остановилась возле трюмо, чтобы сделать веселое лицо, и заметила, что ее улыбка привлекательна. Это помогло ей сохранить улыбку при входе в комнату; весьма кстати здесь был Детрей, сидевший поодаль от кровати Джесси, которая держала принесенные им цветы.

— Мы советовались, не перевезти ли тебя, Джесси, в «Зеленую флейту»,—сказала Ева, взглядывая на совершенно спокойную Моргиану,—но я согласна, что там будет не так удобно.

— Ну, конечно,—сказала Моргиана,—Ева придумывает опрометчиво.

— Фу, глупости!—заметила Джесси.—Для этого выходить?! Ева, Детрей очень мил! Он дал мне цветы!

— Но не конфеты?

— Конечно нет,—сказал Детрей.—Мне это запрещено.

Любовь уже поразила его. Он чувствовал ее силу, еще когда поднимался в подъезд, по тяжести ног и тяжелому волнению, мешающему непринужденно дышать. Невменяемый, Детрей тем не менее довольно

искусно притворился вменяемым и спокойным с момента, когда увидел похудевшую Джесси, что показало ему ее не в облаках, подобной заре, а земной, подверженной болям и все же единственной во всей истории человечества. Разговор едва начался, как пришли Ева и Моргиана. Последняя никогда не слыхала о Детрее; Джесси, познакомив их, ничего не упомянула о шляпе.

— Ну, Джесси, я ухожу,— сказала Моргиана, подходя к кровати сестры.— Ничего серьезного, конечно, нет; я вижу, все будет хорошо.

— Прощай, Мори! — сердечно ответила девушка, приподнявшись и охватив талию Моргианы, причем протянула губы.— Ты когда приедешь? Не знаешь? Смотри приезжай и... вот, нагнись, я тебя поцелую.

Моргиана сделала движение прочь, но, опомнясь, быстро поцеловала Джесси в угол рта. Все стало плыть, покачиваясь и удаляясь, в ее глазах; она присела на край кровати и закрыла рукой глаза. Джесси встревожилась, но ее сестра, сделав усилие, встала и сказала: «Ужасный зной, слабая голова!»

Затем она простилась со всеми, мягко улыбнувшись большим глазам Евы, и ушла, раскачивая шелковой сумкой, твердая и тяжелая в сером, глухом платье, в синей шляпе, единственным украшением которой был плоский синий бант. Дверь закрылась. Еще Ева услышала, как она кашлянула за дверью, и ее сердце неприятно сжалось.

Но начался разговор; Детрей на вопрос Джесси сообщил, что через несколько дней работы его будут окончены, после чего предстоит возвратиться в Покет, откуда он приехал.

— Отлично,— сказала Джесси, шевеля концом пальца его цветы,— вы будете мне писать?

— Непременно! — сказал Детрей и подумал с огорчением, что она намерена предложить ему «дружбу», то есть то, о чем на другой день девушки забывают.

Джесси открыла рот, чтобы заговорить о шляпе, но нашла теперь это неделикатным. «Он подумает, что только такому случаю обязан продолжением знакомства». Затем разговор пошел неровно, о пустяках. Между прочим Готорн спросил, не в одном ли полку служит с Детреем некто Стефенсон, сын его старого знакомого.

— Не знаю,— ответил Детрей,— вернее, у меня не было времени знать. Я перевелся туда всего два месяца из 5-го Таможенного батальона.

— Значит, вы имели стычки с контрабандистами? — воскликнула Джесси.

— Увы! Я получал только рапорты о стычках. Это дело солдат-пограничников.

— Я думаю, неприятно ловить бедных людей, виновных лишь в желании прокормить семью,— сказала Ева, инстинктом чувствуя, что все помыслы Детрея обращены к Джесси и что Джесси решительно признала его право существовать.— Батальон против нищих! Борьба слишком неравная.

— Конечно,— согласился Детрей.— Нельзя позволить мошенникам перебить батальон.

— Нельзя; и к тому же вас могли бы убить,— сказала Джесси.— Вы знаете, у Евы страсть сожалеть наоборот.

— Ты ничего не понимаешь,— возразила Ева.

— Я все понимаю. Вот скажите: разве контрабандисты — нищие?

— Нет,— сказал Детрей.— Они добывают много. Не редкость встретить контрабандиста, являющегося содержателем целой банды. Кое-кто из них выстроил дома и накопил в банке, а остальные могли бы иметь то же, не будь слабы к вину и игре.

— Вот видишь, Ева, какие это нищие!

— Все равно, я становлюсь на их сторону.

— Стоит ли? — спросил Готорн.— В лучшем случае подешевеют чулки.

Ева расхохоталась.

— Серьезно,— сказала она, приходя в мирное настроение,— мне жаль этих людей, так устойчиво окруженных живописной поэзией красных платков, карабинов, гитар, опасных и резких женщин, одетых в яркое и высматривающих в темноте таинственные лодки своих возлюбленных.

— Издали это так,— согласился Детрей.— Некоторые вещи хороши издали. Но смею вас уверить, что в большинстве — они самые обыкновенные жулики. Я хочу вас спросить,— обратился Детрей к Джесси, причем его лоб покраснел,— не внушает ли опасений состояние вашего здоровья?

Его церемонный, высказанный сдержанно и неожиданно вопрос вдруг так понравился Джесси, что она развеселилась и заблестела. Взглянув с признательностью, с теплым смехом в глазах, она сказала смеясь:

— Не внушает! Нет! Никаких опасений! Состояние моего здоровья недоброкачественно, но поправимо! Смею вас уверить!

Глядя на нее, все стали смеяться.

— Право, вы хорошо действуете на Джесси,— сказала Ева, взглядывая с улыбкой на отца, который улыбнулся ей сам и посмотрел на часы, двинув лежащей на коленях шляпой.

— Действует! — сказала Джесси, хохоча и уже стараясь удержать смех.— Отлично действует! О! Мне смешно! А вы не обижайтесь! — обратилась Джесси к Детрею, который с наслаждением прислушивался к ее смеху.— Мы будем с вами друзьями.

Детрей вздрогнул, и ему стало грустно.

«Вот оно,— подумал он со страхом.— Сказано слово «друзья», следовательно, надежда зачеркнута».

Джесси, перестав смеяться, откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Устала? — спросила Ева.

— Устала, да.

Детрей встал одновременно с Готорном и тревожно взглянул на Еву.

«Она теперь уснет»,— шепнула ему Ева и поправила шляпу.

— До свиданья,— негромко сказала Джесси, полуоткрыв глаза.— Я усну. Приходите все.

— Завтра я у тебя весь день,— решила Ева.

— Благодарю. Я уже сплю... сплю.

Вызвав сиделку и наказав ей тщательно смотреть за больной, Ева с отцом ушли: за ними шел Детрей, погруженный в раздумье.

— Мы едем домой,— сказала молодая женщина, когда они вышли на тротуар.— Как, на ваш взгляд, выглядит моя Джесси?

— Печальная перемена,— вздохнул Детрей.— Она была такой... Розовый, потрескивающий уголек, не обжигающий и горячий, светлый. И вот...

— Стихи без рифмы — все же стихи,— подозрительно заметила Ева.

— Да? — улыбнулся Детрей.— Дело в том, что такие девушки невольно вызывают слова. Воистину, осенью один человек будет адски счастлив.

— Это кто такой? — шутливо возмутилась Ева, забывшая о своей минутной интриге.

— Не так важно, кто,— усмехнулся Готорн,— гораздо важнее, что... о д и н.

— Папа, ты разгулялся?

— И даже недурно.

— Так что же этот о с е н н и й?

Догадавшись, что Ева выдумывала, Детрей не захотел конфузить ее и ограничился замечанием о судьбе девушек вообще.

— Детрей, Джесси произвела на вас впечатление?

— Да, произвела. Почему я должен отрицать хорошее, если оно есть в душе?

Готорн с симпатией посмотрел на молодого человека, по всей видимости, сильно расстроенного.

— До свиданья,— сказал он, крепко пожимая его руку.— Мы ждем вас к себе...

Они расстались. Подсаживая дочь на сиденье автомобиля, Готорн спросил:

— Почему ты вообразила, что Детрей глуп?

— Я почувствовала, что глуп. Сегодня глупее, чем когда-либо,— сказала Ева с упрямством, вызвавшим у ее отца молчаливое удивление.

— Да... Иметь такую сестру! — сказал он после небольшого молчания.

Ева тоже помолчала, чтобы дать вполне развиться мыслям, обусловившим фразу Готорна, и подкрепить их.

— Ответа нет,— сказала она задумчиво.— Говорить можно много, а решения бесполезны. Что лучше в положении Моргианы? Смерть или жизнь? Я уклоняюсь от ответственности сказать что-нибудь — в тоне закона.

— Мне кажется, что ты приписываешь Моргиане несуществующее. Женщины ее типа часто самодовольны.

— Нет. Она очень умна и беспощадно озлоблена.

— Низкая или высокая душа — вот в чем вопрос,— сказал Готорн.— Посмотри на некрасивую резеду.

ГЛАВА XVIII

Оставшись один, Детрей прошел бесцельно по улице и повернул, тоже бесцельно, обратно. Стоял такой отравляющий и ослепляющий зной, что даже мысли изнемогали. Редко показывался прохожий, стараясь

идти в полосе тени возле домов. С тяжелым от зноя и любви сердцем Детрей прошел к скверу Дурбана, где среди огромных агав фонтан гнал струи скачущих брызг. Безумно захотелось ему воды, льду, тени, пронизывающей сырости погреба. Между тем оставалось не более часа до первого веяния прохлады, когда ветер с моря умеряет пламенение дня. Но этот остающийся час таил муки серьезные. Детрей разыскал винный погреб, куда набилось уже довольно народу, попивая красное вино со льдом, и уселся в самом конце длинного помещения, около бочек. Отсюда был виден ему солнечный блеск полукруглого входа.

Он потребовал вина, поданного в стеклянном кувшине, где плавал кусок льда, и начал остывать от жары. «Я буду называть ее «Джесси», что бы ни случилось со мной. Боже мой, как мне тяжело! Она поправится — я знаю, чувствую это. Однако ничего не выйдет и не может выйти. Бессмысленно развивать надежды. Ее судьба должна быть как благоухание, таинственное и редкое. Так это и будет, но не со мной. Таким девушкам даже вообще как-то странно выходить замуж. Они должны были всегда оставаться девушками — не старше двадцати лет, чтобы о них болеть вот такой нестерпимой болью, какую переношу я».

Закончив свой гимн отчаяния и восторга, молодой человек сидел некоторое время, смотря в стакан взглядом суровым и безутешным. Наконец, страстно излившиеся мысли его, побыв где-то, вернулись и заговорили опять.

«Рассудок помрачается,— размышлял несчастный, пытаясь беспристрастно изучить опутавшую его зеленую лиану с пламенными цветами,— все самое худшее и лучшее заявляет о себе, и человек ничего не стыдится. Хочется, чтобы соперник, счастливый и достойный, висел на волоске от смерти, а я бы его спас, все-таки сожалея, что он не умер, и выслушал бы от нее слова благодарности, улыбаясь в мучениях. Ее неприятная сестра счастливее меня, потому что Джесси поцеловала ее. Хорошо, если Джесси впадет в нищету, бедствие, а я встречу ее на дороге, не знающую куда идти; мы женимся, и я буду за ней смотреть, буду ее беречь. Как я хотел бы спасти ее во время пожара или кораблекрушения!»

Заметив, что накликал изрядное число несчастий для ничего не подозревающей девушки, Детрей

несколько остыл, добавив: «Да. В то же время я должен быть сдержан, покоен, весел; я должен сидеть на костре, обмахиваясь веером совершенно непринужденно; таков закон уважения к себе. Пока не поздно, я должен отсюда уехать. Иначе я погиб. Невозможно думать о том, что я думаю. Есть никогда не обманывающий голос души; я его слышу. Он говорит: «бессмысленно». Недаром, когда я взял в руки эту слетевшую с небес белую шляпу, у меня было смутное предчувствие, что неспроста находка моя; и я уже хотел ее положить на песок, чтобы кто-нибудь другой удивлялся, как вдруг ветром обвило ленту вокруг руки. Лента уговорила. Зачем я поддался ее движению?»

Чтобы затуманить неизбежно острую вначале боль недуга, вцепившегося в Детрея, он выпил залпом стакан холодного вина, и зубы его заныли. «Отрадно схватить зубную боль,— подумал Детрей,— такую, чтобы рычать и бить кулаком в стену; тогда отлегло бы на душе».

«Однако,— продолжал он с легкомыслием, в равной мере законным для его помешательства, как и отчаяние,— однако почему я так вдруг все решил очень уж в черном свете? Я читал где-то, что предложение «быть друзьями» в иных случаях чрезвычайно благоприятно. Относительно же того, что она девушка состоятельная, то тут больше эгоизма и тщеславия, чем разума, чем доброты. Разве это плохо, что она может дать сама себе больше, чем я могу дать ей, с своим жалованьем? Это хорошо, это гораздо лучше, чем если бы ей пришлось рассчитывать. Если любишь, это надо стерпеть, смириться; стерпеть ради нее. Если я откажусь жениться на ней, потому что она богата, она вправе заключить: «Он допустил мысль, что только ради денег можно на мне жениться. Сама я ничего не стою». Я ее люблю, довольно этого, чтобы быть правым и знать, что я прав».

Детрей рассуждал совершенно искренне, так как относился к деньгам равнодушно; только для Джесси он хотел бы их иметь немного побольше, чем у него было. Но он скоро заметил, что все эти скоропалительные мысли о браке с Джесси делают его смешным в собственном его мнении. «Джесси, вы обратили меня в кучу нервного хлама»,— сказал он, решительно вставая, чтобы изменить настроение, становившееся невыносимым.

Зной отошел; улицы лежали в тени. Бесчисленные сады Лисса благоухали цветами; дышать было свежо; а ясное небо, с высоко забравшимися в него ласточками, обещало на завтра такую же отраву зноя, как сегодняшний день. Детрей прочитал афишу и отправился в театр; пока на сцене какие-то немыслимые отцы упрекали своих детей в измене идеалам, а героиня старалась уверить публику, что искренне любит семидесятилетнего старика,— сложилось окончательно его решение: сегодня же сообщить Еве Страттон, что он с ночным поездом едет в Покет. На самом деле ему предстояло еще дня два работы и дня два сборов, но, считая себя отсутствующим,— для Джесси и Евы,— Детрей таким поступком делал невозможным новый визит к больной, отрекался от телефона, от всякого сношения и растравления сердца, доставившего ему, в памятный этот день, пылкую и мрачную безутешность. Совершенно забыв, что представляли на сцене, Детрей по окончании спектакля раньше всех выбежал из зрительной залы, сопутствуемый аплодисментами, и затворился в телефонной будке, вызывая Еву Страттон. Горе его было велико, отчаяние безмерно, отречение — полное и решительное. К его состоянию отлично подошли бы теперь: деланное сожаление, сопровождаемое тайным зевком, равнодушное прощание, столкновение безотрадных вежливостей, но никак не просьба не уезжать. В таком случае Детрей мог наговорить противоречащие и странные вещи. Он не ждал ни искренних сожалений, ни особого интереса к себе, а потому сразу насторожился, когда Ева громко и поспешно сказала:

— О, наконец! И как кстати! Я прежде всего подумала о вас. Но ведь вы живете не в городе... Детрей, помогите нам: Джесси исчезла! Всего десять минут сюда звонила ее сиделка: Джесси разрыла гардеробную, все разбросала, во что-то оделась и ушла неизвестно куда. По-видимому, через окно на улицу, так как ворота уже заперты, а швейцар ничего не видел. Детрей, это бред; она, по-видимому, в горячке!

— Я слушаю,— сказал Детрей, крепко прижимая к уху приемник. Его самолюбивое волнение исчезло; сознание качнулось, но тотчас оправилось, и стал он спокоен — спокойствием резкого и неотложного действия.— Я слушаю очень внимательно; прошу вас, продолжайте.

— О, Детрей, не будьте так равнодушны! — воскликнула Ева.— Впрочем, я сама не знаю, что говорю. Но вы что хотели мне сказать?

— Я хотел сказать... но я, кажется, забыл. Дело в том, что ваше известие меня, естественно, поразило.

— Теперь слушайте: Джесси единственно могла поехать к сестре, в ее «Зеленую флейту»; двадцать семь миль от города. Автомобиль готов; я еду и прошу вас ехать со мной; если Джесси в беспамятстве, я не знаю, что может случиться.

— Вы правы. В таком случае прошу вас задержаться десять минут; я тотчас буду у вас.

— Какой вы ми...

Но Детрей уже положил приемник. Он быстро шел к выходу среди шумно и тесно покидающей театр толпы, опережая ее без остановок и толчков, инстинктивными движениями, даже не замечаемыми рассудком, занятым совершенно другим. Момент действия сделал его снова самим собой; и он был уже не влюбленный, а любящий, согласный сто раз выслушать какой угодно отказ, лишь бы ничего не случилось худого с девушкой, которой надо помочь.

ГЛАВА XIX

Трещина, куда Моргиана столкнула полузадушенную Гервак, начиналась от озера и, снижаясь, шла к морю на высоте двухсот метров к его поверхности; затем, рассекая крутой склон, оканчивалась у береговых песков обыкновенным оврагом, засыпанным землей и камнями. В том месте, наверху берегового массива, где разыгралась сцена борьбы двух женщин, глубина трещины достигала ста двадцати метров при ширине четырех. Глядя в нее с края обрыва, нельзя было ничего рассмотреть внизу; казалось, эта тесная пропасть навсегда обречена тьме, но смотревший изнутри вверх видел накрывшее ее узкой полосой небо. Свет проникал в недра провала подобием густых сумерек; подавленное зрение училось различать окружающее его двухстенное пространство — как в погребе со светом сквозь щель. Эту трещину образовало землетрясение, потому внутренность ее напоминала то, что представил бы разорванный хлеб, если сложить его половины, оставив меж ними расстояние в дюйм. Ямы

одной стороны соответствовали выпуклостям другой. Во многих местах висели застрявшие на весу куски скал, которым не давала упасть узость провала или навес над выступом. Дно трещины было непроходимо и залито водой. Спертый и сырой воздух, с сильным запахом гниющих стволов, время от времени падающих сюда после осенних бурь, раздражал дыхание. Совершенная и беспокоящая тишина стояла в громадном этом разрезе — тишина бесповоротного равнодушия, мрачного, как рост подземного корня. Прислушиваясь к ней день, два, неделю, год, можно было с уверенностью ожидать, что ничего не услышишь, пока где-нибудь наверху такая же долгая работа времени сгноит дерево, и оно, уступив ветру, покатится в глубину расселины, где, родив шорох и стук, ляжет неподвижно на дне.

На глубине футов семидесяти в течение десятилетий образовалось одно из самых значительных засорений трещины. Основой ему послужил застрявший на узком месте камень, стиснутый стенами провала. Два ствола с длинными сучьями, ставшими от сырости и известковых паров крепкими, как железо, некогда обрушились сюда и легли по сторонам камня, увеличив помост. Листья, хворост, земля скапливались на этой преграде в течение многих лет, образовав зыблящуюся, пронизанную остриями обломанных сучьев площадку длиной метров десять, по которой ходить было так же удобно, как по сену, перемешанному с дровами. Тут росли дрожащие, пепельного цвета, грибы, лепясь отрядами среди ползущей по стенам плесени; с краев помоста свешивались хворост и мох.

Несколько выше этого скопления хлама из стены выступал неровный карниз; еще выше, на расстоянии одного шага от карниза, чернела горизонтальная щель, метра полтора высоты и не менее пятидесяти метров длины, — род естественного навеса, в глубине которого нельзя было ничего рассмотреть.

На этот помост упала, потеряв сознание, Отилия Гервак.

Как ни был страшен удар падения с такой высоты, он не убил ее. Слой хвороста, смешанный с перегноем и пружинами сучьев, встретил тело Гервак лишь жестоким сотрясением, от которого закачался весь помост; кроме того, острый древесный обломок рассек ее левый бок, вспоров кожу до ребер.

Она лежала в этом положении, как упала и свернулась при упругой поддаче: запрокинув голову, с вытянутыми руками, повернутыми ладонями вверх, с воткнувшимися в мусор до колен ногами. Ее рот раскрылся, на щеках угасала судорога, мелко и безвольно томясь, как стихающая рябь воды.

Так лежала она долго, ничего не чувствуя, ни боли, ни сырого холода пропасти, постепенно оживлявшего расстроенное кровообращение. Затем она стала дрожать, вначале мелко, почти незаметно. Ее рот закрылся; рука вытянулась, сжала пальцы и снова разжала их. Гервак начала трястись и вздыхать, как выброшенная на берег рыба,— все чаще и глубже, со стоном и с бессознательными усилиями изменить положение. Наконец стон затих, и она вся затихла.

Гервак открыла глаза. Она еще не чувствовала ни боли, ни страха. Ее сознание молчало. Ей казалось, что она стоит в каком-то коридоре, прислонясь спиной к двери, и видит впереди себя узкий далекий выход. Подняв голову, она увидела, где находится, осмотрелась и вспомнила. Резкий порыв вскочить обессилил ее; с трудом, осторожно вытащила она из хлама застрявшие ноги и, увидев их, вся сжалась: они были ободраны, почернели и залиты кровью. Гервак ощупала скверный разрыв кожи около бедра, и ее рука стала красной от крови. Кое-как, слипшимися пальцами она ощупала ноги и руки; убедясь, что переломов нет, Гервак несколько ободрилась.

Она посмотрела вверх. Высота и теснота наглухо замыкали ее. Никакой Жан Вальжан[1] не смог бы вскарабкаться по этим красновато-бурым отвесам с выступающими из них скользкими глыбами. Она осмотрелась еще раз и вздрогнула, увидев позади себя пустоту, где внизу стояла вечная ночь. Гервак встала, колеблясь на расползающихся ногах, но головокружение снова усадило ее. Заметив карниз, она поползла к нему, иногда проваливаясь руками среди хвороста и замирая от острой боли в ногах, когда ее раны касались сучьев. Наконец она ступила на карниз и выползла под навес.

Изнемогая от чрезвычайных усилий, Гервак легла. Она была более удивлена, чем обрадована. Ее представления о причине и следствии были нарушены. За-

---

[1] Герой «Отверженных» В. Гюго.

кон «упавший в пропасть — погиб» — оказался доступным исключению. Не собираясь кинуться на дно трещины ради торжества естественного порядка, она отнеслась к спасшему ее заграждению насмешливо и брезгливо, но не могла долго останавливаться на этом, так как не знала, сможет ли выбраться из каменной западни.

Поступок Моргианы Тренган доказал все: если бы она не отравила сестру, Гервак не лежала бы теперь со свихнутой шеей и окровавленным боком на холодном, как мерзлая земля, камне.

Оторвав низ рубашки, Гервак сделала бинты и перевязала, как могла, ноги; рана на боку распухла и не переставала кровоточить, но все равно ее нечем было перевязать. Одевшись опять, она встала и двинулась по длинной впадине, часто останавливаясь, чтобы рассмотреть полутьму, в которой далекое и близкое казалось обратным. Эта впадина-навес была неровна во всех направлениях; местами приходилось идти по самому краю обрыва, часто нагибаться, даже ползти; иногда становилось просторно, высоко, но потом вновь следовали ямы и возвышения. Такой путь, протяжением метров пятьдесят, шел по уклону вверх и внезапно обрывался на высоте восьми метров от земной поверхности; здесь было уже светло, и свисающие зеленые ветви кустов недосягаемо близко обозначались на голубой полосе верхнего света. Начав безотчетно надеяться, Гервак не испытала, однако, ни беспокойного возбуждения, ни счастливых мыслей о внезапном спасении; ее надежда была замкнутая и низкая, — надежда, закусившая губу. Снова нашла она свое спасение неестественным, подивилась и перестала думать о нем.

Гервак смотрела вверх по тому направлению, в каком пробиралась, но, оглянувшись, увидела позади себя мостик из жердей, с веревочными перилами, перекинутый через пропасть; он служил пешеходам. Это открытие совершенно успокоило Гервак. Ей следовало только сидеть и ждать, пока на мостике появится человек, чтобы крикнуть ему о помощи. Но было тихо вверху; изредка пролетали птицы; край облака показался над началом моста, но двигалось оно так мало заметно, как будто стояло, скованное тишиной и жарой.

Гервак глядела на мостик не отрываясь, так как боялась пропустить неизвестного, которому стоило

сделать всего несколько быстрых шагов, как мостик вновь стал бы пустым. Она сидела слабая и мрачная; ее мысли о Моргиане не были неистово мстительны, но полны такой тонкой и продуманной злости, как расчет игры с презираемым, хотя и опасным противником. Гервак признала поражение и отдала должное великому мастерству притворства, каким едва не уничтожила ее хозяйка «Зеленой флейты». Реванш, на который рассчитывала Гервак, должен был ударить не по телу, а по душе. Она даже повеселела, решив поступить так, как задумала.

Казалось, оживление ее мыслей вызвало оживление наверху: Гервак увидела человека, который, держась за веревку, осторожно переставлял ноги по шатающимся жердям. Это был почтальон с сумкой; он шел за почтой и не особенно торопился.

— Стойте! Спасите!—крикнула Гервак, высовываясь головой и плечами из-под нависшего над ней камня. Она кричала не переставая, хотя почтальон сразу услышал и начал осматриваться, даже посмотрел вверх. Новый крик женщины указал ему, где она находится; он схватился за веревку и нагнулся, всматриваясь в отвес трещины, где белело лицо. Гервак стала махать рукой, повторяя:

— Сюда! Я здесь! Бросьте веревку!

— Как вы попали туда?—закричал почтальон, изумленный и сообразивший наконец, что случай требует немедленной помощи.—Хорошо, держитесь пока,—продолжал он,—я побегу в одно место, где мне дадут веревку.

— Отвяжите ее! Эту!—крикнула Гервак.—Ту, за которую держитесь!

— В самом деле!—пробормотал почтальон. Он подергал веревку, которая служила перилами к мостику, и отвязал ее с обоих концов. Затем, скрывшись в той стороне, где томилась Гервак, примерил, хватит ли длины веревки. Гервак внезапно увидела ее конец, почти хлеставший по ее ловящей руке, но с отчаянием и злостью подумала, что человек не догадался сделать петлю, вдруг она услышала сверху:

— Виден ли вам конец?

— Виден, хватит ли завязать петлю?—закричала Гервак.

Ответа не было. Минуты две она ничего не видела и не слышала, страшно боясь, что веревка окажет-

ся коротка и, отправясь за помощью, почтальон разнесет слух о ее приключении. Она проклинала его медлительность и с ненавистью ждала окончания тоскливых хлопот. Наконец ее волосы что-то тронуло; веревка снова показалась перед ее лицом, но теперь это была большая петля; она двигалась, то удаляясь в сторону, то вертясь около рук, и ей все не удавалось схватить ее.

— Направо! Немного направо! — вскричала Гервак.

Петля поползла вправо, вертясь и увиливая, но Гервак, улучив момент, схватила ее.

— Держу! — сообщила она.

— Отлично! — раздалось сверху.— Теперь сделайте так: пропустите одну ногу в петлю и сядьте как бы верхом; руками же держитесь за веревку выше головы. Когда вы так устроитесь, смело сползайте с трещины и повисните. Упасть не бойтесь, я держу крепко. Я тотчас потащу вас наверх.

Они не могли видеть друг друга из-за выступов над местом, где сидела Гервак, поэтому, продев на себя петлю, как было ей указано, и чувствуя веревку болтающейся свободно, Гервак некоторое время не могла решиться скользнуть из своей расселины в пустоту. «Подтягивайте!» — крикнула она, готовая закачаться над пропастью. Веревка приподнялась; тогда, считая, что сотрясение уменьшится, Гервак попросила натянуть веревку потуже и, с захлестывающей дыхание мыслью о тьме внизу, выскользнула из-под навеса, перевернувшись несколько раз; ее плечо стукнулось об отвес; она придержалась за камень и остановила вращение.

— Тащите! Тащите! — закричала она, поджав ноги и закинув голову.

Она видела у самых глаз стену провала, которая неровными скачками подалась вниз и остановилась. Веревка, туго прильнувшая к выпуклости камня, терлась о него и поворачивалась вокруг себя. Фут за футом Гервак приближалась к зеленеющей на краю траве. Наконец загорелая жилистая рука высунулась сверху, схватив веревку ниже края трещины, к ней присоединилась другая рука, и они втащили перепуганную Гервак, причем она помогала почтальону, уцепившись за древесный корень. Держась одной рукой за веревку, другой рукой почтальон схватил Гервак под мышку и опустил на траву.

— Вы думали, я ушел? — сказал почтальон. Это был высокий человек лет тридцати, с круглым, мускулистым лицом.— Вот что пришлось сделать, потому что веревка оказалась коротковата.

Свалившись от утомления, Гервак увидела показанную ей веревку, к верхнему концу которой был привязан ремень от сумки, а к ремню длинный сук, вроде шеста.

Гервак поднялась и села на пень.

— Вы здорово разбились! — сказал почтальон.— У вас все в крови.

— Знаете, что произошло? — усмехнулась Гервак.— Я села на краю, свесила ноги, и у меня закружилась голова: дальше я ничего не помнила; очнувшись, увидела, что по странной прихоти обстоятельств упала на глубоко засевшую пробку из стволов, хвороста, мха и мягкого сора. Рядом была трещина; по ней и ползла все выше и очутилась около мостика.

— Чудо! — сказал почтальон.— Вы спаслись чудом. Как мой приятель, кочегар с «Филимона». Он упал в машинное отделение, а снизу другой кочегар нес на голове свернутый матрац. Вот это и задержало стремление моего приятеля достичь нижней палубы. Слушайте, вы вся в крови и расшиблены: я сведу вас, тут недалеко, там вас полечат.

— Нет, я живу в городе, и я пойду в город,— ответила Гервак.— Ноги у меня целы. Я сильна, и никакие «чудеса» моих сил не отнимут. Благодарю за... то, что подняли меня вверх.

Взволнованный почтальон, у которого были ободраны ладони, ждал слов благодарности, не сознавая, что ждет; он обрадовался и покраснел, но окончание фразы придало всему серый тон. Смотря на испачканную и растрепанную Гервак, он не чувствовал теперь того естественного, сильного желания помочь до конца, как вначале. Если бы она сказала: «Вы спасли меня, благодарю вас»,— он был бы совершенно доволен, так как сам восхищался своей находчивостью при употреблении шеста. Но слова «спасение» он не услышал. Он совсем расстроился, когда Гервак сказала, что запишет его адрес, чтобы дать ему денег.

— Напрасно вы так говорите,— заявил он с досадой.— Хотите, я доставлю вам экипаж?

— Это лишнее,— ответила Гервак, собираясь идти.— В полумиле отсюда есть таверна, где я решу вопрос об экипаже самостоятельно.

— Как хотите,— сказал почтальон сдержанно. У него окончательно пропала охота помочь ей. Он вздохнул, надел свое кепи и отправился привязать веревку вдоль мостика.— Мне ваши секреты не интересны,— прибавил он, остановясь.— Знаете ли вы, по крайней мере, как выйти на шоссе?

— Да, знаю.

Незаслуженно оскорбленный человек растерянно улыбнулся и пошел к мостику. «А! Ты надеялся, что я подчеркну чудо»,— думала Гервак, отходя и облегченно осматриваясь. Скоро она заметила тропу и вышла по ней на шоссе значительно ниже «Зеленой флейты». Она шла тихо, хромая и терпя боль ноющих ран. Гервак сильно ослабела, но ее поддерживала ирония и, насмешливо раздражаясь при воспоминании о спасительной причуде провала, своей кривой усмешкой она полагала стать выше всего, не зависящего от ее мерок.

Немного погодя услышала она догоняющий быстрый звук и, обернувшись, заметила автомобиль, пассажирами которого были мужчина и дама, сидевшие рядом. Гервак склонилась к земле, уронив голову на руки. Она оставалась в таком положении, пока, вскоре после остановки автомобиля, не почувствовала, что на ее плечо легла сдержанно спрашивающая рука, и посмотрела на джентльмена, старавшегося ее приподнять.

— Что с вами? — участливо спросил он.

— Я разбита, я не могу идти,— сказала Гервак.

— Где вы живете?

— Будьте добры, доставьте меня в Лисс, на улицу Горного хрусталя, дом номер шесть.

— Хорошо,— сказал джентльмен. Он взглянул на шофера и тот, выйдя с сиденья, помог ему довести больную в автомобиль, где, притворяясь, она села рядом с шофером.

— Какое несчастье произошло с вами? — спросила дама, сочувственно сведя брови.

— Я разбита... — мрачно повторила Гервак.

В лице дамы, спокойном и тонком, проступил румянец. Она повернулась к своему спутнику, который пожал плечами и приказал ехать.

— Итак, дорогая Мери,— произнес он,— этому курорту, несомненно, принадлежит будущее!

— Я очень рада,— сказала дама.

Затем автомобиль двинулся с быстротой ветра, и никто более не обращался к Гервак,— ни с вопросами, ни с советами; она тоже сидела молча, полная угрюмой и беспредметной иронии, до которой не было никому дела.

ГЛАВА XX

В десять часов вечера Джесси, спавшая все время после ухода гостей, проснулась беспокойно и сразу. Она села, дыша с усилием.

Она лежала в тени. У отдаленного стола, при свете небольшой, с темным абажуром лампы, расположилась в кресле, читая книгу, сиделка.

— Я проснулась,— сказала Джесси, оглядываясь.— Что такое я забыла? А где письмо?

Поняв, что говорит со сна, девушка понурилась и зевнула; затем была очень удивлена, когда сиделка взяла со стола конверт и подошла к ней.

— Вам есть письмо,— сообщила женщина. Сообразив, что Джесси спала, сиделка тоже удивилась ее словам о письме, которого она еще не видела, и сказала об этом.

Устало посмотрев на нее, Джесси пожала плечами и, откинувшись на подушки, стала рассматривать конверт. Сиделка засветила для Джесси вторую лампу. Почерк был незнаком девушке; без особого любопытства она вскрыла конверт и вытащила аккуратно сложенный листок. С каждым словом письма, отпечатанного пишущей машинкой и не имевшего подписи, ее изумление возрастало и, инстинктивно запахивая халат, теряясь от мыслей, Джесси начала сильно вздыхать, чтобы опомниться и одолеть слабость, что ей несколько удалось. Желая немедленно остаться одной, Джесси сказала сиделке, которая снова удалилась на свое кресло:

— Пожалуйста, приготовьте мне кофе. Очень хочется пить: только остудите сначала.

Ничего не подозревая, женщина отправилась исполнять просьбу Джесси, а девушка, задрожав, перечитала письмо:

«Ваша сестра отравила вас. Вы не больны, вы отравлены. Этот яд убивает в течение 10—12 дней. Лечение бесполезно, если даже врач знает об отравле-

нии. Пока прямой опасности нет, а завтра утром с вами будут говорить по телефону. Противоядие известно только нам; оно может быть доставлено, если вы согласитесь уплатить 1000 фунтов».

Ноги Джесси заныли; свет стал темнеть, и нервная тошнота стеснила горло. Второе чтение еще больше напугало ее. Ни верить письму, ни опровергнуть его девушка не могла; ее испуг перешел границу, перед которой еще можно стыдить себя за потерю самообладания, имеющую значение подозрения; не в ее власти было сдержать чувства, подобные ужасу при пробуждении в ярком свете пожара. Никто среди ее знакомых не мог шутить так. Ничего не объясняя, зная лишь, что должна немедленно спешить к сестре за объяснением и успокоением,— иначе умрет до утра или лишится рассудка,— Джесси встала в кровати на колени и начала прятать письмо в стол, под подушку, в книгу, вынимая и перемещая его без цели, пока не опомнилась. Тогда, стиснув письмо, она покинула кровать и надела туфли.

Ключ от гардеробной комнаты обыкновенно находился в замке. Помня это, Джесси тихо открыла дверь и побежала одеться. От страха и торопливости ее движения были бестолковы, неверны, и она не все время точно соображала, что делает. Пробежав залу и часть коридора, Джесси повернула за угол и с облегчением увидела ключ в замке: теперь, как и всегда, он заявлял о честности служащих. Раскрыв шкапы, Джесси побросала на пол все, что сняла с вешалок, но ее сознание не могло быстро управлять выбором. Она искала подходящее платье. Прижав к груди ворох одежды, Джесси вытряхнула из него коричневое платье, не требующее при одевании особой возни, а потому отвечающее быстроте замысла. Тут же она надела платье, криво застегнув кнопки; окутала голову голубым шарфом; крадучись, бегом вернулась к себе; натянула чулки, сунула ноги в какие попало туфли, захватила деньги, письмо и выскочила, открыв окно, на тротуар переулка.

Если бы она не так торопилась и горевала, ее сборы отняли бы значительно меньше времени, чем это произошло в действительности. Сотрясение прыжка с окна лишило ее дыхания; постояв у стены дома со слабым, нехорошим сердцем, причем ладонями и лбом опиралась на стену, Джесси отошла на тротуар, возбудив

внимание немногочисленных прохожих, но, к ее облегчению, никто не подошел спрашивать ее, что случилось. Едва передохнув, Джесси принялась искать экипаж и, не пройдя половины квартала, увидела таксомотор. Шофер взглянул на девушку в шарфе с благосклонной улыбкой. Так как Джесси не улыбалась, а категорически предложила десять фунтов за полчаса быстрой езды, он почтительно осведомился, куда ехать, и приступил к исполнению своих обязанностей. Едва Джесси уселась, ее начало колыхать, мчать; южный ветер перевернулся в ушах; стремясь в рот, в глаза, он прижал шарф к разгоряченному лицу девушки; отсверкали полуночные огни города, сменясь тьмой отлогих холмов, и Джесси стала спокойнее. Движение облегчало ее; уверенность мелькающего в пространстве автомобиля заражала и ее уверенностью, что скоро наступит отдых.

Она думала только о письме, о Моргиане — бессильно и страстно, как стучат в дверь, призывая на помощь, но не слыша утешающего движения. Иногда с зеленой дороги выбегал страх, хватая ее руки, которые она тоскливо кутала в шарф, и снова отлетая в холмы, подобно тени придорожной оливы, опрокинутой светом фонарей. Слова «вы отравлены» не оставляли Джесси; они мчались среди холмов, вздрагивали в ее дыхании; где-то в углу, возле ее ног, эти слова стучали и торопились; как шарф, терлись о ее лицо, смешанные с ветром и тьмой.

Джесси очнулась; казалось ей, что в этом неописуемом состоянии она уже видела Моргиану, но не могла представить ни сказанного сестрой, ни что сказала сама. Они как будто уже расстались, и Джесси возвращалась в город. Как только она это представила, никакими усилиями сознания Джесси не могла вызвать представления, что едет из города. Направление перевернулось. Лишь когда мелькнули сияющие дома Каменного подъема и дорога, при новом возбуждении машины, пошла вверх, истинное направление стало в ее уме на свое место. Через несколько минут по обрыву, огражденному стеной, автомобиль выехал на ровное место и устремился к единственному огню дома, тотчас пропавшему за крышей жилища Гобсона. «Огонь есть, Моргиана еще не спит»,— подумала Джесси.

Машина качнулась, остановилась; но изнуренная девушка несколько мгновений еще мчалась — внутри

себя — по инерции чувств движения. Она сошла, уплатила деньги и, сказав: «Возвращайтесь, я более не поеду», позвонила у ворот. Уже лаяла подбежавшая из глубины двора собака. Шум у ворот, лай и звонок разбудили Гобсона. Он открыл окно, выглянул и, увидев женскую фигуру, не сразу узнал Джесси.

— Гобсон, впустите меня! — крикнула девушка.— Сестра дома?

С великим удивлением поняв, что приехала Джесси, Гобсон кинулся со всех ног открывать. Он едва успел надеть туфли и пальто, но и в пальто чувствовал свежесть ночи; еще более удивился он легкой одежде Джесси и ее плохому виду. Не решаясь ничего спрашивать, он впустил девушку и пошел сзади ее к подъезду, твердя:

— В спальне виден свет, а Нетти, наверное, уже спит; пожалуйте, да скорее, а то простудитесь; воздух здесь резкий.

Они подошли к подъезду; тогда, оставив Джесси, Гобсон обошел угол дома и постучал в окно горничной. За стеклом начала кидаться белая тень; скоро, с переполохом в лице, Нетти открыла дверь; приветствуемая ее тревожными восклицаниями, Джесси вступила в переднюю.

— Моргиана спит?! Разбудите, сестру,— сказала Джесси, пройдя в первую комнату, откуда наверх шла лестница.

Гобсон удалился, горничная занесла уже ногу на ступеньку лестницы, но отступила,— сверху спускалась Моргиана, вполне одетая и еще не ложившаяся. Она слышала, как рокотал и остановился автомобиль; не узнала, а потом, с озлоблением и трусливой дурнотой в сердце, узнала голос Джесси, и все метнулось в ней, так как она почувствовала занесенный удар; не зная, ни в чем он, ни что случилось, Моргиана обмерла, когда, приоткрыв дверь, расслышала слова Джесси «разбудите ее» внутри дома. Тогда только, крепко зажмурясь и с болью вздохнув несколько раз так глубоко, что смирила отчаянное сердцебиение, она пошла вниз, готовая принять всякий удар.

Еще на лестнице Моргиана остановилась и нагнулась, всматриваясь в лицо сестры. Джесси бросилась к ней; не удержав слез и смеясь со страхом в глазах, она схватила ее руки, слабо таща сестру вниз и твердя:

— Я виновата, Мори, я ужасно виновата; я приехала, чтобы ты простила меня! Я буду у тебя ночевать!

— Нетти, вы более не нужны,— сказала Моргиана горничной,— идите. Джесси, ты помешалась?— спросила она, когда горничная закрыла за собой дверь.

— Я помешалась. Меня помешало письмо.

«Лгать»,— подумала Моргиана, догадываясь уже о том, что предстоит ей.

— Хорошо, письмо, однако пройдем в столовую. Ты совершенно больна; твой вид ужасен. Кто отпустил тебя?

— Ах, теперь все хорошо!— вскричала Джесси, идя за ней.— Но ты накажи меня! О, как я измучилась, как настрадалась я за эти часы! На письмо, на, возьми, и прочти, и догадайся, кто мог написать так!

В небольшой комнате, куда они вошли, Джесси прилегла на диван, затем приподнялась и подперла рукой голову. Моргиана, почитала письмо, медленно ходя перед глазами сестры, и поняла, что Гервак жива. «Да, лгать»,— сказала она себе, но ее лицо отказалось лгать в эту минуту; оно стало белым и диким. Не владея собой, Моргиана скомкала письмо; растерявшись, она стала перекладывать его из руки в руку; наконец, сунула в карман юбки. В этот момент, по ее лживым и упорным глазам, девушка узнала всю правду. Зная ее теперь, она не могла верить; знала и не верила.

— Отдай мне письмо!— вскричала Джесси, протягивая руку.— Отдай письмо, Моргиана! Я должна умереть с ним!

— Что ты кричишь?— угрожающе шепнула Моргиана.— Можно подумать, что я изверг. А! Ты не разорвала с негодованием злое письмо; ты поверила, спешила оскорбить меня?! Письмо написал подлец; кто он? как я могу знать?!

— Моргиана, немедленно говори!

— Не кричи. Если ты больна, оставайся здесь, но не терзай меня. Я не позволю тебе кричать.

— Моргиана, я требую, чтобы ты села и говорила. Помни, что мне худо! Говори просто и ласково, как с сестрой!

— Хорошо. Что я могу сказать?

— Тогда верни письмо.

— Нет!

— Скажи правду, Мори, родная моя!

— Я — правда. Я — сама правда перед тобой!

— Сестра, ты видишь, что я больна; я уже не отвечаю за мысли свои! Сядь, поговорим с доброй душой! Кто же мог так подшутить?

— Зачем ты притворяешься? Ты не веришь письму. Скажи: веришь или не веришь?

— Да, я еще не знала, что ты такая,— сказала Джесси.— Не говори так жестоко; мне страшно от твоих слов!

Моргиана вынула из кармана письмо и быстро, но старательно разорвала его на мелкие клочки, которые кинула за решетку камина.

— Вот мой ответ,— заявила Моргиана.— Иди наверх и ложись. Но ты сделаешь лучше, если немедленно покинешь мой дом. Я дам тебе свой автомобиль.

Джесси тупо следила за ее движениями.

— Хорошо,— сказала она, вставая и пересаживаясь близко к сестре, прямо против нее.— Я узнаю правду простым путем. Завтра же я буду просить лицо, приславшее письмо, явиться ко мне, ничего не опасаясь. Тогда мне скажут, в чем дело!

— Джесси, ты не сделаешь так, потому что это мерзость!

— Нет, это не мерзость! Ведь я отравлена, понимаешь ты или нет? Не бывает таких болезней, не может быть!

— Не кричи! Говори тише!

— Мори! Сними же этот ужас! — вскричала Джесси, плача навзрыд.— Неужели ты — палач мой?

— Конечно нет,— сказала Моргиана, и ее осенила ложь, в которой выгоднее было запутаться, чем сказать истину.— Письмо, полученное тобой,— новое преступление.

— Значит, меня все-таки опоили?

— Мучительно тяжело мне, Джесси, но я вынуждена признаться. Ты знаешь, что я живу очень серой, совершенно ограниченной жизнью. Ты слушаешь?

— Я слушаю, говори!

Джесси смотрела на нее с надеждой и страхом.

— Я наказана за свои фантазии,— продолжала Моргиана, вставая и расхаживая по комнате, чтобы не видеть глаз девушки.— Я купила у одного человека,— адрес и фамилию которого могу сказать, если хочешь,— особое средство, обладающее, по его словам, способностью вызывать отчетливые, красивые сны.

Так он сказал. У меня нет жизни, и я хотела испытать сны. В этом тяжело признаться, но это так.

Расстроенный ум Джесси изнемогал, стараясь отозваться доверием на всякое объясняющее слово. Моргиана говорила неровно: то с излишней силой, то трудно и с остановками. Но Джесси не следила за тем; ей было важно, что она скажет.

— Тебе тяжело?—спросила Моргиана, ловя в дыму лжи подобие странной правды, очертания, напоминающие действительность.—Я сокращу рассказ; ты приляжешь, я отвезу тебя домой и вызову твоего врача. Но... что я хотела сказать? Да, я тайно от тебя дала тебе принять несколько капель.

— Купила себе, а дала мне!

— Да!

— Почему?

— Я хотела узнать действие.

— Действие ты могла узнать на себе.

— Джесси, я знаю, как ты любишь рассказывать сны и как они у тебя интересны. Не всегда можно дать себе отчет в подобных вещах. Не могла же я думать об опасности для тебя! И вот я вижу, что попала в руки преступников, которые продали мне что-то вредное под видом наркотика, с целью вымогать потом деньги.

— Моргиана, этого не может быть. Неужели они, или кто там, будут шантажировать меня, пострадавшую? Ведь ты должна была пить эту... это—как ты говоришь—особое средство для снов. Никто не знал, что тебе придет в голову поднести его мне! А затем,—какой расчет дать отравляться тебе?

— Как я могу знать, в чем тут был расчет? Ты молода, испугана; платишь бешеные деньги за противоядие; боишься семейного скандала,—вот, может быть, почему?! Так же, как ты,—я теряю соображение, стараюсь понять. Может быть, яд был дан по ошибке, а затем явилось намерение получить выгоду.

Джесси молчала, склонив голову и положив вытянутые руки на стол. Ее ресницы дрожали, блестя слезами.

— Это случилось в то утро?

— В какое утро?

— Когда ты пришла ко мне говорить с Флетчером.

Осторожность изменила Моргиане. Моргиана ответила утвердительно, когда следовало сказать, что подмешала яд в питье вечером накануне.

— Разве человек видит сны днем? — спросила Джесси тоном печального торжества, открывая глаза и решительно вытирая их. — Моргиана, ты лжешь! Теперь я не могу тебе верить, и, может быть, хорошо, что ты выдумала эту историю с красивыми снами. Благодаря ей, слушая тебя, я хоть немного привыкла к мысли, что ты, моя сестра, — чудовище! За что же ты погубила меня?

— Успокойся, Джесси, — сказала Моргиана с нервным, непроизвольным смехом, — я дала тебе это лекарство утром, потому что мне были даны разные наставления. Днем должны были быть грезы наяву, подобные снам.

— Такие же красивые, как то, что ты сделала? Зачем, дав мне отраву, ты тотчас уехала?

— Тебе худо, Джесси?! Позволь, я помогу тебе лечь.

— Не тронь! Не касайся меня! Я лягу сама.

Джесси подошла к дивану и прилегла, почти свалилась, с помутневшим лицом. Силы оставили ее, и она подумала, что теперь умирает. «Оленя ранили стрелой...» — вспомнила Моргиана. Возбуждение ее и потрясение собственной ложью перед лицом погибающей были так остры, что она продолжала говорить тихо и настойчиво:

— Я ничего не сделала, ничего. Но сны я хотела видеть; я, Джесси, имею право на сны. Во сне я могла быть ничем не хуже других: стройная, веселая, красивая я должна была быть во сне. Ведь это меня мучит, Джесси; ты не можешь понять, как тягостно смотреть на других, которыми все восхищаются, которым бросают цветы и поют песни! Мне больно, но я должна это сказать, так как я хотела жизнь заменить сном. Старая жаба хотела видеть себя розой; она сделала глупость. Только глупость, Джесси, ничего больше. Теперь ты все знаешь. Ты добра и простишь меня; но ведь скоро ты будешь здорова! Я поеду завтра же, и я добьюсь противоядия от этих мерзавцев или признания, чем ты отравлена, чтобы привлечь к этому делу врача, на которого можно положиться, что он не разгласит печальную ошибку твоей сестры.

Джесси открыла глаза и в изнеможении махнула рукой.

— Ты все сказала, благодарю, — прошептала она. — Ну, вот, кончена моя жизнь. К этому шло. Кто эти люди, у которых покупала ты сладкие сны?

Моргиана молчала.

— Говори же, дорогая сестра!

— Я, может быть, перепутала фамилию. Она записана у меня; я завтра тебе скажу.

Джесси, с внезапным порывом, вскочила и села. Она так страдала, что хотела бы призывать смерть, но смерть пугала ее.

— Помогите!—закричала девушка.— Помогите! Здесь убивают!

Моргиана, освирепев, зажала ей рот рукой.

— Помо...—вырвалось из-под ее пальцев.

— Ты хочешь скандала?—шепотом крикнула Моргиана.— Знаешь ли ты, что может получиться? Тебя не спасут тогда!

— Пусти, я уйду,— сказала Джесси, отталкивая ее руку.— Отойди, открой дверь. За что же это мне все? Боже мой! Спаси и помилуй нас!

Она встала, порываясь выйти, но Моргиана, силой удерживая сестру, сказала:

— Слушай, клянусь тебе, ты немедленно поедешь домой! Но только не выходи из комнаты. Сейчас будет автомобиль. Я пойду и распоряжусь, и я тебя отвезу!

— Кто бы ни был, но только не ты!

— Это буду я, так как я не виновата, а ты теперь невменяема!

— Ложь!—сказала Джесси, продолжая плакать с открытыми глазами, полными безысходного отчаяния и бреда.— Ложь, Моргиана, палачиха моя. Ты все и обо всем лжешь. Если ты хотела наследства, тогда что? Но пусть; где автомобиль? Я уеду.

Она села, а Моргиана вышла. «Надо лгать,— сказала она,— единственно,— одна ложь до конца; бежать — значит признаться. Она уверилась, но не донесет. Я ее знаю. Она лучше умрет. Она умрет после этого разговора. Она может выбежать, пока я хожу».

Моргиана осторожно повернула ключ в двери, но; как ни тихо было движение, Джесси услышала, что ключ тронулся. Тогда ей представилось, что в соседней комнате сидит темный сообщник, который должен войти и доделать то страшное, что задумала Моргиана. Слыша по шагам, что Моргиана ушла, Джесси попыталась открыть дверь, но, видя ее запертой, подбежала к окну. От страха и горя вернулись к ней силы с тем болезненным исступлением, какое уже не рассчитывает препятствий. Соскользнув с подоконника, де-

вушка очутилась в саду и, подбежав к стене, поднялась на дерево по приставленной у стены тачке. Дерево это находилось в небольшом расстоянии от стены, так что переступить с ветвей на ее гребень было бы нетрудно здоровому человеку. Джесси отделилась от дерева в тот момент, когда верхний край стены приходился ей под мышкой; упав руками на стену до самых плеч, девушка, отталкиваясь ногами от ствола дерева, проползла все дальше через гребень стены и, потеряв равновесие, свалилась по ту сторону, в сухую траву.

«Это сделано,— подумала она,— и я полежу немного, чтобы идти, не падая. Но нет, надо идти или они поймают меня». Она встала, шатаясь и придерживаясь за стену, наказывая себе: «Все, только не обморок!» Наконец ей удалось двинуться прямо через кустарник; она плохо соображала и думала, что выберется на дорогу, меж тем как шла по направлению к морю. «Это лес,— сказала Джесси,— но я не боюсь. Лес не так страшен, как быть с сестрой. Она не сестра мне; такая сестра не может быть у меня. Кто же она?» И в помрачненном рассудке девушки началось действие сказки, убедительной, как самая настоящая правда. «Сестру мою подменили, когда она была маленькой; ту украли, а положили вот эту. А та, которая любит сухарики и так на меня похожа,— та моя родная сестра. Да, это она, и я пойду к ней. Она сказала, что живет тут где-то, неподалеку. О, я знаю где! Мне надо пройти лес, потом я ее позову».

Она шла как слепая. Пасмурное небо являло ту же тьму, что земля и стволы внизу. По лицу Джесси скользили листья, она оступалась и останавливалась, стараясь заметить где-нибудь луч света. Но лишь сырая ночь стояла вокруг и, благодаря сырости, делавшейся тем более резкой, чем дальше она погружалась в лес, ее слабость перестала угрожать обмороком. Джесси дрожала; ее ноги были расшиблены, но ясное представление о где-то недалеко находящейся дороге, которая ведет к неизвестной сестре, было таким упорным, что Джесси ежеминутно ожидала появления этой дороги — широкой, полной садов и огней.

Ее больная фантазия была полна теней и загадочных слов, неясно утешавших ее, в то время как страх умереть одной среди леса уступил более высокому чувству — печальному и презрительному мужеству. Ее пылкое, разрывающее сердце отчаяние прошло; хотя

кончилась та жизнь, которую она любила и берегла, и настала жизнь, ею никогда не изведанная,— с отравленной душой и с сердцем, испытавшим худшее из проклятий,— она уже не горевала так сильно, как слыша ложь Моргианы. Ее отчаяние достигло полноты безразличия. Наплакавшись, она брела теперь с сухими глазами, протягивая руки, чтобы не наскочить на сук, и прислушиваясь, не гонятся ли за ней тени «Зеленой флейты». Хотя лес и мрак защищали ее от воображаемого преследования, Джесси не смела кричать, боясь, что ее настигнут по голосу. Она шла теперь в направлении, параллельном береговой линии, и ушла бы далеко, если бы не припадки головокружения, во время которых она долго стояла на месте, держась за деревья. Несмотря на сырость и холод, ее так мучила жажда, что Джесси лизала покрытые росой листья, но от этого лишь еще сильнее хотелось пить.

«Неужели же я заблудилась и погибаю? — сказала девушка.— Как страшен такой конец! Не могу больше идти, нет у меня сил. Сяду и буду дожидаться рассвета».

Когда она так решила, во тьме перед ней засветились листья огненными и черными бликами. Из последних сил Джесси побежала на свет и увидела жаркий костер, возле которого, пошатываясь, ходил старик с небритым, нездоровым лицом. На его плечи был накинут пиджак; у костра лежали шляпа, хлеб и бутылка. Вторая бутылка стояла рядом с узлом, из которого торчала третья бутылка. Старик ломал хворост о колено, подбрасывая его в огонь.

Этот человек стоял к Джесси спиной, согнувшись над хворостом. Добравшись до костра, девушка сказала:

— Если можете, спасите меня! Мне так худо, что не могу уже ни идти, ни стоять. Можно ли мне сесть у костра?

Заслышав так изумительно раздавшийся женский голос, старик повернул голову, оставаясь в том положении, при каком ломал хворост. Наконец его направленные вниз и назад глаза заметили разорванный шелковый чулок Джесси. Он оставил хворост, повернулся и провел грязной рукой по спутанным на лбу волосам, смотря, как силится стоять прямо эта тяжело дышащая неизвестная девушка с распухшим от слез лицом, вздрагивая от холода и усталости.

— Садитесь,— сказал он задумчиво, с печальным, весьма поверхностным интересом рассматривая Джесси.— Кто бы вы ни были, вам необходимо согреться. Места хватит.

Он бросил пиджак к костру и указал на него рукой, а сам отошел к противоположной стороне и сел, поставив локти на поднятые колени. Погрузив спокойное лицо в заскорузлые ладони свои, как в чашу, неизвестный увидел, что девушка прилегла, беспомощно опустившись на локоть.

Волна жара падала на плечи и лицо Джесси, согревая ее. Широко раскрыв глаза, с вопросом, но без страха смотрела она на хозяина лесного огня, в то время как тот сидел и размышлял о ней без какого-нибудь заметного удивления. Обеспокоенная его страшным видом, Джесси сказала:

— Вы не должны сердиться на то, что я, может быть, помешала вам лечь спать. Я заблудилась. А утром, когда вы поможете мне выбраться из этого леса, я сделаю для вас все, что вы хотите!

— Отлично,— сказал неизвестный.— Я не любопытен, крошка, и не жаден. Огонь огнем, и я вас выведу, если только вам есть куда идти. Но не хотите ли вы поесть?

— Нет. Я хочу пить, только пить! Нет ли у вас воды?

— Вы больны?

— Я очень больна. Пожалуйста, дайте мне хоть глоток воды!

Видя, как жадно смотрит она на бутылки, старик подошел к ней и сел рядом. Он ничего не говорил, а только смотрел на девушку, пытаясь правильно оценить ее появление. Наконец ему стало жаль ее, и сквозь крепчайший спиртной заряд, настолько привычный для него, что даже опытный глаз не сразу бы определил принятую им порцию, старик почувствовал, что видит совершенно живого человека, а не нечто среднее между действительностью и воображением.

— Глаза ваши нехороши, а сама бледная и дрожите,— сказал он.— Значит, больная. Но только, дитя мое, в той бутылке вода не для детей. О воде этой уже сто лет пишут книги, что она вредна, и чем больше пишут, тем больше ее пьют. Не знаю, можете ли вы ее пить.

— Что же это такое?

— Виски, друг мой.

— О, дайте мне виски! — взмолилась Джесси, приподнявшись и прикладывая руку к груди,— я не пила виски, но я читала, что оно освежает. А мне плохо! Я согреюсь тогда! Хотя бы только стакан!

— Освежает,— усмехнулся старик.— Вам случалось пить водку?

— Нет, никогда!

— Все-таки я рискну дать вам стакан. У вас лихорадка, а при ней полезна водка с хиной. Хина у меня есть.

— Не лихорадка, нет,— сказала Джесси.— Я отравлена и, может быть, должна умереть. Хина не поможет мне победить яд.

— Раз вы это говорите, значит, у вас сильный жар. От этого мысли мешаются. Я сам десять лет страдал лихорадкой. Возьмите стакан. Держите крепче! А это хина. Держите другой рукой!

Говоря так, старик совал в ее ладонь облатку, столь затасканную по тряпочкам и бумажкам его карманов, что она больше напоминала игральную фишку какого-нибудь притона, чем знаменитое лекарство графини Цинхоны. Джесси тоскливо рассматривала облатку, но ей почему-то хотелось слушаться.

— Но только напрасно,— сказала девушка, глотая хину и прижимая ко рту конец шарфа.— Теперь я буду пить, чтобы согреться.

С твердостью, хотя покраснев от непривычного питья, сотрясающего тело и разум, Джесси осушила стакан так счастливо, что даже не поперхнулась.

— Да, вы никогда не пили виски,— сказал старик, смотря на ее изменившееся, с закрытыми глазами лицо, по которому прошла судорога.— Ничего, так будет хорошо!

Джесси перестала дрожать. Ее истерзанная душа затихла, тело согрелось. Особая, заманчивая теплота алкоголя, при ее горе и страхе, напоминала временное прекращение мучительных болей, и, глубоко вздохнув, она прислонилась к камню, отражавшему вокруг нее жар костра. Костер слегка летал перед ней, в то время как старик то приближался, то отдалялся.

— Отвратительное снадобье! — сказала Джесси, получив дар слова.— Но жажды у меня теперь нет. Лишь голова кружится. Благодарю вас; но как же вас зовут и кто вы такой?

Старик налил себе стакан и, выпив, задумчиво погладил усы.

— Мое имя Сайлас Шенк. Я был бродячий фотограф. Что зарабатывал, то проживал; жил один и умру один. Для работы уже не гожусь; виски хочет, чтобы ему платили по счету, а счет большой. И я увидел, что жизнь кончена. Теперь я направляюсь к одному приятелю в Лисс; ему тоже шестьдесят лет. Мы вместе с ним проживем конец жизни, смотря, как живут другие.

— До восьмидесяти лет не надо сдаваться! — возразила Джесси.— За двадцать лет может много случиться нового! Я убеждена в этом!

— Самомнение молодости! — сказал Шенк, бросая сучья в костер.— А куда вы идете?

— Я скоро пойду к сестре,— ответила Джесси, смотря на драгоценные камни костра.— Ее тоже зовут Джесси. Она живет на красивой дороге,— там, внизу, где лес висит над морем. Она меня спасет. Одна женщина отравила меня.

Джесси прилегла, а Шенк смотрел на нее, размышляя, как много девушек, брошенных своими возлюбленными. Некоторые умирают, другие сходят с ума...

— Та женщина считалась моей сестрой,— говорила Джесси, и ей чудилось, что она лежит у пылающего камина.— На красивой дороге, в том доме, где синие стекла и золотая крыша, живет моя сестра. Джесси. Но ту женщину уличили, она призналась сама. Та была привезена с севера. Я сейчас пойду к Джесси. Не правда ли, странно, что одно имя? Этого еще нигде не бывало, но так вышло. Я сразу узнала ее, а она меня. Моргиана сделала так, что у меня теперь старая душа. А мне всего двадцать лет! Да, силы вернулись, я могу скоро идти...

Ее глаза закрылись, и лицо Джесси стало глухим. Темный конь сна мчал ее к горизонту, за которым нет ничего, кроме полного ничего. От костра вылетел уголек и упал на ее волосы. Шенк вытащил уголек.

— Не надо снимать шарф,— неясно пробормотала Джесси.— Детрей! — вдруг закричала она, все вспомнив, вскочив и дико глядя вокруг.— Детрей, я вас умоляю! Ведь вы стали мой друг! О, увезите меня отсюда!

Это была последняя вспышка. Шенк с трудом усадил ее, порывавшуюся встать на ноги, и силой заставил лечь снова. Она вначале оттолкнула его, но тут

конь сна перелетел пропасть, и Джесси потеряла сознание, уснув при свете костра, в лесу, совершенно охмелевшая, в расстоянии не более полукилометра от «Зеленой флейты».

Было два часа ночи.

ГЛАВА XXI

Приехав к Еве Страттон, Детрей увидел молодую женщину готовой отправиться. Она была в дорожной шляпе, в пальто и, говоря с Детреем, поспешно засовывала в сумку различные мелочи. Ее лицо выражало нежелание вступать в предположения и объяснения, пока еще надо двигаться самой ради ускорения дела. Она кивнула Детрею и сбежала по лестнице, значительно опередив офицера, который догнал ее, только-только успев раскрыть дверцу гоночного автомобиля Готорна. Они сели один против другого. Машина сверкнула, вызвав страшный ветер в лицо Еве и заставляя глаза схватывать мелькание уличного движения, проносящегося вокруг с быстротой падающих огненных декораций. За те десять минут, пока автомобиль сокращал город, десять полицейских отметили его номер в записной книжке, потому что были нарушены все правила уличного движения, с неизбежным бегством врассыпную встречных и поперечных.

Заметив одобрительную улыбку Детрея, Ева сказала:

— Отец подсчитает штрафы. Я ненавижу экстравагантность, но никак нельзя сегодня поступать иначе. Я беспокою вас этой поездкой? Совершенно некого было пригласить помочь, кроме вас. Я просила отца ехать со мной. В это время вы стали говорить. Он мне сказал: «Если, по счастью, у телефона Детрей, попроси его, а меня уволь». Он находит, что в столь тревожных обстоятельствах вы более отвечаете положению.

Устранив таким образом подозрение в «перемене ветра», Ева продолжала:

— Она не была в бреду. Я говорила с сиделкой и Гердой. Джесси получила какое-то письмо, уловкой отослала сиделку, оделась и исчезла.

— Верно ли, что она поехала к своей сестре? Быть может, она в городе?!

— Нет, чувство говорит мне, что это так. Она у сестры. При их отношениях! Я хочу сказать, что

между ними нет близости. Между тем девушка, больная, срывается ночью и уходит из дома! Только Джесси способна к таким вещам. Она — там, но я ничего не понимаю.

— Предположим,— сказал Детрей,— что случилось несчастье,— там, у сестры.

— Тогда не пишут писем, потому что у Моргианы есть автомобиль.

— Это верно.

— Вот видите. Но какое мученье! Мы еще едва отъехали от города.

Быстрота и ветер заставили их говорить с напряжением, отчего разговор смолк.

— У вас нет никаких серьезных догадок? — спросил Детрей.— Что может означать эта история?

— Я ничего не скрываю! — прокричала Ева.— Я боюсь и хочу ее разыскать! Все дело в письме! Теряю голову!

Немногочисленные вопросы Детрея, с виду совершенно спокойного, рассердили ее. Так как он теперь умолк, смотря в сторону, Ева подумала, что он, вероятно, не очень благодарен ей за эту поездку, нарушившую, быть может, более приятный план поздних часов. Она сказала:

— Теперь скоро. Я начинаю думать спокойнее. Джесси должна быть там. Жаль, что вы мало знаете ее. Тогда вы простили бы меня за то, что я вас похитила.

— Я ее знаю,— сказал Детрей.

— Да?.. Как скоро...

Детрей помолчал, обдумывая ответ.

— Некоторых узнаешь скоро,— задумчиво сообщил он своей, слегка потешающейся про себя, компаньонке.— Все главное о них узнаешь сразу; а затем — целую жизнь — узнаешь какую-то мелочь, которая дает тон всему, вместе взятому.

— Значит, мелочь важнее?

— Должно быть, так.

— Ну, вы в противоречиях!

— Может быть,— согласился Детрей, не любивший никаких препирательств.

— Если вы знаете Джесси, скажите мне, какая она?

— Такая, какой вы ее знаете за время, более значительное, чем две мои встречи.

— Не увиливайте. Так какой же я ее знаю?

— Да именно той, такой.
— Какой такой?
— Какая она известна вам.
— Значит, не знаете!
— Отлично знаю!
— Самоуверенность!
— Нет, уверенность.

Неуязвимый с этой стороны, Детрей попался на коварное обещание:

— Если вы скажете, как определяете Джесси, я вам скажу, что она сказала о вас!

— А что?

— То, что вы знаете о себе.

— Однако,— сказал Детрей с тревогой, вызванной ее обращением,— во-первых, вы явно подражаете мне. А, во-вторых, я уверен и знаю, что нет на свете лучшей девушки, как Джермена Тренган. Об этом говорит ее дыхание, весь ее вид, и я считаю большой честью для себя помогать вам в цели этой поездки.

— Большая речь,— сказала Ева, задумавшись.— Но я вас обманула, Детрей. Джесси ничего не сказала.

Детрей остался в уверенности, что Ева, из сожаления к нему, умалчивает о каком-нибудь маленьком издевательстве. Особенного внимания он на это не обратил, но легкомысленная пытливость Евы ему была неприятна. И все же — говорить о Джесси, произносить ее имя — было для него утешением. Его начала грызть тоска; но уже приехали, и второй раз за эту ночь у ворот «Зеленой флейты» остановился автомобиль, заявив о себе криком кларнета.

Гобсон, лежа в постели возле жены, размышлял вслух о причинах внезапного появления Джесси Тренган; ему не спалось.

— Не наше дело; потуши, наконец, огонь,— сказала ему жена.— Вот бьет три часа, и я не могу уснуть, так как ты то встаешь и куришь, то опять ворочаешься на кровати.

— Помолчи, кажется, кто-то еще приехал? — сказал Гобсон.

В этот момент раздался автомобильный сигнал. Гобсон встал, оделся и пошел к двери.

— Что-то серьезное,— сказал он.— Если хочешь, туши огонь; мне теперь не уснуть.

Жена выбранила его за то, что он накликал своим бдением так много автомобилей, а Гобсон, с зажатым

в руке ключом, прошел к воротам и отомкнул решетчатую дверь. Заглушая звон ключа, Ева крикнула:

— Мы ищем Джесси Тренган! Она здесь?

— Приехала часа три назад,— сказал Гобсон, распахивая дверь и придерживая рукой поднятый воротник пиджака.

Услыхав это, Детрей сразу устал. Слова Гобсона произвели впечатление лихорадочно распечатанной телеграммы, которая прекращает тревогу, после чего, вздохнув, хочется смеясь сесть.

— Фу, даже голова закружилась!—сказала Ева Страттон.— Я довольна. Они спят?

Гобсон прошел в глубь двора и заглянул по окнам бокового фасада. Два окна наверху были освещены.

— Есть свет,— сообщил он.— Но свет часто бывает ночью за последние дни. Наша горничная Нетти говорила, что барышня страдает бессонницей.

— Во всяком случае, мы войдем,— решила Ева.— Будьте добры похлопотать, чтобы нас приняли — Еву Страттон и Финеаса Детрея.

— Мне кажется,— сказал Детрей,— что вам приятнее будет пойти одной. Я подожду.

— Пожалуй. Но тут холодно и темно.

— Не желаете ли посидеть у меня?—сказал Гобсон.

Детрей согласился. Гобсон отвел его в комнату, где спали дети. Теперь они все проснулись и, подняв головы со сбитых кроватей, широкими глазами изучали посетителя. Детрей уперся руками в бедра и подмигнул. Раздался подлый смех толпы, польщенной выходкой актера. Тогда вошла жена управляющего и пригласила гостя в столовую. Любопытство освежило ее грузное, недоспавшее тело, как умывание холодной водой. Убедившись из короткого ответа Детрея на ее замечание о погоде (он сказал: «двадцать минут четвертого»), что настаивать далее неделикатно, она со скорбью пошла к детям и накричала на них, чтобы те спали. Детрей сидел на стуле у покрытого клеенкой стола и курил. Хозяйка была поражена, когда, опять зайдя в столовую, услышала его, запоздавший минут на десять, ответ:

— Это верно: после заката солнца делается свежо.

«Муж прав, будет торжествовать, что прав. У них что-то произошло,— подумала жена Гобсона.— Этот человек даже не видит, что я хожу здесь, перед самым его носом».

Между тем Гобсон проводил Еву в дом и, когда Нетти закрыла за ней дверь, вернулся к своей встревоженной семье, а Ева, как только вошла, увидала поджидавшую ее Моргиану. Она стояла в двери гостиной.

— Четвертый час ночи,— сказала Моргиана.— Нетти, вы не нужны. Итак, дорогая Ева, что значит этот скандал?

Ева, у которой захватило дыхание, слегка побледнела.

— Джесси нужно быть дома,— сказала она с твердостью.— Вы знаете, что она больна. Я хочу ее видеть, чтобы отвезти в город.

— Вы за этим приехали?

— Единственное мое оправдание.

— Со мной вам не о чем говорить?

— Нет, Моргиана. Я все сказала вчера.

— Пройдите, Ева. Я вас простила. Так Джесси вас надула, исчезла, да?

— Моргиана, проведите меня к Джесси. Разговор становится странен,— поймите это! Где Джесси?

— Как же я могу знать наверное? Вы, Ева, очень настойчивы. Что же вы подозреваете, что я ее прячу?

— Не знаю. Я знаю, что она здесь.

— Была здесь,— хотите вы сказать. Да, Джесси приехала сюда в двенадцатом часу, точно не помню. Пять минут назад я вышла; когда вернулась, ее уже не было. Я думаю, что она дома и спокойно спит, в то время как вы будите моих служащих.

— Постойте, я испугалась!—воскликнула Ева.— Джесси ушла?

— Вероятно, уехала. Но еще вернее, что она прячется где-нибудь неподалеку от дома, чтобы вызвать переполох. О, я не такова! Пусть выкидывает свои штуки. Пойдемте в гостиную.

— Гобсон сказал, что она здесь. Как же она ушла? Почему ушла? Почему она явилась сюда?

— Мне очень неприятно видеть вас, Ева, особенно после вчерашнего вашего нравоучения. На все ваши вопросы вам может ответить сама Джесси, а я вам говорю еще раз, что она воспользовалась моим отсутствием и убежала через окно, так как дверь была заперта. Окно выходит в сад; я обошла сад, сделав эту уступку ее дикой фантазии.

— О! Я мало вас знаю!—сказала Ева, отступая перед ее угрюмым взглядом.— Если вы можете так

говорить теперь, когда Джесси неизвестно где,— я имею право подумать многое. Но я узнаю, какое и от кого она получила письмо. Стыдитесь, Моргиана! Нельзя вымещать злобу против меня на ребенке! Конечно, вы ее выгнали.

— Остановитесь! Я не позволю вам клеветать! — крикнула Моргиана.— Это вы стали между мной и сестрой! Вы шпионка, праведная Ева Страттон! Я не знаю, о каком письме идет речь. Посещение Джесси объясняется очень просто, но я не доставлю вам удовольствия и не удостою вас объяснением. Довольно бредней; я иду спать, а вы можете расположиться с вашим штабом в гостиной и сочинять диверсии.

— Как же вы допустили больного человека уйти? Ведь это хуже убийства!

— Все равно, что бы вы ни подумали,— заявила Моргиана, всматриваясь в Еву и убедясь, что та говорит так только с отчаяния.— Должны понять, что сестре было не так уж худо, если она смогла приехать сюда. Ну, с вами сойдешь с ума. Но я требую, чтобы вы, по крайней мере сегодня, оставили меня в покое!

— Так вы отказываетесь помочь мне найти Джесси?

— Туда или сюда? — тихо спросила Моргиана, водя рукой от гостиной к выходной двери.

Ева посмотрела на нее и бросилась прочь, на двор. Холод пробежал по ее спине, когда дверь захлопывалась за нею,— так страшно было лицо старшей сестры,— все в темных рубцах ненависти и воспаленной мысли, запертой блеском глаз. Задыхаясь, Ева прибежала к Гобсону и повалила спокойное ожидание Детрея одним толчком.

— Гобсон, видели ли вы, как Джесси ушла? — вскричала Ева, мельком взглянув на Детрея и тревожно кивнув ему.

Гобсон растерялся, объяснив, что не видел ничего, ничего не слышал с того времени, как проводил Джесси к сестре. Жена Гобсона села от удивления.

— Что случилось? — спросил Детрей.

— Возник секрет, о котором, я уверена, Гобсон будет молчать.

— Не сомневайтесь,— сказал Гобсон,— я и жена не причиним никаких неприятностей.

— Насчет нас можете быть спокойны,— подхватила толстая женщина.— Если что нужно, мы сделаем все.

— Джесси скрылась через окно в сад, а потом, вероятно, перелезла через стену,— сказала Ева, обращаясь к Детрею.— Она совсем больна и действовала в бреду. Необходимо ее найти. Времени терять, конечно, нельзя. Тяжелая история! Ну, Детрей, я не могу идти с вами, но, вероятно, Гобсон не откажется сопровождать вас?!

Гобсоны переглянулись. Детрей тоже не понимал, почему сестра Джесси спокойно отнеслась к исчезновению девушки, но у него не было времени для расспросов.

— Вы знаете местность? — спросил Гобсона Детрей.

— Да,— сказал тот, обдумывая положение.— Мы возьмем собаку. Это еще лучше.

— О! Если она годится, то половина дела сделана! — с облегчением воскликнул Детрей.

— Дай фонарь,— обратился Гобсон к жене.

Та, вытирая слезы волнения, отправилась разыскать фонарь, а Гобсон вышел в соседнюю комнату, надел сапоги, свитер и, открыв дверь, свистнул. «Кук!» — негромко позвал Гобсон. О его ноги толкнулся хвост, и раздалось быстрое дыхание животного. По-прежнему светилось верхнее окно Моргианы; с подозрением взглянув на него, Гобсон прикрепил к ошейнику Кука цепь, затем ввел черную, с блестящим, сухим взглядом, собаку в комнату, но увидел шедшего навстречу Детрея.

— Всегда говорят о своей собаке, что она умна и понятлива,— сказал Гобсон,— так вот и я скажу то же. Моя ищейка прибегала отсюда в город и там находила меня! Вот вы увидите.

Жена Гобсона принесла фонарь с зажженной свечой, а Ева, вышедшая с ней, положила руку на плечо Детрея. Ее лицо было печальным, и Детрей понял, что она примирилась с его отношением к Джесси,— не только ради Джесси.

— Я сделаю все,— сказал он.— Вы ждите здесь.

После того он вышел с Гобсоном через ворота и повернул влево, вокруг стены. Свет фонаря шел по траве и низу стены, озаряя никелированную цепь, туго натягиваемую собакой. Они прошли к тому месту ограды, где протянулись через нее длинные ветви, помогшие Джесси выбраться из сада сестры. Хотя Гобсон выражал сожаление, что нет предмета, принадлежащего Джесси, и несколько сомневался,— поведе-

ние ищейки ободрило Детрея. Обрыскав носом траву, она подняла голову, тявкнула и стала махать хвостом.

— Ищи, ищи,— сказал ей Гобсон,— ворота были заперты, понимаешь? Если она спрыгнула здесь, ты должен это знать.

Раздался короткий лай. Своим путем, нам мало известным, собака понимала тревогу хозяина. Фонарь означал поиски, цепь означала, что искать назначено Куку, но возникало сомнение, тот ли это след, который нужен Гобсону. След начинался от стены и был ясен собаке; решив, что дальнейшее покажет,— этот ли след интересует людей, Кук крепко почесался задней ногой и побежал, опустив нос, к лесу.

— Не волнуйтесь,— сказал Детрею Гобсон,— собака знает, куда идти.

Удерживая собаку, торопившуюся доказать пустяшность возложенной на нее задачи, они стали бродить в лесу, тщательно осматривая все места, где Кук задерживался, следуя неровному пути девушки и часто тревожа их краткими возвращениями — для точной проверки. Одно время он метался среди кустов, под листвой тесно стоящих деревьев, тем самым указывал состояние Джесси, в каком спешила она скрыться от Моргианы.

— Она далеко зашла,— сказал Детрей,— неизвестно, что с ней и как она себя чувствует. Пусть она увидит собаку и догадается, что помощь близка. Отвяжите пса! А мы пойдем на его лай.

— Лучше не делать так,— возразил Гобсон,— его недостаток тот, что он отыщет и возвратится: уведомить. Тогда мы зря потеряем время.

Детрей хотел спорить, но заметил огонь и побежал к нему с сжавшимся от острой тревоги сердцем. Ветви исхлестали его лицо. Огонь был дальше, чем показалось вначале; оставив Гобсона далеко позади себя, Детрей увидел наконец костер и Шенка, отошедшего от огня вглядеться в тьму, где слышал он голоса и лай.

— Вы ее ищете? — сказал Шенк задохнувшемуся Детрею, указывая на скорченную фигуру с темными волосами, спящую и укрытую пиджаком.

— Она пришла сама?

— Да; но едва дошла.

Гобсон вышел на свет, и Кук, все осмотрев, обнюхал подошву девушки, решительно заворчав, так как доказал правильность своего поступка.

Все трое подошли к спящей. Ее лицо было в поту, руки прижаты к груди.

— Кто вы? — спросил Шенка Детрей.

— Вышедший в тираж,— хмуро ответил тот, считая, что перед ним виновник несчастья.— Я с ней говорил; дал ей хины, потом водки; она очень хотела водки, потому что ее сильно трясло. Она то говорила, то бредила.

— Что говорила?

— Вам лучше знать это.

— Не хотите сказать?

— Нет. Потом, когда вы с ней объяснитесь, она повторит все, если это не бред.

— Вы вышли в тираж и стали ошибаться поэтому,— заметил Детрей.— Вы подумали не то, что надо думать. Слышите?

Шенк внимательно рассмотрел Детрея.

— Да, я ошибся,— сказал он, несколько прояснев.

— Благодарю вас! — искренне отозвался Детрей, пожимая его руку.— Но, может быть, ее бред кое-что объяснит.

Шенк взглянул на Гобсона, правильно учитывая второстепенную роль пожилого и главную — Детрея; затем, подойдя к Детрею, сказал на ухо несколько слов. Детрей растерянно оглянулся.

— Неужели не бред? — сказал он, вставая на колени около Джесси и рассматривая ее лицо.— Надо нести. Я надеюсь сделать это один.

Он снял пиджак, прикрывавший Джесси, и легко поднял ее, одной рукой обхватив под колени, другой — за плечи. Теперь, когда эта маленькая уснувшая голова лежала у его плеча, он понял, как долго может нести Джесси, и, тепло кивнув Шенку, начал шагать прочь, смотря более на закрывшиеся глаза девушки, чем следя за светом Гобсонова фонаря, двигавшимся впереди его. Он нес ее, удивляясь, что совершенно не чувствует тяжести, и боясь сделать Джесси неловко лежать у него на руках. Неоднократко Гобсон предлагал ему свою помощь, говоря: «Передайте теперь мне, не то у вас отнимутся руки»; Детрей кивал ему и продолжал быстро идти. Наконец острая боль в плечах заставила его вздрогнуть, и он толкнулся о дерево.

Глаза Джесси открылись, но он этого не заметил. Потом глаза закрылись опять, но висевшая доселе рука ее легла на ноющее плечо Детрея, возле шеи,

и боль в плечах прекратилась. Желая убедиться, точно ли Детрей не пересиливает себя, Гобсон осветил фонарем его лицо и увидел, что хранитель ноши улыбается, а его глаза влажны и бессмысленны. «В таком случае — донесет»,— подумал Гобсон.

Так выбрались они из леса и пришли в комнату, где ожидали их Ева и жена Гобсона, тихо разговаривая о посторонних вещах. Стук ворот заставил их вскочить, и они бросились к двери, где Джесси тихо, но настойчиво сползла из объятий Детрея, заставив того усомниться, точно ли она все время была без сознания.

Ее положили; тогда она попросила Еву побыть с ней наедине. Дверь закрылась за ними, и Джесси призналась Еве во всем, умоляя скорее отвезти себя в город, а также позвать истинную сестру и сказать Детрею, что она виновата во всем, но что он был ей другом и она этого не забудет.

ГЛАВА XXII

«Что же, сдаваться?» — сказала Моргиана, заперев Джесси и пройдя в столовую. Она села, но сидеть не могла; встала, начала ходить, но скоро остановилась. «Вот он,— обратный удар! Это Гервак. Она предусмотрительно заготовила письмо. Но Джесси не может уехать; не уедет; она уличила меня».

Выход из положения, о котором она думала в эти минуты, был так жесток, что даже ее злорадно прищуренное сознание запнулось при обсуждении. «Но я пошла на все,— сказала Моргиана,— не отступлю и теперь. На охоте добивают раненых птиц. Разницы я не вижу. Настал момент умертвить ее простыми словами».

Она задумала возвратиться к сестре, спокойно признаться, без раскаяния открыть все и пожелать смерти. Та правда, какую уже знала Джесси, пока была правдой трагической; еще правдивее должна бы стать она — правдой холодной расправы. Такая мысль напоминала белые глаза на черном лице; их взгляда не могла бы перенести девушка, едва начавшая жить; беспамятство или безумие, может быть, сама смерть, единственно вытекали из решения Моргианы. Она обдумала это и направилась добивать сестру.

Легко, почти весело, как с приветом и цветами в руках входят прогнать дурное настроение близкого человека, Моргиана отперла дверь, но, пока дверь распахивалась, за ней еще не могла быть видна Джесси; думая, что она здесь, Моргиана сказала:

«Сестричка! Это все — правда. Я клюнула тебя в сердце. Я от...»

Моргиана закрыла дверь и подбежала к окну. Сад дышал ветром, ничего не было видно во тьме, скрывшей Джесси, но Моргиана подумала, что девушка здесь, в саду, и тихо позвала: «Джесси, автомобиль подан!» Снова пахнул ветер; сад молчал, и Моргиана спустилась в него с террасы, тщательно заперев комнату, как будто из нее могли уйти те чувства и слова, которых она боялась. Она стала ходить между деревьев и клумб, всматриваясь в очертания темноты. Молчание и тоска ночи убедили ее, что Джесси в саду нет, но еще раз обошла она кругом небольшой сад и остановилась у дерева, где наткнулась на упавшую тачку. «Странно, что собака не лаяла,— подумала Моргиана.— Тачка стояла у стены. Джесси вскочила на тачку. Тогда ее здесь нет. В таком случае я всю ночь не должна спать; неизвестно, что произойдет, если ей удастся приехать в город. Но, может быть, силы ее оставят, разум померкнет?! Ночь холодная; она одета легко. А может быть, она лежит рядом, в траве, за стеной, лишившись сознания?»

Моргиана возвратилась, взяла ключ и отомкнула дверь сада, выходящую к тропинке в кустарник. Тогда у ее ног стала вертеться черная собака Гобсона. Моргиана обошла вокруг всей «Зеленой флейты», а собака рыскала у ее ног, иногда пропадая во тьме; затем она возвращалась и ждала, но ни разу не залаяла. Как только Моргиана пришла к тому месту, где Джесси перелезла через стену, собака сунулась в траву, замерла там и стала ворчать. «Джесси!» — позвала Моргиана, наклонясь к траве. Никто ей не ответил; она прошла по тому месту, а затем стала следить, что будет делать собака. «Ищи»,— сказала она ей и хотела ее погладить, но, выскользнув из-под ее руки, животное побежало к лесу. Его уже не было видно; отбежав, оно остановилось, ожидая, что привлечет человека к поискам. Моргиана повернула обратно, и собака снова пришла к ней, молча спрашивая: «Почему не надо искать?» После того она исчезла, а Моргиана, все

зная теперь, стала придумывать, как объяснить безучастие к побегу сестры, если та заблудится и умрет где-нибудь в диком углу. Тогда она решила сказать то, что сказала Еве Страттон: «Джесси исчезла не более пяти минут тому назад». И она возвратилась через садовую дверь. Горничная уже спала. Ей захотелось есть; она стала есть у буфета, стоя,— сыр, хлеб и масло, запивая еду белым вином.

Наверху, в своей спальне, Моргиана оставила свет, а внизу потушила его. Взойдя наверх, она снесла в спальню все, что думала взять с собой, и стала укладываться на случай побега. Все ценное поместилось в небольшой саквояж, не вызывающий никаких догадок. У нее были деньги, и, кроме того, она могла получить от ювелира деньги за драгоценности. Все сделав, ничего не упустив при сборах, мысленно проверив подробности и заперев саквояж, Моргиана надела теплую шаль и села слушать у приоткрытого окна.

Не более как через час произошло вторжение Евы, но, как ни презирала Моргиана эту молодую женщину, разговор с ней менее ожесточил ее, чем прибытие Детрея, объявленное Гобссном; оно опечалило и оскорбило ее; оно сказало ей о сильной любви.

Снова войдя в спальню, она села и задремала; и так было ей нехорошо, смутно, что она не сопротивлялась дремоте, но зорко стерегла сон, стоящий над ней с поднятой рукой, и немедленно раскрывала глаза, как только угадывала приближение забытья. Так прошло более часа, и в полночной тишине слышала она скрип флюгера наверху дома, вникая в его железные жалобы тем странным чувством, какое при бессоннице склонно наделять предметы жизнью.

Вдруг она услышала шаги двух людей; Нетти коротко постучала, и, встав, Моргиана крадучись подошла к двери, удерживая дыхание. Одной рукой она взялась за ключ, другой погасила огонь, но ничего не сказала на стук, продолжая молча стоять и слушать, как будто промедление должно было ей помочь. Второй стук, напоминающий тихое приказание, вызвал у нее внезапную злобу. Стиснув зубы, Моргиана быстро открыла дверь и увидела Еву Страттон. За ней, в слезах, с растерянной улыбкой стояла Нетти.

Ева видела фигуру старшей сестры, стоявшую неподалеку от дверей, в темной комнате, но не различала ее лица.

— Опять явились? — спросила Моргиана.— Что нужно?

— Джесси нашлась,— сказала Ева, вглядываясь с горем и негодованием в темноту, окружающую убийцу.— Я везу ее; теперь она будет бороться с последствиями ваших забот.

— Вы бы лучше ушли,— сказала Моргиана.— Вам место в пожарном обозе, Ева.

— Отошлите Нетти! Я скажу очень немного; затем уйду и оставлю вас. Я вас оставлю, но другие вас не оставят.

— Мне уйти? — сказала Нетти, прислушиваясь к странному разговору с тупым страхом.

— Да. Джесси в сознании?

— В сознании, но Нетти еще не ушла. Теперь она ушла... Так это вы отравили вашу сестру?

Моргиана молчала. Она шагнула вперед, и Ева увидела ее лицо. Моргиана стояла выпрямившись, с руками за спиной. Такого лица Ева не видела никогда. Она вскрикнула.

— Вот я,— произнесла Моргиана,— вы меня видите. Я невинна.

Ева закрыла лицо руками и разрыдалась.

— Плачь, гордая,— сказала Моргиана,— настал день слез и для подобных тебе.

— Я надеюсь,— ответила Ева, отходя с усталым жестом от безобразного и мучительного видения,— что вы душевно больны. Только это может примирить меня с тем, что произошло. Как вам поступить, вы знаете; должны знать. Пусть вас помилует суд, но я — простить не могу!

Спускаясь по лестнице, она услышала резкий хохот.

— Ева! Я вас пугала! — кричала ей Моргиана, перегибаясь через перила.— Уходите? Везете девочку? Будьте вы обе прокляты!

Все время, пока тешилась она так мстительно и черно, подобно концу хлыста, бьющего вокруг, повинуясь бессмысленно жестокой руке,— молчал ее страх; лишь теперь услышала она его голос и немного опомнилась.

«Так что же я теперь сделаю?» — сказала Моргиана. Совершенно уверенная, что Ева ее не пощадит, она спросила себя: «Способна ли умереть?» Но ничего не ответила. На этот вопрос не было ответа в ее душе. Между тем приближалось утро; и, по мере того как

в темной ее спальне обозначались предметы, мысль о смерти, вначале вынужденная и неприятная, начала доставлять ей некое утешение. То была дверь, скрывающая от любой погони.

«Как нелепо я собиралась скрыться! — размышляла Моргиана,— но это было бы возможно...» И так как обстоятельства, ею же подтвержденные в момент мстительности, в сцене с Евой Страттон, обратились против нее, она поверила своему желанию умереть! Вращение волчка оканчивалось. Видимая неподвижность его перешла в заметную быстроту, и, уже вздрагивая, теряя устойчивость, он стал ходить и раскачиваться, готовясь свалиться. Подобной волчку была теперь Моргиана; мысль и намерение заменили ей силу, как заменяют волчку его стойкую быстроту последние безнадежные обороты — на границе падения.

Как пробило восемь часов, ее размышления кончились. С интересом рассматривала она мрачное лицо Нетти, но не пыталась выведать от нее что-либо, касающееся происшествий ночи; также было ей все равно, какие догадки бродят во дворе и что о ней думают.

Она пила кофе, но не могла есть. Значительным, как прощание навсегда, стало вокруг нее все, что видела она в это яркое, горячее утро: красивые комнаты, смятение горничной, сдерживаемое привычкой повиноваться; звук ложки о фарфор. «Злая и нелепая жизнь,— сказала Моргиана,— зачем ты была такой для меня?»

Так как она не знала, что Ева отвезла Джесси к себе, ее последним желанием было покончить с собой в городском доме. Она надеялась, что ее смерть потрясет Джесси, и, может быть, они вместе сойдут в могилу. Темное удовольствие все еще примешивалось к ее обдуманному отчаянию. «Если тебя спасут,— говорила она, обращаясь к сестре и видя ее тоскующее лицо,— как бы ты ни была довольна впоследствии своей жизнью, в твоем доме все-таки одна стена останется навсегда черной; и ты уже не забудешь меня!»

Моргиана оделась, но, собравшись выйти, задержалась у саквояжа, который уложила ночью. Ей почему-то не хотелось бросать его на стуле, где он стоял, как будто ей было еще не все равно, где он находится, будет ли даже он существовать после ее конца. Она сунула его в шкап, который заперла; ключ от шкапа взяла с собой; потом встала на подоконник и отрезала шнур гардины, длиной метра

два; свернув его и уложив в сумку, она удивилась, что делает все это для своей смерти. В ее осмотрительности все время стоял смутный вопрос. Наконец она вышла во двор, где увидела шофера, тотчас усевшегося к рулю при виде ее. Прежде чем поклониться, он взглянул на нее таким же глухим взглядом, как смотрела Нетти, внося кофе. Моргиана выехала, не видя ни Гобсона, ни его жены; но ей показалось, что у окна жилища Гобсона тронулась занавеска. В глубине двора стояла собака; она тоже смотрела на Моргиану. «Вот я ушла,— подумала Моргиана,— и ничто теперь не смутит ваших воспоминаний о Харите Мальком».

По дороге она обратила внимание на руку шофера, колеблющую черное колесо. Рука двигалась с властью и уверенностью судьбы. Ей представилось, что шофер не тот, не флегматичный Слэкер, и, если он повернется, она не узнает его лица. «Не белое ли оно, с черными ямами?» — мелькнуло у Моргианы. Представление это навязалось с силой, вызвавшей у нее дрожь, и она громко сказала: «Обернитесь!»

Слэкер не расслышал, но обернулся и хмуро кивнул, думая, что возглас значит: «Поторопитесь». Машина удвоила бег, и хотя Моргиана теперь продолжала знать, что ее везет Слэкер, его мрачный кивок еще более расстроил ее.

Она ехала, то решаясь, то отказываясь от своего замысла. Внушение ночи исчезло; во всех светлых подробностях начался день, развлекая и как бы примиряя с самой безвыходностью. Приступы малодушия угнетали Моргиану не меньше, чем насильственно восстанавливаемая решимость. Обман шел с ней до конца, но она уже не различала его.

Подъезжая к дому, Моргиана не знала, что ее ждет — арест или вопрос врача? Ее внутренняя поза исчезла. Моменты невменяемости перемежались угрожающим озарением. Ее встретили Эрмина и Герда, которые провели ночь без сна и лишь недавно получили от Евы известие, что Джесси благополучно нашлась. Моргиана понимала, что они говорят ей о происшествии, но слышала одни восклицания, не различая слов и тупо смотря на других слуг, показывавшихся в отдалении, как будто по своему делу, но — она знала это — изучающих и рассматривающих ее.

— Сестра спит? — сказала Моргиана.

Узнав, что Джесси находится в доме Готорна, она удивилась и вздохнула свободнее. Она хотела отослать женщин, чтобы несколько последних минут провести в этой высокой зале, поддерживающей чувство достоинства своими огромными окнами, светящими всей красотой утра на отраженные паркетом люстру и мебель.

— Оставьте меня,— тихо сказала Моргиана и, оставшись одна, подошла к окнам. В простенке, у трюмо, стояли бронзовые часы с медленно отзванивающим падение секунд маятником в форме лиры. Было пятьдесят пять минут девятого. Моргиана сжала рукой маятник; он двинулся в ее пальцах и неровно остановился. Услышав легкие шаги, она обернулась, увидев свою сестру, Джесси,— в сиреневом костюме сверх кофты и в белой шляпе, отделанной цветами ромашки. У Джесси были голубые глаза.

— Кто пропустил вас?—сказала Моргиана, едва ее страх прошел.

— Все было открыто,— ответила неизвестная, заплатив смелым румянцем за свое появление.— Одна дверь... и все двери были открыты. Я шла; никто меня не остановил, и я не видела никого. Я пришла к Джермене Тренган, девушке, которая больна. Вчера я не могла прийти к ней.

— Вы ее знаете?

— Мы—тезки,— сказала молодая женщина, перестав улыбаться.— Мое имя—Джермена Кронвей. Мы говорили через решетку сада.

— Я сестра вашей знакомой,— сказала Моргиана.

— Могу ли я увидеть ее?—спросила посетительница, отступая перед упорным взглядом, почти безумным.

— Нет. Ее здесь нет. Идите к ее подруге. Там лежит Джесси, так похожая на вас, что хорошо бы и вам прилечь вместе с ней.

— Я рассердила вас?

— Вы меня насмешили. Что вы так смотрите? Наступит старость, и вы будете такая, как я.

— Может быть, я вас поняла,— сказала Джесси Кронвей, побледнев и поворачиваясь уйти,— но вы неправы. Лучше бы вы не говорили со мной!

Она растерянно оглянулась и пошла, не сразу найдя дверь,— сначала тихо, потом быстрее. Уже ее не было, но после ее исчезновения в зале как бы остались две голубые точки, мелькавшие в ливне лучей.

«Так что же? Оставить вас греться и жмуриться, а самой сгнить?—сказала Моргиана.—И вы поплачете надо мной? Страшно молчание этих часов. Проклинайте, но последнее слово оставляю я за собой!»

Она тронула маятник, начавший неторопливо звучать, и прошла в комнату, которую уже имела в виду, направляясь сюда,—в ту, не имеющую никакого назначения комнату, где был у нее разговор с Евой Страттон,—и, присев к угловому столику, начала писать в записной книжке карандашом.

«Я родилась некрасивой, выросла безобразной. Моя жизнь...»

Не дописав, она зачеркнула эти слова так, чтобы их можно было прочесть; затем объяснила, как произошло преступление:

«Я была у гадалки; не имея будущего, я хотела, вероятно, обмана; за деньги это доступно. Я познакомилась с ней и, под видом жестокого милосердия к безнадежно больному родственнику, выпытала коечто о том темном мире, где можно добыть яд.

Невозможно объяснить, как все это произошло в душе моей; нет объяснения.

Джесси росла на моих глазах, и я отравила ее.

Не жалости...»

Моргиана зачеркнула эти два слова, но опять были они доступны прочтению.

«Так не казните меня,—написала Моргиана, отчетливо представляя и изыскивая действие своей записки,—моя жизнь была—моя казнь!

Хорошего я ничего не видела и не увижу. Это все—для других».

Перечитав, Моргиана прозрачно зачеркнула все, кроме слов о гадалке и слов: «Джесси выросла... я отравила ее».

Оставив записную книжку лежать на столе, она вышла в залу, позвонила и сказала Эрмине:

— Я уронила золотую монету, поищите ее под стульями.

Эрмина начала обходить зал; тогда, с омерзением риска, но также с сознанием, что лишь единственно этим путем может смягчить сердца ею презираемых, могущих горько задуматься людей, Моргиана встала на стул в лишней комнате, рядом с большой индийской вазой, стоявшей на высокой подставке, и прикрепила шнурок к крюку картины, изображающей жатву.

Сделав петлю, Моргиана сунула в нее голову и рассчитала прыжок так, чтобы задеть вазу ногой.

Она слышала, как Эрмина отодвигает стулья, и была поэтому почти спокойна за исход затеи; лишь странное чувство операции сопровождало движение ее холодных, как лед, рук.

Что-то мелькнуло в ее уме,— не свет, не отчаяние; быть может, тоска и скука опасности...

Она взялась за петлю у горла обеими руками и, задрожав, повисла, не теряя из вида вазу.

Но не все было рассчитано. Тонкий шнурок резко сдавил ее пальцы и горло. Оттолкнутый стул упал; она протянула руки, стараясь ухватить что-нибудь и силясь ударить вазу ногой. Но было уже поздно; носок башмака скользнул по фарфору, не достигнув цели. Тьма и боль губили ее с быстротой внезапного удара по голове. Ваза закачалась, но устояла.

Эрмина, бросившаяся на шум, увидела повисшую женщину, но вместо того, чтобы освободить ее из петли, перерезав шнурок и тем ослабив давление, остановилась, как вкопанная. Ей сделалось дурно. Когда, опомнясь и совладав с собой, она побежала, призывая на помощь,— Моргиане помощь была уже не нужна. Шнурок доконал ее, вызвав паралич сердца; расчет был точен, но еще точнее была случайность, подстерегающая ум наш, как кошка у входа, за которую, торопясь, запнулась уверенно шагающая нога.

ГЛАВА XXIII

— Теперь можно с ней говорить,— сказал Сурдрег.— Я думаю, что лучше сделать это теперь, пока ее восприимчивость остается притупленной. Лучше, если она узнает все это от вас, чем самостоятельно.

— Я поступаю, как вы советуете,— ответила Ева.— Какой это был яд?

— Не знаю. Во всяком случае, ни один из тех, какие распознаются лабораторным анализом. Но это неудивительно, так как наука еще недостаточно исследовала страну темных сил, скрытую в органическом мире. Есть много ядовитых растений, грибов, насекомых, рыб, моллюсков, жаб и ящериц; многочисленны разновидности трупного яда; даже в человеке есть яды,— в слюне, например. Кто знает, какие и где

производятся тайные опыты над действием веществ, опасных для жизни? Искусный дегустатор, достаточно безнравственный и достаточно образованный, чтобы правильно проводить эксперимент, может добиться результатов в своем роде гениальных. Вспомните хотя бы яд «акватофана». Но, конечно, при состоянии медицины в средние века, когда паллиативное лечение не знало тех средств, поддерживающих сердце, какие в ходу теперь,— бороться с отравлением было труднее. И все же я думаю,— неожиданно закончил Сурдрег,— что стакан водки был ей полезен!

— Камфора,— благоговейно произнесла Ева.

— Спирт затрубил в рог,— продолжал Сурдрег, с удовольствием либерала, поддразнивающего единомышленника еретической шуткой,— он встряхнул организм и объявил ему об опасности. Несомненно, спирт вызвал благодетельную реакцию,— положил ей начало. Старый врач никогда не отнесется без внимания к таким вещам. Кстати: появилось еще одно подозрительное заболевание сходного типа, и я думаю, что от него можно будет начать расследование о злоумышленниках. С той стороны — молчание?!

— Когда я бросилась в дом Джесси,— при известии о самоубийстве Моргианы,— кто-то вызвал к телефону Джесси, но узнав, что ее нет, спросил умершую. Мне передавала прислуга. На словах: «несчастье, она скончалась»,— разговор прекратился.

— Побоялись,— сказал Сурдрег.

Ева рассталась с ним и вошла к Джесси.

Джесси сидела в кресле, держа на коленях книгу с клочком бумаги поверх нее, что-то рисовала и черкала.

— Сегодня запрет снят,— начала Ева, тихо отнимая у нее бумагу и карандаш.— Ты выспалась? Хотя рано, но жарко.

Джесси равнодушно смотрела на нее. Она догадывалась, что значит задумчивая складка между бровей Евы, не знающей, как начать.

Лицо девушки напоминало лицо проснувшегося от долгого сна, когда еще не восстановлена связь между делами вчерашнего и заботами наступившего дня; проснувшийся — ни в прошлом, ни в настоящем. Взгляд Джесси был ясен и тих, как лесная вода на рассвете, перед восходом солнца.

— Не бойся, Ева,— сказала девушка.— Когда умерла Моргиана?

Ева изменилась в лице и подошла к ней.

— Успокойся,— шепнула она.— Тебе кто-нибудь сказал?

— Я спокойна. Но ты пришла сообщить мне о ее смерти?!

Взволновавшись, Ева молчала.

— Вот видишь,— сказала Джесси с слабой улыбкой.— Ее больше нет. Я почувствовала это недавно.

— В тот день, когда мы тебя нашли.

— Чем?

— На шнурке... рядом с залой. Вошли в маленькую комнату. Там это и было.

Ева остановилась и, видя, что Джесси, подавив вздох, смотрит на нее с ожиданием, продолжала:

— Врачу не удалось ничего сделать. Со всем этим пришлось возиться мне, так как твоя горничная немедленно известила меня. Но я рада, что поехала туда, потому что у меня оказалась записная книжка,— она, конечно, не для полиции. Я опередила врача на несколько минут.

Затем Ева рассказала, как Моргиана велела Эрмине искать золотую монету, как горничная прибежала на грохот упавшего стула и испугалась.

— А теперь прочти,— заключила Ева, передавая Джесси записную книжку, раскрытую на той самой странице.— К сожалению, я не имела права уничтожить эту записку.

Она отошла к окну, став к Джесси спиной. Наступила полная тишина; затем послышался шелест переворачиваемых страниц.

Поняв, что Джесси окончила чтение, Ева с тревогой подошла к ней.

— Не будем никогда более говорить об этом,— сказала ей девушка.— Умереть она не хотела; я это поняла. Но здесь написана правда. Чужая правда. Я не виновата в том, что она чувствовала невиноватой — себя. Я к чужой правде не склонна и платить за нее не хочу. Моя правда — другая. Вот и все.

— Разве я возражаю тебе?

— Я возражаю ей. Что было еще?

— На другой день, рано утром, я и отец проводили гроб на кладбище. Кроме нас, никого не было.

— Двуличные не пришли,— сказала Джесси, первый раз улыбнувшись за время этого разговора.— Почувствовали скандал!

— Хочешь, я передам слухи?

— Нет. Я не люблю сплетен. Хотя... в том значении, какое мы скрыли?!

— Сурдрег не выдаст, конечно. Все остальные видят ряд ссор и более ничего.

— А завтра я возвращусь домой,— сказала Джесси, желая говорить о другом.

— Не советую тебе жить одной.

— О! Я уже написала пятерым родственникам. Трое приедут, наверное,— таким образом, будет с кем пошуметь. Ева! — прибавила девушка, задумчиво смотря на подругу,— знаешь ли ты, что ты очень хороший человек?

Не найдя, что ответить, Ева покраснела и невольно пробормотала: «притупленное сознание».

— Что такое?

— Сурдрег сказал, что у тебя «притупленное сознание»; поэтому ты начала «изрекать».

— Он сам притупленный. Да если бы у мужчины был такой характер, как твой, и он был бы мой муж!

— Я удаляюсь, так как ты, очевидно, нуждаешься в отдыхе.

Когда Ева ушла, Джесси снова перечитала предсмертное письмо Моргианы — и неловко, медленно, как будто это письмо ставило ей на вид все поступки ее, подошла к зеркалу. Она села против него без улыбки, без кокетства и игры, села, чтобы видеть — кто и *какая* она.

Джесси сидела молча, поставив локти на подзеркальник; охватив ладонями лицо, она смотрела на себя так, как читают книгу, и, когда прошло много минут, все мысли, какие может вызвать рассказанная нами история, перебывали в ее темноволосой пылкой голове, с дарами и требованиями своими. Наконец все они ушли; остались две, главные; одна называлась «Да», а другая «Нет».

И «Нет» сказало:

«Надень рубище и остриги волосы. Изнури лицо и искалечь тело. Не будь ни возлюбленной, ни женой; забудь о смехе, так живут другие, которым не дано жить в цвете!»

А «Да» сказало иначе, и Джесси увидела дымную от брызг воду, напоминающую прозрачное молоко.

— Я — есть я,— произнесла Джесси, вставая, так как кончила думать,— я — сама, сама собой есть, и буду, какая есть!

Она громко ответила на стук в дверь, и к ней вошел сильно исхудавший Детрей. Он мало спал эти дни и очень надоел Еве, которая неохотно впускала его к Джесси, когда та еще лежала в борьбе с последними содроганиями отравы, медленно уступавшей твердому «так хочу» сильного организма девушки.

— Не более пяти минут,— сказала Джесси,— я очень устала!

— Джесси,— горячо заговорил Детрей, подходя к ней,— мне стоило большого труда решиться сказать о себе... и о вас... Мне пяти минут мало! Когда вы позволите мне прийти к вам? Затем, чтобы... может быть, сейчас же уйти?!

Джесси молчала, внимательно смотря на этого человека, готового отчаянно броситься — в ледяную или теплую воду? Он не знал ничего, потому что не понимал девушек, предлагающих «быть друзьями».

— Когда это началось у вас? — спросила она тоном врача.

— Всегда! Я думаю, что это было всегда!

— Сегодня день траура, Детрей, и лучше будет, если мы обсудим план наших прогулок, как предполагали вчера.

— Я отказываюсь! Неужели вы не видите, что мне худо,— а я еще ничего не сказал!

— Тогда идите.

Побледнев, Детрей пристально взглянул на нее и, медленно поклонясь, с трудом нашел дверь. Джесси шла за ним и, придержав дверь, которую он хотел покорно закрыть, сказала с порога, в коридор,— уходящему, остановившемуся в мучениях:

— Вы помните, как вы меня несли ночью?

— Да, и если бы...

— Так вот, я точнее вас: отсюда и началось, а у кого? — догадайтесь.

Она закрыла дверь, запрещая этим продолжать разговор, а затем, оставшись одна, вверила себя и свою судьбу человеку, с которым только что так серьезно шутила.

ГЛАВА XXIV

В ноябре о Джесси Тренган было известно ее знакомым лишь, что она вышла замуж за лейтенанта Детрея и живет с мужем в Покете, где нет даже порядочного театра.

Дом Джесси стоял пустым; «Зеленую флейту» она продала одному из поклонников Хариты Мальком, находившему драматическое расхаживание по бывшим комнатам артистки вполне серьезным занятием.

Однако чего ждали от Джесси ее знакомые, тотчас признавшие с довольной миной пророков, что ее судьба и не могла быть другой, как «стать на теневой стороне»? По-видимому, вольные и невольные их ожидания сулили ей в будущем ослепительную феерию. Жена ничем не замечательного человека, не имеющего никакого отношения к славе и блеску, жила между тем без всяких пышных расчетов, обладая достаточным запасом преданности и любви, чтобы из обыкновенной, очень скромной жизни создать необыкновенную, совершенно недоступную большинству.

Как раз в этом отношении нет способов передать сущность жизни мужа и жены так, чтобы сущность эту ощутил слушатель.

Но нам уже приходилось быть непоследовательными. Так как Детрей не только не захотел выйти в отставку, но даже от намеков на это приходил в мрачное настроение, Джесси оставила его жить так, как ему нравилось, и сама стала жить одной с ним жизнью, в доме из пяти комнат, а прислугой ее была одна Герда. Круг их знакомых был прост и не тягостен. Из ограниченного жалованья Детрея, с прибавкой хорошо продуманной лжи в виде тайно потраченных своих денег, Джесси создала комфорт и была искренне поражена своим искусством. Детрей был тронут ее усилиями, но беспокойная, холостая жизнь притупила его восприимчивость, и он больше догадывался, чем знал, что сделанное Джесси — хорошо.

Окончив свои труды по устройству квартиры, Джесси подарила Детрею лошадь,— белую с рыжей гривой, тысячу папирос его любимой марки и ящик рома. Детрей был в восторге два дня.

Тогда она произвела в квартире беспорядок, приказала Герде не мести комнаты, сдвинула стулья, опрокинула статуэтку, на стол положила чайное полотенце и пролила воду возле цветов.

— Вам, наверное, очень неприятен этот хаос? — сказала Джесси Детрею,— но к вечеру все будет прибрано.

— Не думайте, что я очень жесток,— ответил Детрей,— главный порядок в том, что вы со мной.

Наступил вечер, когда Детрей вернулся домой. Джесси встретила его нарядная, с лукавым видом, и провела по всем комнатам.

— Мы с Гердой обломали все ногти,— сказала она,— так мы чистили и скребли. Но уж зато пылинки нигде нет. Я — молодец?

На самом же деле Джесси оставила все, как было утром.

— Дорогая Джесси,— ответил Детрей, оглядываясь с тоской,— неужели необходимо удручать себя? Действительно, все блестит и сияет, но, по моему мнению, с вещами надо обходиться так: дать им несколько дней свободно перемещаться и бунтовать, а потом рассчитываться с ними сразу за все.

— Относится ли это к мытью тарелок?

— Конечно. Надо купить сто тарелок.

— Таинственное существо, мой друг, откройте мне великую тайну: разве мужчины не педанты чистоты и хозяйственности?

— Клевета! — мрачно сказал Детрей.— Мы жертвы этой клеветы в течение уже четырех тысячелетий.

— Хорошо, расскажите же мне о себе!

— Вам будет страшно, но я расскажу. Мы живем двести лет назад. Я и вы. Мы пристали на парусном корабле к берегу Дремучих лесов.

— И Поющих ручьев?

— Да. Я сложил дом из бревен, сам их нарубив. И я сложил очаг из глыб песчаника, а также поймал дикую лошадь и выкорчевал участок.

— Я не знала, что вы можете сказать подряд тридцать пять слов.

— Иногда; когда вы держите меня за руку, как сейчас.

— Но в той лавке древностей — я не держала вас за руки? Я не мешала?

— Нет; конечно нет.

— Что же я делала?

— Я жарил для вас оленей и куропаток.

— Да, но я?!

— Вы сидели в шалаше, пока строился дом, и вам было не велено выходить во время дождя.

— А потом что?

— Мы жили вместе. Мы пекли в очаге картофель, а в реке удили рыбу. И я рассматривал все следы, чтобы вовремя заметить врага.

— А теперь,— сказала Джесси,— я расскажу вам, и вы увидите, что я могу попадать в тон. Она... гм... то есть та, которая всегда была сухой благодаря отличному устройству шалаша... Так вот она ела однажды салат из почек кедра, замешанный на бобровом сале, и у нее заболели зубы.

Детрей хохотал, не замечая, что у Джесси нервно блестят глаза.

— Заболели зубы,— продолжала Джесси, вставая и ходя по комнате с заложенными за спину руками.— Так, заболели. Ай-ай-ай! Вот ужас! И коренной и глазной, сразу,— и надо было ей зубного врача. Попробовали компресс из сырого мяса пятнистой пантеры — не годится. Она скандалит и бегает под дождем. Он, конечно, читает заметки на коре дерева, сделанные когтями гризли, но не находит никаких указаний. И вдруг...

— И вдруг?! — спросил встревоженный Детрей.

— Зуб прошел сам. Не обижайтесь на меня, милый, я вас очень люблю.

Она пошла в спальню и написала Еве Страттон:

«Будь добра, напиши, что ты очень больна».

На ее письмо пришел ответ в виде двух отдельных листков. Первый листок содержал уведомление о тяжкой болезни почек; на втором, которого Детрей не читал, стояла шеренга восклицательных знаков, заканчивающихся словами: «Лучше бы помирились».

Тогда Джесси проверила белье Детрея, крепко расцеловала его и, кивнув из окна вагона, показала пальцем на свой лоб, на сердце и сдунула с ладони воображаемое перо. Поезд уже тронулся, так что, затрудненный этими таинственными знаками, Детрей долго стоял у опустевших рельсов, сказав лишь «Дорогая моя».

Он прожил четыре дня в пустых комнатах, со ставшим очень отчетливым стуком стенных часов, и среди казарм, в зное известковых стен обширных дворов, по которым всегда медленно проходили солдаты.

Утром четвертого дня подробная телеграмма Евы Страттон произвела наконец благодетельную операцию, несмотря на сварливый тон Евы: «Нарушаю чест-

ное слово, предаю вашу жену. Сегодня, в час дня, Джесси подписывает продажу своего дома, добавляет к сумме всю наличность, продает ценные бумаги и покупает двадцать шесть недурных жемчужин, а также билет для возвращения домой. Эти жемчужины вы можете растворить в уксусе вашего самомнения и выпить его за здоровье одного бескорыстного, преданно любящего вас существа, которому, очевидно, все равно, будут у него дети или нет,— лишь бы угодить своему повелителю».

Бесспорно искренний по значению чувства, но неестественный эгоизм Детрея стал вполне ясен ему. Как ни мечтал он быть для жены всем, ее решительные поступки устрашили его. Он не мог хотеть помнить всю жизнь непоправимую вину. Еще красный от хорошего стыда, едкого, как попавший в глаза табачный дым, Детрей послал Гёрду на телеграф с телеграммой такого содержания: «Подал в отставку и жду приезда». Детрей не подозревал, что для него, с его врожденными способностями и наклонностями, эта телеграмма представляет значительную жертву. Но он хотел, чтобы Джесси была спокойна.

Между тем его жена, очень довольная сюрпризом, тайно подготовляемым для Детрея, сидела в рабочей комнате Евы Страттон, ожидая появления нотариуса и покупателя дома, голландца Ван-Гука, директора фабрики граммофонных пластинок. Джесси продавала не торгуясь, за полцены, лишь бы скорей вернуться домой. И ее восхищала мысль, что Детрей, встретив ее, не заметит жемчужины на ее груди; таких и подобных им жемчужин на всем земном шаре считалось не более ста тридцати. Они ждали ее денег в громадном магазине Фланкона, запертые в стальном сейфе. Жемчужины эти, величиной в белую сливу, блестели, как луна. Стоили они, по словам Джесси, сущие пустяки. «Я назову их,— сказала Джесси взбешенной и утомленной Еве,— назову их «все мое несу с собой», а так как слов много, то сокращу, составлю им имя из начальных букв: «ве-ме-не-с». Веменес. Почти как испанское».

— Веменес, тебе телеграмма,— вздохнула Ева, приготовляясь к расплате и передавая телеграмму Джесси.

Джесси прочла ее про себя, глубоко задумалась, изменилась в лице и, сведя брови, стала смотреть на Еву в упор.

— Я прочту вслух,— сказала Джесси.— Слушай: «Подал в отставку и жду приезда». Ева, ты должна понимать, что означают эти слова!

— А мне все равно,— ответила та, стараясь быть бесстыдно веселой, хотя покраснела и выглядела довольно жалко.

— Ты низкая мошенница! — вскричала Джесси, не зная, плакать или смеяться от этой, так нежно и горячо ударившей ее, неожиданности.— На кого же я тогда могу положиться?! Ведь это предательство!

— Ты права. Я беззащитна,— сказала Ева.— Мне сказать нечего. Я молчу.

— О Господи! — вздохнула Джесси, расстроенная равно как смущением подруги, так и ее угловатым вмешательством.— Простить тебя, что ли?! Ты что ему написала?

— Не больше того, что есть. Неужели тебе жаль жемчужин?

— Представь: да!

— Это похоже на тебя.

— Ну, ты не смеешь так говорить!

Но ссоры не произошло, потому что пришел Готорн, с самого начала принимавший деятельное участие в конспирациях Джесси. Узнав, что случилось, он стал наставлять юную женщину именно так, как это хотелось ей услышать.

— Я безусловно сочувствую вашему мужу,— говорил Готорн.— Надо правильно взглянуть на него. Он представляет собой редкое ископаемое,— отпечаток раковины в куске фосфорита,— чистый, твердый человек. Он человек деятельный. Дым его жертвы равен блеску наших неосуществленных жемчужин. Ему просто надо помочь. Мой старый школьный товарищ Гракх Батеридж устраивает конный завод, а так как вы говорили, что ваш муж хорошо знает лошадей и любит их, я считаю, что, при его согласии, место управляющего заводом будет оставлено ему. Этим все и решится.

— Благодарю вас,— сказала Джесси.— Я виновата.

— В чем вы виноваты, дружок?

— Не знаю.— Она вытерла проступившие в глазах слезы.— Чувствую, что виновата. А может быть — нет.

— Наверное, не виноваты ни в чем. Однако я слышу шаги, это идет ваш покупатель с нотариусом.

Голландец был неприятно поражен, когда Джесси, едва ответив его приветствию, поспешно сказала:

— Дом больше не продается. Я его не продаю. Я раздумала.

— Так,— сказал толстый черноволосый человек, садясь и плавно осматривая присутствующих поверх скрывающего нос платка. Посморкавшись, он шумно задышал и взглянул на нотариуса, оживленная улыбка которого приняла официальный оттенок. «Настало время шутить»,— подумал Ван-Гук и сказал:

— «Сердце красавицы — как ветерок полей»?!

— Вы должны меня извинить,— твердо заявила Джесси, уже оправясь,— я сговаривалась серьезно, но обстоятельства, незадолго до вашего появления, изменили мое решение. Что я могу сделать?!

— Цена, предложенная мной, была, сознаюсь, несколько низка.— Ван-Гук стал часто дышать.— Я предлагаю вам высказаться в смысле ваших желаний.

— Она совершенно серьезно отказывается продавать дом,— сдержанно вмешался Готорн.— Дом остается в ее руках.

Голландец, сильно и зло покраснев, пристально всмотрелся в Готорна и неожиданно встал. Слегка качнувшись, что означало сухой общий поклон, Ван-Гук и вместе с ним нотариус вышли, сопровождаемые общим молчанием.

— Он обиделся,— сказала Джесси тихо,— действительно, вышло это не совсем красиво.

— Ничего особенного,— возразил Готорн,— уверяю вас, что этот прожженный делец рассердился не на меня и не на вас, но только на «внезапное обстоятельство». Ван-Гук привык ездить по гладким рельсам. «Неожиданное обстоятельство» для него есть неприличие, срам. Но вас, Джесси, он будет теперь глубоко уважать,— вы оказали неодолимое сопротивление, а он к этому не привык.

Итак, голландец остался без дома, Джесси — без ожерелья, а Детрей — без службы.

На другой день вечером Джесси приехала в Покет. Описание встречи ее с мужем не произвело бы того впечатления, какое могло быть, если бы читатель был очевидцем встречи, и мы оставляем эту возможность нетронутой. Тем подтверждается все более укрепляющееся в Европе мнение, что читатель есть главное лицо в литературе, а писатель — второстепенное. Против такой идеи нечего возразить, она помогает пищеварению.

На лисском кладбище, несколько сторонясь от других могил, стоит высокая мраморная плита, уже обвитая дикими розами, в тени двух деревьев. Она ограждена черной решеткой с позолоченными железными листьями. Кроме имени «Моргиана Тренган», на плите этой нет никакой надписи. Но это имя есть в то же время единственная возможная сентенция.

Вскоре после смерти Моргианы на ее могилу явилась деревенская девушка. Она странно держала голову, как будто движение головой причиняло боль в шее, и положила к плите полевые цветы, помня с горячей благодарностью те десять фунтов, которые получила она от умершей в возмещение удара камнем.

Вот и все; немного — или много? Как кому нравится.

20 апреля 1928 года.
Феодосия

ДОРОГА НИКУДА

ЧАСТЬ I

ГЛАВА I

Лет двадцать назад в Покете существовал небольшой ресторан, такой небольшой, что посетителей обслуживали хозяин и один слуга. Всего было там десять столиков, могущих единовременно питать человек тридцать, но даже половины сего числа никогда не сидело за ними. Между тем помещение отличалось безукоризненной чистотой. Скатерти были так белы, что голубые тени их складок напоминали фарфор, посуда мылась и вытиралась тщательно, ножи и ложки никогда не пахли салом, кушанья, приготовляемые из отличной провизии, по количеству и цене должны были бы обеспечить заведению полчища едоков. Кроме того, на окнах и столах были цветы. Четыре картины в золоченых рамах являли по голубым обоям четыре времени года. Однако уже эти картины намечали некоторую идею, являющуюся, с точки зрения мирного расположения духа, необходимого спокойному пищеварению, бесцельным предательством. Картина, называвшаяся «Весна», изображала осенний лес с грязной дорогой. Картина «Лето» — хижину среди снежных сугробов. «Осень» озадачивала фигурами молодых женщин в венках, танцующих на майском лугу. Четвертая — «Зима» — могла заставить нервного человека задуматься над отношением действительности к сознанию, так как на этой картине был нарисован толстяк, обливающийся по́том в знойный день. Чтобы зритель не перепутал времен года, под каждой картиной стояла

надпись, сделанная черными наклейными буквами, внизу рам.

Кроме картин, более важное обстоятельство объясняло непопулярность этого заведения. У двери, со стороны улицы, висело меню — обыкновенное по виду меню с виньеткой, изображавшей повара в колпаке, обложенного утками и фруктами. Однако человек, вздумавший прочесть этот документ, раз пять протирал очки, если носил их, если же не носил очков,— его глаза от изумления постепенно принимали размеры очковых стекол.

Вот это меню в день начала событий:

Ресторан
«Отвращение»

1. *Суп несъедобный, пересоленный.*
2. *Консоме «Дрянь».*
3. *Бульон «Ужас».*
4. *Камбала «Горе».*
5. *Морской окунь с туберкулезом.*
6. *Ростбиф жесткий, без масла.*
7. *Котлеты из вчерашних остатков.*
8. *Яблочный пудинг, прогоркший.*
9. *Пирожное «Уберите!».*
10. *Крем сливочный, скисший.*
11. *Тартинки с гвоздями.*

Ниже перечисления блюд стоял еще менее ободряющий текст:

«К услугам посетителей неаккуратность, неопрятность, нечестность и грубость».

Хозяина ресторана звали Адам Кишлот. Он был грузен, подвижен, с седыми волосами артиста и дряблым лицом. Левый глаз косил, правый смотрел строго и жалостно.

Открытие заведения сопровождалось некоторым стечением народа. Кишлот сидел за кассой. Только что нанятый слуга стоял в глубине помещения, опустив глаза.

Повар сидел на кухне, и ему было смешно.

Из толпы выделился молчаливый человек с густыми бровями. Нахмурясь, он вошел в ресторан и попросил порцию дождевых червей.

— К сожалению,— сказал Кишлот,— мы не подаем гадов. Обратитесь в аптеку, где можете получить хотя бы пиявок.

— Старый дурак! — сказал человек и ушел.

До вечера никого не было. В шесть часов явились члены санитарного надзора и, пристально вглядываясь в глаза Кишлота, заказали обед. Отличный обед подали им. Повар уважал Кишлота, слуга сиял; Кишлот был небрежен, но возбужден. После обеда один чиновник сказал хозяину:

— Итак, это только реклама?

— Да, — ответил Кишлот. — Мой расчет основан на приятном после неприятного.

Санитары подумали и ушли. Через час после них появился печальный, хорошо одетый толстяк; он сел, поднес к близоруким глазам меню и вскочил.

— Это что? Шутка? — с гневом спросил толстяк, нервно вертя трость.

— Как хотите, — сказал Кишлот. — Обычно мы даем самое лучшее. Невинная хитрость, основанная на чувстве любопытства.

— Нехорошо, — сказал толстяк.

— Но...

— Нет, нет, пожалуйста! Это крайне скверно, возмутительно!

— В таком случае...

— Очень, очень нехорошо, — повторил толстяк и вышел.

В девять часов слуга Кишлота снял передник и, положив его на стойку, потребовал расчет.

— Малодушный! — сказал ему Кишлот.

Слуга не вернулся. Побившись день без прислуги, Кишлот воспользовался предложением повара. Тот знал одного юношу, Тиррея Давенанта, который искал работу. Переговорив с Давенантом, Кишлот заполучил преданного слугу. Хозяин импонировал мальчику. Тиррей восхищался дерзаниями Кишлота. При малом числе посетителей служить в «Отвращении» было нетрудно. Давенант часами сидел за книгой, а Кишлот размышлял, чем привлечь публику.

Повар пил кофе, находил, что все к лучшему, и играл в шашки с кузиной.

Впрочем, у Кишлота был один постоянный клиент. Он, раз зайдя, приходил теперь почти каждый день, — Орт Галеран, человек сорока лет, прямой, сухой, крупно шагающий, с внушительной тростью из черного дерева. Темные баки на его остром лице спускались от висков к подбородку. Высокий лоб, изогнутые губы,

длинный, как повисший флаг, нос и черные презрительные глаза под тонкими бровями обращали внимание женщин. Галеран носил широкополую белую шляпу, серый сюртук и сапоги до колен, а шею повязывал желтым платком. Состояние его платья, всегда тщательно вычищенного, указывало, что он небогат. Уже три дня Галеран приходил с книгой,— при этом курил трубку, табак для которой варил сам, мешая его со сливами и шалфеем. Давенанту нравился Галеран. Заметив любовь мальчика к чтению, Галеран иногда приносил ему книги.

В разговорах с Кишлотом Галеран безжалостно критиковал его манеру рекламы.

— Ваш расчет,— сказал он однажды,— неверен, потому что люди глупо доверчивы. Низкий, даже средний ум, читая ваше меню под сенью вывески «Отвращение», в глубине души верит тому, чтó вы объявляете, как бы вы хорошо ни кормили этого человека. Слова пристают к людям и кушаньям. Невежественный человек просто не захочет затруднять себя размышлениями. Другое дело, если бы вы написали: «Здесь дают лучшие кушанья из самой лучшей провизии за ничтожную цену». Тогда у вас было бы то нормальное число посетителей, какое полагается для такой банальной приманки, и вы могли бы кормить клиентов той самой дрянью, какую объявляете теперь, желая шутить. Вся реклама мира основана на трех принципах: «хорошо, много и даром». Поэтому можно давать скверно, мало и дорого. Были ли у вас какие-нибудь иные опыты?

— Десять лет я пытаюсь разбогатеть,— ответил Кишлот.— Нельзя сказать, чтобы я придумывал плохо. Мне не везет. В моих планах чего-то не хватает.

— Не хватает Кишлотов,— смеясь, сказал Галеран.— Драгоценный фантазер, будь в городе только две тысячи Кишлотов, вы давно уже покачивались бы на рессорах и приказывали жестом руки. Расскажите, в чем вам не повезло.

Кишлот махнул рукой и перечислил свои походы на общественный кошелек.

— Я держал,— сказал он,— булочную, кофейную и зеркальный магазин. Магазин имел вывеску: «Все красивы»,— а в объявлении на окне говорилось, что из десяти женщин, купивших у меня зеркало, девять немедленно находят себе мужа. Вот вам пример рекламы вашего типа! Дело не пошло. Торгуя булками, я объ-

явил, что запекаю в каждую тысячную булку золотую монету. Была давка у дверей по утрам, но произошло так, что в конце недели одна монета оказалась фальшивой, и я познакомился со следственными властями. Кафе «Ручеек» было устроено, как настоящий ручеек: среди цветов, по жестяному руслу тек горячий кофе с сахаром и молоком. Каждый зачерпывал сам. Но все думали, что поутру в это русло сметают пыль. Теперь — «Отвращение». Я рассчитывал, что город взбесится от интереса, а между тем моя торговля вводит меня в убыток.

— Вполне понятно,— сказал Галеран.— Я уже изложил вам свое мнение на этот счет. Тиррей, принеси мне еще стакан кофе.

Давенант принес кофе и увидел, что у ресторана «Отвращение» остановился щегольской экипаж, управляемый кучером, усеянным блестящими пуговицами. Из экипажа вышли две девушки в сопровождении остроносой и остроглазой дамы, имевшей растерянный вид. Кишлот подбежал к двери, отвесив низкий поклон. Галеран задумчиво наблюдал эту сцену, а Давенант смутился, увидев девушек, несомненно принадлежащих к обществу, красивых и смеющихся, одетых в белые костюмы, белые шляпы, белые чулки и туфли, под зонтиками вишневого цвета. Одну из них еще рано было называть девушкой, так как ей было двенадцать лет, вторая же, семнадцатилетняя, никак не могла быть кем-нибудь иным, как девушкой.

Их спутница вскричала:

— Роэна! Элли! Я решительно протестую! Посмотрите на вывеску! Я запрещаю входить сюда.

— Но мы уже вошли,— сказала девочка, которую звали Элли.— На вывеске стоит «Отвращение». Я хочу самого отвратительного!

Пока она говорила, Роэна пожала плечами и, гордо подняв голову, переступила запретный порог.

— Надеюсь, вы не будете применять силу? — спросила она пожилую даму.

— Я запрещаю! — беспомощно повторила гувернантка, тащась за девушками.

Сметливый Кишлот обратился к Элли:

— Если маленькая барышня хочет, чтобы их старшая сестрица пожаловали, она должна ей сказать, что «Отвращение» только для виду, а кушать здесь одно удовольствие.

Гувернантка Урания Тальберг, изумленная словами Кишлота, но ими же и смягченная, так как ей польстило быть хотя на один миг сестрой хорошеньких девушек, возразила:

— Вы ошибаетесь, любезный, так как я наставница этих своевольных детей. Надеюсь, вы не заставите нас приглашать доктора после вашей стряпни?

— Если он и будет приглашен вами,— воскликнул Кишлот,— то лишь затем, чтобы провозгласить чудесный цвет лица трех леди, а также их бесподобный пульс.

— Ну, посмотрим,— снисходительно отозвалась Урания, присаживаясь к столу, где уже сидели Элли и Роэна. Они осматривались, а Давенант смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. Такие создания не могли есть из обыкновенных тарелок, но в ресторане не было золотых блюд.

На его выручку Кишлот бросился подавать сам, мечтая уже, что ресторан «Отвращение» стал модным местом, куда стекаются кареты и автомобили.

— Вот, мы сели,— сказала Урания.— Что же дальше?

— Что это значит?— спросила Роэна, строго указывая на меню, где значилось: «Тартинки с гвоздями».

— Тартинки с гвоздями,— объяснил Кишлот,— это такие тартинки, в которых нет ничего, кроме хлеба, масла, ветчины, икры или варенья. А относительно гвоздей написано для тех, кто — как бы сказать? — любопытен...

— Вроде нас,— перебила Элли.— Действительно, мы любопытны, но нам нисколько не стыдно!

— Элли! — застонала Урания.

— Многоуважаемая Урания Тальберг,— ответила непокорная девочка,— папа сказал, что сегодня мы можем делать решительно все, что хотим. Глупо было бы, если бы мы не воспользовались... Хозяин!

— Я здесь, барышня.

— Свариваются ли гвозди в желудке? И какой они толщины?

— Хозяин шутит,— решил вставить Давенант, чувствовавший себя так хорошо и неловко, что не знал, как приступить к своим обязанностям.

— Но мы тоже шутим,— ответила Элли, внимательно смотря на него.— Нам весело. Значит, ничего

такого не будет? Очень жаль. В таком случае принесите мне молока.

— Чашку молока! — повторили Давенант и Кишлот.

— Чашку кофе и печенье,— заявила Роэна.

— Печенье! кофе! молоко! — закричал Давенант и, бросившись на кухню, чуть не сшиб хозяина, предоставив ему допытываться, не пожелает ли чего-нибудь гувернантка. Он вскочил на кухню и стал трястись от нетерпения над головой повара, который, торопясь, пролил кофе и расплескал молоко. Пока Давенант добывал эту пищу для фей, Кишлот принес сахар, печенье, салфетки и, удостоившись от Урании Тальберг приказания подать стакан холодной воды, явился с ним из-за стойки гордо и строго, дунув на стакан неизвестно зачем и каждому движению придав характер события. Все это очень забавляло девушек, вызывая свет смеха в их лицах и терзая гувернантку, стремившуюся поскорее оставить «вертеп».

Давенант вбежал, таща поднос с кофе и молоком. Заботливо расставил он чашки, опасаясь задеть необыкновенные существа, около которых метался так близко. Он отошел к буфету и стал жадно смотреть.

— Рой,— неосторожно сказала Элли сестре, подмигивая в сторону Галерана, сидевшего неподалеку от девушек,— вот там один из отравившихся пищей дома сего.

— Отравился и умер, и похоронили его,— громко подхватил засмеявшийся Галеран.

— Ах! — вздрогнула гувернантка.

— Элли! — зашипела Роэна.

Девочка, услышав голос осмеянного незнакомца, увела голову в плечи, глаза ее стали круглы и неподвижны. Вцепившись руками в чашку, чтобы не завизжать от хохота, она стиснула колени, скрючив пальцы ног, и, вспотев, пересилила себя.

— Уф-ф! Уф-ф! — едва слышно отдышалась Элли сквозь зубы.

Урания побледнела.

— Довольно! — заявила она, дрожа от негодования.— Какой стыд!

— Извините,— гордо обратилась Роэна к Галерану.— Моя сестра очень несдержанна.

— Эх ты! — горестно прошептала Элли.

— Я рад видеть детей Футроза,— добродушно ответил Галеран.— Я страшно рад, что вам весело. Мне самому стало весело.

— Как, вы нас знаете?! — вскричала Элли.

— Да, я знаю, кто вы. Мое имя вам ничего не скажет: Орт Галеран.

Он встал, поклонясь так непринужденно, хотя сдержанно, что даже чопорная Урания вынуждена была ответить на его приветствие движением головы. Девушки сидели молча. Элли ущипнула себя за руку, а Роэна заинтересованно взглянула на человека, чье простое обращение подчеркнуло, а затем обратило в шутку неловкость девочки.

Давенант с завистью слушал внезапный разговор, печально думая, что он никогда не смог бы подражать Галерану. Каково было его изумление, смятение и восторг, когда Галеран, видя, что посетительницы собираются уходить, обратился к девушкам так неожиданно, что Урания онемела.

— Подарите немного внимания этому молодому человеку, который стоит там, у вазы с яблоками. Его зовут Тиррей Давенант. Он очень способный, хороший мальчик, сирота, сын адвоката. Ваш отец имеет большие связи. Лишь поверхностное усилие с его стороны могло бы дать Давенанту занятие, более отвечающее его качествам, чем работа в кафе.

— Что вы сказали? — крикнул Давенант.— Разве я вас просил?

Кишлот испуганно замахал руками, морщась и качая головой, даже указал пальцем на лоб.

Но было уже поздно. Давенант попал в свет общего внимания, и Элли, страшно довольная скандализованностью гувернантки, смело улыбнулась мальчику, тотчас шепнув сестре:

— Будем, как Аль-Рашид. Почему бы не так?

— Тиррей прав,— согласился, нимало не смущаясь, Галеран,— он меня ни о чем не просил. Эта мысль пришла мне в голову самостоятельно. Я думаю, что после такого моего выступления ваши впечатления приобретут цельность. В самом деле: странное кафе, странные посетители,— странность на странность дает иногда нечто естественное. А что может быть естественнее случайности? И я подумал: дурного ничего нет в моих словах, случай же налицо. Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее, не так ли? Вот

и все. Возьмите на себя роль случая. Право, это неплохо...

— Однако...— нашла наконец силу и дыхание заговорить гувернантка,— я неприятно удивлена. О Боже! Какой ужасный день. Роэна! Элли! Нам совершенно пора идти.

Бессвязно проклокотав шепотом о неприличии сидеть долее за ужасным столом хотя бы еще одну ужасную минуту ужасного дня, Урания Тальберг, встав, строго посмотрела на бессознательно подошедшего Давенанта. Она вновь уселась, найдя совершенно некстати, что этот диковатый юноша с длинными руками довольно мил. Откровенное лицо Давенанта предстало нервной даме во всей беззащитности охвативших его надежд. Искренние серые глаза при полудетской линии рта и правильных чертах были его заступниками. В его привлекательности отсутствовала примитивность подростка: сложный характер и сильные чувства подмечались наблюдательным взглядом, но девушки видели, не разбираясь во всем этом, просто понравившегося им мальчика с встревоженным лицом и красивыми глазами, темноволосого и печального.

— Чего же вы хотите?— сказала Урания Галерану.— Я, право, не знаю... Это так неожиданно. Роэна! Элли!

Сконфуженный Давенант с тяжелым сердцем ожидал разрешения сцены, возникшей по мысли Галерана, которого он теперь проклинал. Всех выручил природный такт Элли, решившей, что шутливый тон будет уместнее всякой торжественности.

— Обожаю неожиданности!— сказала она.— Рой тоже любит неожиданности. Ведь правда, дорогая сестрица? Итак, мы решили в сердце своем: мы — «случайности». А вы — вы почему молчите? Ведь все это о вас!

Давенант, запинаясь, сказал:

— Заговорил не я. Сказал Галеран, чего я ему никогда не прощу.

— Но он угадал?— осведомилась Роэна тоном взрослой дамы.

Давенант ответил не сразу. Он сильно покраснел, выразив беглым движением лица нестерпимое желание удачи.

— Да. Если бы...

То была вырвавшаяся просьба о судьбе и пощаде. Волнение помешало ему сказать еще что-нибудь. Однако сочувственное любопытство девушек уже было на его стороне. Перемигнувшись, они подошли к Давенанту, говоря одна за другой:

— Вы, конечно, понимаете...

— Что ваш друг...

— Что в кафе «Отвращение»...

— С кушаньем «Неожиданность»...

— Произошло движение сердца...

— Мы клянемся вашей галереей: зимним летом и осенней весной...

— Постой, Рой!

— Не перебивай, Элли!

— Я не перебиваю. Мы сегодня делаем, что хотим. Тампико сделает все.

— Сделает все, что мы пожелаем! — воскликнула Элли, сердито смотря на Уранию, стоявшую уже у двери и саркастически поджавшую губы. — Придите завтра к нам. Хорошо? А мы сами скажем отцу. Вы уж с ним самим и поговорите. Якорная улица, дом 9 — это наш дом. Не раньше одиннадцати. Прощайте! — Элли неожиданно подбежала к Галерану, покраснела, но решилась и закончила: — Какой вы чудесный человек! Вы сказали просто, так просто... И так всегда надо говорить. Впрочем, я вам напишу, сейчас я думаю много и бестолково. Куда писать? Сюда? В «Отвращение»? Кому? Неожиданности?

— Элли! — воззвала Урания со стоном и хрипом.

Девочка кивнула ей. Стихнув, она присоединилась к сестре.

Кишлот тяжко вздохнул, почесывая бровь. Галеран загадочно улыбался.

Давенант двинулся к двери, затем оглянулся на хозяина и попятился.

Стало тихо в кафе. Живые голоса смолкли. Выбежав на блеск улицы, девушки раскрыли зонтики и, безмерно гордые своим приключением, уселись на сиденье коляски.

Вожжи поднялись, натянулись, и пунцовые цветы с белыми листьями умчались в ливень света, среди серых грив и беглых лучей. Еще раз в стекле двери блеснул красный оттенок, а затем по пустой улице проехал в обратную сторону огромный фургон, нагруженный ящиками, из которых торчала солома.

ГЛАВА II

Урбан Футроз так любил своих дочерей, что не отказывал им ни в чем; в награду за это ему никогда не приходилось раскаиваться в безмерной уступчивости любым просьбам избалованных девушек. Футроз родился бездельником, хотя его состояние, ум и связи легко могли дать этому здоровому, далеко не вялому человеку положение выдающееся. Однако Футроз не имел естественной склонности ни к какой профессии, и всякая деятельность, от науки до фабрикации мыла, равно представлялась ему не стоящей внимания в сравнении с тем, единственно важным, что — странно сказать — было для него призванием: Футроз безумно любил чтение. Книга заменяла ему друзей, путешествие, работу, спорт, флирт и азарт. Иногда он посещал клуб или юбилейные обеды своих сверстников, выдвинувшихся на каком-либо поприще, но, затворясь в библиотеке, с книгой на коленях, сигарами и вином на столике у покойного кресла, Футроз жил так, как единственно мог и хотел жить: в судьбах, очерченных мыслями и пером авторов.

Его жена, Флавия Футроз, бывшая резкой противоположностью созерцательного супруга, после многолетних попыток вызвать в Футрозе брожение самолюбия, треск тщеславия или хотя бы стыд нормального мужчины, добровольно остающегося ничтожеством, развелась с ним на четвертом году после рождения второй дочери, став женой военного инженера Галля. Она иногда переписывалась с Футрозом и дочерьми, сумев придать новым отношениям приличный тон, но не удержав сердца детей. Девочки еще больше полюбили отца, а когда ему удалось вполне понятно для юных голов доказать им неизбежность такой развязки, не осуждая жену, даже оправдывая ее,— всех трех соединил знак равенства. Девочки открыли, что отец чем-то похож на них, и приютили его в сердце своем. Там занял он уютное, вечное место — наполовину сверстник, наполовину отец.

К такому-то человеку, представляя его сделанным из железа и золота, должен был явиться Тиррей Давенант. Когда девушки уезжали, он еще некоторое время смотрел на дверь даже после того, как стало пусто на мостовой, и опомнился, лишь когда увидел фургон с ящиками.

Вздохнув, Кишлот скептически поджал нижнюю губу, занявшись уборкой посуды, которую Давенант охотно оставил бы немытой, чтобы красовалась она в хрустальном ящике во веки веков.

— Однако вы смелый оригинал,— сказал Кишлот Галерану.— Репутация моего кафе укрепится теперь в светских кругах. Не так, так этак. Не тартинки с гвоздями, так рекомендательная контора.

— Вы не правы именно потому, что правы буквально,— возразил Галеран, набивая трубку.— Но вы не поймете меня.

— Что говорить: я, разумеется, бестолков,— отозвался Кишлот,— а вы человек ученый. Действительно вы знаете их отца?

— Да. Прежний садовник Футроза был мой приятель. Тиррей, не рассердился ли ты?

— Вначале я рассердился,— ответил Давенант, вспыхнув.— Я испугался.

— Чего?

— Не знаю.

— Хорошо. А затем?

— Рад был, конечно, что там говорить! — крикнул Кишлот.— Прожить жизнь слугой тоже несладко, это уж так. Ветрогонки-то забудут сказать отцу.

— Скорей я не был рад,— пояснил Давенант, обращаясь к Галерану.— Но вдруг стало приятно дышать. И больно. Они не ветрогонки,— задумчиво продолжал он, бессознательно удерживая блюдечко Элли, которое Кишлот так же машинально тянул у него из рук.— О! я очень хотел бы всего такого! — вскричал Давенант. Отдав блюдечко, он встрепенулся и смахнул крошки.— Как вы думаете, что теперь может быть?

— Об этом рано говорить,— сказал Галеран.— Завтра увидимся, ты мне расскажешь, как ты ходил туда и что там произошло. Я должен идти.

— Почему вы так добры ко мне?

— На такие вопросы я не отвечаю. Сам не могу устроить твою судьбу, а случай был соблазнителен.

Галеран ушел, и Давенант вскоре после того опять начал обслуживать посетителей или отваживать любопытных, заходящих подпустить колкость, чтобы затем выйти, пожимая плечами. Когда Кишлот запер кафе, было уже девять часов вечера. Подметая залу, мальчик увидел забытую Галераном книгу и взял ее к себе, в свою каморку за кухней. Ввиду важности ожидающе-

го Давенанта события — идти завтра к Урбану Футрозу — Кишлот разрешил юноше отсутствовать три часа — от десяти утра до часу дня — и надавал ему столько советов, как держаться, говорить, войти, уйти и так далее, что Давенант просто ему не поверил. Кишлот нарисовал двойной образец — унижения и дерзкого вызова, сам не замечая, что перепутал принципы кафе «Отвращение» с приемами слезливых нищих. Давенант был рад, когда отделался от него. Не скоро он заснул, то начиная читать в книге о дьявольском игроке Мофи, который видел в зрачках противника отражение его карт, то продолжая носить стаканы с молоком на заветный стол, где сидели дети Футроза. Из них двух стало четыре, а потом больше, и он был в плену этих прекрасных лиц, милостиво дозволяющих ему слушать свою болтовню. Сон пожалел его наконец. Давенант спал, видя во сне замки и облака, и, встав утром, начал волноваться, едва протерши глаза.

У него был старенький синий костюм, купленный за гроши на деньги первого жалованья, и соломенная шляпа с порыжевшей лентой.

Он подровнял ножницами бахрому воротничка, начистил, как медь, башмаки и, поскорее хлебнув кофе, сумрачно выслушал последние наставления Кишлота, желавшего, чтобы Давенант, как бы случайно, сказал Футрозу, что «Отвращение» есть, в сущности, «Приятное разочарование» — небезынтересное для любознательных джентльменов, изучающих нравы города.

Давенант страшно жалел, что нет Галерана, который являлся не раньше полудня,— видеть этого человека теперь было для него равно дружескому напутствию.

Еще ничего не случилось, но кафе «Отвращение» с его посвистывающими стенными часами и полом, бывшим ниже улицы на три ступени, уже томило Давенанта, как скучное воспоминание. Повар начал допытываться, куда это идет слуга, одевшись, как в праздник, вместо полотняной куртки и тикового передника. Давенант скрыл от него истину, так как повар имел насмешливый ум. Он объяснил, что Кишлот будто бы дал ему поручение. Усомнясь, повар раздраженно передвинул кастрюлю и сказал:

— Тоже... с секретами.

Как ни подталкивал Давенант взглядом стрелки часов, ему хватило времени сделать свою обычную утреннюю работу: протереть окна, развесить бумажки

для мух, написать меню, и лишь после того, с неохотой, уступившей явной необходимости, часы пробили десять. Меж тем его жажда событий теряла свою ревнивую чистоту от разных замечаний Кишлота: «Хотя ты и нацепил галстук, однако поворачивайся проворнее», или: «Где твои глаза? Не упали ли они в молоко для девочек?..» Случайно его не было за стойкой, когда Давенант складывал ножи и вилки на обычное место буфета. Схватив шляпу, юноша отправился быстрым шагом и начал бродить по городу, медленно и неуклонно приближаясь к Якорной улице. Не было еще одиннадцати часов, но он уже разыскал дом Футроза — старинное здание из серого камня, с большими окнами и входом посредине фасада. Набравшись решимости, Давенант приблизился к огромной двери. На его робкий звонок явилась строгая пожилая горничная, с чем-то таким в лице, что делало ее частью этой волнующей Давенанта семьи. Неловко прошел он за горничной в гостиную. Пытаясь объяснить причину своего посещения, Давенант сказал:

— Вчера мне назначили... Какое-то дело...

Но горничная перебила его:

— Я уже знаю это, вас ждут. Садитесь и обождите. Я передам.

Давенант уселся на стул. Прежде всего он начал вслушиваться, не звучит ли где-нибудь женский смех. Ничего такого не слыша, предоставленный самому себе, он с любопытством осмотрелся и даже вздохнул от удовольствия: гостиная была заманчива, как рисунок к сказке. Ее стены, обтянутые желто-красным шелком турецкого узора, мозаики и небольшие картины развлекали самое натянутое внимание. Ковер цвета настурций, с фигурами прыгающих золотых кошек, люстра зеленого хрусталя, подвешенная к центру лепной розетки цвета старого золота, бархатные портьеры, мебель красного дерева, обитая розовым тисненым атласом, так сильно понравились Давенанту, что его робость исчезла. Обстановка согрела и оживила его. Великолепные растения с блестящими тяжелыми листьями стояли в фаянсовых вазах против трех больших окон. Рисунок ваз изображал летучих мышей над сумеречными холмами. Стеклянная дверь, ведущая на террасу, была раскрыта; за ней блестели небо и сад. Маятник каминных часов мерно касался невидимой однотонной струны низкого тембра.

Давенант засмотрелся на отрадную пестроту гостиной, не слыша, как вошел Футроз. Он вскочил, лишь когда увидел владельца дома перед собой. Но не колоссальный денежный туз с замораживающими роговыми очками стоял перед ним, а человек весьма успокоительной наружности — невысокий, худой; его черные волосы спускались бакенами до средины щек, придавая одутловатому бритому лицу с большим ртом и желтым оттенком кожи характерную остроту. Улыбка Футроза открывала перламутровой чистоты зубы; при этом на его щеках появлялись заразительно веселые ямочки, родственные ямочкам Элли. В его черных глазах мелькала искра иронии. Когда Футроз говорил, эта искра разгоралась и освещала все лицо, отчего взгляд менялся, становясь добродушно-серьезным. Отрывистый голос заканчивал этот облик, за исключением не упомянутого нами серого костюма и манеры дергать иногда левой рукой пуговицу жилета.

Усадив Давенанта против себя, Футроз сказал:

— Посмотрим, нельзя ли сделать для вас что-либо полезное. Девочки мне все рассказали, и я готов поддержать их желание устроить вашу судьбу. Вы не стесняйтесь меня. Ваш хозяин, как я слышал, — занятный оригинал. Расскажите мне о своей жизни!

Его простая манера выказывала несомненное расположение, и Давенант избавился от беспокойства, навеянного советами Кишлота. Но только он начал говорить, как в гостиную вошло существо о двух головах: Роэна обнимала сестру сзади, установясь подбородком в волосы Элли. Заметив Давенанта, девушки остановились и, задумчиво кивая ему, вышли, пятясь, в том же нераздельном положении тесного объятия. Дверь прикрылась. За ней раздались возня и откровенный взрыв хохота.

Встретив и проводив дочерей укоризненным взглядом, Футроз сказал просиявшему Давенанту:

— Вы начали говорить. Выкладывайте свою биографию, после чего займемся обсуждением наших возможностей.

— Видите ли, — сказал Давенант, невольно посматривая на дверь, — самое интересное для меня то, что мой отец исчез без вести одиннадцать лет назад. Так и осталось неизвестным, куда он девался, — жив он или умер. Мне было тогда пять лет, и я помню, как моя

мать плакала. Он вышел вечером, сказав, что направляется к одному клиенту — получить долг. Больше его никто не видел, и никто никогда не мог узнать о его участи, несмотря на всякие справки.

— Следовательно,— заметил Футроз, после приличествующего молчания,— ваш отец не заходил к клиенту, иначе был бы некоторый материал для решения таинственного вопроса.

— Да! И еще более, тот человек отсутствовал,— он уезжал в Сан-Риоль. Никак не мог он быть у него.

— Действительно!

— Когда я вырос,— продолжал Давенант, вздохнув,— многое мне приходило на ум. Я старался понять и читал книги о различных исчезновениях. Но только один раз что-то похожее на мои мысли представилось мне, очень странное.

— Мне интересно знать, рассказывайте.

— Это было так: я чистил башмаки, кто-то прошел за окном, и я вспомнил отца. Мне представился ночной дождь, ветер, а отец, будто бы размышляя, как достать денег, задумался и очутился в гавани — далеко, около нефтяных цистерн. Он стоял, смотрел на огни, на воду, и вдруг все огни погасли. Почему погасли? Неизвестно: так я подумал. Стало тихо. Дунет ветер, плеснет вода... И он услышал, знаете... стук барабана: солдаты вышли из переулка и прошли мимо него: «Раз-два... раз-два...»,— а впереди шел барабанщик с темным лицом. Барабан гремел в ночной тьме, но нигде не было огней. Все спали или притаились... Конечно, дико! Я знаю! — вскричал Давенант, торопясь досказать.— Но барабан бил. Вдруг мой отец очнулся. Он пошел прочь и видит — это не та улица. Идет дальше — это не тот город, а какой-то другой. Он испугался, а потом заболел и умер... В больнице, должно быть,— прибавил Давенант, с облегчением видя, что Футроз слушает его без насмешки.— Но он жив... Я иногда чувствую это. Большей частью я знаю, что он умер.

Сведя так удачно воображение с здравым смыслом, Давенант умолк.

Футроз спросил:

— Как это у вас получилось?

— Не знаю. Но стало представляться одно за другим. Я сам удивлялся.

— Вы фантазер,— заметил Футроз, задумчиво рассматривая Давенанта.— Одиннадцать лет — большой срок. Оставим это пока.

Давенант рассказал свою жизнь, но умолчал о том, что его отец адвокат Франк Давенант был горький пьяница и несчастливый игрок; сын стыдился говорить худо об отце, которого едва помнил. Болезненная мать Давенанта шесть лет билась с нуждой, брошенная родственниками на произвол судьбы, в отместку за то, что пренебрегла выгодной партией ради бедного юриста. Ей так и не удалось узнать, как кончает она свои дни: покинутой женщиной или вдовой. Не умевшая раньше ничего делать, Корнелия Давенант выучилась вязать чулки, мастерить шляпы, клеить рамки и коробки из раковин, иногда торговала цветами. Жизнь она провела в бедности, умерла в нищете, а Тиррея на одиннадцатом году его жизни взял к себе парусный мастер Кид, бездетный сосед Корнелии. К тому времени, как Тиррей окончил городскую школу, Кид и его жена уехали в Лисс, где мастер получил место начальника мастерской у крупного судовладельца. Давенанта Кид оставил в Покете, так как немолодая жена его неожиданно сделалась матерью, и чужой, да еще взрослый ребенок начал ей мешать. Уезжая, Киды отдали Тиррея работать харчевнику, имевшему несколько развозных тележек с горячей пищей, а затем Давенант был уступлен своим хозяином Кишлоту.

Футроз, выслушав, проникся сочувствием к юноше, ожидающему решения влиятельного человека с достоинством и застенчивостью младшего, но не ищущего.

— Вчера в вашем «Отвращении» был некто Галеран,— начал Футроз.— В сущности, это он натравил девочек на вас. Кто такой Галеран?

— Видите ли,— ответил, все еще посматривая на дверь, Давенант,— это человек очень хороший, и он часто по-дружески разговаривает со мной, однако ничего мне о нем неизвестно. Не знает этого даже Кишлот. Галеран приносит мне книги. Вообще он мне нравится.

— Разумеется, это вполне объясняет Галерана. Оставим его. Так чем привлекает вас жизнь? Что хотели бы вы ей дать и, само собой, также взять от нее?

— Я взял бы от нее все, да, как говорится,— руки коротки. Но... ведь вы знаете больше, чем я.

— А потому должен знать, чего вы хотите!!! Ну, нет, дудки, молодой человек! Подумайте и скажите.

— В таком случае я сознаюсь вам, что меня привлекают путешествия. Я хочу больших путешествий, связанных с каким-нибудь увлекательным делом. Но что я говорю! — воскликнул Давенант.— Верно: это мое заветное желание, и оно неисполнимо, но вы хотели, чтобы я говорил откровенно.

— Послушайте, милый мой,— сказал Футроз, прозревая в собеседнике пылкое сердце и горячую голову,— только то и хорошо, что вы откровенный. Вот на чем окончим мы нашу беседу: вы возвратитесь к Кишлоту, а к нам будете приходить по воскресеньям. Кроме того, вы явитесь для делового разговора послезавтра, в те же часы.

— Что вы надумали для меня? — спросил Давенант с высоты облаков, куда загнал его твердый, теплый тон Футроза.

— Законный вопрос. Так вот: у меня есть знакомый в Географическом институте. Несколько экспедиций намечено в этом году,— экспедиций небезопасных и долгих. Вам найдется там вспомогательная работа.

— Это верно! — воскликнул Давенант.— Я буду переносить инструменты или разбивать палатки. Однако,— добавил он великодушно,— я очень прошу вас: если вы встретите затруднения,— не хлопочите тогда.

— Ах так?! Хорошо.

— Но это не в таком смысле, что...— запутался опешивший Давенант,— а в другом... Мне совестно.

— Хорошо.— Футроз задумался, быстро проворчав сам себе: — Отдам его Старкеру. Пусть пишет под диктовку дневник.

— Как вы сказали? — не расслышал Давенант, думая, что Футроз спрашивает его.

— Я сказал,— шутливо оборвал Футроз деловой разговор,— что я возьму вас пинцетом за крылышки и пущу бегать по глобусу.

Чувствуя серьезность обещания, Давенант глубоко вздохнул, а Футроз позвонил и велел горничной передать девушкам, что он хочет их видеть.

— Вы будете нас посещать,— сказал он Давенанту, хлопая его по плечу,— и вам надо их старательно разглядеть, чтобы потом знать, с какой стороны получите удар. Это — хорошие, но очень коварные дети.

Девушки вошли и чинно кивнули смутившемуся Тиррею.

— Серьезный разговор кончен,— сказал им отец,— а теперь Давенант — наш гость. Боюсь, что он деликатнее вас, а потому не сумеет вас осадить. Помните, что он беззащитен, и не пугайте его. Мы его понемногу перевернем. Роэна, я могу быть спокоен?

— О да, папа! — грустно сказала Рой, опуская глаза.— Ты можешь быть совершенно спокоен. Так спокоен, как тихая вода горных озер.

— Как энциклопедия на древнеегипетском языке,— успокоила отца Элли, печально гладя рукав.

Футроз с сомнением взглянул на них и вышел.

Язвительницы немедленно подошли к Давенанту и сели против него.

Элли томно сказала:

— Какая чудесная погода!

— О да! — ласково улыбнулась Рой краснеющему Давенанту.— Но кажется, барометр падает. Скажите, пожалуйста, какого типа автомобили вам нравятся?

— Вы любите музыку? — спросила Элли, кусая губы.— Какой ваш любимый композитор?

Продолжая дурачиться, они заметили, что Давенант удручен, и рассмеялись.

— Вы на нас не сердитесь,— сказала Рой.— Сегодня мы почему-то никак не можем остановиться. Нравится вам у нас?

— Да,— сказал Давенант,— вы угадали.

— А мы? — нагло спросила Элли, подскакивая на стуле.

— Мы постараемся вам понравиться,— скромно пообещала Роэна.— Вы будете приходить часто. Хорошо?

— Очень хорошо,— ответил Давенант,— это лучше всего.— Подумав, он добавил: — Я, может быть, кажусь вам очень серьезным, но это обманчиво. Так я не очень серьезен.

— Я вижу, что у нас найдется общая почва.— Элли подмигнула сестре.— Я тебе говорила.

— Что говорила?

Они обменялись таинственными знаками и несколько успокоились.

— Хотите, мы вам сыграем? — предложила Элли.

— Конечно! — вскричал Давенант. Улыбка не покидала его.

Возник спор, кому первой играть. Кончился он тем, что Роэна села к роялю, а Элли встала с ней рядом — переворачивать листы нот.

— Слушайте «Вальс изгнанника»,— говорила Роэна в то время, как ее еще не сильные пальцы нажимали клавиатуру.— Я основательно не усвоила его пока. Это место путается дней пять. Но ты, Роэна, упорное существо... Слышите, как соврала? И вот, теперь изгнанник возвращается к домашнему очагу.

— Он стоит у окна темный, как негр в полночь, а там,— Элли закатила глаза,— его дочь, в цветах и бриллиантах, приехала из церкви... Сказать ли? С довольно недурным субъектом.

— И...— подхватила Рой, приказывая взглядом перевернуть лист.— Элли, зачем дергаешь ноты?.. и изгнанник, не желая мешать счастью дочери, целует оконное стекло. Все кончено. Он вернулся в свой дикий лес.

Давенант слышал не вальс, а небесный хор. Руки Роэны, вытягиваясь при сильных аккордах, как бы отталкивали рояль, или, мягко опустив локти, она склонялась над клавишами, быстро перебирая их, разгоревшаяся, охваченная светом мелодии.

С нее Давенант перевел взгляд на Элли. Девочка рассеянно улыбалась ему, тихо подпевая игре сестры. Теперь они были очень похожи.

Роэна окончила звуками, напоминающими медленный бой часов, и встала.

— Вот и все,— сказала она.— Хотите еще?

Давенант не успел ответить, так как вошел Футроз с конвертом в руке.

— Давенант, увидите ли вы Галерана? — спросил Футроз, обняв прижавшуюся к нему Элли.

— Да, я думаю, да,— ответил Давенант, не понимая, что означает этот вопрос.— Галеран приходит в... обедать каждый день.

— В «Отвращение»,— вставила Элли.— Ох! Я обещала ему написать.

— Помолчи. Передайте это письмо Галерану, а затем, как мы условились. Надеюсь, я увижу вас послезавтра.

— Загадка! — вскричала Рой.

— Галеран влопался,— кратко сообщила Элли, повертываясь на одной ноге.

— Хорошо, письмо будет передано,— сказал Давенант, пряча пакет.

— Тампико, мы пошли,— объявила Элли.— Прощайте, Давенант! Передайте письмо!

— Передайте его из рук в руки, за углом, чтобы никто не видел,— посоветовала Рой.

Футроз повернулся к ним, скрестив руки и двинув бровью так внушительно, что девушки смутились и вышли. Давенант увидел два носика, просунутые в щель двери, затем Рой сказала: «Идем!» — и дверь плотно закрылась.

Футроз отпустил Давенанта, почти жалея, что этот большой мальчик не его сын.

Выпущенный на улицу почтительной горничной, стесняясь ее, стен, двери, самого себя, Давенант пустился идти так быстро, что задохнулся. Ломая голову над неожиданным письмом Галерану, твердя «Географический институт», «изгнанник целует стекло», слыша мотив и созерцая два носика в дверной щели, Давенант явился к Кишлоту с таким странным лицом, что тот спросил:

— Выставили?

— Нет, не выставили,— рассеянно ответил наш герой, оглядываясь.— А где Галеран?

— Он тут, если ты на него смотришь,— сказал Галеран в пяти шагах от Давенанта, именно к нему и обратившегося со своим лунатическим вопросом.

Давенант вздрогнул.

— Ах, это вы! Странно — я не заметил, где вы сидите. Вот письмо. Вам письмо.

Кишлот только что принес тарелку супа для Галерана. Тот отложил ложку и стал рассматривать конверт.

— Сам Футроз написал его,— пояснил Давенант.

В течение нескольких минут остальные посетители «Отвращения» — старая женщина и толстомордый приказчик из мясной лавки — тщетно требовали: женщина — соль, а приказчик — печеное яблоко. Кишлот разинул рот еще шире, чем Давенант. Кишлот издали рассматривал письмо, а Давенант стоял вблизи Галерана. Наконец, опомнясь, он ушел заменить синий пиджак белой рабочей курткой и, едва сделав это, выскочил смотреть, как распечатывается загадочное письмо.

Галеран с замкнутым лицом вскрыл конверт и запустил в него два пальца. Подавив улыбку, он осторожно извлек визитную карточку, мелко исписанную, и, держа ее перед собой в левой руке, приблизил к губам

ложку с супом. Ложка почти касалась его губ, но он, слив суп обратно в тарелку, оставил ложку и, держа теперь письмо обеими руками, начал читать с крайне серьезным видом, заложив ногу за ногу. Что-то большое, важное засветилось в его прищуренном взгляде. Галеран спрятал письмо и рассеянно съел суп, после чего заказал мороженое.

— Разве вы не будете есть дичь? — удивился Кишлот, взглядывая из-за своей стойки на Галерана, который даже закурил почему-то перед мороженым.— «Куропатка с ревматизмом»,— как значится сегодня в меню... Хе-хе! Должно быть, важное это письмо, от старых знакомых... Давенант, принеси «мороженое с ангиной»!

Надеясь, что Галеран заговорит о письме, Тиррей окаменел в дверях, подняв ногу и повернув ухо.

— Не буду есть даже «павлина с аппендицитом»,— сказал Галеран,— не буду есть даже мороженое. Я раздумал, так как лишился аппетита из-за чрезвычайных новостей. Во-первых, овцы подорожали, а во-вторых, прибыла партия кайенского перца, который продается с аукциона.

— Так не надо мороженого? — спросил Давенант, стащив старухе третью солонку.

Старуха так обиделась, что топнула ногой. Галеран встал, подозвав мальчика движением головы.

— Сознаешь ты, что отчасти обязан мне? В деле с Футрозом?

— Конечно. Вы первый начали.

— Тогда ты должен зайти сегодня вечером, в десять часов, на Северную улицу, номер 24, квартира 33. Это мой адрес. Я буду тебя ждать. Ты придешь и расскажешь, как тебя встретили.

— Футроз сказал, что сделает все. Понимаете? Я не шучу. Я приду к вам,— быстро говорил Давенант, извиваясь всеми нервами от любопытства к письму.— Но... что он вам написал? Уж вы простите меня.

— Я мог бы не отвечать, видя твою деликатность, но я тебя понимаю. Футроз просит меня, со всей вежливостью, конечно, чтобы я не присылал ему больше очень любопытных «Тирреев», шестнадцати лет.

— Я не мальчик,— сказал Давенант, вспыхнув.— Но я сошел с ума, вот что. Забудьте мою настойчивость...

Галеран ушел, а Давенант приступил к обычной работе. Относительно письма он думал, что Футроз

переслал Галерану записку Элли о ее мыслях, как она обещала. Кишлот сумрачно посвистывал, роняя изречения вроде: «Чего не бывает в жизни!», «Не каждому так везет!», а вечером подвыпил и заявил, что в его жизни тоже был один случай, но он не воспользовался им, так как очень горд и презирает людей, живущих в особняках.

— Вот если ты сам достигнешь всего — это другое дело,— говорил Кишлот,— это не то что хвататься за чужой хвост.

Ворчание старика Давенант оставил без внимания и, рассеянно соглашаясь с ним, дождался наконец часа закрытия кафе. Вскоре после того он направился к дому, где жил Галеран. Это был старый дом в три этажа, стоявший на углу песчаного пустыря плохо освещенной окраины. Не все окна дома были озарены изнутри, на грязных лестницах приходилось рассматривать ступени, а иногда зажигать спичку. Давенант взобрался на третий этаж по второй лестнице и разыскал номер квартиры. Человек с миниатюрным лицом, провалившимся в огромную бороду, провел Давенанта к помещению в конце широкого коридора, где смутно белела прибитая кнопкой визитная карточка. Услышав шаги, Галеран вышел и пропустил мальчика, а дверь запер крючком.

— Я всегда запираюсь,— сказал Галеран,— потому что жильцы имеют привычку вваливаться не стуча. Тебе открыл горький пьяница, бывший студент.

Большая комната Галерана была освещена газовым рожком и скудно обставлена простой мебелью, состоявшей из двух столов — на одном провизия и посуда, другой с книгами и чернильницей,— трех стульев, кровати за ширмой и марлевых занавесок двух окон. На известковых стенах висели две старые гравюры под стеклом, копии Мейссонье. Эта бедность, подчеркнутая чистотой помещения и полной достоинства приветливостью, с какой Галеран усадил гостя, тронула Давенанта; впервые пожалел он, что не богат и не может прислать Галерану восточный ковер.

— Вы очень меня заинтересовали,— сказал мальчик,— я все ждал, когда наступит вечер. Но я все равно страшно хотел прийти к вам.

— Отлично. Тем более что я тебя сейчас поведу.

— Да. То есть — куда?

— Мы условились, что ты не будешь ни о чем спрашивать. Я тебя поведу, и ты увидишь.

— Замечательно интересно! — вскричал Давенант, ожидая чудес и снова трепеща, как утром в доме Футроза.— Я согласен. Что же я увижу?

— А! Не стоит с тобой разговаривать! Принимай условие без вопросов и рассуждений. Нам предстоит приключение.

— В таком случае я готов,— заявил Давенант, вскакивая.— Но у меня нет оружия.

— Нам не понадобится оружие. Если хочешь, вооружись терпением.

Галеран надел шляпу и взял трость. Давенант не мог ничего прочесть в его невозмутимом лице. Завернув газовый рожок, Галеран сказал: «Идем»,— пропустил мальчика и запер дверь. При выходе встретился им человек с бородой, которому Галеран внушительно заявил:

— Симпсон, замок я устроил так, что защелку не отодвинуть теперь концом ножа, а потому не трудитесь осматривать мою комнату. Кстати, сегодня там нет ни портвейна, ни водки.

— Хорошо,— басом ответил Симпсон.— Впрочем, что я говорю! Вы незаслуженно оскорбили меня!

— Только предупредил. Завтра, может быть, будет водка, так я вам дам сам.

Не слушая, что кричит вдогонку Симпсон, Галеран вышел из дома и привел Тиррея на освещенную улицу, где они взяли извозчика, которому Галеран назвал адрес, неизвестный Давенанту. Забавляясь волнением и недоумением Тиррея, умолкшего от неожиданности и сидевшего, погрузясь в тщетные догадки, Галеран обстоятельно рассказал о Симпсоне — как он застал его в своей комнате за кражей вина,— похвалил новый дом с красивым фасадом и указал кинематограф, где был недавно пожар. Разочарованный Давенант обиженно слушал, догадываясь, что Галеран забавляется нетерпением жертвы своих тайн, и выискивал среди его слов намеки на предстоящее.

— Хочешь, я тебе расскажу анекдот? — спросил Галеран.

Однако извозчик остановился у одноэтажного дома, и анекдот никогда не был рассказан.

— Немного поздно,— сказал Галеран старухе-немке, открывшей дверь и встретившей посетителей бесчисленными кивками.— Мой юный друг горит нетерпением осмотреть комнату.

Давенант дернул его за рукав, но Галеран взял мальчика за локоть и подтолкнул.

— Иди же,— сказал он.— Я говорю правду. Футроз просил меня найти тебе комнату. Ты будешь здесь жить.

— Его письмо! — вскричал Давенант.— Так это он вам писал?

— Да; еще кое-что.

— Заботятся о молодом человеке, хлопочут,— осторожно произнесла старуха как бы про себя, но с явной целью завязать разговор.— Пожалуйте, пожалуйте, там вам все приготовлено, останетесь довольны.

— Значит, сегодня мне не уснуть! — объявил Давенант, входя за Галераном в комнату с зелеными обоями и глубокой нишей, где помещалась кровать. Он увидел качалку, письменный стол, стулья с кожаными сиденьями, шкаф, занавески из машинных кружев.

Хозяйка не вошла в комнату, но стала у порога, и Галеран без церемонии закрыл дверь.

— Сегодня тебе нет смысла перебираться,— сказал Галеран,— так как уже поздно, да и Кишлот, пожалуй, обидится. Он по-своему привязан к тебе. Впрочем, как хочешь. Так слушай: эта комната оплачена вперед за три месяца с полным содержанием: завтрак, обед, ужин и два раза кофе. Хорошее приключение?

— Чем я отплачу Футрозу и вам?

— Ты отплатишь Футрозу тем, что вежливо примешь эти дары, врученные тебе добровольно, с хорошими чувствами. Как ты сам понимаешь, у него нет причины заискивать перед Давенантом. Что касается меня, то моя роль случайна — я только согласился исполнить просьбу Футроза. Открой шкаф!

Давенант повиновался. В шкафу висела одежда. Внизу лежала груда белья.

— Ты видишь,— продолжал Галеран тоном ботаника, объясняющего разрез цветка,— ты видишь здесь части нового костюма, состоящего из серых брюк, жилета и пиджака,— это довольно дорогое сукно. Рядом висят части белого костюма и четыре галстука различных оттенков. Две шляпы — соломенная и фетровая. Шляпы необходимо примерить.

Галеран взял мягкую шляпу и водрузил ее на голову Давенанта.

— Очень хорошо. Я снял мерки твоего платья при помощи повара, который поклялся молчать благодаря

ощущению в ладони приятного металлического холодка. Надеюсь, он молчал?

— Ничего он мне не сказал.

— То-то. Было бы неестественно, если бы ты не ущипнул все эти прелести, а, Давенант? Прикоснуться необходимо.

Давенант бессмысленно подержался за брюки, уронил галстук и закрыл шкаф.

— Лучше не смотреть пока,— сказал он.— Я должен привыкнуть. Вы не можете догадаться, почему Футроз дал мне так много всего?

— Представь — могу. Футроз такой человек, что если делает, то делает основательно, до конца, или не делает ничего. Доброта добротой, но эта черта характера весьма показательна, так что если он невзлюбит тебя, то не менее основательно забудет о твоем существовании. Это человек серьезной игры. Твой хозяин — старый счетовод Губерман, его жена — Эмма Губерман, которая открыла дверь,— дьявольски любопытна, поэтому не говори ничего о доме Футроза. Если показать красивую вещь людям, не понимающим красоты,— ее непременно засидят мухи мыслишек и вороны злорадства. Понял меня?

— А вот что! — вскричал Давенант.— Уж как вы хотите, но я вас должен поцеловать.

Прежде чем Галеран успел защититься, Давенант охватил руками его мрачную голову и крепко поцеловал.

— Бойся несчастий,— внушительно сказал Галеран, беря мальчика за плечо,— ты очень страстен во всем, сердце твое слишком открыто, и впечатления сильно поражают тебя. Будь сдержаннее, если не хочешь сгореть. Одиночество — вот проклятая вещь, Тиррей! Вот что может погубить человека. Мы пойдем.

Эмма Губерман выпустила мужчин, вздыхая и припевая им в спину об «ангелах на земле».

— Шестьдесят лет живу,— прибавила она неожиданно брюзгливой скороговоркой, уже без пения и умиления,— а такого случая не бывало. Все понимаю, все. Очень хорошо, будьте спокойны.

На улице Давенант спросил:

— Куда вы направляетесь, позвольте узнать?

— Думаю, что немного выпью,— сказал Галеран, пересчитывая карманную мелочь.— Ах да! От денег, которые Футроз приложил к письму, осталось вот...

Сколько тут? — Он передал мальчику три золотые монеты и серебро. — Ну, ступай...

Он сел в трамвай, а Давенант явился к Кишлоту, чтобы, забрав вещи, немедленно перебраться в новое помещение. Кишлот жил без прислуги. Взяв свечу, он открыл дверь сам.

— Слушайте, вы будете сейчас очень удивлены, — сказал Давенант, остановясь на пороге. — Вы знаете ли, где я живу?

— Я стар для загадок. Или входи, или говори, что случилось.

— Галеран нанял мне комнату, — объявил Давенант. — Честное слово. Я там сейчас был. На деньги Футроза. Футроз прислал деньги в письме, а я ничего не знал.

— Врешь! — сказал Кишлот, поднося свечу к подбородку Давенанта.

— Я хотел идти туда завтра, но мне не терпится, — продолжал Давенант, машинально обрывая пальцами свечной нагар. — Уж вы меня простите. Здесь мне теперь не уснуть. Сказать ли вам еще, что пропасть всякой одежды висит там в шкафу, и все для меня?!

— Я думал, что ты врешь. Значит, посыпалось на тебя. Бывает такое, — сказал пораженный Кишлот. — С этим уж ничего не поделаешь, — в раздумье прибавил он тоном странного утешения.

— За что же это, как вы думаете?

— Ни за что. Понравился, как котенок. Без мерки он купил?

— Что без мерки?

— Галеран — фраки и смокинги?

— Это просто костюмы. Я их даже не примерял.

Кишлот повел Давенанта к себе наверх, вытащил из шкафа вино и стал ходить по комнате, прижимая бутылку к спине.

— Да! — воскликнул он после молчания и вздохов. — Ты взлетишь высоко, должно быть. Но мое последнее слово тоже еще не сказано. Я нападу на золотые россыпи, говорю тебе! Рано или поздно! Будет такая верная идея, она придет. Хвати стакан вина, садись, рассказывай, черт возьми!

Наспех передав ему все существенное своей истории, Давенант выпил вина и загремел вниз по лестнице. Бросив в сундучок несложную поклажу свою, он взвалил сундучок на плечо и попрощался с Кишлотом,

который, видя его состояние, не пускался более в разговоры, а порылся в карманах и отдал ему жалованье.

— Окончательно разбогател Давенант,— сказал Кишлот, всучивая бывшему слуге горсть серебра.— За четырнадцать дней! Проваливай!

Выпроводив счастливца, он запер дверь, крикнув:

— Заходи пообедать!

ГЛАВА III

Хотя Давенант страшно торопился, однако прибыл к Эмме Губерман уже в полночь, и старуха открыла жильцу дверь без неудовольствия: она получила за комнату хорошие деньги. Старуха даже принесла Давенанту наскоро состряпанную яичницу, которую поспешно съев он занялся рассматриванием своих богатств: примерил серый костюм; нигде не жало, жилет не теснил грудь. В зеркале отразился некто изящный, чужой, без усов. Сняв серый костюм, Давенант облачился в белый. «Волшебство!» — сказал он, застегивая перламутровые пуговицы. Все сняв с себя, повесив одежду в шкаф, он погасил свет и уснул так крепко, что утром не сразу очнулся на стук в дверь: хозяйка начала беспокоиться, было уже одиннадцать часов, и ее кофейник закипал восьмой раз.

Давенант радостно засвистал: не надо подметать пол, расстилать скатерти и выбрасывать из вазы гнилые яблоки. Время принадлежит ему. Пахло чистотой и теплом тонкого белья. Нервы еще гудели, но не так порывисто, как это было вчера. Совершившееся приобрело законность длительной очевидности. Выпив кофе и закусив, Давенант оделся в белый костюм. Едва кончил он возиться с прикреплением галстука, как явилась старуха.

Одолеваемая любопытством, разведя руками, покачав головой в знак умиления при виде такой перемены внешности квартиранта, она стала допытываться, почему бедно одетый юноша с простым сундучком вызвал к себе столько заботливого внимания. Ее интересовало, кто — Галеран, кто — Давенант, как он жил до сего дня, а также что будет делать.

Старуха показалась Давенанту весьма противной, тем более что спрашивала не прямо, а как бы отвечая на свои мысли:

— Конечно, не все сразу. Вы осмотритесь, отдохнете, а там, надо думать, будет вам служба или не знаю что. Приятно видеть, как господин Галеран вас любит, я думала — не отец ли он?! У моего мужа тоже ничего не было, но он начал трудиться, копить...

Эти намеки Давенант обошел молчанием, он свел разговор на комнату, а старуха пыталась залезть с когтями и очками в его сердце.

Не имея опыта выпроваживать докучных людей, Давенант терпел ее скрипучий речитатив, пока, устав, она не ушла, поджав губы, с жестким лицом, а Давенант отправился бродить по городу. На выходе он столкнулся с мужем хозяйки — унылым, раздражительного вида стариком, который сунул свои хилые пальцы в его горячую руку и прохрипел:

— Ну-с, так. Все в порядке, я полагаю?

Старик скрылся за углом, Давенант предпринял сложное путешествие, пересаживаясь с автобуса на трамвай, с трамвая на автобус, доезжая до конца каждой линии, и за несколько часов так исколесил город, как до того никогда. Он мчался, повинуясь одолевающему его внутреннему движению. Но скоро заметил Давенант, что старается не думать о цели этих блужданий, удерживая тайные мысли. Наконец он решился и прошел по Якорной улице; когда же поравнялся с домом Футроза, уши его горели, а сердце стучало. Если так хорошо было в том доме при нем, то как очаровательна жизнь его обитателей, когда их никто не видит! Так он думал. При чужом человеке, естественно, самое прекрасное должно прятаться. Там что-то мелькает, вспыхивает, звенит — казалось ему, там плачут от смеха и летают среди улыбок таинственные существа, озаренные голубым светом. Между тем, ничего не зная о совершеннейшем из всех зданий мира, прохожие покупают газеты, бросают окурки под окна, мимо которых он идет, страшась встретить даже гувернантку Уранию Тальберг, так как на ней тоже блестят упоительные лучи красно-желтой гостиной, полной золотых кошек и розовых лиц.

А между тем Давенант очень хотел увидеть хотя бы Уранию, хотя бы горничную, но при условии остаться не замеченным ими.

Утешившись тем, что завтра снова придет к Футрозу, Давенант остаток дня употребил на посещение

зверинца и покупку нескольких старых книг; к завтраку он опоздал, обедать пришел поздно и был голоден, отчего съел суп, рыбу и сладкий пирог без остатка, съел даже весь хлеб, так что старуха долго рассуждала с соседкой об аппетите жильца. После обеда Давенант лег с книгой, читая повесть Хаггарда, но скоро, утомясь пережитым, заснул. Как стемнело, пришел Галеран и увел его гулять на Лунный бульвар.

Они медленно ходили под листвой огромных деревьев, разговаривая о жизни, которую Галеран знал во всех ее проявлениях, стараясь внушить мальчику доверие к своим чувствам.

— Никогда не бойся ошибаться,— говорил Галеран,— ни увлечений, ни разочарований бояться не надо. Разочарование есть плата за что-то прежде полученное, может быть, несоразмерная иногда, но будь щедр. Бойся лишь обобщать разочарование и не окрашивай им все остальное. Тогда ты приобретешь силу сопротивляться злу жизни и правильно оценишь ее хорошие стороны.

Эти простые истины отвечали характеру Давенанта; особенную прелесть имели они именно теперь, представляя как бы надежное оружие для его переполненных чувств, поданное отважной рукой.

Возвращаясь ярко освещенной аллеей, они остановились у террасы ресторана, привлеченные бурной сценой: оборванный пьяный человек рвался к столикам, крича, что хочет развеселить посетителей замечательной песней. Уже слуги схватили его, намереваясь вытолкать вон, как одна богатая компания, желая потешиться, вступилась за оборванца, и, злобно оглянувшись на отошедших официантов, оборванный человек, вытерев потный лоб тылом руки, хрипло запел:

Пришла к тюрьме девчонка, Рябая Стрекоза,
Вихлявая юбчонка, подбитые глаза.
«Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять,
Вы будете, приятель, со мной в постели спать.

Вчера я ночь гуляла,
Два шиллинга достала,
Прошу их передать
На номер триста пять!»

Скривился надзиратель и так ей говорит:
«Я не работодатель, а честный Джонни Смит,
Любовник твой, убийца, повешен он вчера
За то, что кровопийца, в шестом часу утра.

А ты иди, паскуда,
Прочь от ворот, покуда
Тебя не прогнал я.
Поди, хлебни вина!»

«Ах так,— она сказала и плюнула в него.—
Тебя повесить мало, и больше ничего,
Сегодня, только смеркнет, твой брат ко мне придет
И у меня в постели зарезанный уснет...»

Бродяга пел с чувством, жеманно вертясь, когда изображал проститутку, и выпячивая грудь, строго хмуря брови, когда Рябой Стрекозе отвечает непреклонный надзиратель. Часть слушателей расхохоталась, иные вознегодовали, но артист все же собрал мзду. Больше ему петь не дали. Он ушел, пошатываясь и разглядывая монеты на дрожащей ладони. Затем бродяга быстро миновал Давенанта, крикнул отшатнувшемуся юноше: «Держись, сосунок, а то сшибу!» — и исчез в аллеях. Давенант заметил его спутанные волосы. Тяжелое, коварное лицо этого человека метнулось перед ним на одно мгновение и скрылось в тени ночи.

Такого рода песни Давенанту приходилось слышать не раз, когда он возил тележку с горячей пищей на окраинах порта, а потому он равнодушно слушал ее. Между тем Галеран остановился; вытащив блокнот, он записал в него отдельные выражения этого образца тюремной поэзии.

— Я составляю сборник уличных песен,— сказал Галеран,— и надеюсь продать мой труд какому-нибудь издательству. Ты, наверное, часто старался понять, чем я живу. Я составляю сборники самого разнообразного типа: от анекдотов до «игр и забав». Я жил бы лучше, если бы не был подвержен страсти к игре. Не могу не играть.

— Значит, вам не везет?

— Ты проницателен.

— А вы старайтесь выигрывать.

— Совет мудреца! — рассмеялся Галеран.— Покинь меня и отправляйся спать. Спать хорошо.

— Вот что,— подумав, сказал Давенант,— в первый же раз, как вы отправитесь играть, возьмите, пожалуйста, эту золотую монету и присоедините ее к судьбе ваших ставок. Будь что будет!

— Идет! — согласился Галеран.— Я никогда не отказываюсь играть на чужое счастье. Приходи завтра в «Отвращение». Я буду там от часу до трех.

— Да, я всегда хочу быть с вами,— сказал Давенант.— Я буду там, мы что-нибудь придумаем.

На том они расстались. Прошла еще одна ночь, и занялся день, сказавшийся лучом в глаза.

— Сегодня, сегодня — туда!

ГЛАВА IV

Роэна и Элли принимали участие в судьбе молоденькой чахоточной портнихи Мели Скорт, затеяв отправить ее лечиться на морской берег Ахуан-Скапа. Мели явилась незадолго перед тем, как вошел Давенант. Увидев ее в гостиной смиренно рассматривающей альбомы, Давенант поклонился бледной, бедно одетой девушке и сел поодаль. Его белый костюм не обманул проницательность Мели Скорт. Взглянув на Давенанта исподтишка, она угадала зависимое положение юноши и решилась сказать:

— Такой чудесный дом, не правда ли? Они очень богаты.

— Замечательный дом,— с воодушевлением отозвался Давенант.— Скажите, еще никто не выходил?

— Нет.— Мели кашлянула.— Я тоже жду. Меня отправляют на курорт лечиться. У меня чахотка. А вы?

— Я? Тут есть одно дело,— сказал Давенант, несколько смешавшись.— Впрочем, сегодня выяснится.

Его избавило от признаний появление Роэны. Она вошла без сестры, в темном платье, скромно причесанная, и глаза ее лукаво блеснули.

— Давенант! Мели! — воскликнула Рой.— Как хорошо! Познакомьтесь, Тиррей Давенант, с Мели Скорт. Мели, когда вы едете?

— Я уеду завтра, так как...

— Тампико, то есть отец, только что говорил в телефон...

Рой стала шептать ей на ухо, и Мели покраснела, а Давенант расслышал окончание шепота: «...раскройте сумочку». Понимая, что происходит, он отвернулся, смотря в окно. Роэна вскоре подбежала к нему, говоря:

— Идем, посидим на диване. Сегодня вы не увидите Элли. Бедняжка прихворнула. Доктор уже смотрел язык и посоветовал целый день лежать. Только это не опасно, он так сказал. Давенант, вам тоже от отца весть: еще не приехал его знакомый, который должен

будет посвятить вас в рыцари географии. Так что мы поболтаем. Ах, Элли беспокоит меня!

— Должно быть, перемена погоды,— сказала Мели.— Я под утро не могла заснуть от кашля.

Они уселись. Рой села между Давенантом и Скорт.

— Очень неровный климат,— продолжала Мели.

— Да, ужасные, ужасные перемены. Отвратительно!

Юная хозяйка не дурачилась, как вчера, но в ее голосе слышались знакомые Давенанту боевые ноты первого дня, когда играли «Изгнанника».

Девушки помолчали. Встретясь глазами, они улыбнулись и рассмеялись.

— Отчего вы рассмеялись? — воскликнула Рой, привскакивая на сиденье.

— Не знаю. А отчего вы?

— Просто так. Так вот что: съедим конфеты.

Она убежала и вернулась с коробкой, поставив ее на диван между собой и девушкой.

— Давенант, отчего вы сидите так чинно? — сказала Рой.— Идите помогать.

Давенант подержал конфетку у губ и спросил:

— Что же с Элли? Может быть, она опасно больна?

— Нет, нет, успокойтесь. Она, так сказать, наполовину здорова. Но ей придется весь день лежать.

— Что такое?! — вскричал ревнивый голосок, и в гостиную вошло зеленое одеяло, из которого торчала кудрявая голова. На ногах Элли были огромные туфли Урании, и она бойко шаркала ими, поддерживая свисающее одеяло, как шлейф.

— Здравствуйте, дети,— сказала Элли,— я к вам. И... О, дай мне конфету, Рой! Уже я знаю: Давенант пришел к нам. Могла ли я утерпеть?

— Элли, ступай назад! — крикнула ей Роэна.— Как ты смела?

Не обращая внимания на ее тревогу, Элли подошла к Мели Скорт и присела.

— Как вы думаете,— хочу я общества или нет? Позвольте представиться: минус вселенной!!

— Мели, скажите ей, что когда вы были больны, то не вскакивали в этаком кимоно!

— Будьте послушны,— сказала Мели, давая девочке взять себя под руку, после чего Элли решительно уселась на диван,— даже маленький сквозняк вам опасен.

Элли, вздохнув, встала и пересела к Давенанту.

— Он защитит меня и даст мне конфетку. Будьте моим рыцарем!

— Хорошо,— сказал Давенант,— но, как рыцарь, я дам вам конфетку только с разрешения градусника.

— В том-то и дело, что я его разбила сейчас. Я хотела доказать, как я здорова. Что такое ртуть? Кто знает?

— Иди-ка сюда.— Рой приложила руку к щеке Элли.— Кажется, ничего нет, но ведь Урания помешается.

— Накликала,— проговорила Элли, завидев входящую гувернантку.

— Это что такое!—закричала Урания, подняв руки.

Она сразу узнала Давенанта, но, узнав, покраснела от возмущения. Воспитательная система Футроза приводила ее в ярость.

— Элли, вы меня... убить? Хотите меня убить, да? Сию минуту в постель!

Элли закрыла лицо руками и помотала головой.

— Ах, как не хочется лежать!—просто сказала она.— Что делать? Иду. Прощайте! Пусть у вас расстроятся желудки от ваших конфет!

Одеяло удалилось, шаркая туфлями и напевая грустный мотив, а Урания объявила Роэне, что ее ждет учитель музыки, после чего вышла, закинув голову и грозно дыша.

— Желаю вам быстро поправиться,— сказала Роэна, прощаясь с Мели Скорт.— Папа был в Ахуан-Скапе и очень хвалит это место. Вам будет там хорошо.

— У меня перед отъездом разные противные дела. Благодарю вас.

— Давенант,— сказала Роэна,— в воскресенье вы наш гость, не забудьте. Мы будем стрелять. Вы любите стрелять в цель?

Она стояла совсем близко к нему, с слегка раскрытым ртом, и ее брови смеялись.

— Давенант, вы уснули?

— Нет,— ответил Давенант, выходя из блаженной рассеянности.— Я, знаете, люблю думать. Должно быть, я думал.

— Да? Значит, я вгоняю в задумчивость! Замечу это.

Роэна проводила гостей до выхода и выглянула вслед им за дверь, сказав:

— Рыцарь Элли! Оглянитесь! Ау!

Роэна помахала рукой, затем скрылась.

Бледная, белокурая, с усталым счастливым лицом, Мели Скорт сказала Тиррею:

— Вот как живут! У них есть все, решительно все!

— Ну да,— согласился Давенант, удивляясь, как могло бы быть иначе.

Он расстался с Мели на углу, не понимая, что она ему говорит, и тотчас забыв о ней.

Некоторое время Давенанту казалось, что смех Роэны, одеяло Элли и предметы гостиной разбросаны в уличной толпе. Но впечатления улеглись. Он пришел в «Отвращение», где увидел Галерана, сидящего, как всегда, у окна с газетой и кофе. Новый слуга, рыжий, матерый парень, подошел было к нему, но, услыша восклицание Кишлота: «Граф Тиррей!» — догадался, что это его предшественник, о котором повар уже сочинил роскошные басни. В увлечении творчества повар признал Давенанта незаконнорожденным сыном Футроза.

Давенант раскаялся, что зашел сюда. Кишлот не мог или не хотел взять простой тон. Ощупав костюм мальчика, он снял его шляпу и бесцеремонно примерил на себе, отпуская замечания:

— О-го-го! Наверно, тебе не снилось одеться так шикарно! — Затем пошутил: — А ну-ка, подай соус. Хе-хе! Нет, теперь ты сам будешь заказывать!

Смутясь, Давенант быстро подошел к Галерану.

— Еще ничего не известно,— сказал он как можно тише, чтобы не впутался в разговор Кишлот.— Еще не приехал Старкер.

— Слушай, Тиррей,— ответил Галеран,— иди отсюда и будь дома завтра утром. Мы проведем целый день на лодке. Я не играл вчера, не получил денег. Хочешь взять свой золотой?

— О нет, ведь я сказал.

— Хорошо.

Давенант хотел выйти, но рыжий слуга ткнул его слегка в бок, спросив:

— Сколько платил? Материя знаменитая.

— Это не я покупал.

— Как... не ты?

— Верно, не я.

— Может быть, твой камердинер?

— Не болтайте глупостей, Дик,— вступился Галеран,— лучше принесите мне табаку.

Он дал рыжему парню мелочь, а Давенант, крикнув Кишлоту: «До свидания!»—вышел. Уже он повернул за угол, как Дик окликнул его и загородил дорогу.

— Вот я тебя проучу,—сказал Дик, сбрасывая куртку и швыряя ее на тумбу.—Стань-ка как следует.

— Что? Драться?—удивился Давенант, не совсем понимая гнев Дика. Но скоро он понял причину истерики.

— Ты даже не знаешь меня,—сказал он миролюбиво.

— Не разговаривай! Зазнался, дрянь этакая.

Дик засучил рукава, но Давенант вынул из жилетного кармана серебряную монету и, улыбаясь, протянул ее взбешенному врагу.

— Возьми себе,—сказал он,—деньги тебе нужны.

— Что-о-о!—заревел парень. С презрением схватил он монету и потряс ею перед лицом Давенанта.— Этим ты думаешь отделаться?

— Вот еще,—сказал Давенант, протягивая вторую монету.

— Что же? Струсил, что ли?

— Думай как хочешь. Берешь?

— Давай сюда!—Дик вырвал деньги из его пальцев и сунул в карман.—У, сволочь!

Он схватил куртку и побежал покупать табак, а Давенант, задумавшись, направился домой, где его ждал обед. В тот день ничего особенного больше не произошло. Давенант читал, посетил кинематограф и спал хорошо.

В воскресенье, рано утром, пришел Галеран. Они ездили на лодке под парусом до мыса Бай, взяв с собой вина, провизии; разложили костер, варили кофе и несколько раз купались.

Как ни прекрасна была эта прогулка, впечатления волн, ветра и отдаленного берега нарушили, казалось Давенанту, внутреннюю его связь с домом Футроза, уменьшили и затушевали ее. Едва расставшись, при возвращении, с Галераном, он был рад снова очутиться в городе. Уже было четыре часа дня, когда, еще не побывав дома, расхаживая из улицы в улицу, Давенант, втайне ожидая этого, встретился с Роэной и Элли при выходе их из магазина. Он смутился как своего старого костюма, в котором он ездил к мысу Бай, так и от горячо ожидаемой неожиданности. Девушек сопровождала Урания. Давенант хотел незаметно пройти

в толпе, за спиной гувернантки, но Рой увидела его и сделала ему рукой знак. Сильно взволновавшись, Давенант подошел, отвесив гувернантке такой почтительный поклон, что она, смягчившись, перестала рассматривать его в упор, как афишу. Сияющие нарядные девушки тотчас атаковали Давенанта. Набравшись смелости, он сообщил им, что всего полчаса как вернулся с прогулки по морю.

— Со мной был Галеран,— прибавил он.— Мы прыгали в воду с отвесной скалы, не очень высоко... Там замечательные гигантские водоросли.

— Вы хорошо плаваете?— спросила Элли.— Я еще не умею.

— У меня хорошие дыхание и сердце, я могу далеко плыть,— сказал Давенант.

— Садитесь, мы вас подвезем,— предложила Рой.— Вам куда?

Давенант очень хотел сесть с ними в экипаж и потому отказался.

Усевшись и наклоняясь из экипажа, Рой сказала:

— Давенант, мы вас ждем!

— Я лучше пройдусь,— ответил он и поправился:— Я сяду в трамвай.

— Где вы сейчас находитесь?— крикнула, смеясь, Элли.

Не поняв шутки, он сказал:

— Там же, все в той же комнате.

— Сомневаюсь!— заявила Рой.

— Сомневаюсь!— воскликнула Элли.

Даже на лице Урании зазмеилось подобие улыбки. Давенант сконфузился и стал махать шляпой, пока экипаж не скрылся, унося прочь эти подобия альпийских фиалок, похищенные у шумной толпы. То были не совсем те Элли и Рой, какими узнал он их в чудесной желто-красной гостиной. Те же, но не такие. Там они были из того мира, где все неясно и важно.

Взрослый человек всегда найдет, как сократить время и сдержать нетерпение, но, если даже он плохо владеет собой, его представление о времени реально. Не то было с Тирреем. Дожидаясь половины восьмого вечера, Давенант переживал утомительное физическое напряжение. Задолго до выхода из дома, надев серый костюм, он сел у окна, рассматривая прохожих. Просидев три минуты, схватил книгу, но читать оказался не в состоянии. Не стерпев

могущества часовых стрелок, хладнокровно сопротивляющихся его вздохам, взглядам, покусыванию губ, метаниям из угла в угол, Давенант надел шляпу и отправился на улицу без четверти семь. Вдруг бой городских часов указал, что часы Губерман отстали на пятнадцать минут. «Вот это хорошо»,— сказал Давенант вслух, обратив на себя внимание прохожих. Ни в какую сторону, как только к Якорной улице, он идти не мог, но решил идти очень тихо, чтобы явиться в десять минут девятого. Однако расстояние было не так велико, а его нетерпение — огромно, и, как следовало ожидать, Давенант оказался вблизи дома Футроза за полчаса до восьми. Опасаясь явиться первым, он удовольствовался тем, что стал смотреть на дом издали, и простоял, не сходя с места, тридцать минут, осведомляясь у каждого прохожего:

— Который час?

— Четыре минуты девятого,— сказал ему наконец словоохотливый человек с розовыми морщинистыми щеками.— Поставьте ваши часы по моим — это часы фабрики...

Но Давенант был уже довольно далеко. Он мчался по прямой линии к подъезду и попал в кабинет Футроза, куда его провела горничная, мимо полуоткрытой гостиной, где слышались веселые голоса.

— Я велел просить вас к себе, пока вас еще не завертели мои хозяйки,— сказал Футроз, мельком осмотрев Давенанта.— Могу порадовать вас: приехал профессор Старкер. Я скоро увижусь с ним и попрошу его записать вас участником первой же экспедиции. Своевременно я вас извещу.

Затем он расспросил Давенанта о комнате, о Галеране, дружески посоветовал застегивать пиджак на все пуговицы и усадил в огромное кресло-нишу, откуда, как из провала, видны были книжные шкафы, мраморная фигура Ночи и проникновенно улыбающийся Футроз.

— Я еще не поблагодарил вас,— сказал Давенант.— Иногда мне кажется: я проснусь — и все это исчезнет.

— Ну-ну,— добродушно отозвался Футроз,— будьте спокойнее. Ничего страшного не произошло.

Давенант хотел прямо сказать: «Я никогда не был счастлив так, как все эти дни»,— но услышал подлетающие шаги и, не посмев обернуться к двери, забыл, что́ хотел выразить.

— Давенант здесь? — воскликнула, вбегая, нарядная, красиво причесанная Роэна.— Вот он. Запрятан в кресло.

Давенант вскочил.

— Здравствуйте! — сказала Элли, напоминающая уменьшенную Роэну — в коротком платье.— Позволь его увести, Тампико. Он нам нужен.

— Кто у вас?

— Все: Гонзак, Тортон и Тита Альсервей.

— Единственно не хватает вас,— сказала Роэна Давенанту.— Тампико, он человек с понятием. Ему нечего у тебя делать. У нас веселее, правда? Ты тоже явишься, мы очень просим тебя.

— Вы надеетесь, что я приду к вам хихикать?

— Да, мы надеемся,— сказала Элли.— Отец и его две дочери хихикают... Это мы включим в программу.

— Я приду позднее. Давенант, повинуйтесь!

— А-рес-то-вать! — закричала Элли, беря под локоть Давенанта с одной стороны, другим локтем завладела Рой, и они увлекли его в гостиную.

Теснее и ярче, чем днем, показалась теперь Давенанту эта комната, сильно озаренная огнями люстры и пахнущая духами. Вечерние оттенки несколько изменяли ее вид; присутствие в ней незнакомых Давенанту — Гонзака, Тортона и Титании Альсервей — вызвало в нем ревнивое чувство, делая гостиную Футроза похожей на другие гостиные, которые приходилось иногда видеть ему с улицы в окно. Давенант любил ярко освещенные помещения: аптеки, парикмахерские, посудные магазины, где блеск огней в множестве стеклянных и фаянсовых предметов создавал лишь ему понятные праздничные видения.

Роэна познакомила Давенанта с другими гостями. Гонзак — рыжеватый юноша с острым лицом, сероглазый, надменный, не понравился Давенанту, Тортон вызвал в нем оттенок расположения, несмотря на то, что бесцеремонно оглядел новичка и спросил, будто бы не расслышав:

— Да... ве...?

— ...нант,— закончил Тиррей.

Тортон был смугл, черноволос, девятнадцати лет, с начинающими пробиваться усами и вечной улыбкой. Он без околичностей перебивал каждого, если хотел говорить, и смеялся не грудью, а горлом, говоря похоже на смех: «Ха-ха... Ха-ха!»

Титания Альсервей, однолетка Роэны, тонкая, удивленная, с длинной шеей и золотистыми глазами при темных бровях, двигалась с видом такой слабости, что каждое ее движение взывало о помощи.

Давенант чувствовал себя не свободно, стараясь скрыть замешательство. У него не было естественно-развязных манер, лакированных туфель, как на Гонзаке и Тортоне; его костюм, казалось ему, имел надпись: «Подарок Футроза». Должно быть, его лицо сказало что-нибудь об этих смешных и трагических чувствах обласканного человека «с улицы», так как Элли, посмотрев на Давенанта, задумалась и села рядом с ним. Это был знак, что он равен. Роэна разлила чай. Давенант получил чашку вторым, после Титании Альсервей, и начал немного отходить.

Старательно слушая, о чем говорят, он присматривался к гостям. Разговор шел о неизвестных ему людях в тоне веселых воспоминаний. Наконец заговорили об Европе, откуда недавно вернулся со своим отцом Тортон.

При первой паузе Рой сказала:

— Давенант, почему вы так молчаливы?

— Я думал о гостиной,— некстати ответил Давенант, нарочно говоря громче обыкновения, чтобы расшевелить себя, и замечая, что все внимательно его слушают.— Вечером она другая, чем днем.

— Вам нравится эта печь, в которой мы сидим?— снисходительно произнесла Титания.

— Да, как огонь!

— Мы ее тоже любим,— сказала Роэна,— у нас страсть к горячим и темным цветам.

— Несомненно,— подтвердил Гонзак.

— Я равнодушен к обстановке, но люблю, когда есть качалка,— сообщил Тортон.

— Нет ничего хуже прямых стульев с жесткими спинками, как, например, у Жанны Д'Аршак,— заметила Титания.

— Какая у вас будет гостиная?— спросила Элли Тиррея.— Впоследствии? Минуя времена и сроки?

— Такая же, как и ваша,— смело заявил Давенант.

— Однако вы — патриот!— заметил Гонзак.

— Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, кто ты,— изрек Тортон.

— Неужели вы это сами придума...— спросила Рой, но Тортон перебил ее одним словом:

— Аксиома.
— Малоизвестная, надеюсь,— отозвалась Альсервей.
— Вы хотите сказать, что я не оригинален? Ха-ха! Оригинально то, что так может случиться с каждым оригиналом.
— Тортон, вам — нуль. Садитесь,— сказала Рой.
— Сижу. Молчать?
— О, нет, нет! Говорите еще!
— Как же вас понять?
— Женское непостоянство,— объяснил Гонзак и уронил ложечку.
Все расхохотались, потому что смех бродил в них, ища первого повода. Рассмеялся и Давенант.
— Давенант засмеялся! — воскликнула Элли.— О, как чу́дно!
— Вы под сильной защитой,— сказал Тиррею Гонзак.— Если вы смеетесь один раз в год, то в этом году выбрали удачный момент.
— А почему?
— Именно потому, что вас поощрили.
— Фу-фу! — закричала Элли.— Это не шутка, это перешутка, Гонзак!
— Слушаюсь, пере-Элли!
— Окончилось ваше увлечение балетом? — спросила Рой Титу Альсервей.
— Нет, когда-нибудь я умру в ложе. Мой случай неизлечим.
Давенант откровенно любовался Роэной. Она была так мила, что хотелось ее поцеловать. Взглянув влево, он увидел блестящие глаза Элли, смотревшие на него в упор, сдвинув брови.
— Я вас гипнотизировала,— заявила девочка.— Вы — нервный. Ах, вот что: можете вы меня переглядеть?
— Как так — переглядеть?
— Вот так: будем смотреться в глаза,— кто первый не выдержит. Ну!
Давенант принял вызов и воззрился взгляд во взгляд, а Элли, кусая губы и смотря все строже, пыталась победить его усилие. Скоро у Давенанта начали слоиться в глазах мерцающие круги. Прослезившись, он отвернулся и стал вытирать глаза платком. Его самолюбие было задето. Однако он увидел, что Элли тоже вытирает глаза.

— Это оттого, что я смигнула,— оправдывалась Элли.— Никто меня не может переглядеть.

Пока тянулась их комическая дуэль, Рой, Гонзак и Тортон горячо спорили о стихах Титании, которые она только что произнесла слабым голосом умирающей. Роэна возмущалась выражением: «И рыб несутся плавники вокруг угасшего лица...»

— Рыбы штопают чулки, пустив бегать плавники,— поддержал Гонзак Роэну.

Титания надменно простила его холодным нездешним взглядом, а Тортон так громко сказал: «Ха-ха!» — что Элли подбежала к спорщикам, оставив Давенанта одного, в рассеянности.

Некоторое время казалось, все забыли о нем. Прислушиваясь к веселым голосам Роэны и Элли, Давенант думал — странное для своего возраста: «Они юны, очень юны, им надо веселье, общество. Почему они должны заниматься исключительно мной?» Подняв голову, он увидел картину, изображающую молодую женщину за чтением забавного письма. Давенант прошелся, остановясь против небольшой акварели: безлюдная дорога среди холмов в утреннем озарении. Элли, успев погорячиться около спорящих, подбежала к нему.

— Это — «Дорога Никуда»,— пояснила девочка Давенанту. — «Низачем» и «Никуда», «Ни к кому» и «Нипочему».

— Такое ее название? — спросил Давенант.

— Да. Впрочем... Рой, будь добра, вспомни: точно ли название этой картины «Дорога Никуда» или мы сами придумали?

— Да... Тампико придумал, что «Дорога Никуда».

Прекратив разговор, все присоединились к Давенанту.

— До-ро-га ни-ку-да! — громко произнесла Рой, улыбаясь картине и Тиррею и смущая его своим расцветом, который лукаво и нежно еще дремал в Элли.

— Что же это означает? — осведомилась Титания.

— Неизвестно. Фантазия художника...— Рой рассмеялась.— Давенант!

— Что? — спросил он, добросовестно стараясь понять восклицание.

— Ничего.— Она повторила: — Итак, это — «Дорога Никуда».

— Непонятно,— сказал Тортон.

— Было ли бы понятнее,— процедил Гонзак,— понятнее: «Дорога Туда»?

— Куда — туда? — удивилась Титания.

— В том-то и дело,— заметил Тортон.

— Дорога — куда? — воскликнула Элли.— О, дорога! Куда?!

— Вот мы и составили,— сказал Гонзак.— Дорога никуда. Куда? Туда. Куда — туда?

— Сюда,— заключил Давенант.

Снова молодых людей одолел смех. Все хохотали беспричинно и заразительно.

Изображение неизвестной дороги среди холмов притягивало, как колодец. Давенант еще раз внимательно посмотрел на нее. В этот момент явился Футроз.

— Вот и Тампико! — воскликнула Элли, бросаясь к нему.— Милый Тампико, нам весело! Мы ничего не разбили! Просто смешно!

— Что вас так насмешило? — спросил Футроз.

— Ничего, но мы стали произносить разные слова... Вышло ужасно глупо.— Рой вздохнула и, пересилив смех, указала на картину: — Дорога никуда.

Она объяснила отцу, как это вышло: «туда, сюда, никуда». Но уже не было смешно, так как все устали смеяться.

— Я купил ее на аукционе,— сказал Футроз.— Эта картина напомнила мне одну таинственную историю.

— Какая история? Мы ее знаем? — закричали девушки.

— По-видимому — нет.

— А почему не рассказал, Тампико? — спросила Элли.

— Почему? В самом деле — почему?

— Ну, мы этого не можем знать,— заявила Роэна.

— Я люблю истории о вещах,— сказал Гонзак.— С нетерпением ожидаю начала.

— Разве я обещал?

— Извините, мне показалось...

— Крепкие ли у всех вас нервы? — спросил Футроз, делая загадочное лицо.

— За себя я ручаюсь,— сказала Титания, усаживаясь в стороне, спиной к окнам.

— И я ручаюсь — за тебя! — Рой села рядом с отцом.— Но не за себя.

Элли полулегла на диван. Давенант, Тортон и Гонзак поместились на креслах. Тогда Футроз сказал:

— Бушевал ветер. Он потрясал стены хижин и опрокидывал вековые деревья...

— Так было на самом деле?—строптиво перебила Элли.

— Увы! Было.

— Смотри, Тампико, не подведи.

— Начало очень недурно,— заметил Гонзак,— особенно «стены хижин».

Футроз молчал.

— А дальше?—спросил Давенант, который был счастлив как никогда.

— Все ли успокоились?—хладнокровно осведомился Футроз.

Но бес дергал за языки.

— Папа,— сказала Рой,— расскажи так, чтобы я начала таять и умирать!

Футроз молчал.

— Ну, что же, скоро ли ты начнешь?—жалобно вскричала Элли.

— Все ли молчат?—невозмутимо осведомился Футроз.

— Все!—вскричали шесть голосов.

— Ветер выл, как стая гиен. В придорожную гостиницу пришел человек с мешком, с бородой, в грязной одежде и заказал ужин. Кроме него, других посетителей не было в тот странный вечер. Хозяин гостиницы скучал, а потому сел к столу и заговорил с прохожим человеком—куда направляется, где был и кто он такой? Незнакомец сказал, что его зовут Сайлас Гент, он каменотес, идет в Зурбаган искать работу. Хозяин заметил одну особенность: глаза Сайласа Гента не отражали пламя свечи. Зрачки были черны и блестящи, как у всех нас, но не было в них той трепетной желтой точки, какая является, если против лица сияет огонь...

Рой заглянула в глаза отца.

— Даже две точки,— сказала она.— А у меня?

Элли подошла к ней и освидетельствовала зрачки сестры; та проделала это же самое с девочкой, и они успокоились.

— Нормально!—заявила Элли, возвращаясь на свое место.— Мы отражаем огонь. Дальше!

— Из сделанного хозяином наблюдения,— продолжал Футроз,— вы видите, что хозяин был человек мечтательный и пытливый. Он ничего не сказал Генту, только надел очки и с замешательством, даже со стра-

хом, установил, что зрачки Гента лишены отражения — в них не отражались ни комната, ни хозяин, ни огонь.

— Как это хорошо! — сказал Давенант.

— Вот уж! — пренебрежительно отозвалась Титания.— Две черные пуговицы!

— Но пуговицы отражают огонь,— возразила Роэна.— Не мешайте Тампико!

— Теперь меня трудно сбить,— заявил Футроз,— но будет лучше, если все вы воздержитесь от замечаний. Сайлас Гент начал спрашивать о дороге. Хозяин объяснил, что есть две дороги: одна прямая, короткая, но глухая, вторая вдвое длиннее, но шоссейная и заселенная. «У меня нет кареты,— сказал Гент,— и я пойду короткой дорогой». Хозяину было все равно; он, пожелав гостю спокойной ночи, отвел его в комнату для ночлега, а сам отправился к жене, рассказать, какие бывают странные глаза у простого каменотеса.

Едва рассвело, Сайлас Гент спустился в буфет, выпил стакан водки и, направив свои редкостные зрачки на хозяина, заявил, что уходит. Между тем ураган стих, небо сияло, пели птицы, и всякая дорога в такое утро была прекрасной.

Сайлас Гент повесил свой мешок за спину, подошел к дверям, но остановился, снова подошел к хозяину и сказал: «Послушайте, Пиггинс, у меня есть предчувствие, о котором не хочу много распространяться. Итак, если вы не получите от меня на пятый день письма, прошу вас осмотреть дорогу. Может быть, я на ней буду вас ожидать».

Хозяин так оторопел, что не мог ни понять, ни высмеять Гента, а тем временем тот вышел и скрылся. Весь день слова странного каменщика не выходили из головы трактирщика. Он думал о них, когда ложился спать, и на следующее утро, а проснувшись, признался жене, что Сайлас Гент задал ему задачу, которая торчит в его мозгу, как гребень в волосах. Особенно поразила его фраза: «Может быть, я буду вас ожидать».

Его жене некогда было углубляться в человеческие причуды, она резко заявила, что, верно, он напился с каменщиком, поэтому оба плохо понимали, что говорят. Рассердясь, в свою очередь, и желая отделаться от наваждения, трактирщик сел на лошадь и поскакал по той дороге, куда пошел Гент, чтобы не думать больше об этом чудаке, а если с ним

что-нибудь приключилось, то, в крайнем случае, помочь ему.

Он въехал в лес, усеянный камнями и рытвинами, а после часа езды увидел, что Гент висит на дереве...

Тортон незаметно протянул руку к стене и погасил электричество.

Все вскочили. Девушки вскрикнули, а хладнокровная Титания, голося пуще других, требовала прекратить глупые шутки.

Сказав:

— То-то! Ха-ха! — Тортон пустил свет.

У всех были большие глаза. Рой держала руку на сердце.

— Это Тортон,— предал его Гонзак.

— Разве так можно делать! — строго вскричала Элли.— Все равно что налить вам за воротник холодной воды!

— Я не буду,— сказал Тортон.

— Давенант, присматривайте за вашим соседом,— попросила Рой.— Впрочем, пересядьте, Тортон. Куда?! Туда, никуда, вот сюда.

Тортон повиновался.

Футроз не торопился. Ему было хорошо дома, он следил за переполохом с добродушием птицевода, наблюдающего скачки малиновок и щеглов.

— Ну,— сказал он,— можно кончать? Но мне осталось немного... Сайлас Гент висел на шелковом женском шарфе, вышитом золотым узором. Под ним на плоском камне были аккуратно разложены инструменты его ремесла, как будто перед смертью он или кто другой нашел силу для жуткой мистификации. Среди этих предметов была бумажка, исписанная самоубийцей. И вот, обратите внимание, как странно он написал: «Пусть каждый, кто вздумает ехать или идти по этой дороге, помнит о Генте. На дороге многое случается и будет случаться. Остерегитесь».

Почему погиб Гент, осталось навсегда тайной. Но с тех пор кто бы, презрев предупреждение, ни отправился по той дороге, он неизменно исчезал, пропадал без вести. Было три случая — с кем именно, я не помню, но третий случай стоит упомянуть особо: по этой дороге бросилась бежать лошадь, разорвав повод, которым была привязана, и, несмотря на все усилия, ее не нашли.

— Тампико, ты густо, густо присочинил! — сказала Элли, когда слушатели зашевелились.— Те, кто искал

лошадь, должны были идти на загадочную дорогу, и если вернулись, то... сделай вывод!

— Я не оправдываюсь,— ответил Футроз.— Все запутанные дела несколько нелепы в конце. Увидев картину, я вспомнил Гента и купил ее.

— Что же все это значило? — спросил Давенант.— В особенности — глаза, не отражающие ничего... А он не был слеп! У одного охотника глаза были совсем крошечные, как горошины, между тем он мог читать газету через большую комнату и отлично стрелял.

— Ах, вот что! — сказала Рой.— Мы будем стрелять в цель. Прошлый раз Гонзак осрамился. Гонзак, мы дадим вам реванш. Элли тоже хочет учиться. Давенант, вы должны хорошо попадать,— у вас такие твердые глаза.

Стрельба издавна привлекала Давенанта как упражнение, требующее соревновательной точности. Такого рода забавы свойственны всем пылким натурам. Однако до сих пор ему пришлось стрелять только два раза, и то в платном тире, соображаясь со своими скудными средствами.

— Я присоединяюсь,— сказал Футроз.— Нас семеро, хотя Элли не в счет, так как она все еще зажмуривается...

— Какая низость! — вскричала Элли.

— Ну конечно. Составим список и назначим приз,— не два, не три приза, а один, чтобы не было жалких утешений. Приз должен исходить от дам. Так значится во всех книгах о турнирах и других состязаниях.

— Так как приз получу я,— заявил Тортон,— не разрешат ли мне самому придумать награду? Ха-ха!

— Нет, это слишком! — возмутилась Титания.— Я стреляю не хуже вас и, вот назло, заберу приз.

Взаимно попеняв, остановились на следующем: если победит дама, она вправе требовать что хочет от самого плохого стрелка-мужчины, если произойдет наоборот, победителю вручается приз от Титании и Роэны, который они должны приготовить тайно и держать в секрете.

Футроз взял лист бумаги и написал:

Состязание хвастунишек

— Номер первый. Кто же первый?

— Разрешите мне быть последним,— обратился к нему Давенант, волнуясь и страстно желая получить приз.

— Последний хочет быть первым,— догадалась Титания.

— О Давенант, выступайте первым! — предложила Рой.

Но он не соглашался, как ни хотелось ему сделать все, что попросит Рой, Элли или Футроз. Он хотел выиграть, а потому — твердо знать, какие придется ему осилить успехи других участников.

— Становится любопытно,— заметил Гонзак.— Некоторые из нас довольно ретивы. Что касается меня — выйду, под каким мне назначат номером.

Наконец список составился. Титания значилась первым, Рой — вторым, Тортон — третьим, Гонзак — четвертым и Давенант — пятым номером. Ранее прочих решили дать Элли выстрелить три раза, так как она очень просила.

Роэна с Титанией ушли в другую комнату обсудить приз и вернулись с простосердечными лицами, положив на стол нечто завернутое в газету, маленькое и тяжелое. Затем они посмотрели друг на друга и важно приопустили взгляды.

— Какое-нибудь ехидство? — спросил Футроз, намереваясь пощупать сверток.

Но поднялся крик:

— Тампико, это нечестно!

Футроз позвонил и приказал слуге принести мишень, а также малокалиберную винтовку, пуля которой была не толще карандаша записной книжки. Мишень поместили на террасе, раскрыв стеклянную дверь гостиной. Стрелять следовало, став у внутренней двери, шагах в двадцати от мишени. Это был квадратный картон на верху треножной подставки; концентрические круги картона имели цифры от центра к окружности: 500, 250, 125 и т. д., а центр — черный кружок диаметром в один дюйм — означал тысячу.

— Ну, Элли,— сказал Футроз, заряжая винтовку,— иди сюда. Стань вот так.

— О папа, я отлично все знаю.— Элли, сжав губы, нахмурясь и приложив к плечу ружьецо, отставила широко ногу вперед, но от внезапного страха забыла все уроки, как берется прицел, и, нажимая пальцем мимо курка, стала жмуриться. Дуло ружья поднялось вверх, качнулось, и, крепко зажмурясь, стараясь не слышать визга убежавших за ее спину зрителей, Элли нашла курок и пальнула в золоченый карниз.

Настало глубокое, унизительное молчание.

— Что? Я попала? — сказала Элли, затем, вся красная, со слезами в глазах, осторожно положила винтовочку на ковер и ушла к дивану, где села, схватила отца за плечо и, спрятав лицо на его груди, расхохоталась.

— Хочешь еще попробовать? — спросил Футроз.— Но только с моими советами?

— Благодарю. Попробуйте кто-нибудь так, как я.

— Действительно! — сказала Рой.

— Ах, ах! Ты еще хуже меня!

— Номер первый! — провозгласил Гонзак.— Титания Альсервей!

Титания стала на место (каждый должен был сделать семь выстрелов), снисходительно осмотрелась и с видом делающей грациозное одолжение, лениво заряжая и паля, отщелкала свою порцию, почти не целясь. Слышен был только скользящий металлический звук затвора и негромкие хлопки выстрелов. Она передала оружие Роэне, и все отправились смотреть мишень.

Две дырки были на 250, одна на 125 и четыре разного значения, но мельче цифрой; по подсчету всего — семьсот пятьдесят очков. Эти отверстия перечеркнули красным карандашом.

— Это я старалась для Тортона,— объявила Титания.— Теперь я посмотрю, так ли он уверен в себе, как говорил.

— А все же — ха-ха! — вы не отстукали тысячу! — заметил Тортон.

— Хорошо, хорошо, посмотрим!

Настала очередь Рой. Давенант понял, что она волнуется и старается. Он мысленно помогал ей, напрягаясь перед спуском курка, задерживая дыхание и шепча: «Точнее, точнее».

— Не смотрите на меня,— сказала Рой.— И не смешите.

Это относилось к Гонзаку, который послушно отвернулся. Роэна целилась долго, но в момент выстрела дуло слегка трепетало. Каждый раз, начав прицеливаться, она мягко отводила рукой волосы со лба и, выставив вперед подбородок, пристраивалась щекой к ложу особым, ей лишь свойственным, интимным движением.

Подсчет очков произвел Давенант, считая явно пристрастно, так как одно отверстие на линии 250—125 объявил за 250, чем удивил и насмешил девушку.

— Вы очень добры, Давенант,— сказала она,— только мне это не нужно. Скиньте-ка сто двадцать пять.

Оказалось, после придирчивой проверки Элли и Тортона, что Рой настреляла пятьсот пятьдесят.

— О, неплохо! — сказал Футроз.— Тем более что в прошлый раз бедняга успокоилась на ста пятидесяти.

— То-то! — вскричала Рой, кружась и помахивая ружьецом.— Кому страдать? Тортон, вам.

— «При всеобщем глубоком молчании,— сказал Гонзак,— атласский стрелок вогнал пулями гвоздь на расстоянии пятисот метров».

— Хорошо смеется последний,— ответил Тортон.

Он взял ружьецо в левую руку и, вскинув его, как пистолет, то есть не прикладывая к плечу, выстрелил с вытянутой руки.

— На круге с цифрой 500,— заявил он, всмотревшись, затем выстрелил с правой руки.

— Только две руки,— пытался пошутить Гонзак, которому стало завидно.

— Нам хватит. Ха-ха!

Беря поочередно ружьецо правой и левой рукой, Тортон швырнул свои пульки в мишень и раскланялся на все стороны, как актер у рампы.

— Какова наглость! — сказала Титания.

— Вы, Титания, должны перечеркнуть мои попадания,— строго заявил Тортон,— так как высмеивали меня, пока я наблюдал ваши горделивые упражнения.

Закусив губу, Титания взяла карандаш и пошла к мишени.

Тортон выбил девятьсот двадцать очков, не попав в центр, и все ахнули; но обнаружился заговор.

— Это случайно,— сказала Рой, с состраданием смотря на опешившего стрелка,— это не более как счастливая случайность.

— Понятно, случайность,— поддержал Гонзак.

— Дикий, нелепый случай! — ввернула Тита Альсервей.

Футроз смеялся.

— Папа, отчего ты смеешься? — спросила Элли, втянув щеки и рассматривая Тортона унылыми большими глазами.— Тортон ошибся. Он не хотел попасть. Правда ведь, вы не хотели этого?

— А ну вас! — яростно вскричал Тортон.— Девятьсот двадцать. Чего же еще?

— Но не полторы тысячи,— заметила Титания.

— Тортон, не огорчайтесь,— утешила его Рой,— в следующий раз вы попадете по-настоящему, добровольно.

— О мелкие, завистливые душонки! — взревел Тортон.

Его подразнили еще и оставили в покое.

— Факт тот, что я получу приз,— объявил он и уселся с торжеством на диване.

Следующим выступил Гонзак. Он стрелял, сардонически улыбаясь, скверно попадал и был так пристрастен к себе, что его триста очков пришлось пересчитывать несколько раз. Вдобавок он уверял, что ему подсунули патроны с наполовину отсыпанным порохом.

— Давенант, вам,— сказал Футроз.— Боюсь, что после Тортона вы в безнадежном положении, как и я.

Давенант увидел черные глаза Рой, стесненно взглянувшей на его замкнутое лицо.

— Давенант! Пожалуйста, Давенант! — закричала Элли.

— Что вы хотите? — спросил он, улыбаясь в тумане, где блестели направленные на него глаза всех.

— О Давенант! Я хочу...— Элли зажала рукой рот, а другой рукой тронула завернутое в газету.— Будьте только спокойны.

— Будьте, будьте спокойны! — крикнули остальные.

— Я не знал, что судьи пристрастны! — сказал Тортон.

— Судьи как судьи,— заметил Гонзак.— А еще говорят, что женщины должны занимать судейские должности.

— Тише! — сказала Рой.

Став на место, Давенант так взволновался, что у него начали трястись руки. «Неужели я хочу быть первым?» — подумал он, сам удивляясь, как страстно стремится получить таинственный приз. Он видел, что его напряжение передалось всем. Пылким волнением своим он невольно заставлял ожидать странных вещей и должен был оправдать ожидание. Он испугался, замер и начал прицеливаться. Едва он начал брать прицел и увидел за острием мушки черные круги, напоминающие поперечный разрез луковицы, как испуг исчез, а мишень начала приближаться, пока не очутилась как бы на самом конце дула, которое упиралось в нее. Он

подвел мушку к нижней черте центральной точки и увидел, что ошибется. Свойства ружья были в его душе. Он видел мушку и цель так отчетливо, как если бы они были соединены с его пальцами. Почувствовав, что ошибся, Давенант увел мушку к левой черте центральной точки и снова ошибся, так как теперь пулька должна была пробить круг с цифрой 500. Он не знал, почему знает, но это было именно так, не иначе. Тогда, заведя мушку на правый край точки, немного ниже ее центра, а не в уровень с ним, и не чувствуя более сомнений в руке, палец которой прижимал спуск, Давенант, сам внутренне полетев в цель, спустил курок и увидел, что попал в центр, так как на нем блеснуло отверстие. Ничего не видя, как только отверстие, охваченный холодным, как сверкающий лед, восторгом и в совершенной уверенности, делающейся мучительной, как при чуде, Давенант выпустил остальные пули одна за другой, ловя лишь то сечение момента, в котором слышалось «так», и, ничего не сознавая, пошел к мишени, дыша, как после схватки, с внезапным сердцебиением.

— Ура! — вскричала Рой, первая подбежав к мишени, и, оборотясь к Давенанту, схватила его за плечи, толкая смотреть.— Видите, что вы наделали?

— Что там? — крикнул заинтересованный Футроз.

— Он попал в тысячу! — воскликнула Элли.

— Все в центре,— сказала Титания тоном вежливого негодования.

Футроз встал и пошел смотреть. Давенант, молча улыбаясь, оглядывался, наконец подошел и остановился против мишени. Это был действительно подвиг со стороны начинающего стрелка. Два отверстия даже слились краями, образовав подобие гитары, третье было чуть ниже и четыре прочих у самого края центрального кружка с внутренней его стороны.

Это полное и неожиданное торжество Давенанта собрало всех возле него. Элли трясла его руку, Рой взяла от него ружье и поставила к стене, Гонзак, часто мигая, смотрел на победителя в упор, а Тортон, подавив зависть, спросил:

— Как это могло быть? Стало быть, вы рекордсмен?

— Ничего подобного,— ответил Давенант, которого общее волнение привело в замешательство.— Я вам

расскажу. Я стрелял всего несколько раз в жизни, не лучше, чем Рой...

— Благодарю вас,— сказала девушка, насмешливо приседая.

— О, я не хотел...— встревожился Давенант, но, получив успокоительный знак, продолжал: — Стрелял скверно, а сегодня на меня что-то нашло. Я сам не понимаю, поверьте, я удивлен не менее вас.

— Я знаю это чувство, Давенант,— сказал Футроз.— Голова горит и под ложечкой истерический холодок?

— Пожалуй.

— А вы очень хотели? — серьезно спросила Роэна, приказывая взглядом ответить так же серьезно.

— Да, очень,— сознался Давенант и вспыхнул.— Однако все хотели этого.

— Вы правы. Получайте ваш приз. Кто угадает, что здесь такое?

Говоря так, она взяла сверток и, видя, что Гонзак нагнулся, дала ему понюхать.

— Духи? — сказал он.

— Что-о-о?!

— Часы с надписью? — сказал Тортон.

— Рой, покажи им! — вскричала Элли.

— Разумеется, не надо мучить Давенанта,— заметил Футроз.

Тиррей получил сверток и застенчиво развернул его. Там оказался маленький серебряный олень на подставке из дымчатого хрусталя. Олень стоял, должно быть, в глухом лесу; подняв голову, вытянув шею, он прислушивался или звал — нельзя было уразуметь, но его рога почти касались спины. Оленя девушки нашли среди вещиц, оставшихся после матери.

— Серьезный приз,— сказал Футроз, о чем-то задумываясь.

— О, я не ожидал, что это так хорошо! — наивно восторгался Тиррей.

— Теперь вы владеете оленем,— сказала Элли, видя удовольствие, с каким Давенант принял хорошенькую безделушку.

Почти вслед за вручением приза Титания уехала домой, сопровождаемая Гонзаком и Тортоном. Давенанту не хотелось выходить с ними, и он задержался, однако, узнав, что уже двенадцатый час, тоже наконец встал. Если бы было можно, он просидел бы до утра.

— Вот что,— сказала Рой,— хотите выйти таинственно? Так будет хорошо после всего. И это к вам идет. У нас есть в саду Сезам, а ключ от Сезама папа носит с собой.

— Да,— сказал Футроз, сдерживая зевоту,— ключ этот сделан из меча Ричарда Львиное Сердце, закален в крови дракона и отпирает дверь только при слове: «Аргазантур».

— Ну-ка, давай нам «Аргазантур»! — Элли протянула руку: — Тампико, дай!

— Может быть, Давенант предпочитает ту дверь, которой вошел?

— Не отвечайте ему,— приказала Рой,— папа вас собьет. Ключ взяла, Элли?

Горничная принесла шляпу Тиррея. Он простился с Футрозом и вышел через террасу в сад.

Девушки шли рядом с ним, шаля и смеясь. Лиц их он не различал. Очаровательный темный путь в старом саду был полон таинственно-чистого волнения. Давенант шел совершенно счастливый; было бы ему еще лучше, если б он остался сидеть здесь, когда все уснут, под деревом, до утра.

Они свернули, прошли среди кустов к стене, где была высокая ниша, запертая железной калиткой. Из-за нее, с переулка, слышались езда и шаги.

Рой стала отпирать, но не смогла и уронила ключ в траву. По звуку падения ключа Давенант немедленно отыскал его, накрыв ключ рукой.

Едва он вскричал: «Нашел!» — как две остывшие от росы девичьи руки ткнулись об его руку и сжали ее.

— Я нашла, но вы первый схватили.— Рой попыталась отодвинуть его пальцы, вместо них ей попалась рука Элли.— О,— сказала она,— где же ваша рука?

— Она тут.

— Вот она, под моей! — Элли сильно придавила руку Тиррея.— Я уже коснулась ключа, Рой, честное слово, а он схитрил!

Три руки лежали в сырой траве, взаимно грея друг друга, наконец ключ каким-то путем оказался у Рой, и она с торжеством вскочила.

— Позвольте, я открою! — предложил Давенант.

— Ну, открывайте. «Аргазантур»! — раз!

— «Аргазантур»! — два! — пискнула Элли.

— И «Аргазантур»! — три! — сказал Давенант, одолевая тугой замок.

Он оттянул железную дверь и вышел, но, обернувшись, остановился.

— Идите, идите! — закричали девушки и, прикрыв калитку, договорили в щель: — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи! — ответил Давенант.

Замок щелкнул.

«Теперь они поспешно бегут назад», — подумал Тиррей и по дороге из лучей и цветов пошел домой.

ГЛАВА V

Как всегда, Давенанту открыла дверь старуха Губерман, стремившаяся подсмотреть, не целует ли жилец у порога какую-нибудь девицу. На этот раз другое было в ее уме, а Тиррея ожидало событие настолько скверное, что, знай он о нем, он предпочел бы вовсе не являться домой.

В серых глазах Губерман таилось нестерпимое любопытство, жажда нюхать, грызть чужую жизнь. Глубокомысленно и лицемерно вздохнула она, открыв дверь. Схватив жесткой лапой плечо Давенанта, старуха стала шептать:

— Бедный мальчик! Мужайтесь! Бог послал вам радость! Он пришел, ждет вас уже два часа в вашей комнате. Он такой жалкий, несчастный. Соберитесь с силами.

— Кто ждет? — тревожно сказал Давенант, бессмысленно подумав о Галеране и отстраняясь, так как старуха дышала странными словами своими прямо ему в лицо. — Скажите, кто пришел? Разве пришел?

— Боже, помоги ему! Ваш отец!

— Не может быть!

— Ах, не волнуйтесь так! Провидение ведет нас. Ступайте, ступайте к отцу!

Давенант бросился вперед и открыл дверь.

У стола сидел оборванный седой человек с тяжелым, едким лицом, подвыпивший и сгорбленный. Встав, он патетически протянул руки.

Губерман медленно закрывала дверь, не в силах отойти от нее.

— Сын?! — сказал неизвестный.

Давенант отшатнулся. Он узнал исполнителя тюремных песен в ресторане на Лунном бульваре. Слово «сын» убило его. Чувствуя внимание сзади себя,

Давенант повернулся к двери, где красный, слезящийся нос Губерман таился в тени.

— Прочь! — сказал он. Дверь дернулась и захлопнулась.

— Какой сын? — спросил Давенант.— Кто вы?

— Значительный момент! — ответил оборванец.— Мой сын — ты, Тиррей Давенант. Я — твой отец.

— Я думал, вы умерли,— произнес Давенант, теряясь и дрожа, как в ожидании приговора.— А впрочем, чем вы это докажете?

— Неприятно? Да? — сказал Франк.

— Я не знаю. Что я могу сделать?

Франк пожал плечами.

— Я тоже ничего не могу сделать,— заявил он.— Значит, встреча не вышла. Я должен был явиться в автомобиле. Самое неблагодарное дело — это представлять себе встречу после многих лет. Чего ты дрожишь?

— Я хочу доказательств,— с отчаянием сказал Тиррей, хотя инстинкт родства и воспоминания о портретах отца установили горькую истину, которой противился он всем существом. Перед ним стоял не мечтатель, попавший в иной мир под трель волшебного барабана, а грязный пройдоха.

— Вы пели в саду, как нищий,— сказал Тиррей.— А теперь пришли.

— Ах, вот что? Так ты меня видел, но не узнал? Будь ты проклят! — зашипел Франк, теряя охоту разыгрывать нравственное волнение.— Я привык обедать, понимаешь? Одним словом, мы познакомились. Когда-то ты был пятилетним. Те твои черты проглядывают даже теперь. Забавно! Ты куда? Мы еще только начали говорить.

— Мне нужно,— сказал Тиррей, сам не зная, зачем стремится выйти.— Я скоро вернусь.

— В таком случае принеси мне бутылку вина. Деньги есть? Мне кажется, что ты вырос бесчувственным. Так вот, смотри и смирись: я твой отец.

Тиррей тупо взглянул на него и вышел без шляпы в коридор, где, забыв направление, приблизился к раскрытым дверям гостиной. Там, за столом, сидел Губерман с женой. Раскрыв рты, были оба они — слух и внимание. Заметив жильца, Губерманы дернулись встать, но удержались, воззрясь на Тиррея так пристально, как если б он шел по канату. Отрицательно качнув головой

в знак, что ошибся, Давенант отыскал выходную дверь и очутился на улице.

Ему некуда было уйти, нечего было делать среди громкого разговора прохожих. Он тоскливо открыл дверь, желая вернуться, но вспомнил о вине и перешел улицу; затем некоторое время стоял в магазине среди суеты покупателей, тягостно отвлекавшей его от созерцания боли, ударившей так бесчеловечно. Впечатление вечера у Футроза еще билось, как нервный тик, в его душе, но те чувства уже исчезли; возвращение отца сыграло роль предательского удара, после которого столкнутый в воду стремится не к радостям береговой прогулки, но только к спасению.

Тиррей вернулся, стараясь ободриться и твердя: «Все-таки ведь он мой отец!» Но значение этих слов только еще больше угнетало его. Отчасти выручило Тиррея естественное любопытство — печальное любопытство узника, больное сознание которого после звука ключа в дверях камеры, устанавливающего погребение заживо, начинает постепенно интересоваться устройством камеры и видом из окна сквозь решетку.

Давенант вернулся, впущенный на этот раз прислугой, так как даже старуха Губерман не решилась еще раз увидеть сокрушенное лицо жильца, в комнате которого происходила такая редкая и тяжелая сцена.

— Я принес вино,— сказал Давенант, ставя на стол бутылку.— Как вы меня нашли? Вы должны знать, что я вас почти не помню. Теперь, глядя на вас, я что-то припоминаю. Вам не везло? Зачем вы бросили нас?

За время короткого молчания Франка Тиррей внимательно рассмотрел его, усевшись на стуле в углу комнаты. Бродяга, отрывисто, но пристально наблюдая за сыном, хранил среди грязных своих усов затяжную улыбку, метившую выражение его лица дикой и тонкой, совершенно не отвечающей моменту двусмысленностью. Его старое кепи из темного шевиота валялось на столе подкладкой вверх, и в этом кепи лежала круглая жестянка с табаком. На ее крышке была изображена голая женщина с роскошными волосами. Одетый в рваную матросскую фуфайку, когда-то синей, а теперь грязно-голубой фланели, ластиковые черные брюки, заплатанные на коленях квадратами, вшитыми старательно, но криво, как штопают мужчины, вынужденные судьбой носить в кармане иголку и нитки, Франк Давенант, согнувшись, сидел у стола.

За расстегнутым воротом его фуфайки торчали обрывки белья, цвета трудно вообразимого. На его ногах были старые кожаные калоши. Разговаривая, он достал трубку с обгрызанным черенком и набил ее смесью сигарных окурков, собранных на улице. Вдавив табак в трубку желтым, как луковая шелуха, ногтем большого пальца, отец еще раз взглянул на сына поверх поднесенной к трубке горящей спички, отбросил ее и, обратясь к бутылке, вытащил пробку штопором своего складного ножа. Давенант подал стакан.

— О Боже! Что с вами было?—спросил Тиррей, содрогаясь от печали и злобы.

— Я пал.—Франк выпил стакан вина и обсосал усы.—Так говорят, так ты услышишь, таково ходячее мнение. Но я прежде скажу, как я тебя разыскал. Видишь, Тири...

При этом уменьшительном имени «Тири», каким звала его всегда мать, Тиррей ощутил подобие терпимости. Возвращение Франка начало принимать реальный характер. Заметив его чувства, Франк повторил:

— Да, Тири, это я выдумал тебе такое имя. Корнелия хотела назвать тебя Трери... Впрочем, все равно... Так вот, я зашел в дом, где мы жили тогда. Там еще живет Пигаль, его должен ты помнить: он однажды подарил тебе деревянную пушку. Ну-с, он больше не служит в управлении железной дороги, а так... Хотя... Да, о чем это я? Его дочь служит в банке. Ах да! Так вот, он мне рассказал, что ты возишь тележку у Гендерсона, а Гендерсон направил меня к Кишлоту. Итак, ты сразу стал заметен на горизонте моих поисков.

— Кишлот узнал от вас, что вы... Что я ваш...

— А как же иначе? Он посвятил меня в твои дела. Фаворит?! Как это тебе удалось? Тири, смышленый тихоня, ведь ты поймал жирную кость и можешь заполучить богатую жену, разве не так? Которая же из двух? Одна созрела... Хотя как ты должен быть до конца умен, чтобы стебануть этот кусочек! Родители твоей матери ни черта не дали за Корнелией, и оттого мои дела пошатнулись... Хотя... Да, я все-таки любил эту бедную большеглазочку, твою мать, однако меня ограбили.

Слушая речь отца, в которой остаток прежней манеры, выражаемой голосом, еще не совсем разучив-

шимся соединять мысль с интонацией, так странно аккомпанировал смыслу слов, Давенант замер. Его охватило развязным смрадом.

— Так с этим вы пришли ко мне? Вы, отец? — крикнул Давенант, сдерживая слезы гнева.— Не смейте говорить ничего такого ни о Футрозах, ни о матери! Я только что пришел от Футроза. Там было мне хорошо, и никогда, никогда,— слышите вы, отец? — никогда не было так хорошо, как там! Но вы этого не поймете. А я не могу рассказать, да и не хочу,— прибавил он, исподлобья рассматривая Франка Давенанта, который, тяжело полузакрыв глаза, слушал, ловя в этих словах сына черты характера, могущие пригодиться.

— Слышу, сын,— едко ответил Франк.— Вначале я думал, что ты не сентиментален. Это скверно. Впрочем, мы еще только начали наше сближение. Там увидим.

— Я не вещь,— сказал Давенант.— А что вы хотите сделать?

— Ха-ха! Ничего, Тири, решительно ничего.

— Зачем вы вернулись?

— Милый, я здесь проездом из Гель-Гью. Я, собственно говоря, не понравился капитану «Дельфина», так как доказал ему, что, с юридической точки зрения, отсутствие билета не есть повод считать меня выбывшим из числа пассажиров. Я хотел выдать ему письменное обязательство об уплате сроком на один год, но эта скотина только мычала. Зачем я вернулся? Я не вернулся, Тири. Того человека, который одиннадцать лет назад ушел из дома, чтобы разбогатеть в чужих краях и приехать назад богачом, больше нет. Я — твой отец, но я не тот человек.

— Чтобы разбогатеть?

— Да. Романтический порыв. Я написал Корнелии. Разве она не получила моего письма? Я не имел ответа от нее.

— Письма не было,— сказал Тиррей.— Мне все известно: как вас разыскивали, как... Не было, не получалось письма.

— Ну, тогда это письмо пропало. Правда, я поручил бросить его в ящик одному человеку... Ага! Он мог, конечно, потерять письмо. Но, как бы там ни было, я счел себя преданным проклятию. А я знал силу характера Корнелии, я знал, что она мужественно

перенесет два-три года, за что будет вознаграждена. Но... да, мне не везло. Хотя... Время шло. Я встретил другую, и... таким образом, жизнь распалась.

Франк Давенант лгал, но Тиррей скорее мог поверить такой версии, чем — по незнанию лишаев души — истинной причине странного поступка отца. Франк ушел из болезненного желания доказать самому себе, что м о ж е т уйти. Такое извращение душевной энергии свойственно слабым людям и трусам, подчас отчаянно храбрым от презрения к собственной трусости. Так бросаются в пропасть, так изменяют, так совершаются дикие, роковые шаги. Это самомучительство, не лишенное горькой поэзии слов: «пропавший без вести», — началось у Франка единственно головным путем. Немного больше любви к жене и ребенку — и он остался бы жить с ними, но его привязанность к ним благодаря нетрезвой жизни, темной судейской практике и бедности приобрела злобный оттенок; в этой привязанности таилось уже предчувствие забвения. Все же ему пришлось сделать громадное усилие, чтобы решиться уйти с маленьким саквояжем навстречу пустоте и раскаянию, при том единственном утешении, что он может теперь созерцать трагический колорит этого, по существу низкого, поступка. Но т а к у ю истину Тиррей счел бы бессмысленной ложью; ничего не поняв, он остался бы в убеждении, что его отец сходит с ума. Со своей стороны, Франк опасался делать сыну эти признания. Итак, он лгал. Тиррей не верил письму, но кое-как верил в попытку разбогатеть. Давенант ничего не сказал отцу. Решив свести его в трактир, чтобы там покормить, мальчик сделал хмурое соответственное предложение.

— Ты добр, это тоже... гм... не совсем хорошо... Хотя... Я действительно хочу есть. Так ты богат, плут? А знаешь, ведь ты красивый мальчик, Тири! Покажи, сколько у тебя денег?!

— Вам надо денег?

— Дай, дай мне денег! Я хочу денег!

— Возьмите. — Тиррей подал ему золотую монету.

— Благословенный кружок! Как давно я не видал тебя! — вскричал отец, запрятывая с довольным видом деньги в грудной карман блузы. — Цыпленок, так ты несешь золотые яйца? А что будет, когда ты пойдешь к Футрозу со мной, когда я разжалоблю его своей судьбой! Хо! У меня планы, я могу...

— О Футрозах забудьте! — дрожа, сказал Тиррей.— Не делайте меня несчастным! Ведь все кончится, я уже буду не тот! Поймите, если вы мой отец!

— Ну, ну, хорошо, идем, это я так, от радости... Хотя... Я ночую у одного типа, он ходит в трактир «Хобот», туда ты меня и веди.

Нахлобучив кепи и сунув табачную коробку в карман брюк, Франк Давенант, тяжело опершись ладонью о край стола, поднялся и вышел за Тирреем, егозливо кланяясь старухе Губерман, вылетевшей на звук шагов с последними осведомительными надеждами. Несколько спесиво она сказала бродяге:

— Спокойной ночи, идите, идите, я вас понимаю, сама — мать, все устроится к лучшему. А вас, молодой человек, когда назначите ждать? Уже полночь.

— Я приду утром,— неожиданно ответил Тиррей.

— Разумеется, мы проговорим всю ночь! — подхватил Франк.— Простите, я утомил вас разговором, долгим ожиданием... Но вот мой мальчик, мой Тири, я нашел его. Твой старый отец всегда болел душой о тебе, Тири. Да, это так. Чудо! Все это — чудо, я говорю.

Тиррей, вспыхнув, вышел. Франк, охмелевший и ободрившийся, быстро догнал его, начав просить сына, чтобы тот ничего не говорил Губерманам о его истинной судьбе.

— Так как,— сказал Франк,— сам понимаешь, она не поила бы меня кофе. А она поила меня. Я заплатил ей жалобами на коварство людей и рассказал, что вынужден был скрыться из дома ради счастья своей жены, которая, то есть Корнелия, будто бы любила другого, так вот, я «сошел с дороги» и... так далее. Я врал... ничего. Я сам слушал себя с удовольствием. Она еще пригодится нам, эта старуха.

По дороге он останавливался у освещенных витрин запертых магазинов, разглядывая дешевые костюмы, как человек с деньгами, иногда бормоча:

— Да, да, мог бы теперь купить вот этот пестренький, если бы сын немного добавил мне. Главное — башмаки. Вот хорошие башмаки, видишь, Тири? Они дешевы. Из того, что ты дал, могу купить башмаки и носки. Ну, идем. Город дьявольски разбогател за одиннадцать лет!

Они шли кратчайшим путем, через падающие лестницами переулки, к порту, вблизи которого находился

«Хобот». Вывеска, загнутая над входом с угла по обе стороны фасада, изображала голову слона; в поднятом хоботе торчал рог изобилия. За первой, большой, комнатой, пахнущей, как рынок в сырой день, и ярко освещенной, где металось множество жалких или бесчеловечных лиц, объединенных подобием общего крикливого возбуждения, находилась комната поменьше. Тиррей увидел человека в грязной белой рубашке, с постным лицом и толстой нижней губой; его влажные глаза, поставленные на треугольники подглазных мешков, светились пьяным смехом.

Франк Давенант направился к этому человеку, который, почесав шею, молча осмотрел Тиррея с ног до головы и сказал:

— Что, Франк, разыскали сыночка? Вот это он самый? Трагедия отцов и детей! Судя по его костюму, ты будешь спать сегодня в кровати с балдахином!

— Не дурачьтесь, Гемас,— ответил бывший адвокат, садясь на табурет у стола и оглаживая лицо рукой.— Присядь, Тири. Итак, ты угощаешь меня? Угости заодно Гемаса. Он — замечательный человек, Тири, некогда он задавал тон.

— Бывали деньки! — сказал Гемас.— Христина!

Появилась служанка, считая в руке деньги. Она рассеянно взглянула, увидев три пальца Франка, поднятые вверх, и, кивнув, принесла три фаянсовые кружки белого вина, после чего Франк потребовал две порции котлет, а Тиррей отказался есть.

— Выпьешь, Тири? — обратился отец к сыну.

Туман отчаяния так стеснил дыхание Давенанта, что, захотев вина, он кивнул и сразу выпил полкружки. Франк пристально посмотрел на него, но, убедясь, что в поступке сына не кроется ни вспышки, ни выходки, взглянул с усмешкой на Гемаса. Тот значительно опустил веки. Приятели усердно ломали котлеты кривыми вилками, запивая еду вызывающим изжогу дешевым вином.

Тиррей выпил еще. Стало спокойнее на душе, лишь в картинном безобразии ярко освещенного пьяного трактира тревожно проплывали красно-желтые оттенки гостиной Футроза, а хохот женщин вдали преступно напоминал о ясном смехе Элли и Рой.

— Как же ты жил, мальчик? — спросил Франк, кончив есть.— Понимаете, Гемас, все это — как встреча во сне. Рассказывай!

— Вы не очень помнили о нас, так что же спрашивать?

— О, смотри, пожалуйста... Ну, а все-таки?

— Жили,— сказал Тиррей.— Жили так и этак. Бедствовали. А что?

— Ваш сын прав,— заявил Гемас.— Сразу обо всем не переговорить. Я слышал — вам повезло? — обратился Гемас к юноше тоном игривого участия.— Вы пользуетесь покровительством влиятельных лиц?

Тиррей хотел резко ответить Гемасу, но его предупредил Франк, сказав:

— Не торопитесь, Гемас. Я сам. Тири, хочешь ты мне помочь?

— Говорите,— сказал Тиррей.— Я не знаю, о чем вы думаете.

— Милый, это так просто. Поговори обо мне с Футрозом. Скажи, что вот неожиданно нашелся твой отец, раздетый, разутый... Ты потрясен. Ну, короче говоря, сказать ты сумеешь. Отец, скажи, был конторщиком на чайных плантациях, заболел, полтора года пролежал в больнице и обнищал. Мы это разработаем подробнее. В таком случае...

— Напрасно надеетесь,— перебил Тиррей.— Я никогда не сделаю этого. Я не могу.

— П-сс! — удивленно отозвался Гемас.

— Как это — «не могу»? — сказал Франк.— Почему не можешь?

Тиррей, хмурясь, молчал, смотря вниз.

— Ты не хочешь,— вздохнул Франк,— не хочешь из-за дурацкого твоего упрямства. Послушай, ведь тебе не наносят вреда, наоборот, ты выиграешь, являясь заботливым сыном. Да я клянусь тебе, что Футроз сам захочет меня увидеть, когда ты сообщишь ему о таком происшествии!

— Не знаю,— с трудом ответил Тиррей.— Говорите что хотите. Я не скажу ничего Футрозу, я лучше умру. Не заставляйте меня сказать вам что-нибудь еще, вам будет нехорошо.

— Так вот как... — медленно сказал Франк.— Неужели ты не понимаешь, что твой удачный случай послан судьбой для меня, а не для тебя?

— Вы слышали мой ответ. Ничто не поможет.

Гемас с презрением осмотрел Тиррея и помахал кружкой. Служанка наполнила опять все кружки, и Франк залпом выпил свою, держа ее трясущейся от гнева рукой.

— Ну хорошо,— заявил он, посасывая усы.— В таком случае я сам отправлюсь к Футрозу.

— Хорошо, что вы это мне сказали,— твердо произнес Тиррей, и его полные слез глаза ответили испытующему, прищуренному взгляду отца таким отчаянным вызовом, что Франк сунул руки в карманы и откачнулся на стуле с бесшабашным видом, сказав:

— Ну-ка, заплачь в самом деле, чувствительный идиот.

— Если вы пойдете к Футрозу,— продолжал Тиррей,— то я предупрежу вас. Я скажу, чтобы вас не принимали. Я расскажу о встрече на Лунном бульваре и о том, кто вы теперь.

Наступило молчание. Гемас, ухмыляясь, водил по столу пальцем в лужице пролитого вина, а Франк Давенант задумчиво набивал трубку, иногда внезапно взглядывая на сына, который в свою очередь рассматривал его так, как смотрят на упавшую и разбитую вещь.

— Кто же это — «я», да еще «теперь»? — иронически спросил Франк.

— По-видимому, вы — преступник,— не задумываясь, ответил Тиррей.— Не ошибусь, если скажу, что вы сидели в тюрьме. Я все понял.

— Договорились! — сказал Гемас.

Франк медленно поднял брови; скорбная и коварная улыбка перекосила его изменившееся лицо.

— Тири, я виноват,— произнес он с торжественным выражением.— Я забыл разницу наших жизненных опытов. Бог с тобой. Завтра утром я к тебе загляну.

— Не приходите ко мне. Где-нибудь в другом месте.

— Ах так? Хорошо... Хотя... Тогда приходи сюда.

— В какое время?

— Приходи утром, к десяти часам.

— Сказано. Я приду.

— Отлично, сынок. Поговорим подробно; узнаешь, как я жил... как ты... Предадимся воспоминаниям. Уходишь? Ну, а мы еще посидим немного, две старые калоши... Хе-хе!

Тиррей заплатил служанке и, кивнув, направился к гавани, чтобы ходить там до полного изнурения — идти домой спать он не мог. Больше того, казалось ему, что он никогда уже не захочет спать.

Бесцельно огибая углы подозрительных переулков или сидя на каменных лестницах скверов, Давенант

с тоской ожидал рассвета, чтобы пойти к Галерану и все ему рассказать. Он верил, что Галеран выручит его. Угроза Франка вымогать у Футроза, объявив себя отцом, убивала Тиррея. Отношение к нему этой семьи должно было неизбежно стать осторожным и недоверчивым. Тиррей отлично понимал разницу между горячим сочувствием к нему лично и необходимостью, навязанной — ради него — сочувствовать разнузданному пройдохе, усмотревшему в своем сыне доходную статью. Довольно было Футрозам узнать о существовании Франка Давенанта, чтобы Тиррей не решился более показаться им на глаза. Скрывать, скрывать и скрывать должен был он возвращение своего отца, и он решил утром просить Франка, ради памяти матери, умолять и просить, если понадобится, на коленях, чтобы отец оставил свою затею. С помощью Галерана Тиррей надеялся достать немного денег на отъезд Франка в другой город и уговорить отца, чтобы тот сел в поезд или на пароход.

В таких размышлениях, перебиваемых изредка печальным боем часов, прошла страшная ночь, и, когда рассвело, Давенант поспешил к Галерану, но узнал там, что Галеран дома не ночевал. Впервые мысль об особости каждой человеческой жизни, преследующей свои интересы и не обязанной знать, как страстно ждет от нее спасения другой человек, предстала Тиррею со всей безвинной горечью ее смысла. Растерявшись,— так как только теперь ощутил, как одинок он со своей бедой,— Давенант отправился разыскивать Галерана по улицам, все надеясь, что встретит его высокую фигуру среди ей подобных фигур. Устав оглядываться во все стороны, Давенант наконец пришел домой, и, недовольная ранним звонком, впустила его заспанная служанка. Он вошел в свою комнату с таким чувством, как будто не был в ней несколько лет. Пустая бутылка от вина и окрашенный вокруг донышка закисшим вином стакан источали тленный запах. Тут сидел отец, тут Давенант угощал его. Задернув занавеску окна, так как ослепляющие лучи солнца обманывали, сияя без утешения, и грели, не согревая, измученный Давенант лег на кровать, почти тотчас уснув. Когда пришло время, служанка внесла кофе и разбудила спящего, он сказал: «Хорошо»,— опять уснув так же крепко, без сознания своего краткого пробуждения. Все время ему снился отец, и он говорил с ним о тяжелых вещах.

Наконец Давенант проснулся. Вскочив, он старался понять смысл тревоги, овладевшей им, но не сразу вспомнил о том, что случилось вчера. Кофе давно остыл. Взглянув на часы, Тиррей спохватился, так как приближался полдень.

Мучаясь страхом, что, устав ждать в «Хоботе», отец с минуты на минуту может явиться сюда, да еще, может быть, не один, а с Гемасом, Тиррей начал торопливо застегиваться. Схватив шляпу, искал он глазами сам не зная чего, твердя:

— Только бы выйти в дверь... Вот-вот раздастся звонок...

Действительно раздался звонок, и Тиррей услышал его в момент, когда открывал дверь своей комнаты. Оцепенев, он немедленно снял шляпу и отошел к столу, зная уже, что пришел Франк Давенант. Он слышал его лебезящую благодарность старухе Губерман, шаркавшей своими туфлями в передней, и ее лживые вздохи. Тогда Тиррей открыл дверь, не дожидаясь стука, и Франк уверенно вошел в комнату с небрежным пьяным жестом, которым как бы приглашал мир раскрыться перед его благодушием.

С первого взгляда Тиррей заметил, что отец пьян как стелька и, вероятно, не спал. Хотя был он выбрит, умыт, его старое, в красных жилках лицо по-прежнему не внушало никакого доверия.

— Я ждал,— сказал Франк, беря обеими руками руку сына и похлопывая ее.— Должно быть, ты проспал? Ну конечно, вид у тебя заспанный. Что, Тири, как?! Ты очень рассердился вчера?

— Да, я проспал, но...

— Но что, мол, делать, раз явился этот негодный старик отец?! Ха-ха! Мы с Гемасом здорово выпили вчера. Знаешь, ты ему понравился. Это человек с головой. Он говорит: «Я понимаю вашего сына, но он летит и будет лететь, как бабочка на огонь, пока не спалит крылья». И — добавлю я сам — пока, корчась и издыхая, не проклянет все лукавые огни мира!

Тиррей налил себе стакан холодного кофе, затем выпил залпом, без сахара, терпкий напиток, чтобы хотя немного отогнать угнетение.

— Будете ли вы пить холодный кофе?— спросил Тиррей.— А вина у меня нет.

— Кофе? Едва ли... Хотя... потом я выпью вина. Я уже ел, Тири. Ну вот, я сяду. Слушай, Тири, ты почти

взрослый человек, и я хочу коснуться, заметь — только коснуться, так неудачно поднятого вчера вопроса о Футрозе и его славных малюточках. Однако... не в том дело... Хотя... Но, видишь, я должен высказаться.

— Да, вы должны высказаться,— с горечью заявил Тиррей.— Поверьте, я буду вас слушать очень внимательно.

— Ах так? Чудесно.— Франк достал табак.— В таком случае закурим старую добрую трубку житейского мудреца. Я, Тири, стал мудрецом. Да, прошлое, добренькая бестолковая Корнелия, надежды выдвинуться, разбогатеть — все это теперь для меня как что-то хорошее, бренькающее, но почти нереальное. Есть два способа быть счастливым: возвышение и падение. Путь к возвышению труден и утомителен. Ты должен половину жизни отдать борьбе с конкурентами, лгать, льстить, притворяться, комбинировать и терпеть, а когда в награду за это голова твоя начнет седеть и доктора захотят получать от тебя постоянную ренту за то, что ты насквозь болен, вот тогда ты почувствуешь, как тебе досталась высота положения и деньги, конечно. Да, так ради чего же ты так искалечился? Ради собственного дома, женщин и удовольствий. Еще можешь утешаться тем, что несколько ползущих вверх дураков будут усердно твердить твое имя, пока не подползут усесться либо рядом с тобой, либо еще повыше. Тогда они плюнут тебе на голову. Понимаешь, о чем я говорю?

— Я понимаю. Вы — неудачник.

— Неудачник, Тири? Смотри, как ты повернул... Ты ошибся. Мой вывод иной. Да, я неудачник — с вульгарной точки зрения,— но дело не в том. Какой же путь легче к наслаждениям и удовольствиям жизни? Ползти вверх или слететь вниз? Знай же, что внизу то же самое, что и вверху: такие же женщины, такое же вино, такие же карты, такие же путешествия. И для этого не нужно никаких дьявольских судорог. Надо только понять, что так называемые стыд, совесть, презрение людей есть просто грубые чучела, расставленные на огородах всяческой «высоты» для того, чтобы пугать таких, как я, понявших игру. Ты нюхал совесть? Держал в руках стыд? Ел презрение? Это только слова, Тири, изрекаемые гортанью и языком. Слова же есть только сотрясение воздуха. Есть сладость в падении, друг мой, эту

сладость надо испытать, чтобы ее понять. Самый глубокий низ и самый высокий верх — концы одной цепи. Бродяга, отвергнутый — я сам отверг всех, я путешествую, обладаю женщинами, играю в карты и рулетку, курю, пью вино, ем и сплю в четырех стенах. Пусть мои женщины грязны и пьяны, вино — дешевое, игра — на мелочь, путешествия и переезды совершаются под ветром, на палубе или на крыше вагона — это все то самое, чем владеет миллионер, такая же, черт побери, жизнь, и, если даже взглянуть на нее с эстетической стороны,— она, право, не лишена оригинального колорита, что и доказывается пристрастием многих художников, писателей к изображению притонов, нищих, проституток. Какие там чувства, страсти, вожделения! Выдохшееся общество приличных морд даже не представляет, как живы эти чувства, как они полны неведомых «высоте» струн! Слушай, Тири, шагни к нам! Плюнь на своих благотворителей! Ты играешь унизительную роль деревянной палочки, которую стругают от скуки и, когда она надоест, швыряют ее через плечо.

Хмельной голос Франка звучал, как назойливый бред, но сам он, давно не произносивший таких длинных речей, считал взятый им тон достаточно убедительным для действия на Тиррея, который, по его мнению, не мог бы сам никогда прийти к столь яркому откровению. Притупленный алкоголем мозг Франка находился во власти примитивных расчетов.

— Стоит ли продолжать? — пытливо спросил он, видя, что Тиррей молчит.— Осталось мне сделать тебе практическое предложение, дать совет... Хотя... Одним словом, я желаю тебе добра.

— Говорите. Мне все равно.

— Ну, слушай, и пусть эта мысль несколько дней зреет в тебе. Можешь сейчас ничего не решать. У Футроза две дочери, обе хорошенькие. Одна совсем девчонка, но другая почти взрослая. Ты — прямо скажу — красивый, интересный мальчик. Если бы ты подъехал к этой... к старшей... Понимаешь? Понимаешь, какие перспективы? Если бы ты с ней тайно вступил в связь, она выманила бы у отца столько денег, сколько тебе даже не снилось... Ты знаешь, как это делается? Хочешь, я тебя научу?

На всякий случай Франк приготовился к тому, что могло последовать за его вопросом. Тиррей встал, протянул отцу его шапку и тихо сказал:

— Ступайте вон и никогда не приходите ко мне! Если бы вы не были мой отец, я задушил бы вас без всякого раскаяния. Уходи, старая сволочь!

Франк мутно взглянул на сына и бессильно свесил голову. Его ноги расползлись, рука упала со стола, тело, пытаясь держаться прямо, вздрагивало и поникало.

— Совсем раз-вез-ло,— бормотал он, притворяясь, что силится встать.— Четыре б-бу-тылки... на-то-щак... ф-фу!

— Что с вами?

— С-с-с-пать,— сказал Франк.— Пр-рости... пь-пьяного.

Поверив, что отец впал в беспомощное состояние, Тиррей задумался и тоскливо вздохнул. Гнать жалкое существо, которое свалилось бы за порогом, он не мог. Кое-как он подвел отца к кушетке и уложил его, причем Франк грузно повалился, как мертвый, и Тиррею пришлось поднимать ему ноги. Думая, что отец будет спать, по крайней мере, до вечера, Давенант еще раз отправился искать Галерана и вновь не застал его. Возвратясь, он был встречен старухой Губерман, которая сообщила ему, что Франк ушел. Она прибавила:

— Не перемените ли вы комнату? Вам будет у меня неудобно жить вдвоем, а я вам скажу один очень хороший адрес.

— Как вы хотите,— равнодушно сказал Тиррей.— Я не виноват.

Он вошел к себе и увидел раскрытый шкаф; белый костюм и белье исчезли. Внутри шкафа валялся старый пиджак Тиррея, оставленный Франком сыну только потому, что он не смог его захватить. Все остальное было обернуто им вокруг тела, под блузу. Таким образом, прислуга ничего не заметила.

ГЛАВА VI

С этой минуты Тиррей стал внешне спокоен, но его как будто ударили по глазам. Некоторое время он видел плохо, неясно вокруг себя. Он хмурился и моргал, стараясь вызвать в себе хоть какое-нибудь резкое чувство, и не мог, и сам он был как пустой шкаф. Присев, Тиррей взял со стола какую-то нитку, должно быть, оставленную Франком. Он стал обматывать ее

вокруг пальца и рвать. Так он сидел несколько времени, представляя ряд кабаков, замеченных вчера, где мог теперь настигнуть отца. Давенант решился на это с глубоким отвращением и почти без всякой надежды. Заперев комнату, чтобы никто не знал истину его положения, Давенант вышел на поиски вора и, тщательно осмотрев «Хобот», где не было ни Гемаса, ни Франка, отправился к одному углу около порта, где находилось семь питейных заведений. Потолкавшись из дверей в двери, увидел он наконец своего отца в компании Гемаса и трех скуластых бродяг в рваных шляпах. За их столом сидели две женщины. Нарумяненные ярко, до самых висков, эти пьяные фурии заволновались первыми, увидев Тиррея; догадавшись, что мальчик с потрясенным лицом — сын щедрого мецената, они сказали что-то Франку, весело разливавшему в этот момент вино. Франк взглянул, мрачно опустил веки, насупился и положил локти на стол.

— А-ха-ха! Вот потеха,— сказал Гемас, с любопытством ожидая скандала.

Все молчали, и Тиррей подошел, осматриваемый с ног до головы, как потешный враг, который скоро уйдет.

— Отец,— произнес Тиррей,— я пришел... Я должен вам сказать несколько слов.

— Уже продано! — заявил Франк.— Напрасно будешь кричать!

— Не буду кричать. Отойдите поговорить со мной.

— Гм... так лучше для тебя. Потолкуем.

Франк встал и, растолкав соседей, опрокинув табурет, вышел из-за стола к сыну. Хотя он держался с вызывающим видом, гордо подтягивая пояс и играя бровями, он не мог скрыть тревоги. Говорил он преувеличенно твердо, с выкриком, как человек, страдающий манией величия.

Отец с сыном вышли на улицу.

— Как вы могли? — тихо спросил Тиррей.

— А так, дитя мое. Почему эти вещи должны быть твои, а не мои? В самом деле! Ты заработал их? Купил? Нет! Путь, на который я тебя зову дружески, не знает жалости ни к своим вещам, ни к чужим. Так было надо, в высшем смысле, в смысле... падения и страдания!

— Пусть так,— сказал Тиррей,— мне уже мучительно говорить об этом. Но не ходите к Футрозу! Даже не пишите ему! Ради Бога!

— Непременно пойду. Тири, клянусь тебе в этом мозгами и печенкой Футроза. Задумано без промаха! Я буду бить на то, чтобы Футроз почувствовал ко мне так называемое «омерзение», чтобы он ради тебя, этакого романтика, дал мне сто фунтов отступного. И он даст! Тогда я уеду в Сан-Фуэго. Покет гнусен.

— Действительно вы тогда уедете?

— Да... А что?

— У меня, вы знаете, нет денег... Я... так спросил.

— Ну-с, вместо твоего «так» я буду говорить с Футрозом завтра утром. Это будет великолепный мрачный эскиз к картине: «Дьявольские огни падения Франка Давенанта».

Он замолчал, потом достал платок, высморкался и снисходительно посмотрел на Тиррея.

— Отец...— сказал юноша.— Кто вы?

— Сказать?

— Говорите.

— «Вас, бравый надзиратель, хочу с собой я взять. Вы будете, приятель, со мной в постели спать»,— медленно проговорил Франк, пристально смотря сыну в глаза.— Понял?

Но Тиррей понял не сразу. Поняв, он отступил и кивнул.

— Понял, слезоточивая образина?— закричал Франк.— Уходи!

Тиррей нервно смеялся, пытаясь удержать слезы, которых стыдился, как последнего унижения.

Франк сделал рукой перед своим лицом значительный жест и ушел в трактир. Развивая нелепую внезапную мысль, Давенант направился искать лавку старого платья. Он был под влиянием замысла продать свой серый костюм и выиграть сто фунтов, чтобы его отец, получив деньги, оставил город.

Тиррей разыскал лавку, сторговался продать костюм за два фунта и, вернувшись домой, переоделся в старое платье, а серый костюм завернул в газету и отнес в лавку. Таким образом, исчезли все новые красивые вещи, он был опять одет так, как в выходной день на службе в кафе. Оставались на нем от так пламенно сверкнувшей сказки лишь белье и шляпа. Давенант съел в таверне кусок баранины и отправился на Кайенну— так назывался квартал, где кабаре и игорные дома взаимно поддерживали друг друга. Он бывал в этом квартале, но никогда не заходил ни

в один яркий подъезд с белыми фонарями, никогда не играл. В Органном переулке таких подъездов было два, с ажурными вывесками из золотых букв, ночью превращавшихся в перелетающий узор зеленых лампочек. Притон, куда вошел Давенант, назывался «Лесной царь». Среди ковров и цветов, озаренных так ярко, что, казалось, были даже видны надежды и отчаяние в душах бледных людей, сновавших вдоль ограненных зеркал, Давенант отдал свою шляпу швейцару, пройдя затем в высокую дверь, где несколько групп толпилось у игорных столов.

Давенант подошел к относительно свободному краю одного стола и, не понимая игры, не зная, какая это игра, стал смотреть, как золото и банковые билеты перемещаются на зеленом столе под наблюдением спокойно работающего крупье. Крупье изредка говорил мягко и непонятно, тоном легкой забавы, которой будто бы радуются все, сошедшиеся к столу. Однако от этих небрежных его замечаний лица играющих вспыхивали или тускнели, а некоторые, беспомощно оглянувшись, резко выбирались из круга прочь и, вздохнув, вытирали платком потный лоб.

— Пора,— сказал себе Давенант, видя, как много рук потянулось бросать деньги на стол. Он вынул из кармана все, что оставалось у него, и положил свою ставку, ничего не придержав про запас. Рука крупье, считая ставки по очереди, коснулась денег Тиррея. Он пристально посмотрел на мальчика, взметнул бровью и отобрал мелкое серебро, отодвинув его Давенанту и говоря:

— Возьмите, это не идет.

Сконфузившись, Давенант убрал мелочь. Карты легли, выразили свое, непонятное ему отношение к его и чужим надеждам, но ничто не изменилось: никто не убирал денег, никто не ставил еще. Опять банкомет треснул колодой и разбросал карты.

Тиррей спросил смуглого человека, стоявшего рядом с ним:

— Что это? Почему снова играют?

— Сыграли вничью,— сказал тот и посмотрел на Тиррея.— Вот теперь... Ага! Вы выиграли.

— Да неужели?— сказал Давенант.

Действительно, его ставка удвоилась, и он забрал ее так неловко, торопясь, что ребра монет торчали между его пальцами. «Что же делать дальше?»— ду-

мал он, не замечая, что говорит вслух, хоть тихо, но ясно. Смуглый молодой человек заинтересованно присмотрелся к нему.

— Как играть, чтобы скорее выграть? Я не знаю...

— Отойдите,— сказал вдруг смуглый незнакомец Тиррею,— я хочу вас выручить.

Тиррей удивился, но повиновался. В этом роковом месте он ждал всяких чудес. Отойдя на середину зала, неизвестный сказал:

— Слушайте: играя так, как сейчас, вы через пять минут останетесь без гроша. Хотите быть участником банка? Я намерен заложить банк в десять тысяч, а ваши деньги могу взять для игры, и вы получите свою долю. При удаче — несколько сот фунтов.

Он говорил спокойно, серьезно, был прекрасно одет, но Давенант колебался. В это время подошел грузный человек с сигарой в зубах и, узнав от смуглого человека, о чем разговор, небрежно процедил:

— Оле, Гордон! Хотите взять юношу под свое покровительство? Что же, ваше дело... Опять обогатите новичка... Советую отдаться на волю Гордона,— сказал толстяк Тиррею.— Гордон так богат, что играет как лев, и ему адски везет. Не упускайте случая. У Гордона страсть к новичкам. Добр, как старая няня.

Смеясь от возбуждения и надежды, юноша вручил свои деньги Гордону. Тот, хлопнув Давенанта по плечу, посоветовал ему ожидать результат игры в одной из гостиных, которую весьма предупредительно указал. Тиррей прошел туда, сел в кресло и стал ждать. В этой комнате с опущенными шторами не сидел, кроме него, никто, но сюда изредка входили два-три человека, обсуждая свои дела, горячась или упрашивая о чем-то один другого. Редко присаживались входящие — страдание игры вскоре гнало их в залы, на свет высоких дверей, за которыми, в дыму и лучах, торопливо пробегали от стола к столу люди с вдохновенными или озирающимися лицами. Давенант увидел двух женщин. Они присели в гостиной и стали плакать, утешая друг друга. Эти немолодые толстые женщины, пошептавшись, решительно вытерли глаза, напудрились и, поснимав с рук кольца, ушли, громко вздыхая. Прибежал молодой человек с розовым лицом и растрепанным галстуком. Он стал посредине гостиной, обшарил жилетные карманы, свистнул, повернулся на каблуках и исчез. Вошли трое рослых людей с массивными

лицами. Держа руки в карманах брюк, они долго ходили по гостиной, говоря громко, с хохотом и увлечением; эти люди вспоминали игру. Они выиграли и условились ехать в ресторан.

На Давенанта никто не обращал внимания. Он сидел, положив ногу на ногу и устремив взгляд на дверь в зал, чтобы заметить появление Гордона и угадать по его лицу результат. Наконец он устал сидеть, устал менять ногу и думать. Часы на камине били уже дважды; когда пробило восемь часов, Давенант решил идти искать важного игрока. Несколько тревожась, но не настолько, чтоб быть уверенным в похищении своей незначительной суммы человеком, играющим на десятки тысяч, Давенант обошел все группы зала, присмотрелся ко всем лицам, но Гордона там не было. Юноша проник во второй зал и там увидел толстого человека, который ранее говорил с Гордоном. Толстяк стоял поодаль от играющих, просматривая свой бумажник. Заметив Давенанта, он сделал движение, пытаясь удалиться, но Давенант уже улыбался ему.

— Ах да! — сказал толстяк.— Так как? Гордон обогатил вас?

— Я его ищу,— сказал Давенант,— я был везде, у всех столов. Вы его видели?

— Обождите одну минуту,— заявил толстяк,— должно быть, он мечет банк. Я его сейчас приведу.

Он быстро ушел, а Давенант остался стоять и стоял, пока ему на ухо не крикнула догадка: «Это мошенники». Увидев служащего, Давенант рассказал ему о Гордоне и попросил указать, где сидит смуглый молодой человек.

К ним подошел другой служащий.

— Так это, верно, Гутман-Стригун,— сказал он, разузнав от Тиррея внешность вора.— Опять та же история! Кто его пропустил? Был приказ не впускать ни Гутмана, ни Пол-Свиста.

Первый служащий развел руками.

— Черт его знает,— сказал он.— Я только что сменил Вентура. Хотите пройти в дирекцию?

— А что? — спросил Давенант, понимая теперь происшествие, но обманывая себя.— Разве Гордон там?

— Вас обобрали,— сказал второй служащий,— но вы можете подать жалобу.

— Нет, не стоит.

— Пожалуй, что не стоит. Все равно деньги ваши пропали.

— Да, я вижу теперь.

Давенант повернулся и вышел из клуба. Не торопясь, он пришел домой, равнодушный уже к мнению о себе хозяйки, видевшей, открывая дверь, его старый костюм, изнуренное лицо и, конечно, уже заметившей опустошенный шкаф.

— Завтра я перееду,— сказал Тиррей старухе, когда вошел.

— Пожалуйста,— насмешливо ответила Губерман,— вам будет лучше, уверяю вас, эта комната для вас велика, да и дорога, пожалуй.

— Хорошо. А вы вернете мне деньги. Я прожил всего неделю.

— Кто мне платил, тому и верну. Но только еще вопрос, как быть с моим мужем. Карл болен от ваших родственников. Он боится, что нас ограбят. Так вот, суд еще может признать, что вы обязаны потратиться на леченье, на докторов.

Давенант не ответил. Он прошел в комнату и лег, не зажигая огня, на кровать. Его мысли были подобны болезненным опухолям. Некоторые представления заставляли его страдать так сильно, что он приподнимался, спрашивая тьму: «Что же это такое? Почему?»

Его холодный обед стоял на столе. Незадолго перед рассветом Давенант съел остывшее кушанье и лег снова. Теперь начал набегать сон, но малейшее движение мысли отгоняло его. Давенант часто поднимался и пил воду; наконец он уснул и очнулся в одиннадцать утра.

Не зная, что́ с ним произойдет, он на всякий случай достал из ящика письменного стола серебряного оленя и спрятал его во внутренний карман пиджака, затем оставил квартиру и разыскал аптеку, где был телефон-автомат.

Отсюда, намереваясь предупредить Футроза, Давенант вызвал его номер по книге абонентов. За то время, что станция соединяла его с обитателями красно-желтой гостиной, Давенант немного отдохнул душой — опять он касался вырванного из его жизни прекрасного дома. Услышав голос, отвечающий ему, Давенант весь потянулся к аппарату и начал улыбаться, но с ним говорила Урания Тальберг.

Она не дала ему ничего сказать. Узнав от него, кто с ней говорит, гувернантка сказала:

— Как дико с вашей стороны! Ради чего вы прислали этого человека? Он сказал, что он ваш отец и что вы прислали его. Кто он такой?

— Я никого не посылал,— ответил Давенант, побледнев от стыда.— Ради Бога... Я хочу объяснить... Хочу сказать всем... Господин Футроз...

— Господин Футроз и девочки уехали в Лисс сегодня с восьмичасовым поездом. Они вернутся через три дня.

— Уехали?

— Да. На спектакли Клаверинга и Меран. До свидания.

Телефон молчал. Давенант вышел из аптеки. На ее двери висела афиша, теперь он видел ее. Она была ему нужна, и он прочел ее с начала до конца, а затем отправился к Галерану. Это была его последняя попытка найти защиту.

ГЛАВА VII

Афиши о гастролях в Лиссе знаменитых актеров Леона Клаверинга и Леонкаллы Меран были расклеены по городу. Тем более обеспечен был им успех у состоятельного населения, что театр Покета еще только заканчивался постройкой. Объявленные три выступления гастролеров: «Кин», «Гугеноты» и «Сон в летнюю ночь» — следовали одно за другим 3-го, 4-го и 5-го августа. Давенант должен был попасть в Лисс сегодня же к вечеру или к вечеру следующего дня. В первом случае он мог мчаться на автомобиле, которым не обладал, во втором — сесть в утренний поезд. Лишь утром отходил поезд на Лисс, а на билет у него не было денег. Не видя другого выхода, он бросился к Галерану и узнал от жильцов, что Галерана все еще нет дома. «С ним иногда это бывает,— объяснил Давенанту Симпсон.— Бывало, что он и по семь дней отсутствовал, так что, если вам очень необходимо его разыскать, ступайте в ресторанчик Кишлота, на Пыльную улицу, туда Галеран заходит, там его знают». Не дослушав, Давенант оставил Симпсона так поспешно, что тот не успел выпросить у него взаймы мелочи. С горечью подумал Давенант о Кишлоте, идти к которому обобранным и отверженным не мог бы даже под угрозой смерти. Между тем не увидеть в последний раз

людей, сделавших для него так много, он тоже не мог. Мысль встретить их у театра, представляя их изумление, которое скажет им все об его преданности и привязанности к ним,— взволнует, быть может, и заставит крепко, в знак вечной, пламенной дружбы, сжать его руку — приняла болезненные размеры; вне этого не существовало для него ничего, и, если бы его теперь заперли или связали, он неизбежно и опасно заболел бы. Это был крик погибающего, последняя надежда спастись, за которой, если она не сбылась, наступает худшее смерти успокоение.

«Вот они вернутся,— соображал Давенант.— Когда гнусный отец мой явится к ним, все станет понятно. Но будет поздно уже. Они поймут, ради чего я скрываюсь и ухожу навсегда, чтобы даже тени сомнения не было у них на мой счет. Каким был, таким и ушел».

С самого утра Давенант не был дома и ничего не ел; совсем не желая есть, он все-таки купил хлеб, чтобы не ослабеть, но есть не мог; завернув хлеб в газету, он вышел на шоссе, по которому должен был пройти сто семьдесят миль. Его не удивляло ни расстояние, ни очевидная невозможность одолеть к сроку такой огромный конец. Он знал, что должен быть у театра в Лиссе не позже восьми часов вечера 5 августа. Как ухитряются ездить в вагоне без билета, он не имел о том ни малейшего представления. Во всяком случае для него было это непосильной задачей. Он прошел милю-другую, все еще держа хлеб под мышкой нетронутым. Иногда, завидя нагоняющий его автомобиль, Давенант останавливался и поднимал руку. Вглядевшись, шофер сплевывал или презрительно кривил лицо, проезжие оглядывались на бледного путника с недоумением, иногда насмешливо махая рукой, думали, что он пьян, и действительно, никак нельзя было уразуметь по его виду, что хочет сказать этот странный юноша с широко раскрытыми глазами. В течение часа мелькнуло в его сознании восемь автомобилей. Потерпев неудачу с одним, он молча поднимал руку навстречу другому, третьему и так далее, иногда говоря: «Стойте. Прошу вас, посадите меня». На слове «прошу» машина пылила уже так далеко впереди, что она как бы и не проезжала мимо него.

Солнце закатывалось, и некоторое время дорога была пуста. Услышав очередной шум позади себя, говорящий о спасительной быстроте, мало сознавая,

что делает, и рискуя быть изуродованным или даже убитым, Давенант встал на середине дороги, лицом к машине, и поднял руку. Он не дрогнул, не сдвинулся на дюйм, когда автомобиль остановился против его груди. Он не слышал низменной брани оторопевшего шофера и подошел к дверце экипажа, смотря прямо в лицо трех подвыпивших мужчин, которые разинули рты. Их вопросы и крики Давенант слышал, но не понимал.

— Одного прошу,— сказал он толстому человеку в парусиновом пальто и кожаной фуражке.— Ради вашей матери, невесты, жены или детей ваших, возьмите меня с собой в Лисс. Если вы этого не сделаете, я умру. Я должен быть завтра к восьми часам там, куда вы едете, в Лиссе. Без этого я не могу жить.

Он говорил тихо, задыхаясь, и так ясно выразил свое состояние, что пассажиры автомобиля в нерешительности переглянулись.

— С парнем что-то случилось,— сказал худой человек с помятым лицом.— Его всего дергает. Эй, юноша, зачем тебе в Лисс?

— Почему ты знаешь, куда мы едем?— спросил третий, черноусый и краснощекий хозяин автомобиля.

— Разве вы едете не в Лисс?

— Да, мы едем в Лисс,— закричал толстяк,— но ведь по топоту наших копыт этого не узнать. Эванс, посадим его?! Что это у тебя под мышкой? Не бомба?

— Это хлеб.

— А почему ты не сел в поезд?— спросил черноусый человек.

Давенант молчал.

— Я не мог достать денег,— объяснил он, поняв наконец смысл вопроса.

— Пусть сядет с Вальтером,— решил хозяин экипажа, вспомнив, на счастье Давенанта, собственные свои скитания раннего возраста.— Садись к шоферу, парень.

Давенант так обрадовался, что схватил черноусого человека за локоть и сжал его, смеясь от восхищения. Сев с Вальтером, он продолжал смеяться. Шофер резким движением пустил замершую машину скользить среди вечерних холмов и сказал Давенанту:

— Тебе смешно?! Весело, что ли? У, козел! Встал, как козел. Жалею, что не сшиб тебя за такую наглость. На, выпей, козлище!

Он протянул ему бутылку, подсунутую сзади хозяином. Давенант, все еще дрожа от усталости, в порыве отчаяния, сменившегося благодетельным ощущением быстроты хода дорогой новой машины, выпил несколько глотков. Ему передали кусок курицы, сыра и апельсин. Он все это съел, потом, услышав, что сзади что-то кричат, обернулся. Худощавый человек крикнул: «Зачем так торопишься в Лисс?» — и, не расслышав его бессвязного ответа: «Я не могу, я не сумею вам объяснить... поверьте...»,— снисходительно махнул рукой, занявшись бутылкой, которая переходила из рук в руки.

Шофер больше не разговаривал с Давенантом, чему Давенант был рад, так как хотел без помехи отдаться горькому удовольствию пробега к последнему моменту своего недолгого хорошего прошлого.

Солнце скрылось, но в сумерках были еще видны камни шоссе и склоны холмов с раскачиваемой ветром травой. По этому шоссе он теперь шел мысленно и блаженно созерцал этапы воображаемых им своих шагов, струящиеся назад со скоростью водопада. Сидя на колеблющемся автомобиле, он много раз опередил самого себя, идущего где-то там, стороной, так тихо по сравнению с быстротой езды, что мог бы считаться неподвижным. Но скоро устал он и думать и сравнивать, лишь вспоминая, что завтра будет в Лиссе, упоенно сосредоточивался на этой уверенности.

Люди, взявшие его с собой, были мукомолы Покета, ехавшие на торги по доставке муки для войск. Сжалившись над Давенантом, они накормили его и вскоре успокоились относительно его присутствия, вернувшись к составлению коммерческого заговора против других подрядчиков.

Отличное цементированное шоссе между Покетом и Лиссом давало возможность ехать со скоростью сорока миль в час. В исходе одиннадцатого, промчавшись через Вильтон, Крене, Блек, Лавераз, Рульпост и Даккар, автомобиль остановился в Зеарне, рудничном городке из трех улиц и десяти кабаков.

— Это Лисс? — сказал Давенант, завидев огни и обращаясь к Вальтеру.

— Лисс? Сам ты Лисс,— отвечал Вальтер, утомленно подкатывая машину к ярко освещенной одноэтажной гостинице.— Отсюда еще пятьдесят миль.

Почти четыре часа сидел Давенант с поднятым воротником пиджака, удерживая шляпу на голове

озябшей рукой. Он продрог, занемел телом, но остановка не обрадовала, а встревожила его. Он стал бояться, что автомобиль задержится. Мукомолов звали: хозяина автомобиля — Эванс, толстого — Лэйк и худого — Берганц. Они потащили Давенанта с собой в гостиницу, где было много народа и так дымно в ярком свете, что слои дыма изображали литеры S. Отчасти радуясь теплу, Давенант прошел в помещение, держась позади Берганца, у которого спросил:

— Может быть, вы не поедете дальше?

— Что? — крикнул Берганц и, остановив Эванса, указал ему длинный стол около кухонной двери.— Куда же еще? — сказал он.— Там все и сядем.

Давенант не решился переспросить, но Берганц, вспомнив его вопрос, сказал:

— Надо же отдохнуть, чудак. Мы хотим ужинать. Тебе очень не терпится? О! — вскрикнул он, уставившись на подошедшего к группе приезжих огромного человека с багровым лицом. Его голова была вставлена в воротник из жира и полотна.— Я как будто чувствовал. Сам Тромп.

Кровавые глаза Тромпа блестели от удовольствия.

— А я выехал вас встретить,— сказал он, пожимая руки.— Вам, Эванс, по носу и Лэйку тоже: торги не состоятся.

— Что за чушь?!

— Идемте, все узнаете. Теперь... Как зовут этого зимородка? Он с вами? Кто такой?

— Так... попросился,— неохотно сообщил Лэйк, торопясь обсуждать торги.— Что-то трагическое. Ну, скорей сядем. Да, за тот стол.

— Если хочешь,— сказал Берганц Давенанту, который все беспокойнее смотрел на неприятного огромного Тромпа,— то поди закажи себе пива и сядь, где хочешь, нам надо поговорить.

Четверо дельцов загромыхали вокруг стола, и, как мухи, начали летать перед их обветренными лицами руки слуг, тащивших бутылки и тарелки, а Давенант с стесненным сердцем подошел к стойке. Он хотел выпить пива, чтобы успокоиться. Сам заплатив за пиво, Давенант прислушивался к разговору торговцев, но стоял такой шум, что он не разбирал ничего.

Тромп что-то говорил, возбужденно перебрасывая с места на место вилку; скосив на него глаза, Лэйк жевал бутерброд; Эванс, потупясь, хмурился; Берганц,

оглядываясь, гладил усы. Пока Давенант оканчивал свою кружку, за столом, как видно, было решено что-то успокоительное и потешное, так как Тромп поцеловал кончики своих пальцев и приятели расхохотались.

Лэйк обернулся, отыскал взглядом Давенанта и что-то сказал Эвансу. Тот задумался, но, пожав плечами, сделал Давенанту знак подойти.

— Слушай,— сказал он ему, замершему в тревожном предчувствии,— мы не поедем в Лисс. У нас тут дело.

— Так! Так! — повторял Давенант, не находя слов.

— Он дойдет пешком! — вскричал Тромп.— Здоровый, молодой парень... Я хаживал в его годы не такие концы. Если припустишься...— эй, ты! слышишь, что говорю?! — то и не заметишь, как долетишь!

— Конечно,— машинально сказал Давенант.

— Да, уж извини,— пробормотал Берганц.— Хотели бы выручить тебя, но такое дело. Сам понимаешь.

— Я понимаю.

— Ну вот, ну и ступай с Богом,— сказал Лэйк, начиная сердиться.— Осталось тебе пятьдесят миль. Как-нибудь доберешься.

— Да, я пойду.— Давенант вздохнул всей силой легких, чтобы рассеять тяжесть этой мрачной неожиданности.— Благодарю вас.

— Не за что,— сказал Эванс.— Идешь? Иди. Ну, так вот,— обратился он к Тромпу,— значит, так. Что же взять с собой? Вина, что ли?

Давенант оставил гостиницу и расспросил прохожих, как выйти на шоссе в Лисс. Ему указали направление, следуя которому он двинулся в путь, держа сверток под мышкой и обвязав поднятый воротник пиджака носовым платком в защиту от резкого ночного ветра.

Давенант не обиделся на мукомолов, бросивших его, он был доволен уже тем, что осталось идти всего пятьдесят миль — жестокое по времени и все же доступное расстояние.

Характер пережитого Давенантом за последние сутки был таков, что от воскресного вечера у Футроза, казалось, прошло много времени. Теперь он совершал переход из одной жизни в другую, от надежд — к неизвестности, от встречи — к прощанию. Галеран будет его искать, но никогда не найдет. Может быть,

печально задумается Футроз. Элли и Роэна со слезами начнут вспоминать о нем, когда выяснится, почему он скрылся, ничего не объясняя, не жалуясь, и все поймут, что он не виноват в грязных затеях отца. Тот, конечно, явится к ним, будет просить денег. Тогда все откроется.

Разгоряченный этими мыслями — все об одном и том же с разных сторон, — Давенант не чувствовал холодного ветра. Шагая среди равнин и холмов, мимо спящих зданий, слушая лай собак и звук своих шагов, ставших неотъемлемой частью этой ночи, Давенант достиг состояния, в котором душевная деятельность уже не подчинена воле. Чувства и мысли его возникали самостоятельно, ни удержать, ни погасить их он не мог. Его представления достигли яркости цветного рисунка на черной бумаге. Он входил в гостиную Футроза, точно видя все узоры и тени, все предметы и расположение мебели так отчетливо, что мог бы записать цифрами, без ошибки, расстояние между ними, мог мысленно коснуться лака и бархата. Эта гостиная вызывала в нем тоску силой тех взволнованных чувств, которыми он сам наполнил ее. Неизвестно, какой связью зрительного с бессознательным горячая красно-желтая комната стала отражением его неискушенных желаний. Он вспомнил, как шесть рук искали в траве ключ, и, остановясь, не смог молча перенести живого воспоминания.

Давенант сказал:

— Прощайте, руки и ключи. Прощай и ты — я сам, который там был, — ты тоже прощай. Было слишком хорошо, чтобы могло быть так долго, всегда.

Помня, что ему приходилось слышать о пешей ходьбе, Давенант шел не присаживаясь, чтобы избежать утомления, неизбежно наступающего после краткого отдыха, потому что нарушается инерция мускульных сокращений, согласованная с дыханием и сердечным ритмом. Он шел упруго и ровно, подгоняемый цифрой расстояния. К рассвету Давенант прошел двадцать четыре мили, одержимый бредом невозможности поступить иначе. Его сознанием стало пространство; ни думать, ни чувствовать он более ничего не мог. Иногда в деревнях его окликали с порога женщины, желая узнать, не гонится ли кто-нибудь за этим мальчиком с воспаленным лицом, оглядывающимся как бы намеренно странно. Люди, проезжающие в по-

возках, нахмурясь, подстегивали лошадей, если Давенант просил подвезти его, плохо владея голосом, осипшим от ветра и пыли. Он спросил фермера, копающего канаву, много ли осталось до Лисса, и узнал, что осталось еще двадцать пять миль. Далеко впереди виднелась ясная синяя гора, возвышающаяся под облаками,— самое высокое место горизонта,— и фермер сказал: «Видишь ту гору? Когда вот эта гора окажется позади тебя, тогда считай еще десять миль, там будет и Лисс».

Эти слова приковали все внимание Давенанта к горе, которая виднелась обнадеживающе близко,— по свойству всех гор, если воздух прозрачен. Об угрожающей отдаленности ее говорил лишь лес на ее склонах, напоминающий сизый плющ, но Давенант сообразил это лишь после часа ходьбы, когда плющ стал чуть рыхлее на взгляд. По направлению пути гора была слева, и она сделалась для Давенанта главной мыслью этого дня. Все время он видел ее перед собой то в ярком блеске неба, то в тени облака, соскальзывающего по склонам, подобно пару дыхания на гладком стекле.

Солнце пригрело Давенанта. После сопротивления ночному холоду его ослабевшее от бессонницы и ходьбы сердце гнало из него испарину, как воду из губки, но он, задыхаясь, шел, смотря на медленно меняющиеся очертания горы. Тяжело уступала эта гора его изнемогающему неровному шагу. Уже начал он замечать в мнимом однообразии ее поверхности выпуклости и провалы, долины, сникающие в леса, каменные уступы и обрывы; гора явилась ему теперь не запредельно-картинным миром, как облачный горизонт, а громадой из многих форм, доступных сравнению.

Вскоре Давенант должен был проходить вдоль ее левого склона, где внизу прятались среди рощ отдельно стоящие белые дома. Шоссе стало поворачивать, огибая лежащий вправо большой холм, так что между горой и дорогой открылась долина с блестящей тонкой чертой реки; от реки вился пар, и зеленое дно долины предстало страннику, как летящей птице. У скалы лепился грубый небольшой дом с крышей из плоских камней. Перед входом умывалась женщина, и Давенант захотел пить. Женщина, вытирая лицо, смотрела на него, пока он просил воды, и ушла, наказав подождать.

Давенант сел на ступеньку у двери. Когда перед его лицом появилась кружка с водой, он припал к ней с такой жадностью, что облился.

— Еще? — сказала женщина, задумавшись над его больным видом.

Давенант кивнул.

Осушив вторую кружку, он развернул свой хлеб, пропитанный пылью, и с сомнением посмотрел на него.

— Надо есть,— сказал он.

— Куда вы идете? — спросила женщина, снова появляясь с бутылкой водки.

— В Лисс. Далеко ли еще? — спросил Давенант, кладя в рот немного хлеба и тотчас вынимая его обратно, так как не мог жевать.

— Далеко, тринадцать миль. Выпейте водки.

— Водки? Не знаю. Который час?

— Скоро двенадцать. Выпейте водки и лягте под навесом. Если вы проспите час, то скорей дойдете. Я разбужу вас.

— Видите ли, добрая женщина,— сказал Давенант, пытаясь подняться,— если я усну, то не проснусь долго. Я шел из Зеарна всю ночь, но я опять должен идти.

— Так выпейте водки. Разве вы не сознаете, что́ с вами? Вы сгорели!

— Сгорел?

— Ну да, это бывает у лошадей и людей. Легкие загорелись.

— Я понимаю. Но не только легкие. Что же, дайте водки, я заплачу вам.

— Он с ума сошел! Мне платить?! Сам-то нищий!

Давенант отпил из горлышка несколько глотков и, передохнув, стал пить еще, пока не застучало в висках. Отдав бутылку, он приподнялся, мертвея от боли в крестце, засмеялся и сел.

— Ну, марш под навес! — сказала женщина.

У нее было рябое быстроглазое лицо и приветливая улыбка.

— Ничего,— ответил Тиррей, валяясь по земле в тщетных усилиях подняться.— Мне только встать. Я должен идти.

Он ухватился за дверь и выпрямился, трясясь от разломившего все тело изнеможения, но, встав, стиснул зубы и медленно пошел.

Женщина охала, сокрушенно качая головой и крича:

— Иди же, несчастный, пусть будет тебе лучше там, чем здесь! Что я могу? Сердце разрывается, смотря на него!

Насильно заставляя себя идти, Давенант шаг за шагом чувствовал восстановление способности двигаться. Не прошло десяти минут, как он вышел из мучительного состояния, но его шаг стал неровен.

Наступили самые знойные часы дня, в запыленном и потном течении которых Давенант много раз оборачивался взглянуть на гору; она отставала от него едва заметно, принимая прежний вид синего далекого мира,— формы тучи на горизонте.

Уже не было подъемов и огибающих высоту закруглений; шоссе вело под уклон, и к закату солнца Давенант увидел далекую равнину на берегу моря, застроенную зданиями. Это был Лисс, блестевший и дымившийй, как слой раскаленных углей.

Думая, что идет скорее, возбужденный близостью цели, Давенант на самом деле двигался из последних сил, не в полном сознании происходящего, и так тихо, что последние две мили шел три часа.

Город скрывался за холмами несколько раз и, когда уже начало темнеть, открылся со склона окружающей его возвышенности линиями огней, занимающих весь видимый горизонт. Стал слышен гул толпы, звон баковых колоколов на пароходах, отбивающих половину восьмого, задумчивые гудки. Давенант принудил себя идти так быстро, как позволяла боль в ногах и плечах. Автомобили обгоняли его, как птицы, несущиеся по одной линии, но он уже видел неподалеку дома и скоро проник в тесные улицы окраин, пахнущие сыростью и горелым маслом.

Много раз прохожие указывали ему дорогу к театру, но он все сбивался, попадая то на темную площадь товарных складов, то на лестницы переулков, уводящих от центра города. Хлеб в истрепанной газете мешал ему представлять себя среди роскошной залы театра. Давенант положил хлеб на тумбу. Наконец два последних поворота вывели его на громадную улицу, где жаркий вечер сверкал тысячами огней, а движение экипажей представляло армию черных лиц с огненными глазами, ринувшихся в бой против

толпы. Вскинутые головы лошадей и задки автомобилей мелькали на одном уровне с веселыми женскими лицами; витрины пылали, было светло, страшно и упоительно. Но этот ярко гремящий мир помог Давенанту в его последней борьбе с подступающим беспамятством.

— Где театр? — спросил он молодого человека, который пытливо взглянул на него, сказав:

— Вы стоите против театра.

Давенант всмотрелся; действительно, на другой стороне улицы был четырехэтажный дом с пожаром внутри, вырывающимся из окон блеском электрических люстр. Внизу оклеенные афишами белые арки и колонны галерей были полны народа; люди входили и выходили из стеклянных дверей. Тогда Давенант спросил у надменной старухи:

— Разве уже восемь часов?

— Без пяти восемь, — сказала она, выведенная из презрительного колебания — ответить или нет — лишь тем, что Давенант не сходил с места, глядя на нее в упор.

Старая дама тронула свою сумку и, убедясь, что ничего не похищено, рванулась плечом вперед, а Давенант бросился к входу в театр. Он увидел кассу, но касса была закрыта. Темное окно возвещало большими буквами аншлага, что билеты распроданы.

Давенант стал на середине вестибюля, мешая публике проходить, оглядываясь и ища глазами тех, ради кого принял эти мучения. Огромная дверь в зал театра была полураскрыта, там блестели золото, свет, ярко озаренные лица из прекрасного и недоступного мира смеялись на фоне занавеса, изображающего голубую лагуну с парусами и птицами. Тихо играла музыка. Большое зеркало отразило понурую фигуру с бледным лицом и черным от пыли ртом. Это был Давенант, но он не узнал себя.

— Могу ли я войти? — спросил Давенант старого капельдинера, стоявшего у дверей. — Я прибыл издалека. Прошу вас, пропустите меня.

— Как так?! — ответил капельдинер. — Что вы бормочете? Где ваш билет?

— Касса закрыта, но я все равно отдам деньги.

— Однако ты шутник, — сказал служащий, рассмотрев просителя и отстраняя его, чтобы дать пройти группе зрителей. — Уходи, или тебя выведут.

— Что такое?—подошел второй капельдинер.

— Пьян или поврежден в уме,—сказал первый,— хочет идти в зал без билета.

— Ради Бога!—сказал Давенант.—Меня ждут. Я должен войти.

— Вильтон, выведите его.

— Пойдем!—приказал Вильтон, беря Тиррея за локоть.

— Я не могу уйти.

— Ничего, мы поможем. Ну-ка ползи!

Вильтон вывел Тиррея за дверь, слегка подтолкнув в спину, и сказал швейцару:

— Снук, не пропускать.

Давенант вышел на тротуар, сошел с него, оглянулся, нахмурился и стал всматриваться в круговое движение экипажей перед театром. В отчаянии был он почти уверен, что Футроз и дети его уже заняли свои места. Вдруг на скрещении вечерних лучей за темной гривой мелькнули оживленные лица Роэны и Элли. Футроз сидел спиной к Давенанту.

— Здравствуйте! Здравствуйте!—закричал Тиррей, бросаясь с разрывающимся сердцем сквозь толпу, между колес и людей, к миновавшему его экипажу, затем не устоял и упал.

Как только его глаза закрылись, перед ним встали телеграфные провода с сидящими на них птицами и потянулись холмы.

— Кто-то вскрикнул!—сказала Элли, оглядываясь на крик.—Тампико, смейся, если хочешь, но мне почудился голос Давенанта. Это он зовет нас, в Покете. Право, не совестно ли, что мы не взяли его?

Футроз не нашел, что́ ответить. Все трое оставили экипаж и скрылись в свете подъезда. Роэна посмеялась над мнительностью сестры, и Элли тоже признала, что «сбрендила, надо полагать». Затем наступило удовольствие осматривать чужие туалеты и сравнивать их со своими нежными платьями.

Давенант оставался в замкнутом мире бреда, из которого вышел не скоро. Он был в доме Футроза, и его беспрерывно звали то старшая, то младшая сестра: починить водопроводный кран, повесить картину, прочитать вслух книгу, закрыть окно или подать кресло. Он делал все это охотно, увлеченно, лежа на койке больницы Красного Креста с воспалением мозга.

ЧАСТЬ II

ГЛАВА I

Дорога из Тахенбака в Гертон, опускаясь с гор в двенадцати километрах от Гертона, заворачивает у моря крутой петлей и выходит на равнину. Открытие серебряной руды неподалеку от Тахенбака превратило эту скверную дорогу в очень недурное шоссе.

Над сгибом петли дороги, примыкая к тылу береговой скалы, стояла гостиница — одноэтажное здание из дикого камня с односкатной апсидной крышей и четырехугольным двориком, где не могло поместиться сразу более трех экипажей. Из окон гостиницы был виден океан. Пройти к нему отнимало всего две минуты времени.

Эта гостиница называлась «Суша и море», о чем возвещала деревянная вывеска с надписью желтой краской по голубому полю, хотя все звали ее «гостиницей Стомадора» — по имени прежнего владельца, исчезнувшего девять лет назад, не сказав, куда и зачем, и обеспечившего новому хозяину, Джемсу Гравелоту, владение брошенным хозяйством законно составленной бумагой. В то время Гравелоту было всего семнадцать лет, а гостиница представляла собою дом из бревен с двумя помещениями. Через два года Гравелот совершенно перестроил ее.

История передачи гостиницы Стомадором не составляла секрета; именно о том и разговорился Гравелот с возвращающимся в Гертон живописцем вывесок Баркетом. Баркет и его дочь Марта остановили утром свою лошадь у гостиницы, зайдя поесть.

У хозяина были слуги — одна служанка и один работник. Служанка Петрония ведала стряпню, провизию, уборку и стирку. Все остальное делал работник Фирс. Гравелот слыл потешным холостяком; подозревали, что он носит не настоящее свое имя, и размышляли о его манере обращения и разговора, не отвечающих сущности трактирного промысла. Окрестные жители еще помнили общее удивление, когда стало известно, что гостиницей завладел почти мальчик, работавший вначале один и все делавший сам. У него был шкаф с книгами и виолончель, на которой он выучился играть сам. Он не любезничал со служанкой

и никого не посвящал в смысл своих городских поездок. Кроме того, Гравелот исключительно великолепно стрелял и каждый день упражнялся в стрельбе за гостиницей, где между зданием и скалой была клинообразная пустота. Иногда, если шел дождь, эта стрельба происходила в комнате. Такой хозяин гостиницы вызывал любопытство, временами выгодное для его кошелька. Гравелот нравился женщинам и охотно шутил с ними, но их раздражал тот оттенок задумчивого покровительства, с каким он относился к их почти всегда детскому бытию. Поэтому он нравился, но не имел такого успеха, который выражается прямой атакой кокетства.

Разговор о Стомадоре начался с вопроса Баркета: съездит ли Гравелот в Гертон посмотреть дела и развлечения свадебного сезона.

Гости и Гравелот сидели за одним столом. Гравелот велел подать свой завтрак на общий стол.

— Там будут различные состязания. Между прочим, конкурс стрельбы, а вы, как говорят, дивный стрелок,— сказал Баркет, знавший Гравелота, так как несколько раз останавливался у него, возвращаясь из Тахенбака.

— Едва ли поеду. Я стреляю хорошо,— без ложной скромности согласился Гравелот.— Однако в Гертоне идет теперь другого рода стрельба — по дичи, не согласной иметь даже царапину на своей нежной коже. Девять лет назад попал я в эти места — тоже к разгару свадебного сезона.

— Говорят, что вы купили у Тома Стомадора гостиницу. Действительно так?

— О нет! Все произошло очень странно. Я шел из Лисса и остановился здесь ночевать. Утром Стомадор сделал предложение отдать гостиницу мне,— он решил ее бросить и переселиться в Гель-Гью. Гостиница не давала ему дохода: место глухое, дорога почти пустынная, хотя он и сказал, что «тут дело не в этом».

— Странный человек! — заметил Баркет.— Он взял с вас деньги?

— Денег у меня не хватило бы купить даже Стомадорова поросенка. Он ничего не взял и ничего не просил. «Ты человек молодой,— сказал мне Стомадор,— бродишь без дела, и раз ты мне подвернулся, то бери, если хочешь, эту лачугу и промышляй». Я согласился. Мне было все равно. В шкафу и кладовой

остались кое-какие запасы, к тому же — готовое помещение, две свиньи, семь кур. Я мог жить здесь и работать у фермеров. На доходы я не надеялся.

— Как же он ушел? — спросила Марта.

— С мешком за плечами. Лошадь и повозку он уже продал. Ну, мы составили у нотариуса в Тахенбаке бумагу о передаче гостиницы мне. Стомадор даже сам оплатил расходы и, прощаясь, сказал: «Ничего у меня не вышло с «Сушей и морем». Может быть, выйдет у тебя».

— По-моему, этот Стомадор какой-то ненормальный тип! — заметила круглолицая розовая Марта, поклонница вещей ясных и точных.

— Едва ли,— ответил Гравелот.— У него была, может быть, особая мысль. Он был одинок. Как знать, о чем думает человек? Встретил он меня дико, это так; я спросил поесть. Стомадор стоял у окна, заложив руки за спину. «Очень мне надо заботиться о тебе»,— сказал он. «Но ведь вы хозяин?» — «Да, а что же из этого?» — «То, что я должен был обратиться к вам, вот я обратился и спросил поесть. Я заплачу».— «Но почему я должен тебя кормить? — закричал Стомадор.— Какая связь между тем, что я хозяин, и тем, что ты голоден?» Я так удивился, что замолчал. Стомадор успокоился и заявил: «Ищи где хочешь, что найдешь, то и ешь». Я решил прямо толковать его слова и вытащил из шкафа за стойкой три бутылки вина, масло, окорок, холодный рис с перцем, пирог с репой, все снес на стол и молча принялся за еду, а Стомадор ехидно смотрел. Наконец он рассмеялся и сказал: «Экий ты дурак! Кто ты такой?» Вдруг он стал очень заботлив ко мне, ничего не расспрашивая о том, как я жил раньше. Забавный грузный человек тронул меня до слез. Он постлал мне постель, заставил вымыться горячей водой, а утром показал убогое хозяйство свое — почти что пустые стены — и передал гостиницу довольно торжественно. Мы даже выпили по этому случаю. Сказав: «Будь счастлив!» — он ушел, и я больше о нем ничего не знаю...

— Конечно, простая случайность,—подтвердил Баркет.

— Случайность... Случайность! — отозвался Гравелот после короткого раздумья о словах живописца вывесок.— Случайностей очень много. Человек случайно знакомится, случайно принимает решения, случай-

но находит или теряет. Каждый день полон случайностей. Они не изменяют основного направления нашей жизни. Но стоит произойти такой случайности, которая трогает основное человека — будь то инстинкт или сознательное начало,— как начинают происходить важные изменения жизни или остается глубокий след, который непременно даст о себе знать впоследствии.

Марта и Баркет плохо поняли Гравелота, думая: «Да, странный человек этот молодой трактирщик, должно быть, он образованный человек, скрывающий свое прошлое».

— Рассуждение основательное,— сказал Баркет,— но дайте, как говорится, пример из практики.

— Вот вам примеры: человек видит проходящую женщину, о такой он мечтал всю жизнь, он знакомится с ней, женится или погибает. Голодный находит кошелек в момент, когда предчувствует, что его ждет выигрыш, заходит в клуб и выигрывает много денег. В село приезжает моряк. Оживают мечты о путешествиях у какого-нибудь мечтателя. Ему дан толчок, и он уходит бродить по свету. Или человек, когда-то думавший покончить с собой, видит горизонтальный сук, изогнутый с выражением таинственного призыва... Возможно, что несчастный повесится, так как откроются его внутренние глаза, обращенные к красноречиво-притягательной силе страшного дерева. Однако все это минует следующих людей: богатого — с находкой кошелька, черствого — с женщиной, домоседа — с моряком и торопящегося к поезду — с горизонтальной ветвью, удобной для петли. Если бы я девять лет назад имел важную, интересную цель,— предложение Стомадора никак не могло быть моей случайностью, я отказался бы. Его предложение попало на мою безвыходность.

— В самом деле! — захохотал Баркет.— Как это вы того... здóрово обрисовали.

— Постой, постой! — воскликнула Марта.— Пусть он скажет, как считать, если человек выиграл в лотерею? Не ожидал выиграть, а получил много, поправил дела, разбогател. Это как?

— А так, Марта: покупающий билет всегда хочет и надеется выиграть. Это — сознательное усилие, не случайность.

— Так какой же ваш вывод? — осведомился Баркет.— То есть — итог?

— Вот какой: все, что неожиданно изменяет нашу жизнь,— не случайность. Оно — в нас самих и ждет лишь внешнего повода для выражения действием.

— Вот,— сказала Марта,— я оступилась, сломала ногу, это — как?

— Не знаю,— уклонился Гравелот от ответа, чтобы избежать сложного объяснения, непонятного девушке.— Впрочем, тут — другой порядок явлений.

— Как сбился, так уж и другой порядок.

Все рассмеялись. Затем разговор перешел на обсуждение свадебного сезона. Марте в будущем году тоже предстояло сделаться женой — пароходного машиниста,— а потому она с удовольствием слушала речи отца и Гравелота.

— Нынешний сезон проходит очень оживленно,— говорил Баркет,— и я мог бы перечислить десятки семейств, где венчаются. На днях венчается Ван-Конет, сын губернатора Гертона, Пейвы и Сан-Фуэго; говорят, он сам, этот Ван-Конет, года через два получит назначение в Мейклу и Саардан.

— Желаю, чтобы юная губернаторша наделала хлопот только в кондитерских,— сказал Гравелот.— Кто же она?

— Она могла бы наделать хлопот даже у амстердамских бриллиантщиков,— заявил Баркет с гордостью человека, имеющего счастье быть соотечественником знаменитой невесты.— Консуэло Хуарец уже восемнадцать лет, но действительно, как говорят, она еще ребенок. Сам брак ее указывает на это. Ведь Ван-Конет ведет грязную, развратную жизнь. Она не красавица, бедняжка, но более милого существа не сыщете вы от Покета до Зурбагана.

— Почтенный Баркет, не испортите же вы мне день, сказав, что Консуэло крива, горбата и говорит в нос? Я любитель красивых пар.

— Я ее видела,— заявила Марта,— она действительно некрасива и много смеется.

— Вот так всегда с женщинами: не любят они друг друга,— заметил Баркет и принялся объяснять: — Разговор не о безобразии. Я хочу сказать, что девушка с двумястами тысяч фунтов приданого, если она не ослепительно красива, всегда даст повод к злословию. Наверное, скажут, что у жениха больше ума, чем любви. Консуэло Хуарец очень привлекательна, отрадна и все такое, но, понятно, не совершенство безупречной,

античeской красоты. Однажды я видел, как она шла с собакой по улице. Прелестная девушка, настоящий апельсиновый цветок!

Улыбнувшись такому смешению восторга и педантизма, Гравелот выразил надежду, что сын губернатора оценит достоинства своей жены после того, как она будет гулять с ним и собакой вместе.

— Остроумный вывод,— сказал Баркет.— Только навряд Георг Ван-Конет оценит то утешение, а может быть, даже искупление, которое посылает ему судьба. Большего негодяя не сыщете вы от Клондайка до Огнённой Земли.

— Если так,— что заставляет девушку бросаться в его объятия?

— Она любит его. Что вы хотите? Это всему решение.

Собеседники не подозревали, что им придется через несколько минут увидеть жениха Консуэло Хуарец. В это утро Ван-Конет со своей компанией возвращался из поездки на рудники. Близость бракосочетания заставила Ван-Конета, во избежание роковых слухов, устроить очередную оргию в доме знакомого рудничного инспектора. За окном пропела сирена, и у дверей остановился темно-зеленый автомобиль. Баркет посмотрел в окно. Его лицо вытянулось.

— Накликали!— вскричал Баркет.— Приехал Ван-Конет, отвались моя голова! Это он!

— Ты шутишь!— сказала Марта, волнуясь от неожиданности и почтения.

Гравелот не побежал навстречу приехавшим. Он спокойно сидел. Отец с дочерью удивленно смотрели на него.

— Еще нет девяти часов. Он едет из Тахенбака. Что это значит?— пробормотал Баркет.

— Кутил всю ночь, я думаю,— шепнула Марта, рассматривая выходящих из экипажа людей.— Там — Ван-Конет, его любовница Лаура Мульдвей и двое неизвестных. Уже знойно, а они все в цилиндрах. О! Подвыпивши.

— Ты права, разумная дочь,— сказал Баркет.

Гравелот поднялся встретить гостей. Он подошел к раскрытой двери, наблюдая гульливого жениха. Это был высокий брюнет с безупречно правильными чертами лица, тридцати пяти лет. Его прекрасное лицо выглядело надменно-скорбным, как будто он давно

примирился с необходимостью жить среди недостойных его существ. Держась с затрудненной твердостью, Ван-Конет всходил по деревянной лестнице «Суши и моря», неся на сгибе локтя тонкие холодные пальчики Лауры Мульдвей, своей приятельницы из веселого мира холостых женщин. Высокая белокурая Лаура Мульдвей, с детским лицом и чистосердечными синими глазами, гибкостью тонкой фигуры напоминала колеблющуюся от ветерка ленту. Зеленый жакет, серая шляпа с белым пером и серые туфельки Лауры стеснили Марте дыхание. Сзади шли Сногден и Вейс. Сногден, приятель Ван-Конета, сутуловатый и нервный, с темными баками на смуглом умном лице, пошатывался рядом с Вейсом, хозяином недавно прибывшей в Гертон яхты, веснушчатым сонным человеком, белые ресницы которого прикрывали нетвердый и бестолковый взгляд.

— Эй, любезный! — сказал Ван-Конет Гравелоту, которого можно теперь называть его настоящим именем — Давенант.— Поездка утомительна, жара ужасна, и жажда велика. Сногден, я должен восстановить твердость руки, я послезавтра подписываю брачный контракт. Я не хочу, как уверяет Сногден, посадить кляксу.

Говоря так, он вместе с другими уселся за стол, напротив того стола, где сидели Баркет с дочерью. Сногден пошел к буфету, сам выбрал вино, и Петрония, служанка Давенанта, притащила четыре бутылки. Есть никто не хотел, а потому были поданы только чищеные орехи и сушеные фрукты.

— Да, я посажу кляксу,— повторил Ван-Конет, проливая вино.— Но я застрелю эту муху, Лаура, если она не перестанет мучить ваше мраморное чело.

Действительно, одна из немногочисленных мух усердно надоедала женщине, садясь на лицо. Лаура с трудом прогнала ее.

— После такой ночи,— сказал Сногден,— я взялся бы подписать разве лишь патент на звание мандарина.

Несколько обеспокоенный, Давенант внимательно следил за Ван-Конетом, который, заботливо согнав со щеки Лауры возвратившуюся досаждать муху и приметив, куда на простенок она села, начал целиться в нее из револьвера. Марта закрыла уши. Ван-Конет выстрелил.

Зрители, умолкши, взглянули на место прицела и увидели, что дыра в штукатурке появилась не очень близко к мухе. Та даже не улетела.

— Мимо! — заявил Сногден, в то время как охотник прятал свой револьвер в карман.— Бросьте, Георг. Очень громко. Вы слышали,— обратился Сногден к Вейсу,— историю двойного самоубийства? Это произошло вчера ночью. Двое попали друг другу в лоб.

— В двух шагах?

— В пяти дюймах. Мне сказал за игрой Бекль. В гостинице «Генуя» застрелились влюбленные. Хозяин горюет, так как возник слух, что из-за этих смертей все браки нынешнего года будут несчастны. Ясно, что гостиница опустела.

— Тьфу! — плюнул Ван-Конет.— Не каркайте. Пусть предсказывают, кто и как хочет. Я женюсь на своей обезьянке и залезу в ее защечные мешочки, где спрятаны сокровища.

— Осмелюсь спросить,— почтительно обратился Баркет к знатному посетителю.— Как произошло такое несчастье? Филипп Баркет, к вашим услугам, мастерская вывесок, Безлюдная улица, 6, а также транспаранты, бенгальские огни, если позволите... Печальное происшествие!

Ван-Конет хотел пропустить вопрос мимо ушей, но заметил розовое лицо Марты и не сдержал бессмысленного позыва — коснуться, хотя бы словами, свежести девушки, задевшей его фантазию.

— Как? Милейший, я не знаток. Должно быть, утолив свою страсть, оба поняли, что игра не стоит свеч.

Марта покраснела под прищуренным на нее взглядом Ван-Конета и без нужды переместила тарелку.

— Странное объяснение! — заметил Давенант, тихо смеясь.

Все с удивлением посмотрели на хозяина гостиницы, осмелившегося перебить Ван-Конета.

Ван-Конет, выпрямившись, думал о том же. Наконец, двинув бровью, он снизошел до ответа:

— Чем оно странно? Я нахожу, между прочим, что эта гостиница... странная. А можете вы попасть в муху? Мне кажется, меткости ваших замечаний должно отвечать еще какое-нибудь точное качество.

Не поняв скрытой пьяной угрозы и желая смягчить неловкость, Баркет набрался духом, заявив:

— Гравелот — первоклассный стрелок, не имеющий, я думаю, равных себе.

— А! В самом деле? Я обижен,— сказал Ван-Конет, начиная скучать.

— Но я тоже стрелок! — заявил Вейс.

Захотев от скуки стравить всех, Лаура обратилась к Давенанту:

— Ах, покажите ваше искусство! Ведь это все хвастуны.

— Как, и я?! — воскликнул Ван-Конет.

— Ну, вы, пожалуй, еще не очень плохой стрелок.

— Мы все — стрелки,— сказал Сногден.

Опять муха села на подбородок Лауры, и она махнула рукой перед лицом, сгоняя докучное насекомое.

— Хозяин! Застрелите муху с того места, где стоите! — приказал Ван-Конет.— В случае удачи — плачу гинею. Вот она где сидит! На том столе.

Действительно, муха сидела на соседнем пустом столе, у стены, ясно озаряемая лучом.

— Хорошо,— покорно сказал Давенант.— Следите тогда.

— Наверняка промажете! — крикнул Сногден.

От буфета до стола с мухой было не менее пятнадцати шагов.

— Ставлю еще гинею!

Давенант задумчиво взглянул на него, вытащил свой револьвер с длинным стволом из кассового ящика и мгновенно прицелился. Пуля стригнула на поверхности стола высоко взлетевшую щепку, и муха исчезла.

— Улетела? — осведомился Вейс.

— Ну нет,— вступилась Мульдвей.— Я смотрела внимательно. Моя муха растворилась в эфире.

— Гинея ваша,— отозвался Ван-Конет.

Став угрюм, он бросил деньги на стол. Сногден призвал служанку и отдал ей гинею для Давенанта. Все были несколько смущены.

Давенант взял монету, которую принесла служанка, и внятно сказал:

— Эти деньги, а также и те, что лежат на столе, вы, Петрония, можете взять себе.

— Случайное попадание! — закричал Ван-Конет, разозленный выходкой Гравелота.— Попробуйте-ка еще, а? На приданое Петронии, а?

— Отчего бы и не так,— сказал Давенант.— Шесть пуль осталось, и, так как муху мы уже наказали, я вобью пулю в пулю. Хотите?

— А, черт! — крикнул Сногден.— Вы говорите серьезно?

— Серьезно.

— Получайте шесть гиней,— заявил Ван-Конет.

— Игра неравная,— вмешался Вейс.— Он должен тоже что-нибудь платить со своей стороны.

— Двенадцать гиней, хотите? — предложил Давенант.

— Ну вот. И все это — Петронии,— сказал Ван-Конет, оглядываясь на пылающую от счастья и смущения женщину.

Противоположная буфету стена была на расстоянии двадцати трех шагов. Давенант выстрелил и продолжал колотить пулями стену, пока револьвер не опустел. В штукатурке новых дырок не появлялось, лишь один раз осыпался край глубоко продолбленного отверстия.

— А! — сказал с досадой Ван-Конет после удрученного молчания гуляк и крика «Браво!» Лауры, аплодировавшей стрелку.— Я, конечно, не знал, что имею дело с профессионалом. Так. И все это — ради Петронии. Плачу тоже двенадцать гиней. Я не нищий. Для Петронии. Получите деньги.

На знак хозяина трепещущая служанка взяла деньги, сказав:

— Благодарю вас. Прямо чудо.

Она засуетилась, потом стала у двери, блаженно ежась, вся потная, с полным кулаком денег, засунутым в карман передника.

Марта тихо смеялась. Ван-Конету показалось, что она смеется над ним, и он захотел ее оскорбить.

— Что, пышнощекая дева... — начал Ван-Конет; услышав торопливые слова Баркета: «Моя дочь, если позволите»,— он продолжал: — Достойное и невинное дитя, вы еще не вошли в игру с колокольным звоном и апельсиновым цветом? Гертон полон дураков, которые надеются остаться ими «до гробовой доски». А вы как? а?

— Марта выйдет замуж в будущем году,— почтительно проговорил Баркет, желая выручить смутившуюся девушку.— Гуг Бурк вернется из плавания, и тогда мы нарядим Марту в белое платье... Хе-хе!..

— Отец! — воскликнула, краснея от смущения, Марта, но тут же прибавила: — Я рада, что это произойдет в будущем году. Может быть, смерть тех двух, застрелившихся, окажется для нас нынче несчастной приметой.

— Ну, конечно. Мы будем справлять поминки,— ответил Ван-Конет.— Сногден, как зовут тех ослов, которые продырявили друг друга? Как же вы не знаете? Надо узнать. Забавно. Не выходите замуж, Марта. Вы забеременеете, муж будет вас бить...

— Георг,— прервала хлесткую речь Лаура Мульдвей, огорошенная цинизмом любовника,— пора ехать. К трем часам вы должны быть у вашей невесты.

— Да. Проклятие! Клянусь, Лаура, когда я захвачу обезьянку, вы будете играть золотом, как песком!

— Э... э... — смущенно произнес Вейс.— Насколько я знаю, ваша невеста очень любит вас.

— Любит? А вы знаете, что такое любовь? Поплевывание в дверную щель.

Никто ему не ответил. Лаура, побледнев, отвернулась. Даже Сногден нахмурился, потирая висок. Баркет испугался. Встав из-за стола, он хотел увести дочь, но она вырвала из его руки свою руку и заплакала.

— Как это зло! — крикнула она, топнув огой.— О, это очень нехорошо!

Взбешенный резким поведением хозяина, собственной наглостью и мрачно вещающим ссору лицом Лауры, так ясно аттестованной золотыми обещаниями разошедшегося джентльмена, Ван-Конет совершенно забылся.

— Ваше счастье, что вы не мужчина! — крикнул он плачущей девушке.— Когда муж наставит вам синяки, как это полагается в его ремесле, вы запоете на другой лад.

Выйдя из-за стойки, Давенант подошел к Ван-Конету.

— Цель достигнута,— сказал он тоном решительного доклада.— Вы смертельно оскорбили девушку и меня.

Проливной дождь, хлынувший с потолка, не так изумил бы свидетелей этой сцены и самого Ван-Конета, как слова Давенанта. Баркет дернул его за рукав.

— Пропадете! — шепнул он.— Молчите, молчите!

Сногден опомнился первым.

— Вас оскорбили?—закричал он, бросаясь к Тиррею.—Вы... как бишь вас?.. Так вы тоже жених?

— Все для Петронии,—пробормотал, тешась, Вейс.

— Я не знаю, почему молчал Баркет,—ответил Давенант, не обращая внимания на ярость Сногдена и говоря с Ван-Конетом,—но раз отец молчал, за него сказал я. Оскорбление любви есть оскорбление мне.

— А! Вот проповедник романтических взглядов! Напоминает казуара перед молитвенником!

— Оставьте, Сногден,—холодно приказал Ван-Конет, вставая и подходя к Давенанту.—Любезнейший цирковой Немврод! Если, сию же минуту, вы не попросите у меня прощения так основательно, как собака просит кусок хлеба, я извещу вас о моем настроении звуком пощечины.

— Вы подлец!—громко сказал Давенант.

Ван-Конет ударил его, но Давенант успел закрыться, тотчас ответив противнику такой пощечиной, что тот закрыл глаза и едва не упал. Вейс бросился между ними.

В комнате стало тихо, как это бывает от сознания непоправимой беды.

— Вот что,—сказала Вейсу Мульдвей,—я сяду в автомобиль. Проводите меня.

Они вышли.

Сногден подошел к Ван-Конету. У покинутого стола находились трое: Давенант, Сногден и Ван-Конет. Баркет, наспех собрав поклажу, отвел Марту на двор и кинулся запрягать лошадь.

Давенант слышал разговор, отлично понимая его оскорбительный смысл.

— С трактирщиком?—сказал Ван-Конет.

— Да,—ответил тот.—Таково положение.

— Слишком большая честь. Но не в том дело. Вы знаете, в чем.

— Как хотите. В таком случае моя роль впереди.

— Благодарю, вы—друг. Эй, скотина,—обратился Ван-Конет к Давенанту,—мы смотрим на тебя как на бешеное животное. Дуэли не будет.

— Если вы откажетесь от дуэли,—неторопливо объяснил Давенант,—я позабочусь, чтобы ваша невеста знала, на какой щеке у вас будут лучше расти волосы.

Эти взаимные оскорбления не могли уже вызвать нового нападения ни с той, ни с другой стороны.

— Вы знаете, кому говорите такие замечательные вещи? — спросил Согден.

— Георгу Ван-Конету я говорю их.

— Да. А также мне. Я — Рауль Согден.

— Двое всегда слышат лучше, чем один.

— Что делать? — сказал Ван-Конет.— Вы видите,— этот человек одержим. Вот что: вас известят, так и быть, вам окажут честь драться с вами.

— Место найдется,— ответил Давенант.— Я жду немедленного решения.

— Это невозможно,— заявил Согден.— Будьте довольны тем, что вам обещано.

— Хорошо. Я буду ждать и, если ваш гнев остынет, приму меры, чтобы он начал пылать.

Наступило молчание.

— Негодяй!.. Идем,— обратился Ван-Конет к Согдену, медленно сходя по ступеням, в то время как Согден вынимал деньги, чтобы расплатиться. Швырнув два золотых на покинутый стол, он побежал к автомобилю. Усевшись, компания исчезла в пыли знойного утра.

Задумавшись, Давенант стоял у стола, опустив голову и проверяя свой поступок, но не видел в нем ничего лишнего. Он был вынужденным, этот поступок.

Расстроенная Марта вскоре после того передала хозяину свою благодарность через отца, который уже собрался уехать. Он был потрясен, беспокоился и упрашивал Давенанта найти способ загладить страшное дело.

Давенант молча выслушал его и, проводив гостей, обратился к работе дня.

ГЛАВА II

Большую часть пути Ван-Конет молчал, ненавидя своих спутников за то, что они были свидетелями его позора, но рассудок заставил его уступить требованиям положения.

— Я хочу избежать огласки,— сказал Ван-Конет Лауре Мульдвей.— Обещайте никому ничего не говорить.

Лаура знала, что Ван-Конет вознаградит ее за молчание. Если же не вознаградит,— ее карты были силь-

ны и она могла сделать безопасный ход на крупную сумму. Эта неожиданная удача так оживила Мульдвей, что она стала мысленно благословлять судьбу.

— На меня положитесь, Георг,— сердечно-иронически шепнула ему Лаура.— Я только боюсь, что тот человек вас убьет. Не разумнее ли кончить все дело миром? Если он извинится?

— Поздно и невозможно.— Ван-Конет задумался.— Да, поздно. Сногден заявил от моего имени согласие драться.

— Как же быть?

— Не знаю. Я извещу вас.

— Ради Бога, Георг!

— Хорошо. Но риск неизбежен.

Ван-Конет приказал шоферу остановиться у пригородной таверны и, кивнув Сногдену, чтобы тот шел за ним, расстался с Вейсом, которого тоже попросил молчать о тяжелом случае.

— Дорогой Георг,— ответил Вейс,— мне, каюсь, странно ваше волнение из-за таких пустяков, которое следовало там же, на месте, исправить сногсшибательной дракой. Но я буду молчать, потому что вы так хотите.

— Дело значительно сложнее, чем вам кажется,— возразил Ван-Конет.— Характер и взгляды моей невесты решают, к сожалению, все. Я должен жениться на ней.

Вейс уехал с Лаурой, а Ван-Конет и Сногден вошли в таверну и заняли отдельную комнату.

Сногден, не имея состояния, обладал таинственной способностью хорошо одеваться, жить в дорогой квартире и поддерживать приятельские отношения с холостой знатью. Ходил слух, что он — шулер и шантажист, но, никогда не подкрепляемый фактами или даже косвенными доказательствами, слух этот был ему скорее на пользу, чем во вред, по свойству человеческого сознания восхищаться порядочностью, если ее атакуют, и неуловимостью, если она талантлива.

Догадываясь, что хочет от него Ван-Конет, которому вскоре надо было ехать к Консуэло Хуарец, Сногден предупредительно положил на стол часы, а затем распорядился подать ликеры и кофе.

— Сногден, я пропал! — воскликнул Ван-Конет, когда слуга удалился.— Пощечина приклеена крепко, и не сегодня, так завтра об этом узнают в городе.

Тогда Консуэло Хуарец, со свойственной ее нации театральной отвагой, будет ждать моей смерти от пули этого Гравелота, потом нарыдается досыта и уйдет в монастырь или отравится.

— Вы хорошо ее знаете?

— Я ее достаточно хорошо знаю. Это смесь патоки и гремучего студня.

— Несомненно, дядя Гравелот — идеальный стрелок,— заговорил Сногден, после продолжительного размышления и вполне обдумав детали своего плана.— Даже тяжело раненный, если вы успеете выстрелить раньше, Гравелот отлично поразит вас в лоб или нос, куда ему вздумается.

— Не хватает еще, чтобы вы так же игриво нарисовали картину моих похорон.

— Примите это как размышление вслух, Ван-Конет,— я не хочу вас ни дразнить, ни мучить, а потому скорее разберем наши возможности. Примирение отпадает.

— Почему? — быстро спросил Ван-Конет, втайне надеявшийся замять дело хотя бы ценой нового унижения.

— Потому что он вам дал пощечину, а также потому, что мы не можем быть уверены в скромности Гравелота: идя мириться, рискуем наскочить на отказ. Ведь вы первый его ударили.

Ван-Конет сжал виски, мрачно смотря в рюмку. Вздохнув, он улыбнулся и выпил.

— Ничего не понимаю. Сногден, помогите! Выручите меня! После кошмарной ночи с этой Мульдвей у меня в голове сплошной вопль. Я теряюсь.

— Георг,— громко сказал Сногден, тряся за плечо приятеля, который, уронив лицо в ладони, сидел полумертвый от страха и ненависти,— я вас спасу.

— Ради чертей, Рауль! Что вы можете сделать?

— Прежде чем сказать что́, я требую слепого доверия.

— Я на все согласен.

— Слепое доверие есть главное условие. Второе: я должен действовать немедленно. Для моих действий мне нужны наличные деньги.

Ван-Конет не был скуп, в чем Сногден убеждался довольно часто. Но, когда Сногден назвал сумму — три тысячи,— Ван-Конет нахмурился и несколько охладел к спасительному авторитету приятеля.

— Так много? Для чего вам столько денег?

— Мною записаны имена свидетелей. Баркет, его дочь, служанка и сам Гравелот,— объяснил Сногден так серьезно, что Ван-Конет покорился.— Со всеми этими людьми я добьюсь их молчания. Гравелот будет стоить дороже других, но с остальными я берусь устроить дешевле. Вейс уезжает сегодня. Лаура будет молчать, надеясь на благодарность впоследствии. Люди не сложны. Иначе я давно бы уже чистил прохожим сапоги или писал романы для воскресного приложения.

— Вы правы. Действуйте,— сказал Ван-Конет, вытаскивая книжку чеков. Написав сумму, он подписал чек и передал его Сногдену.

— Теперь,— сказал Сногден, спрятав чек,— я буду говорить откровенно.

— Самое лучшее.

— Прекрасно. Мы — люди без предрассудков. Я устрою ваше дело, но только в том случае, если вы выдадите мне теперь же вексель на два месяца, на сумму в десять тысяч фунтов.

Ван-Конет не был так глуп, чтоб счесть эти напряженные, жестко сказанные слова шуткой. Внешне оставшись спокоен, Ван-Конет молчал и вдруг, страшно побледнев, хватил кулаком о стол с такой силой, что чашки слетели с блюдец.

— Что за несчастный день! — крикнул Ван-Конет.— Неужели все пошло к черту? И вы — вы, Сногден, грабите меня?! Как это понять? Я знаю, что вы не брезгуете подачками, я знаю о вас больше, чем кто-нибудь. Но я не знал, что вы так злобно воспользуетесь моим несчастьем.

Сногден взял трость и бросил чек на стол.

— Вот чек,— сказал он, испытывая громадное удовольствие игры, со всей видимостью риска, но при успокоительном сознании безопасности.— Я корыстен, вернее, я— человек дела. Ваш чек не вдохновляет меня. Прощайте. Я не считаю эту ссору окончательной, и завтра, если будет еще не поздно, вы сможете возобновить наши переговоры, когда десять тысяч покажутся вам не так значительны, чтобы из-за них стоило лишиться остального.

— Сногден, вы меня оглушили,— сказал Ван-Конет, видя, что его друг направляется к двери, и проклиная свою вспыльчивость.— Не уходите, а выслушайте. Я согласен.

— Боже мой! — заговорил Сногден, так же решительно возвращаясь к своему стулу, как покинул его, и опускаясь с видом изнеможения.— Боже мой! За те пять лет, что я вас знаю, Георг,— начиная вашим проигрышем Кольберу, когда понадобилось перетряхнуть мошну всех ростовщиков и я, как собака, носился из Гертона в Сан-Фуэго, из Сан-Фуэго в Покет и опять в Гертон,— с тех дней до сегодняшнего утра я был уверен, что в вас есть признательность заговорщика, обязанного своему собрату по обстоятельствам той жизни, которую вы вели главным образом благодаря мне. Я уже не говорю о случае с несовершеннолетней Матильдой из дамского оркестра, когда вам угрожал суд. Я не говорю о моих хлопотах перед вашим отцом, о деньгах для мнимого отступного Смиту, якобы грозившему протестовать поддельный вексель, которого не было. Не говорю я и о спекуляциях, принесших, опять-таки благодаря мне, вашей милости двенадцать тысяч за контрабанду. Не говорю я также о множестве случаев моей помощи вам, попадавшему в грязные истории с женщинами и газетчиками. Я не говорю о Лауре, которую буквально выцарапал для вас из алькова Вагрена. Но я говорю о чести... Нет, дайте мне сказать все. Да, Ван-Конет, у людей нашего закала есть честь, и честь эта носит имя: «взаимность». Лишь чувство чести заставляет меня напоминать вам о ней. Теперь, когда я мог бы воспитать своего мальчика порядочным человеком, не знающим тех чадных огней греха, в каких сжег свою жизнь его приемный отец, вы ударом кулака по столу заявляете, что я грабитель и негодяй. Я был бы смешон и жалок, если бы я был бескорыстен, так как это означало бы мою беспомощность спасти вас. Для такого дела нужен человек, подобный мне, не стесняющийся в средствах. Кроме того, я ваш друг, и согласитесь, что корыстный друг лучше бескорыстного врага. Однако вам пора отрезвиться и ехать. Пишите вексель.

Говоря о мальчике, Сногден не сочинял. Восемь лет назад, выиграв крупную сумму, он из прихоти купил у какой-то уличной нищенки грудного младенца и нанял ему кормилицу. Впоследствии он привязался к мальчику и очень заботился о нем.

— Так вот цена мухи! Вексель я дам,— сказал Ван-Конет, которому, в сущности, не оставалось ничего иного, как подчиниться уверенности и опыту Сногдена.— Есть ли у вас бланк?

— У меня есть про запас решительно все.

Сногден передал Ван-Конету бланк и, когда слуга принес чернила, стал искоса наблюдать, что пишет Ван-Конет.

По окончании этого дела Сногден сложил вексель и откровенно вздохнул.

— Так будет лучше, Георг,— сказал он рассудительным тоном взрослого, успокаивающего ребенка,— уж вы поверьте мне. Крупная сумма воспламеняет способности и усиливает изобретательность.

— Но, черт побери, посвятите же меня в ваши затеи!

— К чему? Я, должен вам сказать, не люблю критики. Она расхолаживает. Что же касается моих действий, они так неоригинальны, что вы впадете в сомнения, тогда как я отлично знаю себя и абсолютно убежден в успехе.

— О, как я буду рад, Сногден. Могу ли я спокойно ехать к Консуэло?

— Да. Можете и должны.

— Но, Сногден, допустим невероятное для вашего самолюбия — что вы спасуете.

— Я отдам вексель вам, и вы при мне разорвете его,— твердо заявил Сногден.— Отправляйтесь и ждите у Хуарец. Я извещу вас.

Ван-Конет несколько успокоился. Они расплатились, вышли и направились в противоположные стороны. Сногден так и не сказал, что хочет предпринять, а Ван-Конет поехал брать ванну и собираться к своей невесте.

ГЛАВА III

Молоденькая невеста Ван-Конета, Консуэло Хуарец, была единственное дитя Педро Хуареца, разбогатевшего продажей земельных участков. Владелец табачных плантаций и сигарных фабрик, депутат административного совета, человек, вышедший из низов, Хуарец стал очень богат лишь к старости. Его жена была дочерью скотопромышленника. Десятилетнюю Консуэло родители отправили в Испанию, к родственникам матери. Там она окончила пансион и вернулась семнадцатилетней девушкой. Таким образом, легкомысленные нравы гертонцев не влияли на Консуэло. Она

приехала незадолго до годового праздника моряков, который устраивался в Гертоне 9 июня в память корабля «Минерва», явившегося на Гертонский рейд 9 июня 1803 года. Танцуя, Консуэло познакомилась с Ван-Конетом и вскоре стала его любить, несмотря на репутацию этого человека, которой, как ни странно, она верила, спокойно доказывая себе и не желавшему этого брака расстроенному отцу, что ее муж станет другим, так как любит ее. На взгляд Консуэло, ничего не знавшей о жизни, сильная любовь могла преобразить даже отъявленного бандита. Немного она ошибалась в этом, и разве лишь потому, что такая любовь действует только на сильных и отважных людей.

Как следствие прямого и доверчивого характера Консуэло, важно рассказать, что она первая призналась Ван-Конету в своей любви к нему, и так трогательно, как это способно выразить только неопытное существо. Всякий избранник Консуэло на месте Ван-Конета, чувствуя себя наполовину прощенным, крепко задумался бы, прежде чем взять важное обязательство охранять жизнь и судьбу девушки, дарящей сердце так легко, как протягивают цветок. Ван-Конет притворился влюбленным ради богатого приданого, несколько недоумевая, при всех успехах своих среди женщин, как это жертва сама выбежала под его выстрел, когда он только еще изучал след. Его отец жаждал приданого больше, чем сын. Август Ван-Конет так погряз в долгах и растратах, что его служебное, а также материальное банкротство было лишь вопросом времени.

Два месяца сын губернатора прощался с холостой жизнью, более или менее успешно скрывая свои похождения. Приближался день брака, а сегодня Ван-Конет должен был приехать к невесте для разговора, который девушка считала весьма важным. Она хотела искренне, сердечно сказать ему о своей любви, чтобы затем взять с него обещание быть ей верным и настоящим другом. Это было естественное волнение девушки, смутно чувствующей всю важность своего шага и стремящейся к немедленному порыву всех лучших чувств как в себе, так и в избраннике, чтобы забежать сердцем в тайну близости многих лет, которые еще впереди.

Семья Хуарец обыкновенно не уезжала из пригородного имения, но за неделю до бракосочетания Консуэло с матерью переехали в городской дом, стоявший

на возвышении за узкой Карантинной улицей, неподалеку от сквера и церкви св. Маврикия. Одноэтажный дом Хуареца представлял группу из трех белых кубов различной высоты, с плоскими крышами и каменной площадкой лицевого фасада, на которую поднимались по ступеням. Площадка эта была обнесена чугунной решеткой. Отсюда виднелась часть крыш Карантинной и других улиц, прилегающих к ней, до отдаленных семиэтажных громад новейшей постройки. Восточная часть дома имела две террасы, расположенные рядом, одна выше другой. Внутренний двор, с балконами, фонтаном и пальмами среди клумб, был любимым местопребыванием Консуэло. Там она читала и размышляла, и туда горничная-мулатка провела Ван-Конета, приехавшего с опозданием на четверть часа, так как, расставшись со Сногденом, он занялся приведением в равновесие своих нервов, ради чего долго сидел в ванне и выпил мятный коктейль.

Баркет удачно определил Гравелоту впечатление, производимое Консуэло, а потому следует лишь взглянуть на нее так близко, как часто имел эту возможность Ван-Конет. При всем богатстве своем, девушка любила простоту, чем сильно раздражала жениха, желавшего, чтобы финансовое могущество семьи, лестное для него, отражалось каждой складкой платьев его невесты. Для этого свидания Консуэло выбрала белую блузку с отложным воротником и яркую, как пион, юбку; на ее маленьких ногах были черные туфли и белые чулки. Тонкая золотая цепочка, украшенная крупной жемчужиной, обнимала смуглую шею девушки двойным рядом, в черных волосах стоял черепаховый гребень. Ни колец, ни серег Консуэло не носила. Кисти ее рук по сравнению с маленькими ногами казались рукой мальчика, но как в пожатии, так и на взгляд производили впечатление доброты и женственности. В общем, это была хорошенькая девушка с приветливым лицом, ясными черными глазами, иногда очень серьезными, и с очаровательными ресницами — легкая фигурой, небольшого роста, хотя подвижность, стройность и девически тонкие от плеча руки делали Консуэло выше, чем в действительности она была, достигая волосами лишь подбородка Ван-Конета. Ее голос, звуча одновременно с дыханием, имел легкий грудной тембр и был так приятен, что даже незначительные слова звучали в произношении Консуэло скрытым

чувством, направленным, может быть, к другим, более важным предметам сознания, но свойственным ее тону, как дыхание — ее речи.

С такой девушкой был помолвлен Ван-Конет. Встреченный матерью Консуэло, худощавой женщиной, отчасти напоминающей дочь, в темном шелковом платье, отделанном стеклярусом, Ван-Конет уделил несколько минут будущей теще, притворяясь, что ничто не интересует его, кроме невесты. Хотя у Винсенты Хуарец были живые, проницательные глаза, некогда снившиеся многим мужчинам, но, поддакивая мужу и вздыхая вместе с ним, тайно она была на стороне Ван-Конета. Олицетворение элегантного порока, склонившегося перед сильным и свежим чувством, умиляло ее романтическую натуру. Кроме того, дочери скотовода грехи знатных лиц казались не следствием дурных склонностей, а лишь подобием причудливого, рискованного спорта, который нетрудно подменить идиллией.

Поговорив с ней, Ван-Конет ушел к невесте. Заметив его, Консуэло расцвела, зарделась. Ее взгляды выражали нежность и нетерпение говорить о чем-то безотлагательном.

Со скукой, угнетенный страхом дуэли, Ван-Конет, лицемеря осторожно и кротко, начал играть роль любящего — одну из труднейших ролей, если сердце играющего не тронуто хотя бы симпатией. Если оно смеется, а любовь девушки безоглядна, успех игры обеспечен — нет стеснения ни в словах, ни в позах: будь спокоен, подозрительно ровен, даже мрачен и вял — сердце женское найдет объяснение всему, все оправдает и примет вину на себя.

Ван-Конет поцеловал руку Консуэло, но она обняла его, поцеловала в висок, отстранилась, взяла за руку и подвела к стулу.

— Идите сюда, сядьте... Садитесь,— повторила девушка, видя, что Ван-Конет задумался на мгновение.— Оставьте все ваши дела. Вы теперь со мной, а я с вами.

Они сели и повернулись друг к другу. Консуэло взяла веер. Обмахнувшись, девушка вздохнула. Глаза ее, смеясь и тревожась, были устремлены на молчаливого жениха.

— Я в страшной тоске,— сказала Консуэло.— Вы знаете, что произошло? Сегодня весь Гертон говорит о самоубийстве двух человек. Он ужасно любил ее,

а она его. Как горестно, не правда ли? Им не давали жениться, а они не снесли этого. Только посмертная записка рассказывает причину несчастья. Там так и написано: «Лучше смерть, чем разлука». Так написала о н а. А о н приписал: «Мы не расстанемся. Если не можем вместе жить, то пусть вместе умрем». Теперь все говорят, что это — дурное предзнаменование и что те, кто обвенчается в нынешнем году, несчастливо кончат, да и жизнь их будет противной. Как вы думаете, не отложить ли нам брак до будущей весны? Мне что-то страшно, я так боюсь всего такого, и из головы не выходит. Вы уже слышали?

— Я слышал эту историю,— сказал Ван-Конет, беря из рук Консуэло веер и рассматривая живопись на слоновой кости.— Замечательная вещь. Но я так люблю вас, милая Консуэло, что суеверия не тревожат меня.

— О, вы меня любите! — тихо вскричала девушка, схватывая веер, причем Ван-Конет удержал его, так что их руки сблизились.— Но это правда?

Консуэло рассмеялась, затем стала серьезной, и опять неудержимый счастливый смех, подобно утренней игре листьев среди лучей, осветил ее всю.

— Это правда? А если это неправда? Но я пошутила! — крикнула она, заметив, что левая бровь Ван-Конета медленно и патетически поднялась.— Ведь это так чудесно, что вот мы, двое, я и вы, так сильно, сильно, навсегда любим. Лучше не может быть ничего, по-моему. А как думаете вы?

— Я так же думаю. Мне кажется, что вы высказываете мои мысли.

— В самом деле? Я очень рада,— медленно произнесла Консуэло, отвертываясь и опуская голову с желанием вызвать торжественное настроение, но улыбка бродила на ее полураскрытых губах.— Нет! Мне весело,— сказала она, выпрямляясь и вздохнув всей грудью.— Я могу сидеть так долго и смотреть на вас. Всего не скажешь! Целое море слов, как волн в море. Так как же нам быть? Пожалуйста, успокойте меня.

Ван-Конет хотел оживиться, непринужденно болтать, но не мог. Ожидание известий от Сногдена черной рукой лежало на его стесненной душе. Консуэло заметила состояние Ван-Конета, и он заговорил в тот момент, когда она уже решила спросить, что с ним случилось.

— Какой смысл беспокоиться? — сказал Ван-Конет. — Все дело в том, что глупость, высказанная каким-нибудь одним человеком, приобретает вид чего-то серьезного, если ее повторит сотня других глупцов. Погибших, разумеется, жаль, но такие истории происходят каждый день, если не в Гертоне, то в Мадриде, если не в Мадриде, то в Вене. Вот и все, я думаю.

— Вы так уверенно говорите... Ах, если бы так! Но если человек обратит это на себя... если он не расстается с печальными мыслями...

Консуэло запуталась и сама прервала себя:

— Сейчас я придумаю, как выразить. Вас как будто грызет забота. Разве я ошибаюсь?

— Я полон вами, — сказал, проникновенно улыбаясь, Ван-Конет.

— Ах да... Я поняла, как сказать свою мысль. Если человек полон счастья и боится за него, не может ли чужая трагедия оставить в душе след, и след этот повлияет на будущее?

— Клянусь, я с удовольствием воскресил бы гертонских Ромео и Джульетту, чтобы вас не одолевали предчувствия.

— Да. А воскресить нельзя! Странно, что моя мать вам ничего не сказала.

— Ваша матушка не хотела, должно быть, меня тревожить.

— Моя матушка... Ваша матушка... Ах-ах-ах! — укоризненно воскликнула Консуэло, передразнивая сдержанный тон жениха. — Ну, хорошо. Вы помните, что у нас должен быть серьезный разговор?

— Да.

— Георг, — серьезно начала Консуэло, — я хочу говорить о будущем. Послезавтра состоится наша свадьба. Нам предстоит долгая совместная жизнь. Прежде всего мы должны быть друзьями и всегда доверять друг другу, а также чтобы не было между нами глупой ревности.

Она умолкла. Одно дело — произносить наедине с собой пылкие и обширные речи, другое — говорить о своих желаниях внимательному, замкнутому Ван-Конету. Поняв, что красноречие ее иссякло, девушка покраснела и закрыла руками лицо.

— Ну вот, я запуталась, — сказала она, но, подумав и открыв лицо, ласково продолжала: — Мы никогда не будем расставаться, все вместе, всегда: гулять, читать

вслух, путешествовать, и горевать, и смеяться... О чем горевать? Это неизвестно, однако может случиться, хотя я не хочу, не хочу горевать!

— Прекрасно! — сказал Ван-Конет. — Слушая вас, не хочешь больше слушать никого и ничто.

— Не очень красивый образ жизни, который вы вели, — говорила девушка, — заставил меня долго размышлять над тем — почему так было. Я знаю: вы были одиноки. Теперь вы не одиноки.

— Клевета! Черная клевета! — вскричал Ван-Конет. — Карты и бутылка вина... О, какой грех! Но мне завидуют, у меня много врагов.

— Георг, я люблю вас таким, какой вы есть. Пусть это две игры в карты и две бутылки вина. Дело в ваших друзьях. Но вы уже, наверно, распростились со всеми ними. Если хотите, мы будем играть с вами в карты. Я могу также составить компанию на половину бутылки вина, а остальное ваше.

Она рассмеялась и серьезно закончила:

— Друг мой, не сердитесь на меня, но я хочу, чтобы вы сжали мне локоть.

— Локоть? — удивился Ван-Конет.

— Да, вы так крепко, горячо сжали мне локоть один раз, когда помогали перепрыгнуть ручей.

Консуэло согнула руку, протянув локоть, а Ван-Конет вынужден был сжать его. Он сжал крепко, и Консуэло зажмурилась от удовольствия.

— Вот хороша такая крепкая любовь, — объяснила она. — Знаете ли вы, как я начала вас любить?

— Нет.

Прошло уже три часа, как Ван-Конет предоставил Сногдену улаживать мрачное дело. Его беспокойство росло. С трудом сидел он, угнетенно выслушивая речи девушки.

— Вы стояли под балконом и смотрели на меня вверх, бросая в рот конфетки. В вашем лице тогда мелькнуло что-то трогательное. Это я запомнила, никак не могла забыть, стала думать и узнала, что люблю вас с той самой минуты. А вы?

Вопрос прозвучал врасплох, но Ван-Конет удачно вышел из затруднения, заявив, что он всегда любил ее, потому что всегда мечтал именно о такой девушке, как его невеста.

Дальше пошло хуже. Настроение Ван-Конета совершенно упало. Он усиливался наладить разговор,

овладеть чувствами, вниманием Консуэло и не мог. Ни слов, ни мыслей у него не было. Ван-Конет ждал вестей от Сногдена, проклиная плеск фонтана и слушая, не раздадутся ли торопливые шаги, извещающие о вызове к телефону.

После нескольких робких попыток оживить мрачного возлюбленного Консуэло умолкла. Делая из деликатности вид, что задумалась сама, она смотрела в сторону; губки ее надулись и горько вздрагивали. Если бы теперь она еще раз спросила Ван-Конета: «Что с ним?» — то окончательно расстроилась бы от собственных слов. Несколько рассеяло тоску появление Винсенты, объявившей, что приехал отец. Действительно, не успел Ван-Конет пробормотать нескладную фразу, как увидел Педро Хуареца, тучного человека с угрюмым лицом. Взглянув на дочь, он понял ее состояние и спросил:

— Вы поссорились?

Консуэло насильственно улыбнулась.

— Нет, ничего такого не произошло.

— Я ругался с моей женой довольно часто,— сообщил старик, усаживаясь и вытирая лицо платком.— Ничего хорошего в этом нет.

Эти умышленно сказанные, резко прозвучавшие слова еще более расстроили Консуэло. Опустив голову, она исподлобья взглянула на жениха. Ван-Конет молчал и тускло улыбался, бессильный сосредоточиться. Бледный, мысленно ругая девушку грязными словами и проклиная невесело настроенного Хуареца, который тоже был в замешательстве и медлил заговорить, Ван-Конет обратился к матери Консуэло:

— Очень душно. Вероятно, будет гроза.

— О! Я не хочу,— сказала та, присматриваясь к дочери,— я боюсь грозы.

Снова все умолкли, думая о Ван-Конете и не понимая, что с ним произошло.

— Вам нехорошо? — спросила Консуэло, быстро обмахиваясь веером и готовая уже расплакаться от обиды.

— О, я прекрасно чувствую себя,— ответил Ван-Конет, взглянув так неприветливо, что лицо Консуэло изменилось.— Напротив, здесь очень прохладно.

Выдав таким образом, что не помнит, о чем говорил минуту назад, Ван-Конет не мог больше переносить смущения матери, расстройства Консуэло и пыт-

ливого взгляда старика Хуареца. Ван-Конет хотел встать и раскланяться, как появилась служанка, сообщившая о вызове гостя к телефону Сногденом. Не только оповещенный, но и все были рады разрешению напряженного состояния. Что касается Ван-Конета, то кровь кинулась ему в голову, сердце забилось, глаза живо блеснули, и, торопливо извиняясь, взбежал он вслед за служанкой по внутренней лестнице дома к телефону проходной комнаты.

— Сногден! — крикнул Ван-Конет, как только поднес трубку к губам.— Давайте, что есть, сразу — да или нет?

— Да,— ответил торжествующе-снисходительный голос,— категорическое да, хотя пришлось иметь дело с вашим отцом.

Ван-Конет сжался: среди радости упоминание об отце намекнуло о чем-то и обещало неприятную сцену. Однако «да» все перевешивало в этот момент.

— Черти целуют вас! — закричал он.— Но, как бы там ни было, дыхание вернулось ко мне. Ждите меня через час.

— Хорошо. Признаете ли вы, что я знаю цену своих обещаний?

— Отлично. Не хвастайтесь.

Ван-Конет засмеялся и, глубоко, спокойно дыша, вернулся к фонтану.

Семья молча сидела, дожидаясь его возвращения. Консуэло печально взглянула на жениха, но, заметив, что он весь ожил, смеется и еще издали что-то говорит ей, сама рассмеялась, порозовела. Догадавшись о перемене к лучшему, Винсента Хуарец посмотрела на Ван-Конета с благодарностью; даже отец Консуэло обрадовался концу этого унизительного как для него, так и для его дочери и жены омертвения жениха.

— Что-нибудь очень приятное? — воскликнула Консуэло, прощая Ван-Конета и гордясь его прекрасным любезным лицом.— Вы задали мне загадку! Я так беспокоилась!

— Признаюсь,— сказал Ван-Конет,— да, меня беспокоило одно дело, но все уладилось. Мою кандидатуру на должность председателя компании сельскохозяйственных предприятий в Покете поддерживают два влиятельных лица. Вот этого я и ждал, от этого приуныл.

— О, надо было сказать мне! Ведь я ваша жена! Я — самое влиятельное лицо!

— Конечно, но...— Ван-Конет поцеловал руку девушки и сел, довольно оглядываясь.— По всей вероятности, мы с Консуэло будем жить в Покете,— сказал он старику Хуарецу,— как уже и говорилось об этом.

— Мне дорого мое дитя,— неожиданно трогательно и твердо сказал Хуарец,— она у меня одна. Я хочу на вас надеяться, да, я надеюсь на вас.

— Все будет хорошо! — воскликнул Ван-Конет, заглядывая во влажные глаза девушки с сиянием радости, полученной от разговора с Сногденом, и придумывая тему для разговора, которая могла бы заинтересовать всех не более как на десять минут, чтобы поспешить затем на свидание и узнать от Сногдена подробности благополучной развязки.

ГЛАВА IV

Дела и заботы Сногдена обнаружатся на линии этого рассказа по мере его развития, а потому внимание должно быть направлено к Давенанту и коснуться его жизни глубже, чем он сам рассказал Баркету.

Подобранный санитарной каретой перед театром в Лиссе, Давенант был отвезен в госпиталь Красного Креста, где пролежал с воспалением мозга три недели. Как ни тяжело он заболел, ему было суждено остаться в живых, чтобы долго помнить пламенно-солнечную гостиную и детские голоса девушек. Как игра, как ясная и ласковая забота жизни о невинной отраде человека, представлялась ему та судьба, какую он бессознательно призывал.

По миновании опасности Давенант несколько дней еще оставался в больнице, был слаб, двигался мало, большую часть дня лежал, ожидая, не разыщет ли его Галеран или Футроз. Его тоска начиналась с рассветом и оканчивалась дремотой при наступлении ночи; сны его были воспоминаниями о незабываемом вечере со стрельбой в цель. Серебряный олень лежал под его подушкой. Иногда Тиррей брал эту вещицу, рассматривал ее и прятал опять. Наконец он уразумел, что его пребывание в чужом городе лишено телепатических свойств, могущих указать местонахождение беглеца кому бы то ни было. Теперь был он всецело предоставлен себе. Он вспоминал своего отца с такой ненавистью, что мысли его о нем были полны стона и скре-

жета. Выйдя из больницы, Давенант отправился пешком на юг, чтобы уйти от Покета как можно далее. Дорогой он работал на фермах и, скопив немного денег, шел дальше, выветривая тоску. А затем Стомадор отдал ему «Сушу и море».

В тот день Давенанту никак не удавалось побыть одному до самого вечера, так как была суббота — день разъездов с рудников в город. Торговцы ехали закупать товары, служащие — повеселиться с знакомыми, рабочие, получившие расчет,— хватить дозу городских удовольствий. Многие из них требовали вина, не оставляя седла или не выходя из повозок, отчего Петрония часто выбегала из дверей с бутылкой и штопором, а Давенант сам служил посетителям.

За хлопотами и расчетами всякого рода его гнев улегся, но тяжкое оскорбление, нанесенное Ван-Конетом, осветило ему себя таким опасным огнем, при каком уже немыслимы ни примирение, ни забвение. Угадывая свадебные затруднения высокопоставленного лица, а также имея в виду свое искусство попадать в цель, Давенант отлично сознавал, насколько Ван-Конету рискованно принимать поединок; однако другого выхода не было, разве лишь Ван-Конет стерпит пощечину под тем предлогом, что удар трактирщика, так же как и уличное нападение, не могут его унизить. На такой случай Давенант решил ждать двадцать четыре часа и, если Ван-Конет откажется, напечатать о происшествии в местной газете. Такую услугу мог ему оказать Найт, брат редактора газеты «Гертонские утренние часы», человек, часто охотившийся с Гравелотом в горах и искренне уважавший его. Однако Давенант так еще мало знал людей, что подобные диверсионные соображения казались ему фантазией, на самом же деле он не хотел сомневаться в храбрости Ван-Конета. Единственное, что Давенант допускал серьезно,— это вынужденное признание противником своей вины перед началом поединка; тогда он простил бы его. Если же гордость Ван-Конета окажется сильнее справедливости и рассудка, то на такой случай Давенант намеревался ранить противника неопасно, ради его молоденькой невесты, не виноватой ни в чем. Эту девушку Давенант не хотел наказывать.

Самые тщательные размышления, если они имеют предметом еще не наступившее происшествие, обусловленное какими-нибудь случайностями его разрешения,

есть размышления, по существу, отвлеченные, и они скоро делаются однообразны; поэтому, все передумав, что мог, Давенант стал с часу на час ожидать прибытия секундантов Ван-Конета, но много раз убирались и накрывались столы для посетителей, которым Давенант ничего не говорил о событиях утра, запретив также болтать Петронии, а день проходил спокойно, как будто никогда за большим столом против окна не сидели Лаура Мульдвей, отгонявшая муху, и Георг Ван-Конет, смеявшийся со злым блеском глаз. Радостным и чудесным был этот день только для служанки Петронии, неожиданно осчастливленной восемнадцатью золотыми. Но не так поразили ее деньги, скотская грубость Ван-Конета и драка с ее хозяином, как поведение Гравелота, который ударил богатого человека, отказался от выигрыша и, пустяков ради, грудью встал против своей же доходной статьи из-за надутых губ всхлипывающей толстощекой девчонки, которой, по мнению Петронии, была оказана великая честь: «Такой красавец, кавалер важных дам, изволил с ней пошутить».

Петрония служила недавно. Работник Давенанта, пожилой Фирс, терпеливо сближался с ней, и она начала привыкать к мысли, что будет его женой. Восемнадцать гиней делали ее независимой от накоплений Фирса. Улучив минуту, когда тот привез бочку воды, Петрония вышла к нему на двор и сказала:

— Знаете, Фирс, когда вас не было, приезжал сын губернатора с какой-то красавицей... Хотя она очень худая... Он, а также его двое друзей, все богачи, дали мне двадцать пять фунтов.

— Это было во сне,— сказал Фирс, подходя к ней и беря ее твердую блестящую руку с засученным до локтя рукавом.

Петрония освободила руку и вытащила из кармана юбки горсть золотых.

— Врете. Это хозяин посылает вас за покупками,— сказал Фирс.— А вы сочиняете по примеру Гравелота. Вы заразились от него сочинениями... Признайтесь! Он мне сказал на днях: «Фирс, как вы поймали луну?» В ведре с водой, понимаете, отражалась луна, так он просил, чтобы я не выплеснул ее на цветы. Заметьте, не пьян, нет! Я только обернулся, а затем отвернулся. Не люблю я таких шуток. Выходит, что я — глупее его? Итак, едете в город покупать?

— Да,— ответила Петрония, сознавая, что положение изумительно и что у Фирса нет причины верить истине происшествия, а рассказать о стрельбе она боялась: Фирс умел вытягивать из болтунов подробности, и тогда, если узнает о ее нескромности Гравелот, ему, пожалуй, вздумается забрать деньги себе.

— Петрония! — закричал Давенант из залы, видя, что появилось несколько фермеров.

Она не слышала, и он, выйдя ее искать, заглянул в кухонную дверь. Петрония стояла у притолоки, откинув голову, пряча за спиной руки, мечтая и блаженствуя. Весь день она тревожно присматривалась к хозяину, стараясь угадать,— не сошел ли Гравелот с ума. Такой ее взгляд поймал Давенант и теперь, но, думая, что она беспокоится о нем из-за утренней сцены, улыбнулся. Ему понравилось, как она стояла, цветущая, рослая, олицетворение хозяйственности и здоровья, и он подумал, что Петрония будет помнить этот день всю жизнь, как своенравно залетевшую искру чудесной сказки. «Вся ее жизнь,— думал Давенант,— примет оттенок благодарного воспоминания и надежды на будущее».

Она встрепенулась, а хозяин отослал ее и сказал Фирсу:

— Кажется, вам нравится моя служанка, Фирс? Женитесь на ней.

— Мало ли нравится мне служанок,— замкнуто ответил Фирс, распрягая лошадь,— на всех не женишься.

— Тогда на той, которая перестанет быть для вас служанкой.

Фирс не понял и подумал: «С чего он взял, что я держу служанок?»

— Ехать ли за капустой? — спросил Фирс.

— Вы поедете за ней завтра.

Давенант возвратился к буфету, замечая с недоумением, что солнце садится, а из города нет никаких вестей от Ван-Конета. По-видимому, его осмеяли и бросили, как бросают обжегшее пальцы горячее, казавшееся безобидным на взгляд железо. Рассеянно наблюдая за посетителями, которых оставалось все меньше, Давенант увидел человека в грязном парусиновом пальто и соломенной шляпе; пытливый, себе на уме взгляд, грубое лицо и толстые золотые кольца выдавали торговца. Так это и оказалось. Человек сошел с повозки, запряженной парой белых лошадей,

и прямо направился к Давенанту, которого начал просить разрешить ему оставить на два дня ящики с книгами.

— У меня книжная лавка в Тахенбаке,— сказал он,— я встретил приятеля и узнал, что должен торопиться обратно на аукцион в Гертоне,— выгодное дело, прозевать не хочу. Куда же мне таскать ящики? Позвольте оставить эти книги у вас на два дня, послезавтра я заеду за ними. Два ящика старых книг. Пусть они валяются под навесом.

— Зачем же?—сказал Давенант.— Ночью бывает обильная роса, и ваши книги отсыреют. Я положу их под лестницу.

— Если так, то еще лучше,— обрадовался торговец.— Благодарю вас, вы очень меня выручили. Недаром говорят, значит, что Джемс Гравелот—самый любезный трактирщик по всей этой дороге. Мое имя—Готлиб Вагнер, к вашим услугам.

Затем Вагнер вытащил два плохо сколоченных ящика, в щелях которых виднелись старые переплеты, а Давенант сунул их под лестницу, ведущую из залы в мезонин, где он жил. Вагнер стал предлагать за хранение немного денег, но хозяин наотрез отказался—ящики нисколько не утруждали его. Вагнер осушил у стойки бутылку вина, побежал садиться в повозку и тотчас уехал.

Это произошло за несколько минут до заката солнца. Петрония прибирала помещение, так как с наступлением тьмы гостиница редко посещалась, двери ее запирались. Если же приезжал кто-нибудь ночью, то гостя впускали через ворота и кухню. Сосчитав кассу, Давенант приказал служанке закрыть внутренние оконные ставни и отправился наверх, раздумывая о мрачном дне, проведенном в тщетном ожидании известий от Ван-Конета. Лишь теперь, сидя перед своей кроватью, за столом, на который Петрония поставила медный кофейник, чашку и сахарницу, молодой хозяин гостиницы мог сосредоточиться на своих чувствах, рассеянных суетой дня. Оскорбления наглых утренних гостей не давали ему покоя. Умело, искусно, несмотря на запальчивость, были нанесены эти оскорбления; он еще никогда не получал таких оскорблений и, оживляя подробности гнусной сцены, сознавал, что ее грязный след останется на всю жизнь, если поединок не состоится. Более всего играла здесь роль разница мировоззрений, выраженная не препира-

тельством, а ударом. Действительно, так больно ранить и так загрязнить рану мог только человек с низкой душой. Догадываясь о роли Criогдена, Давенант придавал мало значения его явно служебной агрессии: Сногден действовал по обязанности.

Вдруг, как это часто бывает при взволнованном состоянии, развертывающем представление действия в связи не только с прямыми, но и с косвенными обстоятельствами, у Давенанта возникло сомнение. Богатый человек, сын губернатора, жених дочери миллионера, обладающий могущественными связями и великолепным будущим,—захочет ли такой человек рисковать всем, даже претерпев удар по лицу? Насколько характер его открылся в «Суше и море», следовало признать отсутствие благородных чувств. А в таком положении люди редко изменяют себе, разве лишь выгода толкнет их к неискреннему театральному жесту. Это соображение так встревожило Давенанта, что он немедленно подкрепил его сопоставлением джентльмена с трактирщиком и риском, которым грозила для Ван-Конета огласка курьезно-мрачного дела. Надежды его исчезли, мысли спутались, и, чтобы отвлечься,— так как ничего другого не оставалось, как ждать, что принесет завтрашний день,—Давенант снял со стены маленькую винтовку, подобную той, из которой несколько лет назад стрелял на вечере у Футроза. Пристрастившись к стрельбе в цель, чем-то отвечавшей его жажде тождества усилия и результата, Давенант, уже став несравненным стрелком, не оставлял этого упражнения, но ему помешали.

Он услышал быстрый стук в ворота, шаги и голос Петронии; затем мужской голос назвал его имя: «Гравелот», но дальше Давенант не расслышал. Кто-то взбежал по лестнице, дверь быстро открылась, и он увидел контрабандиста Петвека, который даже не постучал.

— Скандал! Готовьтесь!—закричал Петвек.— Я к вам прямо из Латра. Сюда мчится таможенный отряд.

— Что такое, Петвек? Садитесь прежде всего. О чем вы кричите?

— У вас были обыски?

— До сих пор не было.

— Так будет сейчас. Я был в Латре. Двенадцать пограничников направились к вам. Я видел этих

солдат. Один из них — не то чтобы проболтался, но он с нами имеет дела. У вас что-нибудь есть, Гравелот?

— Если вы до сих пор не соблазнили меня, ясно, что сам я не стану прятать карты или духи. Однако вы не врете? — сказал Давенант, встревоженный шумным дыханием Петвека, который смотрел на него с испугом и недоумением.

— Вот как я вру, — ответил Петвек, — я сразу помчался к вам, оставив солдат доканчивать свое пиво у старухи Декай. Ведь вы знаете, что в Латре у нас постоянный наблюдательный пункт — пограничники вечно толкутся там. Я мчался по короткой тропе и опередил их, но через четверть часа вы сами будете говорить с ними, тогда узнаете, лжет Петвек или не лжет.

— Вот что, — сказал Давенант, прислушиваясь к одной мысли, начавшей его терзать. — Идем-ка вниз. Под лестницей есть два ящика, и я хочу узнать, чем они набиты.

Он взял молоток, лампу и поспешно сошел вниз, с Петвеком за спиной, все время торопившим его. Вытащив из-под лестницы один ящик, оставленный Вагнером, Давенант сбил верхние доски. Действительно, там лежали старые книги, но они прикрывали десятка два небольших ящиков. Распаковав один из них, хотя и без того уже слышался весьма доказательный запах дорогих сигар, Давенант больше не сомневался.

— По крайней мере закурим, — сказал Петвек, беря сигару и с остервенением отгрызая ее конец. — Так! Хорошие сигары, Гравелот. Но с нами вы не хотели иметь дела.

— Молчите, — сказал Давенант. — Товар мне подкинули. Петвек, тащите тот ящик, а я возьму этот. Мы выбросим их в кусты.

Но в это время застучали копыта лошадей. Прятать роковой груз было уже поздно.

— К черту! — сказал Давенант, крепче задвигая дверной засов и пробуя крюк. — Придется бежать, Петвек. Дело хуже, чем пять месяцев тюрьмы. На этом не остановятся. Я один знаю, в чем дело. Где стоит ваша «Медведица»?

— Гравелот, — ответил Петвек, чувствуя какое-то более серьезное дело, чем два ящика сигар, — я не покину вас в беде.

Услышав это, Давенант кинулся в комнату Фирса и одним толчком разбудил его.

— Бросьте протирать глаза,— сказал Давенант,— дело плохо. Оставляю вам гостиницу. Ведите торговлю, вот вам сто фунтов. Потом отчитаетесь. Я должен временно скрыться. Сейчас будут ломиться в ворота и двери,— не открывайте. Пусть ломают вход или лезут через стену, но задержите, как можно дольше. Некогда рассуждать.

Раздался удар в дверь гостиницы. Одновременно загремели ворота и послышались приказания открыть. Фирс сел, спустив ноги, вскочил и, торопливо кивнув, спрятал деньги под наволочку, затем выхватил их и начал бегать по комнате, ища более надежного места. Давенант покинул его и увлек Петвека наверх. Из комнаты косое окно вело на крышу, по той ее стороне, которая была обращена к скале. Достав и захватив с собой серебряного оленя, а также все деньги из стола и карманов одежды, Давенант с револьвером в руке вылез через окно, указывая Петвеку место, где прыжок на скалу с крыши короче. Они прыгнули одновременно, прямо над головой пограничника, стоявшего с этой стороны дома, чтобы помешать бегству. Солдат, увидев две тени, перемахнувшие вверху, с крыши на скалу, яростно закричал и выстрелил, но беглецы были уже в кустах, а в это время через стену двора перепрыгивали солдаты, начиная разгром. Лодка Давенанта стояла неподалеку от дома; он скатил ее в воду и сел, а Петвек распустил парус. Умеренный ветер погнал лодку прочь от опасной земли.

— Передохнем,— сказал Петвек, сев к рулю и доставая из кармана горсть сигар. Он благоразумно захватил столько сигар, сколько успел набить в карманы, пока Давенант пугал и обогащал Фирса.

— Что ж, я везу вас на «Медведицу». Если так, то она этой же ночью пойдет в Покет. Закурите, Гравелот. Видали вы, как быстро изменяется жизнь?

— Знаю,— сказал Давенант, уже немного освоившийся с мыслью, что вновь ступил на тропу темной судьбы.— Мне это известно, увы! Но у меня крепкое сердце, Петвек.

— Хорошо, если крепкое. Объясните, в чем дело? Зачем надо бежать?

Пока они плыли, Давенант рассказал утреннюю историю, и, всесторонне обсудив ее, Петвек должен был признать, что другого выхода, как бегство, нет.

— Раз так тонко задумано с контрабандой, будьте уверены,— сказал Петвек,— что этим Ван-Конеты не ограничатся. Сын боится вас, а его отец, высокородный Август Ван-Конет, сумел бы устроить вам долгое житье за решеткой. Это — сила. Поедете с нами в Покет, а там будет видно, что делать.

— В Покет? — сказал Давенант.— Ну что же! Мне почему-то это приятно. Я там давно не был. Очень давно. Да, это хорошо — Покет,— повторил он, на мгновение чувствуя себя слоняющимся у дома Футроза, а тут воспоминания, одно за другим, прошли в темноте ночи: Галеран, Элли, Роэна, старуха Губерман, Кишлот, бродяга отец... И в ветре возбуждения опасного дня они предстали теперь мирно, лишь оттенок тоски сопровождал их. «Меня, пожалуй, трудно узнать,— думал он.— Странно и хорошо: я буду в Покете. Хорошо, что так выходит само собой, без намерения».

— Богатое было у вас дело,— сказал Петвек.— Кто бы мог думать?.. Вы хотя сказали кому-нибудь?

— Да. Останется Фирс. Ему я могу верить.

— Жулик ваш Фирс,— ответил Петвек.— Не то чтобы он мне не нравился, но, когда он является в Латр, первым делом прохаживается насчет вас. Завистливая скотина.

— Я оставил ему сто фунтов,— сказал Давенант.— Особенно я не сомневаюсь, но все же, когда вы будете там, присмотрите немного. Фирс и Петрония должны управиться, пока я не улажу историю с Ван-Конетом. А я улажу ее. Еще не знаю как, но это дело я доведу до конца.

— Правильно,— согласился Петвек,— я зайду в гостиницу, а с вами спишусь.

Лодка шла близко к береговым скалам. Не прошло часа, как Давенант увидел «Медведицу», стоявшую на якоре без огней. Петвек издал условный свист.

— Что привез? — крикнул человек с низкого борта потрепанного двухмачтового судна.

— Я привез одного твоего знакомого! — крикнул Петвек и, пока Давенант убирал парус, продолжал объяснять: — Со мной Гравелот. Надо будет перемахнуть его в Покет. Вот и все.

Все береговые контрабандисты хорошо знали Давенанта, так как редкий месяц не заходили в «Сушу и море» и неоднократно пытались приспособить гости-

ницу для своих целей, но, как ни выгодны были их предложения, Давенант всегда отказывался. На таком ремесле его увлекающийся характер скоро положил бы конец свободе и жизни этого человека, сознательно ставшего изгнанником, так как жизнь ловила его с оружием в руках. Он не был любим ею. Хотя Давенант уклонился от предложений широко разветвленной, могущественной организации, контрабандисты уважали его и были даже привязаны к нему, так как он часто позволял им совещаться в своей гостинице. Итак, Давенант не встретил новых лиц и, пройдя в маленькую каюту шкипера Тергенса, скоро увидел себя окруженным слушателями. Петвек вкратце рассказал дело, но они желали узнать подробности. Их отношение к Давенанту было того рода благожелательно-снисходительным отношением, какое выказывают люди к стоящему выше их, если тот действует с ними в равных условиях и одинаковом положении. При отсутствии симпатии здесь недалеко до усмешки; в данном же случае контрабандисты признавали бегство Гравелота более удивительным, чем серьезным, делом. Не скрывая сочувствия к нему, они всячески ободряли его и шутили; их забавляло, что Гравелот обошелся с Ван-Конетом как с пьяным извозчиком.

— Однако,— сказал Тергенс,— Гравелот не улетел по воздуху, пограничники это знают, они обшарят весь берег, и, я думаю, нам пора тащить якорь на борт.

— Как же быть с Никльсом?—спросил боцман Гетрах.

Речь шла о контрабандисте, ушедшем в село к возлюбленной на срок до шести часов утра. В семь «Медведица» должна была начать плавание, но теперь возник другой план. Тергенс боялся оставаться, так как пограничники, выехав на паровом боте вдоль скал, легко могли арестовать «Медведицу» с ее грузом, состоявшим из красок, хорьковых кистей, духов и пуговиц.

— Не думал нынче плыть на «Медведице»,— сказал Петвек боцману.— Раз я здесь, я поеду. Мне надоело торчать в Латре. На этой неделе больших дел не предвидится. Там есть Блэк и Зуав, их двух хватит, в случае чего. Гетрах, пишите Никльсу записку, а я возьму шлюпку, свезу записку в дупло. Никльс прочтет, успокоится.

Взяв записку, Петвек ушел, после чего остальные контрабандисты мало-помалу очистили каюту, слу-

жившую одновременно столовой. Гетрах спал на столе, Тергенс — на скамье. Пока Петвек ездил к берегу, Тергенс открыл внутренний трюмовый люк и со свечой прошел туда, чтобы указать Давенанту место его ночлега. Перевернув около основания мачты ряд кип и ящиков, Тергенс устроил постель из тюков, на нее шкипер бросил подушку и одеяло.

— Не курите здесь,— предупредил Тергенс беглеца,— пожар в море — дело печальное. Впрочем, я вам принесу тарелку для окурков.

Он притащил оловянную тарелку, глухой фонарик, бутылку водки. Давенант опустился на ложе и принял полусидячее положение. Уходя, Петвек дал ему шесть сигар, так что он был обеспечен для комфортабельного ночлега в плавании. Хлебнув водки, Давенант закурил сигару, стряхивая пепел в тарелку, которую держал на коленях сверху одеяла. Мальчик еще крепко сидел в опытном, видавшем виды хозяине гостиницы; ему нравился запах трюма — сыроватый, смолистый; полусвет фонаря среди товаров и бег возбужденной мысли в раме из бортов и снастей, где-то между мысом «Монаха» и отмелями Гринленда. Между тем слышался голос возвратившегося Петвека и стук кабестана, тащившего якорь наверх. Заскрипели блоки устанавливаемых парусов; верхние реи поднялись, парусина отяготилась ветром, и все разбрелись спать, кроме Гетраха, ставшего к рулю, да Тергенса и Петвека, влезших из каюты в трюм, чтобы потолковать перед сном. Гости уселись на ящиках и приложились к бутылке, после чего Петвек сказал:

— Никак нельзя было спрятать вашу лодку на берегу. Пограничники могли ее найти и узнать нашу стоянку. А тут хорошее сообщение с нашей базой. Я отвел лодку за камни и пустил ее по ветру. Что делать!

Давенант спокойно махнул рукой.

— Если я буду жив,— лодка будет,— сказал он фаталистически.— А если меня убьют, то не будет ни лодки, ни меня. Так мы уж плывем, Тергенс?

— О да. Если ветер будет устойчив — зюйд-зюйд-ост,— то послезавтра к рассвету придем в Покет.

— Не в гавань, надеюсь?

— Ха-ха! Нет, не в гавань. Там в миле от города есть так называемая Толковая бухта. В ней выгрузимся.

— Знаю. Я бывал там... когда бегал еще босиком,— сказал Давенант.

— Вы родились в Покете?— вскричал Петвек.

— Нет,— ответил из осторожности Давенант,— я был проездом, с родителями.

— Странный вы человек,— сказал Тергенс.— Идете вы, как и мы, без огней, сигналов... Никто не знает, кто вы такой.

— Вы были бы разочарованы, если бы узнали, что я — сын мелкого адвоката,— ответил Давенант, смеясь над испытующим и заинтересованным выражением лиц бывших своих клиентов,— а потому я вам сообщаю, что я незаконный сын Эдисона и принцессы Аустерлиц-Ганноверской.

— Нет, в самом деле?!— сказал Петвек.

— Ну, оставь,— заметил Тергенс,— дело не наше. Так вы думали, что Ван-Конет будет с вами драться?

— Он должен был драться,— серьезно сказал Давенант.— Я не знал, какой это подлец. Ведь есть же смелые подлецы!

— Интересно узнать, кто этот тип, который оставил вам ящики,— сказал Петвек.— Каков он собой?

Давенант тщательно описал внешность мошенника, но контрабандисты никого не могли подобрать к его описанию из тех, кого знали.

— Что же... Подавать в суд? Да вас немедленно арестуют,— сказал Тергенс.

— Это верно,— подтвердил Давенант.

— Ну, так как вы поступите?

— Знаете, шкипер,— с волнением ответил Давенант,— когда я доберусь до Покета, я, может быть, найду и заступников, и способы предать дело широкой огласке.

— Если так... Конечно.

Тергенс и Петвек сидели с Давенантом, пока не докончили всю бутылку. Затем Тергенс отправился сменять Гетраха, а Петвек — к матросам, играть в карты. Давенант скоро после того уснул, иногда поворачиваясь, если ребра тюков очень жали бока.

Почти весь следующий день он провел в лежачем положении. Он лежал в каюте на скамье, тут же обедал и завтракал. «Медведица» шла по ровной волне, с попутным ветром, держась, на всякий худой случай, близко к берегу, чтобы экипаж мог бежать после того, как дозорное судно или миноносец сигнализируют

остановиться. Однако, кроме одного пакетбота и двух грузовых шхун, «Медведица» не встретила судов за тот день. Уже стало темнеть, когда на траверсе заблестели огни Покета, и «Медведица» удалилась от берега в открытый океан, во избежание сложных встреч.

Когда наступила ночь, судно, обогнув зону порта, двинулось опять к берегу, и незначительная качка позволила экипажу играть в «ласточку». Давенант принял участие в этой забаве. Играли все, не исключая Тергенса. На шканце установили пустой ящик с круглым отверстием, проделанным в его доске; каждый игрок получил три гвоздя с отпиленными шляпками; выигрывал тот, кто мог из трех раз один бросить гвоздь сквозь узенькое отверстие в ящике на расстоянии четырех шагов. Это трудное упражнение имело своих рекордсменов. Так, Петвек попадал чаще других и с довольным видом клал ставки в карман.

Чем ближе «Медведица» подходила к берегу, тем озабоченнее становились лица контрабандистов. Никогда они не могли уверенно сказать, какая встреча ждет их на месте выгрузки. Как бы хорошо и обдуманно ни был избран береговой пункт, какие бы надежные люди ни прятались среди скал, ожидая прибытия судна, чтобы выгрузить контрабанду и увезти ее на подводах к отлично оборудованным тайным складам, риск был всегда. Причины опасности коренились в отношениях с береговой стражей и изменениях в ее составе. Поэтому, как только исчез за мысом Покетский маяк, игра прекратилась и все одиннадцать человек, бывшие на борту «Медведицы», осмотрели свои револьверы. Тергенс положил на трюмовой люк восемь винтовок и роздал патроны.

— Не беспокойтесь,— сказал он Давенанту, вопросительно взглянувшему на него,— такая история у нас привычное дело. Надо быть всегда готовым. Но редко приходится стрелять, разве лишь в крайнем случае. За стрельбу могут повесить. Однако у вас есть револьвер? Лучше не ввязывайтесь, а то при вашей меткости не миновать вам каторжной ссылки, если не хуже чего. Вы просто наш пассажир.

— Это так,— сказал Давенант.— Однако у меня нет бесчестного намерения отсиживаться за вашей спиной.

— Как знаете,— заметил Тергенс с виду равнодушно, хотя тут же пошел и сказал боцману о словах Гравелота. Гетрах спросил:

— Да?

Они одобрительно усмехнулись, больше не говоря ничего, но остались с приятным чувством. В воображении им приходилось сражаться чаще, чем на деле.

Между тем несколько бутылок с водкой переходило из рук в руки: готовясь к высадке, контрабандисты накачивались для храбрости, вернее — для спокойствия, так как все они были далеко не трусы. Только теперь стало всем отчетливо ощутительно, что груз стоимостью в двадцать тысяч фунтов обещает всем солидный заработок. «Медведица» повернула к берегу, невидимому, но слышному по шороху прибоя; ветер упал. Матросы убрали паруса; судно на одном кливере подтянулось к смутным холмам с едва различимой перед ними пенистой линией песка. Всплеснул тихо отданный якорь; кливер упал, и на воду осела с талей шлюпка. В нее сели четверо: Давенант, Гетрах, Петвек и шестидесятилетний седой контрабандист Утлендер. Как только подгребли к берегу, стало ясно, что на берегу никого нет, хотя должны были встретить свои.

— Ну, что же вам делать теперь? — сказал Петвек Давенанту, выскакивая на песок вместе с ним.— Мы тут останемся. Я пойду искать наших ребят, которые, верно, заснули неподалеку в одном доме, а вам дорога известная: через холмы и направо, никак не собьетесь, прямо выйдете на шоссе.

Контрабандист был уже озабочен своими делами. Гетрах нетерпеливо поджидал его, чтобы идти. Давенант, чрезвычайно довольный благополучным исходом плавания, тоже хотел уходить, даже пошел,— как он и все другие остановились, услышав плеск весел между берегом и «Медведицей». Подумав, что оставшийся в лодке Утлендер зачем-то направился к судну, так укрытому тьмой, что можно было различить лишь, да и то с трудом, верхушку его мачт, Петвек крикнул:

— Эй, старый Ут! Ты куда?

Одновременно закричал Утлендер, хотя его испуганные слова не относились к Петвеку.

— Тергенс, удирай! — вопил он и, поднеся к губам свисток, свистнул коротко три раза, чего было довольно, чтобы на палубе загремел переполох.

Таможенная шлюпка, набитая пограничниками, стала между берегом и «Медведицей», другая напала с открытой стороны моря, из-за холмов раздались

выстрелы — и стало некуда ни плыть, ни идти. Пока обе таможенные шлюпки абордировали «Медведицу», темные фигуры таможенных, показавшись из береговой засады, кричали:

— Сдавайтесь, купцы!

Давенант быстро осмотрелся. Заметив большой камень с глубокими трещинами, он сунул в одну из трещин бумажник с деньгами и письмами, а также своего оленя, и успел засыпать все это галькой. Затем он подбежал к Утлендеру, готовый на все.

— Отбивайтесь! — кричал Тергенс с палубы, в то время как момент растерянности уже прошел и все, словно хлестнуло их горячим по ногам, начали, без особого толку, сопротивляться. Трудно было знать, сколько здесь солдат. Ничего лучшего не находя, Петвек, Гетрах и Давенант бросились в шлюпку Утлендера, где, по крайней мере, суматоха могла выручить их, дав как-нибудь ускользнуть к недалеким скалам, а за их прикрытием — в море. Так случилось, таково было согласное настроение всех, что началась усердная пальба ради спасения ценного груза и еще более от внезапности всего дела, хотя, может быть, уже некоторые раскаивались, зная, как дорого поплатятся за стрельбу оставшиеся в живых. Отойдя от берега, шлюпка качалась на волнах, и в нее уже стреляли с берега. Пули свистели, пронзая воду или колотя в борт зловещим щелчком. Тьма мешала прицелу. Утлендер, дрожа от возбуждения, встал и стоя стрелял на берег, Петвек и Гетрах старались повалить таможенников, сидевших в шлюпке, приставшей к борту «Медведицы». Давенант схватил револьвер, более опасный в его руках, чем винтовка в руках солдата, и прикончил одного неприятеля.

— Вы-то... чего? — крикнул Гетрах, но уже забыл о Давенанте, сам паля в кусты, где менялись очертания тьмы.

Между тем на палубе судна зазвучали сабли, тем указывая рукопашную. Там же был начальник отряда; задыхаясь, он твердил:

— Берите их! Берите!

Протяжно вскрикнув, командир изменившимся голосом сказал:

— Теперь все равно. Бейте их беспощадно!

— Ага! дрянь! — крикнул Тергенс.

«Если я брошусь на берег,— думал Давенант со странной осторожностью и вниманием ко всему, что

звучало и виднелось вокруг,— если я скажу, кто я, почему я с контрабандистами и ради чего преследуем я Ван-Конетом, разве это поможет? Так же будут издеваться таможенники, как и Ван-Конет. Все это маленькие Ван-Конеты. Да. Это они!» — сказал он еще раз и на слове «они» пустил пулю в одну из темных фигур, бегавших по песку. Солдат закружился и упал в воду лицом.

Между тем на «Медведице» перестали стрелять; там опустошенно и тайно лежала тьма, как если бы задохнулась от драки.

— Связаны! Связаны! — крикнул Тергенс.— Бросайте, Гетрах, к черту винтовки и удирайте, если можете!

Но уже трудно было остановить Петвека и Утлендера. Таможенные шлюпки, освободясь после «Медведицы», напали на контрабандистов с правого и левого борта.

— Гибель наша! — сказал Утлендер, стреляя в близко подошедшую шлюпку.

Он уронил ружье и оперся рукой о борт. Пуля пробила ему грудь.

— Меня просверлили,— сказал Утлендер и упал к ногам Гетраха, тоже раненного, но легко, в шею.

Однако Гетрах стрелял, а Давенант безостановочно отдавал пули телам таможенников, лежа за прикрытием борта. Шлюпки качались друг против друга, ныряя и повертываясь без всякого управления, так как солдаты были чрезвычайно озлоблены и тоже увлеклись дракой. Давенант стрелял на берег и в лодки. Выпустив все патроны револьвера, он поднял ружье Утлендера, а Петвек сунул ему горсть патронов, сжав вместе с ними руку Давенанта так сильно, что выразил вполне свои чувства и повредил тому ноготь. Довольно было Давенанту колебания во тьме ночной тени, чтобы он разил самую середину ее. Хотя убил он уже многих и сам получил рану возле колена, он оставался спокоен, лишь над бровями и в висках давил пульс.

— Петвек! — сказал Давенант зачем-то, но Петвек уже лежал рядом с Утлендером; он только разевал рот и двигал рукой.

— Захватите этого! — кричали таможенники.

Однако Давенант не отнес крик к себе,— пока что он не понимал слов. Наконец у него не осталось патронов, когда Тергенс громко сказал:

— Бросьте, Гравелот, вас убьют!

Стрелять ему было нечем, и он, поняв, сказал:

— Уже бросил.

С тем действительно Давенант бросил ружье в воду и дал схватить себя налетевшему с двух сторон неприятелю, чувствуя, что чем-то оправдал воспоминание красно-желтой гостиной и отстоял с честью свет солнечного луча на ярком ковре со скачущими золотыми кошками, хотя бы не знал об этом никто, кроме него.

— Кончилось?—спросил связанный Тергенс, сидевший на люке трюма, когда под дулом ружей Давенант взобрался на палубу, чтобы, в свою очередь, испытать хватку наручников.

— Кончилось,—ответил Давенант среди общего шума, полного солдатской брани.

— Если буду жив,—сказал Тергенс,—я ваш... телом и душой, знайте это.

— Я ранен,—сказал Давенант, протягивая руку сержанту, который скрепил вокруг его кистей тонкую сталь.

— Да, что это было?—вздохнул Тергенс.—Мы все прямо как будто с ума сошли. Не бойтесь,—процедил он сквозь зубы.—Постараемся. Будет видно.

Давенант сел. Солдаты начали поднимать на борт и складывать трупы. Утлендер еще стонал, но был без сознания. Остальные плыли к могиле.

Таможенники, забрав шлюпки на буксир, подняли паруса, чтобы вести свой трофей в Покет. Было их пятьдесят человек, осталось двадцать шесть.

Полная трупов и драгоценного товара, «Медведица» с рассветом пришла в Покет, и репортеры получили сенсационный материал, тотчас рассовав его по наборным машинам.

Пока плыли, Давенант тайно уговорился с Тергенсом, что контрабандисты скроют причины его появления на борту «Медведицы».

ГЛАВА V

Сногден встретил Ван-Конета в своей квартире и говорил с ним как человек, взявший на себя обязанность провидения. Окружив словесным гарниром свои нехитрые, хотя вполне преступные действия, результат которых уже известен читателю, придумав много пре-

пятствий к осуществлению их, Сногден представил дело трудным распутыванием свалявшегося клубка и особенно напирал на то, каких трудов будто бы стоило ему уговорить мастера вывесок Баркета. О Баркете мы будем иметь возможность узнать впоследствии, но основное было не только измышлением Сногдена: Баркет, практический человек, дал Сногдену обещание молчать о скандале, а его дочь, за которую так горячо вступился Тиррей, сначала расплакалась, затем по достоинству оценила красноречивый узор банковых билетов, переданных Сногденом ее отцу. Сногден дал Баркету триста фунтов с веселой прямотой дележа неожиданной находки, и, когда тот, сказав: «Я беру деньги потому, чтобы вы были спокойны»,— принял дар Ван-Конета, пришедшийся, между прочим, кстати, по обстоятельствам неважных дел его мастерской, Сногден попросил дать расписку на пятьсот фунтов. «Это для того,— сказал Сногден, смотря прямо в глаза ремесленнику,— чтобы фиктивные двести фунтов приблизительно через месяц стали действительно вашими, когда все обойдется благополучно».

Не возражая на этот ход, чувствуя даже себя легче, так как сравнялся с Сногденом в подлости, Баркет кивнул и выдал расписку.

Когда он ушел, Марта долго молчала, задумчиво перебирая лежащие на столе деньги, и грустно произнесла:

— Скверно мы поступили. Как говорится, подторговали душой.

— Деньги нужны, черт возьми! — воскликнул Баркет.— Ну, а если бы я не взял их,— что изменится?

— Так-то так...

— Слушай, разумная дочь,— нам не тягаться в вопросах чести с аристократией. А этот гордец Гравелот, по-моему, тянется быть каким-то особенным человеком. Трактирщик вызвал на дуэль Георга Ван-Конета! Хохотать можно над такой историей, если подумать.

— Гравелот вступился за меня,— заявила Марта, утирая слезы стыда,— и я никогда не была так оскорблена, как сегодня.

— Хорошо. Он поступил благородно — я не спорю... Но дуэли не будет. Тут что-то задумано против Гравелота, если, едва мы приехали, Сногден пришел просить нас молчать и, собственно говоря, насильно заставил взять эти триста фунтов.

— Я не хотела...— сказала Марта, крепко сжав губы,— хотя что сделано, то сделано. Я никогда не прощу себе.

— Отсчитай-ка сейчас же, Марта, восемьдесят семь фунтов, я оплачу вексель Томсону. Остальные надо перевести Платтеру на заказ эмалевых досок. Но это завтра.

— Оставь мне двадцать пять фунтов.

— Это зачем?

— Затем...— сказала Марта, улыбаясь и застенчиво взглядывая на отца.— Догадайся. Впрочем, я скажу: мне надо шить, готовиться: ведь скоро приедет мой жених.

— Да,— подтвердил Баркет и прибавил уже о другом: — Самый ход дела отомстил за тебя: Ван-Конет трусит, замазывает скандал, боится газет, всего, тратится. Видишь, как он наказан!

Если Согден не мог рассказать эту сцену Ван-Конету, зато он представил и разработал в естественном диалоге несговорчивость, возмущение Баркета и его дочери; в конце Согден показал счет, вычислявший расход денег: самые большие деньги, по его объяснению, пришлось заплатить мнимому Готлибу Вагнеру, темному лицу, согласному на многое ради многого. Затем, как бы припомнив несущественное, но интересное, Согден сказал, что обстоятельства заставили его иметь объяснение с отцом Ван-Конета, чье вмешательство единственно могло погубить Гравелота, согласно тем незначительным уликам, какие подсылались в «Сушу и море» под видом ящиков старых книг.

Не ожидавший такого признания, Ван-Конет с трудом удерживался от резкой брани, так как ему предстояло терпкое объяснение с отцом, человеком двужильной нравственности и тем не менее выше всего ставящим показное достоинство своего имени.

— Однако, если на то пошло,— в бешенстве закричал Ван-Конет,— таким-то путем и я мог бы уладить все не хуже вас!

— Нет! — Согден резко схватил приятеля за руку, которую тот хотя вырвал немедленно, однако стал слушать.— Нет, Георг, нет и нет,— я вам говорю. Лишь я мог представить отцу вашему дело в том его значении, о котором мы говорили, в котором уверены, которое нужно рассудить холодно и тонко. Со мной ваш отец вынужден был говорить сдержанно, так как

и он многим обязан мне. Дело касается не только ареста Гравелота, а главное — как поступить с ним после ареста. Судебное разбирательство немыслимо, и я нашел выход, я дал совет, как прекратить все дело, но уже когда пройдет не меньше месяца и вы с женой будете в Покете. До сих пор я еще нажимаю все пружины, чтобы скорее состоялось ваше назначение директором акционерного общества сельскохозяйственных предприятий в Покете. Я работаю головой и языком, и вы, так страстно стремящийся получить это место, не можете отрицать...

— Я не могу отрицать,— перебил Ван-Конет,— что вы зарвались. Повторяю — я сам мог уладить дело через отца...

Он умолк, потому что отлично сознавал, как много сделал Сногден, как неизбежно его отец должен был обратиться к тому же Сногдену, чтобы осуществить эту интригу, при всей ее несложности требующую особых знакомств. Ван-Конету предстоял отвратительный разговор с отцом.

— Уверены вы, по крайней мере, что эта глупая история окончена?

— Да, уверен,— ответил Сногден совершенно спокойно.— А, Вилли, дорогой мой! Что хочешь сказать?

Вбежал мальчик лет семи, в бархатной курточке и темных локонах, милый и нежный, как девочка. Увидев Ван-Конета, он смутился и, нагнувшись, стал поправлять чулок; затем бросил на Сногдена выразительный взгляд и принялся водить пальцем по губам, не решаясь заговорить.

Сын губернатора с досадой и размышлением смотрел на мальчика; настроение Ван-Конета было нарушено этой сценой, и он с усмешкой взглянул на лицо Сногдена, выразившее непривычно мягкое для него движение сердца.

— Вилли, надо говорить, что́ случилось, или уйти,— сказал Сногден.

— Хорошо! — вдруг заявил мальчик, подбегая к нему.— Скажите, что такое «интри... гланы» — «интриганы»? — поправился Вилли.

Бровь Сногдена слегка дрогнула, и он хотел отослать мальчика с обещанием впоследствии объяснить это слово, но ироническое мычание Ван-Конета вызвало в его душе желание остаться самим собой, и у него хватило мужества побороть ложный стыд.

— Как ты узнал это слово? — спросил Сногден, бесясь, что его руки дрожат от смущения.

— Я прочитал в книге,— сказал мальчик, осторожно осматривая Ван-Конета и, видимо, стесняясь его.— Там написано: «Интри... ганы окружили короля Карла, и рыцарь Альфред... и рыцарь Альфред... — быстро заговорил Вилли в надежде, что с разбега перескочит сопротивление памяти.— И ры... Альфред...» Я не помню,— сокрушенно вздохнул он и начал толкать изнутри щеку языком.— А «интри... ганы» — я не понимаю.

— Сногдену задача,— не удержался Ван-Конет, зло присматриваясь к внутренне потерявшемуся приятелю.

Прямой взгляд мальчика помог Сногдену открыть заветный угол своей души. Нисколько не задумываясь, он ответил воспитаннику:

— Интриган, Вилли,— это человек, который ради своей выгоды губит других людей. А подробнее я тебе объясню потом. Ты понял?

— О да! — сказал Вилли.— Теперь я пойду снова читать.

Он хмуро взглянул на сапоги Ван-Конета, медленно направился к двери и вдруг убежал.

— Однако... — заметил Ван-Конет, потешаясь смущением Сногдена, лицо которого, утратив острую собранность, прыгало каждым мускулом.— Однако у вас есть мужество... или нахальство. Вы так всегда объясняете мальчику?

— Всегда,— нервно рассмеявшись, неохотно сказал Сногден.

— А зачем?

— Так. Это мое дело,— ответил тот, уже овладевая собой и сжимая двумя пальцами нижнюю губу.

— Магдалина... — тихо процедил Ван-Конет.

— Поэтому,— начал Сногден, овладевая прежним тоном, уже начавшим звучать в быстрых, внушительных словах его,— ваш отец подготовлен. Этим все будет кончено.

Ван-Конет встал и, презрительно напевая, удалился из квартиры.

Он не любил толчков чувств, издавна отброшенных им, как цветы носком сапога, между тем Гравелот, Консуэло и Сногден толкнули его хорошими чувствами, каждый по-своему. Он мог отдохнуть на объяснении со своим отцом. В этом он был уверен.

Месть губернатора выразилась замкнутой улыбкой и любопытным выражением бескровного лица; его старые черные глаза смотрели так, как смотрит женщина с большим опытом на девицу, утратившую без особой нужды первую букву своего алфавита.

— Адский день! — сказал молодой Ван-Конет, уныло наблюдая отца.— Вы уже все знаете?

— Меньше всего я знаю вас,— ответил старик Ван-Конет.— Но бесполезно говорить с вами, так как вы способны наделать еще худших дел накануне свадьбы.

— Нет гарантии от нападения сумасшедшего.

— Не то, милый. Вы вели себя как пройдоха.

— Счастье ваше, что вы мой отец... — начал Ван-Конет, бледнея и делая движение, чтобы встать.

— Счастье? — иронически перебил губернатор.— Думайте о своих словах.

— Отлично. Ругайтесь. Я буду сидеть и слушать.

— Я признаю трудность положения,— сказал отец с плохо скрываемым раздражением,— и, черт возьми, приходится иногда стерпеть даже пощечину, если она сто́ит того. Однако не надо было подсылать ко мне этого Сногдена. Вы должны были немедленно прийти ко мне,— я в некотором роде значу не меньше Сногдена.

— Кто подсылал Сногдена! — вскричал Георг.— Он явился к вам, ничего мне не говоря. Я только недавно узнал это!

— Так или не так, я провел несколько приятных минут, слушая повесть о кабаке и ударе.

— Дело произошло...

— Представьте, Сногден был до умиления искренен, так что вам нет надобности ни в какой иной версии.

Ван-Конет покраснел.

— Думайте что хотите,— сказал он, нагло зевнув.— А также скорее выразите свое презрение мне, и кончим, ради Бога, сцену нравоучения.

— Вы должны знать, как наши враги страстно желают расстроить ваш брак,— заговорил старый Ван-Конет.— Если Консуэло Хуарец ничего не говорит вам, то я отлично знаю зато, какие средства пускались в ход, чтобы ее смутить. Сплетни и анонимные письма — вещь обычная. Пытались подкупить вашу Лауру, чтобы она явилась к часу подписания брачного контракта и афишировала, во французском вкусе, ваше

знакомство с ней. Но эта умная женщина была у меня и добилась более положительных обещаний.

— Хорошо, что так,— усмехнулся жених.

— Хорошо и дорого, дорого и утомительно,— продолжал губернатор.— Вам нет смысла напоминать ей об этом. Получив деньги, она уедет. Такое было условие. Теперь выслушайте о другом. Умерьте, сократите вашу неистовую жажду разгула! Какой-нибудь месяц приличной жизни — смотрите на эту необходимость как на жертву, если хотите,— и у вас будут в руках неограниченные возможности. Дайте мне разделаться с правительственным контролем, разбросать взятки, основать собственную газету, и вы тогда свободны делать, что вам заблагорассудится. Но если ваша свадьба сорвется,— не миновать ни мне, ни вам горьких минут! Берегите свадьбу, Георг! Вы своим нетерпением жить напоминаете кошку в мясной лавке. Amen.

— Все ли улажено? — вставая, хмуро спросил Георг.

— Все. Я надеюсь, что до послезавтра вы не успеете получить еще одну пощечину, как по малому времени, так и ради своего будущего.

— Так вы не сердитесь больше?

— Нет. Но чувства мне не подвластны. Несколько дней вы будете мне противны, затем это пройдет.

Ван-Конет вышел от отца с окончательно дурным настроением и провел остальной день в обществе Лауры Мульдвей, на ее квартире, куда вскоре явился Сногден, а через день в одиннадцать утра подвел к двери торжественно убранной залы губернаторского дома молодую девушку, которой обещал всю жизнь быть другом и мужем. С глубокой верой в силу любви шла с ним Консуэло, улыбаясь всем взглядам и поздравлениям. Она была так спокойна, как отражение зеленой травы в тихой воде. И, искусно притворясь, что охвачен высоким чувством, серьезно, мягко смотрел на нее Ван-Конет, выглядевший еще красивее и благороднее от близости к нему великодушной девушки с белыми цветами на темной прическе.

Улыбка не покидала ее. Отвечая нотариусу, Консуэло произнесла «да» так важно и нежно, что, поддавшись очарованию ее существа, приглашенные гости и свидетели на несколько минут поверили в Георга Ван-Конета, хотя очень хорошо знали его.

Гражданский и церковный обряды прошли благополучно, без осложнений. Новобрачные провели три дня

в имении Хуареца, отца Консуэло, а затем уехали в Покет, где Ван-Конету предстояли дела по назначению его директором сельскохозяйственной акционерной компании; он мог теперь приобрести необходимое количество акций.

Через неделю, по тайному уговору со своим любовником, туда же приехала Лаура Мульдвей, а затем явился и Сногден, без которого Ван-Конету было бы трудно продолжать жить согласно своим привычкам.

ГЛАВА VI

Захватом «Медведицы» таможня обязана была не Никльсу, как одно время думал Тергенс, имея на то свои соображения, а контрабандисту, чьи подкуп и имя стали скоро известны, так что он не успел выехать и был убит в одну из темных ночей под видимостью пьяной драки.

На первом допросе Давенант назвался «Гантрей», не желая интересовать кого-нибудь из старых знакомых ни именем «Тиррей Давенант», которое могло стать известно по газетной статье, ни именем «Гравелот», опасным благодаря Ван-Конету. Однако на «Медведице» Тергенс несколько раз случайно назвал его Гравелот, а потому в официальных бумагах он именовался двояко — Гантрей-Гравелот; так что по связи улик — бегства хозяина «Суши и моря», убийственной меткости человека, оказавшегося почему-то среди контрабандистов «Медведицы», его наружности и ясно начертанного, хотя и условного, имени Гравелот — Ван-Конет, зная от отца своего все, тотчас позаботился принять меры. Ему помогал губернатор, а потому дальнейший рассказ коснется этих предварительных замечаний подробнее — всем развитием действия.

Тюрьма Покета стояла на окраине города, где за последние годы возникло начало улицы, переходящее после нескольких зданий в холмистый пустырь с прилегающими к этому началу улицы началами двух переулков, заканчивающихся: один — оврагом, второй — шоссейной насыпью, так что на плане города все, взятое вместе, напоминало отдельно торчащую ветку с боковыми прутиками. Ворота и передний фасад тюрьмы были обращены к лежащему напротив нее длинному одноэтажному зданию, заселенному

тюремными служащими и конвойными; через дом от казармы ряд зданий замыкала бакалейная лавка с двумя окнами и дверью меж ними, имевшая клиентурой почти единственно узников и тюремщиков. Утром сторожа по особым спискам закупали в лавке на деньги арестованных, хранящиеся в конторе тюрьмы, различные продукты, дозволяемые тюремной инструкцией. Случалось, что в булке оказывался пакетик кокаина, опия, в хлебе — колода карт, в дыне — флакон спирта, но сторожа, обдумывавшие доставку этих запрещенных вещей, действовали согласно, а потому никто не тянул в суд ни хозяина лавки, ни надзирателей. Две камеры, отведенные для контрабандистов, были всегда полны. Эта публика, располагавшая приличными средствами, не отказывала себе в удовольствиях. Кроме того, контрабандные главари, составляющие нечто вроде несменяемого министерства, всегда имели среди надзирателей преданного человека, педанта тюремного режима в отношении всех заключенных, кроме своих. Если человек этот попадался при выносе писем или устройстве побега,— его немедленно заменяли другим, действуя как подкупом, так и шантажом или протекцией различных знакомств. Такая тайная жизнь тюрьмы ничем на взгляд не отражалась на официальной стороне дела; смена дежурств, караулов, часы прогулок, канцелярская отчетность и связь следственных властей с тюремной администрацией текли с отчетливостью военной службы, и арестант, лишенный полезных связей в тюрьме или вне ее, даже не подозревал, какие дела может вести человек, сидящий с ним рядом, в соседней камере.

Вид на тюрьму сверху представлял квадрат стен, посреди которого стоял меньший квадрат. Он был вдвое выше стены. Этот четырехэтажный корпус охватывал внутренний двор, куда были обращены окна всех камер. Снаружи корпуса, кроме окон канцелярии в нижнем этаже, не было по стенам здания ни окон и никаких отверстий. Тюрьма напоминала более форт, чем дом. К наружной стене, справа от ворот, примыкало изнутри ограды одноэтажное здание лазарета; налево от ворот находился дом начальника тюрьмы, окруженный газоном, клумбами и тенистыми деревьями; кроме того, живая изгородь вьющихся роз украшала дом, делая его особым миром тихой семейной жизни на территории ада.

За то время, что «Медведица» шла в Покет, нога Давенанта распухла, и его после несложных формальностей заперли в лазарет. Остальных увели в корпус. Расставаясь с Гравелотом, контрабандисты так выразительно кивнули ему, что он понял их мнение о своей участи и желание его ободрить,— в их руках были возможности устроить ему если не побег, то связь с внешним миром. Было уже утро — десять часов. В амбулатории тюремный врач перевязал Давенанту ногу, простреленную насквозь, с контузией сухожилий, и он был помещен в одиночную камеру, где грубая больничная обстановка, бледно озаряемая закрашенным белой краской окном, пахла лекарствами. Решетка, толщиной годная для тигра, закрывала окно. Давенант, сбросив свою одежду, оделся в тюремный бушлат и лег; его мысли упали. Он был в самом сердце остановки движения жизни, в мертвой точке оси бешено вращающегося колеса бытия. Сторож принес молоко и хлеб. Курить было запрещено, однако на вопрос Давенанта о курении надзиратель сказал:

— Обождите немного, потом переговорим.

От этих пустых слов, значащих, быть может, не больше как разрешение курить, пуская дым в какую-нибудь отдушину, Давенант немного развеселился и при появлении военного следователя, ведающего делами контрабанды, уселся на койке, готовый бороться ответами против вопросов.

Войдя в камеру, следователь с любопытством взглянул на Давенанта, ожидая, согласно предварительным сведениям, увидеть свирепого, каторжного типа бойца, и был озадачен наружностью заключенного. Этот светло, задумчиво смотрящий на него человек менее всего подходил к стенам печального места. Однако за его располагающей внешностью стояло ночное дело, еще небывалое по количеству жертв. И так как оставшиеся в живых солдаты были изумлены его меткостью, забыв, что стрелял не он один, то главным образом обвиняли его. Следователь положил портфель на больничный стол и, придвинув табурет, сел, приготовляя механическое перо. Это был плотный, коренастый человек с ускользающим взглядом серых глаз, иногда полуприкрытых, иногда раскрытых широко, ярко и устремленных с вызывающей силой, рассчитанной на смущение.

Таким приемом следователь как бы хотел сказать: «Запирательство бесполезно. Смотреть так, прямо и строго, могу только я, прозревающий всякое движение мысли». Среди утех, доставляемых себе специалистами разного рода, немалую роль играет прием позы — забава, нужная им как в целях самоуважения, так и из эстетических побуждений; все это большей частью невинно, однако в обстановке допроса для умного заключенного путем токов, излучаемых мелочами, дает часто указание, как надо себя вести.

Напряженный разговор звучит естественнее всего, если испытуемое лицо занято чем-либо посторонним допросу. Давенант взял кружку с молоком, стал есть хлеб и пить молоко, в то же время отвечая чиновнику.

— Приступим к допросу,— начал следователь, занося перо над бумагой и смотря на руку с кружкой.— Отвечайте, ничего не скрывая, не старайтесь замять какое-нибудь обстоятельство. Если виновны, немедленно сознайтесь во всем, этим вы облегчите вашу участь. Как вас зовут?

— Джемс Гантрей.

— Возраст?

— Двадцать шесть лет.

— Ваша профессия? Контрабандист?

— Вы ошибаетесь. Я не контрабандист.

Следователь значительно посмотрел на Тиррея, схватил пальцами подбородок, напрягся и, неожиданно встав, приблизился к двери на носках. Затем он кивнул сам себе, успокоенно двинул рукой и вернулся с улыбкой.

— Никто не подслушивает,— сказал следователь, усаживаясь и приветливо взглядывая на удивленного Давенанта.— Не бойтесь меня. Я — член вашей организации. Изложите самым подробным образом историю стычки, чтобы я имел возможность взвесить улики, выдвигаемые таможней, и, вместе с вами, обсудить характер защиты.

— Откровенность за откровенность,— сказал Давенант.— Вы — не следователь, а я — не контрабандист; кроме того, у меня в руках даже не было оружия, когда пограничники захватили «Медведицу».

— Вы не стреляли?

— Конечно. Я не умею стрелять.

— Странно, что вы не верите моим словам,— сказал следователь.— Время идет, и Тергенс прямо поручил мне помочь вам.

— Ладно,— печально рассмеялся Давенант,— забудем о плохой игре. Прошу вас, продолжайте допрос.

Следователь прищурился, усмехнувшись надменно и самолюбиво, как плохой артист, ставящий свое мнение о себе выше толпы, и переменил тон.

— Заключенный, именующий себя «Джемс Гантрей», вы обвиняетесь в вооруженном сопротивлении таможенному надзору, следствием чего было нанесение смертельных огнестрельных ранений следующим должностным лицам...

Он перечислил убитых, приводя имя каждого, затем продолжал:

— Кроме того, вы обвиняетесь в провозе контрабанды и в попытке реализовать груз на территории порта, состоящей под охраной и действием законов военного времени, что подлежит компетенции и разбирательству военного суда в городе Покете. Признаете ли вы себя виновным?

При упоминании о военном суде Давенант понял, что ему угрожает смертная казнь. Опасаясь Ван-Конета, он решил утаить истину и раскрыть ее только на суде, что, по его мнению, привело бы к пересмотру дела относительно него; теперь было преждевременно говорить о происшествиях в «Суше и море». Несколько подумав, Давенант ответил следователю так, чтобы заручиться расположением суда в свою пользу:

— Потребуется немного арифметики. Я не отрицаю, что стрелял, не отрицаю, что был на судне «Медведица», хотя по причинам, не относящимся к контрабанде. Я стрелял... У меня было семь патронов в револьвере и девять винтовочных патронов; я знаю это потому, что, взяв винтовку Утлендера, немедленно зарядил магазин, вмещающий, как вам известно, девять патронов,— их мне дал сосед по лодке. Итак, я помню, что бросил один оставшийся патрон в воду,— он мне мешал. Таким образом, девять и семь — ровно шестнадцать. Я могу взять на свою ответственность шестнадцать таможенников, но никак не двадцать четыре.

— По-видимому, вы хороший стрелок,— заметил следователь, оканчивая записывать показания.— Что было причиной вашего участия в вооруженном столкновении?

Давенант ничего не ответил.

— Теперь объясните,— сказал следователь, весьма довольный точностью ответа о стрельбе,— объясните, какие причины заставили вас присоединиться к контрабандистам?

— Об этом я скажу на суде.

Следователь попытался выведать причины отказа говорить, но Давенант решительно воспротивился и только прибавил:

— На суде станет известно, почему я не могу сказать ничего об этом теперь.

Чиновник окончил допрос. Давенант подписал свои признания, и следователь удалился, чрезвычайно заинтересованный личностью арестанта, так не похожего ни на контрабандиста, ни на преступника.

Надзиратель, выпустивший следователя, запер камеру, но через несколько минут опять вставил в замок ключ и, сунув Тиррею небольшой сверток, сказал:

— Курите в форточку.

Он поспешно вышел, отрицательно качая головой в знак, что некогда говорить. Тиррей увидел пять фунтов денег, трубку и горсть табаку. Спрятав под подушку табак, он отвинтил мундштук. В канале ствола была всунута записка от Тергенса: «Держитесь, начал осматриваться, сделаем, что будет возможно. Терг.».

ГЛАВА VII

С наступлением ночи лавочник закрыл дверь изнутри на болт, после чего вышел черным ходом через маленький двор, загроможденный пустыми ящиками и бочонками, и повесил на дверь снаружи замок, но не повернул ключа. К лавочнику подошел высокий человек в соломенной шляпе и накинутом на плечи коломянковом пиджаке. Из-за кожаного пояса этого человека торчала медная рукоятка ножа. Человек был худой, рябой, с суровым взглядом и в отличном расположении духа, так как выпил уже две бутылки местного желтого вина у инфернальной женщины по имени Катрин Рыжая, жившей неподалеку; теперь он хотел угостить Катрин на свой счет.

— Дядюшка Стомадор,— сказал контрабандист, нежно почесывая лавочника за ухом, а затем бесцере-

монно кладя локоть ему на плечо и подбоченясь, как делал это в сценах с Катрин,— повремените считать кассу.

— От вас невыносимо пахнет луком, Ботредж. Отойдите без поцелуев.

— Что? А как мне быть, если я роковым образом люблю лук! — возразил Ботредж, однако освободил плечо Стомадора.— У вас найдется для меня лук и две бутылки перцовки? Луком я ее закусываю.

— А не пора ли спать? — в раздумье спросил лавочник.— Еще я думал переварить варенье, которое засахарилось.

— Нет, старый отравитель, спать вредно. Войдем, я выпью с вами. Клянусь этим зданием, что напротив вашей лавки, и душой бедняги Тергенса,— мне нравится ваше таинственное, широкое лицо.

Стомадор взглянул на Ботреджа, трогательно улыбнулся, как улыбаются люди, любящие выпить в компании, если подвернется случай, и решительно щелкнул ключом.

— Зайдем со двора,— сказал Стомадор.— Вас, верно, ждет Катрин?

— Подождет,— ответил Ботредж, следуя за Стомадором через проход среди ящиков к светящейся дверной щели.— У меня с Катрин прочные отношения. Приятно выпить с мужчиной, особенно с таким умным человеком, как вы.

Они вошли под низкий потолок задней комнаты лавки, где Стомадор жил. В ногах кровати стоял стол, накрытый клеенкой; несколько тяжелых стульев, ружье на стене, мешки в углах, ящики с конфетами и макаронами у стены и старинная картина, изображающая охоту на тигра, составляли обстановку этого полусарая, неровно мощенного плитами желтого кирпича.

— Но только,— предупредил Стомадор,— луком закусывать я запрещаю: очень воняет. Найдем что-нибудь получше.

Лавочник пошел в темную лавку и вернулся оттуда, ударившись головой о притолоку, с двумя бутылками красной перцовки, коробкой сушеной рыбы и тминным хлебцем; затем, сложив принесенное на стол, вынул из стенного шкафчика нож, два узких стакана с толстым дном и сел против Ботреджа, дымя первосортной сигарой, каких много покупал за небольшие деньги у своих приятелей-контрабандистов.

Красный с голубыми кружочками платок, которым Стомадор имел привычку обвязывать дома голову, одним углом свешивался на ухо, придавая широкому, бледному от духоты лицу старика розовый оттенок. Серые глаза, толстые, с лукавым выражением губы, круглый, двойной подбородок и тупой нос составляли, в общем, внешность дородного монаха, как на картинах, где монах сидит около бочки с кружкой в руке. Передник, завязанный под мышками, засученные рукава серой блузы, короткие темные штаны и кожаные туфли — все было уместно на Стомадоре, все — кстати его лицу. Единственно огромные кулаки этого человека казались отдельными голыми существами, по причине своей величины. Стомадор говорил громко, чуть хрипловато, договаривая фразу до конца, как заклятие, и не путал слов.

Когда первые два стаканчика пролились в разинутые белозубые рты, Стомадор пожевал рыбку и заявил:

— Если бы вы знали, Ботредж, как я жалею, что не сделался контрабандистом! Такой промысел мне по душе, клянусь ростбифом и подливкой из шампиньонов!

— Да, у нас бывают удачные дни,— ответил, старательно очищая рыбку, Ботредж,— зато как пойдут несчастья, тогда дело дрянь. Вот хотя бы с «Медведицей». Семь человек убито, остальные сидят против вашей лавки и рассуждают сами с собой: родит в день суда жена военного прокурора или это дело затянется. Говорят, всякий такой счастливый отец ходит на цыпочках — добрый и всем шепчет: «Агу!» Я не знаю, я отцом не был.

— Действительно, с «Медведицей» у вас крах. Я слышал, что какой-то человек, который ехал на «Медведице» из Гертона, перестрелял чуть ли не всю таможню.

— Да, также и сам он ранен, но не опасно. Это — знаете кто? Чужой. Содержатель гостиницы на Тахенбакской дороге. Джемс Гравелот.

Стомадор от удивления повалился грудью на край стола. Стол двинулся и толкнул Ботреджа, который удивленно отставил свой стул.

— Как это вы красиво скакнули! — произнес Ботредж, придерживая закачавшуюся бутылку.

— Джемс Гравелот?! — вскричал Стомадор.— Бледный, лет семнадцати, похожий на серьезную де-

вочку? Клянусь громом и ромом, ваш ответ нужен мне раньше, чем вы прожуете рыбку!

— Если бы я не знал Гравелота,— возразил опешивший Ботредж,— то я подумал бы, что у Гравелота есть сын. С какой стороны он похож на девочку? Можете вы мне сказать? Или не можете? Позвольте спросить: могут быть у девочки усы в четыре дюйма длины, цвета сырой пеньки?

— Вы правы! — закричал Стомадор.— Я забыл, что прошло девять лет. «Суша и море»?

— Да, ведь я в ней бывал.

— Ботредж,— сказал после напряженного раздумья взволнованный Стомадор,— хотя мы недавно знакомы, но, если у вас есть память на кой-какие одолжения с моей стороны, вашей Катрин сегодня придется ждать вас дольше, чем всегда.

Он налил, в помощь соображению, по стакану перцовки себе и контрабандисту, который, отхлебнув, спросил:

— Вы тревожитесь?

— Я отдам лавку, отдам доход, какой получил с тюрьмы, сам, наконец, готов сесть в тюрьму,— сказал Стомадор,— если за эти мои жертвы Гравелот будет спасен. Как впутался он в ваши дела?

— Это мне неизвестно, а впрочем, можно узнать. Что вас подхлестнуло, отец?

— Я всегда ожидаю всяких *таких* вещей,— таинственно сказал Стомадор.— Я жду их. Я ждал их на Тахенбакской дороге и ждал здесь. Не думаете ли вы, что я купил эту лавчонку ради одной наживы?

— Как я могу думать что-нибудь,— дипломатично возразил заинтересованный Ботредж,— если всем давно известно, что вы, Стомадор,— человек бывалый и, так сказать, высшего ума человек?!

— Вот это я и говорю. Есть высшие цели,— серьезно ответил Стомадор.— Я передал девять лет назад дрянную хижину юному бродяге. И он справился с этим делом. Вы думаете, я не знал, что в скором времени откроются рудники? Но я бросил гостиницу, так как имел другие планы.

Говоря так, Стомадор лгал: не только он, но и никто в окрестности не мог знать тогда, какое открытие будет сделано в горах случайной разведкой. Но, одолеваемый жаждой интриги, творящей чудаков и героев, лавочник часто обращался с фактами по-дружески.

— Этот мальчик,— продолжал Стомадор,— ужасно тронул меня. Итак, начнем действовать. Что вы предлагаете?

— В каком роде?

— В смысле установления связи.

— Это нетрудно,— сказал, подумав, Ботредж.— Однако вы должны крепко молчать о том, что узнаете от меня.

— Наверное, я побегу в тюремную канцелярию с подробным докладом.

— Бросьте,— нахмурился Ботредж,— дело серьезное. В таком случае я должен немедленно отправиться к Катрин и...

На этом месте речь Ботреджа перебил тихий стук в дверь, закончившийся громким хлопком ладони о доску.

— Ясно, это — она,— сказал Ботредж без особого восторга.

Стомадор отодвинул засов и увидел рыжую молодую женщину, в распахнутой белой кофте, с яркими пятнами на щеках.

— Так что же это? Я все одна,— сказала Катрин, шагнув к Ботреджу длинной ногой в стоптанном башмаке,— а ты тут расселся?!

— Кэт, дорогая,— примирительно заявил Ботредж,— я только что хотел идти к тебе по важному делу. Надо передать записку в гостиницу. Факрегед... Он как?

Катрин взглянула на Стомадора тем диким взглядом, который считался неотразимым среди сторожей тюрьмы и контрабандистов, но не с целью завлечь, а лишь чтобы уразуметь: не вышучивают ли ее Стомадор и Ботредж.

Значительно посмотрев на нее в упор большими глазами, Стомадор прямо опустил ей в руку два золотых, и красные пятна щек Катрин всползли до висков.

— Ага! — сказала она тотчас, деловито нахмурясь и закурив папироску, которая до того торчала у нее за ухом.— Так вот что! Ну, что ж Факрегед! Он сегодня свободен. Это не пойдет.

— Так думай! — вскричал Ботредж.

— Который час? — спросила Стомадора Катрин, сильно затягиваясь и пуская дым через ноздри.

— Без десяти полночь,— ответил тот, вытащив из кармана большие золотые часы.

— В полночь у наружных ворот станет Кравар,— вслух размышляла Катрин, беря невыпитый стакан Ботреджа.— У внутренних ворот станет Хуртэй.— Она выпила стакан и села на стул к стене, кривя губы и кусая их, со всеми признаками напряженных соображений.— Пишите записку.

Тотчас отстегнув фартук, Стомадор сбросил его, вытащил из кармана блузы записную книжку, карандаш и, низко склонясь над столом, принялся строчить записку. Время от времени Ботредж замечал:

— Пишите печатными буквами. Подпись не ставьте. Кому пишете,— то имя также не ставьте. Чтобы было все понятно ему, и никому другому.

— Да, остерегитесь,— подтвердила Катрин.— Адрес передадим на словах.

Совместное обсуждение записки, которую Стомадор читал вслух, удовлетворило всех. Скатав записку в трубку, Катрин затолкала ее в волосы и направилась к двери.

— В лазарет,— медленно повторила она урок,— Джемс Гравелот. Не перепутали?

— Достоверно,— успокоил ее Ботредж,— что знаю, то знаю.

— Ждите,— кинула она, стреляя белой кофтой в темную ночь.

— Извилистая женщина,— сказал Ботредж.— Если она не сделает, то никто сегодня не сделает. Прошло девять дней, как они арестованы, через шесть дней дежурить по лазарету будет тот самый Факрегед... так ему накануне мы... Поняли?

Катрин вышла на улицу и, все время осматриваясь, ходом заячьей петли приблизилась к железной двери в сквозных железных воротах, ярко озаренных электрическим фонарем. За ними стоял плотный, коренастый Кравар. Его багровое лицо с седыми бровями показалось между железных прутьев. Узнав Катрин, сторож легонько свистнул от удивления.

— Как вы поздно гуляете!—сказал Кравар нащупывающим тоном, а также в смутной надежде, что Катрин обратится к нему с какой-нибудь просьбой: никогда он не видел ее ночью перед тюрьмой.

Катрин остановилась в тени каменного столба тюремных ворот и приложила палец к губам.

— Что вы всё вьетесь, что вьетесь?—нежно и глухо забормотал надзиратель, протягивая сквозь прутья

руку,— схватить Катрин выше локтя.— Со мной не поговорили еще ни разу. Стар, да?

Кравар оглянулся на Хуртэя, стоявшего к нему спиной за внутренними воротами, и, дернув фуражку за козырек, поправил блестящий, лакированный ремень, туго охватывавший тучный живот.

— Не болтайте глупостей,— сказала Катрин, опираясь плечом о прут и улыбаясь разгоревшимся лицом так натурально, что Кравар начал сопеть.— Для меня, я вам скажу откровенно, все мужчины одинаковы.

— Будто бы? Так ли?— сказал Кравар, задумчиво прикладывая к губам бородку ключа.— Так вы идете со свидания с «одинаковым»? Или на свидание?

— Попробуйте угадать.

— Катрин, я пришел бы к тебе завтра? Честное слово. Вы знаете, что я положительный человек.

— А! Вы давно мне это говорите. Однако Римма уже получила от вас юбку и туфли, а для меня вам жалко пустого ореха.

— Кэт!— сказал надзиратель, схватив ее за обе руки выше локтей.— Так это потому, что вы меня презираете. Я дорого бы дал... да, но вы увлекаетесь именно преступным миром. Зачем пришли? Говорите!

Катрин высвободила руки и, отступив, достала из волос бумажную трубочку.

— Слушайте, Кравар,— шепнула искусительница, сжав горячей рукой потную кисть разволновавшегося сторожа,— если передадите записку, можете тогда мне тоже купить туфли.

— Так! Два удовольствия сразу: записку любовнику и еще туфли за это! Вы... хитрая гусыня, Кэт, ей-богу.

— Вот и видно, какой вы положительный человек. У меня нет любовника в тюрьме, клянусь чем хотите! Просто один старый приятель хочет известить своего знакомого.

— Ведь вы надуете, Кэт?

— В таких случаях не надувают.

Кравар знал, что Катрин не врет. В подобных случаях правила игры соблюдаются очень строго.

— Боюсь я...— начал Кравар и умолк, всматриваясь в насторожившееся лицо женщины с ласковой подозрительностью. Он молчал, думал, наконец сказал:— Можно ли посмотреть, что написано?

— Конечно! Нате. Читайте, пожалуйста, ничего особенного там нет.

Кравар взял бумажку, оглянулся на внимательно смотрящего на него Хуртэя, кивнул ему и прочел следующее:

«Будь здоров, старина Джемс, помнишь нашу встречу девять лет тому назад на Тахенбакской дороге? Как здорово уничтожал ты пирог с репой и вино. Я слышал, что твои дела пошли хорошо. Сидел ты тогда с Том Адором. Да, было дело. Он кланяется тебе. Сообщи, не нужно ли тебе чего. Поправляйся. Твой Билль».

— Ну да, простая записка,— сказала Катрин, следя за выражением лица Кравара, который, понюхав, не пахнет ли бумага луковым соком, заменяющим симпатические чернила, еще, для верности, воспламенив спичку, погрел бумажку на огне,— там ничего нет. Я знаю.

Кравар выпятил нижнюю губу, решительно повернулся и подошел к Хуртэю. Они вдвоем долго рассматривали записку. Оставив ее у Хуртэя, Кравар повернулся к Катрин.

— Кому передать?— спросил Кравар.

— Джемсу Гравелоту, в лазарет. Пусть он сейчас пришлет мне ответ.

— Катрин, я тебя люблю, это верно, только сама понимаешь: если мы с Хуртэем... это одно, а в лазарете не то. Деньги необходимы.

— Так возьмите.— Она подала Кравару один золотой.— Деньги не мои, ясно.

— Мы тут все мудрецы,— ответил Кравар.— Я за шесть лет видел и знаю немало. Жди. Лучше пройдись, только далеко не уходи. Я звякну ключом.

В это время Давенант спал и видел во сне темную воду, заливающую ночные поля. Его ноге было ни лучше, ни хуже, колено не сгибалось, а потому болезненно было подходить к форточке для курения, и он, сколько мог, воздерживался курить.

Надзиратель, дежурящий внутри лазарета при одиннадцати одиночных камерах, беззвучно открыл дверь и, войдя, резко тряхнул арестованного за плечо. Давенант перестал дышать и открыл глаза.

К его подбородку упала записка.

— Пишите ответ,— шепнул надзиратель, немедленно уходя и закрывая дверь с наружной стороны.

Замок тихо щелкнул.

Давенант оперся на локоть и прочел записку, мгновенно поняв странный текст по ассоциациям «девяти

лет», «Том Адора» и «Тахенбакской дороги». Не зная, где Стомадор, Давенант видел, что ему пишет именно этот человек, все хорошо зная о нем.

Он испытал покорное чувство заботы, как будто грубая рука хмуро подоткнула вокруг него тюремное одеяло.

Ему стало жарко и весело. Утишив глубоким вздохом стук сердца, заливаемого надеждой, Давенант вытащил из тюфяка маленький карандаш, присланный на днях Тергенсом, и ответил Стомадору на обороте записки то существенное, о чем упорно размышлял эти дни:

«Мне нужен Орт Галеран. Если он жив, о нем может сказать содержатель кафе Адам Кишлот; я забыл номер дома, где жил Галеран. Кафе было тогда на углу Пыльной и Проточной улиц. Надобно сказать Галерану, что его извещает о себе мальчик, с которым он ездил на мыс Бай лет девять назад и который дал ему золотой для игры».

Давенант не подписался из осторожности, но и без того эти строки едва вместились на обороте записки. Не жалея, от возбуждения, больной ноги, он захромал к двери, прислушался и легонько стукнул. Надзиратель был тут. Открыв дверь, он быстро схватил записку и снова запер Давенанта, севшего на кровать думать. Через несколько минут Кравар звякнул ключом о ворота, и Катрин вышла из тени.

— Берите скорей и уходите, Кэт,—сказал Кравар.— Начальник тюрьмы отправился проверять посты. Ну и женщина...— прибавил он ей вслед.— Смотрите же, я завтра приду!

Не обернувшись, Катрин молча кивнула и была в лавке, когда Стомадор и Ботредж уже изныли от ожидания, начав тупо молчать.

— Читайте!—сказала, запыхавшись, Катрин.— Вся почта в Покете не стоит одной моей головы.

Она бросила записку на стол и, хвастливо подбоченясь, налила себе стакан перцовки, которую выпила с жадностью.

— Как достигла?—спросил восхищенный Ботредж, хватая ее за талию и подвигая к себе, пока Стомадор трудился над прочтением неразборчивого почерка Давенанта.— Как ты достигла, я спрашиваю?

— Женские дела хитрее твоих, молодчик,— ответила Катрин.— Я дала золотой. Это за вами долг, Стомадор.

Продолжая читать, Стомадор рассеянно взглянул на нее и так же рассеянно подал ей три золотых.

— Что делать? Такая наша жизнь,— вздохнул Ботредж, ухмыляясь своим мыслям об этом случае у ворот.— Так все удачно, дядюшка Стомадор?

— Ах, милая Кэт,— сказал Стомадор,— ты так услужила мне, что я открываю тебе кредит на целый месяц и ты можешь брать что захочешь. Поручено мне, понимаете, найти одного человека, а так как вы теперь должны забрать еще две бутылки перцовки и идти спать, я тут один буду составлять планы.

ГЛАВА VIII

На другой день, упросив Ботреджа торговать вместо себя, Стомадор отправился искать Галерана по указаниям записки Тиррея и, надев городской костюм, явился прежде всего по адресу Кишлота, который давно уже закрыл свое «Отвращение». На людном месте Кишлот держал магазин готовой обуви. Дела его шли так успешно, что он собирался открыть еще два таких магазина. Не употребляя более ни противоестественной, ни сколько-нибудь оригинальной рекламы, Кишлот попал на «жилу», как обещал это в припадке зависти Давенанту; секрет обогащения Кишлота заключался в покупке больших партий бракованного товара за полцены и продаже его по стоимости нормальной обуви. Незначительный брак, очевидный специалисту, сходил у простого покупателя, если он замечал его, за случайность; при жалобах Кишлот охотно обменивал бракованное изделие на безупречное, но жалоб было мало, а товару много.

Кишлот располнел, выучился играть на механическом пианино и сватался к одной веселой вдове, имеющей собственный дом.

— Орт Галеран?— спросил Кишлот Стомадора, когда узнал о цели визита.— Его адрес известен в кафе «Понч». Там я встретился с ним, но ко мне он уж давненько не заходил.

— Главное было мне — найти вас,— сказал Стомадор.— Я провел на Пыльной улице часа два, расспрашивая в домах и на углах, я устал, сел в пивной и взял газету. Тут я увидел, как я глуп. Среди объявлений на видном месте означен ваш магазин: «Лучший магазин

готовой обуви «Крылья Меркурия» — Адам Кишлот». Итак, я пойду в «Пончׂ».

— Мы помещаем объявления два раза в неделю,— добродушно сказал Кишлот. Он помолчал.— Вы знаете Галерана?

— Нет. Но один человек, мой друг, знает его и хочет разыскать.

Поблагодарив, Стомадор оставил Кишлота и приказал шоферу таксомотора ехать в кафе «Понч».

Вскоре вошел он в прохладное помещение со столиками из малахита, отделанное красным деревом. Среди газет и дамских шляп Стомадор пробрался к буфету, где первый же служащий на его вопрос о Галеране, лишь чуть поискав глазами, указал высокого человека с белой головой, который сидел около зеркала. Брови Галерана были еще черны, но шея сделалась жилистой, волосы на голове поседели, а в глазах и складках рта светилось терпеливое доживание жизни, свойственное одиноким под старость людям. Галеран пил черный кофе и читал книгу. Возле его столика был свободный стул.

Стомадор отвесил медленный поклон и попросил разрешения занять стул. Галеран молча кивнул ему. Стомадор сел и начал пристально смотреть на соседа по столику, который, пожав плечами, возобновил чтение. Чувствуя взгляд, он поднял голову и, заметив, что грузный незнакомец смотрит на него, таинственно и выжидательно улыбаясь, спросил:

— Вы что-нибудь мне сказали?

— Еще нет, но скажу,— тихо заговорил Стомадор.— Вы ли — Орт Галеран?

— Без сомнения.

— Так слушайте: в здешней тюрьме сидит Джемс Гравелот, которому, когда он был еще мальчиком, девять лет назад, я подарил гиблую, за худостью дел, гостиницу на Тахенбакской дороге, милях в сорока от Гертона. Правильнее говоря, я бросил ее. Гравелот удержался. Ему помогло открытие рудников. Не знаю, как и почему, только он недавно плыл в Покет на шхуне контрабандистов и был захвачен после драки со всеми, кто остался в живых. Сегодня ночью удалось достать от него записку, которую извольте прочесть.

Галеран с сомнением поднес бумажку к глазам, но лишь прочел о золотой монете, взятой на игру у Давенанта, как страшно оживился, даже покраснел от волнения.

— Боже мой! Да ведь это Тиррей! — сказал он самому себе.— Кто вы, дорогой друг?

— Том Стомадор, к вашим услугам. У меня лавка против тюрьмы.

— Черт возьми! Рассказывайте подробно! Когда-то я очень хорошо знал Дав... Гравелота.

Стомадор немного мог прибавить к первоначальному объяснению; он рассказал встречу с юношей, описал его обтрепанный вид, наружность, но было видно, что он навсегда запомнил то соединение простоты, решительности и беззащитности, каким являлся Тиррей, также памятный Галерану, в особенности после его исчезновения, причины которого скоро выяснились, как только Франк Давенант явился к Кишлоту и стал ораторствовать там в циническом духе, жалуясь, что сын бросил его. Пока Давенант мучился, пытаясь утолить жадность отца, Галеран в эти дни выиграл в Лиссе, при никогда не бывалом, исключительном везении, пятнадцать тысяч фунтов, и четвертая часть этой суммы приходилась на долю мальчика, ушедшего пешком от нечистоты, так неожиданно замаравшей светлую дверь, уже приоткрывшуюся его жадной душе.

Разъяснив Галерану, что подробные сведения о своих обстоятельствах Гравелот может дать лишь через несколько дней, когда надзиратель Факрегед примет суточное дежурство по лазарету, Стомадор отправился домой, записав адрес Галерана, который уже семь лет владел белым одноэтажным домом в десяти милях от Покета. Дом начинал собой ряд береговых дач, разбросанных по уступам скал среди пропастей и садов. Эти гнезда солнечно-морской тишины имели сообщение с городом посредством дорог — шоссейной и одноколейной железной. В доме Галерана жили, кроме него, шофер Груббе и девушка Тирса, сестра шофера, исполняющая обязанности прислуги и экономки.

Галеран жил в четырех комнатах, обставленных так просто, как это умеют делать любители отчетливой линии в рисунке и мелодии в музыке. Тонкое белье, электрические лампы с зелеными колпаками, фаянс с синим узором, гнутая мебель, прекрасное собрание цветных гравюр, а также обилие многолетних цветущих растений и, общий для всех комнат, тонкий французский ковер, голубой узор которого отражался в стеклах книжных шкафов,— вот все, что, озаренное

солнцем через большие окна, тихо блестело в доме. Галерана никто не посещал. К пятидесяти годам его натура выработала своеобразный антитоксин, мешающий приближаться к нему иначе, как только в нейтральных местах, каковы — улица, кафе, клуб. Он не презирал, не ненавидел людей, но любил любить их как людей в книгах. Тиррей был исключением. Тревожно и горячо вспомнил о нем Галеран. В нем он узнавал свою молодость; но его спасал холодок, подобный холодку мятной лепешки, нагоняющий размышление.

Галеран неделями сидел дома, разводя пчел, читая или занимаясь рыбной ловлей с парусной лодки, и неделями жил в покетской гостинице «Роза и слива», играя поочередно то на бильярде, то в карты.

Выигрыш Тиррея — три с половиной тысячи фунтов, положенные на текущий счет, образовали сумму в шесть тысяч, и ни разу Галеран не коснулся этих денег.

Он ждал, что мальчик придет и поблагодарит его.

Тиррей пришел. Теперь следовало ему помочь.

ГЛАВА IX

Меж тем ноге Давенанта стало хуже; после временного облегчения коленный сустав распух, нога отяжелела, и больной мог только садиться, хотя ему это было запрещено. Если же он изредка вставал, чтобы курить, то сильно рискуя и, во всяком случае, против запрещений врача. Врач Добль, которому безотчетно нравился Давенант, никак не был склонен торопить суд и, устроив подходящий консилиум, дал условное заключение о возможности предстать раненому перед лицом суда лишь через две недели, то есть, считая день свидания Стомадора и Галерана отправным пунктом, — на одиннадцатый после того день.

За это время губернатору Гертона было уже все известно о Гравелоте. Сын и отец, чрезвычайно довольные оборотом дела, приняли путем старых связей нужные меры против оглашения позорной истории, почему заранее было решено в отношении Давенанта — вынести ему заочный приговор, в силу его прямого признания. Отсрочка судебного разбирательства из-за болезни главного преступника была, таким образом, лишь проявлением необходимой корректности. Если

бы его ноге стало действительно лучше, председатель военного суда, майор Стегельсон, после совещания с прокурором решил в таком случае назначить суд, не ожидая выздоровления Гравелота. Эти внутренние отношения чиновников и военных, среди худшей их части, представляли закрытый ящик, хорошо знакомый каждому специалисту. При защите общего тайного интереса все это возмутительно только со стороны, внутри же — просто и почти мирно.

С своей стороны, Давенант был совершенно уверен, что Георг Ван-Конет прекрасно осведомлен о последствиях его бегства и не упустит случая заранее исказить факты или замять их, если арестованный приступит к разоблачению. Не зная, что ожидать от столь решительного поведения властных лиц в том случае, если он отправит следователю письменное показание, в котором вдобавок было бы невозможно доказать связь поступка Готлиба Вагнера с участием в этом преступлении Ван-Конета,— Давенант ждал суда. Сомнения были и здесь, так как битва «Медведицы» с таможенной стражей никак не относилась к безобразиям Ван-Конета за столом «Суши и моря», но ничего другого Давенант придумать не мог, разве лишь Галеран, если он жив, способен был ему помочь. Положение молодого хозяина гостиницы ухудшалось еще страстным тоном местных газет, находивших случай с «Медведицей» исключительным по дерзости и свирепости сопротивления контрабандистов. Два репортера пытались выхлопотать интервью с Тергенсом и Гравелотом, но им было отказано.

Визит следователя повторился. На этот раз чиновник пришел за подтверждением добытых им сведений о настоящем, втором имени Давенанта и о бегстве его из своей гостиницы, когда таможенный отряд обнаружил два ящика дорогих сигар. Давенант не стал лгать: признавши, что все это так, он рассказал следователю о проделках Готлиба Вагнера, вперед зная, что следователь ему не поверит. Но ни слова о Ван-Конете, опасаясь неизвестных ходов злой силы, уже показавшей свое могущество, он не проронил и, стерпев насмешливую критику следователя в отношении таинственного Вагнера, подписал показание в том виде, в каком это показание дал. Хотя теперь у суда были основания считать его контрабандистом и притонодержателем, он, как сказано, для всего главного решил ожидать суда.

Существование пленника омрачали жестокие боли, какие приходилось ему терпеть в часы перевязок. Хотя после перевязки Давенант чувствовал некоторое облегчение, но промывание раны и возня с ней были всегда очень мучительны. Врач появлялся в сопровождении надзирателя, следившего за соблюдением правил одиночного заключения. Морщась от болезненных ощущений, но и улыбаясь в то же время, Давенант обыкновенно принимался шутить или рассказывал те смешные истории, каких наслушался довольно за девять лет среди разных людей. Тюремные служащие отлично видели, что Гравелот не контрабандист. Через Тергенса уже шли по тюрьме слухи о ссоре Гравелота с каким-то очень важным лицом высшей администрации, причем, разумеется, играла роль светская дама, но слухи эти, не принимая ни окончательной, ни достоверной формы, породили к Гравелоту симпатию, и, лишь боясь потерять место, врач не делал узнику тех существенных одолжений, одно из которых пало на долю Катрин Рыжей.

Несколько раз в камеру Давенанта являлся начальник тюрьмы, мрачный седой человек с острым лицом. Тщательно осмотрев камеру, окно, нехотя пробормотав: «Имеет ли заключенный претензии?» — начальник продолжительно взглядывал последний раз на замкнуто следящие за его движениями серые глаза Давенанта и уходил. Однажды, с целью испытать этого человека, Давенант сказал ему, что желает вызвать следователя для весьма существенных показаний. Беглое соображение, мелькнувшее в глазах начальника тюрьмы, выразилось вопросом:

— Какого рода эти сведения?

— Одно лицо,— сказал Давенант,— лицо очень известное, получило от меня удар в гостинице...

— Относительно всего, что прямо не относится к делу,— перебил, поворачиваясь, чтобы уйти, начальник,— вы должны подать письменное объяснение.

С этим он ушел, но Давенант догадался, что хитрый администратор действует заодно с судом и всякое письменное изложение причин мрачной истории отправит непосредственно губернатору или же уничтожит.

Жар и томление раны вынуждали Давенанта с нетерпением ожидать ночи, когда сон уводил его из тюрьмы в страну грез. Он старался спать днем, чтобы

меньше хотелось курить, так как за стояние у форточки приходилось ему платить возобновлением острой боли в колене. Без других собеседников, кроме книг тюремной библиотеки, в отвратительно светлой пустоте камеры, где отсутствовало хотя бы что-нибудь лишнее, так необходимое зрению человека, Давенант отдавался воображению. Иногда он видел Кишлота и красные зонтики девочек, смеющихся так, что все смеялось вокруг. Он бродил с пьяным отцом, искал в темном саду ключ и шел по неизвестной дороге, стремясь обогнуть гору, закрывающую ярко озаренный театр. Но меньше всего он хотел, чтобы те девушки, от которых у него осталось странное впечатление — нежности и любви к жизни,— узнали, где он находится. Тогда они должны были вспомнить его отца. И в простоте сердечной Давенант надеялся, что они давно уже забыли о нем.

Через несколько дней после того, как записка Стомадора была получена Давенантом, начавшим с той ночи напряженно ожидать дальнейших событий, на исходе двенадцатого часа полудня произошла обычная смена дежурств. Новый надзиратель обошел по порядку все одиночные камеры лазарета и последней открыл дверь Тиррея. Это был Факрегед, молодой человек лет тридцати, с нездоровым цветом лица и черными усиками. Его черные небольшие глаза слегка улыбнулись, и, тихо прикрыв дверь, чтобы надзиратель общего отделения лазарета случайно не подслушал беседу, он присел на кровать в ногах Давенанта, кивая ему в знак соблюдения спокойствия и доверия. Чувствуя начало событий, но из осторожности только молча и выжидательно улыбаясь, Давенант взял от Факрегеда записку Тергенса, почерк которого ему был уже известен.

Тергенс писал:

«Доверьтесь подателю безусловно. Он не сможет достать только птичьего молока. Т.».

— Давайте ее обратно,— шепнул Факрегед и спрятал записку за подкладку фуражки,— я ее потом уничтожу. Теперь слушайте: все, что нужно передать кому бы то ни было, можете мне сказать на словах, так безопаснее, но, если необходимо писать, тогда приготовьте письмо к вечеру и засуньте его в остаток хлеба, какой получаете на ужин, хлеб можно бросить в миску. Хотя мне и доверяют, но осторожность никогда не мешает. У вас карандаш есть? Так. Возьмите бумаги.

Факрегед вынул из своей записной книжки заранее приготовленные листки, а Давенант спрятал их в прореху матраца.

— Я уже писал,— сказал он, так же торопясь все узнать, как Факрегед, видимо, торопился выйти.— Дошло ли письмо? Где Том Стомадор?

— Уже разыскали Галерана,— поспешно ответил Факрегед, вставая, отходя к двери и стоя к ней спиной. Его рука тянулась взяться за ручку двери.— Действовать будут вовсю. Стомадор торгует напротив тюрьмы. У него лавка.

Вне себя от такого количества важных и поразительных сообщений, Давенант счастливо расхохотался. Крайнее возбуждение выразилось тем, что на его левой щеке проступило яркое красное пятно, захватившее угол глаза и висок; как бы мурашки бегали в щеке, и он бессознательно потер ее.

— Вся щека у вас стала красная,— сказал Факрегед.— Что это такое?

— Я не знаю... нервен я стал в последние дни,— ответил удивленный Давенант.— Что же еще? Как Тергенс?

Факрегед прислушался к неопределенному звуку в коридоре, махнул рукой и выскочил, тотчас щелкнув ключом.

Эти известия отозвались на Давенанте почти как чувство внезапного освобождения,— как если бы уже подан был к тюрьме экипаж увезти его прочь от мрачной игры стен и ключей. «Стомадор против тюрьмы,— повторял Давенант.— Галеран знает обо мне!» Диковинность человеческих встреч веселила его. Он лежал, тихо смеялся и прислушивался к изредка раздающимся звукам тюрьмы, напоминающим металлические взрывы, голос железа, шаги каменных статуй. Немедленно захотелось ему писать Галерану обо всем, подробно и точно. Воспоминания оживили образ этого человека, к которому он чувствовал уважение и благодарность. Дыша всей силой легких, теснящих оглушенное надеждами сердце, Давенант, презирая боль в ноге, даже находя ее приятной, как незначительное обстоятельство, бессильное повредить другим, более важным обстоятельствам, встал и долго курил у форточки. Наконец нервы его утихли, он сел писать Галерану, стараясь поместить как можно более слов на тех трех листиках, которые дал ему Факрегед. Кое о чем он не

писал. Так, он хотел на словах рассказать надзирателю о деньгах и серебряном олене, запрятанных в трещине камня, также на словах передать все имена — от Ван-Конета до Фирса.

Пока он писал, Факрегед методически ходил по коридору, иногда открывая железные форточки дверей и осматривая камеры пытливым взглядом. Открыв форточку Давенанта, Факрегед встретился с ним глазами и, не удержавшись, по-детски усмехнулся той игре в сторожа и заключенного, которую они вели между собой.

Зная, что такой случай представится вновь не очень скоро, Давенант передал сжатыми выражениями, сокращая слова и избегая прилагательных, все существенное своей истории за девять лет, умолчав лишь о том, с какой целью ушел из Покета в Лисс. Не назвав по имени ни одно действующее лицо истории, завязавшейся в «Суше и море», он вечером осторожно постучал в дверь и передал Факрегеду нужные имена, тщательно объяснив, какое отношение к нему имеет тот или другой человек, а также как найти оленя и деньги. Когда Факрегед затвердил урок, что было нетрудно для его изощренной в этих делах памяти, они расстались и больше не говорили друг с другом. Вечером Давенант затолкал свое письмо в недоеденный хлеб, и дежурный по лазарету арестант, под наблюдением отдельно приставленного для этой цели надзирателя, а также и Факрегеда, обошел камеры и забрал посуду. Эти посещения происходили всегда быстро, в молчании, без лишних движений, но Факрегед легким наклонением головы дал знать узнику, чтобы он о дальнейшем не беспокоился. Действительно, на другой день письмо было у Стомадора, и он, прежде чем отнести его Галерану, ожидавшему соумышленника в назначенной для того пивной, недалеко от тюрьмы, старательно прочитал его, а затем на особой бумажке, чтобы не перепутать, записал все, что сказал ему Факрегед отдельно от письма Давенанта. Эти имена были: Георг Ван-Конет, Сногден, Вейс, Лаура Мульдвей, дочь и отец Баркеты, Петрония и Фирс.

Особенно интересовал Стомадора камень, в трещину которого Гравелот опустил деньги и серебряного оленя. Розыск этих вещей он брал на себя, зная, как много и без того предстоит Галерану различных хлопот. Кроме того, Стомадор не мог упустить редкий

случай прямого участия, связанного воспоминанием о месте битвы с интимной стороной характера лавочника. Никогда и никому не говорил он о ней, мало думал о ней и сам, но эта сторона его характера единственно определяла поступки странного толстяка.

Есть род любителей живописного действия, интриги и волнующего секрета. Точно такой человек был Стомадор, неожиданный подарок которого Давенанту — в виде «Суши и моря» — вытекал лишь из того, что трактирщику надоело ждать в малопосещаемой местности появления кареты с персонажами пятого акта драмы: будь то похищение женщины или таинственное наследство — это было для него безразлично, но он тосковал о невозможности сражаться вместе с осаждаемым гостем против шпаг и револьверов, громящих дверь, заваленную изнутри мебелью. Стомадор дельно догадывался об особой роли в жизни людей таких осиных гнезд всяческих положений и встреч, каковы гостиницы малолюдных мест, но желал он всего такого поспешно и ярко, как драгоценных игрушек, забывая, что действительность большей частью завязывает и развязывает узлы в длительном темпе, более работая карандашом и пером, чем яркими красками. И, как это всегда бывает с осуществлением представлений, мрачное несчастье Давенанта, вытекшее из естественной его склонности сопротивляться нечистоте, казалось Стомадору происшествием заурядным, а трещина в камне — осколком достодолжной интриги... Значит ли это, что представление сильнее события? Сказать трудно: видимо, как и с кем.

После многих блужданий и неудач Том Стомадор удовлетворял теперь свою жажду зрителя и участника живописного действия торговлей против тюрьмы, он вошел во вкус этого дела, так как постоянно был в курсе тюремных драм и тайных сношений с контрабандистами. Его увлекло ожидание редких или трагических случаев, а информаторов было достаточно, начиная родственниками заключенных и кончая теми же надзирателями, болтавшими иногда лишнее в задней комнате лавки, где, случалось, они играли и пили.

Накануне этого дня, еще с вечера получив тюремную ведомость относительно продуктов, какие надо было сегодня утром отпустить тюремным рассыльным, Стомадор приготовил товар заранее, работая часть ночи, — все развесил, завернул и уложил в кор-

зины. Ботредж заменил его на остальную часть дня, а Катрин явилась помогать. На вопросы жен надзирателей, куда девался старик, контрабандисты отвечали, что Стомадор уехал проведать больную родственницу.

Накануне этого дня Галеран был у военного прокурора, полковника Херна, желая выяснить дело и добиться разрешения на свидание с заключенным. Рассматривая военное судопроизводство как лабораторную тайну, Херн весьма вежливо и выразительно дал понять Галерану, что он осуждает ходатайства посторонних лиц, хотя бы и симпатизирующих обвиняемому. Однако Херн не мог отказать себе в удовольствии привести статьи закона, по которым четыре человека — Гравелот, Тергенс и еще двое — должны были умереть на виселице. Поэтому разговор продолжался.

— Я не вижу причин,— сказал Херн,— почему обвинение должно быть сдержаннее в отношении Гравелота. Он защищал груз «Медведицы» с яростью собственника, его собственное признание говорит о шестнадцати жертвах, семьям которых Таможенное управление должно теперь исхлопотать пенсию. Следствие установило, что мнимый Гантрей есть Джемс Гравелот, владелец гостиницы при одном из береговых пунктов, отчаянно зараженных контрабандой. Гравелот скрылся от обыска, давшего существенные доказательства его участия в контрабандных делах. Нет фактов более убедительных, как хотите.

— Вы правы,— согласился Галеран, не желая раздражать Херна сомнениями.— Мне остается узнать, не возник ли у следствия вопрос о душевной нормальности Гравелота? Характер его ожесточенного сопротивления позволяет задуматься. Хранение контрабанды, если даже это доказано, не есть повод к отчаянию. Или Гравелот болезненно возбудим, или был вынужден почему-то сопротивляться до последней возможности.

Сказав это, Галеран не подозревал, что он коснулся тайной стороны дела, и Херн внимательно посмотрел на него. Губернатор мог сильно повредить прокурору, если бы Херн отказался потворствовать просьбе отца оказать сыну дружескую услугу: выгородить из принявшего неожиданный оборот дела имя Георга Ван-Конета. Эти слова Галерана были причиной того, что Херн категорически отказал ему в свидании с Давенантом. После окончания следствия навещать заключенных могли только ближайшие родственники.

Человек, не имеющий положения в обществе, ничем и никому не известный, основательно утомил Херна. Он встал.

— Свидание невозможно,— повторил Херн.— Относительно предполагаемой сложности характера вашего протеже я должен заметить, что военный суд лишен права углубляться в миросозерцание контрабандистов, как ни любопытен этот вопрос сам по себе.

На том Галеран ушел. Письмо Тиррея просветило его. Но ясность, которой он ожидал, была так сложна по смыслу предстоящего ему действия, что он только махнул рукой, откидывая серьезное размышление на дорожные часы. Ехать прежде всего следовало в Гертон.

— Прочитав письмо,— важно заявил Стомадор,— я понял, что эта история охватывает три момента: семейный момент, личный момент и уголовный момент. Что касается спрятанных в камне денег и других вещей, то, я думаю, лучше будет этим заняться мне, я знаю окрестности. Остальное в ваших руках.

— Да, ступайте и разыщите деньги,— сказал Галеран,— мне же предстоит видеться со всеми людьми, имена которых вы записали. Гравелот нажил безобидных и ничтожных врагов: губернаторскую семью. Острота дела — в трудности доказать связь между таинственным поступком Вагнера и действиями Ван-Конета. Даже доказав это, мы создадим новое, отдельное дело, едва ли помогающее Гравелоту.

— Чрезвычайные затруднения! — озабоченно и торжественно провозгласил Стомадор.— Только ваша голова может одолеть возникающие препятствия, но не моя.

— Гравелот ударил Ван-Конета за оскорбление женщины,— продолжал Галеран,— и если я допускаю, что сигары были подброшены с намерением избегнуть компрометации, возможной после того, как побитый уклонился от дуэли, то любой юрист вправе толковать это как совпадение. Короче говоря, улик нет против Ван-Конета, и, повторяю, если бы они нашлись,— новое дело против Ван-Конета не оправдает Гравелота по делу «Медведицы». Однако ничего другого не остается, как пригрозить сыну губернатора оглаской скандала, чтобы тот пустил в ход все свое влияние ради смягчения участи Гравелота. А для этого я должен заручиться показаниями Баркета, его дочери и Петронии; быть

может, нелишне потолковать со Сногденом и Лаурой Мульдвей. В отношении этих лиц нельзя заранее ничего сказать.

— Правильно! — вскричал Стомадор.— Вы рассуждаете, как министр.

— Увы! Как шантажист. Я предпринимаю шантаж, это вам скажет простой судейский рассыльный.

— Рискованная вещь бить сына губернатора по лицу, да еще при свидетелях! — заметил Стомадор, все еще озадаченный поступком Гравелота.— Никак не решусь сказать, мог ли бы я сделать то же на его месте. Вопрос, как хотите, щекотливый!

— Он хорошо поступил,— сказал Галеран.— Это был скромный и добрый юноша. Видимо, создалось положение, когда молчание равно пощечине самому себе.

До этой минуты Стомадор сомневался в разумности действий Гравелота, но искренний тон Галерана отогнал тень условности, мешавшей лавочнику оценить столкновение по существу.

— Действительно,— сказал Стомадор,— я с вами согласен. Это так, хотя и плохо, но так. Признаюсь, когда я читал письмо, то подумал, что малый рехнулся. Он вскипел, а мы вот сидим и ломаем головы, как его теперь выручить. Что заставляет о нем думать? — разрешите задачу. Ведь Гравелот мне даже не родственник. Я вижу его во сне каждую ночь.

— Значит, он нам нужен — мне и вам.

Подумав, Галеран решился добавить:

— Я был бы очень огорчен смертью Кунсгерри, хотя я никогда не видал его.

— Ого! Что же, вы хотите самостоятельно расправиться с ним?

— Пустое! — расхохотался Галеран.— Кунсгерри живет в Шотландии, где нам, верно, не придется бывать. Я прочел в газете, что артист одного театра, Кунсгерри, отказался играть главную роль в новой пьесе. Она ему не понравилась. Он ушел со сцены в конце первого акта. Другой актер, по ходу действия, обернулся к двери, воскликнув: «А! Вот, наконец, этот негодяй Гард! Он торопится! Я слышу его шаги!» Но дверь стояла пустая, и Гард, то есть Кунсгерри, не приходил. Актер повторил, что «Гард торопится». Никто не торопился. Представление оборвалось, и Кунсгерри уплатил крупную неустойку. Так вот,— сказал

Галеран, вставая и тщательно пряча письмо Давенанта,— не знаю, понятно ли это вам, но Давенант — как Кунсгерри: он не может уступить в главном, и поэтому я должен его спасти.

— Рассчитывайте на меня, как хотите,— объявил Стомадор, восхищенный необычайным для него оттенком, какой придал всему делу его образованный соучастник,— я в вашем распоряжении. Возвратясь, зайдите ночью ко мне, буду я спать или нет,— тихий тройной стук известит меня о вашем прибытии.

На том они расстались. Лавочник уехал в трамвае к Старому форту, откуда пешком должен был идти разыскивать камень, а Галеран на автомобиле, управляемом его шофером Груббе, отправился в Тахенбак, прежде всего стремясь расспросить слуг гостиницы, брошенной Давенантом. Кроме того, любопытно было ему увидеть, как жил Тиррей, наружность которого через девять лет он представлял смутно. Галеран все еще помнил его безусым. Эта внушительно и мрачно развивающаяся судьба щемила сердце Галерана, как вид заброшенного красивого дома.

Был пятый час дня. Дорога — та самая, по которой мчался Давенант в Лисс,— даже минуты не оставалась пустой: легкие и грузовые автомобили обгоняли путешественника, виднеясь потом из-за холмов, на отдаленных участках шоссе, подобно пылящим, черным шарам; лязгали, дребезжа, повозки, управляемые хмельными фермерами; фрукты, мешки с орехами и маисом, тюки табаку, мебель и утварь переезжающих из одного поселка в другой двигались все время навстречу Галерану. Знойное безветрие при чистом небе сообщало пейзажу законченную чистоту линий. Бурая трава, сожженная солнцем, переходила с холма на холм оттенками золы, усеянной пятнами камней, глины и колючих кустов. Иным людям движение помогает рассуждать; для Галерана движение было всегда рассеянным состоянием, подобием насыщенного раствора, прикосновение к которому внешней силы образует кристаллы самой разнообразной формы. Он увидел красивую птицу в голубых пятнах по белому оперению, медленно перелетевшую холм, заинтересовался ею и спросил Груббе — не знает ли он, как называется эта птица?

Груббе пожал плечами. Он никогда не думал о птицах.

Галеран видел оранжевые цветы на колючих стеблях, недоступных разящей силе лучей солнца. В мире было много птиц и растений, им никогда не виденных. «Как монотонно и как нелюбопытно я жил»,— размышлял Галеран, испытывая беспокойство, зависть к неузнанному, что бы оно ни было, сожаление о пороге старости и несколько смешное желание жить вторую, ко всему жадную жизнь. Это был для его возраста краткий психоз, но ему вдруг безумно захотелось увидеть все вещи во всех домах мира и проплыть по всем рекам.

К закату солнца путешественники низверглись с плоскогорья, миновав тихие городки южного берега. Было восемь часов вечера, когда экипаж остановился у ресторана «Марк Татанер» в Лиссе. Наскоро пообедав здесь, Галеран продолжал путь.

С рассветом обозначился Тахенбак. Не останавливаясь более, Галеран проехал рудничный городок, прибыв к «Суше и морю» без десяти минут десять часов утра. Усталый, охрипший Груббе остановил машину у деревянной лестницы.

Отсидевший все члены тела за эти восемнадцать часов ускоренного движения, Галеран вышел и осмотрелся, думая, что кто-нибудь появится из гостиницы. Но только теперь заметил он, что на входной двери повешен замок, ставни закрыты изнутри, у правого крыла дома разбита палатка и там стоит человек, вглядываясь в приезжих с самонадеянностью торговца, лишенного конкуренции. Это был обросший черными волосами человек с желтым лицом — итальянец смешанной крови. В своей палатке он устроил прилавок, наставил табуреты, и дым от его жаровни, подрумянивающей ломти свинины, разносил запах еды. Прилавок был уставлен бутылками и сифонами.

— Есть ли кто-нибудь в гостинице? — спросил Галеран, поднимаясь на откос к палатке.— Я хочу видеть служащих Гравелота — Петронию и Фирса. Почему дверь на замке?

Торговец прищурился и вытер о передник сальные руки.

— Все местные жители знают эту историю,— сказал он,— но вы, должно быть, издалека?

— Хотя я издалека,— ответил Галеран, с удовольствием усаживаясь на табурет и знаком приглашая подошедшего Груббе сесть рядом с ним, чтобы

восстановить силы вином и жареным мясом,— хотя я издалека,— я знаю, почему исчез хозяин. Тут должны оставаться два человека.

— Так вот... подождите,— начал объяснять торговец, не любивший торопиться.— Хотите выпить виски? А! Хорошо, я вам все расскажу. Гравелот скрылся от обыска, оставив хозяйство Фирсу. Фирс держал гостиницу открытой четыре дня, после того он с женщиной тайно исчезли, да еще захватили белье, лошадь, повозку и много других вещей, а потому полиция заперла гостиницу. Я согласился ее сторожить. Место глухое. Конечно, торговать я имею право. Ко мне заходят, потому что дело Гравелота погибло или замерло на время; неизвестно, что будет с гостиницей, но пища и напитки всегда найдутся в моей палатке. Меня зовут Арум Пакко — к вашим услугам. Котлеты, если хотите, придется подождать, есть горячая свинина, колбаса, консервы.

Действительно, так это и было, как рассказал Пакко: деньги, оставленные Давенантом Фирсу, и случайные деньги Петронии расположили этих людей друг к другу скорее, чем затяжное ухаживание. Тяготясь тем, что на руках у них осталось исправное заведение, по делам которого им, может быть, пришлось бы дать отчет Гравелоту, Петрония с Фирсом, забрав вещи поценнее, скрылись и уехали на пароходе в Лисс, намереваясь открыть там табачную лавку.

Груббе ничего не знал о планах Галерана, и это заурядное мошенничество рассмешило его, но, взглянув на озадаченного хозяина, он понял, что тот отнесся к делу серьезнее. Перестав смеяться, Груббе заметил:

— Экие прохвосты!

— Да, Груббе, это — прохвосты, но они были мне очень нужны,— сказал Галеран,— искать их, разумеется, бесполезно.

Пакко, слыша этот разговор, начал стараться выведать цели путешественников, но Галеран уклонился от объяснений. Пока он с Груббе ел и пил, умолкший Пакко стоял к ним спиной у входа палатки и, засунув руки в карманы, насвистывал, разглядывая машину, как отвергнутый посторонний, имеющий право судить все, а о выводах умолчать. Эти его выводы свелись, впрочем, к импровизированной надбавке платы за водку и кушанье.

Отдохнув, Галеран уехал, и Груббе через пятнадцать минут доставил его в Гертон, по адресу Баркета. Хозя-

ина мастерской не было дома. Тогда Галеран попросил приказчика сообщить дочери Баркета, Марте, что приехавший из Покета Орт Галеран желает говорить с ней по делу ее отца.

— Если у вас неотложное дело,— сказала Марта, появляясь в мастерской и расположенная внешностью Галерана к обходительности, всегда руководящей промышленниками, когда, по их мнению, посещение обещает выгоду,— я проведу вас в нашу контору. Отец должен вернуться через двадцать минут, он отправился принимать заказы на электрическую рекламу.

Конторой Марта называла в известных случаях часть прохода из мастерской в квартиру, где находились телефон и письменный стол Баркета. Несколько медных, фаянсовых и эмалевых досок были прибиты к стене, привлекая внимание выразительной бессмыслицей случайного подбора этих образцов ремесла Баркета. Единственно удачно висели рядом: «Родовспомогательная лечебница Грандиссона» и «Бюро похоронных процессий Байера».

Оглушенный долгой ездой, не спав ночь, Галеран сел на предложенный ему стул и удержал Марту, хотевшую выйти.

— Пока ваш отец не вернулся,— сказал он, заключая по внешности девушки, что теперь будет положено начало борьбы за Давенанта,— мне хочется сказать о цели моего визита вам.

— Хорошо,— ответила Марта, поспешно садясь и что-то предчувствуя, отчего ей стало неловко дышать.

Галеран назвал себя.

— Ваша помощь необходима,— заговорил он.— Я сразу объясню дело. Джемс Гравелот заключен в тюрьму по обвинению в хранении контрабанды и сопротивлении береговой охране. Нет сомнения, что ему был подкинут запрещенный товар — сообразите сами — как раз вечером того дня, когда вы и отец ваш были свидетелями скандала в гостинице Гравелота.

Марта вспыхнула, затем опустила голову. Ее руки дрожали. Подняв лицо, она глядела на Галерана так беспомощно, что он отнес эти знаки волнения на счет ее сочувствия пострадавшему.

— Я...— сказала Марта.

Галеран, помедлив и видя, что она умолкла, продолжал:

— Да, ваши чувства я понимаю. Размышляя так и этак, я вывел заключение, что спасти Гравелота можно лишь через Ван-Конетов, дав им выбирать или огласку пощечины, а также всех безобразных выходок Георга Ван-Конета, или же деятельное участие этих влиятельных лиц в спасении невинно запутавшегося Гравелота. Но, чтобы иметь успех, нужны свидетели. Я уверен, что вы не откажетесь свидетельствовать против негодяя. Гравелот, в сущности, заступился за вас. Я прошу о том вас и намерен просить вашего отца.

Марта успела подавить замешательство. Взяв со стола линейку, она притронулась ее концом к нижней губе и, не отнимая линейку, смотрела на Галерана круглыми, очень светлыми глазами.

— Вот что...— сказала она.— Вы меня страшно удивили. Ни о каком скандале мы ничего не знаем. Я, право, не знаю, что́ подумать. К тому же вы говорите, что Гравелот арестован. Вот ужас! Мы знаем Гравелота. Уверяю вас, все это — сплошное недоразумение.

Опустив взгляд, она прикусила конец линейки и с силой выдернула ее из зубов, затем, робко взглянув на Галерана, медленно положила линейку и выпрямилась.

— Вы испугали меня,— сказала Марта.— Как понять?

Галеран откинулся, болезненно переведя замкнувшееся дыхание. Сердце его начало стучать громко и тяжело.

— Вы должны это сделать.

— Но я ничего не могу, я ничего, ничего не знаю! Вы, может быть, спутали! Идет отец! — облегченно воскликнула девушка, стремясь удалиться.

Толкнув стеклянную дверь, вошел раскрасневшийся от жары Баркет с готовой любезной улыбкой, обращенной к посетителю.

Вид дочери осадил его.

— Ты что? — быстро спросил он.

— Отец, вот...— Марта взглянула на Галерана,— вот это к тебе, о Гравелоте,— добавила она, запоздало пожав плечом и тотчас уходя в комнаты.

Баркет медленно, думающим движением снял шляпу и посмотрел на Галерана светло раскрытым, напряженным взглядом лжеца.

— Да, да,— забормотал он,— как же! Я Гравелота знаю очень хорошо. Должно быть, месяц назад я заезжал к нему с Мартой последний раз.

Галеран вторично назвал себя и объяснил:

— Я — друг Гравелота. Баркет, вы были у него в тот день, когда он ударил Ван-Конета за издевательство над вашей дочерью.

Баркет увел голову в плечи и вытаращил глаза.

— Да что вы! — вскричал он.— О чем вы говорите? Объясните, ради бога, я страшно встревожился!

— Гравелот не будет лгать,— сказал Галеран.— Неужели это так трудно: сказать правду ради хотя бы спасения человека, которому вы прямо обязаны?

— Если вы объясните, в чем дело... Поймите, что я поражен! Не однажды я останавливался в «Суше и море», но я не могу понять, о чем речь!

В течение по крайней мере минуты оба они молчали. Баркет выдерживал красноречивый взгляд Галерана с трудом и наконец опустил глаза.

— Если вы засвидетельствуете столкновение, Гравелот будет спасен. Он арестован. Подробности я уже рассказал вашей дочери. Она вам передаст их. Мне тяжко их повторять.

— Уверяю вас, что вы поддались какой-то сплетне...— заговорил Баркет, но Галеран его перебил:

— Так вы настойчиво отрицаете?

— Отрицаю. Это мое последнее слово. Но я бы хотел все-таки...

Галеран не дослушал его. Покачав головой, он взял шляпу и вышел, бросив на ходу:

— Стыдно, Баркет.

Он уселся в автомобиль, нисколько не упрекая себя за так кратко и решительно оборванный разговор. Бесполезно было далее убеждать этих что-то обдумавших и решивших людей в низости их молчания. Галеран еще не отчаивался. У него возникла мысль говорить с Лаурой Мульдвей и Сногденом. По характеру событий, как они были кратко выражены Тирреем в его письме, Галеран отчасти представлял этих людей, их роль около Ван-Конета; он знал, что даже человек резко порочный, если к нему обращаются в надежде на проявление его лучших чувств, скорее может проговориться или изменить себе, чем Баркеты. Однако точного плана не было. Только случайность или минутное настроение — род благородной слабости — могли помочь Галерану в его неблагодарном труде — вырвать из естественно развившегося заговора клок шерсти таинственного животного, именуемого

уликой. Отбросив размышления относительно еще не создавшихся сцен, веря в наитие и надеясь лишь на не оставлявшую его силу надежды, Галеран поехал в гостиницу, где занял большой номер. Не зная, что́ будет дальше, он хотел иметь помещение для приема и сна.

— Будьте наготове,— сказал Галеран Груббе,— я должен говорить в телефон и, может быть, тотчас опять поеду. Если же этого не случится, вы займете номер 304-й, как я условился с управляющим гостиницей, а машину отведете в гараж. Я вас извещу.

Терпеливый, безмерно усталый, но преданный Галерану человек, видя, что его хозяин расстроен, молча кивнул и вытащил из ящика для инструментов бутылку виски. Выпив столько, чтобы согнать болезненное отупение бессонной ночи, Груббе облокотился на дверцу и стал рассматривать прохожих. Было жарко. Он ослабел, склонился и задремал.

Как сказано ранее, Лаура Мульдвей и Сногден отправились в Покет, продолжая давние отношения с Ван-Конетом, и скоро Галеран узнал, что его хлопоты безрезультатно оканчивались. По-видимому, ничего другого ему не оставалось, как возвратиться. Он был отчасти рад, что эти лица в Покете, на месте действия; не поздно было попытаться, так или этак, говорить с ними по возвращении. Внутренне остановясь, Галеран сел в кресло и принялся курить, задерживая трубку в зубах, если размышление бессодержательно повторялось, или вынимая ее, когда мелькали черты возможного действия. Хотя самые важные свидетели отошли, он пересматривал заново группу людей, чья память хранила драгоценные для него сведения, и ждал деятельного намека, могущего образовать трещину в сопротивляющемся материале несчастия. Решение задачи не приходило. Единственный человек, к которому мог еще обратиться Галеран, не покидая Гертона, был Август Ван-Конет. Ничего не зная ни о нем, ни об отношении его к сыну, Галеран думал о его существовании как о факте, и только. Однако эта мысль возвращалась. При умении представить дело так, как если бы свидетели налицо и готовы развязать языки, попытка могла кое-что дать. Галеран выколотил из трубки пепел и вызвал телефонную станцию — соединить его с канцелярией Ван-Конета.

Должно быть, телефонные служащие работали усерднее, если им называли номера небольших цифр, но только утомленный глухой голос очень скоро произнес в ухо Галерана:

— Да. Кто?

Август Ван-Конет был один, измучен ночным припадком подагры, в одном из тех рассеянных и пустых состояний, когда старики чувствуют хрип тела, напоминающий о холоде склепа. Ван-Конет осматривал минувшие десятилетия, спрашивая себя: «Ради чего?» В таком состоянии упадка задумавшийся губернатор, не вызывая из соседней комнаты секретаря, сам взял трубку телефона. Эта краткая прихоть выражала смирение.

Разговор начался его словами: «Да. Кто?»

— За недостатком времени,— сказал Галеран,— имея на руках очень важное и грустное дело, прошу сообщить, может ли губернатор сегодня меня принять? Я — Элиас Фергюсон из Покета.

— Губернатор у телефона,— мягко сообщил Ван-Конет, все еще охваченный желанием простоты и доступности.— Не можете ли вы коротко передать суть вашего обращения?

— Милорд,— сказал Галеран, поддавшись смутному чувству, вызванному терпеливым рокотом печально звучащего голоса,— одному человеку в Покетской тюрьме угрожает военный суд и смертная казнь. Ваше милостивое вмешательство могло бы облегчить его участь.

— Кто он?

— Джемс Гравелот, хозяин гостиницы на Тахенбакской дороге.

Ван-Конет понял, что слух кинулся стороной, вызвав неожиданное вмешательство человека, говорящего теперь с губернатором тем бесстрастно почтительным голосом, какой подчеркивает боязнь случайных интонаций, могущих оскорбить слушающего. Но состояние прострации еще не покинуло Ван-Конета, и ехидный смешок при мысли о незавидной истории сына, вырвавшийся из желтых зубов старика, был в этот день последней данью его подагрической философии.

— Дело «Медведицы»,— сказал Ван-Конет.— Я хорошо знаю это дело, и, может быть....

«Не все ли равно?» — подумал он, одновременно решая, как закончить обнадеживающую фразу,

и дополняя мысль о «все равно» равнодушием к судьбе всех людей. «Не все ли равно — умрет этот Гравелот теперь или лет через двадцать?» Легкая ненормальность минуты тянула губернатора сделать что-нибудь для Фергюсона. «Жизнь состоит из жилища, одежды, еды, женщин, лошадей и сигар. Это глупо».

Он повторил:

— Может быть, я... Но я хочу говорить с вами подробно. Итак...

Внезапно появившийся секретарь сказал:

— Извините мое проворство: акции Сахарной компании проданы по семьсот шесть и реализованная сумма — двадцать семь тысяч фунтов — переведена банкам Рамона Барроха.

Это означало, что Август Ван-Конет мог сделать теперь выбор среди трех молодых женщин, давно пленявших его, и дать годовой банкет без участия ростовщиков. Вискам Ван-Конета стало тепло, упадок прошел, осмеянная жизнь приблизилась с пением и тамбуринами, дело Гравелота сверкнуло угрозой, и губернатор отдал секретарю трубку телефона, сказав обычным резким тоном:

— Сообщите просителю Фергюсону, что мотивы и существо его обращения он может заявить в канцелярии по установленной форме.

Секретарь сказал Галерану:

— За отъездом господина губернатора в Сан-Фуэго я, личный его секретарь, имею передать вам, что ходатайства всякого рода, начиная с первого числа текущего месяца, должны быть изложены письменно и переданы в личную канцелярию.

— Хорошо,— сказал Галеран, все поняв и не решаясь даже малейшим проявлением настойчивости колебать шаткие обстоятельства Давенанта.

Но разговор этот внушил ему сознание необходимости торопиться.

Галеран сошел вниз, заплатил конторщику суточную цену номера и разыскал глазами автомобиль.

Груббе спал, потный и закостеневший в забвении. Его голова упиралась лбом о сгиб локтя. Галеран, сев рядом, толкнул Груббе, но шофер помраченно спал. Тогда Галеран сам вывел автомобиль из города на шоссе и покатил с быстротой ветра. Вдруг Груббе проснулся.

— Держи вора! — закричал он, хватая Галерана, без всякого соображения о том, где и почему неизвестный человек похищает автомобиль.

— Груббе, очнитесь, — сказал Галеран, — и быстро следуйте по этой дороге: она ведет обратно, в Покет.

ГЛАВА X

Поздно вечером следующего дня Стомадор ждал Галерана, играя сам с собой в «палочки» — тюремную игру, род бирюлек.

Весь день Галеран спал. Очнувшись в тяжелом состоянии, он выпил несколько чашек крепкого кофе и отправился на окраину города. Около тюрьмы он задержался, всматриваясь в ее массив с сомнением и решимостью. Денег у него было довольно. Оставалось придумать, как дать им наиболее разумное употребление.

Спотыкаясь о ящики в маленьком дворе лавки, Галеран разыскал заднюю дверь, постучав именно три раза. Мелочам тайных дел он придавал значение дисциплины, отлично зная, что пустяковая неосторожность начала может увести далеко от благополучного конца, как расхождение линий угла.

Стомадор бросил игру и открыл дверь.

— Вернувшись на рассвете, — сказал Галеран, — я так устал, что сразу лег спать. Ничего дельного не дала эта поездка. Нет даже скважины, которую можно было бы расширить, все наглухо закрыто со всех сторон. Гостиница на замке, люди Гравелота обокрали его и исчезли. Баркет с дочерью отказались — они твердят, что не были в «Суше и море». Имеете ли вы сведения?

— Никаких, кроме того, что ноге Гравелота легче. Гравелот, Тергенс и другие ждут со дня на день обвинительного акта. Я вынул из камня деньги. Бедный Джемс! Даже слуги общипали его. Что касается меня, я обыскал все камни. Их было одиннадцать, таких, которые подходили к описанию. Уже смеркалось, зловеще шумел прибой... И вдруг моя рука нащупала в глубине боковой трещины самого большого камня нечто острое! Я вытащил серебряного оленя. Буря и выстрел! Остальное было там же. Вот оно, все тут, считайте.

Внимательно посмотрев на Стомадора, Галеран сдержал улыбку и рассмотрел находку лавочника.

Пересчитав деньги, он отдал половину их Стомадору, говоря:

— В дальнейшем у вас будут расходы. Они могут быть значительными, а потому спрячьте деньги эти у себя.

Серебряный олень стоял возле руки Галерана. Взяв вещицу, Стомадор повертел ее:

— Да, это что такое, по вашему мнению? Я, признаюсь, долго ломал голову над вопросом — зачем Джемс таскал эту штуку с собой? Стоит она немного.

— Вероятно, память о чем-то или подарок,— ответил Галеран, рассматривая оленя.— Олень, видимо, дорог ему. Тогда сохраним его и мы. Спрячьте оленя, он, может быть, стоит дороже денег.

Лавочник убрал деньги и фигурку в стенной шкаф, откуда, кстати, вытащил бутылку портвейна.

— О нет! — сказал Галеран, видя его гостеприимные движения с стаканчиками и темной бутылкой.

Забрав счета Давенанта, квитанции и записную книжку в свой карман, Галеран продолжал:

— Я выпью с вами, но только по окончании важного разговора. Голова должна быть свежа.

— А! Хорошо... Но бутылка может стоять на столе, я думаю,— осведомился Стомадор.— Так как-то живописнее. Мы все-таки сидим «за бутылкой».

— Безусловно. Итак, сядьте, Стомадор. Может ли кто-нибудь нам помешать?

— Нет, я никого не жду и никому не назначил прийти в этот вечер. Я знаю, о чем хотите вы говорить.

— Если так, ваша проницательность окажется вообще полезной.

— Бегство?

— Да.

Достаточно помолчав, чтобы ожидаемое мнение прозвучало авторитетно, Стомадор пожал плечами и начал катать ладонью на столе круглые палочки.

— Это невозможно,— сказал он медленно и уныло, как человек вполне убежденный.— Два года назад бежали через стену, обращенную к пустырю, шесть воров. Они проломали стену нижнего этажа и вылезли из двора по веревочной лестнице, которую закинули им снаружи их доброхоты. После этого — а это был пятый случай в году, хотя все случаи разного рода,— гребень стены обведен тройным рядом проволоки электрической сигнализации; вокруг тюрьмы, с трех ее сторон,

значит — по пустырю и двум переулкам, дежурит надзиратель, расхаживающий от конца до конца своего маршрута. Что касается четвертой стены — там наблюдает дежурный у ворот; ему хорошо видно влево и вправо. А так как стены освещены электричеством, как это вы видели, пробираясь ко мне, то побег возможен двумя способами: отбить арестанта у конвоиров автомобиля, когда увозят в суд, или научить арестанта перелетать стену наподобие петуха. Но и петуху не взлететь, потому что стена будет ему не по зубам: она шести метров высоты, как хотите, так и думайте. А от вооруженного нападения нам, я думаю, лучше воздержаться.

— Да, я тоже так думаю. Однако ваши слова меня не обескуражили.

Стомадор, наморщив лоб и выпятив губы, размышлял. Ничего дельного он придумать не мог.

— Так близко от нас Гравелот,— сказал Галеран, указывая рукой к тюрьме,— что, если идти к нему по прямой линии, надо будет сделать не более тридцати шагов.

— Да. А между тем все равно что от Земли до Луны.

— Так и не так,— ответил Галеран.— Скорее — не так, чем так. Вам очень дорога ваша лавка?

— Что вы задумали? Моя лавка...— Стомадор прикинул в уме.— За передачу ее мне я уплатил четыре месяца назад прежнему хозяину сто фунтов. Годовая прибыль составила бы триста фунтов, а наличный товар оцениваю в сто пятьдесят фунтов. Однако тюремная администрация хлопочет устроить собственную лавку, и, если это случится, я брошу дело. Прибыль дает одна тюрьма. Сторонних покупателей мало.

— Полторы тысячи фунтов,— сказал Галеран.— Они ваши, лавка моя. Хотите?

— Или я поглупел, или вы сказали неясно, понять не могу.

— Было бы несправедливо,— объяснил Галеран,— требовать от вас такой жертвы, как отдать лавку бесплатно для устройства подкопа. Подкоп — единственный путь спасения. Я покупаю лавку и устраиваю подкоп. Ту же ночь, как все будет сделано, вы уедете, чтобы не занять место Гравелота. Хотите ли вы поступить так? Мои соображения...

— Остановитесь, дайте подумать! — закричал Стомадор, ухватив Галерана за пальцы лежащей на столе

руки и крепко зажмуриваясь.— Не говорите ничего. Дайте сосредоточиться. Один момент. Я, должно быть, сам хочу чего-нибудь в этом роде. Лавка в вашем распоряжении. Берите ее. Также хороши полторы тысячи. Я говорю это не из корысти. О них сказано к месту... увы! Я — необразованный человек,— заключил он, открывая глаза и колыхаясь на стуле от разгоревшейся в нем страсти к подкопу.— Я не могу выразить... но то, как мы сидим... и о чем говорим... свет лампы, тени... и бутылка вина! Да, вы — министр! Министр заговора!

Уже рука лавочника тянулась к бутылке, чему Галеран теперь не препятствовал. Возбужденные замыслом, они должны были утишить его пленительный гул, обаяние первых его минут действием и вином. За первой бутылкой скоро последовала другая, но вино не опьянило ни Галерана, ни Стомадора, лишь увереннее стал их азарт, требующий начать.

— Вполне возможное дело,— сказал Галеран, кончая курить.— Теперь выйдем, осмотрим поле битвы; хотя вам давно известна топография этого участка города, я должен согласовать свои впечатления с вашими и кое о чем столковаться.

Они вышли, но не в калитку лавочного двора, а в узкий проход между лавкой и дальней от ворот тюрьмы стеной двора. Этот закоулок был почти доверху завален пустыми бочонками. Встав на них так, что видна была мостовая, Стомадор указал Галерану часть тюремной стены против себя.

— Там лазарет,— сказал Стомадор.— Однако его точное расположение мне неизвестно. Пока это и не требуется, я думаю. Но он тут, за стеной, я знаю, потому что однажды помогал надзирателю тащить корзины с провизией и видел внутри двора, направо от ворот, узкий одноэтажный корпус. Ботредж сидел в тюрьме, он знает, что это здание — лазарет. Теперь надо его расспросить подробно.

— Мы расспросим Ботреджа.

Галеран переводил взгляд от ограды лавки к противоположной стене тюрьмы, определяя на глаз длину подземного хода. Для этого он употребил прием некоторых охотников, когда им сомнительно, достигнет ли заряд дроби отдаленную цель. Он представил ширину улицы ощутительно большей действительности — двадцать метров, а затем также ощутительно меньшей —

десять метров; двадцать плюс десять, деленные пополам, указали приблизительную длину подкопа от лавки до тюремной стены. Следовало установить толщину этой стены, прикинув треть метра для выходного отверстия, и толщину ограды лавки, за которой думал он начать рыть внутренний ход к Давенанту.

— Не лучше ли,— возразил на его объяснения Стомадор,— снять часть кирпичного пола в моей комнате и выйти к лазарету под лавкой?

— При такой нелегкой задаче четыре-пять лишних метров — страшное дело.

— Жаль, что вы правы: моя комната — самое скрытое место для работы.

— Чем вы закроете вертикальную шахту? Не кирпичами, конечно, а деревянный щит может быть замечен нежелательным посетителем. Тогда будут ходить справляться из тюремной канцелярии, как двигается наша затея. Нет лучше этого закоулка. Ночью безлюдно. Когда мы пройдем метра полтора-два горизонтального направления на достаточной глубине,— сверху не будет ничего слышно. К утру над вертикальной шахтой невинно лежат ящики и солома. Землю будем убирать в сарай. Он пуст?

— Там есть товар, но его можно перетащить под брезент в угол двора.— Стомадор прыгнул с бочонка и поддержал Галерана, оставившего наблюдательный пункт.— Ну, я вам скажу, что, если эта штука пройдет, начальник тюрьмы сядет в яму и, как Иов древний какой-нибудь, высыплет себе на голову тонну золы или песку, не знаю точно, что употребляется в таких случаях. Вы допустили ошибку на треть метра. Нет нужды проходить за тюремную стену даже на дюйм — рыть прямо под фундамент. Как упремся — чуть в сторону, и ход сделан.

— Это верно,— согласился, подумав, Галеран.— И вот почему хорошо такие вещи обсуждать вместе. Верно; однако при условии, что не ошибемся расстоянием, когда начнем копать выход вверх.

— Место, где будем находиться, мы определим очень точно: просверлим свод катакомбы длинным сверлом. Вышедший наружу конец укажет, надо ли двигаться еще дальше, или все уже сделано.

Так они совещались вполголоса перед дверью лавки и увидели длинную фигуру Ботреджа, спотыкающегося в темноте об ящики.

— Кстати, кстати, Ботредж. За перцовой? Вы не уйдете, так как обсудите с нами одно важное дело.

— Стоит сюда зайти, как задержишься,— сказал Ботредж простуженным голосом, стараясь рассмотреть Галерана.

— Надо вам познакомиться,— обратился Стомадор к Галерану, который, со своей стороны, наблюдал, каков Ботредж и можно ли ему верить.

Из осторожности Галеран сказал вымышленное имя — Орт Сидней,— а Ботредж так и остался Ботреджем.

Заговорщики вошли в комнату. Недоумевая, о каком важном деле предстоит разговор, и жалуясь, что всю прошлую ночь дрожал от холода на шлюпке, далеко от берега, в ожидании судна с кокаином, не явившегося по неизвестной причине, а потому простудился, Ботредж сел против Галерана. Стомадор вытащил из шкафа литровую бутыль перцовки и банку с консервами. После того лавочник сел на свое место за середину стола.

— Не бойтесь, Ботредж,— сказал Стомадор.— Господин Сидней не наш, но свой... вот видите — вышел каламбур.

— Я не боюсь,— быстро ответил контрабандист, взглядывая на Галерана с вежливой улыбкой, при этом в его лице сверкнула бессознательная смелая черта, и Галеран поверил в него.

— Что же, будем пить? — осведомился Стомадор у Галерана, который утвердительно кивнул, пояснив:

— Теперь можно пить, главное решено.

— Ботредж,— начал Стомадор,— если я появлюсь за тюремной стеной как раз против моей лавки, что очутится передо мной? Какого рода картина?

— Так надо знать, куда вы гнете и к чему. Ясно, что можно попасть в несколько разных мест.

— Вы правы,— сказал Галеран.— Дело в том, что предстоит рыть подкоп из двора этой лавки к лазарету и освободить Гравелота. Иным образом ему спастись невозможно. Надо знать, в каком месте за стеной тюрьмы выгоднее рыть выходное отверстие.

Ботредж ничем не выдал своего изумления, но хитро поглядел на Стомадора.

— Вы уже пили перцовку? — спросил он, не зная — шутить или отвечать серьезно.

— Когда шутили в моем доме такими вещами?

— Ну, дядя Стомадор, это я так. Судите сами, а я расскажу устройство двора за той стеной, которая против нас, с воротами. Налево от прохода между воротами примыкают к нему квартиры начальника и его помощника, а направо, то есть в нашу сторону, к проходу примыкает цейхгауз. Его продолжение вдоль стены есть тот самый лазарет. На правом его крыле садик из кустов, куда днем водят больных, если разрешает доктор. Только в этот садик вы и можете попасть. Я выпью,— сказал Ботредж, помолчав,— и потом буду вместе с вами соображать. Дело дерзкое, что говорить, однако возможное.

— Почему же это ты выпьешь? Мы тоже выпьем.— Стомадор наполнил стаканчики и подвинул каждому вилку — брать из жестянки мясо. Сам он выпил последним и, голодный, начал основательно есть.

— Кто стряпает вам? — захотел узнать Галеран.

— Никто, представьте. Я питаюсь своими товарами, так привык, от горячего я сонлив.

— Вот только как выйти из лазарета? — сказал Ботредж.— Дверь хотя и с правого крыла на конце здания, но она расположена по фасаду, ее видит часовой внутренних ворот. Он сидит там на скамье, у своей будки, или ходит взад-вперед.

Все призадумались.

— Вот видите,— сказал Стомадор Галерану,— обстоятельство это не пустяковое.

— Эта дверь куда открывается? — Галеран пояснил свою мысль движением руки от себя и к себе.— Иначе говоря, если человек выходит из лазарета, то дверь распахивается налево, к воротам, или направо?

— На... лево,— сказал, подумав, с уверенностью Ботредж.— Да, налево, так как я работал в садике и видел ее. А мой глаз как — положительно — фотография.

— Это очень важно, чтобы дверь, открываясь, закрывала собой идущего человека со стороны часового.— Галеран снова принялся думать.— Ну, теперь скажите, можете вы помочь рыть?

— Пожалуйста, я могу.

— Он силен,— сказал Стомадор,— только на вид костляв.

Тогда Ботредж поинтересовался общим составом плана, и Галеран рассказал ему все предположения,

какие были обсуждены уже с лавочником. Все это было только начало. Более важные вопросы — о распределении дежурств в решительную ночь побега, о том, кто будет работать, куда складывать выбранную из подкопа землю,— возникли сами собой. Без Факрегеда ночью в лазарете не обойтись — таково было общее мнение, переданное для разведки и разработки Ботреджу, при помощи Катрин Рыжей и Кравара, начавшего под ее влиянием оказывать контрабандистам все более важные услуги. Галеран хотел еще измерить емкость сарая, пустых ящиков и бочек, загромождавших маленький двор лавки. Сделав бумажный метр из старой газеты, Галеран удалился, сказав:

— Чем больше мы разузнаем за эту ночь, тем легче будет потом.

Когда Галеран вышел, Стомадор и Ботредж опорожнили по стакану перцовки. Увидев навощенные палочки, Ботредж собрал их в кулак, поставил снопом и сразу разжал руку. Палочки упали друг на друга, как горсть макарон.

— Отец? — спросил он, давая знак начинать игру.

— Такой же, как я.

Стомадор низко нагнулся над столом, высматривая свободно лежащую палочку или упавшую так, чтобы снять ее можно было, не шевельнув ни одной другой. Если палочка, прикасающаяся к снимаемой, хотя чуть трогалась, игрок уступал очередь, а выигравшим считался тот, кто больше снял палочек. Это была больная, воровская игра, требующая совершенного расчета движений.

Вначале Стомадор убрал из кучки, где откатывая, где нажимая один конец, чтобы вскинулся вверх другой, пять штук, затем ему предстала задача разделить две палочки, прильнувшие параллельно одна к другой. Он потянул ближайшую к себе за середину концом пальца, но не сумел резко отдернуть ее, и вторая палочка шевельнулась.

— Играй ты. Слушай, нам нужен третий, двое не могут рыть и поднимать грунт вверх. Переговори с Даном Тергенсом.

— Лучшего работника не сыскать,— ответил, таща палочку, Ботредж.— Но только Дану будет обидно, что его брата повесят.

— Вы, Ботредж, должны знать,— возразил Стомадор, для которого смена «ты» на «вы» заменяла интонацию,— что, если Гравелот убежит, будет поднято скандальное дело против Ван-Конета, и тогда всех

пощадят. Сидней богат, адвокаты и газетчики начнут ему помогать. Теперь же ничего сделать нельзя, ходы заперты.

— Я поговорю.— Ботредж снял восьмую палочку, а на девятой ошибся.— Но главное все-таки не в том,— вздохнул он.— Стоп, вы тронули!

— Ничего не двинулось, что ты врешь!

— Я не слепой.

— Играйте, если вы так упрямы,— сказал с досадой лавочник.— Это у вас глаза качаются. На что мы играем?

— На пачку папирос, дядя Том. Главное, я говорю, заключается в Факрегеде. Единственно, если он будет дежурным по лазарету.

— Придется подумать.

— Думать должен он, а вы хлопочите теперь, чтобы как-нибудь поспать днем. Днем рыть не придется.

Галеран вернулся очень довольный исчислениями. Хотя это был расчет грубый, он все-таки убедился, что сарай легко вместит двадцать кубических метров разрыхленного грунта. Считая горизонтальные и вертикальные ходы подкопа общей длиной девятнадцать, даже двадцать метров, при высоте один с четвертью метр на один метр ширины, получалось около двадцати пяти кубических метров плотной массы; разрыхленная, она увеличивалась в объеме. Эти тридцать пять — сорок кубических метров отработанной почвы можно было уложить в сарай, а излишек разместить по бочкам и ящикам.

Таким образом, план подкопа начал принимать реальные очертания, и его основные линии проступили довольно явственно. Рассказав о своих вычислениях, Галеран поднял вопрос о приобретении инструментов. Как только заговорили об инструментах, Галерану и Ботреджу одновременно пришла весьма существенная мысль — обстоятельство, о котором, странным образом, не подумали вначале, хотя, не решив его, трудно было надеяться на успех: что представляет собою почва между тюрьмой и лавкой?

— Дядя Стомадор,— воскликнул Ботредж,— мы собираемся долбить камень. Неужели вы и я забыли об этом? Под нами известняк.

— Быть не может! — сказал Галеран, вопрос которого о свойствах почвы так неожиданно предупредил Ботредж.

Стомадор, значительно поведя глазами, поднялся и вышел, захватив нож. Галеран, сцепив пальцы, тревожно молчал. Ботредж, широко раскрыв глаза, смотрел на него и, сильно затягиваясь, курил.

Подрыв ножом небольшое углубление, Стомадор возвратился и бросил на стол беловато-желтый кусок.

— Рыхлый травертин,— облегченно заявил он, вытирая вспотевший лоб.— Можно резать ножом.

Галеран внимательно осмотрел камень. Действительно, это был пористый раковичный известняк мягкой формации, неправильно именуемый каменщиками «травертин», плотностью чуть крепче штукатурки.

Щели ставен начали бледнеть: приближался рассвет первого дня упорной борьбы за жизнь Тиррея. Ботредж ушел, а Галеран сел писать заключенному о надеждах и затруднениях. Это была его первая записка узнику. Из осторожности он подписался «Г», а все тайное просил Стомадора передать на словах через Факрегеда, когда тому представится случай.

ГЛАВА XI

Никогда Давенант не думал, что его судьба обезобразится одним из самых тяжких мучений — лишением свободы. Он старался, как мог, твердо переносить тройное свое несчастье: заключение, болезнь и угрозу сурового наказания, совершенно неизбежного, если не произойдет какого-нибудь внезапного спасительного события. Даже его мысль не могла быть свободна, так как, о чем ни думал он, стены камеры и порядок дня были неразлучно при нем, от них он не мог уйти, не мог забыть о них. Сон, единственная отрада пленника, часто напоминал о тюрьме видениями чудесного бегства; тогда пробуждение ночью при свете затененной электрической лампы над дверью было еще мучительнее. Сон повторялся, бегство разнообразилось и, счастливо оканчиваясь, уводило его в сады, соединяющие над водой прекрасные острова, или Давенанта ловили. Он во сне видел себя в тюрьме, думая: «Это сон...» — и просыпался в тюрьме.

Однажды снилось ему, что голос его обладает чудесными свойствами,— звук голоса заставляет повиноваться. Давенант постучал в дверь. «Отоприте»,— сказал он надзирателю, и тот послушно открыл дверь.

Давенант вышел из лазарета и подошел к воротам, зная, что никто не осмелится сопротивляться голосу, звучащему как тайное желание самого повинующегося этим его приказаниям. Ворота открылись, и он вышел на солнечную улицу. Это была та улица, где жил Футроз. Вскоре Давенант увидел знакомый дом, и сердце его забилось. Его отец, посмеиваясь, открыл ему дверь, говоря: «Что, Тири, пришел все-таки?» Давенант побежал к гостиной. Она была дивно освещена. Роэна и Элли сидели там, нисколько не старше, чем девять лет назад, о чем-то советуясь между собой; они рассеянно кивнули ему. Что-то тяжелое, серое привязано было к спине каждой девочки. «Это я,— сказал им Давенант,— будем стрелять в цель».— «Теперь нельзя»,— сказала Рой, и Элли тоже сказала: «Нельзя, мы должны носить камни, и, пока правильно не уложим их, не будет у нас никакой игры».— «Бросьте камни,— сказал Тиррей,— я — голос, и вы должны слушаться. Бросьте!» — крикнул он так громко, что проснулся, и, ломая, калеча видение, проникла в него тюрьма.

С первого же дня этой погребенной в стенах жизни Давенант начал думать о побеге. Он был в городе, где родился и вырос. Воспоминание знакомых мест, домов, улиц, которые находились вблизи него, но оказывались недоступными, деятельно толкало его ум к размышлению о возможности бежать.

Едва ли чья фантазия так изощряется в комбинациях и абсурдно-логических построениях, как фантазия узника одиночной камеры. Одиночество еще более воспламеняет фантазию. Заключенные общих камер имеют хотя бы возможность делиться своими соображениями: один знает то, другой — это, взаимное обсуждение шансов делает даже невыполнимый замысел предметом, доступным логическому исправлению, дополнению; критика и оптимизм создают иллюзию действия; но одиночный арестант всегда только сам с собой, его заблуждения и ошибки в расчетах исправлять некому. Линия наименьшего сопротивления иногда представляется ему труднейшим способом, а трудное — легким. Его материал — лишь то, что он видит перед собой, и смутные представления обо всем остальном.

В мечтах о бегстве первым и далеко не всегда оправдывающим себя магнитом служит окно камеры — естественный, казалось бы, выход, хотя и загражденный

решеткой. Квадратное окно камеры Давенанта, обращенное на двор, нижним краем приходилось ему по плечи, так что, пользуясь разрешением тайно курить, за что платил, он должен был приставлять к окну табурет и пускать дым в колпак форточки. Стекла, вымазанные белой краской, скрывали двор; окно никогда не открывалось, а двойная решетка требовала для побега стальной пилы; но, если бы Давенант даже имел пилу, отверстие в двери, через которое днем и ночью посматривал в камеру надзиратель, решительно отстраняло такой способ освобождения. Допуская, что окно раскрылось само, узник мог выйти на двор, в лапы надзирателя, караулящего внутренние ворота. По всему тому версии побега, измышляемые Тирреем, сводились к устранению надзора и изготовлению веревки с якорем на конце, зацепив который за гребень стены он мог бы подтянуться на руках и спрыгнуть на другую сторону. Забывая о больной ноге, он устранял надзирателя разными способами — от соглашения с ним до нападения на него, когда тот входил в камеру, осматривая помещение после проверки числа арестантов в девять часов вечера. Он размышлял о проломе той стены лазарета, которая была также частью наружной стены двора, о бегстве через окно и крышу, но, в какие хитроумно-сказочные формы ни облекались эти витания среди материальных преград, неизменно его обессиленное воображение слышало при конце усилий своих окрик больной ноги. Иногда ему было хуже, иногда лучше; рана не закрывалась, и опухоль колена отзывалась болезненно при каждом серьезном усилии. Давенант старался лежать на спине. Когда же мечты об освобождении или живые чувства, непозволительные для арестанта, сильно волновали его,— потребность курить становилась нервной жаждой. Пренебрегая ногой, Давенант ковылял к окну и там курил трубку за трубкой. После таких движений его нога делалась тяжелой, как железо, она горела и ныла; утром при перевязке врач качал головой, твердя, что нужно не шевелиться, так как рана сустава требует неподвижности.

В шесть часов утра дверь камеры открывалась, дежурный арестант под наблюдением надзирателя ставил на стол у койки молоко, хлеб, яйцо всмятку или молочную рисовую кашу, затем, быстро подметя бетонный пол щеткой, сгребал сор в ящик и удалялся

к другой камере, а дверь запиралась. Через день после того, как Галеран ночью советовался с Ботреджем и лавочником, дежурный арестант с проворством и точностью движений обезьяны бросил в кожаную туфлю Тиррея туго свернутую бумажку; надзиратель не заметил его проделки. Когда оба они ушли, Давенант раскрыл книгу, выданную из тюремной библиотеки, и под ее прикрытием стал читать записку Галерана, утешившую и обрадовавшую его, как свидание. Впервые писал ему Галеран, писал сжато и твердо. Самый тон записки должен был ободрить заключенного.

«Дорогой Тиррей,— писал Галеран, оставивший слово «ты» как напоминание прошлого,— я принял меры к облегчению твоей участи. Гостиница закрыта и заперта местной полицией, твои работники исчезли, захватив деньги, данные тобой Фирсу. Моя поездка в Гертон оказалась безрезультатной. Баркеты изменили тебе. Их не было у тебя в тот день. Существенные меры, какие я имею в виду, могут все изменить к лучшему. Будь спокоен и жди. Мне трудно представить тебя взрослым, а потому я как бы видел тебя только вчера. Г.».

Слезы потрясли Давенанта, когда он кончил чтение,— столь чудесной казалась ему эта верность отношения к нему чужого человека, различного с ним возрастом и опытом, который, может быть, ставил мысленно себя на место Тиррея по какому-то тайному сближению их судеб, по сочувствию к душевной линии, приведшей Тиррея в мир и стены страдания. Давенант не понимал, что означает выражение «существенные меры», но не стал размышлять о том до более спокойной минуты, хотя непроизвольно ему мерещились уже светлые, свободные улицы города.

В тот день он испытал еще одно потрясение, повод к которому был как бы глухим смехом в лицо смутных надежд: около десяти часов состоялось вручение обвинительного акта, переданного Давенанту под расписку в получении начальником тюрьмы. Это был лист отпечатанного на всех четырех страницах машинкой текста, сухо, но подробно излагающего существо дела с преданием обвиняемого военному суду, и означающий смерть.

Весь этот день Давенант курил, почти не отходя от окна, и разглядывал под уклоном железного колпака вентилятора слои облаков, перерезанные чертой телеграфного провода.

ГЛАВА XII

Не теряя времени, четыре заговорщика — Галеран, Ботредж, Стомадор и Дан Тергенс, черноволосый, с круглым лицом, спокойный, как сыр, человек,— взялись за трудную работу соединения двора лавки с двором тюрьмы узкой траншеей. Галеран оставил свое намерение — попытаться узнать что-нибудь от Сногдена и Лауры Мульдвей; наведя справки, он убедился, что люди этого сорта не могут ничем помочь спасти Давенанта.

Вечером следующего дня, когда погасли огни в домах окраины, Дан Тергенс с Ботреджем принесли на двор Стомадора кирку, лом, мотыгу, бурав, пилу, стальные клинья, два фонаря, четыре пары войлочных туфель, ленту-рулетку, четыре смены парусиновой рабочей одежды коричневого цвета и сверток веревок. Тергенс и Ботредж пришли теперь со стороны пустыря, где между сараем и стеной существовал заложенный досками проход, чтобы надзиратель у ворот тюрьмы не задумался над их грузом. Впоследствии работающие проникали на двор Стомадора тем же путем, так что надзиратель не видел их; так же они и уходили.

Вскоре пришел Галеран. Он увидел, что закоулок между лавкой и оградой уже очищен от бочек и другого хлама. Все собрались тут, разговаривая шепотом. Опаснейшей частью дела было пробитие начальной отвесной шахты,— шум движения и удары инструментов могли привлечь внимание случайного прохожего, и, вздумай тот поглядеть через забор, увидел бы он, что почему-то ночью роют колодец. Различные мнения относительно глубины этого колодца затянули начало действия, однако Галерану удалось доказать необходимость двух с четвертью метров глубины, считая метр на высоту горизонтального прохода, а остальное — на толщину свода во избежание обвала при движении на мостовой тяжелых грузовиков, а также чтобы заглушить опасные в тишине ночи звуки работы.

— Переднюю стенку колодца, обращенную к тюрьме,— сказал Дан Тергенс, уже не выпускающий из рук кирки,— надо ровнять по отвесу, левую — тоже, от них придется взять направление.

— В колодце должно быть просторно для начала рытья горизонтального хода,— прибавил Ботредж,— нельзя, чтобы локти и спина мешали размаху.

— Может ли залить водой? — спросил Галеран.

— Едва ли, — сказал Стомадор, — место возвышенное. Сырость, может быть, будет.

— Уйдите все, — решил Тергенс, — тут тесно. Я вас позову. Начинаю!

Он сгреб лопатой тонкий слой верхней земли и щебня, оставшегося от постройки, расчистив квадрат метр на метр. Край лопаты стал белым от травертина, лопата скребла его легко, как засохшую грязь, отскакивали даже небольшие куски. Но все взволнованно ждали решительного проникновения кирки, чтобы убедиться в исполнимости замысла. Ударив киркой раза три, Тергенс засунул в дыру лом и легко выворотил пласт мягкого известняка величиной фута в два.

— Пойдет, — сказал он, тотчас закуривая трубку и смотря в углубление. — Терпеть и долбить, более ничего. А теперь все уйдите. Стойте, — шепнул он, когда другие собрались уходить, — вот для начала. Говорят, это хорошая примета.

Он показал обломок подковы и спрятал его в карман.

— Смотрите не ускачите, — сказал Стомадор, — вы теперь так подкованы...

Оставив Тергенса за его делом, немного ему знакомым, так как этот человек работал несколько лет назад в угольной шахте, заговорщики уселись вокруг стола у Стомадора. Ботредж начал играть с лавочником в «палочки», а Галеран налил себе вина и погрузился в раздумье. Сегодня ему сказал Ботредж, что Факрегед будет дежурным по лазарету завтра, но не знает, на какой день попадет его следующее дежурство на том же посту. Кроме того, подкоп ничего не стоил, если второй надзиратель — дежурный общего отделения лазарета — окажется неподатливым к соблазну крупной суммы, которую решил дать, если она понадобится, Галеран. Кто будет этот второй? В тюрьме служило тридцать надзирателей, а расписание дежурств составляла канцелярия. Каждый из надзирателей мог заболеть, получить отпуск; их посты менялись периодически, но неравномерно. Почти не поддавалась расчету комбинация надзирателей, тем более важная, что оба они должны были бежать вместе с Гравелотом. Однако Факрегед сообщил, что он примет все меры быть дежурным по лазарету, если серьезные причины вынудят устроителей побега самим

назначить ночь освобождения узника. От Ботреджа Галеран узнал, как ловко ведет свои дела Факрегед: он считался одним из самых примерных служащих. Это обстоятельство давало Галерану надежду.

Прошел час, прошло еще полчаса, но не видно и не слышно было Тергенса; казалось, он ушел глубоко в землю и бродит там, рассматривая окаменелости. Вдруг дверь тихо открылась. Довольный собой, задыхающийся Тергенс явился перед сидящими за столом; его ноги были по колено в белой пыли, известью захватаны рукава рубашки, а шея почернела от пота; он взял лежащую в углу парусину и начал переодеваться.

— Идите смотреть,— сказал Тергенс, обхлопывая штаны.— Травертин — милый друг, и более ничего.

Ободренные его тоном, заговорщики поспешили к закоулку. У стены зияла квадратная яма глубиной по грудь человеку. Высокая куча известняка громоздилась перед ней; грунт был сух на ощупь и ломался в руках, как сухой хлеб.

— Иди, я тебя буду учить,— сказал Ботреджу Тергенс.— Тут надо приноровиться. Если трудно брать киркой, действуй буравом, потом бурав выдерни, засунь лом и раскачивай, толкай в одну сторону. Тогда кусок отойдет.

Сказав так, он умолк, потому что не любил лишних слов. Наступило время работы для всех. Приспособив два ящика, заговорщики ссыпáли в них лопатой куски известняка и уносили в сарай. Между тем Ботредж, оказавшийся значительно сильнее Тергенса, могуче хрустел в колодце вырываемой почвой. Заменив свою одежду купленной парусиновой, не отдыхая, лишь уходя изредка курить в комнату, четыре человека к пяти часам ночи убрали весь мусор, закончили вертикальный колодец и, завалив его бочками, разошлись, усталые до головокружения. Галерану не дали рыть. Зная сам, что не справится с этим, он не протестовал, но уносил грунт так же энергично и бодро, как все. Хуже других пришлось Стомадору, страдавшему короткорукостью и одышкой, но он не посрамил себя и только пыхтел.

Итак, они расстались, сойдясь снова вместе к полуночи. Работа была так тяжела, что Галеран, Ботредж и Тергенс спали весь день; лишенный отдыха Стомадор бродил по лавке, дремля на ходу, и его покупатели были довольны, так как он обвешивал и обмеривал

себя чуть ли не при каждой покупке. В полдень явилась Рыжая Катрин и отчасти выручила его, взявшись торговать, а Стомадор проспал четыре часа. После тяжелого пробуждения ему пришлось лечиться перцовкой; тем же способом раскачались и остальные, каждый у себя дома. Галеран никуда не выходил; опустив занавеси окон, сидел он у себя в номере, а вечером принял теплую ванну.

Как наступила полночь, ночная прохлада восстановила энергию заговорщиков, и они приступили к пробиванию горизонтального хода, свод которого шел под углом, как односкатная крыша, во избежание обвала. Чтобы определить направление — поперек шахты, сверху, Галеран уложил деревянную рейку, направленную к тому месту тюремной стены, где оканчивалось здание лазарета. У стены была пометка в виде камня, оставленного там Ботреджем, причем он пользовался точными указаниями Факрегеда. Направление глубины Тергенс установил другой, короткой рейкой, забитой в дальнюю от тюрьмы стенку шахты на самом ее дне, и уровнял ватерпасом параллельно верхней рейке. Этот несовершенный по методу, но достаточный при небольшом расстоянии способ удовлетворил всех. Итак, убрав верхнюю направляющую рейку, оставили до конца работы нижнюю, чтобы, натягивая от нее привязанный шнур, уверенно копать дальше.

Таким образом, дело наладилось, причем главная работа досталась Тергенсу и Ботреджу. Сменяясь каждый час, они шаг за шагом углублялись к тюрьме. Работать им приходилось главным образом острым ломом, сидя на земле, по причине малой высоты этой траншеи, или стоя на коленях. Привязав веревку к небольшому ящику, Галеран и Стомадор вытаскивали его время от времени полный извести и относили в сарай. Натоптано и насорено по дворику было ужасно. Кончив работу, они прибирали двор, тщательно мыли руки, очищая пальцы от набивавшейся под ногти извести, чтобы не вызвать вопросов у покупателей о причине странного вида пальцев. Ботредж и Тергенс, вылезая наверх выпить стакан вина, вытряхивали из-за воротника известковый мусор. Волосы и лица их стали белыми от пыли; мелкие осколки часто попадали в глаза, и они мучительно возились с удалением из-под века раздражающих микроскопических кусочков, опустив лицо в таз с водой и мигая там со стиснутыми от рези

глазного яблока зубами, пока не удаляли причину страдания. Даже плотная парусина пропускала едкую пыль, зудившую тело. Однако увлечение работой и видимый уже ее успех держали работающих в состоянии чувства головокружительно опасной игры. Фонарь теперь горел внутри шахты, за спиной шахтера, освещая вертикальное поле борьбы, торчащее перед глазами неровным изломом. Тесно и глухо было внутри; духота, пот, усиленное дыхание заставляли часто пить воду; ведерко с водой было поставлено там, чтобы не выходить без нужды; Тергенсу пришла удачная мысль поливать грунт водой. Как только это начали делать, пыль исчезла и дышать стало легче. Галеран спустился заглянуть, как идет дело, и ощутил своеобразный уют дико озаренной низкой и узкой пещеры, где тень бутылки, стоявшей на земле, придавала всему видению характер плаката. К наступлению утра Тергенс и Ботредж работали полуголые, сбросив блузы, в одних штанах; их спины, скользкие от пота, блестели, распространяя запах горячего тела и винных паров. Оба обвязали платками головы.

Ничего не зная о почвах, Стомадор тем временем ожидал открытия клада; заблудившийся между романом и лавкой ум его созерцал железные сундуки, полные золотых монет старинной чеканки. На худой конец он был бы рад черепу или заржавленному кинжалу как доказательствам тайн, скрываемых недрами земли. Однако выносимая им известковая порода мало развлекала его, лишь окаменевшие сучки, раковины и небольшие булыжники попадались среди бело-желтой массы кусков. Все время чувствовал он себя на границе чрезвычайных событий, забывая, что они уже наступили. Такое скрытое возбуждение помогало ему бороться с одышкой и изнурением, но он заметно похудел к рассвету второго дня работы, и Ботредж ощупал его с сомнением, спрашивая,— хватит ли при такой быстрой утечке жира его жизни на шесть-семь дней.

— Теряя в весе,— ответил лавочник,— я молодею и легче бегаю по двору. А тебе что терять? Ты высох еще в чреве матери твоей, оттого что она мало пила.

На трех метрах работа была оставлена, двор прибран, и, съев окорок ветчины, залитый хорошим вином, заговорщики разошлись, едва не падая от усталости. Галеран высчитал, что через пять дней подкоп будет окончен, если не помешает какой-либо непред-

виденный случай. В эту ночь Тергенс и Ботредж получили от него по десять фунтов. Умывшись, переодевшись, они несколько посвежели; тотчас отправясь играть в один из притонов, оба, разумеется, спустили все деньги и там же улеглись спать. Стомадор проспал три часа и проснулся от звона заведенного им будильника. Катрин больше не помогала ему, так как он, что называется, «обломался», вошел в темп. Следующей ночью заговорщики продвинулись вперед еще на три метра. Желая узнать, слышны ли наверху удары лома, Стомадор вышел на мостовую над тем местом, где внизу рыл Тергенс, но, как ни вслушивался, кроме слабых звуков, не имеющих направления и напоминающих падение меховой шапки, ничего не расслышал. Это очень важное обстоятельство позволило бы работать под землей даже днем, если бы не необходимость тотчас же относить прочь вырытый известняк, который, в противном случае, забивал ход вертикальной шахты, таскать же землю можно было только ночью.

Работа шла как обычно и окончилась к пяти утра. Видя свои успехи, четыре человека так воодушевились, что смотрели на окончание затеи почти уверенно.

Два важных известия отметили наступающий день: во двор пришел переодетый Факрегед, передав Галерану обвинительный акт, исписанный на полях карандашом и посланный Давенантом через арестанта-уборщика, сносящегося со шкипером Тергенсом.

Было воскресенье. Прочтя сообщение Тиррея и документ, составленный сухо и беспощадно, Галеран по малому сроку, остающемуся до суда, который назначался на понедельник, увидел, что медлить нельзя. Тщательно измеренное пространство между тюрьмой и лавкой указывало солидный остаток толщины грунта: десять с четвертью метров, не считая работы над выходом. Состоялся род военного совещания, на котором решили назначить день бегства, повинуясь только необходимости. Чтобы Тергенс и Ботредж могли работать круглые сутки, Стомадор придумал дать им мешки, куда они должны были складывать известняк и приставлять их к выходу наверх, чтобы после закрытия лавки Галеран и лавочник снесли их в сарай.

— Если выдержим,— сказал Тергенс,— то утром в понедельник или же вечером в понедельник дело окончится. Придется пить. Трезвому ничего не сделать. Но раз нужно, мы сделаем.

Второе важное сообщение касалось дежурства по лазарету: расписание дежурств на следующую неделю ставило Факрегеда с двенадцати дня понедельника до двенадцати вторника на внутренний пост в здании тюрьмы; если бы Мутас, назначаемый одним из дежурных по лазарету, не вышел, заменить невышедшего, согласно очереди, должен был Факрегед. Он брался устроить так, чтобы Мутас не вышел. Что касается второго дежурного по общему отделению лазарета, Факрегед прямо сказал, что ему нужно триста пятьдесят фунтов, но не билетами, а золотом.

— Придется рисковать,— сказал Факрегед.— Или он возьмет золото тут же на месте, когда наступит момент, или я его оглушу.

После долгого разговора с Факрегедом Галеран убедился, что имеет дело с умным и решительным человеком, на которого можно положиться. У Галерана не было золота, и он дал надзирателю ассигнации, чтобы тот сам разменял их. Галеран отлично понимал, какой эффект придумал Факрегед. Кроме того, они условились, как действовать в решительную ночь с понедельника на вторник. Если все сложится успешно, Факрегед должен был уведомить об этом, бросив через стену палку с одной зарубкой, а при неудаче — с двумя зарубками. Сигнал одной зарубкой означал: «Входите и уведите». Как условились — в четверть первого ночи Факрегед откроет камеру Давенанта; уйдут также оба надзирателя; Груббе с автомобилем должен был стоять за двором Стомадора на пустыре.

Такой вид приняли все вопросы освобождения.

ГЛАВА XIII

На полях обвинительного акта Давенант писал Галерану о суде, болезни и адвокате.

«Суд состоится в понедельник, в десять часов утра. Волнения вчерашнего дня ухудшили мое положение. Я не могу спокойно лежать, неизвестность и предчувствие ужасного конца вызвали столько печальных мыслей и тяжелых чувств, что овладеть ими мне не дано. С трудом волочу ногу к окну и, поднявшись на табурет, выкуриваю трубку за трубкой. Иногда меня лихорадит, чему я бываю рад; в эти часы все мрачные

обстоятельства моего положения приобретают некую переливающуюся, стеклянную прозрачность, фантазии и надежды светятся, как яркие комнаты, где слышен веселый смех, или я становлюсь равнодушен, получая возможность отдаться воспоминаниям. У меня их немного, и они очень отчетливы.

Военный адвокат, назначенный судом, был у меня в камере и после тщательного обсуждения происшествий заключил, что мой единственный шанс спастись от виселицы состоит в молчании о столкновении с Ван-Конетом. По некоторым его репликам я имею основание думать, что он мне не верит или же сам настолько хорошо знает об этом случае, что почему-то вынужден притворяться недоверчивым. Внутренним чувством я не ощутил с его стороны ко мне очень большой симпатии. Странно, что он рекомендовал мне взвалить на себя вину хранения контрабанды, мое же участие в вооруженной стычке — объяснить ранением ноги, вызвавшим гневное ослепление. На мой вопрос, буду ли я доставлен в суд, он вначале ответил уклончиво, а затем сказал, что это зависит от заключения тюремного врача. «Вы только выиграете,— прибавил он,— если ваше дело разберут заочно,— суд настроен сурово к вам, и потому лучше, если судьи не видят лица, не слышат голоса подсудимого, заранее раздражившего их. Кроме того, при вашем характере вы можете начать говорить о Ван-Конете и вызовете сомнение в вашей прямоте, так ясно обнаруженной при допросах». Пообещав сделать все от него зависящее, он ушел, а я остался в еще большей тревоге. Я не понимаю защитника.

Дорогой Галеран, не знаю, чем вызвал я столько милости и заботы, но, раз они есть, исполните просьбу, которую, наверно, не удастся повторить. Если меня повесят или засадят на много лет, отдайте серебряного оленя детям Футроза, вероятно, очень взрослым теперь, и скажите им, что я помнил их очень хорошо и всегда. Чего я хотел? Вероятно, всего лучшего, что может пожелать человек. Я хотел так сильно, как, видимо, опасно желать. Так ли это? Девять лет я чувствовал оторопь и притворялся трактирщиком. Но я был спокоен. Однако чего-нибудь стою же я, если шестнадцати лет я начал и создал живое дело. О Галеран, я много мог бы сделать, но в такой стране и среди таких людей, каких, может быть, нет!

Я и лихорадка исписали эти поля обвинительного акта. Все, что здесь лишнее, отнесите на лихорадку. Дописывая, я понял, что скоро увижу вас, но не могу объяснить, как это произойдет. Больше всего меня удивляет то, что вы не забыли обо мне.

Джемс — Тиррей».

Галеран очень устал, но усталость его прошла, когда он прочел этот призыв из-за тюремной стены. Он читал про себя, а затем вслух, но не все. Все поняли, что медлить нельзя.

— Гравелот поддержал наших,— сказал Ботредж,— а потому я буду рыть день и ночь.

— Работайте,— сказал Галеран контрабандистам,— я дам вам сотни фунтов.

— Заплатите, что следует,— ответил Тергенс,— тут дело не в одних деньгах. Смелому человеку всегда рады помочь.

— Когда я покину лавку,— заявил Стомадор,— берите весь мой товар и делите между собой. Двадцать лет я брожу по свету, принимаясь за одно, бросая другое, но никогда не находил такой дружной компании в необыкновенных обстоятельствах. Чем больше делаешь для человека, тем ближе он делается тебе. Итак, выпьем перцовки и съедим ветчину. Сегодня, как всегда по воскресеньям, лавка закрыта, спать можно здесь, а завтра вы все будете отдыхать под землей, туда же я подам вам завтрак, обед, ужин и то, что захотите съесть ночью, то есть «нóчник».

Восстановив силы водкой, обильной едой, сигарами и трубками, заговорщики спустились в подкоп. Они достигли такой степени азартного утомления, когда мысль о цели господствует над всем остальным, создавая подвиг. Спирт действовал теперь только на мозг; сознание было освещено ярко, как светом магния. Засыпая, они видели во сне подкоп, просыпаясь — стремились немедленно продолжать работу. Пока не взошло солнце, дышать было легко, но после девяти утра духота стала так сильна, что Тергенс обливался пóтом, и чем дальше углублялся он к тюремной стене, тем труднее было дышать. Чтобы не путаться во время коротких передышек, заговорщики начали работать попарно: Галеран с Тергенсом, а Ботредж со Стомадором. Не имея воз-

можности выпрямиться, все время согнувшись, сидя на коленях или в неудобном положении, они вынуждены были иногда ложиться на спину, чтобы, насильственно распрямляясь, утишить ломящую боль суставов. Трудно сказать, кому приходилось хуже — тому ли, кто оттаскивал тяжелые мешки к одной стороне прохода, лучше и сильнее зато дыша, так как был ближе к выходному отверстию, или тому, кто рыл,— то сидя боком, то полулежа или стоя согнувшись.

Работать приходилось всем, что было под рукой. Иногда Тергенс или Ботредж ввинчивали бурав, делая ряд скважин, и, расшатывая известняк ломом, вырывали его затем ударами кирки. Случалось, что их ободряли легко обламывающиеся пустоты, куда лом проваливался, как сквозь скорлупу, но попадались и упорные места, которые надо было долбить. Когда углубились уже за середину улицы, известняк начал отсыревать, что указывало близость источника, и до позднего вечера работа протекала под страхом воды, могущей залить ход. Но этого не случилось. До тюремной стены известняк оставался влажным — слева сильнее, чем справа, однако не в такой степени, чтобы образовалась жидкая грязь. Подкоп выдержал до конца. Когда набитые руками мешки вытянулись у стены хода, Стомадор и Ботредж подняли их наверх и высыпали в сарай, где уже возвышалась гора известняка. Товар был удален: в сарае едва хватало пространства, чтобы поместить остальной грунт. Утреннее движение началось, а потому стало опасно носить мешки через двор, так как возникло бы подозрение. Тогда решили рассыпать известняк вдоль всего хода, пробитого к одиннадцати часам еще на два метра, а ночью заняться уборкой грунта в сарай. К этому времени Стомадор едва держался на ногах. Тергенс сел у выхода и заснул, держа кирку в руках; Ботредж жадно пил воду. Никто не мог и не хотел есть. Прибегли к перцовке, единственно возвращающей осмысленный вид дергающимся небритым лицам с красными от пыли глазами. Разбудив Тергенса, Ботредж увел его в лавку, где все разделись, обмылись холодной водой и легли голые, лицом вверх, на разостланные по полу одеяла. Повесив у задней двери замок, Стомадор залез в лавку через дворовое окно и закрыл ставни. Он лег рядом с Ботреджем.

Распростертые тела четырех человек лежали, как трупы. Лишь пристально вглядываясь, можно было заметить, что они слабо дышат, а на шеях их вздуваются и опадают вены. Этот болезненный сон длился до пяти часов вечера. Воздушная ванна сделала свое дело — дыхание стало ровнее. Тергенс стонал во сне, Стомадор мудро и мирно храпел. Первым проснулся Галеран, все вспомнил и разбудил остальных, лишь мгновение лежавших с дико раскрытыми глазами. Они встали; одевшись — поели, чувствуя себя, как после долгого гула над головой. Теперь условились так: чтобы не показалось странным долгое отсутствие Стомадора, лавочник остается дома на случай появления клиентов или Факрегеда с известиями; остальные уходят под землю и пробудут там до наступления полуночи, после чего предполагалось вновь отдохнуть. Когда они спустились, лавочник закрыл выход ящиками, но так, чтобы не затруднить доступ воздуха.

За этот вечер были к нему три посещения обычного рода: жена надзирателя, купившая пачку табаку и колоду карт, пьяный разносчик газет, никак не рассчитывавший, что Стомадор охотно даст ему в долг вина, а потому хотевший излить свои чувства, но прогнанный очень решительно, и сосед-огородник, забывший, за чем пришел. Однако на этот раз Стомадор не угостил его, сказав, что «болит голова». Как стемнело, явилась Рыжая Катрин, закурила и села.

— Дядя Стомадор, Факрегед передает вам новости: его смена наладилась. Без бабы вам, видно, никак не обойтись.

— Говори скорей. Вот выпей, выкладывай и уходи; лучше, чтобы никто не видел тебя здесь. Мы теперь всего боимся.

— Значит, работа у вас налажена? Я думала, что стучат. Ничего не слыхать.

— Стучит у меня в голове. Будешь ты говорить наконец?

— Факрегед дал мне обработать Мутаса, чтобы тот валялся больной завтра, к двенадцати дня, когда сменяются. Я это дело наладила. Мутаса подпоил Бархатный Ус и передал его мне. Он у меня. Вы видите, я подвыпивши. Мы нашли одного человека, который будто бы хлопочет поступить в надзиратели. Мутас расхвастался, а тот его поит, даже денег ему дал. И будет поить целые сутки. Утром я Мутасу дам

порошок, чтобы проспал лишнее. Все в порядке, дядя Стомадор, а потому угостите меня.

— Ты не рыжая, ты — золотая,— объявил Стомадор, наливая ей коньяку.— Выпей и уходи. Ну, как твой Кравар?

— Так что же Кравар? Он ничего. Стал ходить и даже не совсем скуп. Нельзя сказать, что он скуп. Я удивилась. Теперь хочет жениться. Только он страшно ревнив.

— Возьми его,— сказал лавочник,— потом будешь жалеть.

— Видите ли... дядя Том, я — честная девушка. Какая я жена?

Катрин ушла, а Стомадор вышел к подкопу и, отвалив бочки, увидел Галерана, стоявшего в колодце, уронив голову на руки, прижатые к отвесной стене. Он глубоко вздыхал. Ботредж валялся у его ног с мокрой тряпкой на голове. Тихо раздавались удары Тергенса, крошившего известняк.

— Очнитесь,— сказал лавочник Галерану,— выйдите все, надо пить кофе. Иначе вы умрете.

— Никогда! — Галеран бессмысленно посмотрел на него.— Что нового?

— Факрегед будет дежурить.

— Да? — отозвался Ботредж, приподнимаясь.— Сердце начинает работать.

Согнувшись, выглянул снизу Тергенс.

— Все выйдем,— заявил он.— Силы кончаются. Завалили весь ход. Отдохнув, начнем убирать.

Он сел рядом с Ботреджем, свесив голову и машинально отирая лоб тылом руки.

Стомадор расставил ноги пошире, нагнулся и начал помогать обессилевшим труженикам выходить на двор.

ГЛАВА XIV

В понедельник весь день дул холодный ветер, и это обстоятельство значительно облегчило работу, превратившуюся в страдание. Ночь, вся потраченная на уборку лома из подкопа, так вымотала работающих, что их мысли временами мешались. Чем длиннее становился проход, тем мучительнее было сновать взад и вперед, сгибаясь и волоча мешки с кусками

известняка. Ободранные колени, руки, черные от грязи и засыхающей крови, распухшие шеи и боль в крестце заставляли иногда то одного, то другого падать в полусознательном состоянии. Оставалось им пробить два с небольшим метра, но, выкопав целый коридор для карликов, они чувствовали эти два метра как пытку. В противовес оглушенному сознанию и сплошь больному телу, их дух не уступал никаким препятствиям, напоминая таран. Иногда, оглядываясь при свете фонаря вперед и назад, Галеран испытывал восхищение: эти четырнадцать метров тоннеля, совершенно прямого, вызывали в нем гордость оправдывавшей себя настойчивости. Тергенс заметно сдавал. Он почти не говорил; глаза его обессиленно закрывались, и он, словно умирая, на мгновение делался неподвижен; Ботредж поддерживал силы яростной бранью против тюрьмы, суда и известняка, а также вином. Вино и табак были теперь единственной пищей всех четверых.

В понедельник от часа дня и до шести вечера Тергенс, Галеран и Ботредж забылись тяжелым сном, сидя у выходного отверстия, и, как стемнело, проснулись, тотчас приложившись к бутылкам. Их разбудил Стомадор, который вынужден был весь день торговать, засыпая на ходу и отвечая покупателям не всегда вразумительно. Катрин посетила его, купив для вида жестянку кофе.

— Присуждены все к повешению,— сказала женщина,— Факрегед в лазарете. Ночью в пять часов приговоренных увезут в крепостную тюрьму, где есть такие же трое по другим делам, там будут казнить.

Ужас, понятный всякому, кто полюбил человека за то, что делает для него, отозвался в ногах лавочника дрожью отчаяния. Он пошел и разбудил Галерана, сказав о приговоре. Хотя надо было ожидать только такого приговора, известие это превзошло все искусственные способы подкрепления нервной системы. В молчании началась работа.

В десять часов вечера палка с одной зарубкой ударилась о мостовую и легла неподалеку от лавки. Стомадор поднял ее.

Было бы бесцельной жестокостью описывать эти последние часы, представляющие ни бред ни жизнь, полуобморочные усилия и страх умереть, если не хватит пульса. Единственно спирт спасал всех. К полови-

не двенадцатого было вырвано у земли все определенное расчетами расстояние — и снизу вверх образовалась шахта, закупоренная над головой слоем в полтора фута. Груббе, получивший через Катрин известие, приехал окольной дорогой и стал на некотором отдалении на пустыре за сараем Стомадора. Наспех переодевшись в темные, простые костюмы, заменив туфли башмаками, взяв деньги, револьверы, заперев лавку и очистив проход от инструментов, так что отчетливость во всем была до конца, заговорщики приступили к освобождению Давенанта.

Оставив Тергенса у фонаря, среди прохода, Ботредж, Стомадор и Галеран подошли к последнему препятствию, висевшему над головой потолком из земли и корней. Стомадор держал лесенку наготове. Неимоверные усилия последних часов ошеломили всех. Дышать было почти нечем. Тергенс, рухнув у фонаря, сидел, опираясь спиной о стенку, и, протянув ноги, хрипло дышал, свесив голову. Ботредж тронул его за плечо, но тот только махнул рукой, сказав: «Водки!» Вынув из кармана бутылку, контрабандист сунул ее в колени приятеля и присоединился к Галерану.

Галеран и Стомадор, сжимаясь в тесноте, пропустили Ботреджа, самого высокого из них, нанести своду последние удары. Ботредж не мог действовать киркой вверх, он взял лом и ровно в пятнадцать минут первого, по часам Галерана, вонзил лом. Обрушился град земляных комьев. Шепнув: «Берегитесь», хотя стоявшим нагнувшись в горизонтальном проходе Галерану и лавочнику не угрожало ничто, Ботредж пошатал лом, еще глубже просунул его наверх и, действуя как рычагом, едва успел сам закрыться рукой: земля провалилась и засыпала его до колен. В дыру хлынул сквозняк; лунное небо, разделенное веткой куста, открылось высоко над запорошенным лицом контрабандиста. Торопливо подставив лесенку, Ботредж руками обвалил неровность краев, расширил отверстие и хлопнул себя по бокам.

— Ворвались! — шепнул Ботредж.— Ждите теперь!

Отверстие пришлось на расстоянии двух шагов от стены. Торжество людей, хрипло дышавших воздухом тюремного двора, было высшей наградой за изнурение последнего ужасного дня. Даже обессилевший Тергенс тихо отозвался издали: «Пью. Слышу... Превосходное дело!» Все трое толкались и теснились у отверстия, как

рыбы у проруби, ожидая, что вот-вот затемнит свет луны тень Давенанта, выпущенного Факрегедом из камеры.

Ничто не прошумело, не стукнуло; ни шагов, ни шороха наверху, и вдруг Галеран увидел Факрегеда, опустившегося над ямой на четвереньки. Их взгляды сцепились. Растерянное лицо Факрегеда поразило Галерана.

— Где он?—шепнул Галеран.—Давайте его. Прыгайте сами. Экипаж готов.

— Сорвалось,—сказал Факрегед, ломая ветку куста, царапающую лицо.

— Что случилось?

— Ему не выйти. Не сделать ни одного шага. Он в жару и в бреду, иногда только лепечет разумное. Сил у него нет. Я его хотел посадить, он обессилел и свалился. Весь день курил и ходил. К вечеру—как огонь, но доктора решили не звать, на что надеемся—сами не знаем. Бросив вам палку, я видел, что он плох, но думал—дойдет, а там его унесут. За последние два часа как громом поразило его.

Устранив Мутаса, Факрегед все же сильно боялся, что его дежурство окажется внутри тюрьмы, как назначалось по расписанию, а в лазарет отправится кто-нибудь другой. Факрегеда выручила его репутация неумолимого и зоркого стража, которую он поддерживал сознательно. Обстоятельства предстоящей трагедии склонили помощника начальника тюрьмы на сторону Факрегеда. Друг контрабандистов подкупил второго надзирателя по лазарету, Лекана, прямо и грубо раскрыв перед ним руки, полные золота. Прием оказался верен: никогда не видавший столько денег и узнав, что бегство обеспечено, Лекан поддался очарованию и согласился участвовать в освобождении приговоренного.

Пятьдесят фунтов Факрегед взял себе.

Так нестерпимо, так ужасно прозвучало мрачное известие, что Галеран немедленно взобрался вверх и, задыхаясь от скорби, очутился в саду лазарета. Он оглянулся. За ним стоял Ботредж; Факрегед поддерживал вылезающего Стомадора.

— А вы куда?—спросил Галеран.

— Все вместе,—сказал Ботредж.—Ночь лунная, будем гулять.

В его глазах блестел редко появляющийся у людей свет полного отречения.

— Для чего же я жил? — сказал Стомадор. — Теперь ничто не страшно.

Факрегед скользнул к углу здания, где открытая дверь заслоняла собой вид на ворота. Оттуда доносился негромкий разговор надзирателей.

— На волоске так на волоске, — прошептал он. — Идите тихо за мной.

Один за другим они проникли в ярко освещенный коридор общего отделения. Галеран увидел бледного, трясущегося Лекана, который, беспомощно взглянув на Факрегеда, получил в ответ:

— Готовьтесь ко всему, отступление обеспечено.

Слыша тревожное движение в коридоре, некоторые арестанты общей палаты проснулись и лежали прислушиваясь, с возбуждением зрителей, толпящихся у дверей театра. «Что там?» — сказал один. «Увозят казнить», — ответил второй. «Кто-нибудь умер», — догадывался третий. Из одиннадцати бывших там больных только один почувствовал, в чем дело, и так как он был осужден на двадцать лет, то закрыл уши подушкой, чтобы не слышать растравляющих звуков безумно смелого действия.

Лекан остался, чтобы лгать арестантам, если бы они вздумали вызывать его, из любопытства, звонком, а остальные углубились в коридор одиночных камер и подошли к двери Тиррея. Услышав шаги, он отрешился от неясных фигур бреда, стиснул сознание и направил его к звукам ночи. «Идут за мной; как поздно и ненужно теперь, — думал он, — но как хорошо, что они пришли. Или мне все это кажется? Ведь все время казалось что-то, оно отлетает и забывается. Недолго мне осталось жить. Когда смерть близко, все не совсем верно. Но я не знаю... Я хочу, — вслух продолжал он, радостно и дико смотря на появившегося перед ним Галерана, — чтобы вы подошли ближе. Вы — Галеран. Орт Галеран, мой друг...»

Увидев воспаленное лицо Давенанта, Галеран стремительно подошел к нему.

— Неужели прокопали улицу поперек?

— Да, Тиррей, сделано, и мы пришли, — сказал Галеран, еще надеясь, что очевидность наступившего освобождения поднимет это исхудавшее тело. Он с трудом узнал того юношу, каким был Давенант. Странно и тягостно было такое свидание, когда сказать хочется много, но нельзя терять ни минуты.

Галеран сел в ногах Тиррея. Стомадор и Ботредж встали у столика.

— Джемс, я тут,— шепнул лавочник,— мы не оставим тебя.

— А это кто? Это Стомадор,— продолжал Давенант, которому в его состоянии ничуть не казалась удивительной сцена, представляющая сплошной риск.— Репный пирог, Стомадор, навеки соединил нас. Орт Галеран, мой друг. Вы совсем белый, да и я такой же — внутри.

— Мужайся, тебя спасут. Все готово. Встань, мы поедем ко мне, в загородный мой дом. Автомобиль ждет. Ты уедешь на пароходе в Сан-Риоль или Гель-Гью.

— Немыслимо, Галеран. Должно быть, вы самый милый человек из всех, кого я знал, а я, кажется, знал кого-то...

— Да встань же, глупый!

— Прикован. Окончился как ходок.

— Три раза я помещал в газетах объявление о тебе.

— Я не читал газет... Я долго не читал их,— сказал Давенант.

— Я вернулся через два дня после твоего исчезновения. У меня было много денег. Твоя доля — несколько тысяч. Она цела.

— Мне тогда нужно было только сто фунтов. Ах, как я искал вас!

Давенант любовно смотрел на него, желая одним взглядом передать все, о чем трудно было говорить. Наморщась, он приподнял руку и, вздохнув, уронил ее.

— Вот так и я,— сказал он,— еще меньше силы во мне.

Галеран откинул одеяло и тихо опустил его. Нога, надувшись, красновато блестела; ступня, слившись с икрой, потеряла форму.

— Не берегся?— сказал ужаснувшийся Галеран.— Что же теперь?

— Как мог я беречься?— ясно, но с трудом говорил больной.— Беречься, тихо лежать с могильным песком на зубах! Да... я не мог. Со мной поступили гнусно, мне обещали, что меня привезут в суд, однако все было решено без меня.

Факрегед заглянул в камеру. Бледный, весь сдвинутый на одну мысль, с искусанными от волнения губами, он осмотрел всех и подошел к койке, скребя лоб.

— Как пласт!— сказал Факрегед.— Что решаете? Не мучьте его.

— Все труды, все пропало,— сказал Стомадор.— Усилься, Гравелот. Только выйти и спуститься! Там мы тебя унесем!

— Много ли осталось безопасного времени?— спросил Галеран.

— Что — время?— ответил Факрегед.— В нашем распоряжении верных два часа, пока там зашевелятся, но, будь хоть десять, его все равно не вынести.

Действительно, унести Тиррея было нельзя. На узком повороте, прикрытом от глаз дворового надзирателя распахнутой створкой двери лазаретного входа, человек мог проскользнуть незаметным, только прижимаясь к стене и заглушая свои шаги. Галеран пошел к выходу, мысленно подтащил сюда Тиррея и увидел, что, если больной даже не вскрикнет,— все они будут мгновенно пойманы. Тащить тело втроем оказывалось таким действием, которое требовало еще одного метра скрытого от глаз надзирателя пространства, и то при условии, что гравий не хрустнет, а усиленное дыхание четырех человек не нарушит тишину тюремного двора. Возвратясь, Галеран с отчаянием посмотрел на Тиррея.

— Ну как-нибудь, Давенант!

Видя горе своих друзей, бесполезно рискующих жизнью, Давенант сосредоточил взгляд на одной точке стены, поднял голову и напрягся соскользнуть с койки. Две-три секунды, поддерживаемый Галераном, он дрожал на локтях и рухнул, закрыв глаза и сдержав стон боли таким неимоверным усилием, что жилы вздулись на лбу.

— Неужели не пощадят?— сказал Галеран.— Ведь он не может даже стоять.

— Повесят в лучшем виде,— отозвался Ботредж.— Бенни Смита вздернули после отравления мышьяком, без сознания, так он и не узнал, что случилось.

Глотая слезы, Стомадор схватил Галерана за плечо, твердя:

— Довольно... хватит. Я больше не могу. Я буду стрелять. Мне теперь все равно.

— Уходите,— тихо произнес Давенант,— не мучайтесь. Мне хорошо, я спокоен. Я сейчас живу сильно и горячо. Мешает темная вода, она набегает на мои мысли, но я все понимаю.

— Напасть на ворота?— сказал Ботредж.

Ему не ответили, и он тотчас забыл о своем предложении, хотя приготовился ко всему, как Стомадор

и Галеран. Их состояние напоминало перекрученные ключом замки.

Взяв руку приговоренного, Галеран стал ее гладить и улыбаться.

— Думай, что я слегка опоздал,— шепнул он.— Мне тоже осталось немного жить. Делать нечего, мы уйдем. Все-таки прости жизнь, этим ты ее победишь. Нет озлобления?

— Нет. Немного горько, но это пройдет. Едва увиделись и должны расстаться! Ну, как вы жили?

Ботредж начал громко дышать и ушел к окну; его рука нервно погрузилась в карман. Он вернулся, протягивая Давенанту револьвер.

— Не промахнетесь даже с закрытыми глазами,— сказал Ботредж,— вы — человек твердый.

Давенант признательно взглянул на него, понимая смысл движений Ботреджа и радуясь всякому знаку внимания, как если бы не ужасную смерть от собственной руки дарили ему, а веселое торжество. Он взял револьвер и уронил его рядом с собой.

— Устроюсь,— сказал Давенант.— Я понимаю. Что же это? Стомадор! Не плачьте, большой такой, грузный!

— Что передать? — вскричал лавочник, махнув рукой на эти слова.— Есть ли у тебя мать, сестра или же та, которой ты обещался?

— Ее нет. Нет тех, о ком вы спрашиваете.

— Тиррей,— заговорил Галеран,— эта ночь дала тебе великую власть над нами. Спасти тебя мы не можем. Исполним любое твое желание. Что сделать? Говори. Даже смерть не остановит меня.

— И меня,— заявил Стомадор.— Я могу остаться с тобой. Откроем пальбу. Никто не войдет сюда!

В этот момент полупомешанный от страха Лекан ворвался в камеру и, прошипев: «Уходите! Перестреляю!» — был обезоружен Факрегедом, подскочившим к Лекану сзади.

Факрегед вырвал у надзирателя револьвер и ударил его по голове.

— Уже пропал! — сказал он ему.— Опомнись! Смирись! На, выпей воды. Застегни кобуру, револьвер останется у меня. Эх, слякоть!

— Лекан, кажется, прав,— отозвался Тиррей.

Оглушительные действия, брань и стакан воды образумили надзирателя. Чувствуя поддержку и крепкую связь всей группы, он вышел, бормоча:

— Мне показалось... на дворе... Скоро ли, наконец?

— Положись на меня,— сказал Факрегед,— не то еще бывало со мной.

— Решайте,— обратился Ботредж к Давенанту.— Все будет сделано на разрыв сердца!

— Не думайте,— вздохнул Давенант,— не думайте все вы так хорошо для одного, которому суждено пропасть.

Взгляд его был тих и красноречив, как это бывает в состоянии логического бреда.

— Должна прийти,— сказал он с глубоким убеждением,— одна женщина, узнавшая, что меня утром не будет в живых. Ей сказали. Неужели не лучшее из сердец способно решиться посетить мрачные стены, волнуемые страданием? Это сердце открылось, став на высоту великой милости, зная, что я никогда не испытал любящей руки, опущенной на горячую голову. Как мало! Как много! Неизвестно, как ее зовут, и я не вижу ее лица, но, когда вы уйдете, я увижу его. В этом — все. Проклят тот, кто не испытал такого привета.

— Мы увидим ее, милый Тиррей,— сказал Галеран, внимательно слушая эту речь, навеянную бредом и одиночеством.— Кто ей сказал?

— Как будто кто-то из вас,— встрепенулся Давенант, осматриваясь с усилием,— недавно выходил отсюда.

— Вышли и вернулись,— неожиданно произнес Стомадор, отвечая взглядом пристальному взгляду Галерана.

Ботредж тоже понял. Образы предсмертного возбуждения открылись им в той же простоте, с какой говорил Давенант. Ночь смертного приговора уравняла всех. На многое довольно было намека.

— Стомадор,— шепнул Галеран, отходя с лавочником к окну,— ведь вы готовы на все...

— Он готов, я с ним,— сказал Ботредж,— но... вы?

— Нет, я не гожусь,— грустно ответил Галеран.— Я — порченый. Вы сделаете лучше меня, если сделаете.

Слушавший у двери Факрегед мрачно кивнул головой, когда Галеран глазами спросил его.

— Да,— сказал Факрегед,— все мы решились на все, по крайней мере о нас будут говорить с уважением. Пусть идут, только недолго, через час станет опасно.

— О чем вы говорите? — спросил Давенант.— Как длинна эта ночь! Но я не жалуюсь, я никогда не

жаловался. Галеран, сядьте на койку, вы уйдете последний.

Между тем Ботредж и Стомадор, крадучись, проникли в отверстие за стеной лазарета и поползли к Тергенсу; он, догадываясь уже о скверном исходе, молча смотрел на приятелей, которые, ухватив друг друга за плечи, спорили, стоя на коленях. Тергенсу Стомадор сделал знак не мешать.

— Вы слушайте,— говорил Ботредж, тряся плечи лавочника,— я проворнее вас и могу сказать все быстрее. Я знаю, что делать.

— При чем проворство? Пустите, отцепитесь, ты все погубишь! — возражал Стомадор, сам не выпуская плеча Ботреджа.— За тобой прибежит толпа...

— Не упрямьтесь, времени у нас мало,— перебил Ботредж,— ведь это не то что привести священника. Душа его мучится. Понимаешь ли ты?

— Я все понимаю лучше вас. Сойди с дороги, говорят тебе. Ты не можешь выразить как нужно, от тебя разбегутся все. У меня есть опыт на эти вещи! Я изучаю психологические подходы и имею верность глаза! Как можешь ты меня заменить? Это нахальство!

— Бросьте. Я сбегаю за угол к одной вдове, она добрая душа и не труслива. Она сразу пойдет. Ее сын тоже сидит в тюрьме, только не здесь.

— Да понимаешь ли ты, чего хочет он перед смертью? — зашипел Стомадор.— Даже мне этого не сказать, хотя в такую сумасшедшую ночь мои мысли проснулись на всю жизнь! Он хочет вздохнуть — слышишь? — вздохнуть всем сердцем, вздохнуть навсегда! Молчи! Молчи! Это я приведу последнего, неизвестного друга, такого же, как его светлый бред! — в исступлении шептал Стомадор, утирая слезы и чувствуя силы разбудить целый город.— О ночь,— сказал он, стремясь освободиться от переполнивших его чувств,— создай существо из лучей и улыбок, из милосердия и заботы, потому что такова душа несчастного, готового умереть от руки нечестивых! Что мы будем болтать. Стой у тюремного выхода и стреляй, если понадобится!

Ботредж хотел возражать, но Тергенс взял его за ворот блузы и оттащил от лавочника, кинувшегося, ударяясь головой о свод, к выходу на двор.

— Сидите,— сказал Тергенс,— лавочник говорит дело.

Перескочив из двора на пустырь сзади сарая, где сильно волнующийся Груббе сидел, не выпуская из рук рулевого колеса, лавочник только махнул ему рукой, давая тем знак стоять и ждать, сам же обогнул квартал со стороны пустыря, выбежав на Тюремный переулок ниже тюрьмы.

Сухой, знойный ветер обвевал его задыхающуюся фигуру. С обнаженной головой, чувствуя все время безмолвный призыв сзади себя, Стомадор оглядывался в ночной пустоте. Он то шел, то бежал.

Луна таилась за облаками, обнажив светящееся плечо. Бесстрастный ночной свет охватывал тени домов. Не добегая моста в низине, соединяющего предместья с городом, Стомадор увидел двух девушек, торопливо возвращающихся домой. Он кинулся к ним с глубокой верой в одушевляющую его силу, но, замерев от неожиданности, эти девушки при первом его слове: «Помогите умирающему...» — разделились и бросились бежать, испуганные диким видом растрепанного грузного человека. Не останавливаясь, не смущаясь, Стомадор пробежал короткий квартал, соединяющий мост со ступенями северного выхода Центрального бульвара, почти пересекающего город прямой линией.

Густая листва низких пальм шумела и колыхалась от горячего ветра, далеко играл оркестр мавританской ротонды; его звуки отдалялись ветром, иногда лишь звуча явственно и тревожно, как слова, бросаемые в дверь человеком, уходящим навсегда, далеко. Почти не было прохожих в этот час ночи; на конце бульвара одна явственная женская фигура в черной мантилье приближалась к ступеням; как звезды, блеснули ее глаза.

— Жизнь, остановись ради смерти! — крикнул Стомадор, бросаясь к ней.— Кто бы вы ни были, выслушайте голос самого отчаяния! Дело идет о приговоренном к смерти. Я не пьян, не безумен, и я сразу поверил в вас. Не обманите меня!

ГЛАВА XV

Даже первый месяц брака не дал счастья молодой женщине, так горячо любившей своего мужа, что она не замечала его обдуманных действий, подготовляющих разрыв. Лишь первые дни брака Ван-Конет был

внимателен к своей жене; с переездом в Покет он перестал стесняться и начал вести ту обычную для него жизнь, к которой привык. Он был рассеян, резок и насмешлив, как взрослый, быстро разочаровавшийся в игрушке, взятой им из прихоти для недолгой забавы. В этот день Консуэло была грубо оскорблена Ван-Конетом, попрекнувшим жену ее незнатным происхождением. Чтобы хотя немного рассеяться, молодая женщина отправилась на концерт одна, где, слушая взволновавшую и еще более расстроившую ее музыку, в задумчивости покинула концертный зал. Впервые так тяжко не совпадали выраженные высоким искусством чувства с ее горьким наивным опытом. Грустная, чувствуя желание остаться одной, она, мало зная город, медленно шла по бульвару не в ту сторону, куда надо было идти, и ее остановил Стомадор.

Мельком взглянув на него, Консуэло проронила несколько испанских слов и хотела пройти дальше, но Стомадор так бережно, хотя пылко, схватил ее руку, что она остановилась, не решаясь сердиться.

— Не уходите, не выслушав,— говорил Стомадор, растопырив руки, как будто ловил ее.— Сеньора, приговорен к смертной казни лучший мой друг, Джемс Гравелот, и на рассвете его повесят. Сеньора, помогите мне сказать такие слова, которые убедят вас! Идите к нему со мной, выслушайте и проводите его! Ваше сердце поймет это последнее желание, для которого слишком недостоин и груб мой язык, чтобы я мог его выразить!

Чувствуя серьезность нападения, видя расстроенное лицо, беспорядочную одежду, уже слегка зараженная неистовым волнением старого человека, Консуэло произнесла:

— Да простит Бог его грешную душу, если это так, как вы говорите, добрый человек. Куда же вы зовете меня?

— В тюрьму, сеньора. Это не преступник, хотя и обвинен в перестрелке с таможней. Никто не верит в его преступность, так как его погубил Ван-Конет, сын губернатора. Гравелот ударил этого негодяя за подлый поступок. Месть, страх потерять выгодную невесту сгубили Гравелота. Но нет времени рассказать все. Я вижу: вы сжалились, и ваша прекрасная душа бледнеет, как ваше лицо, слыша о преступлении. Вот его последнее желание, и судите, может ли так сказать

черная душа: «Стомадор, обратись к первой женщине, которую встретишь. Если она стара, она будет мне мать, если молода,— станет сестрой, если ребенок,— станет моей дочерью». Судите же, чего не получил умирающий и как жестоко отказать ему, потому что он болен, неподвижен и готовится умереть!

Эта речь, полная безыскусственного страдания, страшное обвинение ее мужа, отчего дрогнуло уже нечто непоправимое в душе тоскующей молодой женщины, отвели все колебания Консуэло. Она решилась.

— Я не откажу вам,— сказала Консуэло.— Есть причина для этого, и она довольно мрачна, чтоб я пыталась ее объяснить. Идемте. Ведите меня. Как мы пройдем?

— О, извините! Только через подкоп. Бегство не удалось,— ответил ликующий Стомадор, готовый из благодарности нести на руках это милое существо, так отважно решающееся подвергнуть себя опасности.— Верьте или нет, как хотите, но, по крайней мере, двадцать обращений было с моей стороны, и все они не имели успеха. И я не жалею,— прибавил он,— так как мне суждено было... Вы понимаете, что это правда, сеньора.

Несмотря на душевный мрак, более напоминающий смерть, чем лихорадочное возбуждение Давенанта, Консуэло не могла удержаться от улыбки, слушая наивную лесть и многое другое, что, поспешно шагая рядом с ней, говорил Стомадор, пока минут через пятнадцать они не проскользнули в дверь лавочного двора. Добросовестность Стомадора была теперь вполне ясна Консуэло, поэтому, хотя и с стеснением, вызываемым необычностью опасного происшествия, она все же храбро заглянула в слабо освещенную фонарем узкую шахту, сказав:

— Я вся перемажусь. Дайте мне завернуться во что-нибудь.

За то время, что они шли, из разговора со Стомадором стало ей вполне грубо и мерзко ясно сердце ее мужа, как будто открылись больные внутренности цветущего на вид тела, полные язв. И она хотела выслушать приговор свой от приговоренного, неведомо для себя распутавшего грязную ложь.

Быстрее кошки, уносящей скачком мышь, Стомадор кинулся в свою комнату, возвратясь с простыней, довольно чистой. Закутавшись с головой, Консуэло

увидела выглянувшее снизу лицо Тергенса. Ее охватил глубокий интерес к предприятию, мрачность и трепет которого чем-то отвечали ее страданию.

— Еще все тихо,— с облегчением прошептал Стомадор.— Ночь милостива к Джемсу... Но обдумано же все действительно блестяще!

Молоденькая женщина с лицом самой совести казалась Стомадору доверчивой девочкой. Он парил около нее, бережно поддерживая при спуске.

— Клянусь терновым венцом! Вы — настоящие мужчины! — произнесла Консуэло, заглянув в жуткий тоннель, мрачно озаренный звездой фонаря. Действительно, можно было восхититься этой работой.— Хоть это утешение мне,— добавила она, оставив лавочника в недоумении насчет смысла своего замечания.

Между тем само положение тюрьмы против закоулка двора указывало истину слов ее расстроенного проводника. Теперь Консуэло считала прямой обязанностью своей загладить чем-нибудь зло, нанесенное ее мужем; она торопилась и пробиралась согнувшись. Ботредж, пораженный ее видом, молчал, прижавшись к стене прохода, чтобы пропустить женщину. Она наступила ему на руку, но он даже не пошевелился. Тергенс пополз вперед и сел у второго выхода, протянув ноги. Консуэло и лавочник перешагнули через его ноги с бо́льшим удобством, чем минуя длинное туловище Ботреджа. На счастье всех действующих лиц тюремной драмы, ветер дул им в лицо. Карабкаясь по ступенькам деревянной лестницы, Консуэло выбралась наверх. Бросив простыню в отверстие, она неслышно прошла за Стомадором те десять шагов, которые отделяли подкоп от двери лазарета, и, прижимаясь к стене угла, скользнула в яркое помещение. Из всех манипуляций прохода от подкопа к двери и обратно эти два шага под прикрытием узкой дверной плоскости были острейшим испытанием риска. Грузный Стомадор, как и первый раз, лег у двери на бок, подтянувшись затем на руках. Консуэло прижималась к стене спиной, расставив руки и откинув голову. Такие же предосторожности принимались всеми, не исключая Факрегеда, и если принять во внимание, что за время действия было всего тринадцать следований разных людей из дверей и в двери лазарета, причем никто не зашумел, не споткнулся, то станет ясным, какое напряжение потрачено было на этом крошечном участке тайной борьбы.

К моменту ее появления Давенант уже забыл, кто может прийти. Его бессвязная речь, коснувшись отца, бегства, Ван-Конета, странной тактики адвоката, становилась затрудненной. Когда он умолкал, Галеран говорил с ним, укрепляя его, как мог, соображениями о возможности отсрочки исполнения приговора. Уже он хотел проститься и уйти, не веря в поиски Стомадора и сознавая, что опасность растет, как Давенант сказал:

— Отдайте серебряного оленя Роэне и Элли Футроз. Не знаю, когда это было — сейчас или в прошлую ночь, казалось мне, что я видел на столе свечу, горящую днем. В окно врывался ветер, но пламя свечи не шевелилось, не гасло, лишь быстро таяла эта свеча...

Факрегед открыл дверь, пропустив Стомадора и молодую женщину, с ужасом взглянувшую на распростертого человека. Его измученное и ясное лицо еще не успело потерять свое, далекое всему, выражение. Лекан, которого Стомадор огорошил при входе заявлением: «Это племянница начальника тюрьмы!» — силой тащил теперь за рукав Факрегеда, чтобы получить объяснение происходящего и отпроситься бежать. Они удалились.

— Это я... это я,— твердил Стомадор.— Я нашел эту фею... а не Ботредж... это божество... это утешение, этого рыцаря-девочку. Она девочка. Я, может быть, раз тридцать останавливал всяких подходящих особ!

Упавшее было настроение Галерана поднялось на небывалую высоту. В эту ночь все лучшее человеческих сердец раскрывалось перед ним и невозможное становилось простым.

— Вы подвергаетесь величайшей опасности,— сказал Галеран молодой женщине, догадываясь о ее положении в жизни с одного взгляда на нее.— Если нас всех накроют, не миновать боя, и, хотя мы вас не дадим тронуть, риск все же огромен.

— Для меня это не так страшно,— ответила Консуэло, с гордым видом человека, знающего себя.— Могут быть только неприятности, но я на это пошла.

«Кто же она?» — думали все, чувствуя, что Консуэло не бодрится, а говорит правду. В камере повеяло неясной надеждой. Давенант глубоко вздохнул. Темная вода временно ушла из его сознания, и, безмерно счастливый тем высшим, что выпало на его долю среди мучений и страха, он оживился.

— Сознание мое прояснилось,— заговорил Давенант.— Мой бред привел вас сюда; это был не совсем бред,— прибавил он, уже жалея существо, несущее так много отрады одним звуком своего голоса, такое настоящее — то самое, такое удивительное и прекрасное, как будто бы он сам придумал его.— О,— сказал Давенант,— я спокоен, я равен теперь самым живым среди живых. Уходите! Простите и уходите.

— Но постойте. Я еще не опомнилась, а вы меня уже гоните. Вы приговорены к смерти, несчастный человек?

— Видя вас, хочется сказать, что я приговорен к жизни.

Тронутая благородным тоном этой тоскливой шутки, Консуэло заставила себя отрешиться от собственного страдания и, став у койки, склонилась, положив руку на грудь Тиррея.

— В этот момент я не совсем чужой вам человек. Вы будете жить. Правда ли все то, что рассказал мне мой проводник о вашем столкновении с Ван-Конетом?

— Да,— сказал Давенант, восхищенный и удивленный ее решительным и милым лицом.— Но каждый поступил бы так, как поступил я. В присутствии своей любовницы, приятелей, проезжая с попойки к ничего не подозревающей о его похождениях невесте, о чем похвалялся, публично унижая ее, тут же за столом этот человек захотел оскорбить и грубо оскорбил одну проезжавшую женщину. Немало досталось от него и мне. Я ударил его во имя любви.

Консуэло всплеснула руками и закрыла лицо. Не удержав слезы, она опустила голову, плача громко и горько, как избитый ребенок.

— Не сожалейте, не страдайте так сильно! — сказал Давенант.— Зачем я рассказал вам все это?

— Так было необходимо,— вздохнула несчастная, поднимаясь с табурета, на который села, когда Давенант начал с ней говорить.— Но я ничего не знала! Я — Консуэло Ван-Конет, жена Георга Ван-Конета, которая вас спасет. Я ухожу. Верьте мне. Скорее проводите меня.

От ее слов стало тихо, и все оцепенели. Произошла та суматоха молчания, когда оглушение событием превосходит силой своей возможность немедленно ото-

зваться на него разумным словом. Давенант громко сказал:

— Я спасен. А вы? Чем я вас утешу? Не проклинайте меня!

Все неясное, вызванное поведением Консуэло, стало на свое место, и Стомадор испугался.

— Простите...— бормотал он,— умоляю вас, не рассказывайте никому, что так стряслось, не погубите нас всех!

Консуэло только улыбнулась ему. Бросив приговоренному теплый взгляд, она торопливо вышла, провожаемая Стомадором и паническим взглядом Лекана. Давенант не смог больше ничего сказать женщине, так тяжко подвернувшейся под удар. Галеран вытащил из-под его подушки револьвер и махнул ему рукой, шепнув:

— Жди, а через полчаса потребуй врача.

Камера опустела.

Донельзя обрадованный Лекан бормотал:

— Скорей, скорей!

И, как только три человека, один за другим, исчезли в подкопе, шепнул вслед Стомадору:

— Ящик... Два ящика, подставить к этой дыре, мы засыплем ее.

Слова Лекана услышал Тергенс. Сообразив все значение такого предложения, он, когда проход опустел, приволок два ящика и поставил их один на другой так, что доска верхнего закрыла снизу отверстие.

— Что же это такое? — сказал Ботредж Тергенсу.

— Молчи. Происходит то, о чем иногда думаешь ночью, если не спишь. Тогда все меняется.

— Ты бредишь? — сказал Ботредж понурясь.

— Ну нет. Выйдем. Все там, в лавке.

С яростью, вызванной ощущением почти миновавшей опасности, Факрегед и Лекан забросали дыру землей с клумб и притоптали ее. К утру разразился проливной дождь, отчего это место меж двух кустов приняло естественный вид.

Обессилевший Факрегед вошел в камеру Давенанта, который долго смотрел на него, затем улыбнулся.

— Я спасен,— тихо произнес он.

— Что? Эта женщина спасет вас?

— Нет. Не знаю. Я спасен так, как вы понимаете, но не хотите сказать.

Он затих и начал бредить. Факрегед вымыл руки, запер Тиррея, тщательно подмел коридор и взглянул на часы. Они показывали четверть третьего.

— Как будто вся жизнь прошла,— пробормотал Факрегед.

Пока два контрабандиста устраивали заслон из ящиков, а надзиратели маскировали отверстие, Галеран, Консуэло и Стомадор сошлись в задней комнате лавки.

— Спасите его,— сказал Галеран заплаканной молодой женщине.— Не время углубляться в происшествие. Сядьте в мой автомобиль.

— Поймите, что я чувствую, сеньора! — проговорил Стомадор.— Я так потрясен, что уже не могу стать таким бойким, как когда встретил вас.

Молча пожав ему руку, Консуэло записала адрес Галерана, и он проводил ее на пустырь, где Груббе уже изнемог, ожидая конца.

— Груббе,— сказал Галеран,— опасность для меня миновала, но не миновала для Давенанта. Помни, что ты теперь повезешь его спасение.

— Кто он? — спросила Консуэло, усаживаясь в автомобиль.

— Все будет вам известно,— сказал Галеран,— пока я только назову вам его имя — Тиррей Давенант. Один из самых лучших людей. Пожалуйста, известите меня.

Консуэло мгновенно подумала.

— Все решится до рассвета,— сказала она и, кивнув на прощание, дала Груббе свой адрес.

Шофер должен был ждать у гостиницы ее появления и привезти ее обратно к лавке или доставить от нее известие. Галеран проводил взглядом автомобиль и вернулся в комнату Стомадора.

— Так вот что произошло,— сказал Тергенс, задумчиво покусывая усы.— Не видать брату моему нового дня. Не пойдет жена против мужа, это уж так.

Ни у кого не было сил отвечать ему. Еле двигаясь, Стомадор принес несколько бутылок перцовки. Не откупоривая, отбив горла бутылок ударами одна о другую, каждый выпил, сколько хватило дыхания.

— Вставайте,— сказал Ботредж.— Теперь опасно оставаться здесь. Будем сидеть и ждать за углом стены двора. Если подкоп откроется,— убежим.

ГЛАВА XVI

Дом, купленный Ван-Конетом в Покете, еще заканчивался отделкой и меблировкой. Супруги занимали три роскошных номера гостиницы «Сан-Риоль», соединенных в одно помещение с отдельным выходом.

Георг Ван-Конет вернулся с частного делового совещания около часу ночи. Утверждение его председателем Акционерного общества должно было состояться на днях.

Слуги сказали ему, что Консуэло еще не возвратилась домой. Скорее заинтересованный, чем встревоженный таким долгим отсутствием жены, зевая и бормоча: «Ей пора завести любовника и объявить о том мне»,— Ван-Конет уселся в гостиной, очень довольный движением дела с председательским креслом, стал курить и вспоминать Лауру Мульдвей, сказавшую вчера, что изумрудный браслет стоимостью пять тысяч фунтов у ювелира Гаррика нравится ей «до сумасшествия».

Небрежная, улыбающаяся холодность этой женщины с всегда ясным лицом раздражала и пленяла Ван-Конета, уставшего от любви жены, не знающей ничего, кроме преданности, чести и искренности.

Ван-Конет был стеснен в деньгах. Приданое Консуэло почти целиком разошлось на приобретение акций, уплату карточных долгов, подарки Лауре, Сногдену; солидная его часть покрыла растраты отца, а также выкуп заложенного имения.

Он задумался, задумался светло, покойно, как баловень жизни, уверенный, что удача не оставит его.

«Исчезла жена»,— подумал, усмехаясь, Ван-Конет, когда часы пробили два часа ночи.

В это время за дверью полуосвещенной соседней комнаты послышались легкие, быстрые — такие быстрые шаги, что муж с беспокойством взглянул по направлению звуков. Консуэло вошла как была — в черных кружевах. Ее вид, утомление, бледность, заплаканное, осунувшееся лицо предвещали несчастье или удар.

— Что с вами? — сказал Ван-Конет невольно значительнее, чем хотел.

Он встал. Еще яснее почувствовал он беду.

— Георг,— тихо ответила Консуэло, смотря на него со страхом, подавляя вздох приложенной к сердцу

рукой и вся трепеща от боли,— идите, спасите человека, в этом и ваше спасение.

— Что произошло? Откуда вы? Где вы были?

— Каждая минута дорога. Ответьте: месяц назад гостиница «Суша и море» ничем не врезалась в вашу память?

Ван-Конет испуганно взглянул на жену, повел бровью и бросился в кресло, рассматривая близко поднесенные к глазам концы пальцев.

— Я не посещаю трактиров,— сказал он.— Прежде чем я узнаю причину вашего поведения, я должен объяснить вам, что моя жена не должна исчезать, как горничная, без экипажа, маскарадным приемом.

— Не браните меня. Вы знаете, как я расстроилась сегодня от ваших жестоких слов. Я была на концерте, чтобы развеселиться. И вот что ждало меня: произошла встреча, после которой мне уже не жить с вами. Спасайте себя, Георг. Спасайте прежде всего вашу жертву. Утром должны казнить человека, имя которого Джемс Гравелот... Что же... Ведь я вижу ваше лицо. Так это все — правда?

— Что правда? — крикнул обозлившийся Ван-Конет.— Дал ли я зуботычину трактирщику? Да, я дал ее. Еще что принесли вы с концерта?

— Ну, вот как я скажу,— ответила Консуэло, у которой уже не оставалось ни малейших сомнений.— Спорить и кричать я не буду. В тот день, когда вы были у меня такой мрачный, я вас так сильно любила и жалела, вы оказались подлецом и преступником. Я не жена вам теперь.

— Хорошо ли вы сделали, играя роль сыщика? Подумайте, как вы поступили! Как вы узнали?

— Никогда не скажу. Я ставлю условие: если немедленно вы не отправитесь к генералу Фельтону, от которого зависит отмена приговора, и не признаетесь во всем, если надо, умоляя его на коленях о пощаде,— завтра весь Покет и Гертон будет знать, почему я бросила вас. Вам будут плевать в лицо.

Ван-Конет вскочил, подняв сжатые кулаки. Его ноги ныли от страха.

— Не позже четырех часов,— сказала Консуэло, улыбаясь ему с мертвым лицом.

Ван-Конет опустил руки, закрыл глаза и оцепенел. Хорошо зная жену, он не сомневался, что она сделает так, как говорит. Ничего другого, кроме встречи

Консуэло с каким-то человеком, все рассказавшим ей, Ван-Конет придумать не мог, и его нельзя за это обвинить в слабоумии, так как догадаться о сообщении с тюрьмой через подкоп мог бы разве лишь ясновидящий.

— Не напрасно я ждал от вас чего-нибудь в этом роде,— сказал Ван-Конет, глядя на жену с такой ненавистью, что она отвернулась.— Я все время ждал.

— Почему?

— В вас всегда был неприятный оттенок бестактной резвости, объясняемый вашим происхождением не очень высокого рода.

— Низким происхождением?! Я была ваша жена. Нет ближе родства, чем это. Разве любовь не равняет всех? Низкой души тот, кто говорит так, как вы. Меня нельзя оскорбить происхождением, я — человек, женщина, я могу любить и умереть от любви. Но вы — ничтожны. Вы — корыстный трус, мучитель и убийца. Вы — первостатейный подлец. Мне стыдно, что я обнимала вас!

Ван-Конет растерялся. Его внутреннее сопротивление гневу и горю жены было сломлено этой так пылко брошенной правдой о себе, чему не может противостоять никто. Он стал перед ней и схватил ее руки.

— Консуэло! Опомнитесь! Ведь вы любили меня!

— Да, я вас любила,— сказала молодая женщина, отнимая руки.— Вы это знаете. Однако сразу после свадьбы вы стали холодны, нетерпеливы со мной, и я часто горевала, сидя одна у себя. Вы взяли тон покровительства и вынужденного терпения. Вот! Я не люблю покровительства. Знайте: просто говорится в гневе, но тяжело на сердце, когда любовь вырвана так страшно. Она, мертвая, в крови и грязи у ног ваших. Мне было двадцать лет, стало тридцать. Сознайтесь во всем. Имейте мужество сказать правду.

— Если вы хотите,— да, это все правда.

— Ну, вот... Не знаю, откуда еще берутся силы говорить с вами.

— Так как мы расходимся,— продолжал Ван-Конет, ослепляемый жаждой мести за оскорбления и желавший кончить все сразу,— я могу сделать вам остальные признания. Я вас никогда не любил. Я продолжаю отношения с Лаурой Мульдвей, и я рад, что развязываюсь с вами так скоро. Довольны ли вы?

— Довольна?.. О, довольно! Ни слова больше об этом!

— Я могу также...

— Нет, прошу вас! Что же это со мной? Должно быть, я очень грешна. Так ступайте. Я не пощажу вас.

— Да. Я вынужден,— сказал Ван-Конет.— Я буду спасать себя. Ждите меня.

— Торопитесь, этот человек опасно болен.

— О! Мы вылечим его, и я надеюсь получить вашу благодарность, моя милая.

Несмотря на охвативший его страх, Ван-Конет очень хорошо знал, что́ делать. Спастись он мог только отчаянным припадком раскаяния перед Фельтоном, сосредоточившим в своих руках высшую военную власть округа. Он не раскаивался, но мог притвориться очень искусно помешавшимся от отчаяния и раскаяния. Медлить ему даже не приходило на ум, тем более не помышлял он обмануть жену, зная, что будет опозорен навсегда, если не выполнит поставленного ему условия. Сказав: «Ждите. Я начинаю действовать»,— сын губернатора бросился в свой кабинет и соединил телефон с тюрьмой.

Уже осветились окна квартиры начальника тюрьмы, а также канцелярии.

— Это вы, Топпер?— крикнул Ван-Конет начальнику, слушавшему его. Он был знаком с ним по встречам за игрой у прокурора Херна.— Ван-Конет, бодрствующий по неопределенной причине. Сегодня у вас большой день?!

— Да,— сдержанно ответил Топпер, не любивший развязного тона в отношении смертных приговоров.— Признаюсь, я очень занят. Что вы хотели?

— Чертовски жаль, что я досаждаю вам. Меня интересует один из шайки — Гравелот. Он тоже назначен на сегодня?

— Едва ли, так как с ним плохо. Он почти без сознания, врач полчаса назад осмотрел его, и, по-видимому, он умрет сам от заражения крови. Его мы оставляем, а прочих увезут в четыре часа.

«Положительно, мне везет»,— размышлял Ван-Конет, возвращаясь к жене, с внезапной мыслью, настолько гнусной, что даже его дыхание зашлось, когда он взглянул на дело со стороны. Соблазн пересилил.

— Консуэлита,— сказал Ван-Конет женщине, ставшей его жертвой,— я еду к Фельтону. Ручаюсь, что я выполню ваше желание. Сможете ли вы подарить мне пятнадцать тысяч фунтов?

— Чек будет готов, как только вы известите меня,— ответила Консуэло без колебания, уже не мучаясь этой новой низостью, но так внимательно рассматривая мужа, что он слегка покраснел.

— Боже мой! Я совсем без денег,— сказал Ван-Конет.— Это просьба, не ультиматум. Вы великодушны, а я не хочу, чтобы вы считали меня корыстным. Я вас застану?

— Нет.

— Куда же вы отправляетесь?

— Это — мое дело. А пока избавьте меня от своего присутствия.

— Болтайте что хотите,— сказал, уходя, Ван-Конет,— это наш последний разговор.

Генерал Фельтон, с которым должен был говорить Ван-Конет, занимал небольшой одноэтажный дом, стоявший недалеко от гостиницы «Сан-Риоль». Фельтон еще не спал, когда ему доложили о неожиданном посещении Ван-Конета. Фельтону редко удавалось лечь раньше пяти утра, по множеству важных военных дел.

Генерал был человек среднего роста, державшийся очень прямо благодаря неестественно приподнятому правому плечу, раздробленному в сражении при Ингальт-Гаузе. Седые, гладко причесанные назад волосы Фельтона искусно скрывали лысину. В некрасивом, нервном лице генерала светился обширный, несколько капризный ум баловня войны, прозревающий мельчайшие оттенки сложных схем, но могущий ошибаться в простом умножении.

— Нельзя ли отложить свидание с ним до завтра? — сказал Фельтон адъютанту.

Адъютант вышел и скоро вернулся.

— Ван-Конет просит немедленной аудиенции по бесконечно важному делу. Оно секретно.

— Что делать! Пригласите его.

Когда появился Ван-Конет, никого, кроме генерала, в комнате не было. Удивленный расстроенным видом молодого человека, с которым был немного знаком, Фельтон добродушно протянул руку, но, отчаянно тряхнув сложенными руками,

Ван-Конет бросился перед ним на колени и, рыдая, воскликнул:

— Спасите! Спасите меня, генерал! Моя жизнь и смерть в ваших руках!

— Встаньте, черт возьми! — процедил Фельтон, бросаясь к нему и силой заставляя встать.— Что вы наделали?

— Генерал, пощадите жизнь невинного, погубленного мной,— заговорил Ван-Конет с искренней страстью человека, действующего ввиду опасности очертя голову, под наитием расчета и страха.— Утром будет повешен Джемс Гравелот, обвиняемый в вооруженном сопротивлении береговой страже. Он не контрабандист. Я приказал подбросить ему, в его гостиницу на Тахенбакском шоссе, мнимую контрабанду ради того, чтобы путем ареста Гравелота избежать поединка и отомстить за удар, который он мне нанес, когда в этой гостинице я гнусно оскорбил какую-то проезжую женщину.

— Недурно! — сказал Фельтон, смешавшись и краснея от такого признания.

Пораженный отчаянием негодяя, он несколько мгновений молча рассматривал Ван-Конета, закрывшего руками лицо.

— Что же... Все это правда?

— Да, позорная правда.

— Как вы могли так низко пасть?

— Не знаю... я пил... пил сильно... я погряз в разврате, в игре... Моя воля исчезла. Я кинулся к вам под влиянием моей жены. Она сумела заставить меня почувствовать ужас моего поведения. Если Гравелот будет повешен, я не снесу этого. Мое завещание готово, и я...

— Да, такой выход был бы неизбежен,— перебил Фельтон.— Ну, расскажите подробно.

Находя неописуемое удовольствие в самооплевывании, Ван-Конет, хорошо помнивший проповеди Сногдена о сверхчеловеческой яркости «душевных обнажений», так изумительно точно рассказал неприглядную историю с Гравелотом, что Фельтон стал печален.

— Откровенно скажу вам,— произнес Фельтон,— что мне вас ничуть не жаль. Другое дело — этот Гравелот. Вот что: если ваше раскаяние искренне, если вы измучены своим позором и готовы умереть ради спасе-

ния невинного, даете ли вы мне слово бросить тот образ жизни, какой привел вас к преступлению?

— Да,— сказал Ван-Конет, поднимая голову.— Одна эта ночь переродила меня. Скройте мой грех. О, генерал, если бы я мог открыть вам мое сердце, вы содрогнулись бы от сострадания к падшему!

— Попробую верить. Но, должен признаться, вид ваш для меня нестерпим. Извините эту резкость старика, привыкшего объясняться коротко. Успокойте вашу жену. Дело Гравелота, а заодно всех остальных, будет пересмотрено. Я выпущу Гравелота под личное ваше поручительство. Его не будут о ч е н ь искать.

— Генерал! — вскричал Ван-Конет.— Какими хотите муками я отплачу вам за это великодушие, дающее мне право дышать!

— Ах,— сказал несколько смягченный его ликованием Фельтон.— Все это не то. Жизнь, если хотите, полна мерзостей. Держите руки чистыми, милый мой.

Затем он выпроводил посетителя и, просмотрев дело контрабандистов, отдал адъютанту соответствующие приказания, немедленно протелефонированные в тюрьму, Херну и в канцелярию военного суда. Предлогом пересмотра дела явилось новое обстоятельство, сообщенное Ван-Конетом: участие Вагнера, которого следовало теперь разыскать.

Исполнив все формальности по выдаче поручительства за освобождаемого до нового суда Давенанта, Ван-Конет приехал домой и узнал от слуг, что его жена уже выехала, взяв один саквояж, и не сказала ничего о том, куда едет. Впрочем, на столе в кабинете брошенного мужа лежал запечатанный конверт с цифрой телефона на нем. Вскрыв конверт, Ван-Конет увидел чек.

Утомленно вздохнув, он соединил телефон с квартирой Лауры Мульдвей. Она спала и заявила об этом тоном сурового выговора.

— Что до того? — возразил Ван-Конет.— Изумрудный браслет — ваш, дорогая, и вы завтра его получите. Консуэло больше нет здесь. Она уехала навсегда.

— О! Важные новости. Отчего же вы раньше не разбудили меня?

— Не существенно. Но браслет?!

— Браслет прелестен. Я жду.

— Спокойной ночи, утром я буду у вас.

Ван-Конет оставил ее и позвонил Консуэло. Она ждала в гостинице, где жил Галеран, заняв там перед отъездом домой небольшой номер.

— Где вы находитесь?— насмешливо спросил Ван-Конет, услышав ее тревожный голос.— Не есть ли это телефон рая?

— Говорите же, говорите скорей!— воскликнула Консуэло.— Вам удалось?

— Конечно. Генерал был очень любезен.

— Тогда мне больше ничего не нужно от вас.

— Я взял Гравелота под свое поручительство. Необходимые документы, вероятно, уже в тюрьме. Вы можете, Консуэлита, заполучить вашего умирающего.

— Прощай, жестокий человек!— сказала Консуэло.— Пусть ты найдешь сердце, способное изменить тебя.

— Благодарю за чек,— грубо сказал Ван-Конет.— У вас еще остались деньги. Муж будет.

С этим он отошел от телефона, а Консуэло, сев в автомобиль Груббе, ждавшего ее решений, отправилась к Стомадору. Только один Галеран ждал ее возле лавки. Стомадор и контрабандисты сидели на пустыре, за двором.

— Спасен!— сказал им Галеран.— Я увезу его. Дело пересмотрится. Гравелот сегодня будет на свободе, под поручительством своего врага, Ван-Конета.

— Так не напрасно работали,— сказал потрясенный Ботредж.— Тергенс, ведь ваш брат тоже спасется. Одно из другого вытекает. Это уж так.

— Понятно,— ответил Тергенс.— Вот всем стало хорошо.

— Вам нечего бежать,— заметил Стомадор,— а я готов, я уже собрался. Никак не выходит мне сидеть на одном месте. Передайте Гравелоту, что я согрел свою старую кровь вокруг его несчастья. А где же та, золотая... чудесная, которую я поймал?

— Вот она,— сказал Галеран, увидев силуэт Консуэло, идущей от автомобиля.

— Благодарим вас,— произнес Тергенс, кланяясь бледной тихой женщине,— узнали мы за одну ночь столько, сколько за всю жизнь не узнаешь!

— Прощайте, мужественные люди,— сказала всем Консуэло,— я не забуду вас.

Она поцеловала их низко опущенные хмельные головы и вернулась сесть в экипаж. Галеран отдал

полторы тысячи фунтов Стомадору и по двести — контрабандистам. Они взяли деньги, но хмуро, с стеснением. Для надзирателей Галеран прибавил Ботреджу триста фунтов: двести Факрегеду и сто Лекану.

Затем все попрощались с Галераном и исчезли, растаяли в темноте. Брошенная лавка осталась без присмотра, на произвол судьбы. Галеран и Консуэло уехали ждать наступления дня, чтобы часов около восьми утра вызвать санитарную карету Французской больницы, а с ней — лучшего хирурга Покета, врача Кресса.

ГЛАВА XVII

Ввиду тяжелого положения Давенанта, решительно взятого под свою защиту всемогущим генералом Фельтоном, судейские и тюремные власти так сократили процедуру освобождения заключенного, что, начав хлопоты около девяти часов утра, Галеран уже в половине одиннадцатого с врачом Крессом и санитарным автомобилем был у ворот тюрьмы, въехав на ее территорию с законными основаниями.

Давенант находился в таком беспомощном состоянии, что жили только его глаза, бессмысленные, как блеск чайных ложек. Он говорил несуразные вещи и не понимал, что делают с ним. На счастье Галерана, а также обоих надзирателей, переживших за эту ночь столько волнений, сколько не испытали за всю жизнь, Давенант бредил лишь об утешении[1]. По его словам, оно являлось к нему в черном кружевном платье и плакало.

Свежий воздух подействовал так, что помещенный в больницу Давенант временно очнулся от забытья. Теперь он все помнил. Он спросил, где Галеран, Консуэло, Стомадор.

Начался ветреный, пасмурный день. К ожидающим Консуэло и Галерану вышел Кресс и пригласил идти в помещение Давенанта.

— Какое его положение? — спросил Галеран доктора.

---

[1] «Консуэло» — значит «утешение».

— Скоро начнется агония,— ответил Кресс,— пока он все сознает и хочет вас видеть.

Последние гости приблизились к кровати умирающего — одинокий старик и женщина, едва начавшая жить, со смертью в душе.

— Теперь я скоро поправлюсь,— прошептал Тиррей, полуоткрывая глаза и с нежным страхом смотря на Консуэло, севшую у изголовья.— Я был причиной вашего горя,— продолжал он,— но я не знал, что так выйдет. Но вы не печальтесь. Что-то в этом роде было со мной. Надо пересилить горе. Вы молоды, перед вами вся жизнь. Ведь это вы спасли меня из тюрьмы?

— Я исполнила мой долг,— сказала Консуэло,— и я не хочу больше говорить об этом. Ваше дело будет пересмотрено и, конечно, разрешится благополучно.

— Мое. А тех?

— Они спасены,— сказал Галеран.— Отмена приговора указывает, что дело ограничится несколькими годами тюрьмы.

— Я рад,— быстро сказал больной,— потому что бой был прекрасен. Суд должен был понять это. Об одном я жалею, что меня не было с вами, Галеран, когда вы рыли подкоп. А где Стомадор?

— Должно быть, уже бежал. Его положение стало очень опасным.

— Конечно. Так я не в тюрьме... Вы не поверите,— обратился Тиррей к Консуэло, смотревший на него с глубоким состраданием,—как хорошо спастись! Мне хочется встать, идти, побывать на старых местах.

Давенант беспокойно двинулся и, утомленный, закрыл глаза. Сознание боролось с темной водой. Он шарил руками на груди и у горла, отгоняя незримую тесноту тела, сжигаемого смертельным огнем. Лицо его было в поту, губы непроизвольно вздрагивали, и, нагнувшись, Галеран расслышал последние слова: «Сверкающая... неясная...»

Видя его положение, Кресс отошел от окна, взял руку Давенанта и, нахмурясь, отпустил ее.

— Избавьте себя от тяжелого впечатления,— тихо сказал Кресс Консуэло, которая, все поняв, вышла, сопровождаемая Галераном. В приемной Консуэло дала волю слезам, рыдая громко и безутешно, как ребенок.

— Это — сразу обо всем,— объяснила она.— Зачем умирает чудесный человек, ваш друг? Я не хочу, чтобы он умирал.

Она встала, утерла слезы и протянула руку Галерану, но тот привлек ее за плечи, как девочку, и поцеловал в лоб.

— Что, милая? — сказал он.— Беззащитно сердце человеческое?! А защищенное — оно лишено света, и мало в нем горячих углей, не хватит даже, чтобы согреть руки. Укрепитесь, уезжайте в Гертон и ждите. Тишина опять явится к вам.

Консуэло закрыла лицо и вышла. Галеран вернулся в палату. Он подождал, когда тело перестало подергиваться, закрыл глаза Давенанта рукой с обломанными ногтями, пострадавшими на подземной работе, и отправился вручить серебряного оленя по назначению.

Его приняла Роэна Лесфильд, молодая женщина в расцвете жизни, жена директора консерватории.

Гостиная, где Тиррей девять лет назад сидел, восхищаясь золотыми кошками, выглядела все так же, но не было в ней тех людей, какие составляли тогда для начинающего жить юноши весь мир.

— Я исполняю поручение,— сказал Галеран вопросительно улыбающейся молодой женщине,— и если вы меня помните, то догадаетесь, о ком идет речь.

— Действительно, ваше имя и лицо как будто знакомы...— сказала Роэна.— Позвольте... помогите вспомнить... Ну, конечно. Кафе «Отвращение»?

— Да. Вот олень. Тиррей просил передать его вам.

Галеран протянул ей вещицу, и Роэна узнала ее. В это время появилась скучающая, бледная Элеонора, девушка с капризным и легким лицом. Жизнь сердца уже неласково коснулась ее.

— Элли! Какая древняя пыль! — сказала Роэна.— Смотри, мальчик, который был у нас лет девять назад, возвращает свой приз, оленя. Да ты все помнишь?

— О, как же! — засмеялась девушка.— Вы — друг Тиррея? Я сразу узнала вас. Где этот человек? Тогда он так странно пропал.

— Он умер в далекой стране,— ответил Галеран, поднимаясь, чтобы откланяться,— и я получил от него письмо с просьбой вернуть вам этот шутливый приз.

Настало молчание. Никто не поддержал мрачного разговора, пришедшегося не совсем кстати: у Роэны

хворал мальчик, а Элли, ставшая очень нервной, инстинктивно сторонилась всего драматического.

— Благодарим вас,— любезно сказала Роэна после приличествующего молчания.— Так он умер? Как жаль!

Слегка пошутив еще на тему об «Отвращении», Галеран простился и уехал домой.

— Ведь что-то было, Элли?—сказала Роэна, когда Галеран ушел.— Что-то было... Ты не помнишь?

— Я помню. Ты права. Но я и без того не в духе, а потому—прости, не сумею сказать.

Феодосия, 23 марта 1929 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

В пятый том включены последние романы А. С. Грина, опубликованные в 1928—1930 гг. В это время писатель работал преимущественно над произведениями крупной формы. Новых рассказов было напечатано немногим более десяти. Из ранее написанного удалось составить три книжки: «Вокруг света» (М.: Огонек, 1928.—44 с.); «На облачном берегу» (М.: Огонек, 1929.—44 с.); «Огонь и вода» (М.: Федерация, 1930.—214 с.). Продолжалась публикация томов Полного собрания сочинений (см. Примечания к первому тому). Об интенсивности творческой мысли писателя свидетельствуют вышедшие романы («Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда»), опубликованная полностью в 1932 г. «Автобиографическая повесть» (Л.: Изд-во писателей.—132 с.) и богатые неосуществленными замыслами черновые материалы. Рукописи А. Грина могут служить наиболее глубоким комментарием к его произведениям: в них содержатся своеобразные «подсказки» к осмыслению многоплановости его образов, разъяснение особенностей его творческого самочувствия. Так, в одном из вариантов «Дороги никуда», от лица некого писателя Сайласа Флетчера, дается признание: «...С великим трудом, исподволь, приучал я редакторов печатать сообщения и истории, которые были для них, строго говоря, почти что четвертое измерение... Я не стеснялся поворачивать материал его острым и тайным углом... находя такие черты жизни или придуманных мною событий, какие удовлетворяли мой внутренний мир». Само собой, что «такие произведения, среди обычного журнального материала, рисующего героев эпохи, настроение века», вызывали все возрастающие трудности с их публикацией (ЦГАЛИ.—Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 11. Ч. 2. Л. 91 об.—93)[1]. В итоге, заключал Сайлас Флетчер, «мои рассказы стали печатать меньше и реже. Наконец произошло так, что секретарь «ежемесячника», прямо посмотрев мне в глаза... сказал: «Флетчер, мы возвращаем рассказ...»

---

[1] Здесь и далее цитируется фонд А. С. Грина № 127, хранящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства.

(там же, л. 98 об.). Да и в другом издании его тоже ожидало «горькое разочарование» (л. 100 об.). Такое отношение усугублялось распространением влияния писателей типа Иосифа Мейера — все виды прессы он завалил своей продукцией, предлагая «журналу семейных традиций» — повесть «Очаг», «радикальному» журналу — «поэму в девять частей «Восстание углекопов», и т. д., и т. п. (там же, л. 95—95 об.).

Фрагмент этот чрезвычайно напоминает резкие суждения А. В. Луначарского — «чудовищными и ублюдочными» называл он убеждения вроде следующих: «Художник — это мастер, который может все. Социальный заказ? — Пожалуйста. Вам нужно написать по поводу 7-часового рабочего дня? — есть» (Луначарский А. В. Классовая борьба в искусстве // Искусство.— М., 1929. С. 17). А. Грин, по сути, размышлял об этом же. И в такой «атмосфере», писал он от лица Сайласа Флетчера, «пропадала всякая «охота» спорить о тонкостях стиля или исследовать границы соприкосновения литературных школ...» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 11. Ч. 2. Л. 77). Однако именно жизнь художника и писательские раздумья составляли для Грина изначальный стимул творческой работы, хотя в окончательный текст эти размышления входили лишь в опосредованном виде. Рукописи последних трех романов свидетельствуют о том, что их «внутренней» темой были поиски сюжета, способного «событиями и интригой охватить все главное души автора...» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 11. Ч. 1. Л. 9).

С наибольшей скрупулезностью такой подход разрабатывался в материалах «Бегущей по волнам» — эпиграфом к ней должен был стать следующий: «Он обдумывал части сюжета, как море обкатывает камни, обтачивает их и делает частью — нашей души». «Привести буквально»,— записал здесь Грин (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 7. Ч. 1. Л. 207 об.). Именно «Бегущая», посвященная в своем подводном течении раскрытию интуитивных поисков такого сюжета, явилась высшим достижением творчества писателя-романтика. Всей структурой своих образов он воплотил мысль о сути жизни (и творчества, искусства) как нескончаемом движении к совершенству, осуществлению «своего Несбывшегося». Стремление проникнуть в эту страну духовных тайн, отвечающую незавершенной, ищущей природе человека, и составляет сущность гриновского романтизма.

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ: Роман. Впервые опубликован в издательстве «Земля и фабрика».— М.; Л., 1928.— 244 с. Отрывок из романа под названием «Покинутый в океане» был напечатан ранее (вместе с произведениями Е. Замятина, Б. Пастернака, Вл. Лидина, В. Вересаева, О. Форш, Ал. Толстого, С. Сергеева-Ценского, И. Уткина, В. Луговского, Д. Бедного, М. Горького, А. Серафимовича,

К. Федина, К. Тренева и др.) в безгонорарном альманахе «Писатели — Крыму» (М., 1928), изданном Комитетом содействия борьбе с последствиями землетрясения в Крыму (1927 г.). Публикуется по тексту первого полного издания. При жизни писателя роман не переиздавался, вероятно, потому, что в критике утвердилось мнение, будто «созданный воображением Грина мир иных людей и иных отношений не нужен советскому читателю» (Блок Г. Рец. на кн.: Грин А. С. Бегущая по волнам // Книга и профсоюзы.— М., 1928. № 10. С. 43).

Левиафан Трансатлантической линии — крупнейшее судно, курсировавшее между Европой и Америкой (в библейской мифологии Левиафан — огромное морское чудовище).

Рибо Теодюль Арман (1839—1916) — французский психолог, родоначальник экспериментальных исследований высших психических процессов во Франции.

Бишер (Бишá) Мари Франсуа Ксавье (1771—1802) — французский врач, один из основоположников патологической анатомии.

Акведук — сооружение в виде моста (или эстакады) для перевода водопроводных труб через глубокие овраги, долины рек и т. п.

Петарда — здесь: бумажный снаряд, заряженный порохом и взрываемый при фейерверках.

Матинэ (фр.) — женская утренняя домашняя одежда в виде широкой и длинной блузы из легкой ткани.

Ватто Жан Антуан (1684—1721) — французский живописец; воссоздавал мир тончайших душевных состояний («Паломничество на остров Киферу»).

Калло Жак (1592/3—1635) — французский график; виртуозно сочетал причудливую фантастику с гротеском (две серии офортов «Бедствия войны»).

Фрагонар Жан Оноре (1732—1806) — французский живописец и график; умело использовал изящество стиля рококо, тонкость световоздушных эффектов («Качели»).

Бердслей Обри (1872—1898) — английский рисовальщик; повлиял на графику стиля модерн своими болезненно хрупкими рисунками, насыщенными игрой силуэтов и линий (илл. к «Саломее» О. Уайльда).

Законченный весной 1926 г., роман долго мытарствовал по журналам и издательствам. Отношение к писателю «толстых журналов» особенно резко проявилось в связи с «Бегущей». А. Грин отдавал ее и в журнал «Красная новь», редактируемый А. К. Воронским и М. К. Куприной-Иорданской. «Долго они держали роман. Им лично он нравился, но они вернули его с кислой миной: «Весьма несвоевременно, не заинтересует читателя». Александр Степанович

понимал, что роман чрезвычайно характерен для него... и хотел большого читателя...» — утверждала Н. Н. Грин (Воспоминания об Александре Грине.— Л., 1972. С. 373—374).

Остается сожалеть, что А. К. Воронский, выступивший в защиту творческой индивидуальности, а также интуиции (с которой связывал специфику художественного творчества), не оценил исканий А. Грина. Оба они энергично, хотя каждый по-своему, противостояли тем, кто подвергал злобному осмеянию понятия «творчество», «интуиция», кто считал их «буржуазными и дворянскими», пытаясь заменить (как «ненаучные») «работой», «ремеслом», «словообработкой», «приемом», «деланием вещей» (см.: Воронский А. К. Об искусстве писателя // Как и над чем работать писателю.— М.; Л., 1927. С. 2—3). Оба — писатель и критик — в глубокой подсознательной сфере пытались найти опору для противостояния утилитаризму пролеткультовских вульгаризаторов (выступавших в свое время в журналах «Леф», «Горн», «На посту» и др.). «Сплошным левым ребячеством» называл Воронский пропаганду ими «коллективного творчества»; он был убежден (как и Грин), что «творчество художника пока остается индивидуальным» (там же, с. 18). «Перекличка» А. Грина с суждениями А. Воронского очевидна: ведущим лейтмотивом произведений писателя было стремление отстоять свой взгляд на мир; и весьма показательно в этом плане само название основной работы Воронского — «Искусство видеть мир» (М.; Л., 1928).

Интерес А. Грина к тайнам интуиции был верно подмечен критикой его времени, хотя и с отрицательным знаком: «...Главное идеологическое искривление философии Грина заключается в том, что он... превращает неясные движения подсознательного в движущий стимул жизни» (см. рец. на кн.: Грин А. С. Бегущая по волнам // Известия.— М., 1928. 2 нояб.— Подписано: Л.). Оценить глубину наблюдений писателя стало возможным лишь в более позднее время. Поэтому его прозрения в области интуитивного творчества прежде всего требуют комментирования. «Бегущая по волнам» — «один из самых автобиографических романов Грина,— полагала Н. Н. Грин.— Это рассказ, в поэтических словах изображающий искания и находки Александра Степановича. Вступление в «Несбывшемся» — не личное ли звучит в нем?..» (Воспоминания об Александре Грине... С. 395).

Роман стал осуществлением «отважного замысла» — показать, «чем покупается создание небольшой книги» (Грин А. С. Сто десять дверей/Публикация Сукиасовой И. М. // Вечерний Тбилиси. 1967. 1 июля). Как происходит процесс оформления «идеи», «главной мысли», начиная с той стадии, когда образ лишь «просыпается к жизни», и до той — когда он уже вызрел, «успокоив воображение, бессвязно и дробно томившееся по нем» (как сказано в романе «Блистающий мир»). В черновиках романа «Бегущая по волнам» —

его названиями были также «Ламмерик», «Бегущая на восток» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 7. Ч. 1. Л. 1) — Грин так писал об этом: «Да, я чувствую уже, что начинаю любить эту книгу, хотя ее возраст равен лишь четырем страницам. Но вижу ее всю. Вместе с тем, я переживаю... блуждания свои среди чердаков огромного здания, называемого неясным замыслом... Разве это не приключения? А битвы с черновиками? А сюжет, истекающий кровью, пока чудодейственный бальзам удачного положения не вернет ему жизненных соков?..» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 6. Ч. 4. Л. 217—218 об.).

Начало «Бегущей» давалось особенно тяжело. Между тем «некоторые из вариантов,— записывала позднее Н. Н. Грин,— были прекрасны, но что-то в них не нравилось Александру Степановичу, другие не отвечали задуманному сюжету. Первое начало было с безрукой статуей Венеры, найденной на побережье, о легендах, тесно сплетавшихся с действительностью. Несбывшееся и Сбывшееся реяло над ним, но не оформлялось в нечто воедино слитое, чем явилась «Бегущая по волнам» впоследствии. Варьировал Александр Степанович бесконечно...» (Воспоминания об Александре Грине... С. 353). Вот, для примера, один из фрагментов: «В середине осени романист Савий Дирам задумал написать книгу о Венере Милосской — не повесть и не поэму, не сказку и не статью, а в совсем особом роде. Как многие писатели, он вначале слышал звук струны, не видя инструмента, а потому, зная про себя, каков должен быть этот «особый род», совершенно не смог бы определить свое знание словом или пером...» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 13. Ч. 2. Л. 72).

В завершенном романе процесс поисков отложился в оригинальную систему образов. Законченным воплощением «замысла» стала статуя «Бегущей по волнам». Однако этой архитектурно-пластической композиции изваянного движения предшествуют в романе различные пробы, испытания будущего образа. Сопоставление творческих заблуждений, псевдообразов «Бегущей по волнам» (корабль с таким названием, Биче Сениэль) с образами, родственными будущему «отчетливому синтезу» (Фрези Грант, Дэзи), демонстрирует, по сути дела, аналитико-синтетический «механизм» художественного мышления. К «отчетливости художественного синтеза» писатель «пробивается» так же, как продвигается к истине ученый: преодолевая предрассудки и ошибки. Так, увлекаемый гипнозом неосознанных интуитивных стремлений, Гарвей неожиданно оказался перед кораблем, на корме которого блистал «полукруг рельефных золотых букв»: «Бегущая по волнам». Поначалу прикрепление замысла, Гарвеева Несбывшегося, «противу рассудка» к кораблю «Бегущая по волнам», а вместе с тем и к такой героине, как Биче Сениэль, вызвало «нашествие мыслей утомительных, как неправильная задача с ускользнувшей ошибкой». Форма, точно соответствовавшая характеру замысла,— статуя «Бегущей» — определилась «под

властью сознательного процесса», и тогда «обманчивое начало мелодии разодралось подобно гнилой пряже, натянутой челноком». Только в тот момент, как герой оказался за кормой корабля с темной репутацией,— т. е. сошел с ложного пути,— в его сознании возник долгожданный чистый тон «любимого мотива», верный облик Несбывшегося. Им оказалась Фрези Грант — неожиданная спасительница Гарвея и образное олицетворение неустанных поисков светлого озарения для всех, кто находится в пути, «на темной дороге» (мотив этот получит новые оттенки в романе «Дорога никуда»). При свидании с Фрези преобладающее впечатление о ней как о «гармонии движений» возникло благодаря такому «особому состоянию» Гарвея, «которое не с чем сравнить, разве лишь с выходом из темных пещер на приветливую траву». Блуждая в «темных пещерах» интуиции, творческие побуждения Гарвея запутались в лабиринте фальшивых ходов, но когда свет сознания осветил цель, в «венке событий» заблестели живые «цветы» замысла. Показательно, что, вопреки «закону» жанра авантюрно-приключенческого романа, Грин в кульминационный момент не только не «интригует» читателя, но намеренно излагает последующий ход событий. Тем самым он как бы подсказывает искать суть изображаемого не столько в канве событий, сколько в том, что спрятано за «явлениями обихода».

Внутренний смысл, скрытый за условно-романтической «фактурой» романа, обнаруживается «из оттенков параллелизма» при сопоставлении двух главных героинь: Биче Сениэль и Дэзи. Соизмеримые внешне (что подчеркивается карнавальным курьезом — обе одеты в совершенно одинаковые платья), они полярны внутренне (это — характерный гриновский мотив: утверждение неистинности оценок «по видимости»; см. также рассказ «Враги»). Героини олицетворяют два разных пути видения мира. В черновиках, напротив, выделяется момент равной притягательности того и другого пути: «...Я, двойной, ищу соединения двух образов, двух однородных, имеющих различное внешнее выражение...»; «...у меня линия смешанная в одном образе той и этой» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 7. Ч. 2. Л. 188, 189 об.).

Возможно, что в основе образов этих героинь были свойства характеров двух главных женщин в жизни Грина: Веры Павловны Калицкой и Нины Николаевны Грин. Последняя считала, что «Биче Сениэль — итог разных встреч и исканий Грина»: «...Тут и юношеская Вера Аверкиева, и Екатерина Бибергаль, и Вера Павловна, и Мария Владиславовна (Долидзе; знакомство 1918 г.— *А. Р.*), и Мария Сергеевна (Алонкина, секретарь Дома искусств.— *А. Р.*), и многие другие...» (Воспоминания об Александре Грине... С. 395).

Итак, в завершенном тексте романа образы героинь являют собой как бы два типа отношения к жизни, два принципиально разных способа видения мира. Один, связанный с Биче,—это созда-

ние «отчетливых представлений о людях и положениях», но вне понимания психологической их сути («Гарвей ей был неясен». В противоположность Биче (ее стихия — внешнее), Дэзи не только способна понимать, но и видеть «внутреннее», сокровенное, самые «корни» душевных движений. В силу названных свойств, именно Дэзи оказывается внутренне связана с Фрези Грант и ее мраморным изваянием — статуей «Бегущей по волнам». О Дэзи, например, сказано: «реальна, как рукопожатие, сопровождаемое улыбкой и приветом». И почти то же говорится о статуе «Бегущей»: «она явилась, как рука, греющая и веселящая сердце»; все детали скульптуры были призваны передать переливы чувств, «жесты душевной игры», «силу внутреннего порыва, которым хотят определить самый бег» (в одном из черновиков роман назван «Мраморная волна».— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 106).

В романе о «Бегущей» А. Грин, как и его герой Гарвей, «уяснял сущность и тип своего Несбывшегося», т. е. своей главной темы, своего понимания внутренней сути искусства. Статуя «Бегущей» стала олицетворением ведущего творческого принципа искусства: им является, по мнению писателя, воспроизведение движения жизни. Соответственно Дэзи стала воплощением главных свойств романтической музы А. Грина. И неслучайно, что эпиграф к роману начинается со слов: «Эта Дезирада...», взятых из книги любимого Грином Луи Шадурна (1890—1924) «Где рождаются циклоны...» (перев. с фр.— Л., 1924. С. 22). Стоит процитировать книгу французского писателя чуть раньше этих слов: «Когда-то мореплаватели окрестили этим красивым именем («Дезирада».— *А. Р.*) так долго жданный остров. А мы теперь мечтаем о желании, которому нет конца, о корабле, не находящем пристанища, о путешествии без срока». В этом месте книги Л. Шадурна есть и такие, как бы перекликающиеся с духом гриновского романа, строки: «...Переход по морю подобен волшебнику. Рождаются миражи. Их мнимые образы озарены светом вечности. Зачем оканчивается переход? Разве нельзя всю жизнь плыть в этой безбрежной лазури? Но всему бывает конец...»

ДЖЕССИ И МОРГИАНА: Роман. Впервые опубликован в издательстве «Прибой».— Л., 1929.—272 с. Печатается по этому изданию с незначительными поправками, возникшими при сверке с автографом (ЦГАЛИ). Согласно авторской датировке роман был закончен в Феодосии 20 апреля 1928 г. А. С. Грин посылал главы в журнал «Новый мир», но редакция отклонила их. Писатель предлагал роман в разные издательства, но неизменно получал отказ. Как и другие произведения Грина этого периода, роман попал в «перечень книг, не рекомендованных для массовых библиотек». Такие списки публиковал тогда журнал «Красный библиотекарь»; здесь в № 1 (4) за 1929 г.

роман был охарактеризован как «нагромождение невероятнейших преступлений, не представляющий «никакой ценности с точки зрения политпросветской библиотеки». Будучи отвергнут официальной критикой, роман оказался незаслуженно и надолго забыт. И только в 1966 г. он снова вышел к читателю — напечатан в составе двух книг А. С. Грина: Джесси и Моргиана: Повесть, новеллы, роман.— Л.: Лениздат, 1966.—507 с.; Фанданго: Роман. Повести и рассказы. Автобиографические очерки.—Симферополь: Изд-во «Крым», 1966.—543 с. Публиковался в «правдинском» СС.— М., 1980.

Леди Годива (1040—1080) — супруга лорда Лиофрика; согласно легенде, просила мужа смягчить участь бедняков. Лорд обещал выполнить ее просьбу, если она проедет в полдень по городу обнаженной. Леди Годива выполнила это требование. И народ превознес ее.

Лакрица — сладковатый корень (бобового растения); употребляется в медицине.

Строфант — тропический кустарник, семена которого идут на приготовление лекарства от сердечной недостаточности.

Катценяммер (нем.) — кошачий концерт.

Рени Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец; в портретах, особенно женских, стремился воссоздать благородно-идеальный характер (например — портрет Беатриче Ченчи).

Поликрат (ум. ок. 523—522 г. до н. э.) — в Древней Греции могущественный правитель о-ва Самос; был предательски убит из зависти по приказу одного и древнеперсидских царей.

«Взыскующие града» (книж. устар.) — ищущие, стремящиеся к какому-либо идеалу (из церковно-книжного выражения «грядущего града взыскуем» — ищем будущих, идеальных форм жизни).

Винт, баккара — карточные игры.

Сорти-де-баль (фр.) — бальное платье.

Эгрет (фр.) — перо или пучок перьев, вертикально поставленных спереди в женской прическе либо головном уборе.

Гамон (Амон) Жан Луи (1821—1874) — французский художник, изображал в сюжетах на античные темы грациозные, воздушные женские и детские фигуры.

Куанье Жюль Луи Филипп (1798—1860) — французский пейзажист.

Гог и Магог (миф.) — два диких народа, нашествие которых должно предшествовать Страшному суду.

Агава — многолетние тропические растения, цветущие раз в жизни, образуя огромные цветоносы со многими цветами (до 17 тыс.).

Знаменитое лекарство графини Цинхоны.— Имеется в виду хина (цинхона—хинное дерево).

Гризли — подвид бурого медведя.

О начале работы писателя над романом Нина Николаевна Грин вспоминала: «...закончив «Бегущую», он сказал: «...Неужели это конец и мои способности иссякли на этом романе! Писал его и казался себе богачом, так многоцветен и полон был дух мой. А теперь, ну ничегошеньки! Страшно... Это внутреннее молчание пугает меня, я еще хочу говорить свое». Месяцев через десять после окончания «Бегущей по волнам» Александр Степанович начал писать роман «Джесси и Моргиана». «Этот роман только для тебя,— взамен посвящения, снятого с «Бегущей по волнам»,—сказал он...» (Воспоминания об Александре Грине... С. 371). В ряду первых названий было «Обвеваемый холм»; в черновиках появляются и другие: «Джесси Клермон», «Невидимая сторона», «Зеркало и алмаз». Но везде присутствует мысль о делении мира на видимую и невидимую, светлую и темную (дурную) стороны (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 21. Ч. 2. Л. 79). Один из подходов к раскрытию «двойственности» находим в таком фрагменте: «...Сюжет. Наивный и зверский. История женщины или мужчины, не знавших зеркала. Ни отражения в воде. Вот он-она посмотрели — и увидели мир, приказывающий жить иначе. Потому что представление о себе сломалось. Что же произошло? — Радость, так как лицо, увиденное в зеркале, возвысило человека» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 6. Ч. 1. Л. 76 об.). У Грина, как и у символистов, «зеркало» являлось устойчивым знаком, фокусирующим внимание на моменте перехода от реальности к ее художественному отражению (преображению, претворению), от видимого к сущностному. Он писал об этом: «...Зеркало не отражает, а открывает... В том мире все ярко, тесно, все вместе, подчеркнуто, несколько перемещено и озарено...» (Ф. 127. Ед. хр. 24. Ч. 1. Л. 50—51). В другом месте писатель разъяснял: «...пристально размышляя о происшествиях и случаях, происходивших среди людей, зверей и вещей, я заметил в них двойственность. Явное значение было одно, а скрытое — совершенно другое. Это скрытое символическое значение существовало для меня» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 6. Ч. 4. Л. 218 об.). Так, вместе с работой писателя над сюжетом (видимой стороной), шли поиски способов обнаружения «невидимой стороны» явлений — их внутренней сути, таящейся за видимостью.

Мотив зеркала присутствует в окончательном тексте романа, хотя и не имеет стольких обертонов, как в черновиках. Зеркала, встречающиеся в завершенном тексте, «открывают» и усиливают противопоставление Прекрасного и Безобразного (в таком аспекте предтечей «Джесси и Моргианы», видимо, является рассказ Грина «Искатель приключений», но там вместо зеркал выступают картины). Вот начало романа: положительная героиня Джесси «поставила против туалетного зеркала второе, зажгла две свечи и воззрилась в сверкающий туннель отражения». Таким образом, многократно повторяются и «лучшие чувства всякого смотрящего на нее

человека» (как сказано о ней в романе). И далее, в ответственные моменты внутренней борьбы с ядом (со злом), героиня вновь обращается к зеркалу. Однажды она даже встречается со своим повторением в образе Джесси Кронвейн; т. е. героиня как будто раздваивается на «больную» и «здоровую», и это — обнадеживающий внешний знак будущего выздоровления: победы добра над злом. После выздоровления опять застаем Джесси Тренган перед зеркалом: «Охватив ладонями лицо, она смотрела на себя так, как читают книгу...» Ассоциация «зеркало — книга» напоминает о том, что писатель неизменно тяготел к раскрытию сложностей художественного отражения.

Отрицательная героиня романа — Моргиана, воплощающая ненависть как «высшую степень бесчеловечности»,— тоже зафиксирована в различных отражениях. Вот она смотрит на себя, накинув роскошные одеяния умершей Хариты Мальком,—здесь зеркало объединяет два лика «хищной жизни» (говоря словами Грина). «У каждой Хариты сто лиц, и я — только одно из них»,—говорит о себе Моргиана. Любопытно отметить, что если Джесси Тренган имеет в романе живое и не менее прекрасное свое повторение в образе Джесси Кронвейн, то Моргиана (само имя ее «говорящее»: от фр. morgue — «помещение для трупов») является своеобразным «двойником» уже умершей Хариты. Не случайно Джесси видела однажды ее живую в фойе гостиницы с весьма значащим названием «Калипсо» — имя это (в переводе с греч.—«та, что скрывает») указывало на связь с миром смерти (в древнегреческой мифологии).

В романе есть и еще одно отражение-открытие, обнажающее мысль об обреченности зла. После зверской расправы над Отилией Гервас Моргиана смотрится, как в зеркало, в водную гладь озера (заключенного «в раму из дремучих кустов...») и видит там «дикие глаза уродливой женщины. Но едва она встала, как исчезло и ее отражение; на его месте возникла в воде ничем не омраченная, опрокинутая листва старого клена». Таким образом, если отражение несущей «свет и тепло» Джесси фиксируется в зеркалах и даже оживает в образе другой Джесси, то отражения Моргианы возникают вскользь и исчезают; зеркала сопротивляются удвоению смертоносного лика. Природное зеркало-озеро тоже не пропускает в себя отражение Моргианы, остается «неомраченным» ее видением и оставляет без «ответа и внимания» мольбу изменить ее уродство. «Грин мыслил образами, синтезирующими в себе символы разъединения и соединения объективно существующего мира, воплощая в них свой этико-эстетический идеал»,— к такому выводу приходят современные исследователи его творчества (Дунаевская И. К. Этико-эстетическая концепция человека и природы в творчестве А. Грина.— Рига, 1988. С. 126).

Напомним, что символисты именно через мотив «зеркала» пытались передать трудно уловимую суть взаимодействия мира види-

мого (бытового) и духовно-сущностного (ноуменального). У мэтра символистов В. Брюсова есть рассказ «В зеркале» (1903), где героиня (подобно Джесси у Грина), установив зеркала, целые дни проводила «среди перекрещивающихся миров». У А. Белого тоже возникает мотив «зеркала»: во второй «Симфонии» — это своего рода знак, намекающий на существование другого мира (причем в жизни герой — одно, а в зеркале — другое); в повести «Возврат» (третья «Симфония») это символ многократного повторения неизменяемого, по сути, лика реального мира — не способного к соединению с миром ноуменальным, таинственным, неуловимым. Во всех случаях так или иначе речь шла (как у Грина) об отражении двухбытийности, двойственности явлений бытия и жизни героев.

А. С. Грин, быть может, единственный писатель, кто в конце 20-х годов всерьез стремился использовать поэтику символизма (выросшего на основе романтизма). Особенно это касалось поисков своего ракурса отражения жизни. В романе «Джесси и Моргиана» в этом отношении показателен эпизод, где писатель разъясняет, как надо было нарисовать «случай с Годивой»: не ее мучения от холода и стыда, а «внутренность дома с закрытыми ставнями, где в трепете и негодовании... столпились жильцы; они молчат насупясь; один из них говорит рукой: «Ни слова об этом. Тс-с!» Но в щель ставни проник бледный луч света. Это и есть Годива». Таким методом пользовался и сам А. Грин. По воспоминаниям писателя Л. И. Борисова, летом 1928 г., когда Грин приехал в Ленинград пристраивать свой роман, он сказал ему: «Следует показывать жизнь такой, какая она есть в твоем умении ее показывать». И затем добавил: «Вот выйдет, Бог даст, моя новая книга, и в этой книге я рекомендую вам прочесть особенно внимательно... то место, где у меня написано о леди Годиве» (Воспоминания об Александре Грине... С. 277).

Проникнуть в замыслы писателя — это и значит по «лучу света», каким является самый «дух» его произведений, определить, что скрывается за «ставнями» сюжета. В черновиках мотив «луча» варьируется почти так же часто, как мотив «зеркала». Например, читаем: «...Освобожденный луч открывает в мире — мир и гаснет, развеясь...» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 24. Ч. 1. Л. 48 об.). Наброски произведений помогают заглянуть в творческую лабораторию писателя, искавшего (как символисты) путей соединения сущности и видимости. В этом отношении характерен фрагмент архива под названием «Джесси Клермон». Герой — писатель Фергюс Тренган — в луче ставни «увидел болезнь, может быть — смерть» (там же, л. 17). Грин показывает здесь, как могла бы возникнуть картина, сюжетно выражающая представление о страдании, болезни или смерти. Благодаря особому «лучу» на его ладони появилось странное видение: «...Изображение светилось отчетливым опрокинутым рисунком. Оно представляло собой часть комнаты... В постели лежала женщина.

Другая женщина стояла возле лежащей...» И если в чертах стоящей было «зажато и скрыто мрачное хотение», то на лицо лежащей «можно было, внутренне улыбаясь, смотреть без утомления, сколько угодно...» (там же, л. 12 об., 14, 14 об.). Характерно, что это «изображение», отвечавшее представлению о болезни, исчезло совсем, когда Тренган «открыл ставни», и на стене его комнаты появилось зеркальное отражение обыденных реалий другой стороны улицы: «опрокинутая вывеска,—холст с синими буквами» (там же, л. 14 об.). «Загадочное отражение обращало ко мне тайный смысл свой»,—обобщает герой свои ощущения, т. е. как бы «внутренний толчок», явившийся тогда «только деятельным предчувствием» (там же, л. 18).

Нарочитая произвольность соединения в одной сцене обыденного отражения («опрокинутая вывеска») и «изображения», возникшего благодаря свойствам особого «луча»,—это и есть метод Грина: видеть «все, что он хочет... там, где хочет» (говоря словами Дэзи). При таком способе видения «психология героев становится ясной из событий, происходящих вне, а не внутри сознания действующих лиц»,—как писал о психологизме Грина Ц. Вольпе (в предисловии к книге «Рассказов» писателя, вышедшей в 1935 г.). Критик удачно назвал такой метод «кинефикацией»: перевод вовне перипетий собственно духовной жизни героев. С этой точки зрения представляет интерес и спор в романе о свойствах улыбки леонардовской Джиоконды. «Эта женщина,—говорит, например, Джесси,—напоминает дурную мысль, преступную, может быть спрятанную, как анонимное письмо, в букет из мака и белены. Посмотрите на ее сладкий, кошачий рот!» И Детрей тоже не жалует знаменитую итальянку: «Мне кажется, что она может предать и отравить». Конечно же, в таких суждениях сказывается «присутствие» в романе ядовитых «лучей», исходящих от Моргианы, отравляющих, искажающих восприятие. В том, как Джесси и Детрей видят Джиоконду, просвечивает в первую очередь их внутреннее состояние, в котором доминируют предощущения, догадки, психологические прозрения.

Несмотря на «хороший конец», роман, в котором героиня на протяжении почти всего повествования борется со смертью, как бы концентрирует в себе дух угасания (чем подготавливается «плохой конец» в романе «Дорога никуда»). Это ощущение особенно сильно чувствуется в черновиках.

ДОРОГА НИКУДА: Роман. Впервые опубликован в издательстве «Федерация».—М., 1930.—391 с. Печатается по этому изданию. Критики встретили роман с недоумением или вовсе враждебно. В статье под названием «Никудышная дорога» некий рецензент (скрывшийся под литерами «Ал. М.») писал: «...«Федерация» выпус-

тила новый роман наиболее талантливого из «иностранцев», известного, даже маститого А. С. Грина... Происходят грандиозные социальные и экономические сдвиги в СССР... а Грин рассказывает об обычных приключениях авантюрных романов, протекающих... в социальном отношении — в безвоздушном пространстве... Но при чем тут все-таки Федерация объединения советских писателей?!» (Сибирские огни.— Новосибирск, 1930. № 7. С. 123—124). И все же роман вновь вышел отдельным изданием в 1935 г.— М.: Сов. писатель.— 451 с. В последующем он разделил участь многих произведений А. Грина, не публиковавшихся более 20 лет. Только с 1957 г. роман регулярно стал издаваться.

Мейссонье (Месонье) Жан Луи Эрнест (1815—1891) — французский художник; его жанрово-исторические картины отличались занимательностью сюжета.

Хаггард Генри Райдер (1856—1925) — английский писатель, мастер интриги, изображал мир экзотики, далекое прошлое, чем близок неоромантикам («Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы»); в поздних произведениях содержатся элементы мистики, культ сильной личности («Дитя бури», «Священный цветок»).

Ричард Львиное Сердце — прозвище английского короля Ричарда I (1157—1199); вел беспрерывные войны.

Апсидная крыша — полукупольный свод над апсидой (или абсидой) — выступом здания полукруглой формы.

Казуар — крупная (1,8 м) бегающая птица с неразвитыми крыльями; на голове — роговой шлем, на шее и голове — голые участки ярко окрашенной и утолщенной кожи. Здесь: нелепая высокая фигура, быть может, напоминающая разряженного рыцаря.

Немврод, или Нимрод (др.-евр.) — по библейской легенде, основатель Вавилонского царства (нач. 2-го тыс.— 559 г. до н. э.). В Библии характеризуется как отважный охотник.

Кабестан — лебедка с вертикальным валом.

Траверс — направление, перпендикулярное курсу судна.

Шканцы — часть верхней палубы судна, место для парадных построений команды.

Коломянковый — из коломянки (прочная льняная ткань для одежды).

Инфернальная женщина — роковая, приносящая страдания.

«В тяжелые дни нашей жизни росла «Дорога никуда». Грустно звенели голоса ее в уснувшей, измученной душе Александра Степановича. О людях, стоящих на теневой стороне жизни, о нежных чувствах человеческой души, не нашедших дороги в жестком и жестоком практическом мире, писал Грин»,— размышляла впоследствии Нина Николаевна (Воспоминания об Александре Грине... С. 371).

Однако отношение к роману вплоть до конца 50-х годов было предопределено теми негативными оценками, которые он получил сразу по выходе (см.: Шишов В. Рец. на кн.: Грин А. С. Дорога никуда // Книга и революция.— М., 1930. № 2. С. 41). Критики увидели в нем лишь «безысходный пессимизм и мистический туман», определив господствующее настроение как «покорность судьбе, сознание собственного бессилия» (Иполит И. Рец. на кн.: Грин А. С. Дорога никуда // Красная новь.— М.; Л., 1930. № 6. С. 202).

Понимание произведений писателя углублялось с годами. Для сегодняшнего читателя самое ценное в «Дороге никуда» — именно эта «трагическая нота». Грин «предоставляет человеку свободу выбора, зачастую оказывающуюся гибельной»; таков подлинный смысл повествования о герое «с внушительно и мрачно развивающейся судьбой»,—как сказано о нем в самом романе (см.: Ковский В. Е. Реалисты и романтики...— М., 1990. С. 261).

Юноша Тиррей Давенант, которого с такой любовью вывел в этом романе Грин, во второй части становится содержателем гостиницы под именем Джемс Гравелот. Обратим внимание на 18-й полутом энциклопедии Брокгауза и Ефрона — на его корешке золотом оттиснуто: «Гравилат до Давенант». Все 86 книг принадлежавшей А. С. Грину энциклопедии хранятся в его феодосийском музее. По мнению Н. Ф. Тарасенко, названный полутом мог быть особенно интересен писателю тем, что в нем содержались сведения о шести его предшественниках — однофамильцах Грина по псевдониму (см.: Тарасенко Н. Ф. Дом Грина.—Симферополь, 1979. С. 35).

В 1926 г. в Москве на выставке английской гравюры в Музее изящных искусств была работа Джона Гринвуда (1885—1954) «Дорога никуда». Эта «суровая гравюра», по определению Н. Н. Грин, изображала «отрезок дороги, поднимающийся на невысокий пустынный холм и исчезающий за ним». Название понравилось Александру Степановичу настолько, что он решил воспользоваться им и переименовать роман «На теневой стороне», над которым тогда работал. «Это заглавие отчетливо отвечает сущности сюжета, темы,—говорил он Нине Николаевне.— И, заметь, художник Гринвуд. И моему имени это созвучно. Очень, очень хорошо!» (Воспоминания об Александре Грине... С. 400). Однако новое заглавие «Дорога никуда» некоторое время еще «соперничало» с прежними: «Фергюс Фергюсон», «Гостиница трех стрелков», «Гостиница Эльмерстина», «Смельчаки грез», «Человек с зеркалами», «Невидимое», «Невидимая сторона», «На теневой стороне» и др. Это были различные наброски, которые уже несли в себе элементы основного мотива, так удачно названного: «...Слова «Дорога никуда» много говорили моему сердцу... В чем отличие такой дороги от прочих «дорог куда-то», я мог узнать лишь в мечте или путешествии»,—читаем в одном из черновиков (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 21. Ч. 2. Л. 76). Далее писатель

замышлял развить мотив дороги через некую «легенду»: «...кто по ней пойдет, тот увидит нечто, к чему будет стремиться и тосковать, среди страданий и испытаний...» (там же, л. 83).

В окончательном тексте картина «Дорога никуда» связывается с другой легендой — о таинственной, неразгаданной гибели некого Сайласа Гента, человека, зрачки которого были «лишены отражения»: «не было в них той трепетной желтой точки, какая является, если против лица сияет огонь» — как сказано в романе. Что же объединяет, с одной стороны, картину «Дорога никуда», а с другой — гибель Сайласа Гента, лишенного способности отражать видимый мир? Попробуем прокомментировать ход мысли Грина по его рукописям — они позволяют глубже проникнуть в замысел писателя.

С самого начала при знакомстве с черновиками бросается в глаза, что мотивы «дороги» (пути, тропы) и «отражения» («зеркала», которое делит путь на «светлую» и «теневую сторону») неизменно тяготеют друг к другу, как-то взаимодействуют. Вот один из примеров: «...Часть тропы, на которой вы находитесь,—полностью отражена зеркалом, с той лишь разницей, что на нашей стороне — солнечный блеск, а там... там всегда... тень» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 46 об.). Основная мысль в черновиках — «войти в зеркало», ибо оно «есть вход в странные и загадочные места: целое путешествие» (Ф. 13. Оп. 1. Ед. хр. 19. Ч. 1. Л. 26, 45 об.). А в другом месте Грин разъясняет: «...Вошедший в изображение не знает, что за границей его — всегда неизвестное. Новое зеркало дает снимок ставшего известным, за ним — опять неизвестное и т. д.» (там же, л. 26).

Стремление к неизвестному (или «охота за странностями сознания») — так в рукописях характеризуются и особенности мотива «дороги никуда». Среди набросков наиболее интересен вариант, где мотив этот получает не скрытое, а явное сюжетное закрепление. Здесь Тиррей Давенант — автор «странных статей о гаванях и о садах...» — отправляется на поиски такой дороги. Ее началом оказалось «подобие ворот» — две чугунные колонны, словно бы оставшиеся «от храма Бога фантазии». Левый столб имел надпись «Путь никуда». «Надпись вызывала восхищение, как поразительно красивая смелость или произведение искусства... Понял ли хоть один человек эту надпись? Пустился ли в неожиданном, условном направлении хотя один охотник за странностями сознания?.. Тут было много работы воображению...» (там же, л. 58 об., 59—59 об.). И Давенант прошел между таинственными столбами «с сознанием глубокого одиночества в этой поэтической интриге с самим собой...». С «чувством странной дороги» и «без всяких сомнений» решил он, что «будет идти так и туда, как и куда указывают естественные возможности этой местности» (там же, л. 63 об.). Далее Грин описывал путешествие героя, увлекаемого тайными стимулами, по лесу и озеру, а затем — встречу с группой людей

у водопада. Здесь завязывается беседа. Один из участников спора полагает, что в понятии «дорога никуда» все же «есть твердая, земная черта... Цель присутствует, хотя бы мы не сознавали этого в том общем нашей души, которое не подвластно настроению момента...». В разговор вступает Тиррей: «Я могу слушать о дороге, но не решусь ничего сказать сам. Мыслим ли анализ мотива?..» И далее: «На этой дороге иные облака и ручьи, но даже цыгане не поймут особого чувства, навеваемого неизвестностью поворота...» (там же, л. 94 об., 95—95 об.). Другие детали текста усиливают эти акценты. Давенант выбирает дорогу по направлению «впадины между холмов, полной тени». И эта дорога намекает на путешествие «на теневой стороне» — как намеревался Грин ранее назвать свой роман.

Слова писателя: «До конца дней своих я хотел бы бродить по светлым странам моего воображения» — Н. Вержбицкая взяла эпиграфом к своим заметкам, озаглавленным «Светлая душа» (Воспоминания об Александре Грине... С. 608). «Светлые страны» — это целая система образов, в которой получила отражение гриновская концепция духовного освоения мира. В такой «стране» родились и образ «Прекрасной Неизвестности» («Алые паруса»), и образ «Несбывшегося» («Бегущая по волнам»), ставшие олицетворением творческих обретений. Но «на теневой стороне» неведомая дорога ведет в тупики творчества, означает «остановку в пути» (как сказано в романе). Может быть, поэтому в набросках «Дороги никуда» так настойчиво варьируется герой-писатель, то потерявший сюжет, то испытывающий «неудачи в литературе», в результате которых «все смолкло» в нем — его мысль как бы парализовалась от «вдруг нисходящего в самую глубину сердца спокойного холода»? «Так окончательно определилась пустота, и я не видел, на что опереться», — признается Сайлас Флетчер, горько сетуя: «...если б у меня были друзья, стало бы мне тогда ясно, что я ошибаюсь, давая черным моим дням чрезмерно общее объяснение...» (Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 11. Л. 100 об.— 101, 103 об.).

В завершенном тексте романа от всего этого чернового, но явно автобиографического материала остается, в частности, судьба каменотеса Сайласа Гента, зрачки которого перестали «отражать пламя свечи», т. е. свет жизни; именно это, видимо, как-то предопределило необъяснимую его гибель на «глухой дороге», где после него стал пропадать без вести всякий, кто по ней ступал. Характерно, что перед смертью каменщик аккуратно разложил все инструменты своего ремесла. Но и Тиррей Давенант возвращает перед смертью «хрустального оленя» — символ своих неосуществленных мечтаний. Если в «Бегущей» синонимом «Несбывшегося» был «таинственный и чудесный олень вечной охоты» («сверкающий» над гаванью — «в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мыслей»), то

в «Дороге никуда» таким символом смысла жизни (и творчества) становится «маленький серебряный олень на подставке из дымчатого хрусталя» («...олень стоял, должно быть, в глухом лесу...»). Даже на первый взгляд очевидны предельная одухотворенность, динамичность одного символа и материальная статичность другого. Будучи спроецированы на содержание романов, эти символы закрепляют в восприятии читателей оптимистическую, мажорную тональность первого произведения и трагическую, минорную — второго.

Если «Бегущая» раскрывала путь к творческому взлету, то «Дорога никуда» отразила грустные размышления писателя над творческими неудачами. В этом романе А. Грин как бы возвращал свой инструментарий — ту «фактуру» авантюрно-приключенческого повествования, с которой он «работал», облекая в нее и скрывая за ней свои духовно-эстетические искания. В частности, образ оленя был в сознании А. Грина, по-видимому, рыцарским атрибутом. Н. Н. Грин вспоминала, что писателю особенно нравилась одна гравюра немецкого художника А. Дюрера (1471—1528), представлявшая собою портрет рыцаря со знаменем, на котором была изображена голова оленя с крестом меж рогов (см.: Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 187. Л. 6).

Смертью Давенанта А. Грин как бы прощался с наивными, призрачными атрибутами приключенческо-романтической литературы. Корабль контрабандистов, на который Давенант попадает, спасаясь от преследования врагов, не может его выручить (напомним, что и в «Бегущей» присутствие Гарвея на корабле с контрабандой тоже было ложным этапом его пути). Из этой стихии «организованного риска» один выход — «в самое сердце остановки движения жизни» — в тюрьму, «мертвую точку оси бешено вращающегося колеса бытия». Ловко организованные друзьями-контрабандистами подкоп и побег — бесполезны: Давенант уже в предсмертной агонии. В самом названии романа писатель обозначил ограниченность литературы «живописного действия, интриги и волнующего секрета». Ее герои, читаем в романе, «желают всего... поспешно и ярко, как драгоценных игрушек, забывая, что действительность большей частью завязывает и развязывает узлы в длительном темпе, более работая карандашом и пером, чем яркими красками».

В «Дороге никуда» был завершен «подкоп» под авантюрно-приключенческую стилистику, начатый А. Грином в рассказе «Корабли в Лиссе» (1922) и продолженный в «Бегущей по волнам» (сложное продвижение Гарвея к своему «Несбывшемуся» было одновременно и преодолением авантюрно-приключенческого «материала»). «Фактура» приключенчества в структуре мышления Грина, видимо, на данном этапе уже не удовлетворяла его зреющим замыслам. И это раскрывают черновики, в которых с очевидностью проявляется интерес писателя к явлениям более глубокого свойства. Об этом

свидетельствуют и материалы незаконченного романа «Недотрога», который, как считал сам писатель, мог бы стать лучше «Бегущей» (см.: Воспоминания об Александре Грине... С. 557). Его основная тема, по признанию писателя, вытекала из «Дороги никуда» (там же, с. 371—372). В новом романе «должно быть много горечи от столкновений «недотрог» с действительностью, но никакой плаксивости, уныния, так как эти люди с обостренной душевной чувствительностью и любовью ко всему истинно красивому, чистому и справедливому настолько привыкают таить в себе все чувства, что они редко заметны окружающим. И лишь гибель их может иногда косвенно указать на пережитые ими страдания...» (там же, с. 385). Но и сам А. Грин был из таких «недотрог». Можно себе представить, как глубоко ранили его постоянные наскоки критиков. О нем писали тогда: «Утопия Грина... мечтает отменить самую классовую борьбу»; «Этот счастливый мир, где нет ни пролетариев, ни капиталистов... не нуждается в революциях...»; в его выдуманном мире «противоречия не сняты, а только трансформированы; исчезнув как общественная, борьба возобновляется как психологическая: в конфликт вступают хорошие и дурные начала...» (Иполит И. Рец. на кн.: Грин А. С. Дорога никуда // Красная новь.— М.; Л., 1930. № 6. С. 201—202). Подобные «обвинения» сегодня звучат как одобрение, как признание глубокого психологического, общечеловеческого содержания книг писателя.

А. А. Ревякина

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ КАНВА ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. С. ГРИНА

В работе над представленной хроникой были использованы архивы Вятской губернии, хранящиеся в Государственном архиве Кировской области (ГАКО), материалы рукописного отдела ИРЛИ и Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также личный архив авторов хроники.

Основным источником сведений об А. Грине является фонд писателя, находящийся в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ). Здесь хранятся помимо черновиков и документов воспоминания Нины Николаевны Грин, а также дневниковые записи, которые она вела в 1931—1932 гг.— вплоть до дня смерти писателя.

1880

11 (23) августа в г. Слободском Вятской губернии у Анны Степановны и Степана Евсеевича (Стефана Евзибиевича) Гриневских родился сын Александр. Анна Степановна Ляпикова — дочь коллежского секретаря г. Вятки. Стефан Евзибиевич Гриневский — сын шляхтича из Вильно; по делу польского восстания был арестован, просидел два года в тюрьме, затем два года пробыл в ссылке в Тобольской губернии. (Грин А. С. Краткая биография... // Рукописный отдел ИРЛИ РАН.— Ф. 377. 1-е собр. № 1007).

1882

В феврале семья Гриневских возвращается в Вятку, где проживала до 1880 г. Степан Евсеевич работает счетоводом в Вятской земской больнице.

С помощью отца Саша Гриневский учится читать. Первая прочитанная книга — «Путешествие Гулливера» Дж. Свифта.

Чтение становится одним из главных занятий мальчика. В «Автобиографической повести» А. С. Грин пишет: «...Я читал бессистемно, безудержно, запоем... Поиски интересного чтения были для меня своего рода путешествием» («Правдинское» СС.— М., 1965. Т. 6. С. 228).

1889

16 августа Гриневский зачислен в подготовительный класс Вятского Александровского реального училища. «...Довольно большая библиотека училища была причиной моих плохих успехов»,— вспоминал Грин (там же, с. 229).

Родителей предупреждали (записано на педсовете), что, «...если они не обратят внимание на дурное поведение своего сына... то он будет уволен из училища» (ГАКО.— Ф. 204. Оп. 1. Ед. хр. 225).

1891

15 октября исключен из первого класса за сатирические стихи, высмеивающие учителей (написаны в подражание «Собранию насекомых» А. С. Пушкина).

20 октября принят в Вятское городское четырехклассное училище. Первые заработки — обучение переплетному делу, переписка ролей для театра.

1892

Становится читателем Вятской городской публичной библиотеки.

1893

Весной от туберкулеза умирает мать. К этому времени в семье четверо детей: Александр, Антонина, Екатерина и годовалый Борис.

1895

В мае Степан Евсеевич женится на вдове местного почтового чиновника Борецкого, Лидии Авенировне (см.: Петряев Е. Д. На пороге столетия // Вятка: Альманах.— Киров, 1979. С. 47).

1896

Александр заканчивает городское училище. 23 июня уезжает в Одессу, надеясь поступить в Мореходные классы. «...Двадцать третьего отходил пароход в Казань, 12 часов дня. Перед отправлением на пристань собрались меня провожать сестры, мачеха, ма-

ленький брат и Павел (сын мачехи.— *А. В., Ю. П.*). ...Присели в молчании. Потом отец встал, сказав:

— Ну, вот и вылетела птичка из гнезда.

Я видел, что он скрывает слезы» («Правдинское» СС.— М., 1965. Т. 6. С. 249).

Оказалось, что прием в Мореходные классы закончен. В августе Гриневский принят учеником на пароход «Платон». Через два месяца за неуплату денег на содержание высажен в Одессе. Нанимается матросом на судно «Св. Николай», идущее в Херсон. Не получив расчета, «зайцем» возвращается в Одессу.

1897

Весной нанят матросом на пароход «Цесаревич», отправлявший ся в Александрию. Это — единственное за всю жизнь пребывание за границей. На обратном пути уволен за конфликт с капитаном.

В июле возвращается в Вятку. Отец устраивает его писцом в земской больнице.

1898

Уезжает в Баку. Бродяжничает. Работает в рыболовецкой артели.

1899

Вновь возвращается в Вятку. Работает банщиком на станции Мураши Пермско-Котласской железной дороги. Осенью — то переписывает роли в театре, то пишет исковые прошения.

1900

В феврале уходит пешком на Урал. В г. Глазове встречается с бывшим своим учителем Д. К. Петровым. «...Мы много и горячо говорили о жизни, о литературе. Я прочел Петрову свои стихи, после чего он сказал: «Да, что-то есть». Затем спросил, нравятся ли мне рассказы Горького. Мне они нравились, и я воодушевленно отстаивал любимого тогда автора» («Правдинское» СС.— М., 1965. Т. 6. С. 234).

Работает на Урале: «...на Пашийских приисках, на домнах, в железных рудниках с. Кушва (гора Благодать), на торфяниках, на сплаве и скидке дров, дровосеком» (Рукописный отдел ИРЛИ РАН.— Ф. 377. 1-е собр. № 1007).

1901

Осенью возвращается в Вятку. Призван в армию. Служит в Пензе, в 213 Оровайском батальоне.

1902

8 июля совершает побег. Пойман в Камышине. Знакомство с членом партии эсеров А. И. Студенцовым, который 27 ноября помогает Гриневскому бежать. Эсеры снабжают беглеца одеждой, подложным паспортом и билетом до Симбирска. Работает на Симбирском лесопильном заводе (см.: Грин Н. Н. Поэт крылатой мечты // Молодой ленинец.—Томск, 1961. 16 апр. С. 3—4).

1903

Весной как член партии эсеров отправлен в Саратов. Считается талантливым агитатором, направляется в другие города. В Тамбове знакомится с эсером-подпольщиком Н. Быховским («Валерьяном»). Вместе едут в Екатеринослав и Киев. Направлен в Севастополь для агитационной работы на флоте и в армии. Знакомится с эсеркой Екатериной Бибергаль, дочерью народовольца А. И. Бибергаля. 11 ноября арестован и заключен в Севастопольскую тюрьму. Из материалов следствия: «...Александр Гриневский обвиняется в том, что в 1903 г. в г. Севастополе занимался пропагандой революционных идей среди нижних чинов Черноморского флота, с какою целью устраивал сходки матросов, на которых говорил речи противоправительственного содержания и распространял среди матросов издания революционного характера...» (Центральный государственный военно-морской архив.—Ф. 1025. Оп. 2. Д. 21). Заключен в одиночку. Е. Бибергаль пытается организовать ему побег, но попытка не удается.

1904

Тюремное заключение оказалось тяжелым испытанием: «...Тоска о свободе достигала иногда силы душевного расстройства. Я писал прошение за прошением, вызывал прокурора, требовал суда, чтобы быть хотя бы на каторге, но не в этом безнадежном мешке» («Правдинское» СС.—М., 1965. Т. 6. С. 356).

1905

Военно-морской суд по делу А. С. Гриневского состоялся 22 февраля. Приговор—ссылка на 10 лет в Сибирь. За время, проведенное в тюрьме, установилась регулярная переписка с Е. Бибергаль. 23 мая—повторный суд в Феодосии. В дополнение к предыдущему приговору добавлен год тюремного заключения. Снова неудачная попытка побега, после которой «...был заперт на ключ, лишен прогулок и книг, а через три дня, «как опасный», увезен в надежную Севастопольскую тюрьму» (там же, с. 361).

20 октября освобожден по амнистии; продолжает числиться в партии эсеров. Снабжен фальшивым паспортом на имя мещанина Николая Ивановича Мальцева. По заданию партии направлен из Москвы в Петербург. Встретившись в декабре с Е. Бибергаль, сообщает ей о своем решении выйти из партии и заняться литературной работой. Это приводит их к разрыву.

1906

7 января арестован во время облавы в Петербурге за проживание под чужим именем. Находился в одиночке Выборгской тюрьмы («Кресты»).

19 апреля выслан под надзор полиции в отдаленный уезд Тобольской губернии. 15 мая отправлен в ссылку. Через три дня бежит: «...Административно-ссыльные политические дворяне Георгий Карышев, Александр Гриневский... скрылись благодаря скоплению в Туринске 70 поднадзорных» (Центральный Государственный военно-морской архив.— Ф. 1025. Оп. 2. Ед. хр. 24).

В Тюмени встречается с Н. Быховским, тот снабжает деньгами и фальшивым паспортом, предлагает написать рассказ из солдатского быта. Первый рассказ — «Заслуга рядового Пантелеева» — написан в Москве и отдан в издательство Е. Д. Мягкова «Народная жизнь».

В июле едет в Петербург, затем в Вятку. Отец достает ему паспорт на имя скончавшегося в земской больнице сына местного дьяка — Алексея Алексеевича Мальгинова.

В сентябре в издательстве Мягкова выходит брошюра «Заслуга рядового Пантелеева», подписанная инициалами «А. С. Г.». На тираж наложен арест, начато следствие, имя автора остается неизвестным.

5 декабря в газете «Биржевые ведомости» (Веч. вып.— СПб.) за подписью «А. А. М-в» выходит рассказ «В Италию».

17 декабря наложен арест на сигнальные номера второго рассказа из солдатской жизни «Слон и Моська», выпущенного брошюрой в типографии В. Безобразова (СПб., книгоиздательство «Свободная пресса») за подписью «А. С. Г.».

1907

Выходит рассказ «Случай» (Товарищ.— М., 25 марта), впервые подписанный псевдонимом «А. С. Грин». Публикуются рассказы из жизни эсеров — «Апельсины», «Марат», «На досуге» и др.

Осенью начинается совместная жизнь с Верой Павловной Абрамовой, дочерью статского советника. Будущий писатель познакомился с ней в 1906 году, когда девушка приходила в «Кресты» с передачами от Красного Креста в качестве «тюремной невесты».

1908

В издательстве «Наша жизнь» (СПб.) выходит сборник рассказов «Шапка-невидимка». В столичных, московских и вятских журналах и газетах опубликовано более двух десятков рассказов и стихотворений. В литературных кругах Петербурга появляются друзья; среди них — поэты Л. Андрусон и Я. Годин, журналисты Е. Венский и Н. Вержбицкий. В том же году возникает дружба с А. И. Куприным.

1909

Печатается в «Новом журнале для всех» (СПб., ред. В. С. Миролюбов). В № 6 выходит рассказ «Остров Рено», с которого начинается особый путь Грина в русской литературе. В других изданиях публикуются такие «гриновские» рассказы, как «Штурман «Четырех ветров», «Происшествие в улице Пса», «Маньяк».

1910

Весной в издательстве «Земля» (СПб.) выходит сборник «Рассказы», утвердивший репутацию Грина как писателя своеобразной манеры.

27 июля арестован за проживание по чужому паспорту. Приговор суда — два года ссылки в Тобольскую губернию, позже замененную Архангельской.

В. П. Абрамова хлопочет об оформлении отношений с Грином, чтобы сопровождать его в ссылку. Их венчают в тюремной церкви.

31 октября отправляется в ссылку и 8 ноября прибывает в Пинегу — уездный городок в 200 верстах от Архангельска. В течение года были написаны рассказы «Колония Ланфиер», «На склоне холмов», «Пролив бурь», «Малинник Якобсона» и др. Стихотворение «За рекой в туманном свете» свидетельствует о тревоге писателя в связи с надвигающимися революционными событиями.

1911

Опубликованы рассказы «Лунный свет», «Система мнемоники Атлея», «Позорный столб».

18 августа переведен в Кегостров — село в 3 верстах от Архангельска.

1912

Последние месяцы ссылки — с марта по май — отбывал в Архангельске. 15 мая возвращается в Петербург. Опубликованы рассказы «Синий каскад Теллури», «Приключения Гинча», «Трагедия плоско-

горья Суан» и др. О Грине много пишут критики — одни как о писателе с будущим, другие — как о слабом подражателе, эпигоне западных мастеров остросюжетной новеллистики. Возобновляется дружба с А. И. Куприными и его окружением.

1913

Публикуются рассказы «Племя Сиург», «Горные пастухи в Андах», «Зурбаганский стрелок» и др. Выходит трехтомное Собрание сочинений (СПб.; Прометей). В сентябре расстается с Верой Павловной.

1914

В марте скончался отец писателя Степан Евсеевич Гриневский. Грин становится постоянным сотрудником петербургского журнала «Новый сатирикон» (Пг., ред. Арк. Аверченко). В периодике выходят рассказы «Земля и вода», «Загадка предвиденной смерти», «Происшествие в квартире г-жи Сериз», «Повесть, оконченная благодаря пуле», «Судьба, взятая за рога» и др. Ряд произведений вошел в сборники «Летучие альманахи» (СПб., вып. 14, 17, 18, 19).

1915

Публикует более ста произведений — стихов, фельетонов, рассказов — главным образом на военную тему. В петроградских издательствах выходит три сборника: «Загадочные истории», «Знаменитая книга» и «Происшествие в улице Пса». Живет в меблированных комнатах Пименова. Сосед — молодой писатель И. С. Соколов-Микитов, с которым завязываются дружеские отношения. Он вспоминал: «Случалось, за разговорами напролет проводили ночи...» И далее: «...Грин писал быстро, сосредоточенно и в любое время дня. Я не помню случая, чтобы обещанный рассказ он не сдал в срок» (Соколов-Микитов И. С. Давние встречи.— М., 1975. С. 78).

1916

Выходят рассказы «Черный алмаз», «Воскресенье Пьера», «Отшельник Виноградного Пика» «Капитан Дюк», «Сто верст по реке» и др. В Москве опубликован сборник «Искатель приключений» в издательстве «Северные дни» и два сборника рассказов издательства «Польза» («Универсальная б-ка», № 1142, 1143).

В конце года за непочтительный отзыв о царе в общественном месте Грина высылают из Петрограда, местом жительства он выбирает поселок Луонатйоки в Финляндии.

1917

Узнав о Февральской революции, идет пешком в Петроград. Ожидания и надежды, вызванные событиями в стране, вскоре сменяются разочарованием. Октябрьскую революцию воспринимает уже как историческую трагедию. Возобновляется сотрудничество в «Новом сатириконе». В газете «Свободная Россия» (Пг.) публикует цикл рассказов и ранее написанную поэму «Ли». К этому времени относится начало работы над «Алыми парусами» (в ту пору — «красными») (см.: ЦГАЛИ. — Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 1).

В декабре в редакции газеты «Петроградское эхо» знакомится с Ниной Николаевной Коротковой, работавшей одним из технических секретарей (см.: ЦГАЛИ. — Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 28).

1918

Знакомство с Н. Н. Коротковой продолжается в доме поэта И. Рукавишникова. В мае Н. Н. надолго уезжает из Петрограда. Прощаясь, Грин дарит ей стихи с объяснением в любви.

В конце мая он уезжает в Москву с журналистом Н. Вержбицким, некоторое время живет у него на Якиманке. В июне оба перебираются в пос. Барвиха под Москвой. Здесь написан рассказ «Корабли в Лиссе». Вместе с Н. Вержбицким привлечен журналистом П. Ашевским к участию в газете «Честное слово» (М.). В августе едет по делам газеты в Петроград, где встречается с критиком А. Горнфельдом и читает ему «Корабли в Лиссе» (см.: ЦГАЛИ. — Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 284).

К концу года закрыты все газеты и журналы, в которых мог печататься Грин.

1919

Благодаря хлопотам А. М. Горького получает жилье. Из воспоминаний В. П. Калицкой: «...В январе 1919 года Александр Степанович переехал в хорошую комнату окнами в сад, на 11-й линии Васильевского острова, в дом, раньше принадлежавший богачу Гинцбургу» (Воспоминания об Александре Грине. — Л., 1972. С. 195).

В конце августа призван в Красную Армию. Полк из Охты перебрасывают на польский фронт, под Витебск, позже — под Псков в г. Остров. Служит связистом, затем в караульной команде по охране обоза и амуниции.

1920

В марте списан из армии по болезни. 23 апреля заболевает сыпным тифом. Заботами А. М. Горького направлен в Смольнинский лазарет, затем в Боткинские бараки, где пробыл до конца мая. Горький и здесь не оставлял его, помогая продуктами.

После болезни переезжает в недавно организованный Дом искусств (бывш. «дом Елисеева» на Мойке, 11). Соседи по этажу — молодые поэты В. Пяст, В. Рождественский, позже — Н. Тихонов. Дружеские отношения связывают Грина как с молодежью — главным образом с группой «Серапионовы братья» (Н. Тихонов, М. Слонимский, В. Каверин и др.), так и с ровесниками. Возникает дружба с В. Пястом (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 2. Ед. хр. 65).

А. М. Горький предлагает включиться в подготовку серии повестей для юношества о знаменитых путешественниках. Грин пишет роман о Ливингстоне и Стенли — «Сокровище африканских гор». Начинает повесть о Нансене — «Таинственный круг». Одновременно работает над феерией «Алые паруса».

30 сентября в числе других писателей принимает участие во встрече с приехавшим в Россию Г. Уэллсом.

19 ноября выступает на вечере Литкружка Культпросвета вместе с Н. Гумилевым, А. Ремизовым и др. (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 5. Оп. 1. Ед. хр. 44).

8 декабря читает главы из «Алых парусов» на вечере в Доме искусств.

1921

20 мая регистрирует брак с Н. Н. Коротковой. Снимает комнату на Пантелеймоновской ул. (позднее — ул. Декабристов), 11, кв. 64.

17 июня переезжает на дачу в пос. Тосково. Сюда к Гринам приезжают Шкловские, В. Пяст.

Тяжело переживает Грин весть о расстреле Н. Гумилева.

Начинает работу над романом «Алголь». Во возвращении в Петроград, не закончив «Алголь», принимается за роман «Блистающий мир», одной из сюжетных линий которого является поединок между творческой личностью и тоталитарным государством.

1922

В январе Грины переезжают на 8-ю Рождественскую ул. (позднее — 8-я Советская), 21, кв. 7.

В марте писатель читает А. Горнфельду главы романа «Блистающий мир». Критик оценивает прочитанное, наряду с «Алыми парусами», как лучшее из всего, что было ранее написано Грином.

22 мая на литературном вечере знакомит Н. Н. со своей первой женой В. П. Абрамовой-Калицкой. Знакомство перерастает в прочную дружбу.

В июне отъезд в Тосково и работа над «Блистающим миром». Частное издательство «Радуга» (владелец и редактор Л. М. Клячко) заказывает брошюру о лейтенанте Шмидте. Рукопись издательством была утеряна.

В сентябре Грины возвращаются в Петроград.

23 ноября закончены «Алые паруса» с посвящением Нине Николаевне Грин.

1923

Феерия выходит отдельной книгой в частном издательстве Л. Д. Френкеля (М.; Пг.).

В марте Грин читает на вечере в Доме искусств главы «Блистающего мира». Тепло встречен аудиторией. Представитель московского журнала «Красная нива» предлагает напечатать роман в первых номерах еженедельника.

12 мая Грины едут в Крым. В Севастополе — встреча с давним другом, поэтом Г. Шенгели. В Ялте снимают комнату по ул. Виноградной, 14 (позднее — ул. Чехова), где живут до 1 июня. По дороге в Петроград останавливаются в Москве. В «Красной ниве» (№ 20—30) выходит «Блистающий мир». Для того же журнала пишет рассказ «На облачном берегу» — отражение поездки в Крым.

Осенью работает над рассказом «Крысолов».

Публикуется сборник «Рассказы» (М.; Пг.: Гос. изд-во).

1924

Отдельной книгой выходит «Блистающий мир» (М.; Л.: Земля и фабрика). Издание изобилует опечатками, есть изъятия (глава о церкви).

В журнале «Россия» (М.; Л., ред. И. Г. Лежнев) выходит рассказ «Крысолов».

Знакомство с поэтом М. Волошиным.

Врач настоятельно советует в связи с болезнью Н. Н. сменить климат. Семья уезжает в Крым.

10 мая по приезде в Феодосию поселяются на Севастопольской ул., 4.

В июне — поездка в Москву по издательским делам. Грин принимает участие в конкурсе на короткий рассказ, организованный журналом «Красная нива». Под девизом «Светло как днем» дает новеллу «Возвращение». Рассказ отмечен похвальным отзывом (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 182).

Вернувшись в Феодосию, снимает квартиру на Галерейной ул., 8. До конца года — работа над романом «Золотая цепь».

Дружеские отношения с художником К. Богаевским.

1925

27 апреля окончена «Золотая цепь». Московским издательством «Недра» принят сборник рассказов «Гладиаторы».

Частые поездки в Коктебель. Встречи с М. Волошиным, В. Вересаевым. Знакомство с М. Булгаковым (см.: Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания.— М., 1990. С. 116—117).

Осенью начинает работу над романом «Бегущая по волнам».

25 октября Грины едут в Москву. Встречи с писателями И. Новиковым, Г. Шенгели, Д. Шепеленко.

1926

В марте завершается работа над романом «Бегущая по волнам». В апреле Грины едут в Москву с рукописью романа. Экземпляр передан в журнал «Новый мир» (ред. В. Полонский). Второй — для издания книгой — отправлен в «ЗиФ» (М.; Л.). В «ЗиФе» задерживают выплату аванса. Грин передает экземпляр рукописи представителю издательства «Харьковский пролетарий». Вскоре от него приходит письмо с отказом (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 138). Отвечает отказом и «ЗиФ» на том основании, что рукопись передана автором в два издательства одновременно (там же, ед. хр. 101, 102).

В июле — возвращение в Крым, поездка в Коктебель по приглашению М. Волошина. В августе — подготовлены к печати два сборника рассказов — «История одного убийства» и «Брак Августа Эсборна». В сентябре поездка в Москву. Письмо от М. Слонимского — Грин получает предложение издательства «Прибой» (Л.) опубликовать «Бегущую по волнам».

По возвращении в Феодосию 19 октября работает над новым романом «Зеркало и алмаз» (впоследствии — «Обвеваемый холм», окончательное название «Джесси и Моргиана»).

1927

6 февраля — телеграмма от М. Слонимского: «Гублит наложил запрет на выход «Бегущей» в издательстве «Прибой» (там же, ед. хр. 196).

9 февраля — заключение договора с приехавшим в Крым Л. Фольфсоном, владельцем частного издательства «Мысль» (Л.) на выпуск 15-томного Собрания сочинений.

В издательстве «Прибой» опубликован сборник рассказов «Брак Августа Эсборна». В издательстве «Молодая гвардия» (М.; Л.) выходит отдельной книгой «Вокруг центральных озер» — сокращенный вариант романа «Сокровище африканских гор». «ЗиФ» выпускает вторым изданием сборник рассказов «История одного убийства».

8 марта к годовщине семейной жизни Грин дарит Н. Н. письмо, в котором пишет: «...шесть лет твоего терпения, понимания и заботы

показали мне, как надо любить. Ты мне дала столько радости, смеха, нежности и даже поводов иначе относиться к жизни, что я стою, как в волнах и цветах, а над головой птичья стая» (Оп. 1. Ед. хр. 69).

5 мая Грины выезжают в Москву. Знакомство с юристом Н. Крутиковым, который в дальнейшем становится поверенным Грина в издательских делах. Выходят рассказы в журнале «Красная нива». Пройдя многие мытарства по причинам идеологического характера, был опубликован один из наиболее значительных рассказов Грина — «Фанданго» (см.: Война золотом: Альманах приключений.— М., 1927. С. 17—51).

По воспоминаниям Н. Н., осенью, во время пребывания в Москве, «А. С. вызвала по телефону Евдоксия Федоровна Никитина, хозяйка литературных собраний тех лет — «Никитинские субботники» — и пригласила что-либо прочесть. Грин прочел две главы из «Бегущей по волнам». Впечатление аудитории было очень сильным... С радостным удивлением на глазах у некоторых я увидела слезы» (ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 16).

В октябре Грины едут в Ленинград. Н. Крутиков помогает разобраться в конфликте с издательством «Прибой» и получить неустойку за отказ от договора на «Бегущую по волнам».

1928

Заканчивает работу над романом «Джесси и Моргиана». Начинает работу над романом «Дорога никуда». 18 мая Грины едут в Ленинград. Июль проводят в Тосково. 2 августа издательство «Прибой» принимает рукопись «Джесси и Моргианы». Возвращаются в Крым 16 августа.

1929

23 марта закончена «Дорога никуда». 6 апреля переезжают в отдельный дом на Верхне-Лазаретной ул., 7 (позднее — ул. Куйбышева). 8 апреля выезжают в Москву. Издательство «Федерация» (М.) заключает с Грином договор на публикацию романа «Дорога никуда» и сборника рассказов «Огонь и вода». Возникает дружба с семьей писателя И. Новикова. Н. Н. вспоминала: «...С семьей Новиковых мы познакомились в 1929 году при чтении А. С. отрывков из «Дороги никуда». Чтение происходило в СП. И сразу же с ними тепло сдружились» (ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 16). Как литературный редактор издательства «Федерация» И. Новиков, знакомясь с рукописью романа, оценивал его высоко. Грин называл И. Новикова «крестным отцом» «Дороги» (там же).

В июле из издательства «Мысль» (Л.) приходят взысканные судом с Л. Вольфсона деньги. Это позволяет Гринам снять дачу в Старом Крыму — небольшом городке в горах под Феодосией.

1 сентября — возвращение в Феодосию. Неожиданно Л. Вольфсон выигрывает кассацию. Деньги, полученные ранее Грином по постановлению суда, нужно возвратить (см.: письмо Н. Крутикова от 18 августа.— ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 110).

В издательстве «Мысль» выходят четыре тома Собрания сочинений А. С. Грина — 8, 12, 13, 14. 23 сентября Грин едет в Москву. Печатают его все более неохотно. Изматывающие разговоры с редактором «Федерации» А. Тихоновым по поводу оплаты «Дороги никуда». Отказ «ЗиФа» печатать произведения Грина. Неприятные разговоры в Торговом секторе ГИЗа.

В Крыму 18 октября пишет большое письмо А. М. Горькому, заканчивая словами: «...Я прошу Вас, поддержите мое ходатайство Сектору. Я ничего не понимаю. Ведь Торг. Сект. отлично знает, что за 9 лет прошло через изд-ва свыше 20 назв. моих книг, больше 200 тысяч экземпляров... Я очень не люблю так писать, но я вынужден дать эти указания» (ИМЛИ. Архив А. М. Горького; КГ — письма. 22-3-8). Через месяц Горьким было опубликовано в «Правде» открытое письмо под названием «Ответ», в котором он так отозвался на подобные просьбы о помощи: «...лицемерно, глупо требовать «милосердия» на поле битвы, во время боя» (Горький М. Собр. соч.: В 30-ти т.— М., 1953. Т. 25. С. 83).

8 декабря едет в Москву с новыми рассказами. Подписан договор с издательством «Молодая гвардия» (М.) на публикацию повести для юношества «Южная звезда» (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 182), которая вышла через тридцать лет под названием «Ранчо «Каменный столб» в сб.: Янтарная комната.— Л., 1961. С. 69—179.

1930

Работает над автобиографическими очерками. 23 июня Грины едут в Москву. Издательство «Никитинские субботники» принимает сборник рассказов «Фанданго». 23 августа выезжают в Ленинград, чтобы возбудить иск против Л. Вольфсона.

Поэт Н. Тихонов предлагает опубликовать биографические очерки в журнале «Звезда». Пока готовится новый суд с Л. Вольфсоном, Грин без денег. В письме И. Новикову он просит прислать его материалы, находящиеся в издательствах Москвы: «...мои рукописи... нужны, как вода в пустыне. Я мог бы получить под них аванс в «Звезде»... Ваши раскулаченные Грины. 19 сент. 1930 г.» (ЦГАЛИ.— Ф. 343 — И. А. Новикова. Оп. 3. Ед. хр. 20).

5 октября по решению Верховного суда Ленинградский суд пересматривает дело с Л. Вольфсоном. Выносится определение в пользу Грина о выплате ему 7 тыс. рублей (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 178).

7 ноября, получив деньги, возвращаются в Феодосию. 14 ноября едут в Старый Крым в поисках квартиры. 23 ноября переезжают на ул. Большую, 96 (впоследствии — ул. Ленина). Грин работает над новым романом «Недотрога» и «Автобиографическими очерками».

1931

Со второго номера журнала «Звезда» выходят биографические очерки «Бегство в Америку», «Одесса», «Баку», «Севастополь».

В конце апреля предпринимает пешее путешествие в Коктебель к М. Волошину.

В Крыму начинается голод. Грины находят дом, в котором арендуют часть огорода и сада. Новый адрес — Октябрьская ул., 5. Переезжают 15 мая.

12 августа Грин едет в Москву улаживать издательские дела. Надежд на печатание нет. С трудом добывает деньги в «Федерации» и в Литфонде. 21 августа возвращается в Крым больной. Местный врач Н. С. Федотов находит у него воспаление легких, осложненное вспышкой туберкулеза. 26 августа посылает в Правление Союза писателей заявление о назначении ему персональной пенсии в связи с болезнью и приближением 25-летия литературной деятельности (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 86).

Болезнь прогрессирует. 17 сентября вновь решается написать А. М. Горькому: «Уважаемый Алексей Максимович! Пишу Вам — если не в отчаянии, то в состоянии крайнего душевного угнетения.

Я заболел туберкулезом и более месяца лежу в кровати. Ухаживая за мной, моя жена от изнурения и душевной тревоги тоже слегла: открылась ее хроническая болезнь — печени и желчного пузыря с мучительным выходом камней.

У нас нет ничего — ни денег, ни чая, ни сахара, ни керосина, ни дров (погода у нас в Старом Крыму стоит холодная).

Гонораров мне не предстоит. Насколько широко и свободно я печатал свое до 29 года, настолько потом все стало хуже и хуже, а теперь все закрылось.

...Недавно я написал в Пр. С. Писателей заявление о пенсии (51 год и 25 лет лит. работы) и еще просил пособие на лечение — на еду. Никогда я не просил пособий. Я приложил свидетельство врача: не помогло.

Но должен же быть где-нибудь фонд для таких случаев. Я не знаю, где он, при какой писательской организации. Прошу Вас, посодействуйте личным туда обращением. Я бессилен.

...С уважением *А. С. Грин*». (ИМЛИ.— Архив А. М. Горького; КГ — письма. 22-3-7).

18 сентября. Г. Шенгели прилагает к письму, полученному им от Грина, обращение в Союз писателей: «...Из письма вы с несомненно-

стью усмотрите тяжелое положение, постигшее одного из оригинальнейших русских писателей... Товарищи, время не ждет, наш товарищ голодает — и я призываю вас к спешным практическим мерам».

Ни А. М. Горький, ни Союз писателей не дали ответа.

19 октября феодосийские врачи поставили диагноз: ползучее воспаление легких.

22 ноября — двадцатипятилетие литературной деятельности. Телеграмма от Тихоновых, поздравление от брата Бориса. Из воспоминаний Н. Н.: «...Долго с радостью и грустью мы говорили о литературном пути его. «...Маленький это капитал на нынешнюю расценку — честность,— сказал Александр Степанович,— но он мой... Всякому ли выпадает счастье быть в согласии с самим собой?» (ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 3. Ед. хр. 16).

В прессе юбилей А. С. Грина отмечен не был.

1932

С 13 января Н. Н. регулярно ведет дневниковые записи, фиксируя события дня, состояние Грина, его слова (см.: ЦГАЛИ.— Ф. 127. Оп. 1. Ед. хр. 18).

Врачи впервые приходят к заключению, что А. С. безнадежен. Дом на Октябрьской, где сыро и тесно, тяготит больного. Н. Н. ищет новое жилье. Чтобы купить домик с большим садом на ул. Либкнехта, 46, Н. Н. продает золотые часы, подаренные ей Грином в 1927 г. Радуясь своему дому, Грин строит планы, думает о работе над романом «Недотрога». Наступает краткое улучшение, однако 12 июня больному становится хуже. 30 июня собирается консилиум. Врачи — П. Наний, М. Яковлев и харьковский терапевт проф. Струев — ставят диагноз: рак легких и желудка. В тот же день из Ленинграда приходят авторские экземпляры «Автобиографической повести».

1 июля Правление Всероссийского Союза писателей назначает писателю А. С. Грину персональную пенсию — 150 рублей.

5 июля по просьбе умирающего мужа Н. Н. приводит к нему священника — старенького о. Владимира из греческой церкви. Грин исповедуется и причащается в полном сознании.

8 июля в 7 часов 30 минут вечера Александр Степанович Грин скончался.

А. Верхман, Ю. Первова

СОДЕРЖАНИЕ

Грин А. С.

Г85 Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5. Бегущая по волнам; Джесси и Моргиана; Дорога никуда: Романы / Сост. с науч. подгот. текста Вл. Россельса; Примеч. А. Ревякиной, Ю. Первовой.— М.: Худож. лит., 1997.— 606 с.

ISBN 5-280-02047-8 (Т. 5)

ISBN 5-280-01609-8

В том вошли последние романы А. С. Грина, опубликованные в 1928—1930 гг.: «Бегущая по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога никуда».

ББК 84 (2Рос = Рус) 6

АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ ГРИН

Собрание сочинений в пяти томах

ТОМ ПЯТЫЙ

Редакторы О. Дворцова, Н. Новикова

Художественный редактор Е. Ененко

Технический редактор Л. Синицына

Корректор И. Лебедева

Изд. лиц. № 010153 от 14 02.97.
Сдано в набор 20.03.95. Подписано в печать 14.07.97. Формат 84 × 108 1/32. Бумага тип. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 33,84. Тираж 10 000 экз. Заказ № 3956. «С»—270

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19 при участии издательства «Библиосфера».109202,Москва, 2-я Фрезерная ул., 14

Отпечатано в Государственном ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Московском предприятии «Первая Образцовая типография» Государственного комитета Российской Федерации по печати. 113054, Москва, Валовая, 28